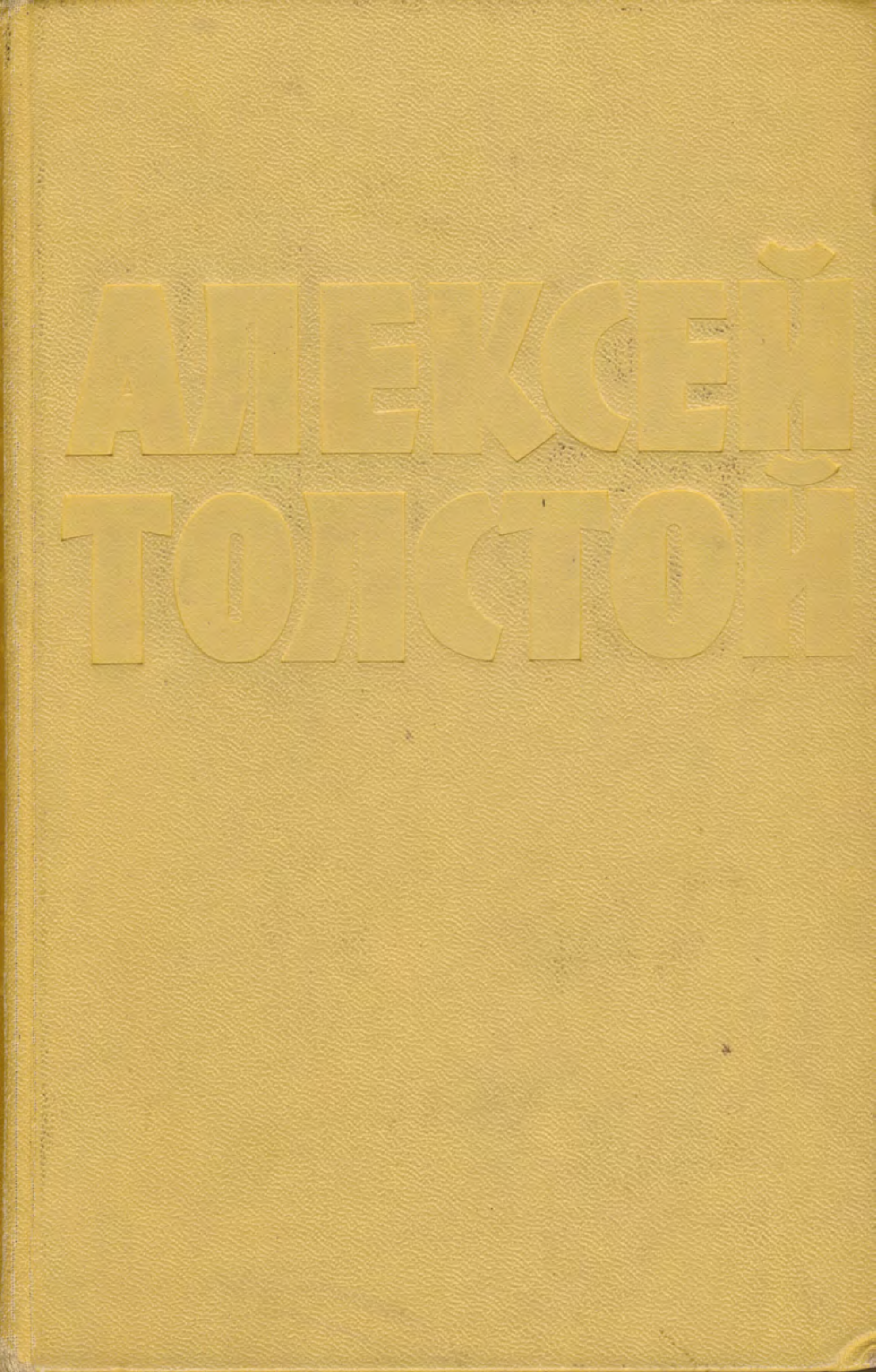

Алексей
Толстой

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в десяти томах

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том седьмой

ПЕТР ПЕРВЫЙ

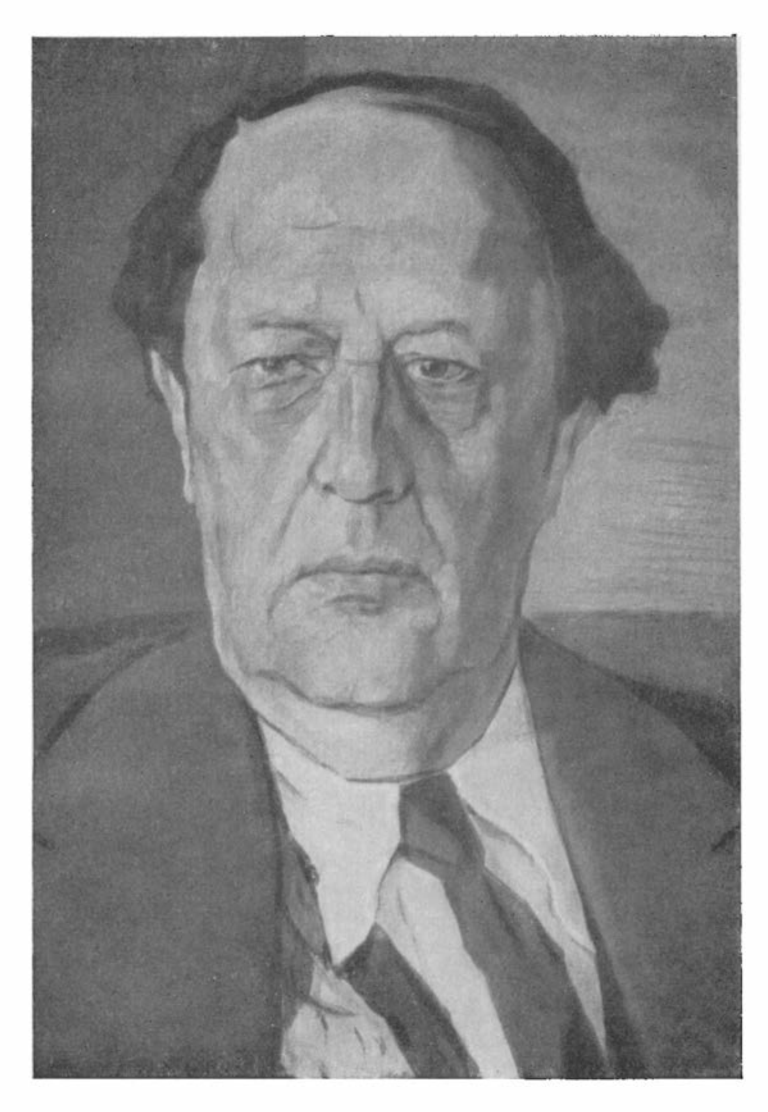
Роман

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

Под редакцией:
А. В. АЛПАТОВА, Ю. А. КРЕСТИНСКОГО
А. С. МЯСНИКОВА, В. О. ПЕРЦОВА,
Л. И. ТОЛСТОЙ, В. Р. ЩЕРБИНЫ

Комментарии *А. В. Алпатова*
Подготовка текста *А. Л. Сокольской*

Оформление художника
В. МАКСИНА



А. Н. ТОЛСТОЙ

Портрет работы художника П. Д. Корина

ПЕТР ПЕРВЫЙ

Роман

Книга первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить,— вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу,— все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка.

— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы.

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза,— как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

— Озябли? А то на двор сбегаем, посмотрим,— батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате,

Иване Артемиче,— так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкиным,— высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого покрова... Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на воронуую лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом.

— Балуй, нечистый дух!

Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:

— Ничаво, на печке отогреемся...

Иван Артемич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж попью вдоволь»... Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.

— Бегите в избу, я вас! — крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.

— Ой, студено, люто,— сказала Санька.

Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный — конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье...

— Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась... У порога — сор, а на сору — веник... Я гляжу с печки,— с нами крестная сила! Из-под веника — лохматый, с кошачьими усами...

— Ой, ой, ой,— боялись под тулупом маленькие.

2

Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.

Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилеях, в саблях, в саадаках... Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?

Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика — почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин,— крестьяне забыли бога. Чуть прижмешь покрепче,— скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон,— откуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.

Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки,— гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал,— мужику одно только и оставалось: думать...

«Ну, ладно... Того подай, этого подай... Тому заплати, этому заплати... Но — прорва,— эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем,

терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось — плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет... А мужик один... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...»

Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было навострил лапти,— поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме,— на усадьбе же у Волкова,— а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.

— Здорово,— сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.

— Здорово.

— Ничего не слышно?

— Хорошего будто ничего не слышно...

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство:

— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.

Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру»... Стащил колпак, перекрестился:

— Кого же теперь царем-то скажут?

— Окромя, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели.— Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распопадем...

— Пропадем, а может и ничего — так-то.— Цыган подсунулся вплоть. Подмигнул.— Человек этот сказывал — быть смуте... Может, еще поживем, хлеб пожуем, чай — бывалые.— Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.

Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы...

3

Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей — образ честного креста господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай... Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено:

— Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас...

Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель,— свои. Проговорил: аминь,— и стал отворять ворота.

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца — кровля — шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы — подклеть — из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков, под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но,— мужики знали,— в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое...

— Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями,— повинность, что ли, какая?..— спросил Ивашка.— За нами, кажется, ничего нет такого...

— В Москву ратных людей повезете...

— Это опять коней ломать?..

— А что слышно,— спросил Цыган, придвигаясь,— война с кем? Смута?

— Не твоего и не моего ума дело.— Седой Аверьян поклонился.— Приказано — повезешь. Сегодня батогов воз привезли для вашего-то брата...

Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много — скотные дворы, погреба, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно,— пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти,— тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки... А все-таки основа — мужички. Те — кормят...

Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось, ушел к другому помещику. Ныне это заказано,— где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова,— как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет...

Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девка-дворовая, бесстыдница:

— Боярин велел,— распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать — избави боже, боярское сено...

Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку,— убежала... Не спеша распрягли. Пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу,— отыгрывали друг у друга копейки... Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь — сытые!

В стороне, на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубахе, в разбитых лаптях,— Алешка, сын Ивана Артемича. Осенью пришлось, с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка

большеглазый, в мать. По вихрам видно — бьют его здесь. Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча, низко поклонился отцу.

Он поманил сына, спросил шепотом:

— Ужинали?

— Ужинали.

— Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил,— ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь... Вот что, Алеша... Утром хочу боярину в ноги упасть,— делов у меня много. Чай, смилуется,— съезди заместо меня в Москву.

Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться, и — бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

— Это, что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете...

Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:

— А ты кто тут,— нам выговаривать...

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.

4

У Василия Волкова остался ночевать гость — сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках, поближе к муравленой печи, постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.

— Тебе,— говорил гость степенно и тихо,— тебе, Василий, еще многие завидуют... А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое,— остальные в бегах. Я, восьмой, новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками... Как жить? А?

— Ныне всем трудно,— Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен.— Все бьемся... Как жить?..

— Дед мой выше Голицына сидел,— говорил Тыр-

тов,— у гроба Михаила Федоровича дневал и ночевал. А мы дома в лаптях ходим... К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть... Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку — дай, подьячему — дай, младшему подьячему — дай. Да еще не берут — косоротятся... Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын,— едва эти деньги собрали,— да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожа и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть... Иные, кто половчее, домогаются... Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька,— все знают, в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля... Так, чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь,— их селами жалуют... Нет правды...

Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:

— Король бы какой взял нас на службу — в Венецию, или в Рим, или в Вену... Ушел бы я без оглядки... Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать... Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие... Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам... Ну, что ж, они не православные,— их бог рассудит... А как вошел я за ограду,— улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах — цветы... Иду и робею и — дивно, ну будто во сне... Люди приветливые и ведь тут же, рядом с нами живут. И — богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами...

— Торговлишкой заняться? Опять деньги нужны,— Михайла поглядел на босые ноги.— В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься,— горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меньшиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди, пошуми,— са-

жают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы... А пошли жаловаться,— челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы... Меньшиков говорил: погодите, они еще покажут...

— Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не езди за Москву-реку.

— А что ты хочешь? Все обнищали... Такая тягота от даней, оброков, пошлин,— беги без оглядки... Меньшиков рассказывал: иноземцы — те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три... А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке... А куда идут деньги? Меньшиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри — золотой кожей...

Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек — подменили,— усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила...

— Ты чего? — спросил Василий тихо...

— На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. Слыхал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар... Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали... Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело...

Михайла задрожал плечами, засмеялся:

— Не пужайся, я там не был, от Меньшикова слыхал... (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому... Князь Одоевского меньшому сыну... Нам с тобой однолетку...

— Спать надо ложиться, спать пора,— угрюмо сказал Василий.

Михайла опять невесело засмеялся:

— Ну, пошутили, давай спать.

Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.

— Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского... Народ отчаянный... Он их приучил: больше года не кормил,— только выпускал ночью за ворота искать добычи... Волки...

Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подсунул под голову, глаза у него блестели.

— Доносить пойдешь на мой разговор?

Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:

— Нет, не донесу.

5

За воротами Земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде — кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье,— все выкидывалось на улицу.

Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, несгибающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками — тигелеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тигелеи, хотя и робел,— как бы на смотру не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался...

Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева — в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова разбитого мерина, оседланного худо, плохо.

Михайла сидел, насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турских кафтанах,— весь уезд съез-

жался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй, ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет...» Перегоняя, жгли кнутами,— мерин приседал... Гогот, хохот, свист...

Переехали мост через Яузу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах — крик, ругань, давка,— каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом.

Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку,— как только жив остался! Выехали на Мясницкую... Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох, ты!

Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки,— зазывали к себе. За высокими заборами — каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей — тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие — на перекрестках — чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусавя, заголяют тело в крови и дряни... Прохожим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то — калач закушу...» Тучи галок над церквушками...

Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая — трубой — соболья шапка боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно

ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи,— много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.

Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей — дворянского ополчения.

Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.

Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!»... Василий погрозил нагайкой: «Пошуми-ка...» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады...

Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж — дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него, в лотке под ветошью дымились подовые пироги. «Дьявол!» — покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь,— «румяные, горячие!» Духом поволокло Алешку к пирогам:

— Почем, дяденька?

— Полденьги пара. Язык проглотишь.

У Алешки за щекой находились полденьги — полушка,— когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.

— Давай, что ли,— грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням,— ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет,— унесли. Кинулся к Цыгану,— тот из-под соломы

обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове — пустой звон. Сел было на отвод саней — плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.

Волков сидел на коне, подбоченясь,— в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать — орел. Позади — верхами — два холопа, как бочки, в тигелеях, на плечах — рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.

Растирая слезы, гнусавя до жалости, Алешка стал сказывать про беду.

— Сам виноват! — крикнул Василий,— отец выпорет. А сбрую отец новую не справит,— я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем!

Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошаденок лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола, в горлатной шапке и в двух шубах — бархатной и поверх — нагольной, бараньей,— сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский.

Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи... Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.

— Алешка,— сказал, и у самого — слезы, и губы трясутся,— Алешка, для бога беги к Тверским воротам,— спросишь, где двор Данилы Меньшикова, конюха. Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю... Скажи — Михайла, мол, бьет челом... Конь, мол, у него заплошал... Стыдно, мол... Дал бы он мне на день какого ни на есть коня — показаться. Запомнишь? Скажи — я отслужу... За коня мне хоть человека зарезать... Плачь, проси...

— Просить буду, а он откажет?— спросил Алешка.

— В землю по плечи тебя вобью! — Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.

Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.

Михайла промерз в седле, не евши весь день... Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.

6

В низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.

Под темными ликами образов, на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич.

Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик, да и свалился. Кинулись — едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих,— стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять — что? Немец нагнулся к его бескровным устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия... На смертном одре — Овидия? Несомненно, царь был без памяти...

Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет,— сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна,— сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за

красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровое глупенькое ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами,— голосить боялась.

В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня — сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков — маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий — Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын — писаный красавец: кудрявая бородка с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко,— по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках,— князь роста был среднего.

Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный,— надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленые мальчишки, за обоими сила — в родне. Петр — горяч умом, крепок телесно, Иван — слабоумный, больной, вей из него веревки... Что предпочесть? Кого?

Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался,— в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах,— Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чуют,— сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.

— Гвалт, проше пана,— прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: — ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха,— он-то за кого?

Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх,— от жары запотел, пах розовым маслом:

— И владыка и мы твоего слова ждем, князюшка... А мы-то как будто решили...

Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду.

— Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно,— хил. Нам сила нужна.

Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно.

— Будь так,— сказал,— быть царем Петру.

Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно, лебедем, как подобало бы девице,— она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна были широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими,— мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла — о чем он только что говорил и что ответил.

Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.

Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико,— завыла низким голосом. Закричали ее сестры... Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят,— стал гладить царицу по спине. К патриарху подбежал Языков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рука-

вами, выставляя бороды, без стыда выкатывая глаза: «Что, ну что, владыко?..»

— Царь Федор Алексеевич преставился с миром... Бояре, поплачем...

Его не слушали,— теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснуть лампады. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли: братья князья Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:

— У нас ножи взяты и панцири под платьем... Что ж, кричать Петра?

— Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем... А станут кричать Ивана Алексеевича,— бейте воров ножами...

Через час патриарх вышел на красное крыльцо и, благословив тысячную толпу — стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил,— кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:

— Хотим Петра Алексеевича...

И еще хриплый голос:

— Хотим царем Ивана...

На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»

7

На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице наверх, в горницу, сама хихикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.

Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-

то наверху кричит дурным голосом... «Ну,— подумал он,— живым отсюда не уйти...» Ухватился за обструганную чурочку на веревке,— едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое — поп с косицей, рыжая борода — веником, и низенький, рябой, с вострым носом.

— Вгоняй ему ума в задние ворота! — кричали они, стуча чарками.

Третий, грузный человек, в малиновой рубахе распояской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполосованный, худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятька!» — визжал тот, кого пороли. Алешка обмер.

Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:

— Еще чадо, лупи его заодно!

Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал...» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик, с бело-голубыми круглыми глазами. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу — медному, потному, обдал жарким перегаром:

— Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?

Алешка, стуча зубами, стал сказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы,—ничего не понимал... «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?..» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно... Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы...

— Выбивай вора со двора,— заорал он, шатаясь,— Шарок, Бровка, взы его...

Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меньшиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки.

— Ты, поп, писание читал, ты знать должен,— загудел он,— сын у меня от рук отбился... Заворовался вконец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по писанию-то? А?

Поп Филька ответил степенно:

— По писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит тя на старость твою. И не ослабляй, бия младенца; аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здоровее будет; учащай ему раны — бо душу избавляеши от смерти...

— Аминь,— вздохнул востроносый...

— Погоди,— отдышусь, я его опять позову,— сказал Данила.— Ох, плохо, ребята... Что ни год — то хуже. Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет... Царское жалованье по два года не плочено... Жрать нечего стало... Стрельцы грозятся Москву с четырех концов поджечь... Шатание великое в народе... Скоро все пропадем...

Рябой, востроносый, начетчик Фома Подщипаев, сказал:

— Никониане[1] древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила... Новой веры нет... Дети в грехе рождаются,— хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет... Дети века сего... Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны... Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никониан, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести»... Дьяволу! (Опять поднял палец) И далее: «Кто ты, никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный...»

— Псы! — Данила бухнул по столу.

— Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! — сказал поп Филька.

Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:

— И о сем сказано у протопопа Аввакума: «Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской! Вспомни, как

---

[1] Никониане — последователи патриарха Никона и проведенной им в 1553 году церковной реформы.

жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо пития росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романеи, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской. Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороных в каретах не тешился, ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садишься, растопыришься, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу, по площади, чтоб черницы-ворухи любили... Ох, ох, бедной... Явно ослепил тебя дьявол... И не видал ты и не знаешь духовного жития»...

Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.

— Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут,— сказал он.— Дал бы бог — стрельцы за старину встали...

Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли Исусову молитву. «Аминь»,— ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.

— Пируете! — сказал спокойно.— А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь помер... Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули... Вот это беда, какой не ждали... Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам...

8

Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился... И не разорвали... Вот так чудо,— бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:

— Эй, ты кто?

Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик,— кого только что пороли.

— Как зовут? — спросил он.

— Алешкой.

— Чей?

— Мы — Бровкины, деревенские.

Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему,— то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик...

— Пойдем греться,— сказал он.— А не пойдешь, гляди, я тебя... Драться хочешь?

— Не,— Алешка живо прилег. И опять они смотрели друг на друга.

— Пусти,— протянул голосом Алешка,— не надо... Я тебе ничего не сделал... Я пойду...

— А куда пойдешь-то?

— Сам не знаю куда... Меня обещались в землю вбить по плечи... И дома меня убьют.

— Порет тятька-то?

— Тятька меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил,— конечно, пороли...

— Ты что же — беглый?

— Нет еще... А тебя как зовут?

— Алексашкой... Мы Меньшиковы... Меня тятька когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.

— Эх ты, паря...

— Пойдем, что ли, греться...

— Ладно.

Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.

— Васёнка, тятьке ничего не говори,— скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе-стряпухе.— Разувайся, Алешка.— Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь, за трубу.

— Давайте чего-нибудь говорить,— прошептал Алексашка.— У меня мамка померла. Тятька по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут...

— Они вытрясут,— поддакнул Алешка.

Девочка за трубой шмыгнула.

— То-то и я говорю... Намедни у Серпуховских ворот видел,— цыгане стоят табором, с медведями... На дудках играют... Пляс, песни... Они звали. Уйдем с цыганами бродить?.. А?

— С цыганами голодно будет,— сказал Алешка.

— А то наймемся к купцам чего-нибудь делать... А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского,— он их ловит, он научит... Ты будешь медведя водить, а я — петь, плясать... Я все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.

Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:

— Замолчи, постылая... Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно.

— С бабой хлопот много...

— К лету ее возьмем, грибы собирать,— она дура, дура, а до грибов страсть бойкая... Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать. А чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось...

— Купца бы найти, наняться — пирогами торговать,— сказал Алешка.

На крыльце бухнула дверь,— уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.

9

На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами,— кружало — царев кабак. Над воротами — бараний череп. Ворота широко раскрыты,— входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи

сугробах, на навозе валяются пьяные,— у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.

В избе за прилавком — суровый целовальник с черными бровями. На полке — штофы, оловянные кубки. В углу — лампады перед черными ликами. У стен — лавки, длинный стол. За перегородкой — вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский,— окликнет целовальник, надвинув брови,— не послушаешь честью — возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.

Там, во второй палате,— степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах,— дела ныне такие, что в затылке начешешься.

В передней избе у прилавка — крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет — снимай шубу. А весь человек пропился,— целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола,— за ухом гусиное перо, на шее чернильница,— и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.

— Ныне пить легче стало,— говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку.— Ныне друг за тобой придет, сродственник или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил... Стой... Убыток казне... И этот грош казне нужен... Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и — в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед... Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим...

10

Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывал в окошки. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов — красных, зеленых, клюквенных. Теснота, давка. «Что такое? Кого? За что?..» Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гостинодворцы. В тесноте надышали,— с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полуживого человека,— он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, тело сытое. В серых волосах запеклась кровь. Нос, щеки,— все разбито.

Стрельцы, указывая на него, кричали:

— И с вами то же скоро будет...

— Дремлете? А они на Кукуе не дремлют...

— Ребята, за что немцы бьют наших?

— Хорошо мы шли мимо, вступились... Убили бы его до смерти...

— При покойном царе разве такие дела бывали? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?

Овсей Ржов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей, говорил гостинодворским купцам с поклоном:

— По бедности к вам пришли, господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами... Вконец обхудали... Жалованье нам не идет второй год. Полковники нас замучили на надсадной работе. А жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах тесно... Немцы всем завладели. Ныне уж и лен и пряжу на корню скупили. Кожи скупают, сами мнут, дьяволы, на Кукуе... Бабы наших, слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие... Жить стало не можно... А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете... Нарышкины до царской казны дорвались... Жаждут... Ждите теперь таких пошлин и даней,— все животы отдадите... Да ждите на Москву хуже того — боярина Матвеева,—из ссылки едет... У него сердце одебелело злобой. Он всю Москву проглотит...

Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избили этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить,— с каждым годом — скуднее, тревожнее... Что ни грамота: «Царь-де сказал, бояре приговорили»,— то новая беда: плати, гони деньги в прорву... Кому пожалуешься, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают — выколачивать деньги в казну, а как эти деньги доставать — им все равно. Последнюю рубаху сними,— отдай. Как враги на Москве.

В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях:

— Мы, то есть Воробьевы,— сказал,— привезли на ярмарку в Архангельск шелку-сырца. И у нас, то есть немцы,— сговорились между собой,— того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: мы-де сделаем то, что московские купчишки у нас на правеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями...

Гул пошел по избе... Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!» Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами.

— Я с Поморья,— сказал бойко,— ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал — с пустыми возами. Иноземцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь... Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь...

Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Овсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился:

— Нам — дай срок — с полковниками расправиться... А тогда и до бояр доберемся... Ударим набат по Москве. Все посады за нас. Вы только нас, купцы,

поддержите... Ну, ребята, подымай его, пошли дальше...

Стрельцы подхватили избитого человека,— тот завыл, мотая головой: «Ой, уби-и-и-и-ли»,— и поволокли его из избы, распихивая народ, на Красную площадь — показывать.

Гостинодворцы остались в избе,— смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь, свяжись со стрельцами: шпыни, им терять нечего... А не свяжешься,— все равно бояре проглотят...

11

Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады,— едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел: «Эх ты, как тебя, паря...»

Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы, и — отошел, разговорился:

— Этакого отца на колесе изломать, аспида хищного... Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла за образами,— я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем... Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть...

Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса. Стряпухина девчонка тихо плакала. Алешке приснилась мать,— стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и все к голове подносит руки, жалуется... Алешка истосковался во сне.

Чуть свет Алексашка толкнул его: «Будя спать-то, вставай». Почесываясь, обулись поладнее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое. Сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые бревенчатые улицы. За деревянным городом разливается, совсем близко, заря туманными кровяными полосами.

На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, пере-

ругиваясь, нищие, калеки, юродивые — спозаранок занимать места на папертях. По Воздвиженке гнали по навозной дороге ревущий скот — на водопой на речку Неглинную.

Вместе со скотом мальчики дошли до круглой башни Боровицких ворот. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер.

— Тут иди сторожко, тут царь недалеко,— сказал Алексашка.

По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы — по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.

— А вон еще двое,— сказал Алексашка: во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом,— это — воры, во как их...

Вся площадь от Иверской до белого, на синем цоколе, с синими главами, Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога вилась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.

— Идем, Алексашка, а то еще нас увидят...

— Со мной ничего не бойся, дурень.

Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палатки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки,— запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ.

Алексашка оставлял без внимания,— дадут ли по затылку, обругают: до всего ему было дело. Лез сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, при-

ценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх платка, Алексашка заволочил ногу, пополз к купчихе, трясся, заикался: «У-у-у-у-у-богому, си-си-сиротке, боярыня-матушка, с го-го-голоду помираю...» Вдова купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две полкопейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий, на меду, сбитень.

— Я тебе толкую — со мной не пропадешь,— сказал Алексашка.

Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие — погордиться обновой, иные — стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волоса,— зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами. Кое-кого уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали, как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак.

Когда опять вышли к площади,— кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.

— Православные,— со слезами говорили они на все стороны,— глядите, что с купцом сделали...

Этого человека положили в чьи-то лубяные сани. Стрелец Овсей Ржов, взлезши на них, стал говорить все про то же: как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам... Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням.

Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом того самого пухлого, с маленькими глазками, в заячьей шапке, посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой. Стонать он устал. Лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко:

— О-ох... Отпустите меня, Христа ради...

Овсей Ржов, крестясь, кланялся церквям и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали: «Скачут, скачут...»

От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний — в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по бархатному чепраку. Не задерживая хода, бросив поводья, он врезался в толпу. Испуганные руки схватили коня под уздцы. Всадник быстро вертел головой, показывал редкие желтые зубы,— широколобый, с запавшими глазами, с жесткой бородкой... Это был Тараруй,— как прозвали его в Москве,— князь Иван Андреевич Хованский, воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали:

— С нами, с нами, Иван Андреевич! — и побежали к нему.

Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:

— Бунтуете, православные? Кто вас обидел, за что? Говорите, говорите, мы о людях день и ночь душой болеем... А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать...

Люди, разинув рты, глядели на его парчовую шубу,— пол-Москвы можно купить за такую шубу,— глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня,— огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич подъехал и стал стремя о стремя с Хованским.

— Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим: вниз головой с колокольни,— кричали ему стрельцы.— О чем бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?

Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли...

— Стрельцы! — он привстал в седле, от натуги по-

багровел, горловой голос его услышали самые дальние.— Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме... Теперь выбрали бог знает какого царя... Не я его кричал... И увидите: не только денег, а и корму вам не дадут... И работать будете как холопы... И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным... Хуже того... Продадут и вас и нас всех чужеземцам... Москву сгубят и веру православную искоренят... Эх, была русская сила, да где она!

Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался: «Ну, затопчут совсем...» Алексашка Меньшиков, прыгая по саням, свистал в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, крикнул:

— Стрельцы! Айда за реку в полки, там будем говорить...

12

На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.

— Дяденька,— сказал ему Алексашка, подмигнув Алешке,— мы тебя до дому доведем, нам тебя жалко.

Посадский был еще не в своем уме. Мальчики повели его, он бормотал, спотыкался. Вдруг: «Стой!» — отталкивал мальчишек и кому-то грозился, топал разбухшим валенком. Шли за реку, к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут: Федька Заяц. Двор у него на посаде был небольшой, на огороде — одно дерево с грачиными гнездами, но ворота и изба — новые. «Вот они, пирожки, калачики,— обрадовался Заяц, когда увидел свой двор,— вот они медовые, голубчики, выручают меня».

Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Вы куда? Зачем?» — кинулся было он к ним, но махнул рукой и пошел в избу. Сел на покрытую новой рогожей лавку, начал себя оглядывать,— все рваное. Закрутил головой, заплакал.

— Убили меня,— сказал он кривой бабе.— Кто бил, за что, не помню. Дай чистое надеть.— И вдруг заорал, застучал о лавку: — Баню затопи, я тебе приказываю, крива собака!

Баба повела носом, ушла. Мальчики жались ближе к печи, занимавшей половину избы. Заяц разговаривал:

— Выручили вы меня, ребята. Теперь — что хотите, просите... Тело мое все избитое, ребра целого нет... Куда я теперь,— возьму лоток, пойду торговать? Ох-ти мне... А ведь дело не ждет...

Алексашка опять подмигнул Алешке. Сказал:

— Награды нам никакой не надо, пусти переночевать.

Когда Заяц уполз в баню, мальчики залезли на печь.

— Завтра пойдем вместо него пироги продавать,— шепнул Алексашка,— говорю — со мной не пропадешь.

Чуть свет кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги — постные с горохом, репой, солеными грибами, и скоромные — с зайчатиной, с мясом, с лапшой. Федька Заяц стонал на лавке под тулупом,— не мог владеть ни единым членом. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить Зайцеву скотину: в руках у него все так и горело, и все — с шуточками.

— Ловкач парень,— стонал Заяц,— ох, послал бы тебя с пирогами на базар... Так ведь уйдешь с деньгами-то, увоpуешь... Больно уж расторопен...

Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет, снял со стены сорок святителей и целовал икону. Ничего не поделаешь,— Заяц поверил. Баба уложила в лотки под ветошь две сотни пирогов. Алексашка с Алешкой подвязали фартуки, заткнули рукавицы за пояс и, взяв лотки, пошли со двора.

— Вот, пироги подовые, медовые, полденьги пара, прямо с жара,— звонко кричал Алексашка, поглядывая на прохожих.— Вот, налетай, расхватывай! — Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал,

приплясывая: — Вот, налетай, пироги царские, боярские, в Кремле покупали, да по шее мне дали, Нарышкины ели, животы заболели.

Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.

— Вас, ребята, мне бог послал,— удивился Заяц.

18

Михайла Тыртов третью неделю шатался по Москве: ни службы, ни денег. Тогда на Лубянской площади дьяки над ним надсмеялись. Земли, мужиков не дали. Князь Ромодановский ругал его и срамил, велел приходить на другой год, но уже без воровства — на добром коне.

С площади он поехал ночевать в харчевню. По пути встретил старшего брата, и тот ругал его за несчастье и отнял мерина. Не догадался отнять саблю и дедовский пояс, полосатого шелка с серебряными бляхами. В тот же вечер в харчевне, разгорячась от водки с чесноком, Михайла заложил у целовальника и саблю и пояс.

К Михайле прилипли двое бойких москвичей,— один сказался купеческим сыном, другой подьячим,— вернее — попросту — кабацкая теребень,— стали Михайлу хвалить, целовать в губы, обещались потешить. С ними Михайла гулял неделю. Водили его в подполье к одному греку — курить табак из коровьих рогов, налитых водой: накуривались до море́ка,— чудилась чертовщина, сладкая жуть.

Водили в царскую мыльню — баню для народа на Москве-реке,— не столько париться, сколько поглядеть, посмеяться, когда в общий предбанник из облаков пара выскакивают голые бабы, прикрываясь вениками. И это казалось Михайле мороком, не хуже табаку.

Уговаривали пойти к сводне — потворенной бабе. Но Михайла по юности еще робел запретного. Вспомнил, как отец, бывало, после вечерни, сняв пальцами

нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, переворачивал засаленную у угла страницу и читал о женах:

«Что есть жена? Сеть прельщения человекам. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа... Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола...»

Как тут не заробеть! Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успели сесть,— из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами: брови намазаны черно — от переносья до висков, глаза круглые, уши длинные, щеки натерты свеклой до синевы. Сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы,— манить то одной, то другой рукой, в медных перстнях, звенящих обручах.

Показалась она ему бесовкой,— до того страшна,— до ужаса,— ее нагота... Дышит вином, пахнет горячим потом... Михайла вскочил, волосы зашевелились, крикнул дико, замахнулся на девку и, не ударив, выскочил на улицу.

Желтый весенний закат меркнул в дали затихшей улицы. Воздух пьяный. Хрустит ледок под сапогом. За сизой крепостной башней с железным флажком, из-за острой кровли лезет лунный круг — медно-красный,— блестит Михайле в лицо... Страшно... Постукивают зубы, холод в груди... Завизжала дверь кабака, и на крыльце — белой тенью раскорячилась та же девка.

— Чего боишься, иди назад, миленький.

Михайла кинулся бежать прочь без памяти.

Деньги скоро кончились. Товарищи отстали. Михайла, жалея о съеденном и выпитом, о виденном и нетронутом, шатался меж двор. Возвращаться в уезд к отцу и думать не хотелось.

Наконец вспомнил про сверстника, сына крестного отца, Степку Одоевского, и постучался к нему во двор. Встретили холопы недобро, морды у всех разбойничьи: «Куда в шапке на крыльцо прешь!» — один сорвал с Михайлы шапку. Однако — погрозились, пропустили.

В просторных теплых сенях, убранных по лавкам звериными шкурами, встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной рубашке, сафьянных чудных сапожках. Нагло глядя в глаза, спросил вкрадчиво:

— Какое дело до боярина?

— Скажи Степану Семенычу,— друг, мол, его, Мишка Тыртов, челом бьет.

— Скажу,— пропел отрок, лениво ушел, потряхивая шелковыми кудрями. Пришлось подождать. Бедные — не гордые. Отрок опять явился, поманил пальцем: — Заходи.

Михайла вошел в крестовую палату. Заробев, истово перекрестился на угол, где образа завешены парчовым застенком с золотыми кружевами. Покосился,— вот они как живут, богатые. Что за хоромный наряд! Стены обиты рытым бархатом. На полу — ковры и коврики — пестрота. Бархатные налавочники на лавках. На подоконниках — шитые жемчугом наоконники. У стен — сундуки и ларцы, покрытые шелком и бархатом. Любую такую покрышку — на зипун или на ферязь, и во сне не приснится... Против окон — деревянная башенка с часами, на ней — медный слон.

— А, Миша, здоро́во,— проговорил Степка Одоевский, стоя в дверях. Михайла подошел к нему, поклонился — пальцами до ковра. Степка в ответ кивнул. Все же, не как холопу, а как дворянскому сыну подал влажную руку — пожать.— Садись, будь гостем.

Он сел, играя тростью. Сел и Михайла. На Степкиной обритой голове — вышитая каменьями туфейка. Лоб — бочонком, без бровей, веки красные, нос — кривоватый, на маленьком подбородке — реденький пушок. «Такого соплей перешибить выродка, и такому — богатство»,— подумал Михайла и униженно, как подобает убогому, стал рассказывать про неудачи, про бедность, заевшую его молодой век.

— Степан Семеныч, для бога, научи ты меня, холопа твоего, куда голову приклонить... Хоть в монастырь иди... Хоть на большую дорогу с кистенем...— Степка при этих словах отдернул голову к стене, остеклянились у него выпуклые глаза. Но Михайла и виду не подал,— сказал про кистень будто так, по

скудоумию...— Степан Семеныч, ведь сил больше нет терпеть нищету проклятую...

Помолчали. Михайла негромко,— прилично,— вздыхал. Степка с недоброй усмешкой водил концом трости по крылатому зверю на ковре.

— Что ж тебе присоветовать, Миша... Много есть способов для умного, а для дураков всегда сума да тюрьма... Вон, хоть бы тот же Володька Чемоданов две добрые деревеньки оттягал у соседа... Леонтий Пустотослев недавно усадьбу добрую оттягал на Москве у Чижовых...

— Слыхал, дивился... Да как ухватиться-то за такое дело — оттягать? Шутка ли!

— Присмотри деревеньку, да и оговори того помещика. Все так делают...

— Как это — оговори?

— А так: бумаги, чернил купи на копейку у площадного подьячего и настрочи донос...

— Да в чем оговаривать-то? На что донос?

— Молод ты, Миша, молоко еще не бросил пить... Вон, Левка Пустотослев пошел к Чижову на именины, да не столько пил, сколько слушал, а когда надо, и поддакивал... Старик Чижов и брякни за столом: «Дай-де бог великому государю Федору Алексеевичу здравствовать, а то говорят, что ему и до разговенья не дожить, в Кремле-де прошлою ночью кура петухом кричала»... Пустотослев, не будь дурак, вскочил и крикнул: «Слово и Дело!» — Всех гостей с именинником — цап-царап — в приказ Тайных дел. Пустотослев: «Так, мол, и так, сказаны Чижовым на государя поносные слова». Чижову руки вывернули и — на дыбу. И завертели дело про куру, что петухом кричала. Пустотослеву за верную службу — чижовскую усадьбу, а Чижова — в Сибирь навечно. Вот как умные-то поступают...— Степка поднял на Михайлу немигающие, как у рыбы, глаза.— Володька Чемоданов еще проще сделал: донес, что хотели его у соседа на дворе убить до смерти, а дьякам обещал с добычи третью часть. Сосед-то рад был и последнее отдать, от суда отвязаться...

Раздумав, Михайла проговорил, вертя шапку:

— Не опытен я по судам-то, Степан Семеныч.

— А кабы ты был опытный, я бы тебя не учил... (Степка засмеялся до того зло,— Михайла отодвинулся, глядя на его зубы — мелкие, изъеденные.) По судам ходить нужен опыт... А то гляди — и сам попадешь на дыбу... Так-то, Миша, с сильным не связывайся, слабого — бей... Ты вот, гляжу, пришел ко мне без страха...

— Степан Семеныч, как я — без страха...

— Помолчи, молчать учиться надо... Я с тобой приветливо беседую, а знаешь, как у других бывает?.. Вот, мне скучно... Плеснул в ладоши... В горницу вскочили холопы... Потешьте меня, рабы верные... Взяли бы тебя за белы руки, да на двор — поиграть, как с мышью кошка...— Опять засмеялся одним ртом, глаза мертвые.— Не пужайся, я нынче с утра шучу.

Михайла осторожно поднялся, собираясь кланяться. Степка тронул его концом трости, заставил сесть.

— Прости, Степан Семеныч, по глупости что лишнее сказал.

— Лишнего не говорил, а смел не по чину, не по месту, не по роду,— холодно и важно ответил Степка.— Ну, бог простит. В другой раз в сенях меня жди, а в палату позовут — упирайся, не ходи. Да заставлю сесть,— не садись. И кланяться должен мне не большим поклоном, а в ноги.

У Михайлы затрепетали ноздри,— все же сломил себя, униженно стал благодарить за науку. Степка зевнул, перекрестил рот.

— Надо, надо помочь твоему убожеству... Есть у меня одна забота... Молчать-то умеешь?.. Ну, ладно... Вижу, парень понятливый... Сядь-ка ближе... (Он стукнул тростью, Михайла торопливо сел рядом. Степка оглянул его пристально.) Ты где стоишь-то, в харчевне? Ко мне ночевать приходи. Выдам тебе зипун, ферязь, штаны, сапоги нарядные, а свое, худое, пока спрячь. Боярыню одну надо ублаготворить.

— По этой части? — Михайла густо залился краской.

— По этой самой,— беса тешить. Без хлопот набьешь карман ефимками... Есть одна боярыня знатная...

Сидит на коробах с казной, а бес ее свербит... Понял, Мишка? Будешь ходить в повиновении — тогда твое счастье... А заворуешься — велю кинуть в яму к медведям,— и костей не найдут. (Он выпростал из-под жемчужных нарукавников ладони и похлопал. Вошел давешний наглый отрок.) Феоктист, отведи дворянского сына в баню, выдай ему исподнего и одежи доброй... Ужинать ко мне его приведешь.

14

Царевна Софья вернулась от обедни,— устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то — чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря, на колени опустила в вышитом платочке просфору. Стулец этот недавно по ее приказу принесли из Грановитой палаты. Вдова, царица Наталья, узнав, кричала: «Царевна-де и трон скоро велит в светлицу к себе приволочь»... Пускай серчает царица Наталья.

Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек... В светлице — чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье. Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами. Медленно вертится расписанный розами цифирьный круг на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкапчик: великий пост — не до книг, не до забав.

Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полузакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается, сладкий, в девичью светлицу... В великопостные-то дни!.. Опустить бы занавеси на окошках, погасить пестрые лучи,— неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит,— не скрипнула ли половица, не идет ли свет жизни моей, ах, не входит ли грех... «Ну, что ж, отмолю... Все святые обители обойду пешком... Пусть войдет».

В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз, бывало, металась Софья между этих стен... Кричи, изгрызи руки,— все равно, уходят годы, отцветает молодость... Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью... Из светлицы одна дверь — в монастырь. Сколько их тут — царевен — крикивало по ночам в подушку дикими голосами, рвало на себе косы,— никто не слыхал, не видел.

Сколько их прожило век бесплодный, уснуло под монастырскими плитами. Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье,— вырвалась, как шалая птица, из девичьей тюрьмы. Разрешила сердцу — люби... И свет очей, Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами,— возлюбленный со сладкими речами, любовник, вкрадчивый и нетерпеливый... Ох, грех, грех! Софья, оставив просфору, слабо замахала руками, будто отгоняла его, и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видениям...

15

Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненнокрылый погубитель. Губы задрожали,— опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучало сердце.

Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская, взволнованным телом. Но притворилась, что дремлет: сие было приличнее,— устала царевна, стоявши обедню, и почивает с улыбкой.

— Софья,— чуть слышно позвал он. Наклонился, хрустя парчой. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизъяснимое желание прошло по спине, горячей судорогой растаяло в широком тазу ее. Подняла руки — обнять Василия Васильевича за голову, и оттолкнула:

— Ох, отойди... Что ты, грех, чай, в пятницу-то...

Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он — нетерпелив. Покачала головой, вся заливаясь радостью...

— Софья,— сказал он,— внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди. Дело неотложное...

Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу — поправить венец, и рассеянно скользнула по своему отражению — некрасива, но ведь любит...

— Пойдем.

У косящатого окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя,— широкоскулый, с глазами-щелками, весь потный, в новой, дарованной шубе, весь налитой кровью от сытости и волнения. Софья, быстро подойдя, по-монашечьи наклонила голову. Иван Михайлович вытянул насколько возможно бороду и губы — ближе подступить мешало ему чрево.

— Матвеев уже в Троице. (Зеленоватые глаза Софьи расширились.) Монахи его, как царя, встречают... Мая двенадцатого ждать его на Москве. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой... Рассказывает: Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас. Милославских: «Вороны, говорит, на царскую казну слетелись... На стрелецких-де копьях хотят во дворец прыгнуть... Только этому-де не бывать... Уничтожу мятеж, стрелецкие полки разошлю по городам да на границы. Верхним боярам крылья пообломаю. Крест-де целую царю Петру Алексеевичу. А за малолетством его пусть правит мать, Наталья Кирилловна, и без того не умру, покуда так все не сбудется...»

Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. Василий Васильевич нахо-

дился поодаль, в тени. Хованский мрачно глядел под ноги, сказал:

— Сбудется, да не то... Матвееву на Москве не быть...

— А хуже других,— еще торопливее зашептал Милославский,— срамил он и лаял князя Василия Васильевича. «Васька-де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы...»

Софья медленно обернулась, встретилась глазами с Василием Васильевичем. Он усмехнулся,— слабая, жалкая морщинка скользнула в углу рта. Софья поняла: решается его жизнь, идет разговор о его голове... За эту морщинку сожгла бы Москву она сейчас... Проглотив волнение, Софья спросила:

— А что говорят стрельцы?

Милославский засопел. Василий Васильевич мягко пошел по палате, заглядывая в двери, вернулся и стал за спиной Софьи. Не сдержавшись, она перебила начавшего рассказывать Хованского.

— Царица Наталья Кирилловна крови возжаждала... С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть,— у отца с матерью в лаптях ходила... Все знают, когда Матвеев из жалости ее взял к себе в палаты, а у нее и рубашки не было переменить... А теремов сроду не знала, с мужиками за одним столом вино пила.— У Софьи полная шея, туго охваченная жемчужным воротом сорочки, налилась гневом, щеки покрылись пятнами.— Весело царица век прожила, и с покойным батюшкой и с Никоном-патриархом немало шуток было шучено... Мы-то знаем, теремные... Братец Петруша — прямо — притча, чудо какое-то — и лицом и повадкой на отца не похож.— Софья, стукнув перстнями, стиснула, прижала руки к груди...— Я — девка, мне стыдно с вами говорить о государских делах... Но уж — если Наталья Кирилловна крови захотела,— будет ей кровь... Либо всем вам головы прочь, а я в колодезь кинусь...

— Любо, любо слушать такие слова,— проговорил Василий Васильевич.— Ты, князь Иван Андреевич, расскажи царевне, что в полках творится...

— Кроме Стремянного, все полки за тебя, Софья

Алексеевна,— сказал Хованский.— Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бранят полковников матерно... («Кха»,— поперхнулся при этом слове Милославский, испуганно моргнул Василий Васильевич, а Софья и бровью не повела...) Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина, кои строго стали говорить и унимать, стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда наземь, и кричали: «Любо, любо...» И приказов они слушать не хотят; в слободах, в Белом городе и в Китае собираются в круги и мутят на базарах народ, и ходят к торговым баням, и кричат: «Не хотим, чтоб правили нами Нарышкины да Матвеев, мы им шею свернем».

— Кричать они горласты, но нам видеть надобно от них великие дела.— Софья вытянулась, изломила брови.— Пусть не побоятся на копья поднять Артамона Матвеева, Языкова и Лихачева — врагов моих, Нарышкиных — все семя... Мальчишку, щенка ее, спихнуть не побоятся... Мачеха, мачеха!.. Чрево проклятое... Вот, возьми...— Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому.— Пошли им... Скажи им,— все им будет, что просят... И жалованье, и земли, и вольности... Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им: пусть кричат меня на царство.

Милославский только махал в перепуге руками на Софью. Хованский, разгораясь безумством, скалил зубы... Василий Васильевич прикрыл глаза ладонью, не понять зачем,— быть может, не хотел, чтобы при сих словах увидали надменное лицо его...

16

Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье — лучше не надо. Разжирел и Заяц, обленился: «Поработал со свое, теперь вы потрудитесь на меня, ребята». Сидел целый день на крыльце, глядя на кур, на воробьев. Полюбил грызть орехи. С лени и жиру начали приходить к нему мысли: «А вдруг

мальчишки утаивают деньги? Не может быть, чтобы не воровали хоть по малости».

Стал он по вечерам, считая выручку, расспрашивать, придираться, лазить у них по карманам и за щеки, ища утайных денег. По ночам стал плохо спать, все думал: «Должен человек воровать — раз он около денег». Оставалось одно средство: застращать мальчишек.

Алексашка с Алешкой пришли однажды к ужину веселые — отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался,— копейки не хватает... Украли! Где копейка? Взял, с утра еще вырезанную, сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором: раз по Алексашке, два — по Алешке. Отвозив мальчиков, велел подавать ужинать.

— Так-то,— говорил он, набивая рот студнем, с уксусом, с перцем,— за битого нынче двух небитых дают... В люди вас выведу, вьюноши, сами потом спасибо скажете.

Ел Заяц щи со свининой, куриные пупки на меду с имбирем, лапшу с курой, жареное мясо. Молоко жрал с кашей. Кладя ложку на непокрытый стол, тонко рыгал. Щеки у него дрожали от сытости, глаза заплыли. Расстегнул пуговицу на портках:

— Бога будете за меня молить, чада мои дорогие... Я — добрый человек... Ешьте, пейте,— чувствуйте, я ваш отец...

Алексашка молчал, кривил рот, в глаза не глядел. После ужина сказал Алешке:

— От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду. Он теперь повадится драться, боров.

Страшно стало Алешке бросать сытую жизнь. Лучше, конечно, без битья! Да где же найти такое место на свете,— все бьют. На печи тайком плакал. Но нельзя же было отбиваться от товарища. Наутро, взяв лотки с пирогами, мальчики вышли на улицу.

Свежо было майское утро. Сизые лужи. На березах — пахучая листва. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки,— ленятся работать. На иной, босой, одна посконная рубаха, а на голове — венец из бересты, в косе — ленты.

Глаза дикие. Скворцы на крышах щелкают соловьями, заманивают девок в рощи, на траву. Вот весна-то!.. «Вот пироги подовые с медом...»

Алексашка засмеялся:

— Подождет Заяц нынешней выручки.

— Ай, Алексашка, ведь так — грабеж.

— Дура деревенская... А жалованье нам дьявол платил? Хребет на него даром два месяца ломали... Эй! Купи, стрелец, с зайчатиной, пара — с жару,— грош цена...

Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами,— народ расступился, глядя на них в страхе. Чем ближе к Всехсвятскому мосту через Москву-реку, тем стрельцов и народу становилось больше. Весь берег, как мухами, обсажен людьми,— лезли на навозные кучи — глядеть на Кремль. В зеркальной воде, едва колеблемой течением, спокойно отражались зеленоверхие башни, зубцы кирпичных стен и золотые купола кремлевских церквей, церковенок и соборов. Но неспокойны были разговоры в народе. За твердынями стен, где пестрели чудные, нарядные крыши боярских дворов и государева дворца,— в этой майской тишине творилось неладное... Что доподлинно,— еще не знали. Стрельцы шумели, не переходя моста, охраняемого с кремлевской стороны двумя пушками. Там виднелись пешие и конные жильцы — дети боярские, служившие при государевой особе. Поверх белых кафтанов на них навешаны за спиной на медных дугах лебединые крылья. Жильцов было мало, и, видимо, они робели, глядя, как с Балчуга подваливают тысячи народу.

Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили. Не до торговли. Жутко и весело. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди... У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням. Старик посадский, взлезши на кучу мусора и снявши колпак с лысины, говорил медленно:

— При покойном Алексее Михайловиче так-то народ поднялся... Хлеба не было, соли не было, деньги

стали дешевы, серебряный-то целковый казна переплавляла на медный... Бояре кровь народную пили жадно... Народ взбунтовался, снял с коня Алексея Михайловича и рвал на нем шубу... Тогда многие дворы боярские разбили и сожгли, бояр побили... И на Низу поднялся великодушный казак Разин... И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно и богато... Не поддержали... Народ слабый, одно — горланить горазд. И ныне без единодушия того, ребята, ждите,— плахи да виселицы, одолеют вас бояре...

Слушали его, разинув рты... И еще смутнее становилось и жутче. Понимали только, что в Кремле власти нет, и время бы подходящее — пошатнуть вековечную твердыню. Но как?

В другом месте выскакивал стрелец к народу:

— Чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть свет в Москву въехал... Не знаете, что ли, Матвеева? Покуда в Кремле бояре, без головы, лаялись друг с дружкой,— жить еще можно было... Теперь настоящий государь объявился,— он вожжи подтянет... Данями, налогами так всех обложит, как еще не видали... Бунтовать надо нынче, завтра будет поздно.

Кружились головы от таких слов. Завтра — поздно... Кровью наливались глаза... Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке,— седой, запретный, вероломный, полный золота... На стенах у пушек — ни одного пушкаря. Будто — вымер. И высоко — плавающие коршуны над Кремлем...

Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы, донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Его не пускали, размахивая широколезвийными бердышами. Наседая, он вздернул коня, вырвался, потерял шапку и бешено помчался по плавучему мосту,— между досок брызнула вода,— цок, цок,— тонконогий конь взмахивал весело гривой.

Тысячи народа затихли. С того берега раздался одинокий выстрел по скачущему. Врезавшись в толпу, он вытянулся на стременах,— кожа двигалась на сизо обритой его голове, длинное длинноносое лицо разгорелось от скачки; задыхаясь, он блестел карими гла-

зами из-под широких, как намазанных углем, бровей. Его узнали:

— Толстой... Петр Андреевич... Племянник Милославского... Он — за нас... Слушайте, что он скажет...

Высоким, срывающимся голосом Петр Андреевич крикнул:

— Народ... Стрельцы... Беда... Матвеев да Нарышкины только что царевича Ивана задушили... Не поспеете — они и Петра задушат... Идите скорей в Кремль, а то будет поздно...

Заворчала, зашумела, закричала толпа, ревя — кинулась к мосту. Заколыхались тысячи голов, завертелся среди них белый конь Толстого. Заскрипел мост, опустился,— бежали по колено в воде. Расталкивая народ, молча, озверелые, проходили сотня за сотней стрельцы. Где-то ударил колокол — бум, бум, бум,— чаще, тревожнее... Отозвались колокольни, заметались колокола, и все сорок сороков московских забили набат...

В тихом Кремле кое-где, блеснув солнцем, захлопнулось окошко, другое...

17

От нетерпения перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломились в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни — бить набат,— тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов валялись убитые и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носилось испуганно несколько оседланных лошадей, их ловили со смехом. Крича, били камнями окна.

Стрельцы, народ, тучи мальчишек (и Алексашка с Алешкой) глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Палаты каменные и деревянные, высокие терема, приземистые избы, сени, башни и башенки, расписанные красным, зеленым, синим, обшитые тесом и бревенчатые,—

соединены множеством переходов и лестниц. Сотни шатровых, луковичных крыш, чудных верхушек — ребрастых, пузатых, колючих, как петушьи гребешки,— блестели золотом и серебром. Здесь жил владыка земли, после бога первый...

Страшновато все-таки. Сюда не то что простому человеку с оружием подойти, а боярин оставлял коня у ворот и месил по грязи пеший, ломил шапку, косясь на царские окна. Стояли, глядели. В грудь бил надрывно голос Ивана Великого. Брала оторопь. И тогда выскочили перед толпой бойкие людишки.

— Ребята, чего рты разинули? Царевича Ивана задушили, царя Петра сейчас кончают. Айда, приставляй лестницы, ломись на крыльцо!

Гул прошел по многотысячной толпе. Резко затрещали барабаны. «Айда, айда»,— завопили дикие голоса. Кинулось десятка два стрельцов, перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли,— взбежали на Красное крыльцо. Застучали в медную дверь, навалились плечами. «Айда, айда, айда»,— ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: «Давай Матвеева, давай Нарышкиных!»...

18

— Убьют ведь, убьют... Что делать, Артамон Сергеевич?..

— Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними... Эй, послали за патриархом? Да бегите еще кто-нибудь...

— Артамон Сергеевич, это они, они, враги мои... Языков сам видел,— двое Милославских, переодетые, со стрельцами...

— Твое дело женское — молись, царица...

— Идет, идет! — закричали из сеней. Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Исступленные, в темных впадинах, глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цвет-

ным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестницы. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.

Наталья Кирилловна кинулась к патриарху. Ее полное лицо было бело, как белый плат, под чернолисьей шапочкой. Уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала:

— Спаси, спаси владыко...

— Владыко, дела плохие,— сурово сказал Артамон Сергеевич. Патриарх повернул к нему расширенные зрачки. Матвеев мотнул квадратной пего-серой бородой.— Заговор, прямой бунт... Сами не знают, что кричат...

Похожий на икону древнего письма, орлиноглазый, тонконосый, Матвеев был спокоен: видал много всякого за долгую жизнь, не раз был близ смерти. Одно чувство осталось у него — гордое властолюбие... Сдерживая гнев, трепетавший в стариковских веках, сказал:

— Лишь бы из Кремля их удалить, а там расправимся...

За окнами жгуче раздавались удары и крики. По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны,— красавец и щеголь, двадцатичетырехлетний и уже боярин, брат царицы, Иван Кириллович Нарышкин,— говорили, что будто бы уж примерял на голову царский венец. Черные усики его казались наклеенными на позеленевшем лице: словно он видел завтрашние пытки и страшную смерть свою на лобном месте. Размахивая польскими рукавами, крикнул:

— Софья пожаловала! — и скрылся за дверью. За ним вслед проковылял на кривых ногах карлик, ростом с дитятю. Держась за шутовской колпак, плакал всем морщинистым лицом, тоже будто чуя, что завтра предаст своего господина.

В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский. Щеки у Софьи были густо нарумянены. Вся — в золотой парче, в высоком жемчужном венце. Приложив к груди руки, низко поклонилась царице и патриарху. Наталья Кирилловна отшатнулась от нее, как от змеи, замигала глазами,— смолчала.

— Народ гневается, знать, есть за что,— сказала Софья громко,— ты бы с братьями вышла к народу, царица... Они бог знает что кричат, будто детей убили... Уговори, посули им милости,— того гляди, во дворец ворвутся...

Говорила, а белые зубы ее постукивали, зеленые глаза мерцали радостным возбуждением. Матвеев шагнул к ней.

— Не время сводить бабьи счеты...

— Тогда выдь ты к ним...

— Смерти не боюсь, Софья Алексеевна...

— Не спорьте,— сказал патриарх, стукнув посохом.— Покажите им детей, Ивана и Петра...

— Нет! — крикнула Наталья Кирилловна, хватаясь за виски.— Владыко, не позволю... Боюсь...

— Вынесите детей на Красное крыльцо,— повторил патриарх.

19

И вот завизжал замок на медной двери на Красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замолкли барабаны.

Алексашка повис, вцепившись руками и ногами, на пузатом столбе крыльца. Алешка не отставал от него, хотя было ой как страшно.

Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опашени и золотопарчовой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка съехала ему на ухо, открыв черные стриженые волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу.

Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание... Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой.

— Кто вам лгал,— стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови,— кто лгал, что царя и царевича задушили... Глядите, вот царь Петр Алексеевич, на руках у царицы... Здоров и весел... Вот царевич Иван,— приподнял равнодушного мальчика и показал толпе.— Оба живы божьей милостью... (В толпе стали переглядываться, заговорили: «Они самые, обману нет...») Стрельцы! Идите спокойно по домам... Если что надо,— есть какие просьбы и жалобы,— присылайте челобитчиков...

С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы раздались злые голоса:

— Ну что ж, что они живы...

— Сами видим, что живы...

— Все равно не уйдем из Кремля...

— Нашли дураков... Знаем ваши сладкие слова...

— А потом ноздри рвать у приказной избы...

— Выдайте нам Матвеевых и Нарышкиных...

— Ивана Кирилловича Нарышкина... Он царский венец примерял...

— Кровопийцы, бояре... Языкова нам выдайте... Долгорукова...

Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой,— чей-то голос крикнул со смехом: «Гляди-ка,— чистый кот». С крыльца сбежал, весь в алом бархате, в соболях, в звенящем оружии, князь Михайла Долгорукий, сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайкой:

— Рады, сучьи дети, что отец мой больной лежит. Сарынь! Прочь отсюда, псы, холопы...

Попятились было стрельцы перед свистящей нагайкой... Но не те времена,— не так надо было разговаривать... Задышали, засопели, потянулись к нему:

— А с колокольни ты не летал?.. Ты кто нам, щенок?.. Бей его, ребята!..

Взяли его за перевязь, сорвали, в клочья разлетелся бархатный кафтан. Михайла Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, взошел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним. Схватили Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери. Но было уже поздно: из сеней Грановитой палаты выскочили Овсей Ржов с товарищами.

— Бей Матвеева,— закричали они.

— Любо, любо,— заревела толпа.

Овсей Ржов насел сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекосилось, он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева...

— Оттаскивай, не бойся, рви его,— кричали стрельцы, подняв копья,— кидай нам!

Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленные копья.

Стрельцы, народ, мальчишки (Алексашка с Алешкой) ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын, и в толпе закричали:

— Хотим Ивана царем... Обоих... Хотим Софью... Любо, любо... Софью хотим на царство... Столб хотим на Красной площади, памятный столб,— чтоб воля наша была вечная...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Пошумели стрельцы. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромода-

новских, Михайлу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других — похуже родом. Получили стрелецкое жалованье — двести сорок тысяч рублев, и еще по десяти сверх того рублев каждому стрельцу наградных. (Со всех городов пришлось собирать золотую и серебряную посуду, переливать ее в деньги, чтобы уплатить стрельцам.) На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылать.

Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские — по посадам. И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки — нищета, холопство, бездолье.

Мужик с поротой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля; урожай сам-три — слава тебе, господи. Кряхтели даже бояре и именитые купцы. Боярину в дедовские времена много ли было нужно? — шуба на соболях да шапка горлатная — вот и честь. А дома хлебал те же щи с солониной, спал да молился богу. Нынче глаза стали голоднее: захотелось жить не хуже польских панов, или лифляндцев, или немцев: наслышались, повидали многое. Сердце разгорелось жадностью. Стали бояре заводить дворню по сотне душ. А их обуть, одеть в гербовые кафтаны, прокормить ненасытную ораву,— нужны не прежние деньги. В деревянных избах жить стало неприлично. Прежде боярин или боярыня выезжали со двора в санях на одной лошади, холоп сидел верхом, позади дуги. На хомут, на уздечку, на шлею навешивали лисьих хвостов, чтобы люди завидовали. Теперь— выписывай из Данцига золоченую карету, запрягай ее четверней,— иначе нет чести. А где деньги? Туго, весьма туго.

Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой — гол. За границу не повезешь,— не на чем. Моря чужие. Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы. А послушаешь, как торгуют в иных землях,— голову бы разбил с досады. Что за Россия, заклятая страна,— когда же ты с места сдвинешься?

В Москве стало два царя — Иван и Петр, и выше их — правительница, царевна Софья. Одних бояр променяли на других. Вот и все. Скука. Время остановилось. Ждать нечего. У памятного стрелецкого столба на Красной площади стоял одно время часовой с бердышом, да куда-то ушел. Простой народ кругом столба навалил всякого. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептанье. Стали стрельцы сомневаться: не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно?

Старики рассказывали,— хорошо было в старину: дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы. На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. Эх, были, да прошли времена!..

В стрелецкой слободе объявилось шесть человек раскольников — начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики. «Одно спасение,— говорили они стрельцам,— одно ваше спасение скинуть патриарха-никонианина и весь боярский синклит, оникониавившийся и ополячившийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни». Раскольники читали соловецкие тетради — о том, как избежать прелести никонианской и спасти души и животы свои. Стрельцы плакали, слушая. Старец-раскольник, Никита Пустосвят, на базаре, стоя на возу, читал народу по соловецкой тетради:

«Я, братия моя, видал антихриста, право, видал... Некогда я, печален бывши, помышляющи, как придет антихрист, молитвы говорил, да и забылся, окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу. И подле меня некто стоит. Я ему говорю: чего людей много? Он же отвечает: антихрист грядет, стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро. Ан — ведут нагого человека,— плоть-то у него вся смрад и

зело дурна, огнем дышит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует и власти, и бояре, и окольничьи, и думные дворяне... И плюнул я на него, дурно мне стало, ужасно... Знаю по писанию — скоро ему быть. Выблядков его уже много, бешеных собак...»

Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа, Иван Андреевич Хованский, стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятом, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в Грановитую палату аналои, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного крыльца кричали: «Хотим старой веры, хотим старины». А иные говорили и тверже: «Пора государыне царевне в монастырь, полно царством-то мутить». Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:

— Хотите променять нас на шестерых чернецов — мужиков — невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя, уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене...

Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья,— испугались: «Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву?..» Попятились! Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Кто-то крикнул: «Черт ли нам в старой вере, то дело поповское, бей раскольников». Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги.

Опоили проклятые бояре простых людей, вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы,— бушевали вразброд. Разбивали царские кабаки. Ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались,— великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные

трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение,— разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибив на копье челобитную о выдаче на суд и расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное крыльцо, белая от гнева: «Лгут на нас, и в мыслях того ополчения не было, крест на том целую,— закричала она, рвя с себя сверкающий алмазный наперсный крест,— то лжет на нас Матвейка-царевич». И с крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного, захудалого татарского царевича Матвейку: подавитесь!

Матвейку разорвали на мелкие клочья,— насытили ярость, и опять стрельцы ушли ни с чем... Три дня и три ночи бушевала Москва, вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но, когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст: ни царей, ни царевны,— ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.

Софья уехала в село Коломенское и послала бирючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорение. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать: уж не кликнуть ли его царем,— человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа.

Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное, в двести тысяч, ополчение сходилось к Троице-Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд, со Степкой Одоевским во главе, налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их, сонных, всех порубили саблями. Иван Андреевич в исподнем белье выскочил из шатра, размахивая бердышом. Михайла Тыртов прямо с коня кинулся ему на плечи. Прикрутив Ивана Андреевича к седлу,

повезли в село Воздвиженское, где Софья справляла свои именины. У околицы села на вынесенных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени — в шлемах, в епанчах. Михайла Тыртов сбросил с седла Хованского, и тот от горя и стыда, раздетый, стал на колени на траву и заплакал. Думный дьяк Шакловитый прочел сказку о его винах. Иван Андреевич закричал с яростью: «Ложь! Не будь меня,— давно бы в Москве по колена в крови ходили...» Трудно было боярам решиться пролить кровь столь древнего рода. Василий Васильевич сидел белее снега. И он и Хованский были Гедиминовичами, и Гедиминовича судили сейчас худородные, недавние выскочки. Видя такое шатание, Иван Михайлович Милославский отошел к верхоконным и шепнул Степке Одоевскому. Тот во весь конский мах поскакал через село к шелковому шатру царевны Софьи и тем же махом, топча кур и малых ребят, вернулся. «Правительница-де приказала не сомневаться, кончать князя». Василий Васильевич торопливо отошел, закрыл глаза платочком. Дико закричал Хованский, когда Михайла Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на дорогу. Здесь же у околицы отрубили Хованскому голову.

Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде, совсем как поляки, сто лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества.

Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу. И так стояли, грозясь, обе стороны, ожидая, кто первый испугается. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Столб на Красной площади снесли. Вольные грамоты взяты были назад. Начальником стрелецкого приказа назначили Шакловитого, скорого на расправу. Многие полки разослали по городам. Народ стал тише воды, ниже травы. И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.

2

В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. Шагах в двадцати от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меньшиков. Не плеть на этот раз была в руке у него,— сверкал кривой нож. «Остановись! — вскрикивал Данила страшным голосом,— убью!..» Алешка давно остался позади, где-то залез на дерево.

Больше года Алексашка не видел отца, и вот — встретил у разбитого и подожженного кабака, и Данила сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали — поймать и обучить ломаться медведя, но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу.

Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно — в белых чулках и в зеленом не русском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых кущ поднимались гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке, нарядный и пестрый, — теперь зарос листвой, приходил в запустение.

У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то,— должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку:

— Эй, нашу рыбу пугать... Смотри, портки снимем, переплывем,— мы тебя...

Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять:

— Ты кто, чей? Мальчик...

— А вот велю тебе голову отрубить,— проговорил мальчик глуховатым голосом,— тогда узнаешь...

Сейчас же Алешка шепнул Алексашке:

— Что ты, ведь это царь,— и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство:

— Погоди, убежим, успеем.— Закинул удочку, смеясь стал глядеть на мальчика.— Очень тебя испугались, отрубил голову один такой... А чего ты сидишь? Тебя ищут...

— Сижу, от баб прячусь.

— Я смотрю,— ты не наш ли царь. А?

Мальчик ответил не сразу,— видимо, удивился, что говорят смело.

— Ну — царь. А тебе что?

— Как что... А вот ты взял бы да и принес нам сахарных пряников. (Петр глядел на Алексашку пристально, не улыбаясь.) Ей-богу, сбегай, принесешь — одну хитрость тебе покажу.— Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу.— Гляди — игла али нет?.. Хочешь — иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет...

— Врешь? — спросил Петр.

— Вот — перекрещусь. А хочешь — ногой перекрещусь? — Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше.

— Еще бы тебе царь бегал за пряниками,— ворчливо сказал он.— А за деньги иглу протащишь?

— За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет.

— Врешь? — Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.

Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость — три раза протащил сквозь щеку иглу с

черной ниткой,— и ничего не было: ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.

— Дай-ка иглу,— сказал нетерпеливо.

— А ты что же — деньги-то?

— На!..

Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову: «Не хуже тебя, не хуже тебя!» Забыв о мальчиках, побежал к дворцу,— должно быть, учить бояр протаскивать иголки.

Рубль был новенький,— на одной стороне — двуглавый орел, на другой — правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.

— Пустяками занимается,— говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой.

В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень, от дождей взмесило грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много,— все проедал, да и еще норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся, по пояс голый, на морозе,— будто немой, паралычный,— много выжаливал денег. Бога гневить нечего,— зиму прожили неплохо.

И опять — просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дела по горло: на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем — шататься по база-

рам, вечером — в рощу — ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени. И нежданно-негаданно — наскочил...

Всю старую Басманную пробежал Алексашка,— начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался,— слышал: все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну— конец! «Карауууул!» — пискливо закричал Алексашка...

В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала.

Алексашка отдыхивался, сидя на запятках,— надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа,— с длинными кудрями, но лицо — бритое. «Франц Лефорт»,— ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.

«Мать честная, вот живут чисто»,— подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах зарябили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда,— по краям его стояли круглые деревца в зеленых кадках, и между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не

мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери аустерии, или по-нашему — кабака, плясали, сцепившись, парами девки с мужиками.

Повсюду ходили мушкетеры,— в Кремле суровые и молчаливые, здесь — в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали — без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое: будто и не на земле,— глаза впору протереть...

Вдруг въехали на широкий двор, посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.

— Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? — спросил он, смешно выговаривая слова.— Я тебя спрашиваю, мальчик. Ты — вор?

— Это я — вор? Тогда бей меня до смерти, если вор.— Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким улыбающимся ртом.— Видел, как на Разгуляе отец бежал за мной с ножом?

— А! Да, видел... Я засмеялся: большой за маленьким...

— Отец меня все равно зарежет... Возьми, пожалуйста, меня на службу... Дяденька...

— На службу? А что ты умеешь делать?

— Все умею... Первое — петь, какие хошь, песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу,— сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать — на заре начну, на заре кончу, и не вспотею... Что мне скажешь,— то и могу...

Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился.

— О, ты изрядный мальчик... Возьмешь мыла и вымоешься, ибо ты грязный... И тогда я тебе дам платье... Ты будешь служить... Но если будешь воровать...

— Этим не занимаемся, у нас, чай, ум-то есть али нет,— сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув конюху что-то про Алексашку, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая, должно быть оттого, что неподалеку на озерце играла музыка и задорно визжали немки.

8

— Да уж будет тебе, Никита Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела...

Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать Апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька, Никита Моисеев Зотов, по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына,— и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца.

— Шапку-то, шапку, головку напечет! — слабо крикнула вслед царица.

Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви,— расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи,— воротник сзади торчал выше головы. Благообразное лицо с мягкими губами и кудрявой бородой запрокинуто от истовости. Благостный человек — и говорить нечего. Скажи ему: кинься, Никита, на нож,— кинется. Предан больше собачьего, но уж больно светел, легок духом. Не таков бы нужен был дядька норовистому мальчику.

— Ты, Никита Моисеевич, побольше с ним божественное читай. А то он и на царя-то не похож... Ведь не оглянешься,— скоро уж женить... До сих пор не научился стопами шествовать,— все бегает, как простой... Ну — вон, гляди...

Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним — долговязые парни из дворцовой челяди,— с мушкетами и топориками на длинных древках. На земляном валу,— потешной крепостце, построенной перед дворцом,— за частоколом стояли согнанные с деревни мужики в широких немецких шляпах. Велено было им также держать во рту трубки с табаком. Испуганно глядя на бегущего вприскочку царя, они забыли, как нужно играть. Петр гневно закричал петушиным голосом. Наталья Кирилловна с содроганием увидела Петенькины бешеные, круглые глаза. Он вскарабкался на верх крепостцы и, сердясь, ударил несколько раз мушкетиком одного из потешных мужиков, втянувшего голову в плечи.

— Не по его — так и убьет,— проговорила Наталья Кирилловна,— в кого только нрав у него горячий?

Игра пошла сызнова. Выстраивая долговязых парней с топориками, Петр опять рассердился, что его плохо понимают. Это была беда: горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов на языке.

— Что-то головка стала у него так дергаться? — сказала Наталья Кирилловна, со страхом глядя на сына. И вдруг заткнула уши. Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали — чем помягче: пареной репой или яблоками, и выстрелили. И тотчас, побросав оружие, воздели руки — в знак того, что сдаются.

— Нельзя сдаваться! Биться должны! — кричал Петр, крутя и тряся головой.— Сначала! Все сначала!..

— Никита Моисеевич, затвори-ка окошко, очень шумят, голова разболелась,— проговорила царица.

Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела, только брови да когда-то огненные темные глаза оста-

лись от ее красоты. Всегда была в черном, покрытая черным платком. Так в Угличе когда-то жила царица Марья Нагая с несчастным Димитрием... Не стряслось бы и здесь такой же беды... Правительница Софья сидит и видит — обвенчаться с Голицыным и царствовать. Уж и корону заказала для себя немецким мастерам.

В Преображенском дворце пустынно, только челядь бегает на цыпочках, да по темным углам шепчутся старухи — мамки, няньки. Царь хоть юн, но духу старушечьего не переносит: увидит, как нянька какая-нибудь, закапанная воском, пробирается вдоль стены, так цыкнет,— старушечка едва без памяти доползет до угла.

Бояре в Преображенском не бывают,— здесь ни чести, ни прибытка. Все толпятся в Кремле, поближе к солнцу. Чтобы не совсем было зазорно, Софья приказала быть при дворе царя Петра четырем боярам: князю Михайле Алегуковичу Черкасскому, князю Лыкову, князю Троекурову и князю Борису Алексеевичу Голицыну. А велик ли прок от них? Лениво слезут с коней у крыльца, подойдут к царицыной ручке, сядут и — молчат, вздыхают. Говорить мало о чем найдется с опальной царицей. Вбежит в горницу Петр,— бояре, поклонясь нецарствующему царю, справятся о его государевом здоровье, и опять вздыхают, качают головами: уж больно прыток становится царь-то,— гляди, царапина на щеке, руки в цыпках. Неприлично.

— Никита Моисеевич, сказывали мне,— в Мытищах баба есть, Воробьиха, на квасной гуще гадает — так-то верно,— все исполняется...— проговорила царица.— Послать бы за ней!.. Да что-то боюсь... Не нагадала бы худого...

— Матушка государыня, чего же худого нагадать вам может подлая баба Воробьиха? — нараспев, приятным гласом ответил Зотов.— В таком разе Воробьиху в клочья растерзать мало.

Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Зотов подступил неслышно в мягких сапожках.

— Моисеич... Давеча в поварне,— стрелецкая вдова решето ягод приносила,— сказывала: Софья-де во

дворце кричала намедни, и все слышали: «Жалко, говорит, стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей...»

У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.

Что ей ответить? Чем утешить? У Софьи — стрелецкие полки, за Софью — все дворянское ополчение, а у Петра — три десятка потешных дураков-переростков да деревянная пушка, заряженная репой... Никита Зотов развел ладони, закинул голову, покуда не уперся затылком в жесткий воротник...

— Пошли за Воробьихой,— прошептала царица,— пусть уж скажет правду, а то так-то страшнее...

Долог, скучен летний день. Белые облака плывут и не плывут над Яузой. Знойно. Мухи. Сквозь марево видны бесчисленные купола Москвы, верхушки крепостных башен. Поближе — игла немецкой кирки, ветряные мельницы на Кукуе. Стонут куры, навевая дремоту. В поварне стучат ножами.

Бывало, при Алексее Михайловиче,— смех и шум в Преображенском, толпится народ, ржут кони. Всегда потеха какая-нибудь — охота или медвежья травля, конские гонки. А теперь — глядишь — и дорога-то сюда от каменных ворот заросла травой. Прошла жизнь. Сиди — перебирай четки.

В стекло чем-то бросили, Зотов открыл окно. Петр позвал, стоя под липой,— весь в пыли, в земле, потный, как мужичонок:

— Никита, напиши указ... Мужики мои никуда не годятся, понеже старые, глупые... Скорее!

— О чем указ прикажешь писать, твое царское величество? — спросил Никита.

— Нужно мне сто мужиков добрых, молодых... Скорее...

— А написать,— для чего мужики сии надобны?

— Для воинской потехи... Мушкетов прислали бы не ломаных и огневого зелья к ним... Да две чугунных пушки, чтобы стрелять... Скорей, скорей... Я подпишу, пошлем нарочного...

Царица, отогнув ветвь липы, склонилась в окошко:

— Петенька, свет мой, будет тебе все воевать... Отдохнул бы, посиди около меня...

— Маманя, некогда, маманя, потом...

Он убежал. Царица долгим вздохом проводила сына. Зотов, сотворив крестное знамение, вынул из кармана гусиное перо и ножичек и со тщанием перо очинил, попробовал на ноготь. Еще раз перекрестясь, с молитвой, отогнул рукав и сел писать полууставом: «Божьею милостью, мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец...»

Царица от скуки взяла почитать Петрушину учебную тетрадь. Арифметика. Тетрадь — в чернильных пятнах, написано — вкривь и вкось, неразборчиво: «Пример адиции... Долгу много, а денех у мена менше тово долгу, и надобает вычесть — много ли езчо платить. И то ставися так: долг выше, а под ним денги, и вынимают всякое исподнее слово ис верхнева. Например: один ис двух осталось один. А писать сверху два, ниже ево единица, а под единицей ставь смекальную линию, под смекальной линией — число, кое получится, или смекальное число...»

Царица зевнула,— не то есть хочется, не то еще чего-то...

— Никита Моисеевич, забыла я — полдничали сегодня мы али нет?

— Государыня матушка, Наталья Кирилловна.— Зотов, отложив перо, встал и поклонился.— Как отобедали — изволили вы почивать и, встав, полдничали,— подавали вам ягоды с усливками, грушевый взвар и мед монастырский...

— И то... Уж вечерню скоро стоять...

Царица лениво поднялась и пошла в опочивальню. Там при свете лампад (окно было занавешено) у стены на покрытых сундуках сидели злющие старухи-приживалки и поминали друг другу шепотом обиды. Разом встав, как тряпочные — без костей, поклонились царице. Она села под образами на веницейский с высокою спинкою стул, Из-за кровати выползла карлица

с гноящимися глазами, по-ребячьи всхлипывая, прикорнула у государыниных ножек,— приживалки ее чем-то обидели.

— Сны, что ли, рассказывайте, дуры бабы,— сказала Наталья Кирилловна.— Единорога никто не видел?

Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. В сенях, на лестницах появились, протирая опухшие глаза, боярские дети из мелкопоместных, худородных,— стольники, приписанные Софьей к Петрову дворцу. Был здесь и Василий Волков,— отец его расшиб лоб о пороги, добился для сына чести. Житье было сытное, легкое, жалованье — шестьдесят рублей в год. Но — скучно. Стольники спали почитай что круглые сутки.

Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок поголосистее. Обшарили, обаукали всю местность,— нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно это ее рук дело — Соньки... Давеча какой-то человек ходил круг дворца... И нож у него видели за голенищем... Зарезали, зарезали нашего батюшку-кормильца...» Наталью Кирилловну довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным Сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны; заломив руки, она закричала:

— Петенька, сын мой!

. . . .

Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер,— рыбаки повскакали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь:

— Мужики, царя не видали?

— Давеча не он ли проплыл в лодке?.. Кажись, гребли прямо на Кукуй. У немцев его ищите...

Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. С верха он увидел царя и рядом с ним длинноволосого, среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, полами короткого кафтана. В одной руке — на отлете — он держал шляпу, в другой — трость и, смеясь вольно,— собачий сын,— говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь. И все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и стал перед царем на колени.

— Милостивый государь, царица матушка убивается: уж бог знает, что про вас думали. Извольте идти домой — вечерню стоять...

Петр нетерпеливо дернул головой вбок — к плечу.

— Не хочу... Убирайся отсюда...— И, так как Волков продолжал истово глядеть на него с колен, царь загорелся, ударил его ногой.— Прочь пошел, холоп!

Волков поклонился низко и хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком — в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях — виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку.

— Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас веселее...

Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами, подтвердили с добродушными улыбками:

— О да, у нас веселее...

И ближе придвинулись — слушать, что говорил длинному, с длинной, детской шеей царю нарядный человек в пышно завитом парике — Франц Лефорт. Петр встретил его на Яузе: плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стукаясь уключинами. Петр сидел на носу, поджав ноги. Озаренные закатом, медленно приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки подстриженных деревьев, мельницы с флюгерками, голубятни. С Кукуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого

царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки.

На берегу, на куче мусора появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане, при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями,— капитан Франц Лефорт. Петр видал его в Кремле, когда принимали иноземных послов. Отнеся вбок левую руку с тростью, он снял шляпу, отступил на шаг и поклонился,— завитые космы парика закрыли ему лицо. Столь же бойко он выпрямился и, улыбаясь приподнятыми уголками рта, проговорил ломано по-русски:

— К услугам вашего царского величества...

Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо,— до того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий. Лефорт говорил, потряхивая кудрями:

— Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет просо, трясет ткацкий стан и поднимает воду в преогромную бочку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит его. В доме виноторговца Монса есть музыкальный ящик с двенадцатью кавалерами и дамами на крышке и также двумя птицами, вполне согласными натуре, но величиной с ноготь. Птицы поют по-соловьиному и трясут хвостами и крыльями, хотя все сие не что иное, как прехитрые законы механики. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы. У аптекаря можно поглядеть на младенца женского пола, живущего в спирту,— лицо поперек полторы четверти, тело — в шерсти, на руках, ногах — по два пальца.

У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. Но он молчал, сжав маленький рот. Почему-то казалось, что, если он вылезет на берег,— длиннорукий, длинный,— Лефорт засмеется над ним. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде,— веселый, красивый, добродушный,— схватил исцарапанную, с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу.

— О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады

увидеть ваше величество... Они покажут вам весьма забавные кундштюки...

Ловок, хитер был Лефорт. Петр и не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Здесь окружили их сытые, краснощекие, добрые кукуйцы, и каждый захотел показать свой дом, свою мельницу, где в колесе бегала собака, свой огород с песчаными дорожками, подстриженными кустиками и ни одной лишней травинкой. Показали все умственные штуки, о которых говорил Лефорт.

Петр удивлялся и все спрашивал: «А это зачем? А это для чего? А это как устроено?..» Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально...» Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидал маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами, в голых руках она держала лютню. Петр ужасно удивился,— даже стало страшно отчего-то. Повернув к нему чудное в сумерках лицо, девушка заиграла на струнах и запела тоненьким голоском по-немецки такое жалостное и приятное, что у всех защекотало в носу. Между зелеными шарами и конусами подстриженных деревьев сладко пахли белые цветы табаку. От непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце. Лефорт сказал ему:

— Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка, дочь зажиточного виноторговца Иоганна Монса.

Сам Иоганн Монс, с трубкой, весело поднял руку и покивал ладонью Петру. Соблазнительный голос Лефорта прошептал:

— Сейчас в аустерии соберутся девушки, будут танцы и фейерверк, или огненная забава...

По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы — идти домой. На этот раз пришлось покориться.

4

Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что, не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму, царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи... Спорили и лаялись о ценах. Вздыхали — что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха, обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море — татары, к Балтийскому не пробьешься, Китай далеко, на севере все держат англичане. Воевать бы моря, да не под силу.

К тому же мало поворотливы были русские люди. Жили по-медвежьи за крепкими воротами, за неперелазным тыном в усадьбах на Москве. В день отстаивали три службы. Четыре раза плотно ели, да спали еще днем для приличия и здоровья. Свободного времени оставалось немного: боярину — ехать во дворец, дожидаться, когда царю угодно потребовать от него службы, купцу — сидеть у лавки, зазывать прохожих, приказному дьяку — сопеть над грамотами.

Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное — подвалило счастье. Польский король Ян Собесский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ласково заговорили поляки, что нельзя же допустить, чтоб поганые турки мучили христиан, и православным русским нехорошо быть в мире с турецким султаном и ханом крымским. В Москве сразу поняли, что полякам туго и самое время с ними торговаться. Так и было: Польша в союзе с австрийским императором едва отбивалась от турок, с севера ей грозили шведы. У всех еще в памяти была опустошительная Тридцатилетняя война, когда пошатнулась Австрийская империя, обезлюдела Германия и Польша стала чуть ли не шведской вотчиной. Хозяевами морей ока-

зались французы, голландцы, турки, а по всему балтийскому побережью — шведы. Ясно было, чего сейчас добивались поляки: чтоб охранять русскими войсками украинские степи от турецкого султана.

Царственные большие печати и государственных посольских дел оберегатель и наместник новогородский, князь Василий Васильевич Голицын, потребовал от поляков вернуть Киев. «Верните нам исконную царскую вотчину Киев с городками, тогда на будущий год пошлем войско на Крым воевать хана». Три с половиной месяца спорили поляки: «Нам лучше все потерять, чем отдать Киев». Русские не торопились, стояли на своем, прочли полякам все летописи с начала крещения Руси. И пересидели, переспорили.

Ян Собесский, разбитый турками в Бессарабии, плача, подписал вечный мир с Москвой и возвращение Киева с городками. Удача была велика, но и податься некуда,— приходилось собирать войско, идти воевать хана.

5

Напротив Охотного ряда, на голицынском дворе, было чисто и чинно. Жарко блестели, от крыши до земли, обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые мушкетера — швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. С той их стороны толпа простого народа, шатающегося по Охотному ряду, глазела на сытые лица швейцарцев, на выложенный цветными плитами широкий двор, на пышную, всю в стеклах, карету, запряженную рыжей четверней, на медно сияющий дом оберегателя, любовника царевны-правительницы.

Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем де Невиллем. Гость был в парике и французском платье, какое только что стали носить при дворе Людовика Четырнадцатого. Василий Васильевич был без парика, но также во французском — в чулках и красных

башмачках, в коротких бархатных штанах с лентами,— на животе и с боков из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Бороду он брил, но усы оставил. На французском столике перед ним лежали свитки и тетради, латинские книги в пергаменте, карты и архитектурные чертежи. На стенах, обитых золоченой кожей, висели парсуны, или — по-новому — портреты, князей Голицыных и в пышной венецейской раме — изображение двоеглавого орла, державшего в лапах портрет Софьи. Французские — шпалерные и итальянские — парчовые кресла, пестрые ковры, несколько стенных часов, персидское оружие, медный глобус, термометр аглицкой работы, литого серебра подсвечники и паникадила, переплеты книг и на сводчатом потолке — расписанная золотом, серебром и лазурью небесная сфера — отражались многократно в зеркалах, в простенках и над дверями.

Гость с одобрительным любопытством поглядывал на сие наполовину азиатское, наполовину европейское убранство. Василий Васильевич, играя гусиным пером, положив ногу на ногу и великодушно улыбаясь, говорил (лишь иногда запинаясь в латинских словах и выговаривая их несколько на московский лад):

— Поясню вам, господин де Невилль. Нашего государства основа суть два сословия: кормящее и служилое, сиречь — крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне, одной лишь корысти ради, без пощады пожирает крепостного мужика, и крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо...

— Высокомысленные и мудрые слова, господин канцлер,— проговорил де Невилль.— Но как вы мечтаете выполнить сию трудную задачу?

Василий Васильевич, загораясь улыбкой, взял со стола тетрадь в сафьяне, писанную его рукой: «О гражданском житии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу...»

— Великое и многотрудное дело, ежели бы народ

весь обогатить,— проговорил он и стал читать из тетради: — «Многие миллионы десятин лежат в пустошах. Те земли надлежало бы вспахать и засеять. Скот умножить. Русскую худую овцу вывести и вместо нее обязать заводить аглицкую тонкорунную овцу. Ко всяким промыслам и рудному делу людей приохотить, давая от того им справедливую пользу. Множество непосильных оброков, барщин, податей и повинностей уничтожить и обложить всех единым поголовным, умеренным налогом. Сие возможно лишь в том размышлении, если всю землю у помещиков взять и посадить на ней крестьян вольных. Все прежде бывшие крепостные кабалы разрушить, чтобы впредь весь народ ни у кого ни в какой кабале не состоял, разве — небольшое число дворовых холопей...»

— Господин канцлер,— воскликнул де Невилль,— история не знает примеров, чтоб правитель замышлял столь великие и решительные планы. (Василий Васильевич сейчас же опустил глаза, и матовые щеки его порозовели.) Но разве дворянство согласится безропотно отдать крестьянам землю и раскабалить рабов?

— Взамен земли помещики получат жалованье. Войска будут набираться из одних дворян. Даточных рекрутов из холопов и тяглых людей мы устраняем. Крестьянин пусть занимается своим делом. Дворяне же за службу получат не земельную разверстку и души, а увеличенное жалованье, кое царская казна возьмет из общей земельной подати. Более чем вдвое должен подняться доход государства...

— Мнится — слышу философа древности,— прошептал де Невилль.

— Дворянских детей, недорослей, дабы изучали воинское дело, надобно посылать в Польшу, во Францию и Швецию. Надобно завести академии и науки. Мы украсим себя искусствами. Населим трудолюбивым крестьянством пустыни наши. Дикий народ превратим в грамотеев, грязные шалаши — в каменные палаты. Трусы сделаются храбрецами. Мы обогатим нищих. (Василий Васильевич покосился на окно, где по улице брел пыльный столб, поднимая пух и солому.) Камнями замостим улицы. Москву выстроим из

камня и кирпича.... Мудрость воссияет над бедной страной.

Не расставаясь с гусиным перышком, он покинул кресло, и ходил по коврам, и много еще необыкновенных мыслей высказал гостю:

— Английский народ сам сокрушил несправедливые порядки, но в злобстве дошел до великих преступлений — коснулся главы помазанника... Боясь сих ужасов, мы жаждем блага равно всем сословиям. Ежели дворянство будет упираться нашим начинаниям, мы силой переломим их древнее упрямство...

Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Де Невилль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, так же кланяясь и округло, от сердца вниз, помахивая рукою в перстнях и кружевах, шел Василий Васильевич.

— Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин де Невилль, что вы изволите так скоро покидать меня.

Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там на двуспальной кровати под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно в закрытой карете с черного хода.

6

— Сонюшка, здравствуй, свет мой...

Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.

— Беда какая-нибудь? — государыня...

Этой зимой Софья тайно вытравила плод. Пополневшее лицо ее, с сильными мускулами с боков рта,

не играло уже прежним румянцем,— заботы, думы, тревоги легли на нем брезгливым выражением. Одевалась она пышно, все еще по-девичьи, но повадка ее была женская, дородная, уверенная. Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки и за последнее время вместо грешного и стыдного названия — любовник — нашлось иноземное приличное слово галант,— все же отравно, нехорошо было,— без закона, не венчанной, не крученной,— отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело. Вот по этой бы весне со всей женской силой и сладкой мукой родила бы она... Люди заставили травить плод... Да и любовь ее к Василию Васильевичу была непокойная, не в меру лет: хорошо так любить семнадцатилетней девчонке,— с вечной тревогой, прячась, думая неотстанно, горя по ночам в постели. А иной раз и ненависть клубком подпирала горло,— ведь от него была вся мука, от него был затравленный плод... А ему — хоть бы что: утерся, да и в сторону...

Сидя в кровати,— широкая, с недостающими до полу ногами, горячо влажная под тяжелым платьем,— Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.

— Смешно вырядился,— проговорила она,— что же это на тебе — французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье... Смеяться будут... (Она отвернулась, подавила вздох.) Да, беда, беда, батюшка мой... Радоваться нам мало чему...

За последнее время Софья все чаще приезжала к нему мрачная, с недоговоренными мыслями. Василий Васильевич знал, что близкие к ней две бабы-шутихи, весь день шныряя по закоулкам дворца, выслушивают боярские речи и шепоты и, как Софье отходить ко сну, докладывают ей обо всем.

— Пустое, государыня,— сказал Василий Васильевич,— мало ли о чем люди болтают, не горюй, брось...

— Бросить? — Она ногтями застучала по столбику кровати, зубы у нее понемногу зло открылись.— А знаешь — о чем в Москве говорят! Править, мол, царством мы слабы... Великих делов от нас не видно...

Василий Васильевич потрогал пальцем усы, пожал плечом. Софья покосилась на него: ох, красив, ох, мука моя... Да — слаб, жилы — женские... В кружева вырядился...

— Так-то, батюшка мой... Книги ты читать горазд и писать горазд, мысли светлые,— знаю сама... А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил: «Читал, мол, мне Василий Васильевич из тетради про смердов, про мужиков,— подивился я: уж здоров ли головкой князюшка-то?» И бояре смеялись...

Как девушка, вспыхнул Василий Васильевич, изпод длинных ресниц метнул лазоревыми глазами:

— Не для их ума писано!

— Да уж какие ни на есть,— умнее слуг нам не дадено... Сама терплю: мне бы вот охота плясать, как польская королева пляшет, или на соколиную охоту выезжать на коне, сидя бочком в длинной юбке. Молчу же... Ничего не могу,— скажут: еретичка. Патриарх и так уж мне руку сует как лопату.

— Живем среди монстров,— прошептал Василий Васильевич.

— Вот что тебе скажу, батюшка... Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень епанчу походную, возьми в руки сабельку... Покажи великие дела...

— Что?.. Опять разве были разговоры про хана?

— У всех одно сейчас на уме — воевать Крым... Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой, тогда делай что хочешь. Тогда ты сильнее сильных.

— Пойми, Софья Алексеевна,— нельзя нам воевать... На иное нужны деньги...

— Иное будет после Крыма,— твердо проговорила Софья.— Я уж и грамоту заготовила: быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешая, сударь мой... Вернешься победителем,— кто тогда слово скажет? Перестанем скрываться от стыда... Верю, верю — бог нам поможет против хана.— Софья слезла с постели и глядела снизу вверх в его отвернутые глаза.— Вася, я тебе боялась сказать... Знаешь, что еще шепчут? «В Преображенском, мол,

сильный царь подрастает... А царевна, мол, только зря трет спиной горностай...» Ты мои думы пожалей... Я нехорошее думаю.— Она схватила в горячие ладони его задрожавшую руку.— Ему уж пятнадцатый годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ — вербовать всех конюхов и сокольничих в потешные. А сабли да мушкеты у них ведь из железа... Вася, спаси меня от греха... В уши мне бормочут, бормочут про Димитрия, про Углич... Чай, грех ведь это? (Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. Софья медленно, жалобно улыбнулась.) И то, я говорю, грех и думать о таких делах... То в старину было... Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего, пусть балуется...

— Нельзя нам воевать! — с горечью воскликнул Василий Васильевич.— Войска доброго нет, денег нет... Великие прожекты! — эх, все попусту! Кому их оценить, кому понять? Господи, хоть бы три, хоть бы два только года без войны...

Он безнадежно махнул кружевной манжетой... Говорить, убеждать, сопротивляться,— все равно — было без пользы.

7

Наталья Кирилловна ругала Никиту Зотова: «Да беги же ты за ним, да найди ты его,— со двора убежал чуть свет, лба не перекрестил, и куска во рту не было...»

Найти Петра не так-то было просто,— разве в роще где-нибудь начнется стрельба, барабанный бой,— значит там и царь: балуется с потешными. Никиту сколько раз брали в плен, привязывали к дереву, чтобы не надоедал просьбами — идти стоять обедню или слушать приезжего из Москвы боярина. Чтобы Никита не скучал у дерева, Петр приказывал ставить перед ним штоф водки. Так понемногу Зотов стал привыкать к чарочке и уж, бывало, сам просился в плен под березу. Возвращаясь к Наталье Кирилловне сокрушенный, он разводил руками:

— Силов нет, матушка государыня, не идет сокол-то наш...

Играть Петр был горазд — мог сутки без сна, без еды играть во что ни попало, было б шумно, весело, потешно,— стреляли бы пушки, били барабаны. Потешных солдат из царских конюхов, сокольничьих и даже из юношей изящных фамилий было у него теперь человек триста. С ними он ходил походами по деревням и монастырям вокруг Москвы. Иных монахов пугали до полусмерти: в полуденный зной, когда на березе не шелохнется листок, лишь грузно гудят пчелы под липами и одолевает дремота, из лесочка вдруг с бесовскими криками выкатываются какие-то в зеленых кафтанах, видом — не русские, и бум-тарарах — бьют из пушек деревянными ядрами в мирные монастырские стены. И еще страшнее монахам, когда узнавали в длинном, вымазанном в грязи и пороховой копоти, беспокойном вьюноше — самого царя.

Служба в потешном войске была тяжелая — ни доспать, ни доесть. Дождь ли, зной ли несносный,— взбредет царю — иди, шут его знает куда и зачем, пугать добрых людей. Иной раз потешных будили среди ночи: «Приказано обойти неприятеля. Переправляться вплавь через речку...» Некоторые и тонули в речках по ночному времени.

За леность или за нети,— если кто, соскучась без толку шагать по дорогам, сказывался в нетях, хотел бежать домой,— таких били батогами. В последнее время приставили к войску воеводу, или — по-новому — генерала,— Автонома Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел строгие порядки. При нем Петр, вместо беспорядочного баловства, стал не шутя проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским.

Франц Лефорт не состоял у Петра на должности,— так как был занят по службе в Кремле,— но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как что устроить. Через него взяли на жалованье иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Из Пушкарского приказа доставили шестнадцать пушек, и тогда стали учить потешных стрелять чугунными бом-

бами,— учили строго: Федор Зоммер даром жалованье получать не хотел. Было уже не до потехи. Много побили в полях разного скота и перекалечили народу.

8

Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре. Собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке,— среди подстриженных деревьев,— они похлопывали ладонями по столикам:

— Эй, Монс, кружечку пива!

Монс, в вязаном колпаке, в зеленом жилете, выплывал из освещенной двери аустерии, неся по пяти глиняных кружек в каждой руке. Над кружкой — шапка пены. Вечер тих и приятен. Высыпают звезды в русском небе, не столь, правда, яркие, пышные, как в Тюрингии, или Бадене, или Вюртемберге,— но жить можно не плохо и под русскими звездами.

— Монс! Расскажи-ка нам, как у тебя в гостях был царь Петр.

Монс присаживался за стол к доброй компании, отхлебывал из чужой кружки и, подмигнув, рассказывал:

— Царь Петр очень любопытный человек. Он узнал о замечательном музыкальном ящике, который стоит в моей столовой. Отец моей жены купил этот ящик в Нюренберге...

— О да, мы все знаем твой прекрасный ящик,— подтверждали слушатели, взглянув друг на друга и помотав висячими трубками.

— Я немного испугался, когда однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Я не знал, как мне нужно поступать... В таком случае русские становятся на колени. Я не хотел. Но царь сейчас же спросил меня: «Где твой ящик?» Я ответил: «Вот он, ваше помазанное величество». Тогда царь сказал: «Иоганн, не зови меня ваше помазанное величество, мне это надоело дома, но зови меня, как будто я твой друг». И Лефорт сказал: «О да, Монс, мы все будем звать его — герр Петер». И мы втроем долго смеялись этой шутке. После этого я позвал мою дочь Анхен и

велел ей завести ящик. Обыкновенно мы заводим его только раз в году, в сочельник, потому что это очень ценный ящик. Анхен посмотрела на меня — и я сказал: «Ничего, заводи». И она завела его,— кавалеры и дамы танцевали, и птички пели. Петер удивился и сказал: «Я хочу посмотреть, как он устроен». Я подумал: «Пропал музыкальный ящик». Но Анхен — очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петеру, и Лефорт перевел ему по-русски. Анхен сказала: «Ваше величество, я тоже умею петь и танцевать, но, увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, отчего я пою и танцую,— мое бедное сердце наверное после этого будет сломано...» Переведя эти слова, Лефорт засмеялся, и я громко засмеялся, и Анхен смеялась, как серебряный колокольчик. Но Петер не смеялся,— он покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхен, будто она была маленькой птичкой. И я подумал: «О, у этого юноши сидит внутри тысяча чертей». Анхен тоже покраснела и убежала со слезами на своих синих глазах...

Монс засопел и отхлебнул из чужой кружки. Он чудно и трогательно умел рассказывать истории. Приятный ночной ветерок шевелил кисточки на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. Раскуривая трубки, посетители говорили, что бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство. Бородатый и красный, могучего роста кузнец, Гаррит Кист, голландец, родом из Заандама, сказал:

— Я вижу,— если с умом взяться за дело,— из молодого царя можно извлечь много пользы.

Старый Людвиг Пфефер, часовщик, ответил ему:

— О нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы... Правительница Софья никогда не даст ему царствовать. Она — жестокая и решительная женщина... Теперь она собирает двести тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и десяти пфеннигов...

— Напрасно вы так рассуждаете, Людвиг Пфефер,— ответил ему Монс,— не раз мне рассказывал

генерал Теодор фон Зоммер, который недавно был просто — Зоммер... (Монс раскрыл рот и захохотал, и все засмеялись его шутке.) Не раз он мне говорил: «Погодите, дайте нам год или два сроку, у царя Петра будет два батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать...» Вот что сказал Зоммер...

— О, это хорошо,— проговорили собеседники и значительно переглянулись.

Такие беседы бывали по вечерам на подметенной площадке перед дверью аустерии Иоганна Монса.

9

В сводчатых палатах Дворцового приказа — жара, духота,— топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах — мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте. Писец, Иван Васков, перебеляет с листа в книгу:

«...по указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, а к тому делу взято товаров у генерала у Франца Лефорта: две цевки золота,— плачено один рубль, 13 алтын, 2 деньги, да девять дюжин пуговиц по шести алтын дюжина, да к исподнему кафтану — 6 дюжин пуговиц по 2 алтына, 4 деньги дюжина, да шелку и полотна на 10 алтын, да накладные волосы — три рубля...»

Дунув на муху, Васков поднял осовелые веки.

— Слышь, Петруха, а «волосы накладные» как писать — с прописной буквы али с малой?

Напротив сидящий подьячий, подумав, ответил:

— Пиши с малой.

— Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то?

— А ты — смотри — за такие слова...

Нагнув голову влево, чтобы ловчее писать, Васков

тихо закис от смеха,— уж очень чудно казалось ему, что государю в немецкой слободе от немок покупают волосы, платят три рубля за такую дрянь.

— Петруха, куда же он эти волосы навесит?

— На это его государева воля,— куда захочет, туда и навесит. А будешь еще спрашивать, дьяку пожалуюсь...

Дьяка тоже одолели мухи. Вынув шелковый платок, помахал он вокруг себя, вытер лицо и козлиную бороду.

— Э-эй, спите! — лениво прикрикнул он.— Разве вы писцы, разве вы подьячие? Все бы вам даром жрать казенные деньги. Страху нет на вас, бога забыли, шпыни ненадобные... Вот выдеру весь приказ батогами,— будете знать, как работать с бережением... И чернил на вас не напасешься, и бумаги прорва... Гром вас порази, племя иродово...

Вяло махнув платком, дьяк опять задремал. Скучное настало время — ни челобитчиков, ни даров. Москва опустела,— стрельцы, дети боярские, помещики, все ушли в поход, в Крым. Только — мухи да пыль, да мелкие казенные дела.

— Петруха, квасу бы сейчас выпить! — проговорил Васков и, оглянувшись на дьяка, потянулся, вывернулся, так что гнилой кафтанец треснул у него под мышками.— Вечером пойду к одной вдове, вот напьюсь квасу.— Мотнув башкой, он опять принялся писать:

«...по указу в. г. ц. и в. к. Петра Алексеевича всея В. и М. и Б. Р. самодержца велено прислать в Село Коломенское к нему в. г. ц. и в. к. всея В. и М. и Б. Р. самодержцу стряпчих конюхов — Якима Воронина, Сергея Бухвостова, Данилу Картина, Ивана Нагибина, Ивана Иевлева, Сергея Черткова да Василия Бухвостова. Упомянутых стряпчих конюхов велено взять наверх в потешные пушкари и учинить им оклады — денег по пяти рублев человеку, хлеба по пяти четвертей ржи, овса тож...»

— Петруха, вот людям счастье...

— Кто еще разговаривает, э-эй, кобели стоялые,— в полусне пригрозил дьяк.

10

Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и с бережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился за первое, примерил,— тесно! — хотел ножницами резать свои темные кудри,— Волков едва умолил этого не делать,— все-таки добился — напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл мылом, вычистил грязь из-под ногтей, торопливо оделся в новое платье. Подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх растопыренного кафтана, шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, дивился: не в обычае Петра было возиться с одеждой. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового, Степку Медведя, рослого парня, чтобы разбить башмаки,— Степка, вколотив в них ножищи, бегал по лестницам, как жеребец. В девять часов (по новому счету времени) пришел Никита Зотов — звать к ранней обедне. Петр ответил нетерпеливо:

— Скажи матушке,— у меня-де государственное дело неотложное... Один помолюсь. Да — вот что — сам-то возвращайся, да рысью, слышь...

Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе. Но — кротко покорился, убежал в мягких сапожках и скоро вернулся, сам зная, что — себе на горе. Так и вышло. Петр, вращая глазами, приказал ему:

— Поедешь великим послом от еллинского бога Бахуса — бить челом имениннику.

— Слушаю, государь Петр Алексеевич,— истово ответил Зотов. Тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову — мочалу, поверх венок из банного веника, в руки взял чашу. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из дворца черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила

четырех здоровенных кабанов. Петр кинулся помогать, кричал, дрался, суетился. Кабанов поймали, на лежачих надели шлеи, впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах (жениховский подарок покойного Алексея Михайловича; ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза). Конюшенный дьяк с трясущимися губами глядел на такое разорение и бесчинство. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова. Петр сел на козлы, Волков, при шпаге и в треугольной шляпе, пошел впереди, кидая кабанам морковь и репу. Конюха с боков стегали кнутами. Поехали на Кукуй.

У ворот слободы их встретила толпа иноземцев. «Хорошо, хорошо, очень весело,— закричали они, хлопая в ладоши,— можно лопнуть от смеха». Петр, красный, с сжатым ртом, со злым лицом, вытянувшись, сидел на козлах. Сбегалась вся слобода. Хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете — полумертвого от страха Зотова. Свиньи дергали в разные стороны, спутали сбрую. Внезапно Петр вырвал у конюха кнут и бешено застегал по свиньям. Завизжав, они понесли карету... Кого-то сбили с ног, кто-то попал под колеса, женщины хватали детей. Петр, стоя, все стегал,— багровый, с раздутыми ноздрями короткого носа. Круглые глаза его были красны, будто он сдерживал слезы.

У Лефортова двора конюха кое-как сбили свиную упряжку, своротили в раскрытые ворота. По двору бежал именинник — Лефорт, махая тростью и шляпой. За ним — пестро разодетые гости. Петр неуклюже соскочил с козел и за воротник вытащил из кареты Зотова. Все еще бешено глядя в глаза Лефорту, будто боясь увидеть в толпе кого-то,— проговорил задыхающимся голосом:

— Мейн либер генерал, привез великого посла с великим виватом от еллинского бога Бахуса...— Крупный пот выступил на лице его, облизнул губы и все еще глядя в глаза, с трудом: — Мит херцлихен грус... Сиречь, бьет челом... Свиней и карету в подарок шлет...— Все еще судорожно держа Зотова, шепотом: — Вались на колени, кланяйся...

Прекрасный, в розовом бархате, в кружевах, напудренный и надушенный Лефорт все сразу понял... Подняв высоко руки, захлопал в ладоши, залился веселым смехом и, поворачиваясь то к Петру, то к гостям, сказал:

— Вот прекрасная шутка,— веселее шутки не приходилось видеть... Мы думали поучить его забавным шуткам, но он поучит нас шутить... Эй, музыканты, марш в честь бахусова посла...

За кустами сирени ударили барабаны и литавры, заиграли трубы. У Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку. Тогда Петр обежал глазами гостей и увидел Анхен,— она улыбалась ему блестящими зубками. По плечи голая, точно высунулась навстречу ему из пышного, как роза, платья.

Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей, рядом с Лефортом, к дому, пожуравлиному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один, синеглазый, наглый, выскочил и с приговором: «Ай, дуду-дуду-дуду»,— пошел вприсядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом, завертелся юлой: «И — эх — ты!»

— Ай да Алексашка!

11

Скрипка, альты, гобои и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные менуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двухсветной залы. Захмелевшие гости отпускали такие словечки, что девицы вспыхивали, как зори, румяные красавицы с пышными, как бочки, фижмами и тяжелыми шлёпами, хохотали, как сумасшедшие. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовой. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смею-

щуюся Анхен. От музыки в нем все плясало, шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему, жестокие желания. Не слышал, что за шумом кричали гости, протягивая к нему стаканы... У Анхен лукаво сверкали зубы, она не сводила с него прельстительных глаз...

Пир все тянулся, будто день никогда не кончится. Часовщик Пфефер сунул длинный, как морковь, нос в табакерку и принялся чихать, сорвав с себя парик, взмахивал им над лысым черепом. Умора, как это было смешно! Петр раскачивался, опрокидывая длинными руками посуду вокруг себя. Руки до того казались длинны,— стоит потянуться через стол, и можно запустить пальцы в волосы Анхен, сжать ее голову, губами испытать ее смеющийся рот... И опять у него раздувалась шея, тьма застилала глаза.

Когда солнце склонилось за мельницы и в раскрытые окна повеяло прохладой, Лефорт подал руку восьмипудовой мельничихе, фрау Шимельпфениг, и пошел с нею в менуэте. Округло поводя рукой, он встряхивал обсыпанными золотой пудрой локонами, приседал и кланялся, томно закатывал глаза. Фрау Шимельпфениг, удовлетворенная и счастливая, плыла в огромных юбках, как сорокапушечный корабль, разукрашенный флагами. За этой парой двинулись все гости из залы в огород, где в клумбах были выведены цветами вензеля именинника, кусты и деревца перевязаны бантами с цветами из золотой и серебряной бумаги и дорожки разделены шахматными квадратами...

После менуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать. Он мотал головой, бурча: «Не умею, нет, не могу...» Тогда фрау Шимельпфениг, сопровождаемая Лефортом, подала ему букет,— это означало, что его выбирали в короли танцев. Отказаться было нельзя. Он покосился на веселые, но твердые глаза Лефорта и судорожно схватил даму за руку. Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглу-

шительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы, веселая музыка понеслась в вечереющее небо, пугая летучих мышей.

И опять, как давеча со свиньями, у него все сорвалось, стало жарко, безумно. Лефорт кричал:

— Фигура первая! Дамы наступают и отступают, кавалеры крутят дам!

Схватив фрау Шимельпфениг за бока, Петр завертел ее так, что роба, шлёп и фижмы закрутились вихрем. «Ох, мейн готт!» — только ахнула мельничиха. Оставив ее, он заплясал, точно сама музыка дергала его за руки и ноги. Со сжатым ртом и раздутыми ноздрями, он выделывал такие скачки и прыжки, что гости хватались за животы, глядя на него.

— Третья фигура,— кричал Лефорт,— дамы меняют кавалеров!

Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство затихло. Он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен. Между деревьями перебегали огоньки плошек, зажигаемых пороховой нитью. Сердито шипя, взвилась ракета. Два огненных шнурочка отразились в глазах Анхен.

— Ах,— шепнула она тоненьким голосом.— Ах, это чудно красиво!.. Ах, Петер, вы прекрасно танцуете...

Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса, засветились транспаранты. Как пушки, лопались бураки, трещали швермеры, сыпались искряные фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца. Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся дебошан Лефорт. «Купидон стрелами пронзает сердца!» — крикнул он Петру. От разгоряченной от танцев Анхен пахло свежей прелестью. «Ах, Петер, я устала»,— еще тоньше простонала она, повисая на его руке. Над головами разорвался швермер, огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхен вырвалась из

рук. С бешеной трескотней разорвались сотни змеек. Анхен исчезла. Из облака дыма вылезла заячья шуба и мочальная голова бахусова посла. Вконец пьяный, Никита Зотов, все еще с чашей в руке, брел, бормоча всякую чушь... Остановился, зашатался.

— Сынок, выпей,— и подал Петру чашу.— Пей, все равно пропали мы с тобой... Душу погубили, оскоромились. Пей до дна, твое царское величество, всея Великия и Малыя...

Он хотел погрозить кому-то и повалился в куст. Петр бросил выпитую чашу. Радость крутилась в нем фейерверочным колесом.

— Анхен! — крикнул он. Побежал...

Освещенные окна дома, огоньки плошек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги.

— Идем, я покажу, где она,— проговорил сзади в ухо вкрадчивый голос. Это был песельник в пунцовой рубахе, Алексашка Меньшиков с пронзительными глазами.— Девка домой пошла...

Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор, нарвались на собак, через изгороди, выскочили на площадь к мельнице перед аустерией. Наверху светилось длинное окошко. Алексашка — шепотом:

— Она там.— И бросил в стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхен,— на плечах платок, вся голова в рóжках из бумаги.

— Кто там? — спросила тоненько, вгляделась, увидела Петра, затрясла головой: — Нельзя... Идите спать, герр Петер...

Еще милее была она в этих рóжках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.

— Сторожится девка,— прошептал Алексашка. Вгляделся и, крепко обняв Петра за плечи, повел к лавке.— Ты сядь-ка лучше... Я лошадей приведу. Верхом-то доедешь?

Когда он вернулся, ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сутуло сидел, положив стиснутые кулаки на колени. Алексашка заглянул ему в лицо:

— Ты выпил, что ли? — Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. Над лугами стелился туман. Пышно раскинулись осенние звезды. В Преображенском уже кричали петухи. Ледяная рука Петра, вцепившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидываться, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди, и кости трещали.

— Держи меня, держи крепче,— хриповато проговорил он. Через небольшое время руки его ослабли. Вздохнул со стоном: — Поедем... Не уходи только... Ляжем вместе...

У крыльца подскочил Волков.

— Государь! Да, господи... А мы-то...

Подбежали стольники, конюхи. Петр сверху пхнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В темном переходе закрестилась, зашуршала старушонка,— он толкнул ее. Другая, как крыса, шмыгнула под лестницу.

— Постылые, шептуньи, чтоб вас разорвало,— бормотал он.

В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу. Помолчав, сказал:

— Быть тебе постельничим... Утром скажешь дьяку,— указ напишет... Весело было, ах, весело... Мейн либер готт.

Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Всю зиму собиралось дворянское ополчение. Трудно было доставить помещиков из деревенской глуши. Большой воевода Василий Васильевич Голицын рассылал грозные указы, грозил опалой и разорением. Помещики не торопились слезать с теплых печей:

«Эка взбрело — воевать Крым. Слава богу, у нас с ханом вечный мир, дань платим не обидную, чего же зря дворян беспокоить. То дело Голицыных,— на чужом горбе хотят чести добыть...» Ссылались на немочи, на скудость, сказывались в нетях. Иные озорничали,— от скуки и безделья в зимнюю пору всякое взбредет в голову. Стольники Борис Долгорукий и Юрий Щербатый, невмочь уклониться от похода, одели ратников в черное платье и сами на вороных конях, все в черном, как из могил восставшие, прибыли к войску,— напугали всех до полусмерти. «Быть беде,— заговорили в полках,— живыми не вернуться из похода...»

Василий Васильевич, озлившись, написал в Москву Федору Леонтьевичу Шакловитому, поставленному им возле Софьи: «Умилосердись, добейся против обидчиков моих указа, чтоб их за это воровство разорить, в старцы сослать навечно, деревни их неимущим раздать,— учинить бы им строгости такой образец, чтоб все задрожали...»

Указ заготовили, но по доброте Василий Васильевич простил озорников, со слезами просивших милости. Не успели замять это дело,— пошел слух по войску, что ночью-де к избе князя Голицына, в сени, подкинули гроб. Дрожали люди, шепча про такое страшное дело. Василий Васильевич, говорят, в тот день напился пьян и кидался в темные сени и саблей рубил пустую темноту. Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. В мартовскую ветреную ночь в обозе полковой козел,— многие слышали,— закричал человеческим голосом: «Быть беде». Козла хотели забить кольями, он порскнул в степь.

Сбежали снега, с юга подул сладкий ветер, зазеленели лозники по берегам рек и озер. Василий Васильевич ходил мрачнее тучи. Из Москвы шли нерадостные вести, будто в Кремле стал громко разговаривать Михаил Алегукович Черкасский, ближний боярин царя Петра, и бояре будто клонят к нему ухо,— над крымским походом смеются: «Крымский-де хан и ждать перестал Василия Васильевича в Крыму, в Ца-

реграде, да и во всей Европе на этот поход рукой махнули. Дорого-де Голицыны обходятся царской казне...» Даже патриарх Иоаким, бывший предстатель за Василия Васильевича, ни с того ни с сего выкинул из церкви на Барашах ризы и кафтаны, подаренные Голицыным, и служить в них запретил. Василий Васильевич писал Шакловитому тревожные письма о том, чтобы недреманным оком смотрел за Черкасским, да смотрел, чтобы патриарх меньше бывал наверху у Софьи... «А что до бояр,— то извечно их древняя корысть заела, на великое дело им жаль гроша от себя оторвать...»

Скучные вести доходили из-за границы. Французский король, у которого великие послы, Яков Долгорукий и Яков Мышецкий, просили взаймы три миллиона ливров, денег не дал и не захотел даже послов видеть. Писали про голландского посла Ушакова, что «он и люди его вконец заворовались, во многих местах они пировали и пили и многие простые слова говорили, отчего царским величествам произошло бесчестие...»

В конце мая Голицын выступил наконец со стотысячным войском на юг и на реке Самаре соединился с украинским гетманом Самойловичем. Медленно двигалось войско, таща за собой бесчисленные обозы. Кончились городки и сторожи, вошли в степи Дикого поля. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе. По далекому краю волнами ходили миражи. Закаты были коротки — желты, зелены́. Скрипом телег, ржаньем лошадей полнилась степь. Вековечной тоской па́хнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста — ни дорог, ни троп. Передовые полки уходили далеко вперед, не встречая живой души. Видимо — татары заманивали русские полчища в пески и безводье. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. Здесь только матерые казаки знали, где доставать воду.

Была уже середина июля, а Крым еще только мерещился в мареве. Полки растянулись от края до края степи. От белого света, от сухого треска кузнечиков

кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней. Много телег было брошено. Много извозных мужиков осталось у телег, умирая от жажды. Иные брели на север к Днепру. Полки роптали...

Воеводы, полковники, тысяцкие собирались в обед близ полотняного шатра Голицына, с тревогой глядели на повисшее знамя. Но никто не решался пойти и сказать: «Уходить надо назад, покуда не поздно. Чем дальше — тем страшнее, за Перекопом — мертвые пески».

Василий Васильевич в эти часы отдыхал в шатре, сняв платье, разувшись, лежа на коврах, читал по-латыни Плутарха. Великие тени, поднимаясь с книжных страниц, укрепляли бодростью его угнетенную душу. Александр, Помпей, Сципион, Лукулл, Юлий Цезарь под утомительный треск кузнечиков потрясали римскими орлами.— К славе, к славе! Еще черпал он силы, перечитывая письма Софьи: «Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! Подай тебе, господи, враги побеждати. А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься... Тогда поверю, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего... Что ж, свет мой, пишешь, чтоб я помолилась: будто я верно грешна перед богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей! всегда прошу, чтоб света моего в радости видеть. По сем здравствуй, свет мой, навеки неисчетные...»

Когда спадал зной, Василий Васильевич, надев шлем и епанчу, выходил из шатра. Завидев его, полковники, тысяцкие, есаулы садились на коней. Играли трубы, протяжно пели рожки. Войско двигалось теперь по ночам до полуденного зноя.

Так было и сегодня. С высоты кургана Василий Васильевич окинул бесчисленные дымки костров, темные пятна войск, теряющиеся во мгле линии обозов. Мгла была особенная сегодня, пыльный вал стоял кругом окоема. В безветрии тяжело дышалось. Закат багровым мраком разливался на полнеба. Летели стаи птиц, будто спасаясь... Солнце, садясь, распухало,

мглистое, страшное... Едва замерцали звезды,— затянуло их пеленой. Разгораясь, мерцало дымное зарево. Поднимался душный ветер. Яснее были видны пляшущие языки пламени,— они опоясали кольцом все войско...

У кургана остановилась кучка всадников. Один тяжелыми прыжками подскакал к шатру. Слез, поправляя высокую шапку. Василий Васильевич узнал жирное лицо и седые усы гетмана Самойловича.

— Беда, князь,— сказал он негромко,— татары степь подожгли...

Под висячими усами гетмана не видна была усмешка, тень падала на глаза...

— Кругом горит,— сказал он, показав нагайкой.

Василий Васильевич долго всматривался в зарево.

— Что ж,— посадим пеших на коней, перейдем через огонь.

— А как идти по пеплу? Ни корма, ни воды. Погибнем, князь.

— Мне отступать?

— Делай как знаешь... Казаки не пойдут через горелую степь.

— Плетями гнать через огонь!.. (Василий Васильевич несдержан был в гневе. Забегал по кургану, вонзая в сухую землю железные каблучки.) Давно вижу,— казаки не с охотой идут с нами... Смешно глядеть — в седлах дремлют. Крымскому хану небось бодрей служили... И ты кривишь душой, гетман... Поберегись... На Москве и не таких за чуб на плаху волокли... А ты — попович — давно ли свечами, рыбой торговал?

Тучный Самойлович дышал, как бык, слушая эти обиды. Но был умен и хитер,— промолчал. Сопя, взлез на коня, съехал с кургана, пропал за телегами. Василий Васильевич крикнул трубача. Хрипло запели трубы по дымной степи. Конница, пешие войска, обозы двинулись через огонь.

На заре стало видно, что идти дальше нельзя,— степь лежала черная, мертвая. Только, завиваясь, бродили по ней столбы. Усиливался ветер с юга, погнал тучами золу. Видно было, как вдали первыми пове-

нули назад казачьи разъезды. В полдень в обозе собрались воеводы, полковники и атаманы. Хмурый подъехал гетман, сунул за голенище булаву, закурил люльку. Василий Васильевич, положив руку в перстнях на латы, сказал, смиряя гордость, со слезами:

— Кто пойдет против руки господней? Сказано: человек, смири гордыню, ибо смертен есть. Господь послал нам великое несчастье... На сотни верст — ни корма, ни воды. Не боюсь смерти, но боюсь сраму. Воеводы, подумайте, приговорите — что делать?

Воеводы, полковники, атаманы, подумав, ответили:

— Отступать к Днепру, не мешкая.

Так без славы окончился крымский поход. Войска с большой поспешностью двинулись назад, теряя людей, бросая обозы, и остановились только близ Полтавы.

2

Полковники Солонина, Лизогуб, Забела, Гамалей, есаул Иван Мазепа и генеральный писарь Кочубей, тайно придя в шатер Василия Васильевича, сказали ему:

— Степь жгли казаки, жечь степь посылал гетман. И вот тебе на гетмана донос, прочти и пошли в Москву, не медли, потому что нам не под силу терпеть его своевольство: разбогател, шляхетство разорил, старшине казацкой при нем нельзя в шапках стоять. Всех лает. Русским врет, с поляками сносится и им врет, а хочет он взять Украину в свое вечное владение и вольности наши отнять. Пусть из Москвы пришлют указ — выбирать нам другого гетмана, а Самойловича ссадить...

— А для чего гетману не хотеть, чтоб я побил татар? — спросил Василий Васильевич.

— А для того ему не хотеть,— ответил есаул Иван Мазепа,— что покуда татары сильны,— вы слабы, а побьете татар, скоро и Украина станет московской вотчиной... Да то все враки... Мы вам, русским, младшие братья, одной с вами веры, и все рады жить под московским царем...

— Добро сказано,— уставясь в землю, подтвердили сизоголовые, чубастые полковники.— Лишь бы Москва наши шляхетские вольности подтвердила.

Вспомнились Василию Васильевичу черные тучи праха, бесчисленные могилы, оставленные в степях, конские ребра на всех дорогах. С загоревшимися щеками вспомнил сны свои о походах Александра Великого. Вспомнил узкие переходы кремлевского дворца, где бояре, враги, будут кланяться ему, прикрывая пальцами усы, дабы скрыть усмешку...

— Так гетман зажег степи?

— Так,— подтвердили полковники.

— Хорошо. Быть по-вашему.

В тот же день в Москву поскакал о дву конь Василий Тыртов, зашив в шапку донос на гетмана. Когда подошли под Полтаву и разбили стан, прибыла от великих государей ответная грамота. «Буде Самойлович старшине и всему малороссийскому войску негоден,— великих государей знамя и булаву и всякие войсковые клейноды у него отобрав, послать его в великороссийские города за крепкою стражей. А на его место гетманом учинить кого они, старшина со всем войском малороссийским, излюбят...»

В ту же ночь стрельцы сдвинули вокруг гетманской ставки обоз и наутро взяли гетмана в походной церкви, бросили на плохую телегу и отвезли к Голицыну. Там ему учинили допрос. Голова гетмана была обвязана мокрой тряпкой, глаза воспалены. В страхе он повторял:

— Так то же они брешут, Василий Васильевич. Ей-богу, брешут... То хитрости Мазепы, врага моего...— Увидев входящих Мазепу, Гамалея и Солонину, он побагровел, затрясся: — Так ты их слушаешь?.. Собаки, того и ждут они — Украину продать полякам.

Гамалей и Солонина, выхватив сабли, кинулись к нему. Но стрелецкие сотники отбили гетмана. Ночью в цепях его увезли на север. Надо было поторопиться выбирать нового гетмана: казачьи полки разбили в обозе бочки с горилкой, перекололи гетманских слуг, посадили на копье ненавистного всем гадяцкого пол-

ковника. По всему стану раздавались крики и песни, ружейная стрельба. Начали волноваться и московские полки.

Без зова в шатер Василия Васильевича пришел Мазепа. Был он в серой свитке, в простой бараньей шапке, только на золотой цепи висела дорогая сабля. Иван Степанович был богат, знатного шляхетского рода, помногу живал в Польше и Австрии. Здесь, в походе, он отпустил бородку,— как кацап,— стригся по московскому обычаю. Достойно поклонясь,— равный равному,— сел. Длинными сухими пальцами щипля подбородок, уставил выпуклые, умные глаза на Василия Васильевича.

— Может, пан князь хочет говорить по-латыни?.. (Василий Васильевич холодно кивнул. Мазе́па, не понижая голоса, заговорил по-латыни.) Тебе трудно разбираться в малороссийских делах. Малороссы хитры, скрытны. Завтра надо кричать нового гетмана, и есть слух, что хотят крикнуть Борковского. В таком разе лучше было бы не скидывать Самойловича: опаснее для Москвы нет врага, чем Борковский... Говорю как друг.

— Ты сам знаешь,— мы в ваши, малороссийские, дела вмешиваться не хотим,— ответил Василий Васильевич,— нам всякий гетман хоро́ш, был бы другом...

— Сладко слушать умные речи. Нам скрывать нечего,— за Москвой мы как у Христа за пазухой... (Василий Васильевич, быстро усмехнувшись, опустил глаза.) Земель наших, шляхетских, не отнимаете, к обычаям нашим благосклонны... Греха нечего таить,— есть между нами такие, что тянут к Польше... Но то, корысти своей ради, чистые разорители Украины... Разве не знаем: поддайся мы Польше,— паны нас с земель сгонят, костелы понастроят, всех сделают холопами. Нет, князь, мы великим государям верные слуги... (Василий Васильевич молчал, не поднимая глаз.) Что ж, бог меня милостями не обидел... В прошлом году закопал близ Полтавы, в тайном месте, бочонок — десять тысяч рублев золотом, на черный день. Мы, малороссы, люди простые, за великое дело не

жаль нам и животы отдать... Что страшно? Возьмет булаву изменник или дурак,— вот что страшно...

— Что ж, Иван Степанович, с богом в добрый час,— кричите завтра гетмана.— Василий Васильевич, встав, поклонился гостю. Помедлил и, взяв за плечи, троекратно облобызал его.

На другой день у походной полотняной церкви, на покрытом ризой столе лежали булава, знамя и гетманские клейноды. Две тысячи казаков стояли вокруг. Из церкви вышел в персидских латах, в епанче, в шлеме с малиновыми перьями князь Голицын, за ним — вся казацкая старшина. Василий Васильевич стал на скамью, держа в руке шелковый платочек, другую руку положив на саблю,— сказал придвинувшимся казакам:

— Всевеликое войско малороссийское, их царские величества дозволяют вам, по старому войсковому обычаю, избрать гетмана. Скажите, кто вам люб, так и будет... Люб ли Мазепа али кто другой — воля ваша...

Полковник Солонина крикнул: «Хотим Мазепу». Подхватили голоса, и зашумело все поле: «Мазепу в гетманы...»

В тот же день в шатер к князю Голицыну четыре казака принесли черный от земли бочонок с золотом.

3

Построенная года два тому назад на Яузе, пониже Преображенского дворца, крепость этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера: стены расширены и укреплены сваями, снаружи выкопаны глубокие рвы, на углах подняты крепкие башни с бойницами. Плетенные из ивняка фашины и мешки с песком прикрывали ряды бронзовых пушек, мортир и единорогов. Посредине крепости поставили столовую избу человек на пятьсот. На главной башне, над воротами, играли куранты на колоколах.

Шутки шутками, крепость — потешная, но при случае в ней можно было и отсидеться. На широком, ско-

шенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов, Преображенского и Семеновского,— Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой. «Смиррна, хальт!» — солдаты останавливались, отбивая правой ногой,— замирали... «Правой плечь — вперед! Форвертс! Неверно! Лумпен! Сволошь! Слюшааай!..» — Генерал багровел, как индюк, сидя на лошади. Даже Петр, теперь унтер-офицер, вытягивался, со страхом выкатывал глаза, проходя мимо него.

Из слободы взяли еще двух иноземцев, Франца Тиммермана, знавшего математику и обращение с астролябией, и старика Картена Брандта, хорошо понимавшего морское дело. Тиммерман стал учить Петра математике и фортификации, Картен Брандт взялся строить суда по примеру найденного в кладовой в селе Измайлове удивительного ботика, ходившего под боковым парусом против ветра.

Все чаще из Москвы наезжали бояре — взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на Яузе? Куда идет столько денег и столько оружия из Оружейной палаты?.. Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки: впереди — боярин, в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне, борода — веником, щеки налитые, за ним — дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. На этой стороне речки тянутся воза с песком, с фашинами; солдаты тащат бревна; на высокой треноге, на блоках поднимается тяжелая колотушка, и — эх! — бьет в сваи; летит земля с лопат, расхаживают иноземцы с планами, с циркулями, стучат топоры, визжат пилы, бегают десятники с саженями. И вот,— о господи, пресвятые угодники! — не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву, нет! — царь, в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке, рысью по доскам везет тачку...

Снимает боярин шапку о сорока соболей, снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны. И — глядят, разводя руками... Отцы и деды нерушимой

стеной стояли вокруг царя, оберегали, чтоб пылинка али муха не села на его миропомазанное величие. Без малого как бога живого выводили к народу в редкие дни, блюли византийское древнее великолепие... А это что? А этот что же вытворяет? С холопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегает по доскам, бесстыдник,— трубка во рту с мерзким зелием, еже есть табак... Основу шатает... Уж это не потеха, не баловство... Ишь, как за рекой холопы зубы-то скалят...

Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом:

— Казни, государь, за правду, стар я молчать,— стыдно глядеть, срамно, небывало...

Как жердь длинный, вылезет Петр на плетеный вал, прищурится:

— А, это ты... Слышь... Что Голицын пишет,— завоевал он Крым-то али все еще нет?

И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои, кому не глотку драть,— на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж,— все одно голова с плеч,— заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит: «Отца-де твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя, род-де наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся, иди в баню, иди в храм божий...»

— Алексашка,— скажет Петр,— давай фитиль.— И, наведя, ахнет из двенадцатифунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман; весь в смеющихся морщинах, как печеное яблоко, трясется низенький, коренастый Картен Брандт. И все иноземцы и русские повыскочат на валы глядеть, как свалилась горлатная шапка, помертвев, повалился боярин на руки ближних дворян, шарахнулись, брыкаются лошади. На весь день хватит смеха и рассказов.

Крепость наименовали — стольный город Прешпург.

4

Алексашка Меньшиков, как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был, бес, проворен, угадывал мысли: только кудри отлетали,— повернется, кинется и — сделано. Непонятно, когда спал,— проведет ладонью по роже и, как вымытый,— веселый, ясноглазый, смешливый. Ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину,— ему нипочем. Начнет потешать — умора; как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел, или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню, или как поругались два зайки... Петр от смеха плакал, глядя — ну, прямо — влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом. Но он метил выше: все — шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы, Петр от нетерпения грызет заусенцы,— Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и — скороговоркой, чтобы не прогнали:

— Так это же надо вот как делать — проще простого.

— О-о-о-о-о-о! — скажут генералы.

У Петра вспыхнут глаза.

— Верно!

Раздобыть ли надо чего-нибудь,— Алексашка брал денег и верхом летел в Москву, через плетни, огороды, и доставал нужное, как из-под земли. Потом подавая Никите Зотову (ведающему Потешным приказом) счетик,— степенно вздыхал, пошмыгивая, помаргивая: «Уж что-что, а уж тут на грош обману нет...»

— Алексашка, Алексашка,— качал головой Зотов,— да видано ли сие, чтоб за еловые жерди плачено по три алтына? Им красная цена — алтын... Ах, Алексашка...

— Не наспех, так и — алтын, а тут — дорого, что наспех. Быстро я с жердями обернулся, вот что дорого,— чтобы Петра Алексеевича нам не томить...

— Ох, повесят тебя когда-нибудь за твое воровство.

— Господи, да что вы, за что напрасно обижаете, Никита Моисеич...— отвернув морду, нашмыгав слезы из синих глаз, Алексашка говорил такие жалостные слова.

Зотов, бывало, махнет на него пером:

— Ну, ладно, иди... На этот раз поверю,— смотри-и...

Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру: «Мальчишка пойдет далеко, предан, как пес, умен, как бес». Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно,— чем бы ни одаривали. Носил Лефортовы кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик — огромный, рыжий, как огонь,— надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Данилычем.

Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки:

— Мин херц[1] (так Алексашка часто называл теперь Петра), прикажи показать ему барабанную ловкость... Алеша, бери барабан...

Не спеша, положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил, раскатился горохом,— выбил сбор, зорю, походный марш, «бегом, коли, руби, ура», и чесанул плясовую,— ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали — даже не видно.

Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.

— В первую роту барабанщиком!..

Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали коротки, гололедицей сковало землю, из низких туч посыпало крупой,— начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Через

---

[1] То есть: mein Herz — мое сердце.

Алексашку иноземцы передавали приглашения царю Петру: на красивой бумаге в рамке из столбов и виноградных лоз,— пузатый голый мужик сидит на бочке, сверху — голый младенец стреляет из лука, снизу — старец положил около себя косу. Посредине золотыми чернилами вирши:

«С сердечным поклоном зовем вас на кружку пива и танцы», а если прочесть одни заглавные буквы — выходило «герр Петер».

Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь (верхом Петр ездить не любил, слишком был длинен). Вдвоем они закатывались на Кукуй. Алексашка по дороге говорил:

— Давеча забегал в аустерию, мин херц,— заказать полпива, как вы приказали,— видел Анну Ивановну... Обещалась сегодня быть беспременно...

Петр, шмыгнув носом, молчал. Страшная сила тянула его на эти вечера. Кованые колеса громыхали по обледенелым колеям, в тьме не разглядеть дороги, на плотине воют голые сучья. И вот — приветливые огоньки. Алексашка, всматриваясь, говорил: «Левей, левей, мин херц, заворачивай в проулок, здесь не проедем...» Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики. Голые плечи у женщин. Музыка. Кружатся пары. Трехсвечные с зерцалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени.

Петр входил не просто,— всегда как-нибудь особенно выкатив глаза: длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге... Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива.

— Петер! — громко вскрикивал хозяин. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками, дамы приседали перед странным юношей — царем варваров, показывая в низком книксене пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контраданс Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в са-

мой поре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она со вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова.

Когда, звякнув огромными шпорами, приглашал ее какой-нибудь молодец-мушкетер,— на Петра находила туча, он сутулился на табуретке, искоса следя, как разлетаются юбки беззаботно танцующей Анхен, повертывается русая головка, клонится к мушкетеру шея, перехваченная бархоткой с золотым сердечком.

У него громко болело сердце — так желанна, недоступно соблазнительна была она.

Алексашка танцевал с почтенными дамами, кои за возрастом праздно сидели у стен,— трудился до седьмого пота, красавец. Часам к десяти молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками, чудной сладости и сытости, под названием — картофель... Петр много ел, пил пиво,— стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку. Снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях.

— Была бы у меня мельница на слободе али кожевенное заведение, как у Тиммермана... Вот бы...— говорил Петр, хватаясь за железо тележки.

— Тоже — чему позавидовали... Держитесь крепче — канава.

— Дурак... Видел, как живут? Лучше нашего...

— И вы бы тогда женились...

— Молчи, в зубы дам...

— Погоди-ка... опять сбились...

— Завтра маменьке отвечай... В мыльню иди, исповедуйся, причащайся,— опоганился... Завтра в Москву ехать,— мне это хуже не знаю чего... Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем — ниже Соньки... У Ванечки-брата из носу воняет. Морды эти боярские, сонные,— так бы сапогом в них и пхнул... Молчи, терпи... Царь! Они меня зарежут, я знаю...

— Да зря вы, чай, так-то думаете,— спьяну.

— Сонька — подколодная змея... Милославские — саранча алчная... Их сабли, колья не забуду... С крыльца меня скинуть хотели, да народ страшно закричал... Помнишь?

— Помню!

— Васька Голицын одно войско в степи погубил, велено в другой раз идти на Крым... Сонька, Милославские дождаться не могут, когда он с войсками вернется... У них сто тысяч... Укажут им на меня, ударят в набат...

— В Прешпурге отсидимся...

— Они меня уж раз ядом травили... С ножом подсылали.— Петр вскочил, озираясь. Тьма, ни огонька. Алексашка схватил его за пояс, усадил.— Проклятые, проклятые!

— Тпру... Вот она где — плотина.— Алексашка хлестнул вожжами. Свистели вётлы. Добрый конь вынес на крутой берег. Показались огоньки Преображенского.— Стрельцов, мин херц, ныне по набату не подпимешь, эти времена прошли, спроси кого хочешь, спроси Алешку Бровкина, он в слободах бывает... Они сестрицей вашей тоже не слишком довольны...

— Брошу вас всех к черту, убегу в Голландию, лучше я часовым мастером стану...

Алешка свистнул.

— И не видать Анны Ивановны, как ушей.

Петр нагнулся к коленям. Вдруг кашлянул и засмеялся.

Весело загоготал Алексашка, стегнул по лошади.

— Скоро вас мамаша женит... Женатый человек,— известно,— на своих ногах стоит... Недолго еще, потерпите... Эх, одна беда, что она — немка, лютеранка... А то бы чего проще, лучше... А?..

Петр придвинулся к нему, с дрожащими от мороза губами силился разглядеть в темноте Алексашкины глаза...

— А почему нельзя?

— Ну,— захотел! Анну Ивановну-то в царицы? Жди тогда набата...

5

Прельстительные юбочки Анхен кружились только по воскресеньям,— раз в неделю бывали хмель и веселье. В понедельник кукуйцы надевали вязаные колпаки, стеганые жилеты и трудились, как пчелы. С большим почтением относились они к труду,— будь то купец или простой ремесленник. «Он честно зарабатывает свой хлеб»,— говорили они, уважительно поднимая палец.

Чуть свет в понедельник Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картен Брандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская: Картен Брандт строил модели судов по амстердамским чертежам. Немцы — мастера и ученики — подмастерья, взятые по указу из ближних стольников и потешных солдат, кто половчее,— строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии.

Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение, резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец, в пристройку, и там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше.

Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле: «Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится... Осетров ей навезли из Астрахани — саженных. И ведь хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка... Жадна она стала, слуг голодом морит...» Рассказывали, что, тоскуя по Василии Васильевиче, Софья взяла наверх ученого чернеца, Сильвестра Медведева, и он вроде как галант и астроном: ходит в шелковой рясе, с алмазным крестом, шевелит перстнями, бороду подстригает,— она у него — как у вóрона и хорошо пахнет. Во всякий час входит к Соньке, и они занимаются волшебством. Сильвестр влазит на окно, глядит в трубу на звезды, пишет знаки и, уставя палец к носу, читает по ним,

и Сонька наваливается к нему грудью, все спрашивает: «Ну, как, да — ну, как?»... Вчера видели,— принес в мешке человечий след вынутый, кости и корешки, зажег три свечи,— шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы... Соньку трясло, глаза выпучила, сидела синяя, как мертвец...

Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом:

— Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?

— Темные, матушка царица, темные, истинный бог...

— Кудрявые?

— Именно — кудрявые... И все мы думаем: уж не нашего ли батюшки, Петра Алексеевича, волосы жег...

Про Сильвестра Медведева рассказывали, что учит он хлебопоклонной ереси, коя идет от покойного Симеоны Полоцкого и от иезуитов. Написал книгу «Манна», где глаголет и мудрствует, будто не при словах «сотвори убо» и прочая, а только при словах: «Примите, ядите» — хлеб пресуществляется в дары. В Москве только и говорят теперь и спорят, и бедные и богатые, в палатах и на базарах, что о хлебе: при коих словах он пресуществляется? Головы идут кругом,— не знают — как и молиться, чтоб вовремя угодить к пресуществлению. И многие кидаются от этой ереси в раскол...

По Москве ходит рыжий поп Филька и, когда соберутся около него, начинает неистовствовать: «Послан-де я от бога учить вас истинной вере, апостолы Петр и Павел мне сородичи... Чтоб вы крестились двумя перстами, а не тремя: в трех-де перстах сидит Кика-бес, сие есть кукиш, в нем вся преисподняя,— кукишом креститесь...» Многие тут же в него верят и смущаются. И никакой хитростью схватить его нельзя.

От поборов на крымский поход все обнищали. Говорят: на второй поход и последнюю шкуру сдерут. Слободы и посады пустеют. Народ тысячами бежит к раскольникам,— за Уральский камень, в Поморье, и в Поволжье, и на Дон. И те, раскольники, ждут антихриста,— есть такие, которые его уже видели. Чтоб хоть души спасти, раскольничьи проповедники ходят по селам и хуторам и уговаривают народ жечься живыми в овинах и банях. Кричат, что царь, и патриарх,

и все духовенство посланы антихристом. Запираются в монастырях и бьются с царским войском, посланным брать их в кандалы. В Палеостровском монастыре раскольники побили две сотни стрельцов, а когда стало не под силу, заперлись в церкви и зажглись живыми. Под Хвалынском в горах тридцать раскольников загородились в овине боронами, зажглись и сгорели живыми же. И под Нижним в лесах горят люди в срубах. На Дону, на реке Медведице, беглый человек, Кузьма, называет себя папой, крестится на солнце и говорит: «Бог наш на небе, а на земле бога не стало, на земле стал антихрист — московский царь, патриарх и бояре — его слуги...» Казаки съезжаются к тому папе и верят... Весь Дон шатается.

От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. Петенька веселился, забавлялся, не ведая, какой надвигается мрак на его головушку. Народ забыл смирение и страх... Живыми в огонь кидаются, этот ли народ не страшен!

Содрогалась Наталья Кирилловна, вспоминая кровавый бунт Стеньки Разина... Будто вчера это было... Тогда так же ожидали антихриста, Стенькины атаманы крестились двумя перстами. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки цветных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику...

Думала: «Женить надо Петрушу,— длинный стал, дергается, вино пьет,— все с немками, с девками... Женится, успокоится... Да пойти бы с ним, с молодой царицей по монастырям, вымолить у бога счастья, охраны от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной...»

Женить, женить надо было Петрушу. Бывало раньше,— приедут ближние бояре,— он хоть часок посидит с ними на отцовском троне в обветшалой Крестовой палате. А теперь на все: «Некогда...» В Крестовой палате поставили чан на две тысячи ведер — пускать кораблики, паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом. Трон прожгли, окно разбили.

Царица плакалась младшему брату Льву Кирилловичу. Тот вздыхал уныло: «Что ж, сестрица, жени его,

хуже не будет... Вот у Лопухиных, у окольничего Лариона, девка Евдокия на выданье, в самом соку,— шестнадцати лет... Лопухины — горласты, род многочисленный, захудалый... Как псы будут около тебя...»

По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом — человек сорок — прискакали в монастырь, набились полну церковь,— все худые, злые, низкорослые, глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом возочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке. Осмотрела. Повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю, тайно. Девица ей понравилась. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла,— у Лопухиных горели глаза...

Одна радость случилась среди горя и уныния: двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска, из-под Полтавы, в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе — мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича: «Осрамил-де нас перед Европой, не полки ему водить — сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли», ругал и срамил ближних бояр за то, что «брюхом думаете, глаза жиром заплыли, Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет...» И с той поры зачастил в Преображенское.

Глядя на постройку Прешбурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похваливал. Осматривая корабельную мастерскую, сказал Петру:

— При Акциуме римляне захватили корабли морских разбойников, да не знали, что с ними делать,— отрезали им медные носы, прибили на ростры, сиречь колонны. Но лишь научась сами рубить и оснащать корабли, завоевали моря и — весь мир.

Он долго говорил с Картеном Брандтом, пытая его

знание, и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в ста двадцати верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Для перевода книг подарил Петру ученого арапского карлу Абрама с товарищами Томосой и Секой, карлами же, ростом — один двенадцать вершков, другой — тринадцать с четвертью, одетых в странные кафтанцы и в чалмы с павлиньими перьями.

Борис Алексеевич был богат и силен, ума — особенной остроты, ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом — невоздержан к питию и более всего любил забавы и веселую компанию. Наталья Кирилловна вначале боялась его,— не подослан ли Софьей? С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но, что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета — четверней, с двумя страшенными эфиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом — к ручке царицы-матушки. Румяный, с крупным носом,— под глазами дрожат припухлые мешочки,— от закрученных усов, от подстриженной, с пролысинкой, бородки несет мускусом. Глядя на зубы его, засмеешься: до того белы, веселы...

— Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам... Надоел, прости...

— Полно, батюшка, тебе всегда рады... Что в Москве-то слышно?

— Скучно, царица, да уж так в Кремле скучно... Весь дворец паутиной затянуло...

— Что ты говоришь? Да ну тебя...

— По всем палатам бояре на лавках дремлют. Ску-у-ка... Дела пло-охи, никто не уважает... Правительница третий день личика не кажет, заперлась... Сунулся к ручке, к царю Ивану,— лежит его царское величество на лежаночке в лисьей шубке, в валеночках, так-то пригорюнился: «Что,— говорит мне,— Борис, скучно у нас? Ветер воет в трубах, так-то страшно. К чему бы?..»

Наталья Кирилловна догадалась наконец,— все шутит. Метнула взором на него, засмеялась...

— Только и приободришься, что у вас, царица... Доброго ты сына родила, умнее всех окажется, дай срок... Глаз у него не спящий...

Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синева, поманит солнцем. Значит — непрочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят...

Петр полюбил Бориса Алексеевича; встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег, и князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и карлами гулять и шалить на Кукуе,— выдумывал необыкновенные потехи. Не раз, разгоряченный вином, вскакивал,— бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос... И по-латыни читал из Вергилия:

«Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки, и сердце — весельем, и душу — сладкой пищей...»

Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе, да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне... А здесь — взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи. Шумство. Веселье...

— Быть пьяному синклиту нерушимо! — Петр приказал Никите Зотову писать указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье, соборно славить греческих богов». Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Зотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью — на шею. Алексашку, во всем безобразии, сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеху.

В Москву дошел слух об этих сборищах. Бояре испуганно зашептали: «На Кукуе немцы проклятые царя вконец споили, кощунствуют и бесовствуют».

В Преображенское приехал князь Приимков-Ростовский, истовый старик, ударил Петру челом и с час говорил — витиевато, на древнеславянском — о том, как беречь византийское благолепие и благочестие, на коем одном стоит Россия. Петр молча слушал (в столовой палате играл с Алексашкой в шахматы, были сумерки). Потом толкнул доску с фигурами и заходил, грызя заусенец. Князь все говорил, поднимая рукава тяжелой шубы,— длиннобородый, сухой... Не человек — тень надоевшая, ломота зубная, скука! Петр нагнулся к Алексашкину уху, тот фыркнул, как кот, ушел, скалясь. Скоро подали лошадей, и Петр велел князю сесть в сани,— повез его к Лефорту.

За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов, в бумажной короне, в руках держал трубку и гусиное яйцо. Петр без смеха поклонился ему и просил благословить, и архипастырь с важностью благословил его на питье трубкой и яйцом. Тогда все (человек двадцать) запели гнусавыми голосами ермосы. Князь Приимков-Ростовский, страшась перед царем показать невежество, тайно закрестился под полой шубы, тайно отплюнулся. А когда на бочку полез голый человек с чашей, и царь и великий князь всея Великия и Малыя и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно: «Сие есть бог наш, Бахус, коему поклонимся»,— помертвел князь Приимков-Ростовский, зашатался. Старика без памяти отнесли в сани.

С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбища у Лефорта — сумасброднейшим и всепьянейшим собором.

Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина, Федора Юрьевича Ромодановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.

Докладывал правительнице:

— Шалостей и забав там много, но и дела много... В Преображенском не дремлют...

Ненавистью, смутным страхом зашлось сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться,— подрос волчонок...

6

Неожиданно из Полтавы прибыл Василий Васильевич. Еще только брезжил рассвет, а уж в дворцовых сенях и переходах — не протолкаться. Гул, как в улье. Софья не спала ночь. Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью, платье,— более пуда весом,— бармы в лалах, изумрудах и алмазах, ожерелья, золотая цепь — давили плечи. Сидела у окна, сжав губы, чтобы не дрожали. Верка, ближняя женщина, дышала на замерзшее стекло:

— Матушка, голубушка,— едет!

Подхватила царевну под локоть, и Софья взглянула: по выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка серых в яблоках, на головах — султаны, на бархатных шлеях — наборные кисти до земли, впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы, крича: «Пади, пади!», у дверей низкого, крытого парчой возка скачут офицеры в железных латах, коротких епанчах. Остановились у Красного крыльца. Дворяне, в тесноте ломая бока друг другу, кинулись высаживать князя...

У правительницы закатились глаза. Верка опять подхватила ее,— «вот соскучилась-то сердешная!». Софья прохрипела:

— Верка, подай Мономахову шапку.

Она увидела Василия Васильевича, только когда всходила на трон в Грановитой палате. В паникадилах горели свечи. Бояре сидели по скамьям. Он стоял, пышно одетый, но весь будто потраченный молью: борода и усы отросли, глаза ввалились, лицо желтоватое, редкие волосы слежались на голове...

Софья едва сдерживала слезы. Оторвала от подлокотника полную, туго схваченную у запястья горячую руку. Став на колено, князь поцеловал, прикоснулся к ней шершавыми губами. Она ждала не того и содрогнулась, будто чувствуя беду...

— Рады видеть тебя, князь Василий Васильевич. Хотим знать про твое здравие...— Она чуть кашлянула, чтобы голос не хрипел.— Милостив ли бог к делам нашим, кои мы вверили тебе?..

Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды, по уставу — блаженно-тихие отроки, в белом, в горностаевых шапках, с серебряными топориками, стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружали крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно, по древнему чину византийских императоров. Василий Васильевич слушал, преклоня колено, опустив голову, раскинув руки...

Софья отговорила. Василий Васильевич встал и благодарил за милостивые слова. Два думных пристава степенно подставили ему раскладной стул. Дело дошло до главного,— зачем он и приехал. Пытливо и недоверчиво Василий Васильевич покосился на ряды знакомых лиц,— сухие, как на иконах, медно-красные, злые, распухшие от лени, с наморщенными лбами,— вытянулись, ожидая, что скажет князь Голицын, подбираясь к их кошелям... Василий Васильевич повел речь околицами... «Я-де раб и холоп ваш, великих государей, царей и великих князей и прочая, бью челом вам, великим государям, в том, чтобы вы, великие государи, мне бы, холопу вашему Ваське с товарищи, вашу, великих государей, милость как и раньше, так и впредь оказали и велели бы пресвятые пречистые владычицы богородицы, милосердные царицы и приснодевы Марии образ из Донского монастыря к войску вашему, государеву, непобедимому и победоносному, послать, дабы пречистая богородица сама полками вашими предводительствовала и от всяких напастей заступала и над врагами вашими преславные победы и дивное одоление являла...»

Долго он говорил. От духоты, от боярского потения туман стоял сиянием над оплывающими свечами. Окончил про образ Донской богородицы. Бояре, подумав для порядка, приговорили: послать. Вздыхали облегченно. Тогда Василий Васильевич уже твердо заговорил о главном: войскам третий месяц не плачено жалованья. Иноземные офицеры,— к примеру полковник Патрик Гордон,— обижаются, медные деньги кидают наземь, просят заплатить серебром, от край-

ности хоть соболями... Люди пообносились, валенок нет, все войско в лаптях, и тех не хватает... А с февраля — выступать в поход... Как бы опять сраму не получилось.

— Сколько же денег просишь у нас? — спросила Софья.

— Тысяч пятьсот серебром и золотом.

Бояре ахнули. У иных попадали трости и костыли. Зашумели. Вскакивая, ударяли себя рукавами по бокам: «Ахти нам!..» Василий Васильевич глядел на Софью, и она отвечала горящим взглядом. Он заговорил еще смелее:

— Были у меня в стану два человека из Варшавы, монахи, иезуиты. Есть у них грамота от французского короля, чтоб им верить. Предлагают они великое дело. Вам (привстав, поклонился Софье), пресветлым государям, от того дела быть должна немалая польза... Говорят они так: на морях-де ныне много разбойников, французским кораблям ходить кругом света опасно, много товаров напрасно гибнет. А через русскую землю путь на восток прямой и легкий — и в Персию, и в Индию, и в Китай. Вывозить, мол, вам товары все равно не на чем, купцы ваши московские безденежны. А французские купцы богаты. И чем вам без пользы оберегать границы,— пустите наших купцов в Сибирь и дальше, куда им захочется. Они и дороги порубят в болотах, и верстовые столбы поставят, и взъезжие ямы. В Сибири будут покупать меха, платить за них золотом, а ежели найдут руды, то станут заводить и рудное дело.

Старый князь Приимков-Ростовский, не сдержав сердца, перебил Василия Васильевича:

— От своих кукуйских еретиков не знаем куда деваться. А ты чужих на шею накачиваешь... Конец православию!..

— Едва англичан сбыли при покойном государе,— крикнул думный дворянин Боборыкин,— а ныне под француза нам идти?.. Не бывать тому.

Другой, Зиновьев, проговорил с яростью:

— Нам на том крепко стоять, чтоб их, иноземцев, древнюю пыху вконец сломить... А не на том, чтоб

им давать промыслы да торговлю... Чтоб их во смирение привести... Мы есть третий Рим...

— Истинно, истинно,— зашумели бояре.

Василий Васильевич оглядывался, от гнева глаза посветлели, дрожали ноздри...

— Не менее вашего о государстве болею... (Он повысил голос.) Грудь... (Он ударил перстнями по кольчуге.) Грудь изорвал ногтями, когда узнал, как французские министры бесчестили наших великих послов Долгорукого и Мышецкого... Поехали просить денег с пустыми руками,— честь и потеряли на том... (Многие бояре густо засопели.) А поехали бы с выгодой французскому королю,— три миллиона ливров давно бы лежали в приказе Большого дворца. Иезуиты клялись на евангелии: лишь бы великие государи согласились на их прожект, и Дума приговорила,— а уж они головой ручаются за три миллиона ливров, кои получим еще до весны.

— Что ж, бояре, подумайте о сем,— сказала Софья,— дело великое.

Легко сказать — подумать о таком деле... Действительно было время, после великой смуты,— когда иноземцы коршунами кинулись на Россию, захватили промыслы и торговлю, сбили цены на все. Помещикам едва не даром приходилось отдавать лен, пеньку, хлеб. Да они же, иноземцы, приучили русских людей носить испанский бархат, голландское полотно, французские шелка, ездить в каретах, сидеть на итальянских стульях. При покойном Алексее Михайловиче скинули иноземное иго! — сами-де повезем морем товары. Из Голландии выписали мастера Картена Брандта, с великими трудами построили корабль «Орел»,— да на этом и замерло дело, людей, способных к мореходству, не оказалось. Да и денег было мало. Да и хлопотно. «Орел» сгнил, стоя на Волге у Нижнего Новгорода. И опять лезут иноземцы, норовят по локоть засунуться в русский карман... Что тут придумать? Пятьсот тысяч рублей на войну с ханом выложи,— Голицын без денег не уедет... Ишь, ловко поманил тремя миллионами! Вспотеешь, думая...

Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:

— Наложить бы еще какую подать на посады и слободы... Ну, хошь бы на соль...

Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал:

— На лапти еще налогу нет...

— Истинно, истинно,— зашумели бояре,— мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей,— вот и побьем хана...

Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу. Перехитрили Василия Васильевича. Он не сдавался,— нарушив чин, вскочил, застучал тростью.

— Безумцы! Нищие — бросаете в грязь сокровище! Голодные — отталкиваете руку, протянувшую хлеб... Да что же, господь помрачил умы ваши? Во всех христианских странах,— а есть такие, что и уезда нашего не стоят,— жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей... Лишь мы одни дремлем непробудно... Как в чуму — розно бежит народ,— отчаянно... Леса полны разбойников... И те уходят куда глаза глядят... Скоро пустыней назовут русскую землю! Приходи, швед, англичанин, турок — владей...

Слезы чрезмерной досады брызнули из синих глаз Василия Васильевича. Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась с трона,— у самой дрожали щеки.

— Французов допускать незачем,— густо проговорил боярин князь Федор Юрьевич Ромодановский. Софья впилась в него взором. Бояре затихли. Он, покачав чревом, чтобы сползти к краю лавки, встал: коротконогий, с широкой спиной, с маленькой приглаженной головой, ушедшей в плечи. Холодно было смотреть в раскосые темные глаза его. Бороду недавно обрил, усы были закручены, крючковатый нос висел над толстыми губами.— Французских купцов нам не надо — последнюю рубашку снимут... Так... Вот недавно был в Преображенском у государя... Потеха, баловство... Верно... Но и потеха бы-

вает разумная... Немцы, голландцы, мастера, корабельщики, офицеры,— дело знают... Два полка — Семеновский, Преображенский — не нашим чета стрельцам. Купцов иноземных нам не надо, а без иноземцев не обойтись... Заводить у себя железное дело, полотняное, кожевенное, стекольное... Мельницы ставить под лесопилки, как на Кукуе. Заводить флот — вот что надо. А что приговорим мы сегодня налог на лапти... А, да ну вас,— приговаривайте, мне все одно...

Он, будто рассердясь, мотнул толстым лицом, закрученными усами, попятился, сел на лавку... В этот день боярская Дума окончательно ничего не приговорила...

7

В морозный вечер много гостей собралось в аустерии. Дурень слуга все подбрасывал березовые дрова в очаг. «О, и жарко же у тебя, Монс!» — гости играли в зернь и карты, смеялись, пели. Иоганн Монс откупорил третью бочку пива. Он сбросил ватный жилет и остался в одной фуфайке. Шея его была сизая. «Эй, Иоганн, ты бы вышел постоять на морозе, у тебя много крови». Монс рассеянно улыбнулся, сам не понимая, что с ним. Шум голосов доносился будто издалека, на глаза навертывались слезы. Подхватил было десять кружек с пивом,— не смог их поднять, расплескал. Истома ползла по телу. Он толкнул дверь, вышел на мороз и прислонился к столбику под навесом. Высоко стоял ледяной месяц в трех радужных огромных кругах. Воздух — полон морозных переливающихся игол... Снег — на земле, на кустах и крышах. Чужая земля, чужое небо, смерть на всем. Он часто задышал... Что-то с невероятной быстротой близилось к нему... Ах, только бы еще раз взглянуть на родную Тюрингию,— где уютный городок в долине меж гор над озером!.. Слезы потекли по его щекам. Режущая боль схватила сердце... Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей показались пепель-

ными. Грудь всколыхнулась, выдавила вопль, и он упал...

Так умер Иоганн Монс. Горем и удивлением надолго поразила его смерть всех немцев. После него осталась вдова, Матильда, четверо детей и три заведения — аустерия, мельница и ювелирная лавка. Старшую дочь, Модесту, этой осенью, слава богу, удалось выдать замуж за достойного человека, поручика Федора Балка. Оставались сиротами Анна и двое маленьких — Филимон и Виллим. Как часто бывает, дела после смерти главы дома оказались не так уж хороши, обнаружились долговые расписки. Пришлось отдать за долги мельницу и ювелирную лавку. В это горестное время много помог Лефорт деньгами и хлопотами. Дом с аустерией остался за вдовой, где Матильда и Анхен день и ночь теперь проливали горькие слезы.

8

— Маменька, звали?

— Сядь, ангел Петенька...

Петр ткнулся на табурет, с досадой оглядывал матушкину опочивальню. Наталья Кирилловна, сидя против него, ласково усмехалась. Ох, и грязен, платье порвано. Палец обвязан тряпкой. Волосики — вихрами. Под веками — тень, глаза беспокойные...

— Петруша, ангел мой, не гневайся — выслушай...

— Слушаю, маменька...

— Женить тебя хочу...

Стремительно Петр вскочил, размахивая руками, забегал от озаренных ликов святителей до двери вкривь и вкось по спальне. Сел. Дернул головой... Большие ступни повернулись носками внутрь.

— На ком?

— Присмотрена, облюбована уже такая лапушка,— голубь белый...

Наталья Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам,— хотела заглянуть в глаза. У него густо залились румянцем уши. Вынырнул из-под ее руки, опять вскочил:

— Да некогда мне, маменька... Право, дело есть... Ну надо,— так жените... Не до того мне...

Задев плечом за косяк, сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам, вдалеке хлопнул дверью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ивашка Бровкин (Алешкин отец) привез по санному пути в Преображенское воз мороженой птицы, муки, гороху и бочку капусты. Это был столовый оброк Василию Волкову,— домоправитель собрал его с деревеньки и, чтобы добро не гнило, приказал везти господину на место службы, где у Волкова, как у стольника, во дворце имелась своя каморка с чуланом. Въехав во двор, Ивашка Бровкин испугался и снял шапку. Множество богатых саней и возков стояло у Красного крыльца. Переговаривались на утреннем морозе кучки нарядных холопов; кони, украшенные лисьими и волчьими хвостами, балуясь, били чистый снег, зло визжали стоялые жеребцы. Вкруг дымящегося навоза суетились воробьи.

По открытой лестнице всходили и сбегали золотокафтанные стольники и офицеры в иноземных кафтанах с красными отворотами, с бабьими кудрявыми волосами. Ивашка Бровкин признал и своего господина,— на царских харчах Василий Волков раздобрел, бородка кудрявилась, ходил важно, держась за шелковый кушак.

«Эх, задержат меня, не в добрый час приехал!» — подумал Ивашка. Разнуздал лошадь, бросил ей сенца. Подошла царская собака, строго желтыми глазами посмотрела на Ивашку, зарычала... Он умильно распустил все морщины: «Собаченька, батюшка, что ты, что ты...» Отошла, сволочь сытая, не укусила, слава богу. Прошел мимо плечистый конюх.

— Ты что, бродяга,— кормить здесь расположился?..

Но тут конюха окликнули, слава богу, а то бы целым Ивашке не выпутаться... Сено он убрал, лошадь опять взнуздал. В это время малиново на дворцовой вышке ударили в колокола. Засуетились холопы,— одни повскакали верхами на выносных коней, другие прыгнули на запятки, зверовидные задастые кучера расправили вожжи... На лестнице на каждой ступени стали стольники, сдвинув шапки искривя. Из дворца повалили поезжане: отроки с иконами, юноши с пустыми блюдами,— дорогие шапки, зеленые, парчовые, алобархатные кафтаны и шубы загорелись на снегу под осыпанными инеем плакучими березами. Понимая приличие, Бровкин стал креститься. Вышли бояре... Среди них — женщина во многих шубах, одна дороже другой... Под рогастой кикой брови ее густо набелены — белые, веки — сизые — расписаны до висков, щеки кругло, клюквенно нарумянены... Лицо как блин... В руке — ветка рябины. Красивая, веселая, видно — хмельная... Ее вели с крыльца под руки. Дворовые девки, пробегая мимо Ивашки, говорили:

— Сваха, гляди-ка,— мамыньки.

— Сенник приезжала убирать...

— Постель стелить молодым...

Гикнули конюха, воздух запел от бубенцов, завизжали полозья, посыпался иней с берез,— поезд потянулся через равнину к сизым дымам Москвы. Ивашка глядел, разинув рот. Его сурово окликнули:

— Очнись, разиня...

Перед ним стоял Василий Волков. Как и подобает господину,— брови гневно сдвинуты, глаза строгие, пронизывающие...

— Чего привез?

Ивашка поклонился в снег и, вынув из-за пазухи письмо от управителя, подал. Василий Волков отставил ногу, наморщась, стал читать: «Милостивый господин пресветлый государь, посылаем тебе столовый для твоей милости запас. Прости для бога, что против прежнего года недобрано: гусей битых менее, а индюков и вовсе нет... Народишко в твоей милости деревеньке совсем оскудел, пять душ в бегах ныне,

уж и не знаем, как перед тобой отвечать... А иные сами едва с голоду живы, хлеба чуть до покрова хватило, едят лебеду. По сей причине недобор приключился».

Василий Волков кинулся к телеге: «Покажи!» — Ивашка расшпилил воз, трясясь от страху... Гуси тощие, куры синие, мука в комках...

— Ты чего привез? Ты чего мне привез, пес паршивый! — неистово закричал Волков.— Воруете! Заворовались! — Дернул из воза кнут и начал стегать Ивашку. Тот стоял без шапки, не уклонялся, только моргал. Хитрый был мужик,— понял: пронесло беду, пускай постегает, через полушубок не больно...

Кнут переломился в черенке. Волков, разгораясь, схватил Ивашку за волосы. В это время от дворца быстро подбегали двое в военных кафтанах. Ивашка подумал: «На подмогу ему, ну — пропал...» Передний,— что пониже ростом, — вдруг налетел на Волкова, ударил его в бок... Господин едва не упал, выпустив Ивашкины волосы. Другой, что повыше,— синеглазый, с длинным лицом, громко засмеялся... И все трое начали спорить, лаяться... Ивашка испугался не на шутку, опять стал на колени... Волков шумел:

— Не потерплю бесчестья! Оба мои холопы! Прикажу бить их без пощады... Мне царь — не указка...

Тогда синеглазый, прищурясь, перебил его:

— Постой, постой,— повтори-ка... Тебе царь — не указка? Алеша, слышал противные слова? (Ивашке.) Слышал ты?

— Постой, Александр Данилыч...— Гнев сразу слетел с Васьки Волкова.— В беспамятстве я проговорил слова, ей-ей в беспамятстве... Ведь мой же холоп меня же чуть не до смерти...

— Пойдем к Петру Алексеевичу, там разберемся...

Алексашка зашагал к дворцу, Волков — за ним,— на полпути стал хватать за рукав. Третий не пошел за ними, остался около воза и тихо сказал Ивашке:

— Батя, ведь это я... Не узнал? Я — Алеша...

Совсем заробел Ивашка. Покосился. Стоит чистый юноша, в дорогом сукне, ясных пуговицах, на-

кладные волосы до плеч, на боку — палаш. Все может быть и Алеша... Что тут будешь делать? Ивашка отвечал двусмысленно:

— Конечно, как нам не признать... Дело отецкое...

— Здравствуй, батя.

— Здравствуй, честной отрок...

— Что дома-то у нас?

— Слава богу.

— Живете-то как?

— Слава богу...

— Батя, не узнаешь ты меня...

— Все может быть...

Ивашка, видя, что битья и страданья больше не будет, надел шапку, подобрал сломанный кнут, сердито начал зашпиливать раскрытый воз. Отрок не уходил, не отвязывался. А может, и в самом деле это пропавший Алешка? Да что из того,— высоко, значит, птица поднялась. С большого ли ума признавать-то его — приличнее и не признавать... Все же глаз у Ивашки хитро стал щуриться.

— Отсюда бы мне в Москву надо, старуха велела соли купить, да денег ни полушки... Алтын бы пять али копеек восемь дали бы, за нами не пропадет, люди свои, отдадим...

— Батя, родной...

Алешка выхватил из кармана горсть, да не медных,— серебра: рубля с три али более. Ивашка обомлел. И когда принял в заскорузлую, как ковш, руку эти деньги,— затрясся, и колени сами подогнулись — кланяться... Алеша махнул ручкой, убежал... «Ах, сынок, ах, сынок»,— тихо причитывал Ивашка. Сощуренные глаза его быстро посматривали,— не видал ли эти деньги кто из челяди? Две деньги сунул за щеку для верности, остальные в шапку. Поскорее выгрузил воз, сдав добро господскому слуге под расписку, и, нахлестывая вожжами, погнал в Москву.

Плохо бы отозвались Ваське Волкову его слова: «Мне-де царь — не указка»,— спознаться бы ему с заплечными мастерам в приказе Тайных дел...

Но, вскочив за Алексашкой в сени, он повис у него на руке, проволокся несколько по полу и, плача, умолил взять перстень с лалом,— сдернул с пальца...

— Смотри, дворянский сын, сволочь,— проговорил Алексашка, сажая дорогое кольцо на средний палец,— в последний раз тебя выручаю... Да еще Алеше Бровкину дашь за бесчестие деньгами али сукном... Понял?

Взглянув на лал, с усмешкой тряхнул париком и пошел на точеных каблуках, покачивая плечами... Давно ли люди на базарах его за виски таскали, нюхнув пироги с гнилой зайчатиной? Ах, какую силу стал брать человек!.. Волков понуро побрел к себе в каморку. Отомкнув сундук со звоном, бережно отыскал кусок сукна... До слез стало жалко, обидно... Кому? Мужицкому сыну, холопу, коего плетью поперек морды — дарить! Погоревал. Крикнул слугу:

— Отнеси первой преображенской роты барабанщику Алексею Бровкину,— скажешь, мол, кланяюсь, чтоб между нами была любовь...— Вдруг, стиснув кулак, грозно — слуге:— Ты зубы-то не скаль, двину в зубы-то... С Алешкой говори тихо, человечно, бережно,— он, подлец, ныне опасный...

Алексашка Меньшиков искал Петра по всем палатам, где слуги накрывали праздничными уборами лавки и подоконники, стелили ковры, вешали слежавшиеся за долгие годы занавесы и шитые жемчугом застенки на образа... Наливали лампады. Стук и беготня раздавались по всему дворцу.

Петра он нашел одного в се́ннике, только что убранном свахой,— пристройке без земляного наката на потолке (чтоб молодые легли спать не под землей, как в могиле). Петр был в царском для малого выхода платье. В руке все еще держал шелковый платочек, поданный ему, когда встречал сваху. Платочек был изорван в клочья зубами. Петр, вскользь взглянув на Алексашку, залился румянцем...

— Убранство красивое,— проговорил Алексашка певуче,— чисто в раю для ангелов приготовлено...

Петр разжал зубы и хохотнул. Указал на постель:

— Чепуха какая...

— Окажется молодая ладная, горячая, так — и не чепуха... Лопни глаза, мин херц, слаще этого ничего нет...

— Врешь ты все...

— Я-то с четырнадцати лет это знаю... Да еще какие шкуры-девки попадались... А твоя-то, говорят, распрекрасная краля...

Петр коротко передохнул. Опять оглянул бревенчатый сенник с высоко прорубленными в трех стенах цветными окошками. В простенках — тегеранские ковры, пол застлан ковром с птицами и единорогами. В углах воткнуто четыре стрелы, на каждой повешено по сорок соболей и калач. На двух сдвинутых лавках, на двадцати семи ржаных снопах, на семи перинах постлана шелковая постель со множеством подушек в жемчужных наволоках, сверху на них лежала меховая шапка. В ногах куньи одеяла. У постели стояли липовые бочки с пшеницей, рожью, овсом и ячменем...

— Что ж, ты так ее и не видел? — спросил Петр.

— Мы с Алешкой челядинцев подкупили и на крышу лазили. Никак нельзя... Невеста в потемках сидит, мать от нее ни на шаг,— сглазу боятся, чтобы не испортили... Сору не велено из ее светлицы выносить... Дядья Лопухины день и ночь по двору ходят с пищалями, саблями...

— Про Софью узнавал?

— Что ж,— побесилась, а разве она может запретить тебе жениться? Ты смотри, мин херц, как сядете с молодой за стол, ничего не ешь, не пей... А захочешь испить, оглянись на меня, я подам чашу, из нее и пей...

Петр опять укусил изорванный платочек.

— В слободу съездим? Никто чтоб не узнал... На часок... А?

— Не проси, мин херц, сейчас и не думай об Монсихе...

Петр вытянул шею, раздул ноздри, бледнея.

— Волю взял со мной говорить! (Схватил Алексашку за грудь,— отлетели пуговицы...) Осмелел? — Сопнув, тряхнул еще, но отпустил, и — спокойнее:— Принеси шубу поплоше... Выйду в огород, туда подашь сани...

2

Свадьбу сыграли в Преображенском. Званых, кроме Нарышкиных и невестиной родни, было мало: кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич Голицын, да Федор Юрьевич Ромодановский. Наталья Кирилловна позвала его в посаженые отцы. Царь Иван не мог быть за немочью, Софья в этот день уехала на богомолье.

Все было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали на невесту легкую сорочку и чулки, красного шелка длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шелка летник с просторными, до полу, рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею убранное алмазами, бобровое, во все плечи, ожерелье, им так стянули горло,— Евдокия едва не обмерла. Поверх летника — широкий опашень клюквенного сукна со ста двадцатью финифтяными пуговицами, еще поверх — подволоку, сребротканую, на легком меху, мантию, тяжело шитую жемчугом. Пальцы унизали перстнями, уши оттянули звенящими серьгами. Волосы причесали так туго, что невеста не могла моргнуть глазами, косу переплели множеством лент, на голову воздели высокий, в виде города, венец.

Часам к трем Евдокия Ларионовна была чуть жива,— как восковая, сидела на собольей подушечке. Не могла даже глядеть на сласти, что были принесены в дубовом ларце от жениха в подарок: сахарные звери, пряники с оттиснутыми ликами угодников, огурцы, варенные в меду, орехи и изюм, крепенькие рязанские яблоки. По обычаю, здесь же

находился костяной ларчик с рукодельем и другой медный, вызолоченный, с кольцами и серьгами. Поверх лежал пучок березовых хворостин — розга.

Отец, окольничий Ларион Лопухин, коего с этого дня приказано звать Федором, то и дело входил, облизывая пересохшие губы: «Ну, как, ну, что невеста-то?» — жиловатый носик окостенел у него... Потоптавшись, спохватывался, уходил торопливо. Мать, Евстигнея Аникитовна, давно обмерла, привалившись к стене. Сенные девки, не евшие с зари, начали похрипывать.

Вбежала сваха, махнула трехаршинными рукавами.

— Готова невеста? Зовите поезжан... Каравай берите, фонари зажигайте... Девки-плясицы где? Ой, мало... У бояр Одоевских двенадцать плясало, а тут ведь царя женим... Ой, милые, невестушка-то — красота неописанная... Да где еще такие-то,— и нету их... Ой, милые, бесценные, что же вы сделали, без ножа зарезали... Невеста-то у нас неприкрытая... Самую суть забыли... Покров, покров-то где?

Невесту покрыли поверх венца белым платом, под ним руки ей сложили на груди, голову велели держать низко. Евстигнея Аникитовна тихо заголосила. Вбежал Ларион, неся перед собою, как на приступ, благословляющий образ. Девки-плясицы махнули платочками, затоптались, закружились:

Хмелюшка по выходам гуляет,
Сам себя хмель выхваляет,
Нету меня, хмелюшки, лучше...
Нету меня, хмеля, веселее...

Слуги подняли на блюдах караваи. За ними пошли фонарщики со слюдяными фонарями на древках. Два свечника несли пудовую невестину свечу. Дружка, в серебряном кафтане, через плечо перевязанный полотенцем, Петька Лопухин, двоюродный брат невесты, нес миску с хмелем, шелковыми платками, собольими и беличьими шкурками и горстью червонцев. За ним двое дядьев, Лопухины, самые расторопные,— известные сутяги и ябедники,— держали

путь: следили, чтобы никто не перебежал невесте дорогу. За ними сваха и подсваха вели под руки Евдокию,— от тяжелого платья, от поста, от страха у бедной подгибались ноги. За невестой две старые боярыни несли на блюдах,— одна — бархатную бабью кику, другая — убрусы для раздачи гостям. Шел Ларион в собранных со всего рода мехах, на шаг позади — Евстигнея Аникитовна, под конец валила вся невестина родня, торопливо теснясь в узких дверях и переходах.

Так вступили в Крестовую палату. Невесту посадили под образа. Миску с хмелем, мехами и деньгами, блюда с караваями поставили на стол, где уже расставлены были солонки, перечницы и уксусницы. Сели по чину. Молчали. У Лопухиных натянулись, высохли глаза,— боялись, не совершить бы промаха. Не шевелились, не дышали. Сваха дернула Лариона за рукав:

— Не томи...

Он медленно перекрестился и послал невестину дружку возвестить царю, что время идти по невесту. У Петьки Лопухина, когда уходил, дрожал бритый вдавленный затылок. Трещали лампады, не колебалось пламя свечей. Ждать пришлось долго. Сваха порой щекотала у невесты меж ребер, чтоб дышала.

Заскрипели лестницы на переходах. Идут! Двое рынд, неслышно появясь, стали у дверей. Вошел посаженый отец, Федор Юрьевич Ромодановский. Пуча глаза на отблескивающие оклады, перекрестился, за руку поздоровался с Ларионом и сел напротив невесты, пальцы сунул в пальцы. Снова молчали небольшое время. Федор Юрьевич сказал густым голосом:

— Подите, просите царя и великого князя всея России, чтобы, не мешкав, изволил идти к своему делу.

Невестина родня моргнула, глотнула слюни. Один из дядьев вышел навстречу государю. Он уже близился,— молод, не терпелось... В дверь влетели клубы ладана. Вступили — рослый, буйноволосый благовещенский протопоп, держа медный с мощами крест и широко махая кадилом, и молодой дворцовый поп, мало кому ведомый (знали, что Петр прозвал его Битка), кропил святой водой красного сукна дорожку. Меж

ними шел ветхий, слабоголосый митрополит во всем блаженном чине.

Невестина родня вскочила. Ларион выбежал из-за стола, упал на колени посреди палаты. Свадебный тысяцкий, Борис Алексеевич Голицын, вел под руку Петра. На царе были бармы и отцовские,— ему едва не по колена,— золотые ризы. Мономахов венец Софья приказала не давать. Петр был непокрыт, темные кудри расчесаны на пробор, бледный, глаза стеклянные, немигающие, выпячены желваки с боков рта. Сваха крепче подхватила Евдокию,— почуяла под рукой, как у нее задрожали ребрышки.

За женихом шел ясельничий, Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи колдовства и держать чин. Был он трезв, чист и светел. Лопухины, те, что постарше, переглянулись: князь-папа, кутилка, бесстыдник,— не такого ждали ясельничим... Лев Кириллыч и старый Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые ее наряды — милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опашень... Когда надевала,— плакала Наталья Кирилловна о невозвратной молодости. И шла сейчас красивая, статная, как в былые года...

Борис Голицын, подойдя к тому из Лопухиных, кто сидел рядом с невестой, и зазвенев в шапке червонцами, сказал громко:

— Хотим князю откупить место.

— Дешево не продадим,— ответил Лопухин и, как полагалось, загородил рукой невесту.

— Железо, серебро или золото?

— Золото.

Борис Алексеевич высыпал в тарелку червонцы и, взяв Лопухина за руку, свел с места. Петр, стоявший среди бояр, усмехнулся, его легонько стали подталкивать. Голицын взял его под локти и посадил рядом с невестой. Петр ощутил горячую округлость ее бедра, отодвинул ногу.

Слуги внесли и поставили первую перемену кушаний. Митрополит, закатывая глаза, прочел молитвы и благословил еду и питье. Но никто не дотронулся до

блюд. Сваха поклонилась в пояс Лариону и Евстигнее Аникитовне:

— Благословите невесту чесать и крутить.

— Благословит бог,— ответил Ларион. Евстигнея только прошевелила губами. Два свечника протянули непрозрачный плат между женихом и невестой. Сенные девки в дверях, боярыни и боярышни за столом запели подблюдные песни — невеселые, протяжные. Петр, косясь, видел, как за шевелящимся покровом суетятся сваха и подсваха, шепчут: «Уберите ленты-то... Клади косу, закручивай... Кику, кику давайте...» Детским тихим голосом заплакала Евдокия... У него жарко застучало сердце: запретное, женское, сырое — плакало подле него, таинственно готовилось к чему-то, чего нет слаще на свете... Он вплоть приблизился к покрывалу, почувствовал ее дыхание... Сверху выскакнуло размалеванное лицо свахи с веселым ртом до ушей.

— Потерпи, государь, недолго томиться-то...

Покрывало упало, невеста сидела опять с закрытым лицом, но уже в бабьем уборе. Обеими руками сваха взяла из миски хмель и осыпала Петра и Евдокию. Осыпав, омахала их соболями. Платки и червонцы, что лежали в миске, стала разбрасывать гостям. Женщины запели веселую. Закружились плясицы. За дверями ударили бубны и литавры. Борис Голицын резал караваи и сыр и вместе с ширинками раздавал по чину сидящим.

Тогда слуги внесли вторую перемену. Никто из Лопухиных, чтобы не показать, что голодны, ничего не ел,— отодвигали блюда. Сейчас же внесли третью перемену, и сваха громко сказала:

— Благословите молодых вести к венцу.

Наталья Кирилловна и Ромодановский, Ларион и Евстигнея подняли образа. Петр и Евдокия, стоя рядом, кланялись до полу. Благословив, Ларион Лопухин отстегнул от пояса плеть и ударил дочь по спине три раза — больно.

— Ты, дочь моя, знала отцовскую плеть, передаю тебя мужу, ныне не я за ослушанье — бить тебя будет муж сей плетью...

И, поклонясь, передал плеть Петру. Свечники подняли фонари, тысяцкий подхватил жениха под локти, свахи — невесту. Лопухины хранили путь: девку одну, впопыхах за нуждой хотевшую перебежать дорогу, так пхнули — слуги уволокли едва живую. Вся свадьба переходами и лестницами медленно двинулась в дворцовую церковь. Был уже восьмой час.

Митрополит не спешил, служа. В церкви было холодно, дуло сквозь бревенчатые стены. За решетками морозных окошек — мрак. Жалобно скрипел флюгер на крыше. Петр видел одну только руку неведомой ему женщины под покрывалом — слабую, с двумя серебряными колечками, с крашеными ногтями. Держа капающую свечу, она дрожала,— синие жилки, коротенький мизинец... Дрожит, как овечий хвост... Он отвел глаза, прищурился на огоньки низенького иконостаса...

...Вчера так и не удалось проститься с Анхен. Вдова Матильда, увидев подъезжавшего в простых санях Петра, кинулась, целовала руку, рыдала, что-де погибают от бедности, нету дров да того-сего, а бедная Анхен третьи сутки лежит в бреду, в горячке... Он отстранил вдову и побежал по лестнице к девушке... В спаленке — огонек масляной светильни, на полу — медный таз, сброшенные туфельки, душно. Под кисейным пологом на подушке раскинуты волосы жаркими прядями, лоб и глаза Анхен прикрыты мокрым полотенцем, жаркий рот обметало... Петр вышел на цыпочках и вдове в судорожные ладони высыпал пригоршню червонных (Сонькин подарок Петру на свадьбу)... Алексашке велено день и ночь дежурить у вдовы, если будет нужда — в аптеку, или больная запросит какой-нибудь еды заморской,— чтобы достать из-под земли...

Протопоп и поп Битка не жалели ладана, свечи виднелись, как в тумане, иерихонским ревом долголетие возглашал дьякон. Петр опять покосился — рука Евдокии дрожит не переставая. В груди у него будто вырастал холодный пузырек гнева... Он быстро выдернул у Евдокии свечу и сжал ее хрупкую неживую руку... По церкви пронесся испуганный шепот. У митрополита затряслась лысая голова, к нему подскочил Борис Голицын, шепнул что-то. Митрополит заторо-

пился, певчие запели быстрее. Петр продолжал сильно сжимать ее руку, глядя, как под покровом все ниже клонится голова жены...

Повели вкруг аналоя. Он зашагал стремительно, Евдокию подхватили свахи, а то бы упала... Обручились... Поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустилась на колени, припала лицом к сафьяновым сапогам мужа. Подражая ангельскому гласу, нараспев, слабо проговорил митрополит:

— Дабы душу спасти, подобает бо мужу уязвляти жену свою жезлом, ибо плоть грешна и немощна...

Евдокию подняли. Сваха взялась за концы покрывала: «Гляди, гляди, государь»,— и, подскокнув, сорвала его с молодой царицы. Петр жадно взглянул. Низко опущенное, измученное полудетское личико. Припухший от слез рот. Мягкий носик. Чтобы скрыть бледность, невесту белили и румянили... От горящего круглого взгляда мужа она, дичась, прикрывалась рукавом. Сваха стала отводить рукав. «Откройся, царица,— нехорошо... Подними глазки...» Все тесно обступили молодых. «Бледна что-то»,— проговорил Лев Кириллович... Лопухины дышали громко, готовые спорить, если Нарышкины начнут хаять молодую... Она подняла карие глаза, застланные слезами. Петр прикоснулся поцелуем к ее щеке, губы ее слабо пошевелились, отвечая... Усмехнувшись, он поцеловал ее в губы,— она всхлипнула...

Снова пришлось идти в ту же палату, где обкручивали. По пути свахи осыпали молодых льном и коноплей. Семечко льна прилипло у Евдокии к нижней губе — так и осталось. Чистые, в красных рубахах мужики, нарочно пригнанные из Твери, благолепно и немятежно играли на сурьмах и бубнах. Плясицы пели. Снова подавали холодную и горячую еду,— теперь уже гости ели за обе щеки. Но молодым кушать было неприлично. Когда вносили третью перемену — лебедей, перед ними поставили жареную курицу. Борис взял ее руками с блюда, завернул в скатерть и, поклонясь Наталье Кирилловне и Ромодановскому, Лопухину и Лопухиной, проговорил весело:

— Благословите вести молодых опочивать...

Уже подвыпившие, всей гурьбой родные и гости повели царя и царицу в сенник. По пути в темноте какая-то женщина,— не разобрать,— в вывороченной шубе, с хохотом, опять осыпала их из ведра льном и коноплей. У открытой двери стоял Никита Зотов, держа голую саблю. Петр взял Евдокию за плечи,— она зажмурилась, откинулась, упираясь,— толкнул ее в сенник и резко обернулся к гостям: у них пропал смех, когда они увидели его глаза, попятились... Он захлопнул за собой дверь и, глядя на жену, стоящую с прижатыми к груди кулачками у постели, принялся грызть заусенец. Черт знает, как было неприятно, нехорошо,— досада так и кипела... Свадьба проклятая! Потешились старым обычаем! И эта вот,— стоит девчонка, трясется, как овца! Он потащил с себя бармы, скинул через голову ризы, бросил на стул.

— Да ты сядь... Авдотья... Чего боишься?

Евдокия коротко, послушно кивнула, но взлезть на такую высоченную постель не могла и растерялась. Присела на бочку с пшеницей. Испуганно покосилась на мужа и покраснела.

— Есть хочешь?

— Да,— шепотом ответила она.

В ногах кровати на блюде стояла та самая жареная курица. Петр отломил у нее ногу, сразу,— без хлеба, соли,— стал есть. Оторвал крыло:

— На.

— Спасибо...

3

В конце февраля русское войско снова двинулось на Крым. Осторожный Мазепа советовал идти берегом Днепра, строя осадные городки, но Василию Васильевичу и заикнуться было нельзя так медлить: скорее, скорее желал он добраться до Перекопа, в бою смыть бесславие.

В Москве еще ездили на санях, а здесь куриной слепотой забархатели курганы, ветер на зазеленевшей равнине рябил пелену поемных озер, кони шли по ним по колена. То и дело в прорывах весенних туч слепило солнце. Ах, и земля здесь была, черная, родящая,—

золотое дно! Пригнать бы сюда лесных и болотных мужиков,— по уши ходили бы в зерне. Но кругом — ни живой души, только косяки журавлей, протяжно крича, пролетали в выси. Слезами пленников были политы эти степи,— из века в век миллионы русских людей проходили здесь, уводимые татарами в неволю,— на константинопольские галеры, в Венецию, Геную, Египет...

Казаки хвалили степь: «Здесь урожай шуточное дело — сам-двадцать, плюнь — дерево вырастет. Кабы не татары проклятые, понастроили бы мы здесь хуторов». Ратники из северных губерний дивились такой пышной земле. «Эта война справедливая,— говорили,— разве можно, чтоб такая земля лежала без пользы». Ополченцы-помещики приглядывали места для усадеб, спорили из-за дележа, бегали в шатер к Василию Васильевичу кланяться: «В случае бог даст завоевать эти места, пожаловал бы государь такой-то клин землицы от такой-то балки до кургана с каменной бабой...»

В мае стодвадцатитысячное московское и украинское войско дошло до широкой, обильной пастбищами и водой Зеленой Долины. Здесь казаки привели к Василию Васильевичу «языка» — крепенького, лоснящегося от загара краснобородого татарина в ватном халате. Василий Васильевич поднес платочек к носу, чтобы не слышать бараньего татарского смрада, приказал допросить. С языка сорвали халат,— ощерив мелкие зубы, татарин завертел сизообритой головой. Угрюмый казак наотмашь полоснул его плетью по смуглым плечам. «Бачка, бачка, мой все говорил»,— затараторил татарин. Казаки перевели: «Гололобый бачит, що орда стоит недалече и сам хан при ней...» Василий Васильевич перекрестился и послал за Мазепой. К вечеру развернутое войско с конницей на правом и левом крыле, с обозом и пушками посредине двинулось на татар.

Едва над низкой истоптанной равниной поднялся каравай оранжевого солнца, русские увидели татар. Конные кучки их съезжались и разъезжались. Василий Васильевич, стоя на возу, разглядывал в подзорную трубу пестрые халаты, острые шлемы, скуластые зло-

веселые лица, конские хвосты на копьях, важных мулл в зеленых чалмах. Это была передовая часть орды.

Отряды конных поворачивали, съезжались, сбивались в плотную кучу. Поднялась пыль. Пошли! Скача, татары развертывались лавой. Донесся пронзительный вой. Их затягивало пылью, гонимой русским в лицо. Труба задрожала в руках Василия Васильевича. Его конь, привязанный к возу, шарахнулся, обрывая узду,— из шеи его торчала оперенная стрела... Наконец! — надрывно грохнули пушки, затрещали мушкеты,— все закрылось клубами белого дыма. О панцирь Василия Васильевича звякнуло железо стрелы — как раз против сердца. Содрогнувшись, перекрестил это место...

Стреляли более часу... Когда развеялся дым, на равнине билось несколько лошадей, валялось до сотни трупов. Татары, отбитые огнем, уходили за окоем. Было приказано варить обед, поить коней. Раненых положили на телеги. Перед закатом снова двинулись с великим бережением к Черной Долине, где на речке Колончаке стоял хан с ордой.

Ночью поднялся сильный ветер с моря. Затянуло звезды. Отдаленно ворчало, погромыхивало. В непроглядных тучах открывались невиданные зарницы, озаряя серую равнину — песок, полынь, солончаки. Войска двигались медленно. В пятом часу раскололось небо, и в обоз упал огненный столб,— расплавило пушку, убило пушкарей. Налетел вихрь,— валил с ног, рвало епанчи и шапки, сено с телег. Слепя глаза, полыхали молнии. Велено было поднять Донскую божью матерь и обходить войско.

Дождь полил на рассвете. Сквозь гонимую ветром пелену его на правом крыле войска увидали орду: татары приближались полумесяцем. Не давши русским опомниться, опрокинули конницу и загнали передовой полк в обоз. Фитили пушек не горели, на полках ружей отсырел порох. Плеск дождя заглушал крики раненых. Перед тройным рядом телег татары остановились. У них отмокли тетивы луков, и стрелы падали без силы.

Василий Васильевич пеший метался по обозу, бил плетью пушкарей, хватался за колеса, вырывал фи-

тили. В глаза, в рот хлестало дождем. Все же пушкари ухитрились,— накрывшись тулупами, высекли огонь, подсыпали сухого пороху и — бухнули пушки свинцовыми пульками по татарским коням... На левом крыле отчаянно рубился Мазепа с казаками. И вот протяжно закричали муллы,— татары отступили, скрывались в ненастной мгле.

4

«Государю моему, радости, царю Петру Алексеевичу... Здравствуй, свет мой, на множество лет...»

Евдокия измаялась, писавши. Щепоть, все три пальца, коими плотно держала гусиное перо у самого конца, измазала чернилами. Портила третий лист,— либо буквы выходили не те, либо сажала пятна. А хотелось написать так приветливо, чтобы Петенька порадовался письмецу.

Но чернилами на бумаге разве скажешь, чем полно сердце? На дворе — апрель. Березы, как в цыплячьем пуху,— зазеленели. Плывут снежные облака с синими донышками.

Евдокия глядела на них, глядела, и ресницы налились слезами,— должно быть, сдуру... Покосилась на дверь,— не вошла бы свекровь, не увидела... Рукавом вытерла глаза. Наморщила лобик.

...Чего бы еще написать ему?.. Уехал, голубчик, на Переяславское озеро и не отписывает, когда ждать его назад... А то бы вместе говели, заутреню стояли бы... Разговлялись... (Евдокия вспомнила курицу,— как ели ее после венчания,— покраснела и про себя засмеялась...) На первый день можно позвать девок — играть на лугу в подкучки, катать яйца... Песни, хороводы. На качелях — смеяться, в жмурки бегать. Написать разве про это?.. Петенька, милый, голубчик, приезжа-ай, соскучила-ась... Разве напишешь! — и букв для этого нет таких...

Она опять взяла перо и, шевеля губами, вывела:

«Просим милости: пожалуй, государь, буди к нам, не замешкав... Женишка твоя, Дунька, челом бьет..»

Перечла и обрадовалась,— очень хорошо написано.

Батюшки, оглашенная! — а про свекровь-то не помянула. Переписывай теперь в четвертый раз... Ах, свекровь, матушка, Наталья Кирилловна,— суровенькая!.. Как ни ластись,— все чего-нибудь найдет, что не ладно... Почему, мол, тоща? И не тоща совсем: все, что надо,— кругленькое... Почему Петруша на второй месяц от тебя ускакал на Переяславское озеро? Что же ты: затхлая или, может быть, дура тоскливая, что от тебя мужу, как от чумной язвы, на край света надо бежать?.. И не дура, и не язва... Сами виноваты,— зачем допустили к нему Лефорта, Алексашку да немцев, они и сманили лапушку на Переяславское озеро, и хуже еще куда-нибудь сманят.

Евдокия сердито окунула перо. Но подняла глаза,— сквозь зелень берез жидкий свет падал в раскрытое окно, на подоконнике надувал горло, топтался голубь, и еще какие-то птицы посвистывали... Пахло лугами... И на четвертый чистый листок — кап слезища... Вот наказанье!..

5

Что ни день — письмо от жены или матери: без тебя, мол, скучно, скоро ли вернешься? Сходили бы вместе к Троице... Скука старозаветная! Петру не то что отвечать,— читать эти письма было недосуг. Жил он в новорубленной избе на самой верфи на берегу широкого Переяславского озера, где почти оконченные два корабля стояли на стапелях и стрелах. Крыли палубы, кончали резать на корме деревянные морды. Третий корабль, «Стольный град Прешпург», был уже спущен,— тридцать восемь шагов по ватерлинии, с крутым носом, украшенным золоченой морской девкой, с высокой кормой, где сверху пристроена кают-компания. На плоской крыше ее, огороженной точеными перилами,— адмиральский мостик и большой стеклянный фонарь. Под верхней палубой с каждой стороны в откинутые люки высовывалось по восьми пушек. Сходящиеся кверху борта черно блестели смолой.

Поутру, когда чуть дымилось озеро, трехмачтовый корабль будто висел в воздухе, как на дивных гол-

ландских картинах, что подарил Борис Голицын... Ждали только ветра, чтобы поплыть в первый рейс. Как назло, вторую неделю листок не шевелило на деревьях. Лениво плыли над озером облака с синими донцами. Поднятые паруса только плескались, повисали. Петр не отходил от Картена Брандта. Старику немоглось еще с февраля,— разрывало грудь мокрым кашлем. Все же, закутанный в тулупчик, он весь день был на верфи,— сердился, кричал, а когда и дрался за леность или глупость. Особым указом пригнали на верфь душ полтораста монастырских крестьян: плотников, продольных пильщиков, кузнецов, землекопов и надежных баб — шить паруса. Полсотни потешных, отписанных от полков, обучались здесь морскому делу: травить и крепить концы, лазить на мачты, слушать команду. Учил их иноземец, выходец из Португалии,— Памбург, крючконосый, с черными, как щетка, усами, злой, сатана, морской разбойник. Русские про него говорили, что будто бы его не один раз за его дела вешали, да черт ему помог — жив остался, попал к нам.

Петру бешено нетерпелось. Рабочих чуть свет будили барабаном, а то и палками. Весенние ночи короткие,— многие люди падали от усталости. Никита Зотов не поспевал писать — его в. г. ц. и в. к. всея В. М. и Б. Р. с.— указы соседним помещикам, чтобы ставили корм,— везли бы на верфь хлеб, птицу, мясо. Помещики с перепугу везли. Труднее было доставать денег. Хотя Софья и рада была, что братец забился еще далее от Москвы, где бы ему — перевернуться на потешном корабле, но денег в приказе Большого дворца кот наплакал: все поглотила крымская война.

Когда случалось Францу Лефорту вырваться со службы и прискакать на Переяславскую верфь,— начиналось веселье. Он привозил вин, колбас, сластей и — с подмигиванием — поклон от Анны Монс: выздоровела, еще краше стала, и просит-де милости герра Петера — принять в подарок два цитрона.

В новорубленной избе в обед и ужин щедро поднимали стаканы за великий переяславский флот. Придумали для него особенный флаг — в три полотнища:

белое, синее и красное. Иноземцы рассказывали про былые плавания, бури и морские битвы. Памбург, расставив ноги, шевеля усами, кричал по-португальски, будто и в самом деле на пиратском корабле. Петр пил эти речи глазами и ушами. Откуда бы ему, сухопутному, так любить море? Но он по ночам, лежа на полатях рядом с Алексашкой, во сне видел волны, тучи над водным простором, призраки проносящихся кораблей.

Калачом не заманить в Преображенское. Когда очень досаждали с письмами,— отписывался:

«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей матушке царице Наталье Кирилловне, недостойный сынишка твой Петрунька, в работе пребывающий,— благословения прошу, о твоем здравии слышать желаю. А что изволила мне приказывать, чтоп мне быть в Преображенском, и я быть готоф, только гей гей дело есть: суды все в отделке, за канатами дело стоит. И о том милости прошу, чтоп те канаты ис Пушкарского приказу не мешкав прислали бы. И с тем житье наше продолжица. По сем благословения прошу. Недостойный Петрус».

6

Теперь мимо избы Ивашки Бровкина ходили,— снимали шапку. Вся деревня знала: «Ивашкин сын — Алексей — сильненький, у царя правая рука, Ивашке только мигнуть — сейчас ему денег — сколько нужно, столько отсыпет». На Алешкины деньги (три рубля с полтиной) Бровкин купил телку добрую — за полтора рубля, овцу — три гривенника с пятаком, четырех поросят по три алтына, справил сбрую, поставил новые ворота и у мужиков под яровое снял восемь десятин земли, дав рубль деньгами, ведро водки и обещав пятый сноп с урожая.

Стал на ноги человек. Подпоясывался не лыком по кострецу, а московским кушаком под груди, чтобы выпирал сытый живот. Шапку надвигал на самые брови, бороду задирал. Такому поклонишься. И еще говорил: «Погоди, по осени съезжу к сыну, возьму денег,—

мельницу поставлю». Волковский управитель его уже не тыкал — Ивашкой, но звал уклончиво Бровкиным. От барщины освободил...

И сыновья — помощники — подрастали. Яков всю эту зиму ходил в соседнюю деревню к дьячку — учился грамоте, Гаврилка вытягивался в красивого парня, меньшой, Артамошка, тихоня, был тоже не без ума. Детьми Ивашку бог не обидел. К дочери, Саньке, уж сватались, но по нынешнему положению отдавать ее за своего брата — мужика-лапотника,— это еще надо было подумать...

В июле прошел слух, что войско возвращается из Крыма. Стали ждать ратников, отцов и сыновей. По вечерам бабы выходили на пригорок — глядеть на дорогу. От бродящего божьего человека узнали, что в соседних деревнях действительно вернулись. Начали бабы плакать: «Наших-то побили...» Наконец появился на деревне ратник Цыган, весь зарос железной бородой, глаз выбит, рубаха, портки сгнили на теле.

Бровкин с семьей ужинали на дворе, хлебали щи с солониной. В ворота постучали: «Во имя отца и сына и святого духа...» Ивашка опустил ложку, подозрительно поглядел на ворота.

— Аминь,— ответил. И громче: — Мотри, у нас кобели злые, постерегись.

Яшка отодвинул щеколду, и вошел Цыган. Оглядел двор, семейство и, раскрыв рот с выбитыми зубами,— гаркнул хрипло:

— Здоро́во! — Сел на чурбан у стола.— На прохладе ужинаете? В избе мухи, что ли, надоедают?

Ивашка зашевелил бровями. Но тут Санька самовольно пододвинула Цыгану чашку со щами, вытерла передником ложку, подала.

— Откушай, батюшка, с нами.

Бровкин удивился Санькиной смелости... «Ужо,— подумал,— за косы возьму!.. Эдак-то всякому кидать наше добро...» Но спорить постеснялся. Цыган был голоден, ел,— жмурился...

— Воевали? — спросил Бровкин.

— Воевали... (И опять — за щи.)

— Ну как все-таки? — повертевшись на скамье, опять спросил Бровкин.

— Обыкновенно. Как воюют, так и воевали.

— Одолели татар-то?

— Одолели... Своих под Перекопом тысяч двадцать уложили, да столько же, когда назад шли...

— Ах, ах,— Бровкин покачал головой.— А у нас говорят: хан покорился нашим...

Цыган открыл желтые редкие зубы.

— Ты тех, кто в Крыму гнить остался, спроси, как нам хан покорился... Жара, воды нет, слева — гнилое море, справа — Черное, пить эту воду нельзя, колодцы татары падалью забили... Стоим за Перекопом — ни вперед, ни назад. Люди, лошади, как мухи, дохли... Повоевали...

Цыган разгреб усы, вытерся, поглядел кровяным глазом и другим,— мертвыми веками,— на Саньку: «Спасибо, девка...» Облокотился.

— Иван... Я в поход уходил,— корова у меня оставалась...

— Да мы говорили управителю: вернешься, как же тебе без коровенки-то? Не послушал, взял.

— Так... А свиньи? Боров, две свиньи,— я мир просил за ними присмотреть...

— Глядели, голубок, глядели... Управитель столовыми кормами нас дюже притеснил... Мы думали,— может, тебя на войне-то убьют...

— И свиней моих Волков сожрал?

— Скушал, скушал.

— Так...— Цыган залез в нечесаные железные волосы, поскреб: — Ладно... Иван!

— Аюшки?

— Ты помалкивай, что я к тебе заходил.

— А кому мне говорить-то? Я и так всегда помалкиваю.

Цыган встал. Покосился на Саньку. Тихо пошел к воротам. И там с угрозой:

— Смотри — помалкивай, Иван... Прощай. — И скрылся. С тех пор его и не видели на деревне.

7

Овсей Ржов, пошатываясь, стоял у ворот харчевни, что на Варварке, считал деньги в ладони. Подошли стрелецкие пятидесятники, Никита Гладкий и Кузьма Чермный.

— Здорово, Овсей.

— Брось полушки считать, пойдем с нами.

Гладкий шепнул:

— Поговорить нужно, нехорошие дела слышны...

Чермный брякнул в кармане серебром, захохотал:

— Погулять хватит...

— А вы не ограбили кого? — спросил Овсей.— Ах, стрельцы, что вы делаете!..

— Дурак,— сказал Гладкий,— мы на карауле во дворце стояли. Понял? — И оба захохотали опять. Повели Овсея в харчевню. Сели в углу. Суровый старец-целовальник принес штоф вина и свечу. Чермный сейчас же свечу погасил и нагнулся к столу, слушая, что зашептал Гладкий.

— Жалко, тебя не было с нами на карауле. Стоим... Выходит Федор Левонтьевич Шакловитый. «Царевна, говорит, за вашу верную непорочную службу жалует по пяти рублев...» И подает мешок серебра... Мы молчим,— к чему он клонит? И он так-то горько вздохнул: «Ах, говорит, стрельцы, слуги верные, недолго вам жить с женами на богатых дворах за Москвой-рекой...»

— Это как так недолго? — испугавшись, спросил Овсей.

— А вот как... «Хотят, говорит, вас, стрельцов, перевести, разослать по городкам, меня высадить из Стрелецкого приказа, а царевну сослать в монастырь... И мутит всем старая царица Наталья Кирилловна... Она и Петра для этого женила... По ее, говорит, наговору слуги,— только мы не можем добиться кто,— царя Ивана поят медленным зельем, двери ему завалили дровами, поленьями, и ходит он через черное крыльцо... Царь Иван — не жилец на этом свете. Кто будет вас, стрельцов, любить? Кто заступится?»

— А Василий Васильевич? — спросил Овсей.

— Одного они человека боялись,— Василия Васильевича. А ныне бояре его с головой хотят выдать за крымское бесчестье... Накачают нам Петра на шею...

— Ну, это тоже... Погодят! Нам по набату не в первый раз подниматься...

— Тише ори.— Гладкий притянул Овсея за ворот и — едва слышно:

— Одним набатом нам не спастись, хоть и всех побьем, как семь лет тому назад, а корня не выведем... Надо уходить старую медведицу... И медвежонку чего спускать? За чем дело стало? И его на рогатину,— надо себя спасать, ребята...

Темны, страшны были слова Никиты Гладкого. Овсей задрожал. Чермный налил из штофа в оловянные стаканчики.

— Это дело без шума надо вершить... Подобрать полсотни верных людей, ночью и запалить Преображенское. В огне их ножами возьмем — чисто...

8

Стрелецкие полки уже давно разместились по слободам, ополченцы-помещики вернулись в усадьбы, а по Курской и Рязанской дорогам все еще брели в Москву раненые, калеки и беглые. Толпясь на папертях, показывали страшные язвы, раны и с воем протягивали милосердным людям обрубки рук, отворачивали мертвые веки.

— Щупайте, православные,— вот она, стрела, в груди...

— Милостивцы, оба глаза мои вытекли, по голове шелопугой били меня бесчеловечно,— о-о-о!

— Нюхай, купец, гляди, по локоть рука сгнила...

— А вот у меня из спины ремни резали...

— Язвы от кобыльего молока... Жалейте меня, благодетели!..

Ужасались добрые прихожане на такое невиданное калечество, раздавали полушки. А по ночам в глухих местах находили людей с отрезанными головами. Грабили на дорогах, на мостах, в темных переулках. Тол-

пами искалеченные воины тянулись на московские базары.

Но не сытно было и в Москве. В гостиных рядах много лавок позакрывалось, иные купцы обезденежели от поборов, иные до лучшего времени припрятывали товары и деньги. Все стало дорого. Денег ни у кого нет. Хлеб привозили — с мусором, мясо червивое. Рыба и та стала будто бы мельче, постнее после войны. Всем известный пирожник Заяц выносил на лотке такую тухлятину,— с души воротило. Появилась дурная муха,— от ее укусов у людей раздувало щеки и губы. На базарах — не протолкаться, а смотришь,— продают одни банные веники. Озлобленно, праздно, голодно шумел огромный город.

9

Михаил Тыртов, осаживая жеребца, поправил шапку. Красив, наряден, воротник ферязи — выше головы, губы крашены, глаза подведены до висков. Кривая сабля звенит о персидское стремя. С крыльца к Михаилу перегнулся Степка Одоевский:

— Ты прислушайся, что говорят... Не послушав — не кричи...

— Ладно.

— Так и руби: царица, мол, да Лев Кириллович весь хлеб скупили, Москву нарочно голодом морят... Да про дурную муху не забудь,— с ихнего, мол, волшебства...

— Ладно...

Тыртов, взглянув холодными глазами между ушей жеребца, нагнулся и во весь мах пустил его в открытые ворота. На улице обдало пылью, вонью. Какой-то бродяга, по пояс голый, в багровых пятнах, закричал, расталкивая народ, чтобы кинуться под копыта. Тыртов вытянул его нагайкой. Со всех сторон полезли к богатому боярину, протягивая земляные, шелудивые ладони... Нахмурясь, подбоченясь, Михаил медленно пробирался в плотной толпе.

— Нарядный, поделись...

— Кинь полушку...

— Вот я ртом поймаю...
— Дай деньгу, дай, дай...
— Смотри, дерьмом замажу,— дай лучше...
— Горсть вшей продам! Купи — даром отдам!
— Топчи меня, топчи, жрать хочу...

Конь, беспокоясь, грыз удила, косился гордым зрачком на машущие лохмотья, взъерошенные головы, страшные лица. Все наглее лезли нищие и бродяги. Так он проплыл до конца Ильинки. Здесь на столбе под иконкой была прибита грамота. Какой-то благообразный человек, перекрикивая, читал:

— «Мы, великие государи, тебя, ближнего боярина и оберегателя, князя Василия Васильевича Голицына, за твою к нам многую и радетельную службу, за то, что такие свирепые и исконные креста святого и всего христианства неприятели твоею службою *не нечаянно и никогда неслыханно* от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены, и побеждены, и прогнаны...»

Хрипучий голос из толпы:

— Кто поражены, побеждены? Мы али татары?

Толпа тотчас загудела сердито...

— Это где это мы татар победили, когда?
— Мы их и в лицо-то не видали в Крыму...
— Видели, как бежали от них без памяти...
— А кто дурак этот,— грамоту читает?
— Подьячий из Кремля...
— Голицынский холоп, пес верный...
— Ну-ка, потяни его за полу...

Благообразный человек, срывая голос, читал:

— «...татары сами себе и жилищам своим явились разорителями, в Перекопи посады и села пожгли и, исполнясь отчаяния и ужаса, со своими погаными ордами тебе не показались... И что ты со своими ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем свете победами, не хуже Моисея, изведшего израильских людей из земли Египетской, возвратился в целости,— за все то милостиво и премилостиво тебя похваляем...»

Кривой черный человек с железными волосами опять крикнул:

— Чтец, а про меня в грамоте не написано?

Засмеялись. Кое-кто, выругавшись, отошел. Ком грязи ударился в грамоту... «Стража!» — закричал чтец, загородясь рукой... Тыртов, раздвигая конем народ, стал пробираться к кривому. Но Цыган только ощерил на него осколки зубов и пропал. Кто-то схватил за узду: «Вот этого бы раздеть!..» Кто-то шильцем кольнул коня,— тот забил, храпя,— взвился. Свистнули по-разбойничьи. Камень, пролетев, царапнул щеку. Под рев, свист и гиканье Тыртов вылетел из толпы.

У Никольских ворот он увидел верхами Степку Одоевского и бледного горбоносого человека с красивыми усиками. По неживым складкам одежды было заметно, что под ферязью на нем — кольчуга. Тыртов сорвал шапку и поклонился до конской гривы Федору Левонтьевичу Шакловитому. Умное лицо его было хмуро, нижняя губа плотно прикрывала верхнюю. Недобро щурился на толпу. Одоевский спросил:

— Ты кричал им, Мишка?

— Поди сам покричи... (У Тыртова горели щеки.) Им, дьяволам голодным, все равно,— что царевна Софья, что Петр... Стрельцов бы сюда сотни две — разогнать эту сволочь, и весь разговор...

— Половчее к ним надо послать человека,— сквозь зубы сказал Шакловитый,— подбивать их идти в Преображенское, хлеба просить... Пускай их потешные встретят... По царя Петра приказу немцы-то русских бьют,— так мы и скажем... (Одоевский засмеялся.) Ступайте, не мешкая, кричите стрельцам про это... А я пошлю на базары надежных людей... Народ надо из Москвы удалить, большого набата нам не надо, одними стрельцами справимся...

10

Из лесной чащи на берег Переяславского озера выехала вся в пыли дорожная карета разномастной четверней. Степенный кучер и босой мужик верховой, сидевший на левой выносной, оглядывались. Повсюду

разбросаны бревна и доски, кучи щепы, разбитые смоляные бочки. И — ни живой души, только кое-где слышался густой храп. Невдалеке от берега стояли четыре осмоленных корабля, их высокие кормовые части, украшенные резным деревом, с квадратными окошечками, отражались в зеленоватой воде. Между мачтами летали чайки.

Из кареты вылез Лев Кириллович, морщась потер поясницу,— намяло дорогой: хоть и не стар он еще был, но тучен от невоздержанности к питию. Ждал, когда кто-нибудь подойдет. Ленясь сам позвать, кряхтел. Кучер сказал, прищурив глаз на солнце:

— Отдыхают... Время обеденное...

Действительно, в холодке, из-за бревен и бочек виднелись то ноги в лаптях, то задранная на голой пояснице грязная рубаха, то нечесаная голова. Верховой мужик, выручая ленивого боярина, позвал бойко:

— Э-эй, кто тут живой, православные...

Тогда близ кареты из-за канатов поднялось пропитое нерусское лицо с черными усами, по четверти в каждую сторону, зарычало по-ломаному:

— Што кричишь, турак...

Кучер оглянулся на боярина,— не стегануть ли этого кнутом. Но Лев Кириллович отклонил: кто их разберет,— у царя Петра и генералы пьяные на земле валяются. Спросил, не роняя достоинства, где царь.

— А шерт его снает,— ответила усатая голова и опять повалилась на канаты. Лев Кириллович пошел по берегу, ища человека русского вида, и, уже не стесняясь, пхнул одного в лаптях. Вскочил, моргая, мужик-плотник, ответил:

— Утрась Петр Алексеевич плавали, из пушек стреляли, видно, уморились, почивают.

Петра нашли в лодке — он спал, завернув голову в кафтанец. Лев Кириллович отослал всех от лодки и дожидался, когда племянник изволит прийти в себя. Петр сладко похрапывал. Из широких голландских штанов торчали его голые, в башмаках набосо, тощие ноги. Раза два потер ими, во сне отбиваясь от мух. И это в особенности удручило Льва Кирилло-

вича... Царство — на волоске, а ему, вишь, мухи надоедают...

Бояре нынче уже громко говорили в Кремле: «Петру — прямая дорога в монастырь. Кутилка, солдатский кум, в зернь в кабаке проиграет царский венец». По Кремлю снова шатались пьяные стрельцы, нагло подбоченивались, когда мимо проходил кто-либо из верхних. Софья, страшная хмельными этими саблями, безумствовала. Бесславный воитель, Голицын, мрачный, как ворон, сидел у себя в палатах, обитых медью, допускал перед очи одного Шакловитого да Сильвестра Медведева. Все понимали, что сейчас либо уходить ему от дел со срамом, либо кровью добывать престол. Над Кремлем нависала грозовая туча...

А этот в лодке спит,— хоть бы ему что...

— А, дяденька, Кот Кириллыч, здравствуйте!

Петр сел на край лодки, обгорелый, грязный, счастливый. Глаза слегка припухли, нос лупится, кончики едва пробившихся усиков закручены...

— Зачем приехал?

— За тобой, государь,— строго ответствовал Лев Кириллович,— и не за милостью какой-нибудь, а такие сейчас дела, что быть тебе в Москве непременно, без тебя не вернусь...

Полное лицо Льва Кирилловича задрожало, на висках из-под шапки выступил пот. Петр изумленно взглянул: эге, видно, дела там плохи, если ленивый дядюшка так расколыхался. Петр перегнулся через край лодки и горстью напился воды, поддернул штаны.

— Ну, ладно, приеду на днях...

— Не на днях,— сегодня. Часу нельзя терять (Лев Кириллович придвинулся, едва доставая до уха племяннику).— В прошлую ночь под самым Преображенским, на той стороне Яузы, обнаружили в кустах более сотни стрельцов в засаде. (Ухо и шея Петра мгновенно побагровели.) У нас преображенцы на карауле всю ночь фитили жгли, кричали в рожки... Те-то и поостереглись переходить речку... А уж после в Москве слышали,— стрелец Овсей Ржов рассказывал: у них так сговорено,— как учинится в Преображенском дворце

ночью крик, то быть им готовым и, кого станут давать из дворца, тех рубить, кто ни попал...

Петр вдруг закрыл рукой глаза,— пальцы так и втиснулись. Лев Кириллович продолжал рассказывать про то, как Шакловитый пускает по базарам крикунов — подговаривать голодный народ идти громить Преображенское.

— Народ стал отчаянный, одна забота — дорваться, грабить. А Софья только и ждет новой смуты... Ее ближние стрельцы на Спасской башне к набатному колоколу уж и веревку привязали. Они бы давно ударили, да стрелецкие полки, гостиные сотни да посады сумневаются: набат-то всем надоел... Время такое,— бояре как в осаде сидят по дворам... А уж сестрица, Наталья Кирилловна, без памяти... (Лев Кириллович прильнул к его плечу, по-родственному вспыхнул.) Петруша, богом тебя молим: покажись во всем царском сане, прикрикни... По царю соскучились,— топни ножкой, а уж мы подсобим... Не то что нам,— врагам нашим надоел Васька Голицын, Сонька поперек горла воткнулась...

Много раз Петр слышал подобные речи, но сегодня всхлипывающий шепот дяденьки навел страх... Будто снова услышал он крики такие, что волосы встали дыбом, видел наискось раскрытые рты, раздутые шеи, лезвия уставленных копий, тяжело падающее на них тело Матвеева... Телесный ужас детских дней!.. И у самого у него рот кривился на сторону, выкатывались глаза, невидимое лезвие вонзалось в шею под ухом.

— Петенька! Государь, господь с тобой! — Лев Кириллович обхватил подпрыгивающие плечи племянника. Петр забился в его руках, брызгая пеной. Гнев, ужас, смятение были в его бессвязных криках. Повскакали люди, со страхом окружили беснующегося Петра. Усатый Памбург принес водки в черепке. Петр, как маленький, только брызгал, не пил,— так стиснуты были зубы. Его оттащили к карете Льва Кирилловича, но он, брыкаясь, приказал положить себя на траву. Затих... Потом сел, обхватил костлявые колени. Глядел на светлую пелену озера, где летали чайки над мачтами кораблей. Откуда-то появился, пошатываясь,

Никита Зотов. По случаю утрешней потешной баталии он был в князь-папской хламиде, нечесан, в космах, в бороде — сено! Присев около Петра, глядел на него, точно бородатая баба,— с жалостью.

— Петр Алексеевич, послушай меня, дурака...

— Иди к черту...

— Иду, батюшка... Вот мы и доигрались... Бросать надо... Ребячьи то игры...

Петр отвернулся. Никита пополз на коленках, чтобы с другой стороны заглянуть ему в лицо. Петр толкнул его и молча полез в карету. Лев Кириллович торопливо крестился, подбегая...

11

В Успенском соборе отходила обедня. Патриарший хор на левом клиросе и государевых жильцов — на правом попеременно оглашали темно-золотые своды то отроческим сладкогласием, то ревом крепких глоток. С тихим потрескиванием костры свечей перед золотыми окладами озаряли разгоряченные лица бояр. Служил патриарх,— будто великомученик суздальского письма сошел с доски, живыми были глаза, да слабые руки, да узкая борода до пупа, шевелившаяся по тяжелой ризе. Двенадцать великанов-дьяконов, буйноволосые и звероподобные, звякали тяжелыми кадилами. В клубах ладана плыл патриарх и по сторонам его митрополиты и архиереи. Возгласами архидьякона наполнялся, как крепким вином, весь собор. Сие был Третий Рим. Веселилось надменное русское сердце.

На царском месте под алым шатром стояла Софья. По правую руку ее — царь Иван,— полуприкрыл веки, скулы его горели на больном лице. Налево стоял долговязый Петр,— будто на святках одели мужика в царское платье не по росту. Бояре, поднося ко рту платочек, с усмешкой поглядывали на него: несуразный вьюноша, и стоять не может, топчется, как гусь, косолапо, шею не держит... Софья по крайней мере понимает державный чин. Под ногами, чтобы выше быть,

скамеечка. Лик покойный, ладони сложены на груди, и руки, и грудь, плечи, уши, венец жарко пылают камнями. Будто — сама владычица Казанская стоит под шатром... А у этого, у кукуйского кутилки, желваки выпячены с углов рта, будто так сейчас и укусит, да — кусачка слаба... Глаз злой, гордый... И — видно всем — и в мыслях нет благочестия...

Обедня отошла. Засуетились церковные служки. Заколебались хоругви, слюдяные фонари, кресты и иконы, поднятые на руках. Сквозь раздавшихся бояр и дворян двинулся крестный ход. Патриарх, поддерживаемый дьяконами, поклонился царям, прося их взять, по обычаю, образ Казанской владычицы и идти на Красную площадь к Казанскому собору. Московский митрополит поднес образ Ивану. Царь ущипнул редкую бородку, оглянулся на Софью. Она, не шевелясь, как истукан, глядела на луч в слюдяном окошечке...

— Не донесу я,— сказал Иван кротко,— уроню...

Тогда митрополит мимо Петра поднес образ Софье. Руки ее, тяжелые от перстней, разнялись и взяли образ плотно, хищно. Не переставая глядеть на луч, она сошла со скамеечки. Василий Васильевич, Федор Шакловитый, Иван Милославский,— все в собольих шубах,— тотчас придвинулись к правительнице. В соборе стало тихо.

— Отдай... (Все услышали,— сказал кто-то невнятно и глухо.) Отдай... (Уж громче, ненавистнее.) — И, когда стали глядеть на Петра, поняли, что — он... Лицо — багровое, взором крутит, как филин, схватился за витой золотой столбик шатра, и шатер ходил ходуном ..

Но Софья лишь чуть приостановилась, не оборачиваясь, не тревожась. На весь собор, отрывисто, поподлому, Петр проговорил:

— Иван не идет, я пойду... Ты иди к себе... Отдай икону... Это — не женское дело... Я не позволю...

Подняв глаза, сладко, будто не от мира сего, Софья молвила:

— Певчие, пойте великий выход...

И, спустясь, медленно пошла вдоль рядов бояр, ни-

зенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. (Бояре — в платочек: смех и грех.) Иван, осторожно сходя вслед сестре, прошептал:

— Полно, Петруша, помирись ты с ней... Что ссоритесь, что делите...

12

Шакловитый, подавшись вперед на стуле, пристально глядел на Василия Васильевича. Сильвестр Медведев в малиновой шелковой рясе, осторожно беря и покусывая холеную воронова крыла бороду, тоже глядел на Голицына. В спальне на столе горела одна свеча. Страусовые перья над балдахином кровати бросали тени через весь потолок, где кони с крыльями, летучие младенцы и голоногие девки венчали героя с лицом Василия Васильевича. Сам Василий Васильевич лежал на лавке, на медвежьих шкурах. Его знобила лихорадка, подхваченная еще в крымском походе. Кутался по самый нос в беличий тулупчик, руки засунул в рукава.

— Нет,— проговорил он после долгого ожидания,— не могу я слушать эти речи... Бог дал жизнь, один бог у него и отнимет...

Шакловитый с досадой ударил себя шапкой по колену, оглянулся на Медведева. Тот не задумался:

— Сказано: «Пошлю мстителя»,— сие разуметь так: не богом отнимается жизнь, но по его воле рукой человека...

— В храме орет, как в кабаке,— горячо подхватил Шакловитый.— Софья Алексеевна до сих пор не опомнится,— как напужал... Выходили волчонка,— ему лихое дело начать... Ждите его на Москве с потешными, тысячи три их, если не более... Жеребцы стоялые... Так я говорю, Сильвестр?

— Ждите от него разорения людям и уязвления православной церкви и крови пролитой — потоки... Когда гороскоп его составлял,— волосы у меня торчком поднялись, слова-то, цифры, линии — кровью набухали... Ей-ей... Давно сказано: ждите сего гороскопа...

Василий Васильевич приподнялся на локте, бледный, землистый...

— Ты не врешь, поп? (Сильвестр потряс наперсным крестом.) Про что говоришь-то?

— Давно мы ждали этого гороскопа,— повторил Медведев до того странно, что у Василия Висильевича лихорадка морозом подрала по хребту. Шакловитый вскочил, загремев серебряными цепочками, подхватил саблю и шапку под мышку.

— Поздно будет, Василий Васильевич... Смотри — торчать нашим головам на кольях... Медлишь, робеешь,— и нам руки связал...

Закрывая глаза, Василий Васильевич проговорил:

— Я вам руки не связываю...

Больше от него не добились ни слова. Шакловитый ушел, за окном было слышно,— бешено пустил коня в ворота. Медведев, подсев к изголовью, заговорил о патриархе Иоакиме: двуличен-де, глуп, слаб. Когда его в ризнице одевают,— митрополиты его толкают, вслед кукиши показывают забавы ради. Надо патриарха молодого, ученого, чтобы церковь цвела в веселье, как вертоград...

— Твою б, князь, корону увила б тем виноградом божественным... (Щекотал ухо сандаловой, розовым маслом напитанной бородой...) Скажем, я,— нет и нет, не отказался бы от ризы патриаршей... Процвели бы... Васька Силин, провидец, глядел с колокольни Ивана Великого на солнце в щель между пальцами и все сие увидал на солнце в знаках... Ты с Силиным поговори... А что про Иокима,— так ему каждую субботу четыре ведра карасей возят тайно из Преображенского... И он принимает...

Ушел и Медведев. Тогда Василий Васильевич раскрыл сухие глаза. Прислушался. За дверью похрапывал князев постельничий. На дворе по плитам шагали караульные. Взяв свечу, Василий Васильевич открыл за пологом кровати потайную дверцу и начал спускаться по крутой лесенке. Лихорадка трогала ознобом, мысли мешались. Останавливался, поднимал над головой свечу, со страхом глядел вниз, в тьму...

«Отказаться от великих замыслов, уехать в вотчины? Пусть минует смута, пусть без него перегрызутся, перебесятся... Ну, а срам, а бесчестье? То полки водил,

скажут, теперь гусей пасет, князь-та, Василий-та... (Дрожала свеча в похолодевшей руке.) За корону хватался,— кур щупает... (Стукнув зубами, сбежал на несколько ступеней.) Что ж это такое,— остается: как хочет Софья, Шакловитый, Милославские?.. Убить! Не его, так — он? А ну как не одолеем? Темное дело, неизвестное дело, неверное дело... Господи, просвети... (Крестится, прислонясь к кирпичной стене.) Заболеть бы горячкой на это время...»

Спустившись, Василий Васильевич с трудом отодвинул железный засов и вошел в сводчатое подполье, где в углу на кошме лежал колдун Васька Силин, прикованный цепью за ногу...

— Боярин, милостивый, за что ты меня?.. Да уж я, кажется...

— Встань...

Василий Васильевич поставил свечу на пол, плотнее запахнул тулупчик. На днях он приказал взять Ваську Силина, жившего на дворе у Медведева, и посадить на цепь. Васька стал болтать лишнее про то, что берут у него сильненькие люди зелье для прилюбления и пользуют тем зельем наверху того, про кого и сказать страшно, и за это ему дадут на Москве двор и пожалуют гулять безденежно...

— На солнце глядел? — спросил Василий Васильевич...

Васька, бормоча, повалился в ноги, жадно чмокнул в двух местах земляной пол под ногами князя. Опять встал,— низенький, коренастый, с медвежьим носом, лысый,— от переносья густые брови взлетели наискось до курчавых волос над ушами, глубоко засевшие глаза горели неистовым озорством.

— Раненько утром водили меня на колокольню, да в другой раз — в самый полдень. Что видел, не утаю...

— Сумнительно,— проговорил Василий Васильевич,— светило небесное, какие же на нем знаки? Врешь ты...

— Знаки, знаки... Мы привычные сквозь пальцы глядеть, и это вроде как пророчество из меня является, гляжу, как в книгу... Конечно, другие и в квасной гуще видят и в решето против месяца... Умеючи — отчего

же... Ах, батюшка,— Васька Силин вдруг сопнул медвежьим носом, раскачиваясь, пронзительно стал глядеть на князя.— Ах, милостивец... Все видел, все знаю... Стоит один царь, длинен, темен, и венец на нем на спине мотается... Другой царь — светел... ах, сказать страшно... три свечи у него в головке... А промеж царей — двое, сцепились и колесом так и ходят, так и ходят, будто муж и жена. И оба в венцах, и солнце промеж их так и жжет...

— Не понимаю,— чего городишь,— Василий Васильевич, подняв свечу, попятился.

— Все по-твоему сбудется... Ничего не бойся... Стой крепко... А травки мои подсыпай, подсыпай,— вернее будет... Не давай девке покою, горячи ее, горячи... (Василий Васильевич был уже у двери...) Милостивец, цепь-то вели снять с меня... (Он рванулся, как цепной кобель.) Батюшка, пищи вели прислать, со вчерашнего не евши...

Когда захлопнулась дверь, он завыл, гремя цепью, причитывая дурным голосом...

13

Стрелецкие пятидесятники, Кузьма Чермный, Никита Гладкий и Обросим Петров, из сил выбивались, мутили стрелецкие слободы. Входили в избы, зло рвя дверь: «Что, мол, вы тут — с бабами спите, а всем скоро головы пооторвут...» Страшно кричали на съезжем дворе: «Дегтем отметим боярские дворы и торговых людей лавки, будем их грабить, а рухлядь сносить в дуваны... Нынче опять — воля...» На базарных площадях кидали подметные письма и тут же, яростно матерясь, читали их народу...

Но стрельцы, как сырые дрова, шипели, не загорались — не занималось зарево бунта. Да и боялись: «Гляди, сколько на Москве подлого народу, ударь в набат,— все разнесут, свое добро не отобьешь...»

Однажды у Мясницких ворот рано поутру нашли четырех караульных стрельцов — без памяти, проломаны головы, порублены суставы. Приволокли их в

Стремянный полк, в съезжую избу. Послали за Федором Левонтьевичем Шакловитым, и при нем они рассказали:

«Стоим у ворот на карауле, боже упаси, не выпивши. А время — заря... Вдруг с пустыря налетают верхоконные и, здорово живешь, начинают нас бить обухами, чеканами, кистенями... Злее всех был один, толстый, в белом атласном кафтане, в боярской шапке. Те уж его унимали: «Полно-де бить, Лев Кириллович, убьешь до смерти...» А он кричит: «Не то еще будет, заплачу проклятым стрельцам за моих братьев».

Шакловитый, усмехаясь, слушал. Осматривал раны. Взяв в руки отрубленный палец, являл его с крыльца сторонним людям и стрельцам. «Да, — говорил,— видно, будут и вас скоро таскать за ноги...»

Чудно. Не верилось, чтобы вдруг Лев Кириллович стал так баловать. А уж Гладкий, Петров и Чермный разносили по слободам, что Лев Кириллович с товарищами ездят по ночам, приглядываются,— узнают, кто семь лет назад воровал в Кремле, и того бьют до смерти... «Конечно,— отвечали стрельцы смирно,— за воровство-то по голове не гладют...»

Прошло дня три, и опять у Покровских ворот те же верхоконные с толстым боярином наскочили на заставу, били чеканами, плетями, саблями, поранили многих... Кое-где в полках ударили набат, но стрельцы вконец испугались, не вышли... По ночам с караулов стали убегать. Требовали, чтобы в наряд посылали их не менее сотни и с пушкой... Будто с глазу — совсем осмирнели стрельцы...

А потом пошел слух, что этих верхоконных озорников кое-кого уже признали: Степку Одоевского, Мишку Тыртова, что жил у него в любовниках, Петра Андреевича Толстого, а вот, в белом кафтане, будто бы даже был и не боярин, а подьячий Матвейка Шошин, близкий человек царевны. Руками разводили,— чего же они добиваются этим озорством?

Нехорошо было на Москве, тревожно. Каждую ночь в Кремль посылали наряд человек по пятисот. Возвращались оттуда пьяные. Ждали пожаров. Рассказывали, будто изготовлены хитрого устройства руч-

ные гранаты, и Никита Гладкий тайно возил их в Преображенское, подбросил на дороге, где царю Петру идти, но только они не взорвались. Все ждали чего-то, затаились.

В Преображенском, с приездом Петра, не переставая стреляли пушки. На дорогах стояли за рогатками бритые солдаты с бабьими волосами, в шляпах, в зеленых кафтанцах. Несколько раз бродящий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское громить амбары, но, не доходя Яузы, повсюду натыкались на солдат, и те грозили стрелять. Всем надоело — скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал: Софья ли Петра, Петр ли Софью... Лишь бы что-нибудь утвердилось...

14

Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. На каждом шагу останавливали, он отвечал: «Стольник царя Петра, с царским указом...» На Лубянской площади свет костров озарял приземистую башню, облупленные зубчатые стены, уходящие в темноту к Неглинной. Чернее казалось небо в августовских звездах, гуще древесные заросли за тынами и заборами кругом площади. Поблескивали кресты низеньких церковок. Множество торговых палаток были безлюдны за поздним временем. Направо, у длинной избы Стремянного полка, сидели люди с секирами.

Волкову было приказано (посылался за пустым делом в Кремль) осмотреть, что делается в городе. Приказал Борис Алексеевич Голицын,— он дневал и ночевал теперь в Преображенском. Сонное житье там кончилось. Петр прискакал с Переяславского озера, как подмененный. О прежних забавах и не заикнуться. На Казанскую, вернувшись домой, он так бесновался,— едва отпоили с уголька... Ближними теперь к нему были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно, запершись с ним, шептались,— и Петр их слушал. Потешным войскам прибавили кормовых, выдали новые кушаки и рукавицы,— деньги на это заняли на Кукуе. Без десятка вооруженных стольников Петр не выходил

ни на двор, ни в поле. И все будто озирался через плечо, будто не доверял, в каждого вонзался взором. Сегодня, когда Волков садился на коня, Петр крикнул в окошко:

— Софья будет спрашивать про меня,— молчи... На дыбу поднимут, молчи...

Оглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцой... «Стой, стой!» — страшно закричали из темноты. Наперерез бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. «Куда ты, тудыть...» — схватил лошадь под уздцы...

— Но, но, постерегись, я царский стольник...

Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро...

«Кто таков?..» — «Стольник?..» — «Его нам и надо...» «Сам залетел...» Окружили, повели к избе. Там при свете костра Волков признал в рослом стрельце Овсея Ржова. Поджался,— дело плохо. Овсей,— не выпуская узды:

— Эй, кто резвый, сбегайте, поищите Никиту Гладкого...

Двое нехотя пошли. Стрельцы поднимались от костра, с завалины съезжей избы, откидывая рогожки, вылезали из телег. Собралось их около полусотни. Стояли не шумно, будто это дело их не касалось. Волков осмелел:

— Нехорошо поступаете, стрельцы... По две головы, что ли, у вас?.. Я везу царский указ — хватаете: это воровство, измена...

— Замолчи,— Овсей замахнулся самопалом.

Старый стрелец остановил его:

— Не трогай, он человек подневольный.

— То-то, что я подневольный. Я царю слуга. А вы кому слуги? Смотрите, стрельцы, не прогадайте. Был хорош Хованский, а что с ним сделали? Были вы хороши, а где столб на Красной площади, где ваши вольности?

— Буде врать, сука! — закричал Овсей.

— Вас жалею. Мало вас Голицын таскал по степям... Подсобляйте ему, подсобляйте, он вас в третий поход поведет... Будете вы по дворам куски просить... (Стрельцы молчали еще угрюмее.) Царь Петр не ма-

ленький... Прошло время, когда он вас пужался... Как бы вы его теперь не напужались... Ох, стрельцы,— уймите это воровство...

— И-эх! — вскрикнул кто-то так дико, что стрельцы вздрогнули. Волков захрапел, поднял руки, завалился. Сзади на его коня с бегу прыжком вскочил Никита Гладкий, схватил за шею, вместе с Волковым повалился на землю. Перевернувшись, сел на него, ударил в зубы, сбил шапку, сорвал саблю. Вскочил, загоготал, потрясая саблей,— широколобый, рябой, большеротый.

— Видели,— вот его сабля... Я и царя Петра так же оборву... Бери его, тащи в Кремль к Федору Левонтьевичу...

Стрельцы подняли Волкова, повели с холма вдоль китайгородской стены, мимо усеянных вороньими гнездами ветел, что раскидывались, корявые и древние, по берегу заплесневелой Неглинной, мимо виселиц и колес на шестах. Сзади шел Гладкий, от него несло перегаром. В Кремль вошли через Кутафью башню. За воротами горели костры. Несколько сот стрельцов сидели вдоль дворцовой стены, валялись на траве, бродили повсюду. Волкова протащили по темному переходу и втолкнули в низенькую палату, освещенную лампадами. Гладкий ушел во дворец. У двери стал морщинистый, смирный караульный. Облокотясь на секиру, сказал тихо:

— Ты не серчай, смотри,— нам ведь самим податься некуда... Прикажут,— бьешь... Голодно, боярин... Четырнадцать душ, семья-то... Раньше приторговывали, а теперь,— что пожалуют, на то и живем... А мы разве воруем против царя Петра... Да владей нами, кто хошь,— вот нынче-то как...

Вошла Софья,— по-девичьему — простоволосая, в черном бархатном летнике с собольим мехом. Хмуро села к столу. За ней — красавец Шакловитый, белозубо улыбаясь. На нем был крапивного цвета стрелецкий кафтан. Сел рядом с Софьей. Никита Гладкий, придурковато,— слуга верный,— отошел к притолоке. Шакловитый вертел в пальцах письмо Петра, вынутое у Волкова из кармана.

— Государыня прочла письмецо, дело пустое. Что же так спешно погнали тебя в ночную пору?

— Разведчик,— сквозь зубы проговорила Софья.

— Мы рады поговорить с тобой, царев стольник... Здоров ли царь Петр? Здорова ли царица? Долго ли думают на нас серчать? (Волков молчал.) Ты отвечай, а то заставим...

— Заставим,— тихо повторила Софья, тяжело, помужичьи, глядя на него.

— Довольно ли припасов в потешных войсках? Не терпят ли какой нужды? Государыня все хочет знать,— спрашивал Шакловитый.— А зачем караулы на дорогах ставите,— забавы ради али кого боитесь? Скоро в Москву от вас и проезда не будет... Обозы с хлебом отбиваете,— разве это порядки...

Волков, как приказано, молчал,— опустил голову. Страшно было молчать. Но чем нетерпеливее спрашивал Шакловитый, чем грознее хмурилась Софья, тем упрямее сжимались у него губы. И сам был не рад такому своему озорству. Много накопилось силы, покуда валялся на боку в Преображенском. И сердце ярилось: пытай, на — пытай, ничего не скажу... Кинься сейчас Шакловитый с ножом,— ремни резать из спины,— нагло бы, весело взглянул ему в глаза. И Волков поднял голову, стал глядеть нагло и весело. Софья побледнела, ноздри у нее раздулись. Шакловитый бешено топнул, вскочил:

— На дыбе отвечать хочешь?

— Нечего мне вам отвечать,— проговорил Волков (сам даже ужаснулся), ногу выставил, плечом повел.— Сами и поезжайте в Преображенское, стрельцов провожатых у вас, чай, хватит...

Со всего плеча Шакловитый ударил его в душу. Волков подавился, попятился и видел, как от стола поднималась Софья, дрожа налитым гневом, толстым лицом.

— Отрубить голову,— сказала она хриповато. Никита Гладкий и караульный поволокли Волкова во двор. «Палачи!» — закричал Никита. Волков повис на руках. Его отпустили, упал ничком. Кое-кто из стрельцов подошел, стали спрашивать: кто таков и за что

рубить голову? Посмеиваясь, стали вызывать,— перекличкой через всю темную площадь,— охотника-палача. Гладкий сам потащил было саблю из ножен. Ему сказали: «Стыдновато, Никита Иваныч, саблю таким делом кровавить». Заругавшись, убежал во дворец. Тогда старик караульный нагнулся, потрогал за плечо окостеневшего Волкова.

— Ступай на здоровье. В ворота не ходи, а беги стеной, да и перелезь где-нибудь...

Костры на Лубянской площади погасли (один еще тлел у избы),— никто не хотел таскать дров, сколько ни шумел Овсей. В темноте многие стрельцы ушли по дворам. Иные спали. Человек пять, отойдя к забору, в тень навесистых лип, разговаривали тихо...

— Гладкий говорил: на Рязанском подворье у Бориса Голицына спрятано шестьдесят чепей гремячих серебряных... Разделим, говорит, их, продуваним...

— Гладкому дорваться грабить, только он мало кого сманит на это.

— Веры нет: им грабить, а нам отвечать.

— Стольник правильно говорил: как бы мы скоро царя Петра не испужались...

— Недолго и испужаться...

— А эта, царевна-то наша,— одних дарит деньгами, а другие торчи день и ночь в караулах, дома все хозяйство разорено...

— А я бы, ей-ей, ушел без оглядки в потешные войска...

— А ведь он, ребята, одолеет...

— Очень просто...

— Зря мы здесь ждем... Дождемся петли на шею...

Замолчали, обернулись. Со стороны Кремля кто-то подскакивал во весь мах. «Опять Гладкий... Что его, дьявола, носит...» Пьяно загнав коня в костер, Гладкий соскочил, закричал:

— Для чего стрельцы не в сборе? Для чего не посланы на заставы? В Кремле все готовы, а у вас и костры не горят! Спят! Дьяволы! Где Овсей? Послать

в слободы! Как ударим на Спасской башне,— всем стать под ружье...

Ругаясь, раскорячивая ноги, Гладкий убежал в избу. Тогда стоявшие под липами сказали друг другу:

— Набат...

— Нынче ночью...

— Не соберут...

— Нет...

— А что, братцы, если... а? (Ближе сдвинулись головами, и чуть слышно):

— А там поблагодарят...

— Само собой...

— И награда и все такое...

— Ребята, а тут дело гиблое...

— Знаем... Ребята, кто пойдет? Двоих бы надо...

— Ну, кто?

— Дмитрий Мелнов, пойдешь?

— Пойду.

— Яков Ладыгин, пойдешь?

— Я-то? Ладно, пойду...

— Добивайтесь — до самого... В ноги, и — так и так... Замышлено-де смертное убийство на тебя, великого государя... Мы-де, как твои слуги верные, как мы хрест целовали...

— Не учи, сами знаем...

— Скажем...

— Идите, ребята...

15

Воевать с двумя батальонами — Преображенским и Семеновским — и думать не приходилось. Тридцать тысяч стрельцов, жильцы, иноземная пехота, солдатский полк генерала Гордона прихлопнули бы потешных, как муху. Борис Голицын настаивал: спокойно ждать в Преображенском до весны. Скоро — осенняя распутица, морозы,— стрельцов поленом не сгонишь с печи воевать. А весною будет видно... Хуже не станет, думать надо, станет хуже для Софьи и Василия Васильевича: за зиму бояре окончательно перессорятся, начнут перелетать в Преображенское; жалованья стрельцам выдано не будет,— казна пуста. Народ

голодает, посады, ремесленники разорены, купечество стонет. Но, буде Софья все же поднимет войска по набату,— нужно уходить с потешными в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен,— место испытанное, можно отсиживаться хоть год, хоть более...

По совету Бориса Голицына из Преображенского тайно послали в Троицу подарки архимандриту Викентию. Борис Алексеевич два раза сам туда ездил и говорил с архимандритом, прося защиты. Каждый день генерал Зоммер устраивал смотры и апробации,— от пушечных выстрелов едва не все стекла полопались во дворце. Но, когда Петр заговаривал про Москву, Зоммер только сопел хмуро в усы: «Что ж, будем защищаться...» Приезжал Лефорт, но не часто,— трезвый, галантный, с боязливой улыбочкой, и вид его более всего пугал Петра... Он не верил уж и Лефорту. Часто среди ночи Петр будил Алексашку, кое-как накидывали кафтаны, бежали проверять караулы. Подолгу стоя в ночной сырости на берегу Яузы, Петр вглядывался в сторону Москвы,— тьма, ни огонька и тишина зловещая.

Вздрогнув от холода, угрюмо звал Алексашку, брел спать.

Только первые ночи по возвращении он спал с женой. Потом приказал стлать себе в дворцовой пристройке, в низенькой, с одним оконцем палате, вроде чулана,— царю на лавке, Алексашке на полу, на кошме. Евдокия очи исплакала, дожидаясь лапушку,— была она брюхатая, на четвертом месяце,— дождалась и опять не осушала слез. Встречая мужа, хотела бежать на дорогу, да не пустили старухи. Вырвалась, в сенях кинулась к мужу дорогому,— вошел он длинный, худой, чужеватый,— прильнула лицом, руками, грудью, животом... Лапушка поцеловал жесткими губами,— весь пропах дегтем, табаком. Спросил только, проведя быстро ладонью по ее начавшему набухать животу: «Ну, ну, а что же не писала про такое дело»,— и мимолетно смягчилось его лицо. Пошел с женой к матери — поклонился. Говорил отрывисто, непонятно, дергал плечиком и все почесывался. Наталья Кирилловна сказала под конец: «Государь мой Петенька,

мыльню с утра уж топим...» Взглянул на мать странно: «Матушка, не от грязи свербит». Наталья Кирилловна поняла, и слезы поползли у нее по щекам.

Только на три ночи Евдокия залучила его в опочивальню,— как ждала, как любила, как надеялась приласкать! Но заробела, растерялась хуже, чем в ночь после венца, не знала, о чем и спросить лапушку. И лежала на шитых жемчугом подушках дура дурой. Он вздрагивал, почесывался во сне. Она боялась пошевелиться. А когда он ушел спать в чулан,— со стыда перед людьми не знала, куда девать глаза. Но Петр будто забыл про жену. Весь день в заботах, в беготне, в шептании с Голицыным... Так начинался август... В Москве было зловеще, в Преображенском — всё в страхе, настороже.

16

— Мин херц, а что, если тебе написать римскому цезарю, чтобы дал войско?

— Дурак...

— Это я-то? — Алексашка вскочил на кошме на четвереньки. Подполз. Глаза прыгали.— Очень не глупо говорю, мин херц. И просить надо тысяч десять пеших солдат... Не больше... Ты поговори-ка с Борисом Алексеевичем.

Алексашка присел у изголовья. Петр лежал на боку, подобрав колени, натянув одеяло на голову. Алексашка кусал кожу на губе.

— Денег у нас на это нет, конечно, мин херц... Нужны деньги... Мы обманем... Неужто мы императора не обманем? Я бы сам слетал в Вену. Эх, и двинули бы по Москве, по стрельцам, ей-ей...

— Иди к черту...

— Ну, ладно...— Алексашка так же проворно лег под тулуп.— Я же не говорю — к шведам ехать кланяться или к татарам... Понимаю тоже. Не хочешь,— не надо... Дело ваше...

Петр заговорил из-под одеяла, неясно, будто сквозь стиснутые зубы:

— Поздно придумал...

Замолчали. В каморке было жарко. Скребла мышь под печью. Издалека доносилось: «Посматривай»,— это кричали караульные на Яузе. Алексашка ровно задышал...

Петра все эти ночи томила бессонница. Только голова начнет проваливаться в подушку, почудится беззвучный вопль: «Пожар, пожар!» И сердце затрепещет, как овечий хвост... Сон — прочь. Успокоится, а ухо ловит,— будто вдалеке в дому за бревенчатыми стенами кто-то плачет... Много было передумано за эти ночи... Вспоминал: хоть и в притеснении и на задворках, но беспечно прошли годы в Преображенском — весело, шумно, бестолково и весьма глупо... Оказался: всем чужой... Волчонок, солдатский кум... Проплясал, доигрался,— и вот уж злодейский нож у сердца...

Снова слетал сон. Петр плотнее скрючивался под одеялом.

...Сестрица, сестрица, бесстыдница, кровожаждущая... Широкобедрая, с жирной шеей... (Вспомнил, как стояла под шатром в соборе.) Мужицкое нарумяненное лицо,— мясничиха! Гранаты на дорогу велела подбросить... С ножом подсылает... В поварне вчера объявился бочонок с квасом, хорошо, что дали сперва полакать собаке,— сдохла...

Петр отмахнулся от мыслей... Но гнев сам рвался в височные жилы... Лишить его жизни! Ни зверь, ни один человек, наверно, с такой жадностью не хотел жить, как Петр...

— Алексашка... Черт, спишь, дай квасу...

Алексашка обалдело выскочил из-под тулупа. Почесываясь, принес в ковшике квасу, наперед сам отхлебнув, подал. Зевнул. Поговорили немного. «Послушивай»,— печально, бессонно донеслось издали...

— Давай спать, мин херц...

Петр скинул с лавки голые худые ноги... Теперь не чудилось,— тяжелые шаги торопливо топали по переходам... Голоса, вскрики... Алексашка, в одном исподнем, с двумя пистолетами стоял у двери...

— Мин херц, сюда бегут...

Петр глядел на дверь. Подбегают... У двери — остановились... Дрожащий голос:

— Государь, проснись, беда...

— Мин херц,— это Алешка.

Алексашка откинул щеколду. Тяжело дыша, вошли — Никита Зотов, босой, с белыми глазами; за ним преображенцы, Алексей Бровкин и усатый Бухвостов, втащили, будто это были мешки без костей, двоих стрельцов,— бороды, волосы растрепаны, губы отвисли, взоры блаженные.

Зотов, со страху утративший голос, прошипел:

— Мелнов да Ладыгин, Стремянного полка, из Москвы — прибежали...

Стрельцы с порога повалились — бородами в кошму и закликали истово, как можно страшнее:

— О-ой, о-ой, государь батюшка, пропала твоя головушка, о-ой, о-ой... И что же над тобой умышляют, отцом родимым, собирается сила несметная, точат ножи булатные. Гудит набат на Спасской башне, бежит народ со всех концов...

Весь сотрясаясь, мотая слипшимися кудрями, лягая левой ногой, Петр закричал еще страшнее стрельцов, оттолкнул Никиту и побежал, как был, в одной сорочке, по переходам. Повсюду из дверей высовывались, обмирали старушонки.

У черного крыльца толпилась перепуганная челядь. Видели, как кто-то выскочил — белый, длинный, протянул, будто слепой, перед собой руки... «Батюшки, царь!» — со страха иные попадали. Петр кинулся сквозь людей, вырвал узду и плеть из рук караульного офицера, вскочил в седло, не попадая ступнями в стремена, и, нахлестывая, поскакал,— скрылся за деревьями.

Алексашка был спокойнее: успел надеть кафтан и сапоги, крикнул Алешке: «Захвати царскую одежу, догоняй»,— и поскакал на другой караульной лошади за Петром. Нагнал его, мчавшегося без стремян и повода, только в Сокольничьей роще.

— Стой, стой, мин херц!

В роще сквозь высокие вершины блистали осенней ясностью звезды. Слышались шорохи. Петр озирался, вздрагивая, бил лошадь пятками, чтобы опять скакать. Алексашка хватал его лошадь, повторял сердитым шепотом:

— Да погоди ты, куда ты без штанов, мин херц!..

В папоротнике шумно зафырчало,— путаясь крыльями, вылетел тетерев, тенью пронесся перед звездами. Петр только взялся за голую грудь, где сердце. Алексей Бровкин и Бухвостов верхами привезли одежду. Втроем, торопливо, кое-как одели царя. Подскакало еще человек двадцать стольников и офицеров. Осторожно выбрались из рощи. В стороне Москвы мерцало слабое зарево и будто слышался набат. Петр проговорил сквозь зубы:

— В Троицу...

Помчались проселками, пустынными полями на троицкую дорогу. Петр скакал, бросив поводья,— треухая шляпа надвинута на глаза. Время от времени он ожесточенно хлестал плетью по конской шее. Впереди него и сзади — двадцать три человека. Размашисто били копыта по сухой дороге. Холмы, увалы, осиновые, березовые перелески. Позеленело небо на востоке. Похрапывали лошади, свистел ветер в ушах. В одном месте какая-то тень шарахнулась прочь, зверь ли — не разобрали,— или мужик, приехавший в ночное, кинулся в траву без памяти от страха.

Нужно было поспеть в Троицу вперед Софьи. Занималась заря, желтая и пустынная. Упало несколько лошадей. В ближайшем яме[1] переседлали, не передохнув, поскакали дальше. Когда вдали выросли острые кровли крепостных башен и разгоревшаяся заря заиграла на куполах, Петр остановил лошадь, обернулся, оскалился... Шагом въехал в монастырские ворота. Царя сняли с седла, внесли, полуживого от стыда и утомления, в келью архимандрита.

---

[1] Ям — постоялый двор. Отсюда — ямщик.

17

Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском: Софья не смогла собрать стрельцов, набат на Спасской башне так и не ударили, Москва равнодушно спала в ту ночь. Преображенское было покинуто... Все — Наталья Кирилловна с беременной невесткой, ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами ушли к Троице.

Когда на другой день Софья стояла обедню в домовой церкви,— сквозь бояр протолкнулся Шакловитый. Был он страшен лицом. Софья изумленно подняла брови. Он с кривой усмешкой наклонился к ней:

— Царя Петра из Преображенского согнали, ушел, бес, в одной сорочке неведомо куда...

Софья подобрала губы, проговорила постно:

— Вольно ж ему, взбесяся, бегать...

Важного будто бы ничего не случилось. Но в тот же день стало известно, что стрелецкий полк Лаврентия Сухарева весь целиком ушел в Троицу,—непонятно, когда его успели сманить и кто,— должно быть, Борис Голицын, давнишний собутыльник Лаврентия. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота, то там, то там выезжала боярская колымага и, громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на ярославскую дорогу...

Василий Васильевич Голицын ночи проводил с Медведевым, пытаясь волшебством угадать судьбу свою. А днем бродил во дворце сонный, на все соглашался. Шакловитый метался по полкам. Софья, затаив бешенство, ожидала...

Неожиданно ушел в Троицу с пятисотенниками, сотенниками и частью стрельцов полковник Иван Цыклер, семь лет тому назад вытащивший из церковного тайника под алтарем брата царицы Ивана Кирилловича. Он был в доверенности у Софьи. И уже, конечно, моля Петра о прощении, раскрыл все царевнины замыслы.

Узнав про Цыклера, Софья растерялась. На кого же положиться теперь, когда такие верные псы ухо-

дят? А из Троицы стали прибывать гонцы во все девятнадцать стрелецких полков с грамотами (написанные рукою Бориса Голицына и подписанные наискось, с чернильными брызгами — «Птр»), где приказывалось полковникам и урядникам, не мешкая, ехать к царю Петру для великого государственного дела...

Гонцов били на заставах и грамоты отнимали, но некоторые успели проскочить в полки и прочесть указ. Тогда Софья велела объявить: «Кто осмелится идти к Троице,— тому рубить голову». Полковники сказали на это: «Ладно, не пойдем». Василий Васильевич надумал послать надежных людей к тем стрельчихам, коих мужья перекинулись к Петру, и, пугая, уговорить стрельчих написать мужьям, чтобы вернулись. Так и сделали, но толку от этого вышло мало.

Послали в Троицу патриарха Иоакима — уговорить мириться. Патриарх охотно поехал, но там и остался, даже не отписал Софье. Прибыли новые грамоты от Петра в полки, в гостиные и черные сотни, в слободы и посады... «Без оплошки явиться в Троицкую лавру, если же кто не явится,— тому быть в смертной казни...» Выходило: и тут голова прочь, и там голова прочь летит. Полковники Нечаев, Спиридонов, Норматский, Дуров, Сергеев, пятьсот урядников, множество рядовых стрельцов, выборные от купечества и посадов в великом страхе ушли в Троицу. Царь Петр, стоя на крыльце, одетый в русское платье,— с ним Борис Голицын, обе царицы и патриарх,— жаловал чаркой водки приходящих, и они вопили слезным воплем, прося кончить смуту. В тот же день в Сухаревом полку закричали: «Идемте в Москву ловить злодеев...»

Василий Васильевич сказался больным. Шакловитый, боясь теперь показываться, пребывал в тайных дворцовых покоях. Гладкий с товарищами прятался на подворье у Медведева. В Кремле закрыли все ворота. Выкатили пушки на стены. Софья, не находя места, бродила по опустевшим палатам,— шаги ее были тяжелы, руки сжаты под грудью. Лучше открытый бой, восстание, резня, чем эта умирающая тишина во дворце. Как сон из памяти — уходила власть, уходила жизнь.

Но в городе как будто все было покойно. Шумели, как всегда, площади и базары. По ночам слышались колотушки сторожей, да кричали петухи. Воевать никому не хотелось. Все, казалось, забыли про Софью, одиноко сидевшую за кремлевскими стенами.

Тогда она решилась, и двадцать девятого августа одна с девкой Веркой в карете и с небольшой охраной сама поехала в Троицу.

18

День и ночь пыль стояла над ярославской дорогой,— шли из Москвы пешие и конные, катили колымаги. Перед стенами Троицкой лавры, в посадах и в поле теснились обозы, дымили костры,— шум и драки ежечасно из-за места, из-за хлеба, из-за конского корма. В лавре не ждали такого нашествия, и житницы скоро опустели, стога в полях были растащены. А стрельцов и служилых людей кормить надо было сытно. За кормом посылали отряды в близлежащие села, и там скоро не осталось ни цыпленка. И все же у Троицы тесно было и голодно. Многие высокие бояре жили в палатках, кто на дворе, кто прямо на улице. Царских выходов ждали, сидя прямо на крыльце под солнцепеком, тут же ели всухомятку. Трудно было сменить на эдакую давку и толкучку покойные,— куда и птица чужая не залетит,— московские дворы. Но все понимали,— решается великое дело, меняется власть. Но к добру ли? Будто бы хуже, чем теперь,— некуда: вся Москва, весь народ, вся Россия — в язвах, в рубищах, нищая. По вечерам, сидя у костров, лежа под телегами, люди разговаривали вольно и вволю. Все поля кругом лавры шумели голосами, краснели огнями. Появились откуда-то мужики, знающие волшебство,— подмигивая странно, пересыпали в шапке бобы, присев, раскинув небольшой плат на земле,— кому хочешь разводили бобы: выбросит их в три кучки, проведет перстами и тихо, человечно вещает:

— Чего, мол, хотел,— получишь, о чем дума-

ешь,— не сомневайся, бояться тебе того, кто в лаптях не ходит, овчину не носит,— лицом бел. Мимо третьего двора не ходи, на три звезды не мочись. Дождешься своего — может, скоро, может, нет, аминь. Спасибо не говори, давай из-за щеки деньгу...

Туману напускали волшебные мужики, ползая в потемках между телегами.

— У царевны становая жила подкосилась,— шептали они,— князь Василий Голицын до первого снега не доживет... Умен, что ушел от них... Царь Петр еще зелен, да за него думают царица и патриарх, они всему делу венец... Они за ядро станут... А самое ядро будет вот какое: боярам не велят в каретах ездить и оставят каждому по одному двору, только чтобы прожить. И гостиные люди и слободские лучшие люди выборные будут ходить во дворец и говорить уверенно: это, мол, сделаете, а этого не надо... Иностранцев выбьют всех из России, и дворы их отдадут грабить. Мужикам и холопам будет воля,— живи, где хочешь, без надсады, без повинностей...

Так говорили волхвы и чародеи, так думали те, кто слушал. Над лаврой непрестанно гудел праздничный перезвон. Храмы и соборы открыты, озарены свечами, суровое монастырское пение слышалось день и ночь.

Чуть свет царь Петр,— по правую руку царица мать, по левую патриарх,— сходили с крыльца стоять службу. После, появляясь перед народом, царица сама подносила новоприбывшим по чарке водки, патриарх, высохший от служб и поста, но приподнятый духом, говорил:

— Боголюбно поступаете, что от воров уходите, царя боитесь,— и сверкивал глазами на Петра. Царь, одетый в русское платье,— в чистых ручках шелковый платочек,— был смирён, голова опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил вина. Что говорили ему мать, или патриарх, или Борис Голицын, то и делал, из лавры за стены не выезжал. После обедни садился в келье архимандрита под образа и боярам давал целовать ручку. Скороговорку, таращение глаз бросил,— благолепно и тихо отвечал и не по своему ра-

зуму, а по советам старших. Наталья Кирилловна то и дело повторяла ближним боярам:

— Не знаю, как бога благодарить,— образумился государь-то наш, такой истинный, такой чинный стал...

Из иноземцев близко к нему допускался один Лефорт, и то не на выходы или в трапезную, а по вечерам, не попадаясь на глаза патриарху,— приходил к царю в келью. Петр молча хватал его за щеки, целовал, облегченно вздыхал. Садился близко рядом. Лефорт ломаным шепотом рассказывал про то и се, смешил и ободрял и между балагурством вставлял дельные мысли.

Он понимал, что Петру мучительно стыдно за свое бегство в одной сорочке, и приводил примеры из «гиштории Брониуса» про королей и славных полководцев, хитростью спасавших жизнь свою... «Один дюк французский принужден был в женское платье одеться и в постель лечь с мужчиной, а на другой день семь городов взял... Полководец Нектарий, видя, что враги одолевают, плешью своей врагов устрашил и в бегство обратил, но впоследствии сраму не избежал и плешь рогами украсил, хотя славы и не убавил»,— говорит Брониус... Смеясь, Лефорт крепко сжимал закапанные воском руки Петра.

Петр был неопытен и горяч. Лефорт повторял, что прежде всего нужна осторожность в борьбе с Софьей: не рваться в драку,— драка всем сейчас надоела,— а под благодатный звон лавры обещать валившему из Москвы народу мир и благополучие. Софья сама упадет, как подгнивший столб. Лефорт нашептывал:

— Ходи степенно, Петер, говори кротко, гляди тихо, службы стой, покуда ноги терпят,— всем будешь любезен. Вот, скажут, такого господина нам бог послал, при таком-то передохнем... А кричит и дерется пускай Борис Голицын...

Петр дивился разумности сердечного друга Франца. «По-французски называется политйк — знать свои выгоды,— объяснял Лефорт.— Французский король Людовик Одиннадцатый,— если мужик ему нужен,— и к подлому мужику заходил в гости, а, когда надо, знаменитому дюку или графу голову рубил без пощады.

Не столько воевал, сколько занимался полити́к, и лисой был и львом, врагов разорил и государство обогатил...»

Чудно было его слушать: танцор, дебошан, балагур, а здесь вдруг заговорил о том, о чем русские и не заикались: «У вас каждый тянет врозь, а до государства никому дела нет: одному прибытки дороги, другому честь, иному — только чрево набить... Народа такого дикого сыскать можно разве в Африке. Ни ремеслов, ни войска, ни флота... Одно — три шкуры драть, да и те худые...»

Говорил он такие слова смело, не боясь, что Петр вступится за Третий Рим... Будто со свечой проникал он в дебри Петрова ума, дикого, жадного, встревоженного. Уж и огонек лампады перед ликом Сергия лизал зеленое стекло, и за окном затихали шаги дозорных,— Лефорт, рассмешив шуточкой, опять сворачивал на свое:

— Ты очень умный человек, Петер... О, я много шатался по свету, видел разных людей... Тебе отдаю шпагу мою и жизнь... (Любовно заглядывал в карие, выпуклые глаза Петра, такого тихого и будто много лет прожившего за эти дни.) Нужны тебе верные и умные люди, Петер... Не торопись, жди,— мы найдем новых людей, таких, кто за дело, за твое слово в огонь пойдут, отца, мать не пожалеют... А бояре пусть спорят между собой за места, за честь,— им новые головы не приставишь, а отрубить их никогда не поздно... Выжди, укрепись, еще слаб бороться с боярами... Будут у нас потехи, шумство, красивые девушки... Покуда кровь горяча,— гуляй,— казны хватит, ты — царь...

Близко шептали его тонкие губы, закрученные усики щекотали щеку Петра, зрачки, то ласковые, то твердые, дышали умом и дебошанством... Любимый человек читал в мыслях, словами выговаривал то, что смутным только желанием бродило в голове Петра...

Наталья Кирилловна не могла надивиться,— откуда у Петруши столько благоразумия; не нарадовалась на его благолепие: мать и патриарха почитает, ближних бояр слушает, с женой спит, в мыльню ходит. Наталья Кирилловна, как роза осенью, расцвела в лавре: пятнадцать лет жила в забросе, и вот снова пихаются

локтями великородные князья, чтоб поклониться матушке царице; бояре, окольничие в уста смотрят, чтоб кинуться за делом каким-нибудь. Обедню стоит на первом месте, первой ей патриарх подносит крест. При выходах народ валится наземь, юродивые, калеки, нищие с воплями славословят ее, тянутся схватить край подола. Голос у Натальи Кирилловны сделался покойный и медленно-речивый, взгляд царственный. В келье у нее на лавках и сундуках, не шевелясь от жары, в выходных шубах сидели бояре: ближайший из людей, бывший еще при младенце Петре в поддядьках, Тихон Никитьевич Стрешнев,— на устах блаженная улыбка, бровями занавешены глаза, чтоб люди зря не судили: лукав ли он, умен ли; суровый, рыжий, широкий лицом князь Иван Борисович Троекуров; свояк Петр Абрамович Лопухин,— у него обтянутые скулы горели и голые веки были красны,— до того низенькому, сухому старику не терпелось властвовать; прислонясь к печи, покойно сложив руки, дремал горбоносый, похожий на цыгана, князь Михайла Алегукович Черкасский... В середине месяца прибыл Федор Юрьевич Ромодановский и тоже стал сидеть у царицы, поглаживая усы, ворочая, как стеклянными, выпученными глазами, вздыхал, колыхая великим чревом...

Царица, войдя в келью, называла каждого по имени-отчеству, садилась на простой стульчик, держа в перстах вынутую просфору. Рядом — братец, Лев Кириллович, румяный, тучный, степенный, и бояре не спеша с ними беседовали о государственных делах: как поступить с Софьей, как быть с Милославскими,— кого в ссылку, кого в монастырь и кому из бояр ведать каким приказом...

Борис Алексеевич Голицын редко бывал у царицы,— разве по крайней нужде,— стыдно ему было за двоюродного брата, да и некогда: дни и ночи писал грамоты, переговаривался с Москвой, переманивал полки, вел допросы, хлопотал о корме для войск. Советов ничьих не слушал,— заносчив был и горд хуже Василия. В легких золоченых латах, в итальянском шлеме с красными перьями, роскошный, подвыпивший, закрутив усы, ездил по полкам на горячей, как огонь, кобыле, с гри-

вой и хвостом, переплетенными золотыми шнурами. Наклоняясь с бархатного седла, целовался с новоприбывшими полковниками. Подскакивал, подбоченясь, к стрельцам, валившимся, как скошенная трава, на колени.

— Здорово, молодцы! — сиплым горлом кричал, и багровела пролысина у него на подбородке,— бог вас простит, царь помилует. Распрягайте обоз, варите кашу, вас государь жалует бочкой вина...

— Ин веселый какой Борис-то,— говорили бабам стрельцы в обозе,— знать, тут дело в гору, хорошо, что мы перекинулись...

Борис Голицын ворочал делами один за всех. Бояре и рады были не тревожиться,— в келье у царицы сидеть, думать — спокойнее. Одни Долгорукие, Яков и Григорий, жившие в ковровом шатре на дворе у митрополита, злобились на Бориса: «Семь лет от Василия терпели, а теперь, вишь, Борис на шею садится... Променяли кукушку на ястреба...» Не любил его и патриарх за пьянство с Петром на Кукуе, за латынь, за любовь к иноземщине. Но до времени молчал и патриарх.

Двадцать девятого августа к окованным воротам лавры подскакал стрелец без колпака, кафтан расхлыстан, на пыльном лице видны одни выкаченные белки. Задрал всклокоченный клин бороды к надворотной башне и страшно закричал:

— Государево дело!

Отворили скрипящие ворота, сняли стрельца с загнанной лошади,— здоровый был мужик, но будто бы не мог уж и идти,— до того загорелся, торопившись по государеву делу, и под руки с бережением подвели к Борису Голицыну. Шел, крутил головой. Увидев Бориса на крыльце, рванулся к ножкам князя:

— Софья в десяти верстах, в Воздвиженском...

19

Передовая застава в селе Воздвиженском остановила карету правительницы. Софья приоткрыла стеклянную дверцу и, узнав в лицо некоторых стрельцов,

начала их ругать изменниками и христопродавцами, грозила кулаком. Стрельцы испугались, поснимали шапки, но, когда карета опять тронулась, перегородили древками бердышей дорогу, схватили лошадей. Тогда испугалась Софья и приказала отвезти себя на какой ни на есть двор.

Мужики и бабы высовывались из калиток, мальчишки влезали на крыши — глядеть, собаки лязгали зубами на карету. Софья откинулась, сидела бледная, упалая от стыда и гнева. Верка припала к ее ножкам, урод-карла Игнашка, в аршин ростом, в колпаке с соколиными бубенцами, взятый в дорогу скуки ради, плакал морщинистым личиком. Привезли на богатый целовальничий двор. Софья велела, чтобы хозяева все попрятались, и вошла в светлицу, где Верка сейчас же покрыла царскими платами кровать, сундуки, лавки, зажгла лампады, и Софья прилегла. Предчувствие беды сдавило ей голову как железным обручем.

Не прошло и двух часов, послышался конский топот, звяканье сабли о стремя. Не спрашиваясь, будто в кабак, вошел в светлицу стольник Иван Иванович Бутурлин, руки в карманах, колпак заломлен.

— Где царевна?

Верка кинулась к нему, растопыря пальцы, толкая:

— Уйди, уйди, бесстыдник... Да спит она...

— А,— ну, спит, так скажи царевне, чтоб в лавру не ходила...

Софья вскинулась. Глядела на Бутурлина, покуда он не стащил шапки...

— Пойду в лавру... Скажи брату,— приду...

— Дело твое... Только государь приказал, чтобы тебе здесь ждать посла, князя Ивана Борисовича Троекурова, и — покуда он не прибудет — отсюда тебя не пускать...

Бутурлин ушел. Софья опять легла. Верка прикрыла ее шубкой, чтобы не тряслась. Меркло слюдяное окошко в светлице. Слышалось хлопанье пастушьего кнута, мычали коровы, скрипели ворота. И — опять тишина. Позванивали жалобно бубенчики на Игнашкином колпаке,— шутенок уныло сидел на сундуке, свесив ноги. «Уж и этот меня хоронить собрался...» Злоба сотря-

сала Софью... Достать бы его рукой,— покатился бы с сундука... Но руки лежали, как свинцовые...

— Верка,— позвала она тихо, низко,— про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре...

По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках стала чудиться голая спина Ваньки, скручены посиневшие руки, мелькнуло лезвие, вздулись и опали у него лопатки, на месте головы — пузырь кровавый... Не невежничай!.. Софья сдержанно передохнула.

Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она посылала из Кремля к Петру,— вернулся, ни о чем не договорившись. Софья тогда же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или струсил? Боярин ума гораздо среднего, только что страшен видом. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками.

— Верка, подай ларец...

Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечечку, долго,— так что Софьины плечи опять сотряслись досадой,— чиркала огнивом... Завонял трут, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата, царя Ивана,— писал он Петру, чтоб помирились, не надо-де больше крови, умолял патриарха о милосердной помощи: подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи.

Читая, усмехнулась недобро. Но, все равно,— придется пройти и через это унижение. Лишь бы выманить волчонка из Троицы... Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, влезши боком в узкую дверь, поклонился — пальцами до полу, выпрямился — медный лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только большой нос блестел от огонька свечечки... Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здо-

ровье. Поняв, она похолодела. И надо бы ей сесть, не унижаться еще дальше, и не села. Сказала:

— Ночевать хочу в лавре, здесь мне голодно, неприютно.— И все силилась проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее стонала от того, что ведь вот — боится она, правительница, этого дурака в трех шубах, и от бабьего, забытого страха голова уходит в плечи. Троекуров проговорил:

— Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна... Дороги опасны...

— Не мне бояться: войск у меня поболее, чем у вас...

— Да что в них толку-то...

— Оттого и еду без охраны,— не хочу крови, хочу мира...

— Про какую, царевна, кровь говоришь, крови не будет... Разве вор, бунтовщик Федька Шакловитый с товарищи крови-то все еще жаждут, так мы их и разыщем за это...

— Ты зачем приехал? — сдавленно крикнула Софья... (Он потянул из кармана свиток с красной на шнуре печатью.) — Указ привез? Верка, возьми указ у боярина... А мой указ будет такой: вели лошадей впрячь, ночевать хочу в лавре...

Отстранив Веркину руку, Троекуров развернул свиток и не спеша, торжественно стал выговаривать:

— Указом царя и великого князя всея Великие и Малые и Белые России самодержца велено тебе, не мешкав, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет...

— Пес! — Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула... Черный плат упал с ее головы.— Вернусь со всеми полками, твоя голова первая полетит...

Троекуров, кряхтя, нагнулся, поднял указ и, будто Софья и не бесновалась перед ним, окончил сурово:

— А буди настаивать станешь, рваться в лавру,— велено поступить с тобой нечестно... Так-то!..

Софья подняла руки, ногтями впилась в затылок и с размаху упала на постель. Троекуров осторожно положил указ на край лавки, опять поскреб в бороде, думая,— как же ему, послу, в сем случае поступить:

кланяться или не кланяться? Покосился на Софью,— лежала ничком, как у мертвой торчали из-под юбки ноги в бархатных башмаках. Медленно надел шапку и вытиснулся в дверь, без поклона.

20

«...А что ты мешкаешь в таком великом деле, то нет того хуже...»

Письмо дрожало в руке Василия Васильевича. Придвинув свечу, он всматривался в наспех нацарапанные слова. Снова и снова их перечитывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат, Борис, писал: «Полковник Гордон привел к Троице Бутырский полк и был допущен к руке, Петр Алексеевич его обнял и целовал многократно со слезами, и Гордон клялся служить ему до смерти... С ним же прибыли иноземные офицеры и драгуны и рейтары... Кто же остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои да промыслы, да торговые бани покидать неохота... Князь Василий, еще не поздно, спасти тебя могу,— завтра будет поздно... Федьку Шакловитого завтра будем ломать на дыбе...»

Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, ничем нельзя было остановить бегства из Москвы ратных и служилых людей. Бояре уезжали средь бела дня, нагло. Неподкупный и суровый воин, Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра явиться к Троице...

— Голова моя седа, и тело покрыто ранами,— сказал Гордон и глядел, насупясь, собрав морщинами бритые щеки,— я клялся на библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу.— Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он ударил ею в пол перед собой.— Не хочу, чтоб голова моя отлетела на плахе...

Василий Васильевич не противоречил,— бесполезно: Гордон понял, что в споре между Петром и Софьей Софья проспорила. И он ушел в тот же день

с развернутыми знаменами и барабанным боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном: видел тщетные усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бесславия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью оберегателя престола и большого воеводы он мог бы призвать не менее двадцати полков и выйти к Троице — разговаривать с Петром... Но брало сомнение,— а вдруг вместо послушания в полках закричат: «Вор, бунтовщик?..» Сомневаясь,— бездействовал, избегал оставаться с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма по-латыни, где просил не начинать военных действий против Москвы, излагал различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он был не в силах.

На огонек сгоревшей наполовину восковой свечи налетела муха; упав — закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, обхватил голову...

Вчера ночью он приказал сыну Алексею и жене Авдотье (жившей давно уже в забросе и забвении) выехать, не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Ставни и крыльца были заколочены. Но сам он медлил. Был день, когда казалось — счастье повернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не умыла, куска не проглотила,— приказала послать бирючей и горланов кликать в Кремль стрельцов, гостиные и суконные сотни, посадских и всех добрых людей. Вывела на Красное крыльцо царя Ивана,— он стоять не мог, присел около столба, жалостно улыбаясь (видно уже, что не жилец). Сама, в черном платке на плечах, с неприбранными волосами,— как была с дороги,— стала говорить народу:

— Нам мир и любовь дороже всего... Грамот наших в Троице не читают, послов выбивают прочь... И вот, помолясь, села я на лошадок да поехала сама —

с братцем Петром переговорить любовью... До Воздвиженского только меня и допустили... И там срамили меня и бесчестили, называли девкой, будто я не царская дочь,— не чаю, как жива вернулась... За сутки вот столечко от просфоры только и съела... В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса Голицына... Они братца Петра опоили... По все дни пьяный в чулане спит... Хотят они идти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить. Житье наше становится короткое... Скажите,— мы вам ненадобны, то пойдем с братцем Иваном куда-нибудь подалее искать себе кельи...

Из глаз ее брызнули слезы... Не могла говорить, взяла крест с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван... Поснимали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза... Когда царевна спросила: «Не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться?» — закричали: «Можно, можно... Не выдадим...»

Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, крутили носами. Конечно, в обиду бы давать не следовало, но — как не дашь? Хлеба на Москве стало мало,— обозы сворачивают в Троицу, в городе разбои, порядка нет. На базарах — не до торговли. Все дело стоит,— смута. Надоело. Пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын — одна от них радость...

Сегодня тысяч десять народу ввалились в Кремль, махали списками с Петровой грамоты, где было сказано, чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шакловитого с товарищами и в цепях везти в лавру. «Выдайте нам Федьку!» — кричали и лезли к окнам и на Красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте Микитку Гладкого, Кузьму Чермного, Оброську Петрова, попа Селиверстку Медведева!»... Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницы и в подвалы.

— Выдь, скажи зверям,— не отдам Федора Левонтьевича,— задыхаясь, сказала Софья, потянула Василия Васильевича за рукав к двери... Не помнил он, как

и вышел на Красное крыльцо,— жаром, ненавистью, чесночным духом дышал вплоть придвинувшийся народ, кололи глаза выставленные острия копий, сабель, ножей... Он — не помнил, что — крикнул, и задом вполз назад в сени... Сейчас же дверь затрещала под навалившимися плечами... Он увидел белую, с остановившимися, без зрачков, глазами Софью... «Не спасти его, выдавай»,— сказал. И дверь с треском раскрылась, повалили люди... Софья спиной прижалась к нему, все тяжелей давило ее тело. Хотел ее подхватить. Воплем, низко, закричала, оттолкнула, побежала... Когда оба стояли в Грановитой палате, услышали дурной крик Федьки Шакловитого... Его взяли в царевниной мыльне.

И все же Василий Васильевич медлил бегством. Дорожная карета с вечера ждала у черного крыльца, домоправитель и несколько старых слуг дремали в сенях. Василий Васильевич сидел перед свечой, сжав голову. Муха с опаленными крыльями валялась кверху лапками. Огромный дом был тих, мертв. Чуть поблескивали знаки зодиака на потолке, и греческие боги сквозь потемки глядели на князя. Живы были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог понять, почему так все случилось? Кто виноват в сем? Ах, Софья, Софья!.. Теперь он не скрывался от себя,— из запретных тайников вставало тяжелое, нелюбимое лицо неприкрашенной женщины, жадной любовницы,— властная, грубая, страшная... Лицо его славы!

Что он скажет Петру, что ответит врагам? С бабой приспал себе власть, да посрамился под Крымом, да написал тетрадь: «О гражданском бытии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу...» Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу... Стыд! Стыд! От недавней славы — один стыд!

Сквозь щель ставни тускло краснело... Неужели заря? Или месяц кровавый встал над Москвой? Василий Васильевич поднялся, оглянул поблескивающий сумрак сводчатой палаты со знаками зодиака над его головой... Обманули астрологи, волхвы и колдуны... Пощады не будет... Он медленно на самые брови

надвинул шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, как в подсвечнике догорала свеча,— фитилек свалился в растопленный воск,— треща, погас...

На темном дворе засуетились люди с фонарями. Чуть занималась заря сквозь дальнее зарево. Василий Васильевич, садясь в дорожную карету, подал управителю ключ:

— Приведи его...

В карету укладывали чемоданы, сзади привязывали коробья. Вернулся управитель, толкая перед собой гремевшего цепью Ваську Силина. Колдун громко охал, крестился на четыре стороны и на звезды. Челядинцы впихнули его к Василию Васильевичу под ноги.

— Пускай, с богом! — тихо-важно проговорил кучер. Шестерик застоявшихся сивых вышел крупной рысью на бревенчатую мостовую. Свернули в гору по Тверской. Улицы были еще малолюдны. Коровий пастух играл на рожке, бредя по пыли мимо ворот, откуда с мычанием выходили коровы. На папертях просыпались продрогшие нищие, чесались, переругивались. Кое-где дьячок, зевая, отворял низенькие церковные двери. В переулке кричал мужик: «Лей... лей!» — на возу с углями. Бабы выплескивали на улицу помои, высыпали золу, разинув рот, глядели на мчавшихся снежно-белых коней, на ездовых с павлиньими перьями, подскакивающих в высоких седлах, на зверовидного кучера, державшего в вытянутых ручищах двенадцать белого шелка вожжей; на двух великанов с саблями наголо на запятках кареты. И у бабы ведро валилось из рук, прохожие сдерживали шапки, иные для бережения становились на колени...

В последний раз так-то пролетел по Москве Василий Васильевич. Что будет завтра? Изгнание, монастырь, пытка? Он спрятал лицо в воротник дорожного тулупчика. Казалось — дремал. Но, когда Васька Силин попробовал пошевелиться, князь со всей силой ударил его ногой...

«Во как»,— удивился Васька. У князя подергива-

лась щека под закрытым глазом. Когда выехали на заставу, Василий Васильевич сказал тихо:

— Ложь, воровство, разбой еси твое волхвованье... Пес, страдный сын, плут... Кнутом тебя ободрать — мало...

— Не, не, не сомневайся, отец родной, все, все тебе будет, и — царский венец...

— Молчи, молчи, вор, бл... сын!

Василий Васильевич закинулся и бешено топтал колдуна, покуда тот не заохал...

В версте от Медведкова мужик-махальщик, завидев карету, замахал шапкой, на опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре за оврагом — третий. «Едет, едет!»... Человек пятьсот дворни, на коленях, кланяясь в мураву, встретили князя. Под ручки вынесли из кареты, целовали полы тулупчика... Испуганные лица, любопытные глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь,— больно уж низко кланяются, торопливы, суетливы... Посмотрел на частые стекла шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской крышей, с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами.. Кругом широкого двора — конюшни, погреба, полотняный завод, теплицы, птичники, голубятни...

«Завтра,— подумал,— налетят подьячие, перепишут, опечатают, разорят... Все пойдет прахом...» С важной неторопливостью Василий Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему сын Алексей, повадкой и лицом, покрытым первым пухом, похожий на отца. Прильнул дрожащими губами к руке,— нос холодный. В столовой палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, сел за стол против венецейского зеркала, где отражались струганые стены, в простенках — шпалерные ковры, полки с дорогой посудой... Все пойдет прахом!.. Налил чарку водки, отломил черного хлеба, окунул в солонку и не выпил, не съел,— забыл. Облокотился, опустил голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать что-то...

— Ну? — спросил Василий Васильевич сурово.

— Батюшка, были уж здесь...

— Из Троицы?

— Двадцать пять человек драгун с поручиком и стольник Волков...

— Вы что сказали?

— Сказали,— батюшка-де в Москве, а сюда и не думает, мол... Стольник сказал: пусть князь поторопится к Троице, коли не хочет бесчестья...

Василий Васильевич криво усмехнулся. Выпил чарку, жевал хлеб и не чувствовал вкуса. Видел, что сын едва себя сдерживает,— плечо повисло, ступни по-рабски — внутрь, половица мелко трясется под ним. Чуть было Василий Васильевич не гаркнул на сына, но взглянул в испуганное лицо, и стало его жаль:

— Не дрожи коленкой, сядь...

— И мне, батюшка, приказали быть с тобой к Троице...

Тогда Василий Васильевич побагровел, приподнялся, но и тут удержала его гордость. Прикрылся ресницами. Налил вторую чарку, отрезал студня с чесноком. Сын торопливо пододвинул уксусницу...

— Собирайся, Алеша,— проговорил Василий Васильевич.— Отдохну,— в ночь выедем... Бог милостив... (Жевал, думал горько. Вдруг испарина выступила на лбу, зрачки забегали.) Вот что надо, Алеша: мужика одного с собой привез... Поди присмотри, чтоб отвезли его под речку, в баню, да заперли бы там, берегли пуще глаза...

Когда Алексей ушел, Василий Васильевич опустил нож с дрожащим на конце его куском студня, ссутулился,— морщинами собралось лицо, оттянулись мешочки под веками, отвалилась губа...

Васька Силин сидел в баньке, на реке под обрывом. Весь день кричал и выл, чтоб дали ему есть. Но безлюдно вокруг шумели кусты, плескалась плотва в речке, спасаясь от щук, да стая скворцов, готовясь к перелету, летала и переливалась крылышками в синеве, что видна была колдуну сквозь волоковое окошко. Утомились птицы, сели на орешник, защебетали, засвистели, не пугаясь человеческих вздохов...

«Родная моя Полтавщина,— шептал колдун,— черт меня занес в проклятую Московщину! Чтоб вас чума взяла, чтоб вам всем врозь поразойтись, чтоб все города у вас позападали...»

Закатное солнце залило светом узкое окошечко и опустилось за лесные вершины. Васька Силин понял, что есть не дадут, и лег на холодный полок, под голову положил веник. Задремал и вдруг вскинулся, с испугу выставил бороду: на пороге стоял Василий Васильевич. На голове черная треухая шляпа, под дорожным тулупчиком черное иноземное платье, хвостом торчит шпага...

— Что теперь скажешь, провидец? — спросил князь странным голосом.

Сплоховал Васька Силин,— задрожал, затрясся... А понять бы ему, что оставалась еще вера у князя в его провиденье... Схватить бы князя сильно за руку да завопить: «К царю на смертную муку идешь! Иди, не бойся... Четыре зверя когти разжали... Четыре ворона прочь отлетели... Смерть отступилась... Вижу, все вижу...» Вместо этого Васька со страху, с голоду понес околесицу все про те же царские венцы, заплакал, стал просить:

— Отпусти меня, Христа ради, на Полтавщину... От меня ни вреда, ни проносу не будет...

Василий Васильевич бешеными глазами смотрел на него с порога. Вдруг выскочил, привалил дверь из предбанника поленом, навесил замок... Забегал около бани. Васька понял: хворостом заваливает!.. Закричал: «Не надо!»... Князь ответил: «Много знаешь, пропади!»... И дул, покашливая, раздувая трут. Потянуло гарью. Васька схватил шайку, разбил ее о дверь, но двери не выбил. Просунул боком голову в волоковое окошечко, стал кричать,— глотку забило дымом... Хворост, разгораясь, затрещал, зашумел... Между бревен осветились щели. Огонь поднимался гудящей стеной. Васька полез под самый низ полка,— спастись от жара. Скорежилась крыша. Пылали стены...

В ночном безветрии, гася звезды, полыхало пламя высоко над речкой. И долго еще красноватые тени от шести сивых коней, от черной кожаной кареты, уносив-

шейся к ярославской дороге, летели по жнивьям, то растягивались в глубину сырого оврага, то взлетали на косогоры, то, скользя, ломались на стволах березовой рощи...

— Где горит? Отец... Не у нас ли? — не раз и не два спрашивал Алексей.

Василий Васильевич не отвечал, дремля в углу кареты...

21

На воловьем дворе в подземелье, где в Смутное время были пороховые погреба, теперь — подвалы для монастырских запасов, плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпичных столбов перекладину с блоком и петлей, внизу — лежачее бревно с хомутом — дыбу, поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом, скамью для высших, и починили крутую лестницу — из подполья наверх, в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шакловитый.

Розыск вел Борис Алексеевич. Из Москвы, из Разбойного приказа, привезли заплечного мастера, Емельяна Свежева, известного тем, что с первого удара кнутом заставлял говорить. На торговых казнях у столба он мог бить с пощадой, но если бил без пощады,— пятнадцатым ударом пересекал человека до станового хребта.

Допрошено было много всякого народу, иные сами приносили изветы и давали сказки. Удалось взять Кузьму Чермного. Хитростью захватили близкого Софье человека, пристава Обросима Петрова, два раза отбившегося саблей от бердышей и копий. Но Никита Гладкий с попом Медведевым ушли, для поимки их посланы были грамоты во все воеводства.

Очередь дошла до Федора Шакловитого. Вчера на допросе Федька на все обвинения, читаемые ему по изветам, сказкам и расспросам, отвечал с горячностью: «Поклеп, враги хотят меня погубить, вины за собой не знаю...» Сегодня приготовили для него Емельяна Свежева, но он этого не знал и готовился по-прежнему

отпираться, что-де бунта не заводил и на государево здоровье не умышлялся...

Петр в начале розыска не бывал на допросах,— по вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком, и тот читал опросные столбцы. Но когда были захвачены Чермный и Петров с товарищами — Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой, когда заговорили смертные враги, Петр захотел сам слушать их речи. В подполье ему принесли стульчик, и он садился в стороне, под заплесневелым сводом. Уперев локти в колена, положив подобородок на кулак, не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба и на ней повис, голый по пояс, широкогрудый и мускулистый Обросим Петров,— рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, ощерясь, захрустели от боли,— Петр подался со стулом в тень за кирпичный столб и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Весь тот день был он бледен и задумчив. Но раз за разом попривык и уже не прятался.

Сегодня Наталья Кирилловна задержала его у ранней обедни: патриарх говорил слово, поздравляя с благополучным окончанием смуты. Действительно,— Софья была еще в Кремле, но уже бессильная. Оставшиеся в Москве полки посылали выборных — бить челом царю Петру на прощение и милость, соглашались идти хоть в Астрахань, хоть на рубежи, только бы оставили их живу с семьями и промыслами.

Из собора Петр пошел пешком. На воловьем дворе полно было стрельцов. Зашумели: «Государь, выдай нам Федьку, сами с ним поговорим...» Нагнув голову, торопливо махая руками, он побежал мимо к ветхому амбару, срываясь на ступеньках, спустился в сырую темноту подвала. Запахло кожами и мышами. Пройдя между кулей, мешков и бочек, толкнул низкую дверь. Свеча на столе, где писал дьяк, желто освещала паутину на сводах, мусор на земляном полу, свежие бревна пыточного станка. Дьяк и сидевшие рядом на другой скамье — Борис Алексеевич, Лев Кириллович, Стрешнев и Ромодановский — важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шакловитого: он на коленях стоял в шаге от них, кудрявая голова уронена,

дорогой кафтан,— в нем его взяли во дворце,— порван под мышками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Понемногу зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали будто беззвучным плачем. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на царя и Борис Голицын, осторожно усмехнулся:

— Прикажешь продолжать, государь?

Стрешнев проговорил сквозь густые усы:

— Воруй и ответ умей давать,— а что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду...

Борис Алексеевич повысил голос:

— У него один ответ: слов таких не говаривал да дел таких не делывал... А по розыску — на нем шапка горит... Пытать придется...

Шакловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону, как мышь,— хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки, воняющие соленой рыбой... И — припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую бритую Федькину шею. Сунул руки в карманы ферязи. Сел,— важный, презрительный, и — сорвавшимся юношеским голосом:

— Пусть скажет правду...

Борис Алексеевич позвал:

— Емеля...

За дыбой из-за свода вышел длинный, узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шакловитый, должно быть, не ждал его так скоро,— сел на пятки,— голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежева,— лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, тряхнув — поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот; белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до пояса... Федька хотел было честно крикнуть,— вышло хрипло, невнятно:

— Господи, все скажу...

Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потя-

нул за другой конец веревки. Изумленно стоял Шакловитый. Блок заскрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался. Тогда Емельян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой,— Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами, с ввалившимся животом повисло носками внутрь на аршин над землей. Емельян укрепил веревку и снял с гвоздя кнут с короткой рукояткой...

По знаку Бориса Алексеевича дьяк, воздев железные очки и приблизив сухой нос к свече, начал читать:

— «И далее на расспросе тот же капитан Филипп Сапогов сказал: В «прошлом-де году, в июле, а в котором числе — того не упомнит, приходила великая государыня Софья Алексеевна в село Преображенское, а в то время великого государя Петра Алексеевича в Преображенском не было, и царевна оставалась только до полудня. И с нею был Федор Шакловитый и многие разных полков люди, и Федор взял их затем, чтобы побить Льва Кирилловича и великую государыню Наталью Кирилловну убить же... В то время он, Федор, вышел из дворца в сени и говорил ему, Филиппу Сапогову: «Слушайте, как учинится в хоромах крик...» А того часу царица загоняла словами царевну, крик в хоромах был великий... «Учинится-де крик, будьте готовы все: которых вам из хором станем давать, вы их бейте до смерти...»

— Таких слов не говаривал, Филипп напрасно врет,— выдавил из горла Шакловитый...

По знаку Бориса Алексеевича Емельян отступил, поглядел,— удобно ли? — закинулся, размахнулся кнутом и, падая наперед, ударил со свистом. Судорога прошла по желто-нежному телу Федьки. Вскрикнул. Емельян ударил во второй раз. (Борис Алексеевич быстро сказал: «Три».) Ударил в третий. Шакловитый вопленно закричал, брызгая слюной:

— Пьяный был, говорил спьяну, без памяти...

— «И далее,— когда замолк крик, продолжал дьяк читать,— говорил он Филиппу же про государя Петра Алексеевича неистовые слова: «Пьет-де и на Кукуй

ездит, и никакими-де мерами в мир привести его нельзя, потому что пьет допьяна... И хорошо б ручные гранаты украдкой в сени его государевы положить, чтоб из тех гранат убить его, государя...»

Шакловитый молчал. «Пять!» — жестко приказал Борис Алексеевич.

Емельян размахнулся и со страхом опустил трехаршинный кнут. Петр подскочил к Шакловитому, глазами вровень,— так был высок,— глядел в обезумевшие Федькины глаза... Спина, руки, затылок ходуном ходили у него...

— Правду говори, пес, пес... (ухватил его за ребра). Жалеете — маленького меня не зарезали? Так, Федька, так?.. Кто хотел резать? Ты? Нет? Кто?.. С гранатами посылали? Кого? Назови... Почему ж не убили, не зарезали?..

В круглое пятнисто-красное лицо царя, в маленький перекошенный рот Федька забормотал оправдания,— жилы надулись у него от натуги...

— ...одни слова истинно помню: «Для чего, мол, царицу с братьями раньше не уходили?..» А того, чтоб ножом, гранатами,— не было, не помню... А про царицу говорил воровски Василий...

Едва он помянул про Василия Васильевича, со скамьи сорвался Борис Алексеевич, бешено закричал палачу:

— Бей!

Емельян, берегясь не задеть бы царя, полоснул с оттяжкой четырехгранным концом кнута Федьку между лопаток,— разорвал до мяса... Шакловитый завыл, выставляя кадык... На десятом ударе голова его вяло мотнулась, упала на грудь.

— Сними,— сказал Борис Алексеевич и вытер губы шелковым платочком,— отнеси наверх бережно, оботри водкой, смотри, как за малым дитем... Чтобы завтра он говорил...

...Когда бояре вышли из подполья на воловий двор, Тихон Никитьевич Стрешнев спросил Льва Кирилловича на ухо:

— Видел, Лев Кириллович, как князь-та, Борис-та?

— Не-ет... А что?

— Со скамьи-та сорвался... Федьке рот-та заткнуть...

— Зачем?

— Федька-то лишнее сказал, кровь-то одна у них — у Бориса-та, у Василия-та... Кровь-то им дороже, знать, государева дела...

Лев Кириллович остановился как раз на навозной куче, удивился выше меры, взмахнул руками, ударил себя по ляжкам.

— Ах, ах... А мы Борису верим...

— Верь, да оглядывайся...

— Ах, ах...

22

В курной избе топилась печь, дым стоял такой, что человека было видно лишь по пояс, а на полатях вовсе не видно. Скудно мерцал огонек лучины, шипели угольки, падая в корытце с водой. Бегали сопливые ребятишки с голым пупастым пузом, грязной задницей, то и дело шлепались, ревели. Брюхатая баба, подпоясанная лыковой веревкой, вытаскивала их за руку в дверь: «Пропасти на вас нет, съели меня, оглашенные!»

Василий Васильевич и Алексей сидели в избе со вчерашнего дня,— в монастырские ворота их не пустили: «Великий-де государь велел вам быть на посаде, до случая...» Ждали своего часа. Еда, питье не шло в горло. Царь не захотел выслушать оправданий. Всего ждал Василий Васильевич, по дороге готовился к худшему,— но не курной избы.

Днем заходил полковник Гордон, веселый, честный,— сочувствовал, цыкал языком и, как равного, потрепал Василия Васильевича по коленке... «Нишего,— сказал,— не будь задумшиф, князь Фасилий Фасильевич, перемелется — мука будет». Ушел, вольный счастливец, звякая большими шпорами.

Некого послать проведать в лавру. Посадские и шапок не ломали перед царевниным бывшим любовником. Стыдно было выйти на улицу. От вони, от ребячьего писку кружилось в голове, дым ел глаза. И не

раз почему-то на память приходил проклятый колдун, в ушах завяз его крик (из окошка сквозь огонь): «Отчини двеееерь, пропадешь, пропадешь...»

Поздно вечером ввалился в избу урядник со стражей, закашлялся от дыма и — беременной бабе:

— Стоит у вас на дворе Васька Голицын?

Баба ткнула рваным локтем:

— Вот сидит...

— Велено тебе быть ко дворцу, собирайся, князь.

Пешком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий Васильевич и Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, повскакали, засмеялись,— кто шапку надвинул на нос, кто за бородку схватился, кто растопырился похабно.

— Стой веселей... Воевода на двух копытах едет... А где ж конь его? А промеж ног... Ах, как бы воеводе в грязь не упасть...

Миновали позор. На митрополичье крыльцо Василий Васильевич взбежал бегом. Но навстречу важно из двери вышел неведомый дьяк, одетый худо, указательным пальцем остановил Василия Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, медленно,— бил в темя каждым словом:

— «...за все его вышеупомянутые вины великие государи Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя с женой и детьми на вечную ссылку в Каргополь. А поместья твои, вотчины и дворы московские и животы отписать на себя, великих государей. А людей твоих, кабальных и крепостных, опричь крестьян и крестьянских детей,— отпустить на волю...»

Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу на Василия Васильевича,— тот едва стоял, без шапки, Алексей держал его под руку...

— Взять под стражу и совершить, как сказано...

Взяли. Повели. За церковным двором посадили отца и сына на телегу, на рогожи, сзади прыгнули пристав и драгун. Возчик, в рваном армяке, в лаптях, закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила шагом телегу из лавры в поле. Была ночь, звезды затягивало сыростью.

23

Троицкий поход окончился. Так же, как и семь лет назад, в лавре пересидели Москву. Бояре с патриархом и Натальей Кирилловной, подумав, написали от имени Петра царю Ивану:

«...А теперь, государь братец, настает время нашим обоим особам богом врученное нам царство править самим, понеже есьми пришли в меру возраста своего, а третьему *зазорному* лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в титлах и расправе дел быти не изволяем...»

Софью без особого шума ночью перевезли из Кремля в Новодевичий монастырь. Шакловитому, Чермному и Обросиму Петрову отрубили головы, остальных воров били кнутом на площади, на посаде, отрезали им языки, сослали в Сибирь навечно. Поп Медведев и Никита Гладкий позднее были схвачены дорогобужским воеводой. Их страшно пытали и обезглавили.

Жалованы были награды — землицей и деньгами: боярам по триста рублей, окольничим по двести семьдесят, думным дворянам по двести пятьдесят. Стольникам, кои прибыли с Петром в лавру,— деньгами по тридцать семь рублей, кои прибыли вслед — по тридцать два рубля, прибывшим до 10 августа — по тридцать рублей, а прибывшим по 20 августа — по двадцать семь рублей. Городовым дворянам жаловано в том же порядке по восемнадцать, по семнадцать и по шестнадцать рублей. Всем рядовым стрельцам за верность — по одному рублю без землицы.

Перед возвращением в Москву бояре разобрали между собой приказы: первый и важнейший — Посольский — отдан был Льву Кирилловичу, но уже без титла оберегателя. По миновании военной и прочей надобности совсем бы можно было отказаться от Бориса Алексеевича Голицына,— патриарх и Наталья Кирилловна простить ему не могли многое, а в особенности то, что спас Василия Васильевича от кнута и плахи, но бояре сочли неприличным лишать чести такой высокий род: «Пойдем на это,— скоро и из-под

нас приказы вышибут,— купчишки, дьяки безродные, иноземцы да подлые всякие люди, гляди, к царю Петру так и лезут за добычей, за местами...» Борису Алексеевичу дали для кормления и чести приказ Казанского дворца. Узнав о сем, он плюнул, напился в тот день, кричал: «Черт с ними, а мне на свое хватит»,— и пьяный ускакал в подмосковную вотчину — отсыпаться...

Новые министры,— так начали называть их тогда иноземцы,— выбили из приказов одних дьяков с подьячими и посадили других и стали думать и править по прежнему обычаю. Перемен особенных не случилось. Только в кремлевском дворце ходил в черных соболях, властно хлопал дверями, щепотно стучал каблуками Лев Кириллович вместо Ивана Милославского...

Это были люди старые, известные,— кроме разорения, лихоимства и беспорядка и ждать от них было нечего. В Москве и на Кукуе — купцы всех сотен, откупщики, торговый и ремесленный люд на посадах, иноземные гости, капитаны кораблей — голландские, ганноверские, английские — с великим нетерпением ждали новых порядков и новых людей. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия — золотое дно — лежала под вековой тиной... Если не новый царь поднимет жизнь, так кто же?

Петр не торопился в Москву. Из лавры с войском вышел походом в Александровскую слободу, где еще стояли гнилые срубы страшного дворца царя Ивана Четвертого. Здесь генерал Зоммер устроил примерное сражение. Длилось оно целую неделю, покуда хватило пороху. И здесь же окончилась служба Зоммера,— упал, бедняга, с лошади и покалечился.

В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. Верст за десять, в селе Алексеевском, встретили его большие толпы народа. Держали иконы, хоругви, караваи на блюдах. По сторонам дороги валялись бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой земле лежали, шеями на бревнах, стрельцы,— выборные,— из тех полков, кои не были в Троице... Но голов не рубил молодой царь, не гневался, хотя и не был приветлив.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Лефорт становился большим человеком. Иноземцы, живущие на Кукуе и приезжие по торговым делам из Архангельска и Вологды, отзывались о нем с большим уважением. Приказчики амстердамских и лондонских торговых домов писали о нем туда и советовали: случится какое дело, посылать ему небольшие подарки,— лучше всего доброго вина. Когда он за троицкий поход жалован был званием генерала, кукуйцы, сложившись, поднесли ему шпагу. Проходя мимо его дома, многозначительно подмигивали друг другу, говоря: «О да...» Дом его был теперь тесен — так много людей хотело пожать ему руку, перекинуться словечком, просто напомнить о себе. Несмотря на позднюю осень, начались торопливые работы по надстройке и расширению дома — ставили каменное крыльцо с боковыми подъездами, украшали колоннами и лепными мужиками лицевую сторону. На месте двора, где прежде был фонтан, копали озеро для водяных и огненных потех. По сторонам строили кордегардии для мушкетеров.

По своей воле, может быть, Лефорт и не решился бы на такие затраты, но этого хотел молодой царь. За время троицкого сидения Лефорт стал нужен Петру, как умная мать ребенку: Лефорт с полуслова понимал его желания, стерег от опасностей, учил видеть выгоды и невыгоды и, казалось, сам горячо его полюбил, постоянно был подле царя не за тем, чтобы просить, как бояре, уныло стукая челом в ноги,— деревенек и людишек, а для общего им обоим дела и общих потех. Нарядный, болтливый, добродушный, как утреннее солнце в окошке, он появлялся — с поклонами, улыбочками — у Петра в опочивальне,— и так весельем, радостными заботами, счастливыми ожиданиями — начинался день. Петр любил в Лефорте свои сладкие думы о заморских землях, прекрасных городах и гаванях с кораблями и отважными капитанами, пропахшими табаком и ромом,— все, что с детства мерещи-

лось ему на картинках и печатных листах, привозимых из-за границы. Даже запах от платья Лефорта был не русский, иной, весьма приятный...

Петр хотел, чтобы дом его любимца стал островком этой манящей иноземщины,— для царского веселья украшался Лефортов дворец. Денег, сколько можно было вытянуть у матери и Льва Кирилловича, не жалелось. Теперь, когда в Москве, наверху, сидели свои, Петр без оглядки кинулся к удовольствиям. Страсти его прорвало, и тут в особенности понадобился Лефорт: без него хотелось и не зналось... А что могли присоветовать свои, русские? — ну, соколиную охоту или слепых мужиков — тянуть Лазаря... Тьфу! Лефорт с полуслова понимал его желания. Был он, как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей.

Одновременно возобновились работы над стольным градом Прешпургом,— крепостцу готовили для весенних воинских потех. Полки обшивали новым платьем: преображенцев в зеленые кафтаны, семеновцев в лазоревые, бутырский полк Гордона — в красные. Вся осень прошла в пирах и танцах. Иноземные купцы и промышленники между забавами во дворце Лефорта гнули свою линию...

2

Вновь построенный танц-зал был еще сырой, от жара двух огромных очагов потели высокие полукруглые окна и напротив их на глухой стене — зеркала в виде окон. Свеже натерт воском пол из дубовых кирпичей. Свечи в стенных с зерцалом трехсвечниках зажжены, хотя только еще начинались сумерки. Падал мягкий снежок. Во двор между запорошенными кучами глины и щепок въезжали сани,— голландские — в виде лебедя, расписанные чернью с золотом, русские — длинные, ящиком — с наваленными подушками и медвежьими шкурами, тяжелые кожаные возки — шестерней цугом, и простые извозчичьи сани, где, задрав коленки, смеясь, сидел какой-нибудь иноземец, нанявший мужика за две копейки с Лубянки до Кукуя.

На каменном крыльце, на затоптанных снегом ков-

рах гостей встречали два шута, Томос и Сека, один — в испанской черной епанче до пояса и в соломенной шляпе с вороньими крыльями, другой — турок в двухаршинной рогожной чалме с пришитым напереди свиным ухом. Голландские купцы с особенным удовольствием смеялись над шутом в испанском платье, щелкая его в нос, спрашивали про здоровье испанского короля. В светлых сенях, где дубовые стены были украшены синими фаянсовыми блюдами, гости отдавали шубы и шапки ливрейным гайдукам. В дверях в танц-зал встречал Лефорт в белом атласном, шитом серебром кафтане и парике, посыпанном серебряной пудрой. Гости подходили к жаркому очагу, испивали венгерского, закуривали трубки.

Русские стеснялись немоты (мало кто еще умел говорить по-голландски, английски, немецки) и приезжали позже, прямо к столу. Гости свободно грели у огня зады и ляжки, обтянутые чулками, вели деловые разговоры. Лишь один хозяин летал, как бабочка, покачивая оттопыренными боками кафтана, от гостя к гостю,— знакомил, спрашивал о здоровье, о путешествии,— на удобном ли остановился дворе, предостерегал от воровства и разбоя...

— О да, мне много рассказывали про русскую чернь,— отвечал гость,— они очень склонны грабить и даже убивать богатых путешественников.

Лесоторговец, англичанин Сидней, говорил сквозь зубы:

— Страна, где население добывает себе пропитание плутовством, есть дурная страна... Русские купцы молятся богу, чтобы он помог им ловчее обмануть, они называют это ловкостью. О, я хорошо знаю эту проклятую страну... Сюда нужно приходить с оружием под полой...

Кукуйский уроженец, небогатый торговец Гамильтон, внук пэра Гамильтона, бежавшего некогда от ужасов Кромвеля в Московию, приблизился почтительно к беседующим.

— Даже имея несчастье родиться здесь, трудно привыкнуть к грубостям и бесчестию русских. Как будто они все одержимы бесом!..

Сидней, оглянув этого выходца, дурно произносившего по-английски, грубо и по-старомодному одетого, презрительно искривил губы, но из уважения к дому все же ответил Гамильтону:

— Здесь мы жить не собираемся. А для крупной оптовой торговли, которую ведем, бесчестие русских мало имеет значения...

— Вы торгуете лесом, сэр?

— Да, я торгую лесом, сэр... Мы приобрели под Архангельском значительную лесную концессию.

Услыхав — лесная концессия,— голландец Ван Лейден приблизил к беседующим головéкое, с испанской острой бородкой, крепко багровое лицо, трущее тремя подбородками по накрахмаленному огромному воротнику.

— О да,— сказал,— русский лес — это хорошо, но сатанинские ветра в Ледовитом океане и норвежские пираты — это плохо.— Открыл рот, побагровел еще гуще, из зажмуренных глазок выдавились две слезы,— захохотал...

— Ничего,— ответил высокий, костлявый и желтый Сидней,— мачтовое дерево нам обходится двадцать пять копеек, в Ньюкестле мы продаем его за девять шиллингов[1]... Мы можем идти на риск...

Голландец поцыкал языком: «Девять шиллингов за лесину!» Он приехал в Московию для закупки льняной пряжи, холста, дегтя и поташу. Два его корабля стояли на зимовке в Архангельске. Дела шли вяло, государевы гости — крупные московские купцы, скупавшие товар в казну,— прознали про два корабля и несуразно дорожились, у частных мелких перекупщиков товар никуда не годился. А вот англичанин, видимо, делал хорошее дело, если не врет. Весьма обидно. Покосившись, нет ли поблизости русских, Ван Лейден сказал:

— Русский царь владеет тремя четвертями дегтя всего мира, лучшим мачтовым лесом и всей коноплей... Но это так же трудно взять, как с луны... О нет, сэр, вы много не наживете на вашей концессии... Север

---

[1] Четыре рубля пятьдесят копеек.

пустынен, разве — приучите медведей рубить лес... Кроме того, из трех ваших кораблей, сэр, два утопят норвежцы или шведы, а третий погибнет от плавучих льдов.— Он опять засмеялся, уже чувствуя, что доставил неприятность заносчивому англичанину.— Да, да, эта страна богата, как Новый Свет, богаче Индии, но, покуда ею правят бояре, мы будем терпеть убытки и убытки... В Москве не понимают своих выгод, московиты торгуют, как дикари... О, если бы они имели гавани в Балтийском море да удобные дороги, да торговлей занимались, как честные бюргеры, тогда бы можно делать здесь большие обороты...

— Да, сэр,— важно ответил Сидней,— я с удовольствием выслушал и согласился с вами... Не знаю, как у вас, но думаю, что у вас так же, как и в нашей Англии, не строят более мелких морских судов... На всех эллингах Англии заложены корабли по четыреста и по пятьсот тонн... Теперь нам нужно в пять раз больше лесу и льняной пряжи. На каждый корабль требуется не менее десяти тысяч ярдов парусного полотна...

— О-оо! — изумленно произнесли все, слушавшие этот разговор.

— А кожа, сэр, вы забыли потребность в русской коже, сэр,— перебил его Гамильтон...

Сидней с негодованием взглянул на невежу. Собрав морщины костлявого подбородка, некоторое время жмурился на огонь.

— Нет,— ответил,— я не забываю про русскую кожу, но я не торгую кожей... Кожу вывозят шведские купцы... Благодаря господу Англия богатеет, и мы должны иметь очень много строительных материалов... Англичане, когда хотели,— имели... И мы будем их иметь...

Он кончил разговор, сел в кресло и, положив толстую подошву башмака на каминную решетку, более не обращал ни на кого внимания... Подлетел Лефорт, таща под руку Алексашку Меньшикова. На нем был синий суконный кафтан с красными отворотами и медными пуговицами, огромные серебряные шпоры на ботфортах; лицо, окруженное пышным париком, при-

пудрено, в кружевном галстуке — алмазная булавка, веселые, прозрачной воды глаза без смущения оглянули гостей. Ловко поклонился, зябко повел сильным плечом, стал задом к камину, взял трубку.

— Государь сию минуту изволит быть...

Гости зашептались, те, что поважнее, стали вперед — лицом к дверям... Сидней, не поняв, что сказал Алексашка, слегка даже приоткрыл рот, с изумлением рассматривая этого парня, беззаботно оттеснившего почтенных людей от очага. Но Гамильтон шепнул ему: «Царский любимец, недавно из денщиков пожалован офицерским званием, очень нужный»,— и Сидней, собрав добродушные у глаз морщины, обратился к Алексашке:

— Я давно мечтал иметь счастье увидеть великого государя... Я всего только бедный купец и благодарю нашего господа за неожиданный случай, о котором буду рассказывать моим детям и внукам...

Лефорт перевел, Алексашка ответил:

— Покажем, покажем,— и смехом открыл белые ровные зубы.— А пить и шутить умеешь,— так и погуляешь с ним на доброе здоровье. Будет, что внукам рассказывать... (Лефорту.) Спроси-ка его — чем торгует? А, лесом... Мужиков, чай, приехал просить, лесорубов?.. (Лефорт спросил, Сидней с улыбкой закивал.) Отчего ж, если государь даст записку ко Льву Кирилловичу... Пущай похлопочет...

В дверях неожиданно появился Петр в таком же, как на Алексашке, преображенском кафтане,— узком в плечах и груди,— весь запорошенный снегом. На разрумяненных щеках вдавились ямочки, рот поджат, но темные глаза смеялись. Снял треухую шляпу, топнул, отряхивая снег, прямоносыми, выше колен, грубыми сапогами.

— Гутен таг, мейне хершафтен,— проговорил юношеским баском. (Лефорт уже летел к нему, перегнувшись, одна рука вперед, другая коромыслом — на отлете.) Есть зело хочется... Идем, идем к столу...

Подмигнув затаившим дыхание иноземцам, он повернулся,— сутуловатый, вышиною чуть не в дверь,— и через сени прошел в шпейзезал — столовую палату...

8

У гостей уже покраснели лица и съехали на сторону парики. Алексашка, сняв шарф, отхватил трепака и опять пил, только бледнея от вина. Шуты, притворяясь более других пьяными, прыгали в чехарду, задевали бычьими пузырями с сухим горохом по головам гостей. Говорили все враз. Свечи догорели до половины. Скоро должны были съезжаться кукуйские дамы для танцев.

Сидней, прямой и сдержанный, но с покрасневшими и косящими глазами, говорил Петру (Гамильтон переводил, стоя за их стульями):

— Скажите, сэр, его величеству вот что: мы, англичане, полагаем, что счастье нашей страны в успехах морской торговли... Война — дорогая и печальная необходимость, но торговля — это благословение господне...

— Так, так,— поддакнул Петр. Его веселили шум и споры и в особенности странные эти рассуждения иностранцев о государстве, о торговле, пользе и вреде... О счастье! Чудно! — Ну, дальше, дальше говори, слушаю...

— Его величество король Англии и почтенные лорды никогда не утвердят ни один билль, если только он может повредить торговле... И поэтому казна его величества полна... Английский купец — уважаемое лицо в стране. И мы все готовы пролить кровь за Англию и нашего короля... Пусть его величество молодой государь не сердится, если я скажу, что в России много дурных и не полезных законов. О, хороший закон — это великая вещь! И у нас есть суровые законы, но они нам полезны, и мы их уважаем...

— Черт те что говорит! — смеясь, Петр опрокинул высокий кубок на птичьей ножке.— Поговорил бы он так в Кремле... Слышь, Франц, обморок бы там их хватил... Ну, хорошо, назови, что у нас плохо? Гамильтон, переведи...

— О, это очень серьезный вопрос, я нетрезвый,— ответил Сидней.— Если его величество позволит, я

завтра мог бы, вполне владея своим разумом, рассказать про дурные русские обычаи, а также — отчего богатеет государство и что для этого нужно...

Петр вытаращился в его окосевшие, чужеумные глаза. Показалось,— уж не смеется ли купец над дураками русскими? Но Лефорт, быстро перегнувшись к плечу, шепнул:

— Послушать будет любопытно,— сие философия, как обогатить страну.

— Ладно,— сказал Петр,— но пусть назовет, что у нас гадкое?

— Хорошо.— Сидней передохнул опьянение.— По пути к нашему любезному хозяину я проезжал по какой-то площади, где виселица, там небольшое место расчищено от снега, и стоит один солдат.

— За Покровскими воротами,— подсев со стулом, подсказал Алексашка.

— Так... И вдруг я вижу,— из земли торчит женская голова и моргает глазами. Я очень испугался, я спросил моего спутника: «Почему голова моргает?» Он сказал: «Она еще живая. Это русская казнь,— за убийство мужа такую женщину зарывают в землю и через несколько дней, когда умрет, вешают кверху ногами...»

Алексашка ухмыльнулся: «Гы!» Петр взглянул на него, на нежно улыбающегося Лефорта.

— А что? Она же убила... Так издавна казнят... Миловать разве за это?

— Ваше величество,— сказал Сидней,— спросите у этой несчастной, что довело ее до ужасного злодеяния, и она наверно смягчит ваше добродетельное сердце... (Петр усмехнулся.) Я кое-что слышал и наблюдал в России. О, взор иностранца остер... Жизнь русской женщины в теремах подобна жизни животных... (Он провел платком по вспотевшему лбу, чувствуя, что говорит лишнее, но гордость и хмель уже развязали язык.) Какой пример для будущего гражданина, когда его мать закопана в землю, а затем бесстыдно повешена за ногу! Виллиам Шекспир, один из наших сочинителей, трогательно описал в прекрасной комедии, как сын богатого итальянского купца из-за люб-

ви к женщине убил себя ядом... А русские бьют жен кнутами и палками до полусмерти, это даже поощряется законом... Когда я возвращаюсь в Лондон, в мой дом,— моя почтенная жена с доброй улыбкой встречает меня, и мои дети кидаются ко мне без страха, и в моем доме я нахожу мир и благонравие... Никогда моей жене не придет в голову убивать меня, который с ней добр.

Англичанин, растроганный, замолк и опустил голову. Петр схватил его за плечо.

— Гамильтон, переведи ему... (И громко, в ухо Сиднею, стал кричать по-русски.) Сами все видим... Мы не хвалимся, что у нас хорошо. Я говорил матери,— хочу за границу послать человек пятьдесят стольников, кто поразумнее — учиться у вас же... Нам аз, буки, веди — вот с чего надо учиться... Ты в глаза колешь,— дики, нищие, дураки да звери... Знаю, черт! Но, погоди, погоди...

Он встал, отшвырнул стул по дороге.

— Алексашка, вели — лошадей.

— Куда, мин херц?

— К Покровским воротам...

4

Медленно голова подняла веки... Нет смерти, нет... Земляной холод сдавил тело... Не прогреть землю... Не пошевелиться в могиле... По самые уши закопали... (Мягкий снежок падал на запрокинутое лицо.) Хоть бы опять тошнота заволокла глаза,— не было бы себя так жалко... Звери — люди, ах — звери...

...Жила девочка, как цветочек полевой... Даша, Дашенька,— звала мама родная... Зачем родила меня?.. Чтоб люди живую в землю закопали... Не виновата я... Видишь ты меня, видишь?..

...Голова разлепила губы, сухим языком позвала: «Мама, маманя, умираю...» Текли слезы. На ресницы садились снежины...

...Позади головы на темной площади скрипела кольцом веревка на виселице... И умрешь — не успо-

коишься,— тело повесят... Вольно, больно, земля навалилась... В поясницу комья впились... Ох, боль, вот она — боль!.. (Голова разинула рот, запрокинулась.) «Господи, защити... Маманя, скажи ему, маманя... Я не виновата... В беспамяти убила.., Собака же кусает... Лошаденка и та...» Нечем кричать. До изумления дошла боль. Расширились глаза, померкли. Голова склонилась набок...

...Опять... Снежок... Еще не смерть... Третий день скоро... Ветер, ветер скрипит веревкой... «Корова, чай, третий день не доенная... Это что — свет красный?.. Ох, страшно... Факелы... Сани... Люди... Идут сюда... Еще муки?» Хотела забить ногами — земляные горы сдавили их,— пальчиком не сдвинуть...

— Где она, не вижу,— громко сказал Петр.— Собаки, что ли, отъели?

— Караульный! Спишь? Эй, сторож! — закричали люди у саней.

— Здееесь! — ответил протяжный голос,— сквозь падающий снег бежал сторож, путаясь в бараньем тулупе... С ходу — мягко, по-медвежьи — упал Петру в ноги, поклонясь, остался на коленях...

— Здесь закопана женщина?

— Здесь, государь-батюшка...

— Жива?

— Жива, государь...

— За что казнили?

— Мужа ножом зарезала.

— Покажи...

Сторож побежал, присел и краем тулупа угодливо смахнул снег с лица женщины, со смерзшихся волос.

— Жива, жива, государь, мыргает...

Петр, Сидней, Алексашка, человек пять Лефортовых гостей подошли к голове. Два мушкетера, поблескивая железными касками, высоко держали факелы. Из снега большими провалившимися глазами глядело на людей белое, как снег, плоское лицо.

— За что убила мужа? — спросил Петр...

Она молчала.

Сторож валенком потрогал ей щеку.

— Сам государь спрашивает, дура.

— Что ж, бил он тебя, истязал? (Петр нагнулся к ней.) Как звать-то ее? Дарья... Ну, Дарья, говори, как было...

Молчала. Хлопотливый сторож присел и сказал ей в ухо:

— Повинись, может помилуют... Меня ведь подводишь, бабочка...

Тогда голова разинула черный рот и хрипло, глухо, ненавистно:

— Убила... И еще бы раз убила его, зверя...

Закрыла глаза. Все молчали. С шипеньем падала смола с факелов. Сидней быстро заговорил о чем-то, но переводчика не оказалось. Сторож опять тknул ее валенком,— мотнулась, как мертвая. Петр резко кашлянул, пошел к саням... Негромко сказал Алексашке:

— Вели застрелить...

5

Молчаливый и прозябший, он вернулся в ярко освещенный дом Лефорта. Играла музыка на хорах танцзала. Пестрые платья, лица, свечи — удваивались в зеркалах. Сквозь теплую дымку Петр сейчас же увидел русоволосую Анну Монс... Девушка сидела у стены,— задумчивое лицо, опущены голые плечи.

В эту минуту музыка,— медленный танец,— протянула с хор медные трубы и пела ему об Анхен, об ее розовом пышном платье, о невинных руках, лежавших на коленях... Почему, почему неистовой печалью разрывалось его сердце? Будто сам он по шею закопан в землю и сквозь вьюгу зовет из невозможной дали любовь свою...

Глаза Анны дрогнули, увидели его в дверях раньше всех. Поднялась и полетела по вощеному полу... И музыка уже весело пела о доброй Германии, где перед чистыми, чистыми окошечками цветет розовый миндаль, добрые папаша и мамаша с добренькими улыбками глядят на Ганса и Гретель, стоящих под сим миндалем, что означает — любовь навек, а когда

их солнце склонится за ночную синеву,— с покойным вздохом оба отойдут в могилу... Ах, невозможная даль!..

Петр обхватил теплую под розовым шелком Анхен и танцевал молча и так долго, что музыканты понесли не в лад...

Он сказал:

— Анна?

Она доверчиво, ясно и чисто взглянула в глаза.

— Вы огорчены сегодня, Петер?

— Аннушка, ты меня любишь?

На это Анна только быстро опустила голову, на шее ее была повязана бархатка... Все танцующие и сидящие дамы поняли и то, что царь спросил, и то, что Анна Монс ответила. Обойдя круг по залу, Петр сказал:

— Мне с тобой счастье...

6

Патриарха ввели под руки. Благословляя старую царицу с братом и бояр, сурово совал в губы костяшками схимничьей руки. Царя Петра все еще не было. Иоаким сел на жесткий стул с высокой спинкой и низко склонился,— клобук закрыл ему лицо. Лучи солнца били из глубоких оконниц под пестрыми сводами Грановитой палаты. Все молчали, сложив руки, потупив глаза. Покой лишь возмущался крылатой тенью от голубя, садившегося снаружи на оснеженную оконницу. Жар шел от синей муравленой печи, пахло ладаном и воском. Было первым и важнейшим делом — так сидеть в благолепном молчании, хранить чин и обычай. Об эту незыблемость пусть разбиваются людские волны — суета сует. Довольно искушений и новшеств. Оплот России здесь,— пусть победнее будем, да истинны... А в остальном бог поможет...

Молчали, ожидали прибытия государя. Наталья Кирилловна благочестиво вздремнула,— располнела за последние месяцы, стала рыхла здоровьем. Стрешнев осторожно, кряхтя, поднял четки, упавшие с ее

колен на ковер. В палате при Софье стояли часы башенкой. Их велено было убрать,— раздражали тиканьем, да и сказано: «Никто же не веси часа...» Время считать — себя обманывать. Пусть его помедленней летит над Россией, потише...

В сенях захлопали двери, морозные голоса разрушили томную тишину, царица, сдержав зевок, перекрестила рот. Рында, тихий отрок, смиренно доложил о прибытии. Бояре не спеша сняли горлатные шапки. Наталья Кирилловна сморщилась, глядя на дверь, но, слава богу, Петр был в русском платье, еще за дверью сдержал смех и вступил весьма достойно... «Ноги журавлиные, трудно ему, голубчику, чинно-то»,— подумала царица, просияв приветом. Он подошел под благословение патриарха, спросил про здоровье больного брата...

Ему спешно нужны были деньги, поэтому и приехал послушно по письму матери слушать Иоакима. Сел на трон и, будто в пуховики, погрузился в дремотную тишину палаты, облокотясь, прикрывал рот ладонью — на случай, если подкрадется зевота.

Иоаким вынул из-под черной мантии тетрадь,— рука его по-старчески тряслась,— медленно перевернул страницу, возвел глаза, надолго прижал персты к осьмиконечному кресту на клобуке, перекрестясь, начал читать негромко, вязко, с медленной оскоминой:

— ...Не тщитесь тем, что, изведя крамолу, привели в мир люди и веси... Скорбит душа моя, не видя единомыслия и процветания в народах. Град престольный! — безместные чернецы и черницы, попы и дьяконы, бесчинно и неискусно, а также гулящие разные люди,— имя им легион,— подвязав руки и ноги, а иные и глаза завеся и зажмуря, шатаются по улицам, притворным лукавством просят милостыни... Это ли вертоград процветший? И далее вижу я,— в домах пьянство, сновиденье и волшебство и блуд кромешный. Муж вырывает жене волосы и нагую гонит за ворота, и жена убивает мужа, и чада, как безумные, растут подобно сорной траве... Это ли вертоград процветший?.. И далее вижу я,— боярский сын, и ремеслен-

ник, и крестьянин берут кистень и, зажгя дворы свои, уходят в леса свирепства своего ради. Крестьянин, где твоя соха? Торговец, где твоя мера? Сын боярский, где твоя честь?

Так он читал о бедствиях, творящихся повсеместно. У Петра пропала зевота. Наталья Кирилловна, страдая, взглядывала то на сына, то на бояр, они же, как полагалось, уставя брады, безмолвствовали. Все знали,— дела государства весьма плохи. Но как помочь? Терпеть — только... Иоаким читал:

— Мы убогим нашим умишком порешили сказать вам, великим государям, правду... До того времени не будет порядка и изобилия в стране, покуда произрастают в ней безбожие и гнусные латинские ереси, лютеранские, кальвинские и жидовские... Терпим от грехов своих... были Третьим Римом, стали вторым Содомом и Гоморрою... Великие государи, надобно не давать иноверцам строить свои мольбища, а которые уже построены — разорить... Запретить, чтобы в полках проклятые еретики были начальниками... Какая от них православному воинству может быть помощь? Только божий гнев наводят... Начальствуют волки над агнецы! Дружить запретить православным с еретиками... Иностранных обычаев и в платье перемен никаких не вводить... А понемногу оправившись да дух православия подымя, иноземцев выбить из России вон и немецкую слободу, геенну, прелесть,— сжечь!..

Глаза пылали у патриарха, тряслось лицо, тряслась узкая борода, лиловые руки. Бояре потупились,— слишком уж резко Иоаким взял, нельзя в таком деле — наотмашь...

У Ромодановского глаза пучились, как у рака. Наталья Кирилловна, не поняв ничего, и по конце чтения продолжала кивать с улыбкой. Петр завалился на троне, выпятил губы, как маленький. Патриарх спрятал тетрадь и, проведя пальчиками по глазам:

— Начнем великое дело с малого... При Софье Алексеевне по моей слезной просьбе схвачен на Кукуе пакостный еретик Квирин Кульман.... На допросе сказал: «Явился-де ему в Амстердаме некто в белых ри-

зах и велел идти в Москву, там-де погибают в мраке безверия... (Иоаким несколько помолчал от волнения.) И вы,— говорил он на допросе,— слепы: не видите,— моя голова в сиянии и устами говорит святой дух...» И приводил тексты из прелестных учений Якова Бема и Христофора Бартута[1]... А сам, между прочим, соблазнил на Москве девку Марью Селифонтову, одел ее,— страха ради,— в мужское платье, и живет она у него в чулане... По вся дни оба пьяны, на скрипке и тарелках играют, он высовывается в окошко и кричит бешеным голосом, что на него накатил святой дух... И пришедшим к нему пророчит и велит целовать себя в низ живота... Господи, как минуту спокойным быть, когда здесь уже сатана ликует!.. Прошу великих государей указом вершить Квирина Кульмана,— сжечь его живым с книгами...

Все повернули головы к Петру, и он понял, что дело с Квириным Кульманом давно приговорено. Он прочел это в спокойных глазах матери. Один Ромодановский неодобрительно шевелил усами. Петр сел прямо, рука потянулась — грызть ноготь. Так в первый в жизни раз от него потребовали государственного решения. Было страшно, но уже гневный холодок подступил к сердцу. Вспомнил — недавние разговоры у Лефорта, полные достоинства умные лица иностранцев... Вежливое презрение... «Россия слишком долго была азиатской страной,— говорил Сидней (на следующий день),— у вас боятся европейцев, но для вас нет опаснее врагов, чем вы сами...» Вспомнил, как было стыдно слушать... (Велел тогда подарить Сиднею соболью шубу, и — чтобы к Лефорту более не ходил, ехал бы в Архангельск.) А что сказал бы англичанин, слушая эти речи? Срыть кирки и костелы в слободе? Вспомнил — летом в раскрытые окна доносилось дребезжание колокола на немецкой кирке... В этом раннем звоне — честность и порядок, запах опрятных домиков на Кукуе, кружевная занавеска на окне Анны Монс... Ты и ее тоже бы сжег, живой мерт-

---

[1] Яков Бема и Христофор Бартута — авторы мистических сочинений.

вец, черный ворон! Кучи пепла оставил бы на Кукуе! (Теперь уже Петр жег глазами патриарха.) Но сильнее гнева (не Лефортовы ли уроки?) — поднялись упорство и хитрость. Ладно,— бояре-правители,— бородачи! Накричать на них было недолго,— повалятся на ковер мордами, расплачется матушка, уткнется патриарх носом в колени, а сделают все-таки по-своему, да еше и с деньгами поприжмут...

— Святейший отец,— сказал Петр с приличным гневом (у Натальи Кирилловны изумленно поднялись брови),— горько, что нет между нами единомыслия... Мы в твое христианское дело не входим, а ты в наше военное дело входишь... Замыслы наши, может быть, великие,— а ты их знаешь? Мы моря хотим воевать... Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли. Сие — благословение господне... Мне без иноземцев в военном деле никак нельзя... А попробуй — тронь их кирки да костелы,— они все разбегутся... Это что же... (Он стал глядеть на бояр поочередно.) Крылья мне подшибаете?

Удивились бояре, что Петр говорил столь мужественно. «Ого,— переглянулись,— вот какой!.. Крутенек!..» Ромодановский кивал: «Так, так, истинно». Патриарх подался сухим носом к трону и крикнул с великой страстью:

— Великий государь! не отымай у меня сатанинского еретика Квирина Кульмана...

Петр насупился. Чувствовал — в этом надо уступить бородачам... Наталья Кирилловна пролепетала: «Государь-батюшка»,— и ладони сложила моляще... Покосился на Ромодановского,— тот слегка развел руками...

— До Кульмана нам дела нет,— сказал Петр,— отдаю его тебе головой. (Патриарх сел, изнеможенно закрыл глаза.) А теперь вот что, бояре,— нужно мне восемь тысяч рублев на военные да на корабельные надобности...

...Выходя из дворца, Петр взял к себе в сани Федора Юрьевича Ромодановского и поехал к нему на двор, на Лубянку, обедать.

7

Из деревни Мытищи в кремлевский дворец привезли бабу Воробьиху для молодой царицы. Евдокия до того ей обрадовалась,— приказала бабу прямо из саней вести в опочивальню. Царицына спаленка помещалась в верхней бревенчатой пристройке,— в два слепенькие окошечка, занавешенные от солнца. На жаркой лежанке бессменно дремала в валенках и в шубейке баба-повитуха. У Евдокии вот-вот должны были начаться роды, и уже несколько дней она не вставала с лебяжьих перин. Конечно, хотелось бы передохнуть от душного закута,— прокатиться в санках по снежной Москве, где сизые дымы, низкое солнце, плакучие серебряные ветви из переулков задевают за дугу... Но старая царица и все женщины вокруг,— боже упаси, какое там катанье! Лежи, не шевелись, береги живот,— царскую ведь плоть носишь... Дозволено было только слушать сказки с божественным окончанием... Плакать — и то нельзя: младенец огорчится...

Воробьиха вошла истово, но бойко. Баба была чистая, в новых лаптях, под холщовой юбкой носила для аромату пучок шалфею. Губы мягкие, взор мышиный, лицо хоть и старое, но румяное, и говорила — без умолку... С порога зорко оглядела, все приметила, упала перед кроваткой и была пожалована: молодая царица протянула ей влажную руку.

— Сядь, Воробьиха, рассказывай... Расскучай меня...

Воробьиха вытерла чистый рот и начала с присказки про дед да бабу, про поповых дочек, про козла — золотые рога...

— Постой, Воробьиха,— Евдокия приподнялась, глядя, дремлет ли повитуха,— погадай мне...

— Ох, солнце красное, не умею...

— Врешь, Воробьиха... Никому не скажу, погадай, хоть на бобах...

— Ох, за эти бобы-то — шкуру кнутом ныне спускают... На толокне разве,— на святой воде его замешать жидко?

— Когда начнется у меня? Скоро ли? Страшно... По ночам сердце мрет, мрет, останавливается... Вскинусь — жив ли младенец? О господи!

— Ножками бьет? В кое место?

— Бьет вот сюда ножкой... Ворочается,— будто коленочками да локотками трется мягко...

— Посолонь поворачивается али напротив?

— И так и эдак... Игреливый...

— Мальчик.

— Ох, верно ли?..

Воробьиха, умильно щуря мышиные глаза, прошептала:

— А еще о чем гадать-то? Вижу, краса неописуемая, затаенное на уста просится... Ты — на ушко мне, царица...

Евдокия отвернулась к стене, порозовело ее лицо с коричневыми пятнами на лбу и висках, с припухшим ртом...

— Уродлива стала я, что ли,— не знаю...

— Да уж такой красы, такой неописуемой...

— А ну тебя...— Евдокия обернулась, карие глаза — полны слез.— Жалеет он, любит? Открой... Сходи за толокном-то...

У Воробьихи оказалось все при себе, в мешке: глиняное блюдце, склянка с водой и темный порошок... (Шепнула: «Папоротниково семя, под Ивана Купала взято».) Замешала его, поставила блюдце на скамеечку у кровати, с невнятным приговором взяла у Евдокии обручальное кольцо, опустила в блюдце, велела глядеть.

— Затаенное думай, хочешь вслух, хочешь так... Отчего сомненье-то у тебя?

— Как вернулся из лавры,— переменился,— чуть шевелила губами Евдокия.— Речей не слушает, будто я дура последняя... «Ты бы чего по гиштории почитала... По-голландски, немецки учись...» Пыталась,— не понимаю ничего. Жену-то, чай, и без книжки любят...

— Давно вместе не спите?

— Третий месяц... Наталья Кирилловна запретила,— боится за чрево...

— В колечко в самое гляди, ангел небесный,— видишь мутное?

— Лик будто чей-то...

— Гляди еще... Женской?

— Будто... Женский...

— Она.— Воробьиха знающе поджала рот, как из норы глядела бусинками... Евдокия, тяжело дыша, приподнялась, рука скользнула с крутого живота под грудь, где пойманной птицей рвалось сердце...

— Ты чего знаешь? Ты чего скрываешь от меня? Кто она?

— Ну, кто, кто — змея подколодная, немка... Про то вся Москва шепчет, да сказать боятся... Опаивают его в Немецкой слободе любовным зельем... Не всколыхивайся, касатка, рано еще горевать... Поможем... Возьми иглу... (Воробьиха живо вытащила из повойника иглу, подала с шепотом царице.) Возьми в пальчики, ничего не бойся... Говори за мной: «Поди и поди, злая, лихая змея, Анна, вилокосная и прикосная, сухотная и ломотная, поди, не оглядываясь, за Фафергору, где солнце не всходит, месяц не светит, роса не ложится,— пади в сыру землю, на три сажени печатных, там тебе, злой, лихой змее, Анне, место пусто до скончания века, аминь...» Коли, коли иглой в самое кольцо, в лицо ей коли...

Евдокия колола, покуда игла не сломалась о блюдце. Откинулась, прикрыла локтем глаза, и припухшие губы ее задрожали плачем...

. . . .

Вечером мамки и няньки, повитухи и дворцовые дурки суетливо заскрипели дверями и половицами: «Царь приехал...» Воробьиха кинула в свечу крупицу ладана — освежить воздух, и сама юркнула куда-то... Петр вбежал наверх через три ступени. Пахло от него морозом и вином, когда наклонился он над жениной постелью.

— Здравствуй, Дуня... Неужто еще не опросталась? А я думал...

Усмехнулся,— далекий, веселый, круглые глаза — чужие... У Евдокии похолодело в груди. Сказала внятно:

— Рада бы вам угодить... Вижу — всем ждать надоело... Виновата...

Он сморщился, силясь понять — что с ней. Сел, схватясь за скамейку, шпорой царапал коврик...

— У Ромодановского обедал... Ну, сказали, будто бы вот-вот... Думал — началось...

— Умру от родов — узнаете... Люди скажут...

— От этого не помирают... Брось...

Тогда она со всей силой отбросила одеяла и простыни, выставила живот.

— Вот он, видишь... Мучиться, кричать — мне, не тебе... Не помирают! После всех об этом узнаешь... Смейся, веселись, вино пей... Езди, езди в проклятую слободу... (Он раскрыл рот, уставился.) Перед людьми стыдно,— все уж знают...

— Что все знают?

Он подобрал ноги,— злой, похожий на кота. Ах, теперь ей было все равно... Крикнула:

— Про еретичку твою, немку! Про кабацкую девку! Чем она тебя опоила?

Тогда он побагровел до пота. Отшвырнул скамью. Так стал страшен, что Евдокия невольно подняла руку к лицу. Стоял, антихристовыми глазами уставясь на жену...

— Дура! — только и проговорил. Она всплеснулась, схватилась за голову. Сотряслась беззвучным рыданием. Ребенок мягко, нетерпеливо повернулся в животе. Боль, раздвигающая, тянущая, страшная, непонятной силой опоясала таз...

Услыхав низкий звериный вопль, мамки и няньки, повитухи и дурки вбежали к молодой царице. Она кричала с обезумевшими глазами, безобразно разинув рот... Женщины засуетились... Сняли образа, зажгли лампады. Петр ушел. Когда миновали первые потуги, Воробьиха и повитуха под руки повели Евдокию в жарко натопленную мыльню — рожать.

8

Белоглазая галка, чего-то испугавшись, вылетела из-под соломенного навеса, села на дерево,— посыпался иней. Кривой Цыган поднял голову,— за снежными ветвями малиново разливалась зимняя заря. Мед-

ленно поднимались дымы,— хозяйки затопили печи. Повсюду хруст валенок, покашливание,— скрипели калитки, тукал топор. Яснее проступали крутые крыши между серебряными березами, курилось розовыми дымами все Заречье: крепкие дворы стрельцов, высокие амбары гостинодворцев, домики разного посадского люда,— кожевников, чулошников, квасельников...

Суетливая галка прыгала по ветвям, порошила глаза снегом. Цыган сердито махнул на нее голицей. Потянул из колодца обледенелую бадью, лил пахучую воду в колоду. В такое ядреное воскресное утро горькой злобой ныло сердце. «Доля проклятая, довели до кабалы... Что скот, что человек... Сам бы не хуже вас похаживал вкруг хозяйства...» Бадья звякала железом, скрипел журавль, моталось привязанное к его концу сломанное колесо.

На крыльцо вышел хозяин, стрелок Овсей Ржов, шерстяным красным кушаком подпоясанный по нагольному полушубку. Крякнул в мороз, надвигая шапку, натянул варежки, зазвенел ключами.

— Налил?

Цыган только сверкнул единым глазом,— лапти срывались с обледенелого бугра у колоды. Овсей пошел отворять хлев: добрый хозяин сам должен поить скотину. По пути ткнул валенком,— белым в красных мушках,— в жердину, лежавшую не у места.

— Этой жердью, ай, по горбу тебя не возил, страдничий сын. Опять все раскидал по двору...

Отомкнул дверь, подпер ее колышком, вывел за гривы двух сытых меринов, потрепал, обсвистал,— и они пили морозную воду, поднимая головы,— глядели на зарю, вода текла с теплых губ. Один заржал, сотрясаясь...

— Балуй, балуй,— тихо сказал Овсей. Выгнал из хлева коров и голубого бычка, за ними, хрустя копытами, тесно выбежали овцы.

Цыган все черпал, надсаживался, облил портки. Овсей сказал:

— Добра в тебе мало, а зла много... Нет, чтобы со скотиной поласковей,— одно — глазом буровить... Не знаю, что ты за человек...

— Как умею, так могу...

Овсей недобро усмехнулся,— ну, ну!.. При себе велел задать коням корму, кинуть свежей подстилки. Цыган раз десять ходил в дальний конец двора к занесенным снегом ометам, где на развороченной мякине суетились воробьи. Наколол, натаскал дров. В синеве осветились солнцем снежные верхушки берез. Звонили в церквах. Овсей степенно перекрестился. На крыльцо выскочила круглолицая с голубыми глазами, как у галки, небольшая девчонка:

— Тятя, исть иди скорея...

Овсей обстукал валенки и шагнул в низенькую дверь, хлопнув ею хозяйски. Цыгана не звали. Он подождал, высморкался, долго вытирал нос полою рваного зипунишки и без зова пошел в теплый, темноватый полуподвал, где ели хозяева. У дверей боком присунулся на лавку. Пахло мясными щами. Овсей и брат его, Константин, тоже стрелец, не спеша хлебали из деревянной чашки. Подавала на стол высокая суровая старуха с мертвым взором...

Братья держали лавку в лубяном ряду, торговые бани на Балчуге и ветряную мельницу да снимали у князя Одоевского двенадцать десятин пахоты и покоса. Раньше работали сами (в крымский поход не ходили), а теперь от царя Петра не было отдыху: каждый день жди то наряда, то — в строй. Стрельцам стоять в лавках, в банях не велено. На батраков поручиться нельзя. Работать приходится женам да сестрам, словом — бабам. А мужская сила идет на царскую потеху.

— Как летом будем с уборкой, ума не приложу,— говорил Овсей. Прижал к груди каравай, царапая им по холщовой рубахе, отрезал брату и себе. Вздохнули, откусили и опять, потряхивая мясо на ложках, принялись за щи.

— С батраками стало опасно,— сказал Константин,— новый указ... Беспременно выдавать гулящих,

кто без поруки живет по слободам али в харчевнях, в банях, в кирпичных сараях...

— Как же, если он работает?

— Ну и отвечай за него, наравне, как за разбойника... Ты у Цыгана брал поручную запись? Кто он таков?

— Шут его знает... Молчит...

— Не отпустить ли его от греха?..

Когда вошел Цыган и, обтирая с бороды лед, буравил глазом братьев, Овсей сказал громко:

— Да он мне и сам надоел...

Помолчали. Хлебали. Цыгана знобило от духа хлеба и щей. Кинув сосульку под порог, проговорил хрипло:

— Про меня, значит, разговор?

— А хоть бы и про тебя.— Овсей положил ложку.— Седьмой месяц жрешь хлеб, а кто ты, черт тебя знает... Много вас, безымянных, шатается меж двор...

— Это как я безымянный... Я у тебя крал? — спросил Цыган.

— Ну, я еще не знаю...

— То-то не знаешь.

— А может, лучше бы ты и крал. А почему у меня две овцы сдохли? Почему коровы невеселы, молоко вонючее, в рот нельзя взять... Почему? — Овсей подался к краю стола, застучал кулаком.— Почему наши бабы всю осень животами валялись?.. Почему? Тут порча! Черный глаз буровит...

— Будет тебе сатаниться, Овсей,— проговорил Цыган устало,— а еще умный мужик.

— Константин, слыхал, меня лает? Сатаниться?..— Овсей вылез из-за стола, заиграл пальцами, подгибая их в кулаки. Цыгану спорить не приходилось,— братья были здоровые, поевшие. Он осторожно поднялся.

— Не по-хорошему люб, а по-любу хорош... Поломал спину на твоем хозяйстве, Овсей,— спасибо... (Поклонился.) Поминай хошь лихом, мне все одно... Заплати только зажитые деньги...

— Это какие деньги? — Овсей обернулся к брату, к бабушке, глядевшей на ссору мертвым взором.— Он

на береженье казну, что ли, нам отдавал? Али я брал у него?

— Овсей, бога побойся, по полтине в месяц,— два с полтиной моих, зажитых...

Тогда Овсей подскочил к нему, закричал неистово:

— Деньги тебе! А жив уйти хочешь! Б....й сын, шиш!

Ухватив у шеи за армяк, ударил в ухо, дико вскрикнул и, не нагнись Цыган,— во второй раз — убил бы его до смерти. Константин, удерживая, взял брата за ходуном ходящие плечи, и Цыган вышел, шатаясь. Константин догнал его и в спину вытолкнул на улицу. Долго глядел Цыган единым глазом на ворота,— так бы и прожег их...

— Ну, погоди, погоди,— проговорил зловеще. Провел по щеке — кровь. Мимо шли люди, обернулись, засмеялись. Он задрал голову и побрел, топая лаптями,— куда-нибудь...

9

— Напирай, напирай, толкайся...

— Куда народ бежит?

— Глядеть: человека будут жечь...

— Казнь, что ли, какая?

— Не сам же захотел,— эка...

— Есть, которые сами сжигаются.

— Те — за веру, раскольники...

— А этот за что?

— Немец...

— Слава тебе, господи, и до них, значит, добрались...

— Давно бы пора — табашников проклятых... Зажирели с нашего поту.

— Гляди, уж дымится...

Пошел и Цыган к берегу, где на кучах золы толпились слобожане. Ему давно приглянулись двое — таких же, как и он,— бездомных. Он стал держаться поближе к ним: может, что-нибудь и образуется насчет пищи. Мужички эти, видимо, были пытанные, мученные. У одного, рябого, подвязана щека тряпкой,—

прикрывал клеймо каленым железом. Звали его Иуда. Другой согнут в спине почти напополам, опирался на две короткие клюки, но ходил шибко, выставляя бородку. Глаза веселые. Поверх заплатанного армяка — рогожа. Зовут Овдоким. Он очень понравился Цыгану. И Овдоким скоро заметил, что около них трется черный кривой мужик с разбитой мордой,— приподнялся на клюках и сказал ласково:

— Поживиться круг нас, голубчик, нечему, сами воруем...

Иуда, скосоротясь, сквозь зубы проговорил в сторону:

— Терся эдак же один из тайной канцелярии,— в прорубь его и спустили...

«Эге,— подумал Цыган,— это люди смелые...» И еще сильней захотелось ему быть с ними...

— Смерть меня не берет, окаянная,— сказал он, моргая заиндевелыми ресницами,— жить, значит, как-нибудь надо... Вы бы, ребята, взяли меня в артель... Сообща-то легче...

Иуда опять сквозь зубы — Овдокиму:

— Не «темный ли глаз»? А?

— Нет, нет, очевидно,— пропел Овдоким и, своротив голову, снизу вверх взглянул в глаз Цыгану...

Больше они ничего не проговорили. Внизу, на льду, притоптывали сапогами, хлопали рукавицами продрогшие стрельцы; они окружили кое-как сбитый сруб, доверху заваленный дровами. Около торчал столб для площадной казни, и белым дымом курился костер, где калилось железо. Народ прозяб, ожидая...

— Везут, везут... Напирай, толкайся!

Со стороны города показались конные драгуны. Съехали на лед. За ними в простых санях, спинами к лошади, сидели немец и какая-то девка в мужичьей шапке. Далее — верхами — боярин, стольники, дьяк. Позади — громоздкий черной кожи возок.

Стрельцы расступились, пропуская поезд. Дьяк слез с коня. Возок, подъехав, повернул боком, но никто не вышел из него... Все глядели на этот возок — изумленный шепот пошел по народу...

Из-за сруба показался Емельян Свежев в красном колпаке, с кнутом на плече. Помощники его взяли из саней девку, пинками потащили к столбу, сорвали с нее шубейку и привязали руками в обнимку за столб. Дьяк громко читал по развернутому свитку, покачивая печатями. Но голос его на трескучем морозе едва был слышен, только и разобрали, что девка — Машка Селифонтова, а немец — Кулькин, не то еще как-то... Из саней виднелись вздернутые его плечи и лысый затылок.

Лошадиное лицо Емельяна неподвижно улыбалось. Не спеша подошел к столбу. Снял кнут. И только резкий свист услышали, красный, наискось, рубец увидели на голой спине девки... Кричала она по-поросячьи. Дали ей пять ударов, и те вполсилы. Отвязали от столба, шатающуюся подвели к костру, и Емельян, выхватив из углей железо, прижал ей к щеке. Завизжала, села, забилась. Подняли, одели, положили в сани и шагом повезли куда-то по Москве-реке, в монастырь.

Дьяк все читал грамоту. Взялись за немца. Он вылез из саней, низенький, плотный, и сам пошел к срубу. Вдруг сложил дрожащие ладони, поднял опухшее с отросшей темной щетиной лицо и, сукин сын, немец,— залопотал, залопотал, громко заплакал... Подхватили, поволокли на сруб. Там Емельян сорвал с него все, догола, повалил, на розовую жирную спину положил еретические книги и тетради и поданной снизу головней поджег их... Так было указано в грамоте: книги и тетради сжечь у него на спине...

С берега (где стоял Цыган) крикнули:

— Кулькин, погрейся...

Но на этого,— губастого парня,— зароптали:

— Замолчи, бесстыдник... Сам погрейся так-то... Губастый тотчас скрылся. От подожженного с четырех концов сруба валил серый дым. Стрельцы стояли, опираясь на копья. Было тихо. Дым медленно уплывал в небо...

— Он наперед угорит, дрова-то сырые...

— Немец, немец, а тоже — гореть заживо... ох, господи...

— Грамоте учился, писал тетради, и вот — на тебе...

Из кожаного возка,— теперь все различали,— глядело сквозь окошечко на дым, на взлизывающие языки огня мертвенное лицо, будто сошедшее с древнеписанной иконы...

— Гляди, очами-то сверкает,— страх-то!..

— Не дело патриарху ездить на казни...

— Людей жгут за веру... Эх, пастыри!..

Это проговорил Овдоким,— звонко, бесстрашно... Все, кто стоял около него, отстранились, не отошли только Иуда и Цыган... Топоча клюками, он опять:

— Что же из того — еретик... Как умеет, так и верует... По-нашему ему не способно,— скажем... И за это гори... В муках живем, в пытках...

Огромный костер шумел и трещал, искры и дым завивало воронкой. Некоторые будто бы видели сквозь пламя, что немец еще шевелится. Возок отъехал на рысях. Народ медленно расходился. Иуда повторял:

— Идем, Овдоким...

— Нет, нет, ребятушки... (Глаза у него смеялись, но чистое, как из бани, красное лицо все плакало, тряслась козлиная борода.) Не ищите правды... Пастыри и начальники, мытари, гремящие златом,— все надели ризы свирепства своего... Беги, ребятушки, пытанные, жженные, на колесах ломанные, без памяти беги в леса дремучие...

Опосля только удалось увести Овдокима,— пошли втроем в переулок, в харчевню.

10

Наконец-то Цыган взял ложку,— рука дрожала, когда нес ко рту капающие на ломоть постные щи. Он очень боялся, что его не возьмут в харчевню, и по дороге жаловался на жизнь, вытирал глаза голицей. Овдоким, помалкивая, бежал на клюках, как таракан. У ворот вдруг спросил:

— Воровать умеешь?

— Да я — если артельно! — хоть в лес с кистенем...

— Ох, какой бойкий...

— Как ты нас понимаешь, кто мы? — спросил Иуда.

Цыган заробел: «Отделаться от меня хотят...» С тоской глядел на покосившиеся ворота, на сугроб во дворе, обледенелый от помоев, на обитую рогожей дверь, откуда шел такой сытый дух, что голова кружилась. Сказал тихо:

— Люди вы вполне справедливые... Что ж, если воруете, так ведь от горя, не по своей вине... Половина народа нынче в леса-то уходит... Дорогие мои, не гоните меня, покормите чем-нибудь...

— Мы, сударь, когда жалостливые, а когда — безжалостные, — сказал Овдоким. — Смотри-и! — и, взяв обе клюки в левую руку, погрозил ему: — Прибился к нам,— не пяться... Иуда, голубок, ты с добычей?

Иуда вытащил из кармана кисет, высыпал на ладонь медные деньги. Втроем сосчитали уворованное. Овдоким сказал весело:

— Птица не жнет, не сеет, а господь кормит. Многого нам не надо,— только на пропитание... Идем с нами, кривой...

В харчевне сели в дальнем углу, куда едва доходил свет от сальной свечи на прилавке. Народу было немало,— иные по пьяному делу шумели, расстегнув разопревшие полушубки, иные спали на лавках. Овдоким спросил полштофа и горшок щей. Когда подали, стукнул ложкой:

— Ешь, кривой, это божье...

Отпил из штофа, жевал часто, по-заячьи. Глаза светились смехом.

— Расскажу вам, ребятушки, притчу... Слушайте али нет? Жили двое,— один веселой, другой тоскливой... Этот-то веселой был бедный, что имел,— все у него отняли бояре, дьяки да судьи и мучили его за разные проделки, на дыбе спину сломали,— ходил он согнутый... Ну, хорошо... А тоскливой был боярский сын, богатый,— скареда... Дворовые с голоду от него разбежались, двор зарос лебедой... Си-идит деньденьской один на сундуке с золотом, серебром... Так

они и жили. У веселого нет ничего,— росой умылся, на пень перехстился, есть захотел — украл али попросил Христа ради: которые, небогатые, всегда дают,— им понятно... И — ходит, балагурит,— день да ночь — сутки прочь. А тоскливой все думал, как бы денег не лишиться... И боялся он, ребятушки, умереть... Ох, страшно умирать богатым-то... И, чем больше у него казны, тем неохочее... Он и свечи пудовые ставил и оклады жертвовал в церковь,— все думал, что бог ему смертный час оттянет...

Овдоким засмеялся, елозя бородой по столу. Протянув длинную руку с ложкой, черпанул щец, пожевал по-заячьи и опять:

— А этот богатый был тот самый человек, кто мучил веселого, пустил его по миру... Вот раз веселой залез к нему воровать, взял с собой дубинку... Туда-сюда по палатам,— видит — спит богатый на лавке, а сундук под лавкой. Он сундук-то не заметил, схватил богатого за волосы: ты, говорит, тогда-то меня всего обобрал, давай теперь мне сколько-нибудь на пропитание... Богатому смерть страшна и денег жалко, отпирается — нет и нет... Вот веселой схватил дубинку да и зачал его возить и по бокам и по морде... (Иуда оскалил зубы, загыкал от удовольствия.) Ну, хорошо,— возил, возил, покуда самому не стало смешно... Ладно, говорит, приду в другую ночь, приготовь мне полную шапку денег...

Богатый, не будь дураком, написал царю,— прислал царь ему стражу... А веселой мужик ловкой... Все-таки он эту стражу обманул, пробрался к богатому, за волосы его схватил: приготовил деньги? Тот трясется, божится: нет и нет... Опять веселой зачал его мутузить дубинкой,— у того едва душа не выскочила... Ладно, говорит, приду в третью ночь, приготовь теперь сундук денег...

— Это справедливо,— сказал Цыган.

— Он уже его отмутузил,— смеялся Иуда.

— Ну, хорошо... В этот раз прислал царь полк охранять богатого... Что тут делать? А веселой был мужик хитрый. Переоделся стрельцом, пришел на двор к богатому и говорит: «Стража, чье добро сте-

режете?..» Те отвечают: «Богатого, по царскому указу...» — «А много ли вам за это жалованья дадено?..» Те молчат... «Ну,— говорит веселой,— вы дураки: бережете чужое добро задаром, а богатый как собака на той казне и сдохнет, вы только утретесь...» И так он их разжег,— пошли эти солдаты, сорвали замки с погребов, с подвалов, стали есть, пить допьяна, и, конечно, стало им обидно,— ночью выломали дверь и видят — богатый трясется на сундуке, весь избитый, обгаженный. Тут наш проворный стрелец схватил его за волосы: «Не отдал, говорит, когда я просил свое, отдашь все...» Да и кинул его солдатам, те его на клочки разорвали... А веселой взял себе, сколько нужно на пропитание, и пошел полегоньку...

К столу, где рассказывал Овдоким, подсаживались люди, слушая — одобряли. Один, не то пьяненький, не то не в своем уме человек, все всхлипывал, разводил руками, хватался за лысый большой лоб... Когда ему дали говорить, до того заторопился, слюни полетели, ничего не понять... Люди засмеялись:

— Походил Кузьма к боярам... Всыпали ему ума в задние ворота...

На прилавке сняли со свечи нагар, чтобы виднее было смеяться... У этого Кузьмы курносое лицо с кустатой бородкой все опухло, видимо бедняга пил без просыпу. На теле — одни портки да разодранная рубаха распояской.

— Он и крест пропил.

— Неделю здесь околачивается.

— Куда же ему идти-то — босиком по морозу...

— Горе мое всенародное — вот оно! — схватясь за портки, закричал Кузьма.— Боярин Троекуров руку приложил! — Живо заголился и показал вздутый зад в синих рубцах и кровоподтеках... Все так и грохнули. Даже целовальник опять снял пальцами со свечи и перегнулся через прилавок. Кузьма, подтянув портки:

— Знали кузнеца Кузьму Жемова, у Варвары великомученицы кузня?.. Там я пятнадцать лет... Кузнец Жемов! Не нашелся еще такой вор, кто бы мои замки

отмыкал... Мои серпы до Рязани ходили. Чей серп? Жемова... Латы моей работы пуля не пробивала... Кто лошадей кует? Кто бабам, мужикам зубы рвет? Жемов... Это вы знали?

— Знали, знали,— со смехом закричали ему,— рассказывай дальше...

— А того вы не знали,— Жемов ночи не спит... (Схватился за лысый череп.) Ум дерзкий у Жемова. В другом бы государстве меня возвеличили... А здесь умом моим — свиней кормить... Эх, вспомните вы!.. (Стиснув широкий кулак, погрозил в заплаканное,— в четыре стеклышка,— окошечко, в зимнюю ночь.) Могилы ваши крапивой зарастут... А про Жемова помнить будут...

— Постой, Кузьма́, за что ж тебя выдрали?

— Расскажи... мы не смеемся...

Удивясь, будто сейчас только заметя, он стал глядеть на обступившие его лоснящиеся носы, спутанные бороды, разинутые рты, готовые загрохотать, на десятки глаз, жадных до зрелища. Видимо — кругом него все плыло, мешалось...

— Ребята... Уговор — не смеяться... У меня же душа болит...

Долго доставал из кисета сложенную бумажку. Разложил ее на столе. (С прилавка принесли свечу.) Придавил ногтем листок, где были нарисованы два крыла, наподобие мышиных, с петлями и рычагами. Опухшие щеки у него выпячивались.

— Дивная и чудесная механика,— заговорил он надменно,— слюдяные крылья, три аршина в длину каждое, аршин двенадцать вершков поперек... Машут вроде летучей мыши через рычаги — одним старанием ног, а также и рук... (Убежденно.) Человек может летать! Я в Англию убегу... Там эти крылья сделаю... Без вреда с колокольни прыгну... Человек будет летать, как журавель! (Опять бешено — в мокрое окошко.) Троекуров, просчитался, боярин!.. Бог человека сделал червем ползающим, я его летать научу...[1]

---

[1] Описываемое здесь произошло в 1694 году, в Москве.

Дотянувшись, Овдоким ласково потрепал его.

— По порядку говори, касатик,— как тебя обидели-то?

Кузьма насупился, засопел.

— Тяжелы их сделал, ошибся маленько... Человек я бедный... Были у меня сделаны малые крылья,— кое из чего, из лубка, из кожи... На дворе с избы прыгал против ветра,— шагов пятьдесят пронесло... А голова-то у меня уж горит... Научили,— пошел в Стрелецкий приказ и закричал: караул... Схватили и — бить было, конечно... Нет, говорю, не бейте, а ведите меня к боярину, знаю за собой государево дело... Привели... Сидит, сатана, морду в три дня не обгадишь. Троекуров... Говорю ему: могу летать вроде журавля,— дайте мне рублев двадцать пять, слюды выдайте, и я через шесть недель полечу... Не верит... Говорю,— пошлите подьячего на мой двор, покажу малые крылья, только на них перед государем летать неприлично. Туда, сюда, податься ему некуда,— караул-то мой все слыхали... Ругал он меня, за волосы хватил, велел евангелие целовать, что не обману. Выдал восемнадцать рублев... И я сделал крылья раньше срока... Тяжелы вышли. Уж здесь, в кабаке,— понял... Пьяный — понял!.. Слюда не годится, пергамент нужен на деревянной раме!.. Привез их в Кремль, пробовать... Ну, и не полетел,— морду всю разбил... Говорю Троекурову — опыт не удался, дайте мне еще пять рублей, и тогда голову отрубите,— полечу... Боярин ничему не верит: вор, кричит, плут! Еретик! Умнее бога хочешь быть... При себе приказал — двести батогов... Вынес, братцы, все двести,— только зубы хрустели... Да велено доправить на мне восемнадцать истраченных рублев, продать кузню, струмент и дворишко... Что мне теперь голому — в лес с кистенем?

— Одно это, страдалец,— проговорил Овдоким тихо, явственно.

Кузьма Жемов пристал к Овдокимовой шайке. Купили ему на толчке валенки, армячишко. Стали теперь ходить по Москве вчетвером,— на базары, к торговым баням, в тесные переулки Китай-города. Иуда воровал по карманам. Цыгана научили закатывать зрачок,

чтобы глазное яблоко страшно вылезало из век, и петь Лазаря. Кузьме надевали на шею веревку, и Овдоким водил его как безумного и трясучего: «А вот сумасшедшему на пропитание,— с дороги, с дороги, с дороги, касатики, а то как бы не кинулся...» Набирали за день на пропитание, а когда и на штоф. Труда было много, а страха еще более, потому что государевым указом таких теперь ловили и отводили в Разбойный приказ.

Великий пост кончался. Над Москвой все выше всходило весеннее солнце. На солнцепеках капало, таяло, начало praванивать. Снег, размешанный с навозом, уже не скрипел под полозьями. Однажды вечером в харчевне Овдоким заговорил:

— Не пора ли, ребятушки, собираться в дорожку... Жалеть нам здесь некого... Дайте только бугоркам провянуть. Пойдем на волю...

Иуда заспорил было:

— Малым количеством, без оружия, в лесах погибнем с голоду...

— А мы,— сказал Овдоким, перед отшествием на злое дело решимся... (Со страхом посмотрели на него.) Что надо — все добудем... Мук наших один грех не превысит... А превысит,— ну, что ж: значит, и в писании справедливости нет... Не трепещите, голуби мои, все возьму на себя.

11

С весны началось,— коту смех, а мышам слезы. Объявлена была война двух королей: польского и короля стольного града Прешпурга. К прешпургскому королю отходили потешные, Бутырский и Лефортов полки, к польскому — лучшие части стрелецких — Стремянного, Сухарева, Цыклера, Кровкова, Нечаева, Дурова, Нормацкого, Рязанова. Королем прешпургским посажен Федор Юрьевич Ромодановский, он же Фридрихус, польским — Иван Иванович Бутурлин, муж пьяный, злорадный и мздоимливый, но на забавы и шумство проворный. Стольным городом ему определен Сокольничий двор на Семеновском поле.

Вначале думали, все это — прежние Петровы шутки. Но, что ни день — указ, один беспокойнее другого. Бояре, окольничие и стольники расписывались в дворовые чины к обоим королям. Петр начинал играть неприлично. Многие из бояр огорчились: в родовых записях такого еще не бывало, чтобы с чинами шутить... Ходили к царице Наталье Кирилловне и осторожно жаловались на сынка. Она разводила пухлыми руками, ничего не понимала. Лев Кириллович с досадой говорил: «А мы что можем поделать,— прислан указ от великого государя, с печатями... Поезжайте к нему сами, просите отменить...» К Петру ехать поостереглись. Думали, так как-нибудь обойдется... Но с Петром не обходилось. Кое к кому из бояр нежданно вломились во дворы солдаты, силой велели одеться по-дворцовому, увезли в Преображенское на шутовскую службу... У старого князя Приимкова-Ростовского отнялись ноги. Иные пробовали сказаться больными,— не помогло. Скрыться некуда. Пришлось ехать на срам и стыд...

В Прешпурге,— издалека виднелись восьмиугольные бревенчатые его башни, дерновые раскаты, уставленные пушками, белые палатки вокруг,— с ума можно было сойти русскому человеку. Как сон какой-то нелепый — игра не игра, и все будто вправду. В размалеванной палате, на золоченом троне под малиновым шатром сидит развалясь король Фридрихус: на башке — медная корона, белый атласный кафтан усажен звездами, поверх — мантия на заячьем меху, на ботфортах — гремучие шпоры, в зубах — табачная трубка... Без всяких шуток сверкает глазами. А вглядишься — Федор Юрьевич. Плюнуть бы,— нельзя. Думный дворянин Зиновьев от отвращения так-то плюнул,— в тот же день и повезли его на мужицкой телеге в ссылку, лишив чести... Наталье Кирилловне самой пришлось ехать в Преображенское, просить, чтобы его простили, вернули...

А царь Петр,— тут уже руками только развести,— совсем без чина — в солдатском кафтане. Подходя к трону Фридрихуса, склоняет колено и адский этот король, если случится, на него кричит, как на простого.

Бояре и окольничие сидят — думают в шутовской палате, принимают послов, приговаривают прешпургские указы, горя со стыда... А по ночам — пир и пьянство во дворце у Лефорта, где главенствует второй, ночной владыка,— богопротивный, на кого взглянуть-то зазорно, мужик Микитка Зотов, всешутейший князь-папа кукуйский.

Затем,— должно быть, уж для полнейшего разорения, по наговору иноземцев проклятых,— пригнали из Москвы с тысячу дьяков и подьячих, взяли их из приказов, кто помоложе, вооружили, посадили на коней, обучали военному делу без пощады. Фридрихус в Думе сказал:

— Скоро до всех доберемся... Не долго тараканам по щелям сидеть. Все поедят у нас солдатской каши...

Петр, стоявший у дверей (садиться при короле не смел), громко засмеялся на эти слова. Фридрихус бешено топнул на него шпорой — царь прикрыл рот... Плакать тут надо было, все грехи свои помянув, с молитвой, сообща, пасть царю в ноги: «Руби нам головы, мучай, зверствуй, если не можешь без потехи... Но ты, наследник византийских императоров, в какую бездну влечешь землю российскую... Да уж не тень ли антихриста за плечом твоим?..» Так вот же,— духу не хватило, не смогли сказать.

Такой же двор был и у польского короля, Ваньки Бутурлина, в Семеновском. Но там хоть не нужно было ломаться, служба спокойная: бояре и окольничие, сидя в потешной думе вдоль стен на лавках, зевали в рукава, покуда сумерки не засинеют в окошечках, потом ехали в Москву ночевать. Король, Ванька Каин, по злобе и озорству пытался было заставить всех говорить по-польски, но преломить боярского упрямства не смог, да и самому играть с ними надоело,— оставил их дремать, как хотят.

Не успели обвыкнуться — новая ломка: едва только зеленой дымкой покрылись леса,— Бутурлин послал к королю Фридрихусу посла объявлять войну и с полками, обозами и боярами двинулся к Прешпургу. Стрельцы шли в поход злые,— время было севу, до-

рог каждый день, а тут черт надоумил царя забавляться.

Осаду приказано было вести по всем правилам,— копать шанцы и апроши, вести подкопы, ходить на приступ. Забава получалась не легкая. Пороха не жалели. Палили из мортир глиняными горшками, взрывавшимися, как бомбы. Из крепости лили грязь и воду с дерьмом, пихались шестами с горящей на конце паклей, рубились тупыми саблями. Обжигали морды, вышибали глаза, ломали кости. Денег это стоило немногим меньше, чем настоящая война. И так длилось неделями,— всю весну. В передышках оба короля пировали с Петром и его амантами.

Проходило лето. Бутурлин, не взяв Прешпурга, ушел верст за тридцать в лес и там окопался лагерем. Фридрихус, в свой черед, стал его воевать. Стрельцы, обозленные от такой жизни, дрались не на шутку. Убитых считали уже десятками. Генералу Гордону разбило голову горшком из мортиры — едва отлежался. Петру спалило лицо и брови, и он ходил облепленный пластырями. Половина войска мучилась кровавыми поносами. И лишь когда сожжен был весь порох, поломано оружие, солдаты и стрельцы износились до лохмотьев, когда в лагерь приехал Лев Кириллович с письмом от старой царицы и со слезами умолял не тянуть больше денег, ибо казна и без того пуста,— только тогда Петр угомонился, и короли приказали войскам идти по слободам.

В народе много говорили про потешные походы: «Конечно, такие великие деньги не стали бы забивать на простую забаву. Тут чей-то умысел. Петр молод еще, глуп,— чему его научат, то и делает... Кто-то, видно, на этом разорении хочет поживиться...»

12

Жилось худо, скучно. При Софье была еще коекакая узда, теперь сильные и сильненькие душу вытряхивали из серого человека. Было неправое правление от судей и мздоимство великое и кража госу-

дарственная. Много народу бежало в леса воровать. Иные уходили от проклятой жизни в дремучую глушь, на северные реки, чтоб не тянуть на горбе кучу воевод, помещиков, дьяков и подьячих, целовальников и губных старост, кровожаждущих без закона и жалости. Там, на севере, жили в забвении, кормясь от реки и от леса. Корчевали поляны, сеяли ячмень. Избы ставили из вековых сосен, на столбах, обширные, далеко друг от друга,— мужицкие хоромы. Из навсегда покинутых мест приносили в это уединение только сказки, былины да унывные песни. Верили в домового и лешего. Молиться ходили к суровым старцам-раскольникам, причащавшим мукой с брусникой. «В мире антихрист,— говорили им старцы,— одни те спасутся, кто убежал от царя и патриарха...»

Но случалось, что и до дремучей глуши, до этого последнего края, добирались слуги антихристовы, посланные искать неповинующихся и лающих. Тогда мужики с бабами и детьми, кинув дома и скот, собирались во дворе у старца или в церкви и стреляли по солдатам, а не было из чего стрелять,— просто лаялись и не повиновались и, чтоб не даться в руки, сжигались в избе или в церкви, с криками и вопленым пением...

Люди легкие, бежавшие от нужды и неволи в леса промышлять воровством, подавались понемногу туда, где теплее и сытнее,— на Волгу и Дон. Но и там еще пахло русским духом, залетали царские указы и воинствовали православные попы, и многие вооруженными шайками уходили еще далее — в Дагестан, в Кабарду, за Терек, или просились под турецкого султана к татарам в Крым. На привольном юге не в сумеречного домового — верили больше в кривую саблю и в доброго коня.

Не мила, не уютна была русская земля — хуже всякой горькой неволи,— за тысячу лет исхоженная лаптями, с досадой ковыряемая сохой, покрытая пеплом разоренных деревень, непомянутыми могилами. Бездолье, дичь.

13

— Батя, что такое? Звон не тот...

— Как не тот звон?..

— Ой, батя, не тот... Нынче звонят редко, а это... Батя, как бы чего не случилось, не уйти ли...

— Постой ты, дура...

Бровкин Иван Артемьев (Ивашкой-то люди забыли, когда и звали) стоял на паперти стародавней церквенки, на Мясницкой. Новый бараний полушубок, крытый синим сукном, топорщился на нем, новые валенки — прямо с колодки, новый шерстяной шарф обмотан так, что голова задиралась. Дул пронзительный ветер, сек лицо. По черной улице с шорохом гнало снежную крупу, забивало в мерзлые колеи. Много народу стояло у лавок, слушали: по всем церквам начался звон в малые колокола, нестройный, неладный,— лупили кое-как, будто со зла...

Санька Бровкина (ей шел восемнадцатый год), хорошо одетая, красивая, сытая, заневестившаяся, опять потянула отца за рукав — уходить: в Москве бывала редко, а когда бывала,— билось очень сердце, боялась, как бы не повалили. Сегодня с отцом приехали покупать пуху на перину — приданое. Свахи так и крутились вкруг Бровкинова двора, но Иван Артемьев, чем далее шло, тем забирал выше. Сын, Алешка, был уже старшим бомбардиром и у царя на виду. Волковский управитель ездил к Бровкиным в гости на новый богатый двор. Иван Артемьев брал у Волкова в аренду луга и пашню. Промышлял и лесом. Недавно поставил мельницу. Скотина его ходила отдельным стадом. Живность возил в Преображенское к царскому столу. Вся деревня кланялась в пояс, все ему были должны, а он кому спускал, а кому и не спускал,— десяток мужиков работали у него по кабальным записям.

— Ну, чего же ждем-та? — сказала Санька.

В это время к паперти подошел рыжебородый поп Филька (за десять лет поп раздобрел, так что ряса на меху чуть не лопалась). Он толкал в спину хилого дьячка с унылым носом:

— Иди, кутейник проклятый, иди, Вельзевул...

Дьячок споткнулся, ухватился за замок, стал отмыкать церковные двери. Филька пихал его:

— Руки дрожат, пьяница прогорклый... С вечера ведь, с вечера, с вечера (бил в сутулый дьячков загорбок) сказано тебе было: иди звони... Через тебя я опять отвечай...

Дьячок просунулся в приоткрытую половину железных дверей и полез на колоколенку. Филька остался на паперти. Иван Артемьев обеими руками в новых кожаных рукавицах снял шапку, степенно поклонился.

— Вроде как праздник, что ли, сегодня? Мы с дочерью сумневаемся... Скажи, батюшка, сделай милость...

Филька прищурился вдоль улицы на ветер с крупой, мотавшей его бороду, проговорил громко, чтобы многие слышали:

— Пришествие антихриста.

Иван Артемьев так и сел на новые валенки. Санька схватилась за грудь, тут же закрестилась, побледнела, только и поняла, что страшно. От Мясницких ворот валила толпа, чего-то кричали. Слышался свист, дикий хохот. Стоявший народ глядел молча. Лавки закрывались. Откуда-то поползли рваные нищие, трясучие, по пояс обнаженные, безносые... Седой юродивый, гремя цепями и замками на груди, вопил: «Навуходоносор, Навуходоносор!»

Душа ушла в валенки у Ивана Артемича. Санька тихо, шепотом айкая, привалилась к церковному решетчатому окошечку под неугасимой лампадой. Девка была чересчур трепетная.

И вот увидели... Растянувшись по всей улице, медленно ехали телеги на свиньях — по шести штук; сани на коровах, обмазанных дегтем, обваленных перьями; низенькие одноколки на козлах, на собаках. В санях, телегах, тележках сидели люди в лыковых шляпах, в шубах из мочальных кулей, в соломенных сапогах, в мышиных рукавицах. На иных были кафтаны из пестрых лоскутов, с кошачьими хвостами и лапами.

Щелкали кнуты, свиньи визжали, собаки лаяли, наряженные люди мяукали, блеяли,— красномордые,

все пьяные. Посреди поезда пегие клячи с банными вениками на шеях везли золотую царскую карету. Сквозь стекла было видно: впереди сидел молодой поп Битка, Петров собутыльник... Он спал, уронив голову. На заднем месте — развалились двое: большеносый мужчина в дорогой шубе и колпаке с павлиньими перьями и — рядом — кругленькая, жирненькая женщина, накрашенная, насурмленная, увешанная серьгами, соболями, в руках — штоф. Это были Яков Тургенев — новый царский шут из Софьиных бывших стольников, променявший опалу на колпак, и — баба Шушера, дьячкова вдова. Третьего дня Тургенева с Шушерой повенчали и без отдыху возили по гостям.

За каретой шли оба короля — Ромодановский и Бутурлин и между ними — князь-папа «святейший кир Ианикита прешпургский» — в жестяной митре, красной мантии и с двумя в крест сложенными трубками в руке. Далее кучей шли бояре и окольничие из обоих королевских дворов. Узнавали Шереметьевых, Трубецких, Долгоруких, Зиновьева, Боборыкина... Срамоты такой от сотворения Москвы не было. В народе указывали на них, дивились, ахали, ужасались... А иные подходили поближе и с озорством кланялись боярам.

За боярами везли на колесах корабль, вьюжный ветер покачивал его мачты. Впереди лошадей шел Петр в бомбардирском кафтане. Выпятив челюсть, ворочая круглыми глазами на людей, бил в барабан. Боялись ему и кланяться,— а ну как не велено. Юродивый, увидя его с барабаном, завопил опять: «Навуходоносор!» — но блаженного оттерли в толпу, спрятали. На корабле стояли, одетые голландскими матросами,— Лефорт, Гордон, усатый Памбург, Тиммерман и нововозведенные полковники Вейде, Менгден, Граге, Брюс, Левингстон, Сальм, Шлиппенбах... Они смеялись, посматривая сверху, дымили трубками, притоптывали на морозе.

Когда Петр поравнялся с церковкой, Иван Артемич дернул неживую Саньку и повалился на колени. «Дура, кланяйся,— зашептал торопливо,—не моего, не твоего ума это дело».

Поп Филька раскрыл большой рот и басом захохо-

тал (царь даже обернулся на него), хохоча, поднял руки, повернулся спиной и так, с воздетыми руками, ушел в церковь...

Шествие миновало. Иван Артемич поднялся с колен, глубоко надвинул шапку.

— Да,— сказал раздумчиво,— конешно... Да... Все-таки... Ай, ай... Ну, ладно! — И — сердито — Саньке:— Ну, будет тебе, очнись... Пойдем, пуху-то купим...

14

Дивились, — откуда у него, у дьявола, берется сила. Другой бы, и зрелее его годами и силой, давно бы ноги протянул. В неделю уже раза два непременно привозили его пьяного из Немецкой слободы. Проспит часа четыре, очухается и только и глядит — какую бы ему еще выдумать новую забаву.

На святках придумал ездить с князь-папой, обоими королями и генералами и ближними боярами (этих взял опять-таки строгим указом) по знатным дворам. Все ряженые, в машкерах. Святошным главой назначен был московский дворянин, исполненный всяких пакостей, сутяга, злой ругатель,— Василий Соковнин. Дали ему звание «пророка»,— рядился капуцином, с прорехой на заду. На тех святках происходило окончательное посрамление и поругание знатных домов, особливо княжеских и старых бояр. Вламывались со свистом и бешеными криками человек с сотню, в руках — домры, дудки, литавры. У богобоязненного хозяина волосы вставали дыбом, когда глядел на скачки, на прыжки, на осклабленные эти хари. Царя узнавали по росту, по платью голландского шкипера,— суконные штаны пузырями до колен, шерстяные чулки, деревянные туфли, круглая, вроде турецкой, шапка. Лицо либо цветным платком обвязано, либо прилеплен длинный нос.

Музыка, топот, хохот. Вся кумпания, не разбирая места, кидалась к столам, требовала капусты, печеных яиц, колбас, водки с перцем, девок-плясиц... Дом ходил ходуном, в табачном дыму, в чаду пили до изум-

ления, а хозяин пил вдвое,— если не мог — вливали силой...

Что ни родовитее хозяин — страннее придумывали над ним шутки. Князя Белосельского за строптивость раздели нагишом и голым его гузном били куриные яйца в лохани. Боборыкина, в смех над тучностью его, протаскивали сквозь стулья, где невозможно и худому пролезть. Князю Волконскому свечу забили в проход и, зажгя, пели вокруг его ирмосы, покуда все не повалились со смеха. Мазали сажей и смолой, ставили кверху ногами. Дворянина Ивана Акакиевича Мясного надували мехом в задний проход, от чего он вскоре и помер...

Святочная потеха происходила такая трудная, что многие к тем дням приуготовлялись, как бы к смерти...

Только весной вздохнули полегче. Петра понесло в Архангельск. Опять в этот год приезжали голландские купцы Ван Лейден и Генрих Пельтенбург. Скупали они товаров против прошлогоднего вдвое: у казны — икру паюсную, мороженую лососину, разные меха, рыбий клей, шелк-сырец и, по-прежнему, деготь, пеньку, холст, поташ... У ремесленников брали изделья из русской кожи и точеной кости. Лев Кириллович, купивший у иноземца Марселиса тульский оружейный завод, навязывал голландцам разное чеканное оружие, но ломил такие цены, что они уклонялись.

К весне нагружены были шесть кораблей. Ждали только, когда пройдут льды в Северном море. Неожиданно Лефорт (по просьбе голландцев) намекнул Петру, что хорошо бы прогуляться в Архангельск: взглянуть на настоящие морские суда... И уже на другой день полетели по вологодскому тракту конные подставы и урядники с грамотами к воеводам. Петр тронулся все с той же кумпанией — князь-папа Ианикит, оба короля, Лефорт, бояре обоих королей, но, кроме того, взяли и людей деловых — думного дьяка Виниуса, Бориса Голицына, Троекурова, Апраксина, шурина покойного царя Федора, и полсотни солдат под начальством удалого Алексашки Меньшикова.

Ехали лошадьми до Вологды, где за город навстречу вышло духовенство и купечество. Но Петр то-

ропил, и в тот же день сели в семь карбасов и поплыли по Сухони до Устюга Великого, а оттуда Северною Двиною на Архангельск.

Впервые Петр видел такие просторы полноводных рек, такую мощь беспредельных лесов. Земля раздвигалась перед взором,— не было ей края. Хмурыми грядами плыли облака. Караваны птиц снимались перед карбасами. Суровые волны били в борта, полным ветром надувались паруса, скрипели мачты. В прибрежных монастырях звонили во сретенье. А из лесов, таясь за чащобами, недремлющие глаза раскольников следили за антихристовыми ладьями.

15

На столе, покрытом ковром, оплывали две свечи. Капли смолы ползли по свежевыструганным бревенчатым стенам. На чистых половицах мокрые следы,— из угла в угол, к окну, к кровати. Башмаки с налипшей грязью валялись — один посреди комнаты, другой под столом. За окошками, в беззвездных полусумерках белой ночи, шумел незнакомый влажный ветер, плескались волны о близкий берег.

Петр сидел на кровати. Подштанники его по колено были мокры, голые ступни стояли косолапо. Опираясь локтями о колена, прижав маленький подбородок к кулакам, он невидяще глядел на окошко. За перегородкой, перегоняя друг друга, храпели оба короля. Во всем доме,— наспех к приезду царя поставленном на Масеевом острове,— спали вповалку. Петр угонял всех в этот день...

...Сегодня на рассвете подплыли к Архангельску. Почти все были на севере в первый раз. Стоя на палубах, глядели, как невиданная заря разливалась за слоистыми угрюмыми тучами... Поднялось небывалой величины солнце над темными краями лесов, лучи распались по небу, ударили в берег, в камни, в сосны. За поворотом Двины, куда, надрываясь на веслах, плыли карбасы, протянулось, будто крепость, с шестью башнями, раскатами и полисадом, длинное

здание — иноземный двор. Внутри четырехугольника — крепкие амбары, чистенькие дома под черепичными кровлями, на валах — единороги и мортиры. Вдоль берега тянулись причальные стенки на сваях, деревянные набережные, навесы над горами тюков, мешков и бочек. Свертки канатов. Бунты пиленого леса. У стенок стояло десятка два океанских кораблей да втрое больше — на якорях, на реке. Лесом поднимались огромные мачты с паутиной снастей, покачивались высокие, украшенные резьбой кормовые части. Почти до воды висели полотнища флагов — голландских, английских, гамбургских. На просмоленных бортах с широкой белой полосой в откинутые люки высовывались пушки...

На правом — восточном — берегу зазвонили колокола во сретенье. Там была все та же Русь,— колокольни да раскиданные, как от ленивой скуки, избенки, заборы, кучи навозу. У берега — сотни лодок и паузки, груженные сырьем, прикрытые рогожами. Петр покосился на Лефорта (стояли рядом на корме). Лефорт, нарядный, как всегда, постукивал тросточкой,— под усиками — сладкая улыбочка, в припухших веках — улыбочка, на напудренной щеке — ямочка... Доволен, весел, счастлив... Петр засопел,— до того вдруг захотелось дать в морду сердечному другу Францу... Даже бесстыжий Алексашка, сидевший на банке у ног Петра, качал головой, приговаривая: «Ай, ай, ай». Богатый и важный, грозный золотом и пушками, европейский берег с презрительным недоумением вот уже более столетия глядел на берег восточный, как господин на раба...

От борта ближайшего корабля отлетело облако дыма, прокатившийся грохот заглушил колокольный звон. Петр кинулся с кормы, отдавливая ноги гребцам,— подбежал к трехфунтовой пушечке, вырвал у бомбардира фитиль. Выстрел хлопнул, но разве можно было сравнить с громом морского орудия? В ответ на царский салют все иноземные корабли окутались дымом. Казалось — берега затряслись... У Петра горели глаза, повторял: «Хорошо, хорошо...» Будто ожили его детские картинки... Когда дым уплыл, на левом

берегу, на причальной стенке показались иностранцы,— махали шляпами... Ван Лейден и Пельтенбург... Петр сорвал треугольную шляпу, весело замахал в ответ, крикнул приветствие... Но сейчас же,— видя напряженные лица Апраксина, Ромодановского, премудрого дьяка Виниуса,— сердито отвернулся...

...Сидя на кровати, он глядел на серый полусвет за окошком. В Кукуй-слободе были свои, ручные немцы. А здесь непонятно, кто и хозяин. И уж до того жалки показались домодельные карбасы, когда проплывали мимо высоких бортов кораблей... Стыдно! Все это почувствовали: и помрачневшие бояре, и любезные иноземцы на берегу, и капитаны, и выстроившиеся на шканцах матерые, обветренные океаном моряки... Смешно... Стыдно... Боярам (может быть, даже и Лефорту, понимавшему, что должен был чувствовать Петр) хотелось одного лишь: уберечь достоинство. Бояре раздувались спесиво, хотя бы этим желая показать, что царю Великия, Малыя и Белыя России не очень-то и любопытно глядеть на купеческие кораблишки... Будет надобность — свои заведет, дело нехитрое... А захочет, чтоб эти корабли в Белое море впредь не заходили,— ничего не поделаете, море наше.

Приплыви Петр не на длинных лодках, может быть, и он заразился бы спесью. Но он хорошо помнил и снова видел гордое презрение, прикрытое любезными улыбками у всех этих людей с Запада — от седобородого, с выбитыми зубами матроса до купца, разодетого в испанский бархат... Вон — высоко на корме, у фонаря, стоит коренастый, коричневый, суровый человек в золотых галунах, в шляпе со страусовым пером, в шелковых чулках. В левой руке — подзорная труба, прижатая к бедру, правая опирается на трость... Это капитан, дравшийся с корсарами и пиратами всех морей. Спокойно глядит сверху вниз на длинного, нелепого юношу в неуклюжей лодке, на царя варваров... Так же он поглядывал сверху вниз где-нибудь на Мадагаскаре, на Филиппинских островах, приказав зарядить пушки картечью...

И Петр азиатской хитростью почувствовал, каким

он должен появиться перед этими людьми, чем, единственным, взять верх над ними... Их нужно было удивить, чтобы такого они сроду не видывали, чтобы рассказывали дома про небывалого царя, которому плевать на то, что — царь... Бояре — пусть надуваются,— это даже и лучше, а он — Петр Алексеев, подшкипер переяславского флота, так и поведет себя: мы, мол, люди рабочие, бедны да умны, пришли к вам с поклоном от нашего убожества,— пожалуйста, научите, как топор держать...

Он велел грести прямо к берегу. Первым выскочил в воду по колена, влез на стенку, обнял Ван Лейдена и Пельтенбурга, остальным крепко жал руки, трепал по спинам. Путая немецкие и голландские слова, рассказывал про плаванье, со смехом указывал на карбасы, где еще стояли истуканами бояре... «У вас, чай, таких лодчонок и во сне не видали». Чрезмерно восхищался многопушечными кораблями, притоптывал, хлопал себя по худым ляжкам: «Ах, нам бы хоть парочку таких!..» Тут же ввернул, что немедля закладывает в Архангельске верфь: «Сам буду плотничать, бояр моих заставлю гвозди вбивать...»

И уголком глаза видел, как сползают притворные улыбочки, почтенные купцы начинают изумляться: действительно, такого они еще не видывали... Сам напросился к ним на обед, подмигнул: «Хорошо угостите,— и о делах не без выгоды поговорим...» Спрыгнул со стенки в карбас и поплыл на Масеев остров, в только что поставленные светлицы, где в страхе божием встретил его воевода Матвеев... Но с ним Петр говорил уже по-иному: через полчаса бешено вышиб его пинком за дверь. (Еще в дороге на Матвеева был донос в вымогательстве с иноземцев.) Затем, с Лефортом и Алексашкой, пошел на парусе осматривать корабли. Вечером пировали на иноземном дворе. Петр так отплясывал с англичанками и ганноверками, что отлетели каблуки. Да, такого иноземцы видели в первый раз...

И вот — ночь без сна... Удивить-то он удивил, а что ж из того? Какой была,— сонной, нищей, непроворотной,— такой и лежит Россия. Какой там стыд!

Стыд у богатых, у сильных... А тут непонятно, какими силами растолкать людей, продрать им глаза... Люди вы, или за тысячу лет, истеча слезами, кровью, отчаявшись в правде и счастье,— подгнили, как дерево, склонившееся на мхи?

Черт привел родиться царем в такой стране!

Вспомнилось, как осенней ночью он кричал Алексашке, захлебываясь ледяным ветром: «Лучше в Голландии подмастерьем быть, чем здесь царем...» А что сделано за эти годы — ни дьявола: баловался! Васька Голицын каменные дома строил, хотя и бесславно, но ходил воевать, мир приговорил с Польшей... Будто ногтями схватывало сердце,— так терзали раскаяние, и злоба на своих, русских, и зависть к самодовольным купцам,— распустят вольные паруса, поплывут домой в дивные страны... А ты — в московское убожество... Указ, что ли, какой-нибудь дать страшный? Перевешать, перепороть...

Но кого, кого? Враг невидим, неохватим, враг — повсюду, враг — в нем самом...

Петр стремительно отворил дверцу в соседнюю каморку:

— Франц! (Лефорт соскочил с лавки, тараща припухшие глаза.) Спишь? Иди-ка...

Лефорт в одной сорочке присел к Петру на постель.

— Тебе плохо, Петер? Ты бы, может, поблевал...

— Нет, не то... Франц, хочу купить два корабля в Голландии...

— Что же, это хорошо.

— Да еще тут построим... Самим товары возить...

— Весьма хорошо.

— А еще что мне посоветуешь?

Лефорт изумленно взглянул ему в глаза и, как всегда, легче, чем сам он, разобрался в путанице его торопливых мыслей. Улыбнулся:

— Подожди, штаны надену, принесу трубки...— Из каморки, одеваясь, он сказал странным голосом: — Я давно этого ждал, Петер... Ты в возрасте больших дел...

— Каких? — крикнул Петр.

— Герои римские, с коих и поныне берем пример... (Он вернулся, расправляя завитки парика. Петр следил за ним дышащими зрачками.) Герои полагали славу свою в войне...

— С кем? Опять в Крым лезть?

— Без Черного с Азовским морем тебе не быть, Петер... Давеча Пельтенбург на ухо меня спрашивал, неужто русские все еще дань платят крымскому хану... (Зрачки Петра метнулись, остановились, как булавки, на любезном друге.) И не быть тебе, Петер, без Балтийского моря... Не сам — голландцы заставят... В десять раз, они говорят, против прежнего стали бы вывозить товару, учини ты гавани в Балтийском море...

— Со шведами воевать? С ума сошел... Смеешься, что ли? Никто в свете их одолеть не может, а ты...

— Так ведь не завтра же, Петер... Ты спросил меня, отвечаю: замахивайся на большее, а по малому — только кулак отшибешь...

16

«Гостям и гостиные сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и разных чинов людей в торгах их и во всяких промыслах чинятся убытки и разорение. Яко львы, челюстями своими пожирают нас, яко волци. Смилуйся, великий государь...»

— Опять жалоба на воевод? — спросил Петр.

Он ел на краю стола. Только что вернулся с верфи, не спустил даже по локоть закатанных рукавов холщовой, запачканной смолой рубахи. Макая куски хлеба в глиняное блюдо с жареным мясом, торопливо жуя,— поглядывал то на пенную рябь свинцовой Двины, то на русобородого, белого лицом, дородного дьяка Андрея Андреевича Виниуса, сидевшего на другом конце стола.

Андрей Андреевич читал московскую почту — круглые очки на твердом носу, широко расставлен-

ные голубые глаза, холодные и умные. За последнее время он стал забирать силу, в особенности когда Петр после ночного разговора с Лефортом приказал читать себе московскую почту. Все это бумажное дело прежде шло через Троекурова. Петр не вмешивался, но теперь захотел сам все слушать. Почта читалась ему во время обеда,— другого времени не было: он весь день проводил на верфи с иноземными мастерами, взятыми с кораблей... Плотничал и кузнечничал, удивляя иноземцев, с дикарской жадностью выпытывал у них все нужное, ругался и дрался со всеми. Рабочих на верфи было уже более сотни. Их искали по всем слободам и посадам, брали честью — по найму, а если упрямились,— брали и без чести, в цепях...

В обеденный час Петр, голодный, как зверь, возвращался на парусе на Масеев остров. Виниус важным голосом читал ему указы, присылаемые на царскую подпись, челобитные, жалобы, письма... Древней скукой веяло от этих витиеватых грамот, рабьими стонами вопили жалобы. Лгала, воровала, насильничала, отписывалась уставною вязью стародавняя служилая Русь, кряхтела съеденная вшами и тараканами непроворотная толща.

— Жалоба на воеводу,— ответил Андрей Андреевич,— опять на Степку Сухотина.

Поправив очки, он продолжал читать слезный вопль на кунгурского воеводу... Торговлю-де разоряет поборами в свой карман и торговых и посадских людей держит у себя в чулане и бьет тростью, от чего один безвинно помер. С промысловых обозов берет пошлину в свой же карман, зимой по восьми с воза, летом — со струга по алтыну. Богатого промышленника Змиева томил в сундуке, провертев, чтоб он не задохся, в крышке дырья... И берет себе земские и целовальничьи деньги и грозится весь Кунгур разорить, если будут на него жаловаться.

— Повесить, собаку, в Кунгуре на базаре! — крикнул Петр.— Пиши!

Виниус строго — поверх очков,— взглянул на него.

— Повесить недолго,— мало их этим образумишь... Я давно говорю, Петр Алексеевич, воеводам более двух лет на месте сидеть нельзя. Привыкают, ходы узнают... А свежий-то воевода, конечно, разбойничает легче... Петр Алексеевич, торговых людей в первую голову береги. Шкуру и две тебе отдадут,— сними только с них непомерные тягости... Ведь иной две пары лаптей боится вынести на базар — хватают, бьют и деньги рвут с него... А с кого тебе и богатеть, как не с купечества... От дворян взять нечего, все сами проедают. А мужик давно гол. Вот послушай.

Поискав среди кучи бумаг, Виниус прочел:

— «...Да божьим изволением всегда у нас хлебная недорода, поля наши всегда морозом побивает, и ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни скотины нет, погибаем голодною и озябаем студеною смертью... Воззри, государь, на нашу скудность и бедность, вели нам быть на оброке против нашей мо́чи... Мяса свиные и коровьи и птицу и весь столовый запас нам, нищим и беспомощным, ставить помещику нечем стало... Лебеду едим, тело пухнет... Смилуйся...»

Слушая, Петр сердито застучал огнивом об осколок кремня, до крови сбил палец. Раскурив трубку, глубоко вдыхал дым... Непроворотное бытие!.. Сквозь летящие тучи солнце волновалось на посиневшей реке. На том берегу поднимались на стапелях ребра строящегося корабля. Стучали топоры, визжали пилы. Там пахло табачком, дегтем, стружками, морскими канатами... Ветер с моря продувал сердце... Тогда ночью Лефорт сказал: «Русская страна страшная, Петер... Ее, как шубу — вывернуть, строить заново...»

— За границей не воруют, не разбойничают,— сказал Петр, щурясь на зыбь,— люди, что ли, там другой породы?..

— Люди те же, Петр Алексеевич, да воровать им не выгодно, честнее-то выгоднее... Купца там берегут, и купец себя бережет... Отец мой приехал при Алексее Михайловиче, завод поставил в Туле, хотел работать честно. Не дали,— одними волокитами разорили... У нас не вор — значит, глуп, и честь — не в че-

сти, честь только б над другими величаться. А и среди наших есть смышленые люди... (Белые, пухлые пальцы Андрея Андреевича будто плели паутину, отблескивало солнце на очках, говорил он мягко, вязью.) Ты возвеличь торговых людей, вытащи их из грязи, дай им силы, и будет честь купца в одном честном слове,— смело опирайся на них, Петр Алексеевич...

Те же слова говорил и Сидней, и Ван Лейден, и Лефорт. Неизведанное чудилось в них Петру, будто под ногами прощупывалась становая жила... Сие уже не какие-нибудь три потешных полка, а толща, сила... Положив локоть на подоконник, он глядел на масленым солнцем сверкающие волны, на верфь, где беззвучно по свае ударяла кувалда и долго спустя долетал удар... Моргал, моргал, билось сердце, самонадеянно, тревожно радостно.

— Вологодский купчина, Иван Жигулин, самолично привез челобитную, молит допустить перед очи,— особо внятно проговорил Андрей Андреевич.

Петр кивнул. Виниус, легко колыхаясь тучным телом, подошел к двери, кого-то окрикнул, проворно сел на место. За ним вошел широкоплечий купчина, стриженный по-новгородски — с волосами на лоб, сильное лицо, острый взгляд исподлобья. Размашисто перекрестясь, поклонился в ноги. Петр трубкой указал на стул:

— Велю — сядь... (Жигулин только шевельнул бровями, сел с великим бережением.) Чего просишь? (Жигулин покосился на Виниуса.) Говори так...

Жигулин, видимо, смекнул, что здесь не разбивать лоб, а надо показывать мошну, с достоинством разобрал усы, поглядел на козловые свои сапоги, кашлянул густо.

— Бьем челом великому государю... Как мы узнали, что ты корабли строишь на Двине,— батюшки, радость-то какая! Хотим, чтоб не велел нам продавать товар иноземцам... Ей-ей, даром отдаем, государь... Ворвань, тюленьи кожи, семга соленая, рыбья кость, жемчуг... Вели нам везти на твои корабли... Совсем

разорили нас англичане... Смилуйся! Уж мы постараемся, чем чужим королям,— своему послужим.

Петр блестел на него глазами; потянувшись, хлопнул по плечу, оскалился радостно:

— К осени два корабля построю, да третий в Голландии куплен... Везите товар, но без обману,— смотри!

— Да мы, господи, да...

— А сам поедешь с товаром?.. Первый коммерциенрат... Продавать в Амстердам?..

— Языкам не учен... А повелишь, так — что ж? Поторгуем и в Амстердаме, в обман не дадимся.

— Молодец!.. Андрей Андреевич, пиши указ... Первому негоцианту-навигатору... Как тебя,— Жигулин Иван, а по батюшке?..

Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась.

— Так с отчеством будешь писать нас?.. Да за это — что хошь!

И, как перед спасом, коему молился об удаче дел, повалился к царским ножкам...

. . . .

Жигулин ушел. Виниус скрипел пером. Петр, бегая по комнате, ухмылялся. Остановился:

— Ну, что у тебя еще?.. Читай короче...

— Опять разбойные дела. На троицкой дороге обоз с казной разбили, двоих убили до смерти... По розыску взят со двора Степка Одоевский, младший сын князя Семена Одоевского, привезен в простой телеге в Разбойный приказ, и там он повинился, и учинено ему наказание: в приказе, в подклети бит кнутом, да отнято у него бесповоротно дом на Москве и четыреста дворов крестьянских. Отцом, князем Семеном, взят на поруки... А из дворни его, Степки, пятнадцать человек повешено...

— Андрей Андреевич, вот они князья, бояре — за кистени взялись, разбойничают...

— Истинно, разбойничают, Петр Алексеевич.

— Тунеядцы, бородачи!.. Знаю, помню... У каждого нож на меня припасен... (Свернул шею.) Да у

меня на каждого — топор... (Плюясь, дернул ногой. Растопыренными пальцами вцепился, потянул скатерть. Виниус поспешно придержал чернильницу и бумаги.) У меня теперь сила есть... Столкнемся... Без пощады... (Пошел к двери.)

— Прости, Петр Алексеевич, еще два письма... От цариц...

— Читай, все одно...

Он вернулся к окну и ковырял трубку. Виниус с полупоклоном читал:

— «...Здравствуй, радость моя, батюшка, царь Петр Алексеевич, на множество лет... (Петр повернул к нему изумленную бровь.) Сынишка твой, Алешка, благословения от тебя, света моего радости, прошу. Пожалуй, радость наша, к нам, государь, не замешкав... Ради того у тебя милости прошу, что вижу государыню свою бабушку в великой печали... Не покручинься, радость мой государь, что худо письмишко: еще, государь, не выучился...»

— Чьей рукой писано?

— Великой государыни Натальи Кирилловны дрожащей рукой, невнятно.

— Ну, ты отпиши чего-нибудь... Гамбургских, мол, кораблей жду... Здоров, в море не хожу, пусть не кручинятся... Да чтоб скоро не ждали, слышишь...

Виниус проговорил с тихим вздохом:

— Царевича Алексея Петровича к письму собственноручно приложен пальчик в чернилах...

— Ну, ладно, ладно — пальчик... (Фыркнул носом, взял у Виниуса второе письмо.) Пальчик!..

Письмо от жены он прочел в лодке. Свежий ветер с моря наполнял парус, утлый ботик, как живой, нырял и взносился, пенные волны били о борт, пена воды пролетала с носа. Петр, сидя у руля, читал забрызганное, прижатое к колену письмишко...

«Здравствуй, мой батюшка, на множество лет... Прошу тебя, свет мой, милости, обрадуй меня, батюшка, отпиши о здоровье своем, чтобы мне, бедной, в печалях своих порадоваться... Как ты, свет мой, изволил уйтить и ко мне не отписал ни единой строчки... Только я, бедная, на свете бесчастная, что не

пожалуешь, не пишешь о здоровье своем. Отпиши, радость моя, ко мне,— как ты ко мне изволишь быть... А я с Олешенькой жива...»

Ботик черпнул бортом. Петр торопливо положил руль налево, большая волна, шумя пеной, плеснула в борт, окатила с головы до ног. Он засмеялся. Ненужное письмецо, сорванное ветром у него с колена, взлетело и вдалеке пропало в волнах...

17

Наталья Кирилловна дождалась наконец сына, как раз в тот день, когда у нее будто гвоздь засел в сердце. Высоко лежа на лебяжьих подушках, глядела расширенными зрачками на стену, на золотой завиток на тисненной коже. Страшилась отвести взор, пошевелиться, хуже всякой жажды мучила пустота в груди,— не хватало воздуху, но — чуть силилась вздохнуть — глаза выкатывались от ужаса.

Лев Кириллович то и дело на цыпочках входил в опочивальню, спрашивал у комнатных боярынь:

— Ну, как?.. Боже мой, боже мой, не дай сего...

Глотая слюну, садился на постели. Заговаривал, сестра не отвечала. Ей весь мир казался маревом... Одно чувствовала — свое сердце с воткнутым гвоздем...

Когда в Кремль прискакали на взмыленных лошадях, махальщики, вопя: «Едет, едет!» — и пономари, крестясь, полезли на колокольни; открылись двери Архангельского и Успенского соборов, протопопы и дьяконы, спеша, выпрастывали волосы из-под риз; дворцовые чины столпились на крыльце, скороходы босиком дунули врассыпную по Москве оповещать высших,— Лев Кириллович, задыхаясь, наклонился над сестрой:

— Прибыло солнце красное!..

Наталья Кирилловна разом глотнула воздуху, пухлые руки начали драть сорочку, губы посинели, запрокинулась. Лев Кириллович сам стал без памяти разевать рот... Боярыни кинулись за исповедником.

Поблизости в углах и чуланах застонали убогие люди... Переполошился весь дворец.

Но вот подал медный голос Иван Великий, затрезвонили соборы и монастыри, зашумела челядь, среди гула и криков раздались жесткие голоса немецких офицеров: «Ахтунг... Мушкет к ноге... Хальт... Так держать...» Кареты, колымаги во весь мах промчались мимо войск и народа к Красному крыльцу. Искали глазами, но среди богатых ферязей, генеральских епанчей и шляп с перьями не увидели царя.

Петр побежал прямо к матери,— в переходах люди едва успевали шарахаться. Загорелый, худой, коротко стриженный, в узкой куртке черного бархата, в штанах пузырями, он несся по лестницам,— иные из встречных думали, что это лекарь из Кукуя (и уж потом, узнав, крестились со страха). Не ждали, когда он, рванув дверь, вскочил в низенькую душную опочивальню, обитую кордовской кожей... Наталья Кирилловна приподнялась на подушках, вперила заблестевшие зрачки в этого тощего голландского матроса...

— Маменька,— крикнул он, будто из далекого детства,— миленькая...

Наталья Кирилловна протянула руки:

— Петенька, батюшка, сын мой...

Материнской жалостью преодолевала вонзающийся в сердце гвоздь, не дышала, покуда он, припав у изголовья, целовал ей плечо и лицо, и только когда смертно рвануло в груди,— разжала руки, отпустила шею...

Петр, вскочив, глядел будто с любопытством на ее закатившиеся глаза. Боярыни, страшась выть, заткнули рты платками. Лев Кириллович мелко трясся. Но вот ресницы у Натальи Кирилловны затрепетали. Петр хрипло сказал что-то,— не поняли,— кинулся к окну, затряс свинцовую раму, посыпались круглые стекла.

— За Блюментростом, в слободу! — И, когда опять не поняли, схватил за плечи боярыню.— Дура, за лекарем! — Толкнул ее в дверь.

Едва жива, кудахча, боярыня затопотала по лестнице.

— Царь велел! Царь велел!..— А чего велел,— так и не выговорила...

. . . .

Наталья Кирилловна отдышалась и на третьи сутки даже стояла обедню, хорошо кушала. Петр уехал в Преображенское, где жила Евдокия с царевичем Алексеем (перебралась туда с весны, чтобы быть подалее от свекрови). Мужа ожидала только на днях и была не готова и не в уборе, когда Петр вдруг появился на песчаной дорожке в огороде, где под липовой тенью варили варенье из антоновских яблок. Миловидные, на подбор, с длинными косами, в венцах, в розовых летниках, сенные девки чистили яблоки под надзором Воробьихи, иные носили хворост к печурке, где сладко кипел медный таз, иные на разостланном ковре забавляли царевича — худенького мальчика с большим лбом, темными неулыбающимися глазами и плаксивым ротиком.

Никто не понимал, чего ему хочется. Задастые девки мяукали по-кошачьи, лаяли по-собачьи, ползали на карачках, сами кисли от смеха, а дитя глядело на них зло,— вот-вот заплачет. Евдокия сердилась:

— У вас, дур, другое на уме... Стешка, чего задралась? Вот по этому-то месту тебя хворостиной... Васенка, покажи ему козу... Жука найдите, соломинку ему вставьте, догадайтесь... Корми вас, ораву,— дитя не могут утешить...

Евдокии было жарко, надоедали осенние мухи. Сняла кику, велела чесать себе волосы. День был хрустальный, над липами — безветренная синева. Кабы не прошел спас,— впору побежать купаться, но уж олень в воде рога мочил,— нельзя, грех...

И вдруг на дорожке — длинный, весь в черном, смуглый человек. Евдокия схватилась за щеки. До того шибко заколотилось сердце — мысли отшибло... Девки только ахнули и — кто куда — развевая косами, кинулись за сиреневые, шиповниковые кусты. Петр подошел, взял под мышки Евдокию, надавли-

вая зубами, поцеловал в рот... Зажмурилась, не ответила. Он стал целовать через расстегнутый летник ее влажную грудь. Евдокия ахнула, залившись стыдом, дрожала... Олешенька, один сидя на ковре, заплакал тоненько, как зайчик... Петр схватил его на руки, подкинул, и мальчик ударился ревом...

Плохое вышло свидание. Петр о чем-то спрашивал,— Евдокия — всё невпопад... Простоволосая, неприбранная... Дитя перемазано вареньем... Конечно — муженек покрутился небольшое время, да и ушел. У дворца его обступили мастера, купцы, генералы, друзья-собутыльники. Издалека слышался его отрывистый хохот. Потом ушел на речку смотреть яузский флот. Оттуда на Кукуй... Ах, Дуня, Дуня, проворонила счастье!..

Воробьиха сказала, что дело можно поправить. Взялась бодро. Погнала девок топить баньку. Мамам велела увести Олешеньку умыть, прибрать. И шептала царице:

— Ты лебедь, ночью не растеряйся. В баньке тебя попарим по-нашему, по-мужичьему, квасом поддадим, росным ладаном умоем,— хоть нюхай тебя где хошь... А для мужиков первое дело — дух... И ты, красавица, встречь его слов непрестанно смейся, чтоб у тебя все тряслось, хохочи тихо, мелко — грудью... Мертвый от этого обезумеет.

— Воробьиха, он к немке поехал...

— Ой, царица, про нее и не заикайся... Экодиво — немка: вертлява, ум корыстный, душа черная, кожа липкая... А ты, как лебедь пышная, встрень его в постельке, нежная, веселая,— ну, где ж тут немке...

Евдокия поняла, заторопилась. Баньку ей натопили жарко. Девки с бабой Воробьихой положили царицу на полок, веяли на нее вениками, омоченными в мяте и росном ладане. Повели ее, размякшую и томную, в опочивальню, чесали, румянили, сурмили, положили в постель, задернули завесы, и Евдокия стала ждать...

Скребли мыши. Настала ночь, заглох дворец, бессонно на дворе постукивал сторож, стукало в подушку сердце... Петенька все не шел... Помня Воробьи-

хины слова, лежала в темноте, улыбаясь, хотя от ненависти к немке живот трясся и ноги были как лед.

Вот уже сторож перестал колотить, мыши угомонились. Сенным девкам, и тем стыдно будет завтра на глаза показаться!.. Все же Евдокия крепилась, но вспомнила, как они с Петрушей ели курицу в первую ночь, и завыла, уткнувшись,— слезами замочила подушку...

Разбудило ее жаркое дыхание. Подкинулась: «Кто тут, кто тут?..» Спросонок не поняла — кто навалился... Разобрав, застонала от еще живой обиды, прижала кулаки к глазам... Петруша на человека не был похож, пьяный, табачный, прямо от девки немки — к ней, заждавшейся... Не ласкал, насильничал, молча, страшно... Стоило росным ладаном мыться!

Евдокия отодвинулась к краю постели. Петруша пробормотал что-то, заснул, как пьяный мужик в канаве... Меж занавесей синело. Евдокия, стыдясь Петрушиных длинных голых ног, прикрыла его, тихо плакала,— Воробьихины слова пропали даром...

. . . .

Из Москвы прискакал гонец: Наталье Кирилловне опять стало хуже. Кинулись искать царя. Он сидел в новой Преображенской слободе в избе у солдата Бухвостова на крестинах. Ели блины. Никого, кроме своих, не было: поручик Александр Меньшиков, Алешка Бровкин, недавно взятый Петром в денщики, и князь-папа. Балагурили, веселились. Меньшиков рассказывал, как двенадцать лет назад он с Алешкой убежал из дому, жили у Зайца, бродяжничали, воровали, как встретили на Яузе мальчишку Петра и учили его протаскивать иголку сквозь щеку.

— Так это ты был?.. Ты?.. — изумясь, кричал Петр.— Ведь я потом тебя полгода искал... За эту иголку люблю, Алексашка! — И целовал его в рот и в десны.

— А помнишь, Петр Алексеевич,— грозя пальчиком, спрашивал князь-папа,— припомни-ка мою плетку, как бивал тебя за проделки?.. И баловник же был... Бывало...

И Никита Зотов принимался рассказывать, как Петр,— ну, титешный мальчоночка, от земли не видно, а уж государственный имел ум... Бывало, вопрос задаст боярам, и те думают, думают — не могут ответить, а он вот так махнет ручкой и — на тебе — ответ... Чудо...

Все за столом, разиня рот, слушали про эти чудеса, и Петр, хотя и не припоминал за собой такого, но — раз другие верят — и сам поддакивал...

Бухвостов подливал в чарки. Мужик он был хитроватый, видом прост и бескорыстен, Петра понимал и пьяного и трезвого, но за Алексашкой, конечно, угнаться не мог,— и года были не те, и ум косный... Улыбался, потчевал радушно, в беседу не лез.

— А вот,— говорил Меньшиков, царапая шитыми золотом малиновыми обшлагами по скатерти (сидел прямо, ел мало, вино его не брало, только глаза синели),— а вот узнали мы, что у царского денщика, Алексея Бровкина, красавица сестра на выданье... В сие дело надо бы вмешаться.

Степенный Алешка заморгал и вдруг побледнел... К нему пристали,— сильнее всех Петр, и он подтвердил: верно, сестра Александра на выданье, но жениха подходящего нет. Батя Иван Артемич до того сделался гордый — и на купцов средней руки глядеть теперь не хочет. Завел медецинских кобелей, люди пугаются — мимо двора ходят. Свах гонит взашею. Саньку до того довел — ревет день и ночь: года самые у нее сочные, боится — вместо венца — монашкиным клобуком все это кончится из-за батиной спеси...

— Как нет жениха? — разгорячился Петр.— Поручик Меньшиков, извольте жениться...

— Не могу, молод, с бабой не справлюсь, мин херц...

— А ты, святейший кир Аникита? Хочешь жениться?

— Староват, сынок, для молоденькой-то! Я все больше с бл...ми...

— Ладно, дьяволы пьяные... Алешка, отписывай отцу, я сам буду сватом...

Алешка снял черный огромный парик и степенно поклонился в ноги. Петр захотел тотчас же ехать в деревню к Бровкиным, но вошел гонец из Кремля, подал письмо от Льва Кирилловича. Царица кончилась. Все поднялись от стола и тоже сняли парики, покуда Петр читал письмо. У него опустились, задрожали губы... Взял с подоконника шляпу, нахлобучил на глаза. По щекам текли слезы. Молча вышел, зашагал по слободе, пыля башмаками. На полдороге его встретила карета,—влез и вскачь погнал в Москву.

Пока другие судили и рядили, что ж теперь будет,— Александр Меньшиков был уже у Лефорта с великой вестью: Петр-де становится единовластным хозяином. Обрадованный Лефорт обнял Алексашку, и они тайно шептались о том, что Петру теперь надо бросить увиливать от государственных дел,— в руках его вся казна и все войско, и никто в его волю встревать не должен, кроме как свои, ближайшие. Большой двор надо переводить в Преображенское. И Анне Монс надо сказать, чтоб более не ломалась, далась бы царю беззаветно... Так надо...

. . . .

До прибытия царя Наталью Кирилловну не трогали. Она лежала с изумленным, задушевно-синим лицом, веки крепко зажмурены, в распухших руках— образок.

Петр глядел на это лицо... Казалось — она так далеко ушла, что все забыла... Искал,— хоть бы в уголке рта осталась любовь... Нет, нет... Никогда так чуждо не были сложены эти губы... А ведь утром еще звала сквозь задыхание: «Петрушу... благословить...» Почувствовал: вот и один, с чужими... Смертно стало жалко себя, покинутого...

Он поднял плечи, нахохлился... В опочивальне, кроме искисших от слез боярынь, были новый патриарх Адриан — маленький, русоволосый, с придурковатым любопытством глядевший на царя, и сестра, царевна Наталья Алексеевна, года на три старше Петра,— ласковая и веселая девушка. Она стояла, пригорюнясь по-бабьи — щеку на ладонь, в серых глазах ее светилась материнская жалость.

Петр подошел.

— Наташа... Маманю жалко...

Наталья Алексеевна схватила его голову, прижала к груди. Боярыни тихо завыли. Патриарх Адриан, чтобы лучше видеть, как царь плачет, повернулся спиной к покойной, приоткрыл рот... Шатаясь, вошел Лев Кириллович, с бородою совсем мокрой, с распухшими, как сырое мясо, щеками, упал перед покойницей, замер, только вздрагивал задом.

Наталья Алексеевна увела брата наверх к себе в светелку, покуда покойницу будут обмывать и убирать. Петр сел у пестрого окошечка. Здесь ничто почти не изменилось с детства. Те же сундучки и коврики, на поставцах серебряные, стеклянные, каменные звери, зеркальце сердечком в веницейской раме, раскрашенные листы из священного писания, заморские раковины...

— Наташа,— спросил тихо,— а где, помнишь, турок был у тебя со страшными глазами?.. Еще голову ему отломали.

Наталья Алексеевна подумала, открыла сундучок, со дна вынула турка и его голову. Показала, брови у нее заломились. Присела к брату, сильно обняла, оба заплакали.

К вечеру Наталью Кирилловну, убранную в золотые ризы, положили в Грановитой палате. Петр у гроба, сгибаясь над аналоем меж свечей, читал глуховатым баском. У двух дверей стояли по двое белые рынды с топориками на плечах, неслышно переминались. В ногах гроба на коленях — Лев Кириллович... Все во дворце, умаявшись, спали...

Глухой ночью скрипнула дверь, и вошла Софья, в черной жесткой мантии и черном колпачке. Не глядя на брата, коснулась губами синеватого лба Натальи Кирилловны и тоже стала на колени. Петр перевертывал склеенные воском страницы, басил вполголоса. Через долгие промежутки слышались куранты. Софья искоса поглядывала на брата. Когда стало синеть окно, Софья мягко поднялась, подошла к аналою и — шепотом:

— Сменю... Отдохни...

У него невольно поджались уши от этого голоса, запнулся, дернул плечом и отошел. Софья продолжала с полуслова, читая — сняла пальцами со свечи. Петр прислонился к стене, но голове стало неудобно под сводом. Сел на сундук, уперся в колени, закрыл лицо. Подумал: «Все равно, не прощу...» Так прошла последняя старозаветная ночь в кремлевском дворце...

. . . .

На третий день прямо с похорон Петр уехал в Преображенское и лег спать. Евдокия приехала позже. Ее провожали поездом боярыни,— их она и по именам не знала. Теперь они называли ее царицей-матушкой, лебезили, величали, просили пожаловать — поцеловать ручку... Едва от них отвязалась. Прошла к Олешеньке, потом — в опочивальню. Петр, как был — одетый, лежал на белой атласной постели, только сбросил пыльные башмаки. Евдокия поморщилась: «Ох, уж кукуйские привычки, как пьют, так и валяются...» Присев у зеркальца, стала раздеваться — отдохнуть перед обедом... Из ума не шли дворцовые боярыни, их льстивые речи. И вдруг поняла: теперь она полновластная царица... Зажмурилась, сжала губы по-царичьи... «Анну Монс — в Сибирь навечно,— это первое. За мужа — взяться... Конечно, покойная свекровь, ненавистница, только и делала, что ему наговаривала. Теперь по-другому повернется. Вчера была Дуня, сегодня государыня всея Великия и Малыя и Белыя... (Представила, как выходит из Успенского собора, впереди бояр, под колокольный звон к народу,— дух перехватило.) Платье большое царское надо шить новое, а уж с Натальи Кирилловны обносы не надену... Петруша всегда в отъезде, самой придется править... Что ж,— Софья правила — не многим была старше. Случится думать,— бояре на то, чтоб думать... (Вдруг усмехнулась, представила Льва Кирилловича.) Бывало — едва замечает, глядит мимо, а сегодня на похоронах все под ручку поддерживал, искал глазами милости... У, дурак толстый».

— Дуня... (Она вздрогнула, обернулась.) — Петр лежал на боку, опираясь на локоть.— Дуня... Маманя

умерла... (Евдокия хлопала ресницами.) Пусто... Я было заснул... Эх... Дунечка...

Он будто ждал от нее чего-то. Глаза жалкие. Но она раскатилась мыслями, совсем осмелела:

— Значит, так богу было нужно... Не роптать же... Поплакали и будет. Чай — цари... И другие заботы есть... (Он медленно выпростал локоть, сел, свесив ноги. На чулке против большого пальца — дыра...) Вот что еще, неприлично, нехорошо — в платье и на атласное одеяло... Все с солдатами да с мужиками, а уж пора бы...

— Что, что? — перебил он, и глаза ожили.— Ты грибов, что ли, поганых наелась, Дуня?..

От его взгляда она струсила, но продолжала, хотя уже иным голосом, тот же вздор, ему не понятный. Когда брякнула: «Мамаша всегда меня ненавидела, с самой свадьбы, мало я слез пролила»,— Петр резко оскалился и начал надевать башмаки...

— Петруша, дырявый — гляди, перемени чулки, господи...

— Видал дур, но такой... Ну, ну... (У него тряслись руки.) Это я тебе, Дуня, попомню — маменькину смерть. Раз в жизни у тебя попросил... Не забуду...

И, выйдя, так хватил дверью,— Евдокия съежилась. И долго еще дивилась перед зеркалом... Ну, что такое сказала?.. Бешеный, ну просто бешеный...

. . . .

Лефорт давно поджидал Петра в сенях у опочивальни. (На похоронах они виделись издали.) Стремительно схватил его руки:

— О Петер, Петер, какая утрата... (Петр все еще топорщился.) Позволь сочувствовать твоему горю... Их кондолире, их кондолире... Мейн херц ист фолль, шмерцен... О!.. Мое сердце полно шмерцен... (Как всегда, волнуясь, он переходил на ломаный язык, и это особенно действовало на Петра.) Я знаю — утешать напрасно... Но — возьми, возьми мою жизнь, и не страдай, Петер...

Со всею силой Петр обнял его, прилег щекой к его надушенному парику. Это был верный друг... Шепотом Лефорт сказал:

— Поедем ко мне, Петер... Развей свой печаль... Мы будем тебя немного смешить, если хочешь... Или — цузамен вейнен... Совместно плакать...

— Да, да, едем к тебе, Франц...

У Лефорта все было приготовлено. Стол на пять персон накрыт в небольшой горнице с дверями в сад, где за кустами спрятаны музыканты. Прислуживали два карлика в римских кафтанах и венках из кленовых листьев: Томос и Сека. Розами, связанными в жгуты, была убрана вся комната. Сели за стол — Петр, Лефорт, Меньшиков и князь-папа. Ни водки, ни обычной к ней закуски не стояло. Карлы внесли на золоченых блюдах, держа их над головами, пирог из воробьев и жареных перепелок.

— А для кого пятая тарелка? — спросил Петр.

Лефорт улыбался приподнятыми уголками губ.

— Сегодня римский ужин в славу богини Цереры, столь знаменитой утешительной историей с дочерью своей Прозерпиной...

— А что за гиштория? — спросил Алексашка. Сидел он в шелковом кафтане, в парике — космами до пояса — до крайности томный. Так же был одет и Аникита.

— Прозерпина утащена адским богом Плутоном,— говорил Франц,— мать горюет... Кажись, и конец бы гиштории. Но нет,— смерти нет, но вечное произрастание... Злосчастная Прозерпина проросла сквозь землю в чудный плод гранат и тем объявилась матери на утешение...

Петр был тих и грустен. В саду — черно и влажно. Сквозь раскрытую дверь — звезды. Иногда падал, в полосе света из комнаты, сухой лист.

— Для кого же прибор? — переспросил Петр.

Лефорт поднял палец. В саду хрустел песок. Вошла Анхен, в пышном платье, в левой руке — колосья, правой прижимала к боку блюдо с морковью, салатом, редькой, яблоками. Волосы собраны в высокий узел, и в нем — розы. Лицо ее было прелестно в свете свечей.

Петр, не встал, только вытянулся, схватясь за подлокотник стула. Анна поставила перед ним блюдо, присела, кланяясь, видимо ее учили что-то сказать при

этом, но ничего не сказала, смешалась, и так вышло даже лучше...

— Церера тебе плоды приносит, сие означает: смерти нет... Прими и живи! — воскликнул Лефорт и пододвинул Анне стульчик. Она села рядом с Петром. Налили пенящегося французского секту. Петр не отрывал взгляда от Анны. Но все еще было стеснительно за столом. Она положила пальцы на его руку:

— Их кондолире, герр Петер. (Большие глаза ее заволокло слезами.) Отдала бы все, чтобы утешить вас...

От вина, от близости Анхен разливалось тепло. Князь-папа уже подмигивал. Алексашку распирало веселиться. Лефорт послал карлика в сад, и там заиграли на струнах и бубнах. Аннушкино платье шуршало, глаза ее просохли, как небо после дождя. Петр стряхнул с себя печаль.

— Секту, секту, Франц!..

— То-то, сынок,— лучась морщинами, сказал Аникита,— с грецкими да с римскими богами сподручнее...

18

В дремучих лесах за Окой (где прожили все лето) убогий Овдоким оказался, как рыба в воде,— удачлив и смел. Он подобрал небольшую шайку из мужиков опытных и пытанных: смерти и крови не боялись, зря не шалили. Стан был на болоте, на острове, куда ни человеку, ни зверю, кроме как одною зыбкой тропкой, пробраться нельзя. Туда сносили весь дуван: хлеб, живность, вино, одежду, серебро из ограбленных церквей. Жили в ямах, покрытых ветвями. На вековой сосне — сторóжа, куда влезал Иуда оглядывать окрестность.

Всего разбойничков находилось на острову девять человек, да двое самых отчаянных бродили разведчиками по кабакам и дорогам. Едет ли купецкий обоз из Москвы в Тулу, или боярин собирается в деревеньку, или целовальник спьяна похвалился зарытой кубышкой,— сейчас же деревенский мальчонка, с кунтом или с лукошком, шел к темному лесу и там что есть духу

бежал к острову. Свистел. Со сторожи в ответ свистел Иуда. Из землянки выползал согнутый Овдоким. Мальчонку вели через болото на остров и там расспрашивали. Во всех поселениях близ большой дороги были у Овдокима такие пересыльщики. Их хоть на части режь,— будут молчать... Овдоким их ласкал, покормит, подарит копейку, спросит о бате с мамой, но и дети и взрослые его боялись: ровен и светел, но и приветливость его наводила ужас.

Угрюмо было жить на болоте. С вечера поднимался туман, как молоко. Сырели кости, болели раны. Огня по ночам Овдоким разводить не велел... Однажды один разбойничек расшумелся,— ночь была, как в погребе: «Мало, мол, над нами воевод да помещиков, еще одного черта посадили»,— да и стал раздувать костер. Овдоким ласковенько подошел к нему, переложил костыльки в левую руку и взял за горло. У того язык и глаза вывалились,— бросили его в болото.

Солнце вставало желтое, не греющее, вершины дерев стояли по пояс в туманном мареве. Разбойнички кашляли, чесали поротые задницы, переобувались, грели котелки.

Настоящего дела нет. Хорошо, если свистнет из лесу пересыльщик. А то весь день — на боку, до одури. От скуки рассказывали сказки, пели каторжные песни, томившие сердце. Про себя вспоминали редко, мало. Кроме Иуды и Жемова, все были беглые от помещиков,— их ловили, ковали в цепи, и снова они уходили из острогов.

Нередко Овдоким, садясь на мшистый камень, заводил рассказы. Слушали его угрюмо в дремотной лесной тишине,— Овдоким гнул непонятную линию. Лучше бы явно врал, как иные, скажем: вот, мол, ребята, скоро найдут золотую царскую грамоту, и будет всем воля,— живи, как хочешь, тихо, сытно, в забвении... Сказка, конечно, но сладко о ней было думать под влажный шум сосен... Нет, он никогда про утешение не говаривал...

— Было, ребятушки, одно времечко, да минуло,— сроки ему не вышли... Гулял я в суконном кафтане, на бочку — острая сабля, в шапке прелестные письма...

Это время вернется, ребятушки, для того вас и в лесу держу... Собиралась голь, беднота перекатная, как вороны слетались,— тучами, несчетно... Золотую грамоту с собой несли, в кафтане зашита у казака Степана Тимофеевича... Грамота кровью написана, брали кровь из наших ран, писали острым ножом... Сказано в ней: пощады чтобы не было,— всех богатеньких, всех знатненьких с поместьями, городами и посадами, со стольным градом Москвой — сделать пусто... И ставить на пустых местах казачий вольный круг... Ах, не удалося это, голуби... А быть и быть сему... Так в Голубиной книге написано...

Упершись бородкой о клюку, глядел водянистыми глазами на болотную дрябь, тихо давил на щеке комара, улыбался кротко.

— До покрова доживем, грибов здесь много... А посыпет первая крупа — поведу я вас, ребятушки, да не в Москву теперь... Там трудно стало. В Разбойный приказ посажен князь Ромодановский, а про него говорят: которого-де дни крови он изопьет, того дни и в те часы и весел, а которого дни не изопьет,— и хлеба ему не естся... А поведу я вас на реку Выгу, в дебрю, в раскольничье пристанище. Стоит там великая келья с полатями, и в ней устроены окна, откуда от присыльных царских людей борониться. Пищалей и пороху много. Живет в той келье чернец, не велик, седат и стар. В сборе у него раскольников, кои вразброс по Выге, душ двести... Стоят у них хороминки на столбах, и пашут они без лошадей, и что им скажет чернец, то и делают, и беспрестанно число их множится. И никто ничего таить про себя не может, каждую неделю исповедуются у него, и он, взяв ягоду бруснику и муку ржаную или ячменную и смешав вместе, тем причащает. Проведу вас в тот сумеречный вертоград потайными дорогами, и там мы, ребятушки, отдохнем от злодейства...

Слушая про Выгу, разбойнички вздыхали, но мало кто верил, что живыми туда доберутся. Тоже — сказка.

На работе Овдоким бывал не часто,— оставаясь один на острове, варил кашу, стирал портки, рубашки. Но, когда выходил сам, заткнув сзади за кушак чекан-

ный кистень, знали, что дело будет тяжелое. При убожестве был он, как паук, проворный, когда ночью, засвистев, так что волосы вставали дыбом, кидался к лошадям и бил их в лоб кистенем. Если ехали знатный и богатый,— он пощады не знал, сам кончал с людьми. Подневольных, попугав, отпускал, но плохо было тем, кто его признавал в лицо.

В Москве про эти шалости на тульской дороге знали и несколько раз посылали солдат с поручиком — истребить шайку. Но никто из них из лесу не вернулся, про солдатское злосчастье знали одни зыбучие дряби, куда заводил Овдоким...

Так жили ничего себе — сытно. В конце лета Овдоким собрал кое-какую рухлядь и послал Цыгана, Иуду и Жемова на большой базар в Тулу — продуванить.

— Уж вы, голуби, вернитесь с деньгами, не берите на душу греха... А то все равно живыми вам не быть, нет... Найду...

Через неделю вернулся один Иуда с разбитой головой, без вещей, без денег. На острове было пусто,— холодный пепел от костра да разбросанное тряпье. Ждал, звал. Никого. Стал искать место, где Овдоким зарывал деньги и слитки серебра, но клада не нашел.

Желтый и красный стоял лес, летели паутиновые нити, опадали листья. Затосковала Иудина душа, подобрал сухие корки и пошел куда-нибудь,— может, в Москву. И сразу же за болотом в красном полосатом сосновом лесу наткнулся на одного из товарищей, нарышкинского кабального крестьянина Федора Федорова.

Был Федор тихий, многосемейный и безропотный, как лошадь, жил на тяжком оброке и, можно сказать, телом своим кормил многочисленных детей. Одно попутало,— от вина обида кидалась ему в голову, ходил по деревне с колом, грозил нарышкинского управителя разбить на полы. Он ли убил управителя, или кто другой, только Федор побожился детям, что чист перед богом, и убежал. Сейчас он висел на сосновом суку, локти скручены, голова свернута набок, а в лицо Иуда и смотреть не стал... «Эх! товарищ, товарищ»,— заплакал и глушью пошел из этих мест...

19

Если верхние бояре, думавшие в кремлевском дворце государеву думу, все еще надеялись жить, как бог пошлет,— «молодой-де царь перебесится, дела образуются, тревожиться незачем, что бы ни стряслось,— мужики всегда прокормят»; если в Преображенском Петр со всякими новыми алчущими людишками, с купцами и дворянами, променявшими дедовскую честь на алонжевый парик,— теперь, безо всякого удержу, истощал казну на воинские и другие потехи, на постройку кораблей, солдатских слобод и дворцов для любимцев, бесстыдничал, веселился беспечно; если государство по-прежнему кряхтело, как воз в трясине,— на западе (в Венеции, в Римской империи, в Польше) так поворачивались дела, что терпеть московскую дремоту и двоедушие более не могли. В Северном море хозяйничали шведы, в Средиземном — турки, их тайно поддерживал французский король. Турецкий флот захватывал венецианские торговые корабли. Турецкие янычары разоряли Венгрию. Подданные султану крымские татары гуляли по южным польским степям. А Московское государство, обязанное по договору воевать татар и турок, только отписывалось, медлило и виляло: «Мы-де посылали два раза войска в Крым, а союзники-де нас не поддерживали, а ныне урожай плох,— надо бы подождать до другого года, воевать не отказываемся, но ждем, чтобы вы сами начали, а мы-де, ей-богу, подсобим».

В Москве сидели послы крымского хана, на подарки боярам не скупились, уговаривали заключить с Крымом вечный мир, клялись русских земель не разорять и прежней, стыдной, дани не требовать. Лев Кириллович писал в Вену, Краков и Венецию к русским великим послам, чтобы цесарским, королевским и дожеским обещаниям не верить и самим — обещать уклончиво. Третий уже год шла эта волокита. Турки грозили огнем пройти всю Польшу, в Вене и Венеции воздвигнуть полумесяц. И вот из Вены в Москву прибыл цесарский посол Иоганн Курций. Бояре испугались,— надо было

решаться. Посла встретили с великой пышностью, провезли через Кремль, поместили в богатых палатах, кормовые ему определили вдвое против иных послов и начали путать, лгать и тянуть дело, отговариваясь тем, что царь-де в потешном походе, а без него решить ничего не могут.

Все же говорить пришлось. Иоганн Курций припер бояр старым договором, добился, что приговорили: быть войне, и на том поцеловали крест. Курций, обрадованный, уехал. В Москву прислали благодарственные письма от римского цезаря и польского короля, где именовали царя «величеством» со всем полным титулом вплоть до «государя земель Иверской, Грузинской и Кабардинской и областей Дедич и Отчич». После сего удалось протянуть еще некоторое время. Но уже было ясно, что войны не миновать...

20

После масленой недели, когда великопостный звон поплыл над засмиревшей в мягком рассвете Москвой, про войну заговорили сразу на всех базарах, в слободах, на посадах. Будто в одну ночь нашептали людям: «Будет война — чего-нибудь да будет. А будет Крым наш,— торгуй со всем светом... Море великое, там ярыжка за копейкой за щеку не полезет».

Приходившие с обозами пшеницы из-под Воронежа, Курска, Белгорода мужики-хуторяне и омужичившиеся помещики-однодворцы рассказывали, что в степях войны с татарами ждут не дождутся... «Степи нашей на полдень и на восток — на тысячи верст. Степь как девка ядреная,— над ней только портками потряси,— в зерне по шею бы ходили... Татарва не допускает... Сколько нашего брата в плен в Крым угнали,— эх!.. А воля в степях, а уж воля! — не то, что у вас, москали...»

Более всего споров о войне было на Кукуе. Многие не одобряли: «Черное море нам ненадобно, к туркам, в Венецию лес да деготь, да ворвань не повезешь... Воевать надо северные моря...» Но военные, в особен-

ности молодые, горячо стояли за войну. Этой осенью ходили двумя армиями под деревню Кожухово и там, не в пример прочим годам, воевали по всей науке. Про полки Лефортов и Бутырский, про потешных преображенцев и семеновцев, наименованных теперь лейбгвардией, иностранцы отзывались, что не уступят шведам и французам. Но славой кожуховского похода гордиться можно было разве что на пирах под заздравные речи, шум литавров и залпы пушек. Офицеры, в вороных париках, шелковых шарфах до земли и огромных шпорах, не раз слыхивали вдогонку: «Кожуховцы! — храбры бумажными бомбами воевать, татарской пульки попробуйте...»

Колебались только самые ближние,— Ромодановский, Артамон Головин, Апраксин, Гордон, Виниус, Александр Меньшиков: предприятие казалось страшным... «А вдруг — поражение? Не спастись тогда никому, всех захлестнут возмущенные толпы... А не начинать войны — того хуже, и так уже ропот, что царей опутали немцы — душу подменили, денег уйма идет на баловство, люди страдают, а дел великих не видно».

Петр помалкивал. На разговоры о войне отвечал двусмысленно: «Ладно, ладно, пошутили под Кожуховым, к татарам играть пойдем...» Один только Лефорт да Меньшиков знали, что Петр затаил страх, тот же страх, как в памятную ночь бегства в Троицу. Но и знали, что воевать он все же решится.

Из Иерусалима два черноликих монаха привезли письмо от иерусалимского патриарха Досифея. Патриарх слезно писал, что в Адрианополь прибыл посол французский с грамотой от короля насчет святых мест, подарил-де великому визирю семьдесят тысяч золотых червонных, а случившемуся в то же время в Адрианополе крымскому хану — десять тысяч червонных и просил, чтоб турки отдали святые места французам... «И турки отняли у нас, православных, святой гроб и отдали французам, нам же оставили только двадцать четыре лампады. И взяли французы у нас половину Голгофы, всю церковь вифлеемскую, святую пещеру, разорили все деисусы, раскопали трапезу, где раздаем святой свет, и хуже наделали в Иерусалиме, чем персы

и арабы. Если вы, божественные самодержавцы московские, оставите святую церковь, то какая вам похвала будет?.. Без этого не заключайте с турками мира,— пусть вернут православным все святые места. А буде турки откажутся,— начинайте войну. Теперь время удобное: у султана три больших войска ратуют в Венгрии с императором. Возьмите прежде Украину, потом Молдавию и Валахию, также и Иерусалим возьмите и тогда заключайте мир. Ведь вы ж упросили бога, чтоб у турок и татар была война с немцами,— теперь такое благополучное время, и вы не радеете! Смотрите, как мусульмане смеются над вами: татары-де,— горсть людей,— и хвалятся, что берут у вас дань, а татары — подданные турецкие, то и выходит, что и вы — турецкие подданные...»

Обидно было читать в Москве это письмо. Собралась большая боярская Дума. Петр сидел на троне молча, угрюмый,— в царских ризах и бармах. Бояре отводили душу витиеватыми речами, ссылались на древние летописи, плакали о попрании святынь. Уж и вечер засинел в окнах, на лица полился из угла свет лампад,— бояре, вставая по чину и месту, отмахивали тяжелые рукава и говорили, говорили, шевелили белыми пальцами,— гордые лбы, покрытые потом, строгие взоры, холеные бороды и пустые речи, крутившиеся как игрушечное колесо по ветру, оскоминой вязли в мозгу у Петра. Никто не говорил прямо о войне, а, косясь на думного дьяка Виниуса, записывающего с двумя подьячими боярские речи, плели около... Страшились вымолвить — война! — разворотить покойное бытие. А вдруг да снова смута и разорение? Ждали царского слова, и, очевидно, как бы он сказал, так бы и приговорили.

Но и Петру жутко было взваливать на одного себя такое важное решение: молод еще был и смолоду пуган. Выжидал, щурил глаза. Наконец заговорили ближайшие и уже по-иному — прямо к делу. Тихон Стрешнев сказал:

— Конечно, воля его, государева... А нам, бояре, животы должно положить за гроб господень поруганный да государеву честь... Уж в Иерусалиме смеются,—

куда же позору-то глыбше?.. Нет, бояре, приговаривайте созывать ополчение...

Лев Кириллович по тихости ума понес было издали — с крещения Руси при Владимире, но, взглянув на кисло сморщившееся лицо Петра, развел руками:

— Что ж, нам бояться нечего, бояре... Василий Голицын ожегся на Крыме. А чем ополчение-то его воевало? Дрекольем... Ныне, слава богу, оружия у нас достаточно... Хотя бы мой завод в Туле,— пушки льем не хуже турецких... А пищали и пистоли у меня лучше... Прикажет государь,— к маю месяцу наконечников копий да сабелек поставлю хоть на сто тысяч... Нет, от войны нам пятиться не можно...

Ромодановский, посипев горлом, сказал:

— Мы б одни жили, мы бы еще подумали... А на нас Европа смотрит... На месте нам не топтаться,— сие нам в неминуемую погибель... Времена не Гостомысла, жестокие времена настают... И первое дело — побить татар...

Тихо стало под красными низкими сводами. Петр грыз ногти. Вошел Борис Алексеевич Голицын, обритый наголо, но в русском платье, веселый,— подал Петру развернутый лист. Это была челобитная московского купечества; просили защитить Голгофу и гроб господень, очистить дороги на юг от татар, и если можно, то и города рубить на Черном море. Виниус, подняв на лоб очки, внятно прочел бумагу. Петр поднялся — мономаховой шапкой под шатер.

— Что ж, бояре,— как приговорите?

И глядел зло, рот сжал в куриную гузку. Бояре восстали, поклонились:

— Воля твоя, великий государь,— созывай ополчение...

21

— Цыган... Слушай меня.

— Ну?

— Ты ему скажи,— подручным, скажи, был у меня в кузне... И крест на том целуй...

— Стоит ли?

— Конечно... Еще поживем... Ведь эдакое счастье...

— Надоело мне, Кузьма. Скорее бы уж кончили...

— Кончут! Дожидайся... Вырвут ноздри, кнутом обдерут до костей и в Сибирь...

— Да, это... пожалуй... Это отчаянно...

— Льва Кирилловича управитель был в Москве и взял грамоту, чтоб искать в острогах нужных людей — брать на завод. А это как раз мое дело,— я и разговорился... Они меня помнют... Э, милый, Кузьму Жемова скоро не забудешь... Есть мне дали, щи с говядиной... И обращение — без битья... Но — строго... Позовут, ты так и говори — был у меня молотобойцем...

— Щи с говядиной? — подумав, повторил Цыган.

Разговаривали Цыган с Жемовым в тульском остроге, в подполье. Сидели они вот уже скоро месяц. Били их только еще один раз, когда поймали на базаре с краденой рухлядью. (Иуде тогда удалось убежать.) Они ждали розыска и пытки. Но тульский воевода с дьяками и подьячими сам попал под розыск. Про колодников забыли. Острожный сторож водил их каждое утро, забитых в колодки, на базар просить милостыню. Тем питались да еще кормили и сторожа. И вот негаданно — вместо Сибири — на оружейный завод Льва Кирилловича. Все-таки ноздри останутся целы.

. . . .

Цыган сказал про себя так, как учил его Жемов. Из острога их в колодках погнали за город на реку Упу, где по берегу стояли низкие кирпичные постройки, обнесенные тыном, и в отведенной из реки канаве скрипели колеса водяных мельниц. Было студено, с севера волоклись тучи. У глинистого берега толпа острожников выгружала со стругов дрова, чугун и руду. Кругом — пни да оголенные кусты, омертвевшие поля. Осенний ветер. Тоской горел единый глаз у Цыгана, когда подходили к окованным воротам, где стояли сторожа с бердышами... Мало того, что и били, и гоняли, как дикого зверя по земле, душу вытряхивали,— мало им этого!.. Работай на них, работай... Сдохнуть не дают...

Ввели в ворота на черный, заваленный железом двор... Грохот, визг пилы, стукотня молотков. Сквозь

закопченные двери видно—летят искры из горна, там — люди, голые по пояс, размахиваясь кругом, куют полосу, там — многопудовый молот от мельничного колеса падает на болванку, и брызжет нагар в кожаные фартуки, там у верстаков — слесаря... Из ворот по доскам на крышу приземистой печи тянутся тачки с углем, огонь и черный дым выбрасываются из домны. Жемов толкал локтем Цыгана:

— Узнают они Кузьму Жемова...

В стороне от кузниц в опрятном кирпичном домике в окно глядело розовое, как после бани, бритое лицо в колпаке. Это был управляющий заводом — немец Клейст. Он постучал о стекло табачной трубкой. Сторож торопливо подвел Жемова и Цыгана, объяснил — кто они и откуда. Клейст поднял нижнюю часть окошечка, высунулся, поджав губы. Колпачная кисточка качалась впереди полного лица. Цыган с враждой, со страхом глядел на кисточку... «Ох, душегуб!» — подумал.

Позади Клейста на чистом столе стояла жареная говядина, румяные хлебцы и золоченая чашка с кофеем. Приятный дымок от трубки полз в окно. Глаза его, бездушные, как лед, проникали в самое нутро русское. Достаточно оглядев обоих колодников, проговорил медленно:

— Кто обманывает — тому плёхо. Присылают негодных мужикофф, свинячьих детей... Ничего не умеют — о, сволочь. Ты добрый кузнец — хорошо... Но если обманываешь — я могу повесить... (Постучал трубкой о подоконник.) Да, повесить я тоже могу, мне дан закон... Сторож, отведи дуракофф под замок...

По дороге сторож сказал им вразумительно:

— То-то, ребята, с ним надо сторожко... Чуть упущение, проспал али поленился, он без пощады.

— Не рот разевать пришли! — сказал Жемов.— Мы еще и немца вашего поучим...

— А вы кто будете-то? Слышно — воры-разбойнички? За что вас, собственно?

— Мы, божия душа, с этим кривым в раскол пробирались на святую жизнь, да черт попутал...

— А, ну это другое дело,— ответил сторож, отмы-

кая замок на низенькой двери.— У нас порядки, чтобы знать, вот какие... Идите, я свечу вздую... (Спустились в подклеть. Лучики света сквозь дырки железного фонаря ползуче осветили нары, дощатые столы, закопченную печь, на веревках — лохмотья.) Вот какие порядки... Утром в четыре часа я бью в барабан,— молитва и — на работу. В семь — барабан,— завтракать,— полчаса... Часы при мне, видел? (Вытащил медные, с хорошую репу, часы, показал.) Опять, значит, на работу. В полдень — обед и час спать. В семь ужин — полчаса и в десять — шабаш...

— А не надрываются? — спросил Цыган.

— Которые, конечно, не без этого. Да ведь, милый,— каторга: кабы ты не воровал, на печи бы лежал, дома... Есть у нас пятнадцать человек с воли, наемных,— те в семь шабашут и спят отдельно, в праздники ходят домой.

— И что же,— еще хрипче спросил Цыган, сидя на нарах,— нам это навечно?

Жемов, уставясь на светлые дырки круглого фонаря, мелко закашлялся. Сторож буркнул что-то в усы. Уходя, захватил фонарь.

22

Почтенная, с пегой проседью борода расчесана, волосы помазаны коровьим маслом, шелковый пояс о сорока именах святителей повязан под соски по розовой рубахе... И не на это даже, а на круглый, досыта сытый живот Ивана Артемича Бровкина глядели мужики — бывшие кумовья, сватья, шабры... То-то и дело, что — бывшие... Иван Артемич сидел на лавке, руки засунул под зад. Очи — строгие, без мигания, портки тонкого сукна, сапоги пестрые, казанской работы, с носками — крючком. А мужики стояли у двери на новой рогоже, чтоб не наследили лаптями в чистой горнице.

— Что ж,— говорил им Иван Артемич,— я вам, мужички, не враг. Что могу — то могу, а чего не могу — не прогневайтесь...

— Куренка некуда выпустить, Иван Артемич.

— Скотине-то ведь не скажешь, она и балует, ходит на твой покосик-то.

— А уж пастуха всем миром посечем на твое здоровье.

— Так, так,— повторил Иван Артемич.

— Отпусти скотинку-то.

— Уж так стеснились, так стеснились...

— Мне от вас, мужички, прибыль малая,— ответил Иван Артемич и, высвободив руки из-под зада, сложил их — пальцы в пальцы — наверху живота.— Порядок мне дорог, мужички... Денег я вам роздал,— ой-ой сколько...

— Роздал, Иван Артемич, помним, помним...

— По доброте... Как я уроженец этой местности, родитель мой здесь помер. Так что — бог мне благодетель, а я вам. Из какого роста деньги вам даю,— смех... Гривна с рубля в год,— ай-ай-ай... Не для наживы, для порядку...

— Спасибо тебе, Иван Артемич...

— Скоро от вас совсем уеду... Большие дела начинаю, большие дела... В Москве буду жить... Ну, ладно... (Вздохнув, закрыл глаза.) Кабы с вас одних мне было жить, плохо бы я жил, плохо... По старой памяти, для души благодетельствую... А вы что? Как вы меня благодарите? Потравы. Кляузы. Ах, ах... Ну уж, бог с вами... По алтыну с коровенки, по деньге с овцы,— берите скотину...

— Спасибо, дай бог тебе здоровья, Иван Артемич...

Мужики кланялись, уходили. Ему хотелось еще поговорить. Добер был сегодня. Через сына Алешу удалось ему добраться до поручика Александра Меньшикова и поклониться двумястами рублями. Меньшиков свел его с Лефортом. Так высоко Бровкин еще не хаживал,— оробел, когда увидел небольшого человека в волосах до пояса, всего в шелку, в бархате, в кольцах, переливающихся огнями... Строг, нос вздернут, глаза — иглами... Но когда Лефорт узнал, что перед ним отец Алешки да с письмом от Меньшикова,— заиграл улыбкой, потрепал по плечу... Так Иван Артемич получил грамоту на поставку в войско овса и сена...

— Саня,— позвал он, когда мужики ушли,— убери-ка рогожу... Кумовья наследили...

У глаз Иван Артемича лучились смешливые морщинки. Богатому можно ведь и посмеяться,— с титешных лет до седой бороды не приходилось. Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами. Темно-русая коса,— в руку толщины,— до подколенок, живот немного вперед,— уж очень грудь у нее налилась, стыдно было. Глаза синие, глупые...

— Фу, лаптями нанесли! — отвернула красивое лицо от рогожи, взяла ее пальчиками за угол, выбросила в сени. Иван Артемич лукаво глядел на дочь. Эдакую за короля отдать не стыдно.

— Двор каменный хочу ставить на Москве... В первую купецкую сотню выходим... Саня, ты слушай... Вот и хорошо, что с тобой не поторопились... Быть нам с большой родней... Ты что воротишься?.. Дура!..

— Да — ай! — Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами.— Не трожьте меня...

— То есть,— как не трожьте? Моя воля... Огневаюсь — за пастуха отдам.

— Лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости...

Иван Артемич бросил в Саньку деревянной солонкой. Побить,— вставать не хотелось... Санька завыла без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медецинские кобели.

— Саня, посмотри...

— Боюсь. Сами идите.

— Ну, я этих стукунов...— Иван Артемич взял в сенях метлу, спустился на двор.— Вот я вас, бесстыдники... Кто там? Собак спущу...

— Отворяй! — бешено кричали за воротами, трещали доски.

Бровкин оробел. Сунулся к калитке,— руки тряслись. Едва отвалил засов,— ворота раскинулись, и въехали верхоконные, богато одетые, с саблями наголо. За ними четвериком золоченая карета,— на запятках арапы — карлы. За каретой в одноколке — царь Петр

и Лефорт, в треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи... Топот, хохот, крики...

У Бровкина подсеклись ноги. Покуда он стоял на коленях, всадники спешились, из кареты вылез князь-папа, опухший, сонный, одетый по-немецки, и за ним — молодой боярин в серебряном кафтане. Петр, взойдя с Лефортом на крыльцо, закричал басом:

— Где хозяин? Подавай сюда живого или мертвого!

Иван Артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили,— Меньшиков и сын Алеша,— подняли под руки, потащили к крыльцу. И держали, чтобы на колени не вставал. Вместо битья, или еще чего хуже,— Петр снял шляпу и низко поклонился ему:

— Здравствуй, сват-батюшка... Мы прослышали — у тебя красный товар... Купца привезли... За ценой не постоим...

Иван Артемич разевал рот без звука... Косяком пронеслись безумные мысли: «Неужто воровство какое открылось? Молчать, молчать надо...» Царь и Лефорт захохотали, и остальные — кашляли от смеха. Алешка успел шепнуть отцу: «Саньку сватать приехали». Хотя Иван Артемич уже по смеху угадал, что приехали не на беду, но продолжал прикидываться дурнем... Мужик был великого ума... И так, будто без памяти от страху, вошел с гостями в горницу. Его посадили под образа: по правую руку — царь, по левую — княз-папа. Щелкой глаз Бровкин высматривал, кто жених? И вдруг действительно обмер: между дружками,— Алешкой и Меньшиковым,— сидел в серебряном кафтане его бывший господин, Василий Волков. Давно уже Иван Артемич заплатил ему по кабальным записям и сейчас мог купить его всего с вотчиной и холопями... Но не умом,— заробел поротой задницей.

— Жених, что ли, не нравится? — вдруг спросил Петр.

Опять — хохот... У Волкова покривились губы под закрученными усиками. Меньшиков подмигнул Петру:

— Может, он какие старые обиды вспомнил? (Мигнул Бровкину.) Может, жених когда тебя за волосы таскал? Али кнутовище ломал об тебя? Прости его, Христа ради... Помиритесь...

Что на это ответить? Руки, ноги дрожали... Он глядел на Волкова,— тот был бледен, покорно смирен... И вдруг вспомнил, как на дворе в Преображенском Алеша вступился за него и как Волков бежал по снегу за Меньшиковым и умолял, цеплялся, чуть не плакал...

«Эге,— подумал Иван Артемич,— главный-то дурень, видно, не я тут...» Взглянул на Волкова и до того обрадовался,— едва не испортил все дело... Но уже знал, чего от него ждут: опасной потехи — по жердочке над пропастью пройти... Ну, ладно!

Все глядели на него, Иван Артемич тайно под столом перекрестил пупок, поклонился Петру и князь-папе:

— Спасибо за честь, сватушки... Простите нас, Христа ради, дураков деревенских, если мы вас чем невзначай обидели... Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, неученые. Говорим по-простому. Девка у нас засиделась — вот горе... За последнего пьяницу рады бы отдать... (В ужасе покосился на Петра, но — ничего — царь фыркнул по-кошачьи смехом.) Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят? Девка красивая, только что на один глазок слеповата, да другой-то целый. Да на личике черти горох молотили, так ведь личико можно платком закрыть... (Волков темным взором впился в Ивана Артемича.) Да ножку волочит, головой трясет и бок кривоватый... А больше нет ничего... Берите, дорогие сваты, любимое детище... (Бровкин до того разошелся — засопел, вытер глаза.) Чадо, Александра,— позвал он жалобным голосом,— выдь к нам... Алеша, сходи за сестрой... Не в нужном ли она чулане сидит,— животом скорбная, это забыл, простите... Приведи невесту...

Волков рванулся было из-за стола. Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся,— только у Петра дрожал подбородок.

— Спасибо, дорогие сватушки,— говорил Бровкин,— жених нам очень пондравился. Будем ему отцом родным: по добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытяну али за волосы ухвачу,— уж не прогневайся, зятек,— в мужицкую семью берем...

Все за столом грохнули, хватались за бока от смеха.

Волков стиснул зубы, стыд зажег ему щеки,— налились слезы. Алеша втащил из сеней упирающуюся Саньку. Она закрывалась рукавом. Петр, вскочив, отвел ей руки. И смех затих,— до того Санька показалась красивой: брови стрелами, глаза темные, ресницы мохнатые, носик приподнятый, ребячьи губы тряслись, ровные зубы постукивали, румянец — как на яблоке... Петр поцеловал ее в губы, в горячие щеки. Бровкин прикрикнул:

— Санька, сам царь, терпи...

Она закинула голову, глядя Петру в лицо. Было слышно, как у нее стукало сердце. Петр обнял ее за плечи, подвел к столу и — пальцем на Василия Волкова.

— А что,— худого тебе жениха привезли?

Санька одурела: надо было стыдиться, она же, как безумная, уставила дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и — шепотом: «Ой, мама родная...» Петр опять схватил ее — целовать...

— Эй, сват, не годится,— сказал князь-папа.— Отпусти девку...

Санька уткнулась в подол. Алеша, смеясь, увел ее. Волков щипал усы,— видимо, на сердце отлегло. Князь-папа гнусил:

— Сущие в отце нашем Бахусе возлюбим друг друга, братие... Вина, закуски просим...

Иван Артемич спохватился, захлопотал. На дворе работники ловили кур. Алеша, виновато улыбаясь, накрывал на стол. Донесся Санькин надломанный голос: «Матрена, ключи возьми,— в горнице под сорока мучениками...» Петр крикнул Волкову: «За девку благодари, Васька». И Волков, поклонясь, поцеловал ему руку... Иван Артемич сам внес сковороду с яичницей. Петр сказал ему без смеха:

— За веселье спасибо,— потешил... Но, Ванька, знай место, не зарывайся...

— Батюшка, да разве бы я осмелел — не твоя бы воля... А так-то у меня давно и души нет со страху...

— Ну, ну, знаем вас, дьяволов... А со свадьбой поторопись,— жениху скоро на войну идти. К дочери найми девку из слободы — учить политесу и танцам... Вернемся из похода,— Саньку возьму ко двору...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком Виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтоб они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом.

Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрелю месяцу, собрав сто двадцать тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки: Кизикерман, Арслан-Ордек, Шахкерман и в устье Днепра на острову — Соколиный замок, от него на берега протянуты были железные цепи, чтобы заграждать путь в море.

Огромное московское войско, подойдя к городкам, промышляло над ними все лето. Мало было денег, мало оружия, не хватало пушек, длительна переписка с Москвой из-за всякой мелочи. Но все же в августе удалось взять приступом Кизикерман и два другие городка. По сему случаю в стане Шереметьева был великий пир. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в траншеях, наводя страх на турок и татар. Когда о победе написали в Москву, там с облегчением заговорили: «Наконец-то — хоть кус отхватили у Крыма, и то — честь!..»

. . . .

Тою же весной, тайно, без объявления, двадцать тысяч лучшего войска — полки Преображенский, Семеновский и Лефортов, стрельцы, городовые солдаты и роты из дьяков — были посажены у Всехсвятского моста на Москве-реке на струги, каторги и лодки, и караван, растянувшись на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл в Оку и оттуда Волгой до Царицына.

Генерал Гордон с двенадцатитысячным отрядом двинулся степью на Черкасск.

Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные кубанские и терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете, или консилии,— Лефортом, Гордоном, Автономом Головиным и Петром. Чтобы не было огласки да туркам не было бы много чести,— Петра при войске приказано именовать бомбардиром Петром Алексеевым... (Да и позора меньше — буде неудача.) На консилии много думали,— на кого оставить Москву? Народ был неспокоен. Под самой столицей рыскали разбойничьи шайки,— дороги зарастали травой — до того опасно стало ездить. Страшный враг, Софья, сидела в Новодевичьем, правда — тихо, молча... Но надолго ли?

На одного человека можно было положиться без раздумья, один был верен без лукавства, один только мог пугать народ — Федор Юрьевич Ромодановский, князь-кесарь потешных походов и всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее,— велено было без шуток именовать его князь-кесарем и величеством. Бояре вспомнили, что такой же случай был сто лет назад, когда Иван Грозный, отъехав в Александровскую слободу, посадил в Москве полушута-полупугало, татарского князя Симеона Бекбулатовича, «царем всеа России». Вспомнили и покорились. А народу было все равно, что князь-кесарь и что черт, дьявол, знали только, что Ромодановский беспощаден и крови не боится.

Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на Лефортовой многовесельной каторге. По пути хлебнули горя. Лодки, струги и паузки, построенные купечеством и государевыми гостями, текли и тонули. В туманные весенние ночи блуждали в разливах, на мели. В Нижнем-Новгороде пришлось пересесть на волжские барки. Петр писал Ромодановскому:

«Мин хер кениг... За которую вашу государскую милость должны мы до последней капли кровь свою пролить, для чего и посланы... О здешнем возвещаю, что холопи ваши, генералы Автоном Михайлович и Франц Яковлевич, со всеми войсками, дал бог здорово... И намерены завтрашнего дни идтить в путь...

А мешкалы для того, что иные суды в три дни насилу пришли... Суды, которые делали гости, гораздо худы, иные и насилу пришли... А из служилых людей по се число умерло небольшое число... За сим отдаюсь в покров щедрот ваших... Всегдашний раб пресветлейшего вашего величества Бом Бор Дир Петер».

Не останавливаясь, проплыли мимо Казани, где разлив омывал белые стены. Миновали высокобережный Симбирск и городок Самару, в защиту от кочевников обнесенный деревянным частоколом на земляных раскатах. За Саратовом травянистые берега утонули в солнечном мареве, голубая река текла лениво, степной зной дышал, как из печи.

Петр, Лефорт, Алексашка и князь-папа, взятый в поход для шумства и пьянства,— целыми днями курили трубки на высокой корме каторги. Казалось,— когда поглядывали на многоверстный караван судов, поблескивающих ударами весел,— что продолжается все та же веселая военная потеха. Что за крепость Азов? И как ее воевать? Про то хорошо не знали: на месте будет виднее. Князь-папа, пьяненький и ласковый, говаривал, сдирая ногтями шелуху с сизого носа:

— Дожили мы, сынок... Давно ли я тебя цифири-то учил... На войну поплыли... Ах ты, мой красавец...

Лефорт дивился роскоши и величию реки — без конца и без краю.

— Что король французский, что император австрийский,— говорил он,— о, если бы побольше у тебя денег, Петер... Нанять побольше инженеров в Европе, побольше офицеров, побольше умных людей... Какой великий край, дикий и пустынный край!..

В Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей оказалось всего пятьсот голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска три дня шли степью на городок Паншино, к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей надорвалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине. Но оттуда, навстречу, прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии:

«Господин бомбардир... Печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Гости Воронин, Ушаков и Горезин взялись поставить 15 000 ведер сбитню, 45 000 ведер уксусу да столько же водки, 20 000 осетров соленых да столько же лещей, судаков и щук, 10 000 пуд ветчины, масла и сала — 5 000 пуд, соли — 8 000 пуд... Дано подрядчикам тридцать три тысячи рублей. Из тех денег половину они украли. Соли вовсе нет ни фунта. Рыба вонючая,— в амбар нельзя взойти... Хлеб лежалый весь. Одно — овес добрый и сено доброе ж, а ставил купчина Иван Бровкин... От сего воровства тебе, милостивому нашему, печаль, а ратным людям оскудение... Теперь только бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать...»

Петр и Лефорт, оставив войско, поскакали в Паншино. Небольшая станица на острову посреди Дона была окружена, как горелым лесом, оглоблями обозов. Повсюду лежали большерогие волы, паслись стреноженные лошади. Но — ни живой души: в послеобеденный час спали часовые, караульщики, извозные, солдаты. Одиноко простучали по-над Доном копыта всадников. На бешеный окрик Петра чья-то взлохмаченная голова вылезла из-за плетня, из конопли. Почесываясь, мужик повел к хате, где стоял боярин... Петр рванул дверь, загудели потревоженные мухи. На двух сдвинутых лавках, покрывшись с головой, спал Стрешнев. Петр сорвал одеяло. Схватил за редкие волосы перепуганного боярина,— не мог говорить от ярости,— плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок...

Часто дыша, присел к столу, велел открыть ставни. Глаза выпучены. Под загаром гневные пятна на похудевшем лице.

— Докладывай... Встань! — крикнул он Стрешневу.— Сядь. Подрядчиков повесил? Нет? Почему?

— Государь... (Петр топнул ногой.) Господин бонбандир... (Тихон Стрешнев и кряхтеть боялся и кланяться боялся.) Подрядчики пускай доставят сначала, что должны по записи, а то что же с мертвых-то нам спрашивать...

— Не так... Дурак!.. А почему Иван Бровкин не ворует? Мои люди не воруют, а ваши все воруют?.. Подряды все передать Бровкину... Ушакова, Воронина — в железо, в Москву, к Ромодановскому...

— Так, гут,— сказал Лефорт.

— Что еще? Суда не готовы?

— Господин бонбандир, суда все готовы... Давеча последние пригнали из Воронежа.

— Идем на реку...

Стрешнев в одних домашних сафьяновых чоботах, в распоясанной рубахе пошел дряблой рысью за царем, шагающим как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда: лодки, паузки, узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры, с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме... Все — только что с верфи. Течением их покачивало. Многие полузатонули. Лениво висели флаги. Под жарким солнцем трескалось некрашеное дерево, блестели осмоленные борта.

Лефорт, отставив ногу в желтом ботфорте, глядел в трубу на караван.

— Зер гут... Посуды достаточно...

— Гут,— отрывисто повторил Петр. Чумазые руки его дрожали. И, как всегда, Лефорт высказал его мысль:

— Отсюда начинается война.

— Тихон Никитьевич, не сердись,— Петр клюнул всхлипнувшего Стрешнева в бороду.— Войска прямо грузить на суда. Не мешкая... Азов возьмем с налету...

. . . .

На шестые сутки на рассвете в хате Стрешнева в табачном дыму написали письмо князю-кесарю:

«Мин хер кениг... Отец твой великий господин святейший кир Аникита, архиепископ прешпургский и всеа Яузы и всего Кукуя патриарх, такожде и холопи твои генералы Автоном Михайлович и Франц Яковлевич с товарищи — в добром здоровии, и нынче из Паншина едем в путь в добром же здоровии... В марсовом ярме непрестанно труждаемся. И про твое здоровье пьем водку, а паче — пиво...» При сем стояли с малой раз-

борчивостью подписи: «Франчишка Лефорт... Олехсашка Меньшиков... Фетка Троекуров... Петрушка Алексеев... Автамошка Головин... Вареной Мадамкин...»

Неделю плыли мимо казачьих городков, стоявших на островах посреди Дона, миновали — Голубой, Зимовейский, Цимлянский, Раздоры, Маныч... На высоком правом берегу увидели раскаты, плетни и дубовые стены Черкасска. Здесь бросили якоря и три дня поджидали отставшие паузки.

Стянув караван, двинулись к Азову. Ночь была мягкая, непроглядная, пахло дождем и травами. Трещали кузнечики. Странно вскрикивали ночные птицы. На головной галере Лефорта никто не спал, трубок не курили, не шутили. Медленно всплескивали весла.

В первый раз Петр всею кожею ощутил жуть опасности. Близко по берегу двигалась темнота, какие-то очертания. Вглядываясь, слышал шорох листвы. Оттуда из тьмы вот-вот зазвенит тетива татарского лука! Поджимались пальцы на ногах. Далеко на юге полыхнул в тучах грозовый свет. Грома не донесло. Лефорт сказал:

— Утром услышим пушки генерала Гордона.

Под утро небо очистилось. Казак-кормчий направил галеру,— за нею весь караван,— рекой Койсогой. Дон остался вправо. Поднялось жаркое солнце, река будто стала полноводнее, берега отодвинулись, растаяла мгла над заливными лугами. Впереди за песками опять появилась сияющая полоса Дона. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади. Вились флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном,— Митишева пристань,— в пятнадцати верстах от Азова.

Петр сам выстрелил из носовой пушки,— ядро мячиком поскакало по воде. Поднялась стрельба из ружей и пушек по всему каравану. Петр кричал срывающимся баском: «Греби, греби...» Весла гнулись дугой, солдаты гребли, уронив головы.

В Митишевой пристани войска выгрузились. Усталые солдаты засыпали прямо на песке, унтер-офицеры поднимали их палками. Скоро забелели палатки, дымки костров потянуло на реку. Петр, Лефорт и Головин

с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона — на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала издали виднелся на кургане.

По пути валялись лошади, пронзенные стрелами, сломанные телеги. Уткнулся в полынь маленький, голый по пояс, татарин с запекшимся затылком. Конь под Петром захрапел, косясь. Казаки рассказывали:

— Как выйдут наши обозы из Митишей,— татарва и напускает тучей. Эти места самые тяжелые... Вона,— указывали нагайками,— за холмами-то маячут... Они... Гляди, сейчас напустят...

Всадники погнали лошадей к кургану. У шатра стоял Гордон в стальных латах, в шлеме с перьями, подзорная труба уперта в бок. Морщинистое лицо — строгое и важное. Заиграли рожки, ударили пушки. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова; пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских; перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншеи и пятиугольники редутов. В дали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них:

— На прошлой неделе турки подвезли морем из Кафы полторы тысячи янычар. Нынче эти корабли подошли с войсками ж... Мы вчера взяли языка,— врет ли, нет,— в крепости тысяч шесть войск да татарская конница в степи. Недохвачи у них ни в чем — море ихнее... Голодом крепость не возьмешь.

— Возьмем штурмом,— сказал Лефорт, взмахнув перчаткой.

Головин уверенно поддакнул:

— На ура возьмем... Эко диво...

Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря, на стены, на искры полумесяцев на минаретах, на корабли, на пышный свет заката. Казалось,— ожили любимые в детстве картинки, в яви вот она — неведомая земля!

— Ну, а ты как, Петр Иванович? Чего молчишь? Возьмем Азов?

— Нужно взять,— ответил Гордон, жестко собирая морщины у рта.

Из шатра принесли карту, положили на барабан. Генералы нагнулись. Петр отчертил ногтем места, где стоять войскам: Гордону посреди — шагах в пятистах от крепости, Лефорту — по левую руку, Головину — по правую.

— Здесь — ломовая батарея, тут — мортиры... Отсюда поведем апроши... Ведь так, Петр Иванович?

— Можно и так, отчего же,— отвечал Гордон.— Но позади нас останется татарская конница.

— Нужно разбить... Бросим на них казаков...

— Да, можно и разбить... Я говорю — трудно будет доставлять продовольствие с Митишевой пристани, с каждым обозом посылать большое войско,— это трудно...

— Слышь-ка, генералы, а отчего бы нам не доставлять припасы на лодках?

Генералы свесили парики над картой. Гордон сказал:

— На лодках еще труднее,— Дон заперт цепями. В устье — две каланчи с очень великой артиллерией...

— Каланчи взять! Господа генералы?

— Эка — две каланчи! — засмеялся Головин и прищурил красивые глуповатые глаза на видневшуюся на западе за холмами верхушку круглой зубчатой башни. Гордон ответил, подумав:

— Отчего же, можно взять каланчи...

— Ну, с богом, Петр Иванович.— Петр притянул Гордона за щеки, поцеловал.— Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, пойдем всем войском. День-два покидаем бомбы, и — на приступ...

С турецких судов донесся слабый звук рожка: играли зорю. Вечерняя тень покрывала залив. Еще краснели верхушки минаретов, но и они погасли. В воздухе только слышался сухой треск кузнечиков. Петр вошел в шатер, где две свечи горели на пышно накрытом столе. Сели на барабаны. Задымилось блюдо с бараниной. Петр жадно опустил в него обе руки. Лефорт, снявший латы, чтобы способнее было веселиться, наливал венгерское в оловянные кубки. Когда баг-

ровый Головин гаркнул: «За первого бонбардира!» — от шатра вниз в темноту по редкой цепи солдат побежало: «Заздравная! Заздравная!..» От пушечных выстрелов заколебались свечи. «Хорошо!» — крикнул Петр. Лефорт смеялся, наполняя кубки:

— Это хорошая жизнь, Петер...

— Маркитантки-девки есть у тебя при лагере, господин генерал? — спросил Головин, тоже отстегивая латы. Лефорт и Петр захохотали:

— По этой части Вареной Мадамкин ходок...

— Послать верхового за Вареным...

. . . .

Наутро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся к Азову. Передовые казачьи сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью,— и тотчас начали осаживать. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей четырьмя колоннами, закричали: «Татары!.. Берегись! Выноси пушки!» С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская конница. Их было тысяч до десяти. Они двигались все быстрее, все гуще поднималась пыль. Летели стрелы. Казачьи сотни смешались. Отдельные всадники, пригибаясь к коням, кинулись назад. Напрасно полковники приказывали махать бунчуками,— вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Но татары уже обходили справа, косматые их лошаденки стлались, кривые сабли крутились над головами. Визг. Пыль. Часть казаков повернула — рубиться. Смешались, сбились. Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Стрельцы на веревках втаскивали пушки. Полумесяц татар смыкался. Нестройно раздались залпы. Слоями дыма затянуло возвышенность. Пролетела взбешенная лошадь. По земле катился татарин. Свистело ядро. Разрывались залпы. Люди, обезумев, стреляли, кричали. Метались офицеры. Весь шум покрыли грохотом ломовые пушки. Никто ничего не мог разобрать,— кто кого бьет? И что-то случилось, стало вдруг легче. Дым отнесло, ни татар, ни турок не было видно. Только бились упавшие лошади, и множество человеческих тел, неподвижных и дергающихся, разбросано по бу-

рой земле. Впереди на холме стоял верхом на вороной лошади генерал Гордон. Железная спина его поблескивала. Подзорная труба уперта в бок. Маленькая седая голова шариком торчала из лат,— шлем сбили с него. Медленно взмахнул шпагой и шагом стал спускаться с холма к Азову. По войскам закричали:

— Вперед, вперед, смелее!..

Отряд Гордона окапывался шанцами, обставлялся рогатками вблизи крепости. Турки со стен стреляли из пушек по лагерю, наводя великий страх. Когда бомба, упав, шипела и крутилась, полковники, офицеры, стольники, дворцовые разные люди ложились ничком, закрывались обшлагами... Эти бомбы,— не потешные горшки с горохом,— рвались с таким грохотом, столбом взлетала земля, что побледневшие воины только крестились, ни на что не способные... Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов, покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячикам:

— За поклоны буду наказывать... Нехорошо бывать трусом... Шанде, шанде, стыдно!.. А еще русский зольдат...

Как он и предсказывал, плохо получилось с продовольствием, в особенности — питьевой водой: татары жестокими напусками разбивали обозы, тянущиеся из Митишевой пристани. Одолеть легконных татар не было возможности,— не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Наконец лагерь был окончен, в глубоких окопах люди прятались от снарядов. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям — с музыкой, барабанами, развернутыми знаменами.

Петр важно шагал перед бомбардирской ротой. В ней рядовыми шли Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков, недавно взятый на службу искусный пушкарь — голландец Яков Янсен. Впереди Петра выковыривал ногами, бил в медные тарелки огромный человек с медвежьим носом и толстыми губами — новый собутыльник царя — литаврщик, по прозванию Вареной Мадамкин, ерник и пьяница, каких еще не бывало.

Петр с частью бомбардиров прошел в Гордонов лагерь. (Войска Лефорта на левом крыле, Головина — на правом — спешно окапывались.) Редуты, обнесенные фашинами и мешками с землей, были вынесены шагов на пятьсот к каменным стенам крепости. Там между зубцами виднелись фески и острые глаза турецких стрелков. Опершись об Алексашкино плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его:

— Ахтунг! Берегись!

Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком, подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись. Он обнажил зубы запекшейся улыбкой.

— Черт! Собаки! — проговорил с трудом.— Дай фитиль...

Бомбардиры откатили медную короткую мортиру, глядящую дулом в небо. Петр умело (бегая зрачками на людей) вложил картуз пороху, покидал на руках двадцатифунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру. Присев, навел прицел:

— С богом, первая... Отойди!

Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутою дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мортиру...

. . . .

Под высокими стенами Азова стыдно было и вспоминать недавнее молодечество — взять крепость с налету. Обложившая армия, возведя батареи и редуты, две недели кидала бомбы. В городе занимались пожары. Рухнула одна из караульных башен. (По сему случаю в землянке у Петра было большое шумство.) Но к туркам снова подошли с моря двадцать галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали часовых. А стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Хуже всего было с доставкой продовольствия. На консилии генералы решили крикнуть охотников, обещали по десяти рублев

за взятие каланчей. Вызвалось до двухсот донских казаков, в подкрепление им дали солдатский полк, и ночью казаки, подобравшись к каланче, что на левом берегу, попробовали взорвать ворота,— не удалось, тогда ломами разворочали стену, ворвались. Турок было около тридцати человек. Четверых зарубили, остальным скрутили руки. Захватили пятнадцать пушек. И так палили из них через Дон по другой каланче, что турки ушли и оттуда. Дело было великое: Дон свободен. В лагерях служили молебны, на пирование прибыл князь-папа из Митишей.

Но неожиданно стряслась большая беда. Дни стояли знойные. К полудню люди бродили, как вареные, ища тени. Не хотелось драться, никакой не было злобы. В котелках разносили щи с вяленой рыбой, выдавалось по чарке водки. Косматое солнце заливало нестерпимым жаром, звенели кузнечики, липли мухи, воняло дерьмо, от зноя зыбкими казались азовские стены и башни. По стародавнему обычаю, после обеда все в лагере ложились отдыхать — засыпали, храпела русская армия от генерала до кашевара. Клевали носом часовые.

В такой сонный час пропал бомбардир голландец Яков Янсен. Первым хватился его Петр, когда во втором часу вылез из землянки, зевая и щурясь от белого света. Давеча собирались сшибить тремя бомбами минарет. Янсен поспорил, что сшибет... Петр гаркнул:

— Дьявол, что ли, его унес!

Обыскали весь лагерь. Один солдат сказал, будто видел, как один человек в красном кафтане, с мешком, с вещами, бежал к крепости. Петр сгоряча дал солдату в зубы. Но действительно в землянке вещей Янсена не оказалось. Перекинулся к туркам? Велено было наутро по всем полкам сказать анафему проклятому голландцу. Гордон, весьма обеспокоенный предательством, потребовал созвать консилий и заявил, что в лагерях Головина и Лефорта оборонительные работы ведутся спустя рукава, беспечно, между лагерями ходов сообщения нет, и, буде турки сделают вылазку,— кончится это бедой.

— Война не шутка, господа генералы... Мы отвечаем за жизнь людей. А у нас все будто играют да шутят...

У Лефорта побледнели губы от гнева. Головин, обидясь, как бык, глядел на Гордона. Но тот настаивал на немедленном приведении в порядок оборонительной линии:

— На войне нужно прежде всего бояться врага, господа генералы...

— Нам их бояться?

— Как муху их раздавим...

— О нет, господа генералы, Азов — не муха...

Генералы начали ругать Гордона трусом и собакой. Не будь Петра,— сорвали бы с него парик. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало после обеда, турки растворили крепостные ворота и без шума кинулись как раз к неоконченным траншеям в стыке между лагерями.

Половина стрельцов были зарезаны сонными. Другие, бросая алебарды и ружья, бежали к шестнадцатипушечной батарее, тоже кое-как укрепленной. Из пушек не успели и выстрелить: турки перегоняли бегущих стрельцов, лезли с кривыми ятаганами на редут, с визгом, нагнув головы, кидались в сбившуюся кучу пушкарей, где сын Гордона, полковник Яков, размахивал банником...

В лагерях поднялась суматоха, стрельба. Петр стоял на крыше землянки, сжав кулаки,— всхлипывал от возбуждения... Кричать, командовать — бесполезно. Спросонок люди метались, как очумелые. Он увидел: через лагерный вал перелез Гордон с поднятыми пистолетами, старческой рысью побежал к редуту — спасать сына. За ним хлынула беспорядочная толпа зеленых, красных, синих кафтанов. На валу Лефортова лагеря отчаянно размахивали знаменем, оттуда тоже густо побежали на выручку. Все поле покрылось солдатами. Захваченный редут окутался дымом,— турки стреляли, прикрывая отступление: они увозили пушки, бегом по склону к крепости. Скатывались с валов редута, отмахиваясь, отстреливаясь,— мелькали красными шароварами. Разбросанные по полю русские те-

перь стягивались в неровную линию, и она быстро задвигалась за турками к крепости. С землянки, откуда смотрел Петр, все это походило на игру... Наша берет!.. Турки, за ними русские — скатились в крепостной ров.

— Лошадь! — закричал Петр.— Штурм! Трубачи!

Он топал каблуками. Но никто его не слушал. Мимо проскакал с остекленевшими глазами Алексашка Меньшиков. Хлестнул шпагой лошадь — перемахнул через ров... «Ур-рра»,— ревел его разинутый рот... Трещали барабаны. И вдруг что-то случилось. Турки добежали до стен. Ворота раскрылись. Вывалилась толпа янычар, и кто-то — на белом коне, весь в красном, в большой чалме — раскинул вздетые руки... Сквозь выстрелы донесся такой страшный вой, что Петр содрогнулся... Русские уже бежали назад, за ними — конные и пешие турки... Падали, падали, Петр схватился за виски... Снова увидел Алексашку: он мчался к тому — в красном, в чалме,— сшиблись... Клубы порохового дыма... Разрывы бомб... Взбесившиеся лошади. Люди вырастают, подбегая,— ужасом исковерканы лица... Через брустверы скатываются в окоп. Разбиты... разбиты...

. . . .

Потеряли на этом деле до пятисот человек, полковника, десять офицеров и всю батарею. Несколько дней Петр не глядел в сторону крепости, где турки скалили зубы. Алексашка перед кем только мог хвастался окровавленной шпагой,— Алексашка-то был герой... В лагерях приуныли... Вот тебе и поспали! Лефорт и Головин не показывались на глаза,— теперь в их лагерях только и видно было, как летела земля с лопат...

Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело: Азов должен быть взят! Славно ли, бесславно,— хоть всю Россию на карачки поставить,— Азов будет взят! По вечерам, сидя под звездами у землянки, покуривая, он расспрашивал Гордона о войне, о счастье, о славных полководцах. Гордон говорил:

— Тот полководец счастлив, кто воюет кашей да

лопатой, кто упрям и осторожен... Если зольдат доверяет полководцу и зольдат сыт,— он храбро воюет...

Из пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на земляных работах в апрошах, коими войска шаг за шагом приближались к крепости. Скинув кафтан и парик, копал землю, плел фашины, здесь же ел с солдатами.

Азов со стороны реки был расположен на полугоре. Гордон посоветовал возвести напротив крепости на острову шанец с батареями. Вызвался на это опасное дело Яков Долгорукий, человек злой и упрямый. Ему хоть голову потерять,— найти было честь на войне. Ночью с двумя полками он занял остров и окопался. Наутро турки поняли опасность и начали переправляться сильным отрядом с татарской конницей через Дон на правый берег, чтобы оттуда сбить русских с острова. Гордон послал к обоим генералам просьбу идти на выручку Долгорукому и сам, не дожидаясь, пошел с пушками и конницей и стал за рогатками ниже острова.

Турки испугались, остановились. И так стояли.— Гордон на левом берегу, Долгорукий, в страхе, на острове, турки, тоже в смущении, на правом... Лефорт и Головин медлили, а потом и совсем решили не выходить из лагерей: обоим Гордон становился поперек горла... «Пускай-де один справляется...»

Петр с высоты редута следил за движением войск и так же, как и все, не понимал, что происходит. Вмешаться — боялся... И вдруг — татарская конница кинулась в воду и поплыла, янычары держались за хвосты лошадей. Татары ушли в степь, турки — назад в крепость. Гордон вернулся с музыкой и развернутыми знаменами. Сражение выиграли без выстрела.

С острова понеслись бомбы на Азов, видный, как на ладони, разрушали дома, зажигали пожары. Было видно, как жители, спасаясь, бежали под стены. В русском лагере началось веселье. Опять заговорили о штурме. Но и на этот раз Гордон удержал от неразумной попытки: уговорил попробовать — быть может, комендант крепости, Муртаза-паша, сдастся на добрых условиях. После жаркой бомбардировки, когда

весь Азов задымился,— послали двух казаков с грамотой к паше. Глядели, что будет: казаки подошли к стенам, махали шапками и грамотой, их впустили в ворота, но через малое время вытолкнули бесчестно... Царских-то послов! Грамоту они принесли обратно. На ней рукой Якова Янсена были написаны русские нехорошие слова.

В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам апрошами и пробить брешь, тогда только идти на штурм. Его не хотели слушать. Генералы сидели за стаканами вина. Петр, обхватив голову, скреб затылок, глядел на свечи: ему уже мерещились звуки победных рожков на стенах Азова. Гордон стучал шпагой:

— Преславный маршал Конде имел всегда обыкновение...

— Конде, Конде,— перебивая, гнусил Головин,— а иди ты с Конде!.. С тобой только время проволокли да честь государеву замарали.

Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на пятое августа.

. . . .

Вызвали охотников. Офицерам обещали по двадцати пяти рублев, солдатам — по десяти, кто возьмет пушку. Полковые попы за обедней склоняли людей пострадать. В солдатских и стрелецких полках охотников не нашлось. Угрюмо поворачивали спины: «Нашли дураков на этакую страсть...» Но донские казаки прислали к Петру есаулов сказать, что две с половиной тысячи казаков готовы лезть на стены, а нужно — и более наберется, лишь бы потом отдали им Азов хоть на сутки — пограбить.

Петр, а за ним и генералы обняли есаулов, обещали отдать крепость на три дня. В подсобу отрядили пять тысяч стрельцов и солдат. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над военной картой.

— Говорил с солдатами? Ну что, Петр Иванович,— с богом, значит?..

Гордон сел, держа шлем на коленях. Старик устал. Седая щетина на ввалившихся щеках. Трудно дышал, открыв большие желтые зубы, из коих не хватало двух спереди. С ласковой грустью глядел на самонадеянного мальчика. А может быть, так и нужно было, чтобы молодость шла напролом...

— Зимой будем строить большой флот в Воронеже,— сказал Петр, поднимая покрасневшие глаза.— Завтра нужно взять Азов, Петр Иванович. (Указал чубуком на небольшой залив на западе от устья Дона.) Гляди... Здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море, а весной мы приплываем сюда с большим флотом... Гляди,— в проливе под Керчью ставим крепость — и все море наше... Строим морские корабли, и — в Черное море. (Чубук летал по карте.) Здесь уж мы на просторе. Крым будем воевать с моря. Крым — наш. Остается — Босфор и Дарданеллы. Войной ли, миром — пробьемся в Средиземное море. Шелком, пшеницей завалим... Гляди — какие страны: Венеция, Рим... А вот — гляди,— Москва,— водяным путем повезем товары до Царицына, а здесь, где мы шли до Паншина через волок, пророем канал в Дон... Прямиком — Москва — Рим. А? Тогда будем купцы... Петр Иванович, возьмем Азов?

Гордон ответил, подумав:

— Я хорошо не знаю... Я видел зольдат... Многие очень глупые,— они думают, что можно идти на приступ без лестниц. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал: назвался груздем — полезай в кузов,— кто назвался, все пойдут,— трусов я буду расстреливать. Впрочем, все готово: лестницы, и фашины, и ручные бомбы. Будем молить бога о помощи...

Петр не был спокоен. В первом часу ночи разбудил Меньшикова, и они поскакали в казачий табор. Там было тихо. Казаки беспечно спали на возах. Встретил атаман — бритоголовый, крепколицый, с бегающими глазами. Посадил Петра у костра на седло, сам сел по-турецки. Казаки столпились вокруг. Принесли вяленой рыбы, водки. Начались разговоры —

смелые, насмешливые. Казаки ни дьявола, видно, не боялись. Протискавшись к костру, озарявшему черные бороды, дерзкие лица, говорили с усмешками:

— Самая сила, самый сок человечий — казачество-та... А что в Москве про нас знают? Что мы-де разбойники... Эка!.. Пришлют к нам воеводу, так он больше разбойничает... Вот и хорошо, государь, что ты к нам пришел. Ты на нас посмотри хорошенько. Разве мы на дурных похожи? Казаки — орлы! Хо-хо... Нас надо беречь...

Когда зазеленел восток, по табору полетели негромкие окрики. Сотни казаков начали перелезать через земляной вал и, как кошки, скрывались в темном поле в стороне прибрежных стен крепости. Другие садились в струги. Тащили веревки с крючками, легкие лестницы. Табор неслышно опустел.

В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет, ударила пушка. Это Бутырский и Тамбовский полки генерала Гордона пошли на приступ.

. . . .

На стену удалось забраться только бутырцам и тамбовцам. Идущие вслед стрельцы услыхали бешеную резню, лязг железа,— заробели и залегли в вишневых садах сожженной слободы. Казаки отчаянно приступали со стороны реки, но лестницы оказались короткими, турки валили со стен камни, лили горячую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит.

Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачивая, сбрасывали русских со стен, трупы скатывались в ров. Погибло свыше полутора тысяч. В окопах солдаты вздыхали:

— Вчера смеялись мы с Ванюшкой,— вон его птицы клюют...

— И куда нам лезть к туркам... Чаво мы тут не видели...

— Разве мы можем воевать... Всех побьют...

— Одни генералы в Москву вернутся...

К царю в головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упалый лицом Головин то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меньшиков геройски подбоченивался,— голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови: был на стенах... Его, дьявола, смерть не брала...

Петр сидел, гневно вытянувшись. Генералы стояли.

— Ну? — он спросил.— Что скажете, господа генералы? (Лефорт незаметно пожал Гордону локоть. Головин безнадежно махнул кистями рук.) Осрамились вконец? Что ж — осаду снимать?

Они молчали. Петр стучал ногтями, щека подергивалась. Меньшиков шагнул к столу, глаза наглые... Протянул руку:

— Петр Алексеевич, дозволь... Мне не по чину здесь говорить... Но как я сам был на стене... Агу проткнул шпагой, конечно... Скажу про их обычай... На турка надо считать наших солдат — пятеро на одного. Ведь страх — до чего бешеные... Уж Ага-то — у меня на шпаге, а визжит, проклятый, от злости, как боров, зубами за железо хватается. Да и вооружение у них способнее нашего: ятаганы — бритва, его шпагой али бердышем,— он три раза голову снесет... Покуда мы стен не проломаем,— турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия — ручные бомбы да казачьи шашки...

Алексашка шевельнул бровями, лихо вступил в тень. Гордон сказал:

— Молодой человек очень хорошо нам объяснил... Но ломать стены можно только минами,— значит, нужно вести подкопы... А это очень опасная и очень долгая работа...

— А у нас и хлеб кончается,— сказал Головин.— Все припасы на исходе.

— Не отложить ли до будущего года,— раздумчиво проговорил Лефорт.

Петр, откинувшись, глядел остекленевшими глазами на недавних приятелей-собутыльников.

— Мать вашу так, генералы,— гаркнул он, багровея.— Сам поведу осаду. Сам. Нынче в ночь начать

подкопы. Хлеб чтоб был... Вешать буду... С завтрашнего дня начинается война... Алексашка, приведи инженеров.

В шатер вошли постаревший и обрюзгший Франц Тиммерман и костлявый высокий молодой человек, с умным открытым лицом, иноземец Адам Вейде.

— Господа инженеры,— Петр расправил ладонями карту, придвинул свечу.— К сентябрю должно взорвать стены... Глядите, думайте... На подкоп даю месяц сроку...

Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра — глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением Бом Бар Дира...

. . . .

Осада продолжалась. Турки, ободренные неудачей приступа, не давали теперь покоя ни днем, ни ночью, разрушали работы, врывались в траншеи. Татарская конница носилась в тучах пыли под самыми лагерями. Громили обозы. Много казаков погибло в схватках с нею. Русская армия таяла. Не хватало то того, то другого. С Черного моря пошли грозовые тучи,— таких гроз еще не видали московские люди: пылающими столбами падали молнии, от грома дрожала земля, потоки дождя доверху заливали окопы и подрывные траншеи. Вслед за грозами нежданно подкралась осень с холодными и серенькими днями. Теплой одежи в армии не было запасено. Начались болезни. В стрелецких полках началось шептание... И, что ни день, на холодеющей пелене моря вырастали паруса: к туркам шло и шло подкрепление.

Лефорт не раз пытался склонить Петра снять осаду. Но воля Петра будто окаменела. Стал суров, резок. Похудел до того, что зеленый кафтан болтался на нем, как на жерди. Шутки бросил. Князь-папу, появившегося пьяным в лагере, избил черенком лопаты.

. . . .

Никто не думал, что можно было работать с таким напряжением, как требовал Петр. Но оказалось, что можно. В середине сентября инженер Адам Вейде донес, что подобрался уже под самый бастион, и

рабочие в подкопе слышат какой-то шум: не ведут ли турки контрмину? тогда все дело пропало. Петр лазил с огарком в подкоп и тоже слышал шум. Тут же было решено не медлить и взорвать хоть бы одну мину. Заложили восемьдесят три пуда пороху. Отдали приказ по войскам готовиться к приступу. Тремя пушечными выстрелами оповестили рабочих и солдат. Петр поджег шнур и побежал в глубь лагеря, за ним — Алексашка и Вареной Мадамкин. Турки бросились со стен за внутренние укрепления. Стало необыкновенно тихо. Только каркали вороны, летя за Дон. Внезапно под стеной крепости земля поднялась бугром, раздался тяжелый грохот, из распавшегося бугра взлетел, раскидываясь, косматый столб огня, дыма, земли, камней, бревен, и через минуту все это начало валиться на русские окопы. Дунул горячий вихрь. С шипеньем неслись горящие бревна до середины лагеря. В трех шагах от Петра упал Вареной Мадамкин с проломанным черепом. До полутораста солдат и стрельцов, два полковника и подполковник были убиты и поранены. На войска напал неописуемый ужас. Когда развеялась пыль, увидели нетронутые стены и на них бешено хохочущих турок.

. . . .

К Петру боялись подходить. Он сам написал (вкривь и вкось, пропуская буквы, брызгая чернилами) приказ, чтоб не позднее конца сего месяца быть общему приступу с воды и суши. Заканчивали оставшиеся неповрежденными два минных подкопа. Войскам велено исповедаться и причаститься. И все готовились к смерти.

Постоянно теперь видели Петра, объезжающего лагеря на косматой лошаденке. По худым его ногам хлестала трава. На уши нахлобучен рыжий от дождей войлочный треух. Неизменно позади верхами — Меньшиков с пистолетами, заткнутыми за шарф, и — Алексей Бровкин с трубой и мушкетом. Люди прятались в окопы: не то что противное слово не скажи, а заметят невеселую морду, прицепятся эти трое дьяволов, подзовут унтер-офицера и — допрос. Чуть что — плети. Нескольких стрельцов, говоривших между собой, что-

де «пригнали сюда — русским мясом турецких воронов кормить», Петр бил по лицу и велел повесить в обозе на вздернутых оглоблях.

В ночь на двадцать пятое августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. Полковые попы сидели у костров,— так было приказано,— повсюду шевелились усы унтер-офицеров. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздались два взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарило минареты, крепости, холмы, реку... человеческие лица, ужасом раскрытые глаза... Русские пошли на приступ...

Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами.

Преображенцы и семеновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валились с лестниц. Зверели, лезли, задыхались матерной руганью. Влезли. Сам Муртаза-паша с визжавшими не по-человечьи янычарами кинулись рубиться...

Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватало ярости умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Потешные дрались уже более часу, тесня Муртазу-пашу, врывались в узкие улицы, где из-за обгорелых развалин летели стрелы, бомбы, камни. Но никто не пособлял. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. Лефорт, в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломками копья... Гордон — один на валу под стрелами и пулями — хрипел и звал... Войска доходили до рва и пятились. Многие, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо: убивайте так уж, не пойдем, не можем... Снова барабаны ударили отбой.

Все затихло и в крепости и в лагерях. Слетались птицы на кучи мертвых тел. На третьи сутки в ночь

осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона: впереди обозы, за ними остатки войска, в тылу — два полка Гордона... В укрепленных каланчах оставили три тысячи солдат и казаков.

Наутро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся... Попытались было переправиться на крымскую сторону, потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться ногайским берегом в виду татар. Гордону приходилось непрестанно отражать их напуски: поворачивали пушки, строились четырехугольником и залпами отбивались. Все же, заблудившийся ночью, солдатский полк Сверта погиб весь под татарскими саблями, с полковником и знаменами,— живых увели в плен.

За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной, голой степью. Доедали последние сухари. Не из чего было зажечь огня, негде укрыться от ночной стужи. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморозь. Обледенела земля. Повалил снег, закрутилась вьюга. Солдаты, босые, в летних кафтанах, брели по мертвым забелевшим равнинам. Кто упал — не поднимался. Наутро многих оставляли лежать на стану. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу.

Через три недели добрались до Валуек,— всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед в Тулу на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли двух пленных турок и отбитое знамя.

С дороги Петр написал князю-кесарю:

«Мин хер кениг... По возвращении от невзятого Азова с консилии господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галисты, галеры и иные суда. В коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. А о здешнем возвещаю, что отец ваш государев, святейший Ианикит, архиепископ, прешпургский и всеа Яузы и всего Кукую патриарх с холопями своими, дал бог, в добром здоровии. Петр».

Так без славы окончился первый азовский поход.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Прошло два года. Кто горланил,— прикусил язык, кто смеялся,— примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы.

Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены (новые дела, новые люди), ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого... «Стал не мир, а кабак, все ломают, всех тревожат... Безродный купчишко за власть хватается... Не живут — торопятся. Царь отдал государство править похотникам-мздоимцам, не имущим страха божия... В бездну катимся...»

Но те, безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто завороженно тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны,— эти говорили, что в молодом царе не ошиблись: он оказывался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал, неудача бешеными удилами взнуздала его. Даже близкие не узнавали — другой человек: зол, упрям, деловит.

После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали: «Это тебе, мол, не кожуховская потеха»,— тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. Два корабля, двадцать три галеры и четыре брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная. Всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи, бежавших — ловили, ковали в железо. Вьюжный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужи-

ки, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров; разграбив что можно, уходили куда глаза глядят... В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия,— воистину пришли антихристовы времена: мало было прежней тяготы, кабалы и барщины, теперь волокли на новую непонятную работу. Ругались помещики, платя деньги на корабельное строение, стонали, глядя на незасеянные поля и пустые житницы. Весьма неодобрительно шепталось духовенство, черное и белое: явственно сила отходила от них к иноземцам и к своей всякой нововзысканной и непородной сволочи...

Трудно начинался новый век. И все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере «Принкипиум» во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно, отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. Три тысячи янычар с беем Гасаном Арaслановым покинули разрушенный Азов.

В первую голову это была победа над своими: Кукуй одолел Москву. Тотчас отправили высокопарные грамоты к императору Леопольду, венецианскому дожу, прусскому королю. На Москве-реке у въезда с Каменного моста воздвигли старанием Андрея Андреевича Виниуса порты, или триумфальные ворота. Наверху их среди знамен и оружия сидел двуглавый орел, под ним подпись:

«Бог с нами, никто же на ны. Никогда же бываемое».

Крышу у этих ворот держали золоченые Геркулес и Марс, мужики по три сажени. Под ними — деревянные, раскрашенные,— азовский паша в цепях и татарский мурза в цепях же, под ними подпись:

«Прежде на степях мы ратовались, ныне же от Москвы бегством едва спаслись».

С боков ворот написаны на больших полотнах картины: морской бог Нептун, с надписью: «Се и аз поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь...» И на

другой — как русские бьют татар: «Ах, Азов мы потеряли и тем бедство себе достали...»

В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши: из Замоскворечья через мост и порты шла азовская армия. Впереди ехал на шести лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним — певчие, дудошники, карлы, дьяки, бояре, войска. Далее вели четырнадцать богато убранных лошадей Лефорта. Сам он, в латах, с планом Азова в руке, стоя, ехал в царских золотых санях по гололедице. Опять — бояре, дьяки, войска, матросы, новые вице-адмиралы Лима и де Лозьер. С великой пышностью, окруженный гремящими литаврщиками, ехал на греческой колеснице приземистый, напыщенный, с лицом, раздававшимся в ширину, боярин Шеин, генералиссимус, жалованный этой честью перед вторым азовским походом, чтобы заткнуть рты боярам. За ним волокли полотнищами по земле шестнадцать турецких знамен. Вели пленного татарского богатыря Алатыка,— он щурил косые глаза на толпу, бешено оголял зубы,— ему улюлюкали. Позади Преображенского полка на телеге в четыре коня везли виселицу, под ней стоял с петлей на шее изменник Яков Янсен, два палача по сторонам его щелкали пытошными клещами, потряхивали кнутами. Шли инженеры, корабельные мастера, плотники, кузнецы. За стрельцами верхом — генерал Гордон, далее — пленные турки в саванах. Восемь сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед нею шел Петр в морском кафтане, в войлочном треухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу — выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя.

Войска прошли через Москву в Преображенское. Вскорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На большой Думе, где, противно всем обычаям, присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам:

— Понеже фортуна скрозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала: блажен, кто хва-

тает ее за волосы. Посему приговорите, бояре: разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым, да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же... И еще потребно,— аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем,— построить морской караван в сорок али более того судов... Корабли делать со всей готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне. И делать их так: патриарху и монастырям с восьми тысяч крестьянских дворов — корабль. Боярам и всем чинам служилым с десяти тысяч крестьянских дворов — корабль. Гостям и гостиной сотне, черным сотням и слободам сделать двенадцать больших кораблей. И посему боярам, и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанства, сиречь товарищества, и быть всех кумпанств тридцать пять...

Бояре так и приговорили, хоть у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанства велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя. Каждому кумпанству, кроме русских плотников и пильщиков, держать на свой счет иноземных мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного резчика, и одного столяра, и одного живописца, и лекаря с аптекой.

И далее — Петр велел приготовить особую подать на постройку канала Волга — Дон и рыть тот канал не мешкая. Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели,— спорь не спорь, у Петра все решено вперед. С трона не говорит, а жестко лает, бритые генералы его только потряхивают париками... Ох, как круто! Кругом Преображенского — военный лагерь — трубы, барабаны, солдатские песни. И получилось, что боярская Дума преет здесь только порядка древнего ради,— вот-вот царь уж и без нее обойдется.

Действительно, вскоре случилось великое дело не боярским приговором, а просто: личной государя канцелярии дьяк и князь-папа настрочил и послал с солдатами царский указ пятидесяти лучшим москов-

ским дворянам, чтоб собирались за границу — учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам (без коих, слава богу, жили от Володимера Святого). Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просить или высказываться за немощью — побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились как на смерть. К каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальние прелестные страны.

Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять Троекурова. Он какою угодно ценой рад был загладить участие свое в стрелецком мятеже.

2

Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом: русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. А сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепостцой, и Петр и генералы отлично это поняли в боях под Азовом. От прежнего кожуховского задора не осталось и следа. И мысли теперь не было о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах, буде турки пожелают воевать Россию с моря и суши.

Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый, европейский, лад и добывать денег, денег, денег...

Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей, и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр (и ближайшие) разрешил ее с азиатской хитростью: послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому — переодетым, как на машкараде,— под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так: «Вы-де нас считали закоснелыми варварами, и мы хоть и цари и прочее и победители турок под Азовом, но люди мы

не гордые, простые, легкие, и косности у нас может быть меньше вашего,— спать можем на полу, едим с мужиками из одной чашки, и одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы...»

Расчет был, конечно, верный: привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились... Помнили, что еще брат Петра почитался вроде бога... А этот — саженного роста, изуродованный судорогою красавец плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам... Сие невероятно и удивительно.

Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина, мужа острого ума и знавшего языки, и думного дьяка Прокофия Возницына. При них двадцать московских дворян и тридцать пять волонтеров, среди них — Алексашка Меньшиков и Петр.

Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности: раскрылся заговор среди донских казаков, во главе обнаружился полковник Цыклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Цыклер был одним из вернейших слуг Софьи, и упрямо не доверял его льстивости. После взятия Азова он послал Цыклера строить крепость Таганрог,— для честолюбца это было равно ссылке. В Таганроге он нашел возбужденное принудительными работами казачество,— степная воля их гибла под жесткой рукой царя,— и там, сразу заворовавшись, Цыклер стал говорить казакам:

«В государстве ныне многое нестроение для того, что государь уезжает за море и посылает великим послом врага нашего, проклятого чужеземца Лефорта, и в ту посылку тащит казну многую... Царь упрям, никого не хочет слушать, живет в потехах непотребных и творит над всеми печальное и плачевное, и только зря казну тащит... Ходит один по ночам к немке, и легко можно подстеречь, изрезать его ножами. А убьете его,— вам, казакам, никто мешать не станет, сделайте, как делал Стенька Разин... А сде-

лаете так, потом царем хоть меня выбирайте: я — за старую веру, и простых, непородных люблю».

Казаки на это кричали: «Дай срок, отъедет государь в немцы,— учиним, как Стенька Разин...» Стрелецкий пятидесятник Елизарьев, не жалея коней, прискакал в Москву и донес о сем воровстве. На розыске открылось, что в связи с Цыклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Цыклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского (умершего года три тому назад). Снова поднималась страшная с детских лет тень Милославского, оживала недобитая ненавистная старина...

В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани, и двенадцать горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Толпами вслед шел народ, не зная — смеяться или кричать от страха.

На площади солдатской слободы в Преображенском увидели четырехугольник войск с мушкетами перед собой. Гудели барабаны. Посреди — помост с плахой, подле — генералы и Петр, верхом, в треухе, в черной епанче. Рука у него дергала удила — привычный конь стоял смирно,— нога, выскакивая из стремени, лягалась, белое лицо кривилось на сторону, запрокидывалось, будто от смеха. Но он не смеялся. Гроб раскрыли. В нем в полуистлевшей парче синел череп и распавшиеся кисти рук. Петр, подъехав, плюнул на останки Ивана Михайловича. Гроб подтащили под дощатый помост. Подвели изломанных пытками Цыклера, Соковнина, Пушкина и троих стрелецких урядников. Князь-папа, пьяный до изумления, прочел приговор...

Первого Цыклера втащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду, голого опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую,— слышно было, как

они упали на доски. Цыклер забил ногами,— навалились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Кровь через щели моста лилась в гроб Милославского...

3

Государство было оставлено боярам во главе со Львом Кирилловичем, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом. Москва — со всеми воровскими и разбойными делами — Ромодановскому. В середине марта великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию.

Первого апреля Петр отписал симпатическими чернилами:

«Мин хер Виниус... Вчерашнего дня приехали в Ригу, слава богу, в добром здоровии, и приняты господа послы с великою честью. При котором въезде была ис 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. Двину обрели еще льдом покрыту и для того принуждены здесь некоторое время побыть... Пожалуй, поклонись всем знаемым... И впредь буду писать тайными чернилами,— подержи на огне — прочтешь... А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет, такие слова: «Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку»... Остальное все — тайными чернилами, а то здешние людишки зело любопытные...»

На это Виниус отвечал:

«...Понеже от господина великого посла с товарищи первая явилась почта, ввалился я в такую компанию в те часы, и за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче же за государское так подколотили, что Бахус со внуком своим Ивашкою Хмельницким надселся со смеху. Генералы и полковники и все начальные люди, урядники и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука

умер. Арап, Ганибалка, слава богу, живет теперь смирно, с цепи сняли, учится по-русски... А в домах ваших все здорово».

Через неделю в Москву прибыло второе письмо:

«Хер Виниус... Сегодня поехал отсель в Митау... А жили мы за рекой, которая вскрылась в самый день пасхи... Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдиво, а с ямщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаются и клянутся... За лошадь с санями дают десять копеек. А чего ни спросишь,— ломят втрое...

Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку... (Далее все симпатическими чернилами.) А как ехали из Риги через город в замок,— солдаты стояли на стенах, которых было не меньше двух тысяч... Город укреплен гораздо, только не доделан... Здесь зело боятся, и в город и в иные места и с караулом не пускают, и мало приятны... А в стране зело голодно,— неурожай».

И еще через три недели:

«Сегодня поедем отсель в Кенигсберг морем... Здесь, в Либаве, видел диковинку, что у нас называли ложью... У некоторого человека в аптеке — саламандра в склянице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово такоф, как пишут: саламандра — зверь — живет в огне... Ямщиков всех отпустили отседова. А которые ямщики сбежали,— вели сыскать и кнутом путно выбить, водя по торгу, и деньги на них доправить, чтобы другие впредь не воровали».

4

Приятным ветром наполняло четыре больших прямых паруса на грот- и фок-мачтах и два прямых носовых — на конце длинного бушприта... Чуть навалившись на левый борт, корабль «Святой Георгий» скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-

где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужной пылью.

Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый, с подстриженной бородой, большеголовый поп Битка,— все, одетые в немецкое, серого сукна, платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак.

Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил:

— Фридрих, курфюрст бранденбургский, к коему плывем в Кенигсберг, свой брат,— поглядите — как встретит... Мы ему вот как нужны... Живет в страхе: с одной стороны его шведы жмут, с другой — поляки... Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союзу,— увидите, ребята.

— Это тоже мы подумаем,— сказал Алексашка.

Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав:

— То-то что нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кенигсберге не озорничайте — голову оторву... Чтоб о нас слава не пошла.

Поп Битка сказал с перепойной надтугой:

— Поведение наше всегда приличное, нечего грозить... А такого сану — курфюрст — не слыхивали.

Алексашка ответил:

— Пониже короля, повыше дюка,— получается — курфюрст. Но, ка-анешно, у этого — страна разоренная — перебивается с хлеба на квас.

Алеша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот... Петр дунул ему в рот дымом. Алеша закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока... Алеша сказал:

— Ну, чаво, чаво... Чай, все-таки боязно,— вдруг это мы — и к ним.

На них, балующих среди канатов, с изумлением посматривал старый капитан, финн. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней — московской царь... Но мало ли диковинного на свете...

С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов, теперь — владения шведов. Клонилось солнце. «Святой Георгий» отдал шкоты и фордевиндом, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявшей проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил московитов к ужину.

5

Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было: песок, сосны. Десятка два рыбачьих судов, сети, сохнущие на колышках. Низенькие, изъеденные ветрами бедные хижины, но в окошках за стеклами — белые занавесочки... (Петр со сладостью вспомнил Анхен.) У подметенных порогов — женщины в полотняных чепцах за домашней работой, мужики в кожаных шапках — зюйдвестках, губы бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, неповоротливее нашего, но видно, что каждый идет по делу, и приветливы без робости.

Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, дивясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтоб увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кенигсберг.

Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна. Петр весело подмигивал этим добрым людям, спрашивал, как кого зовут, много ли наловили рыбы, потом позвал всех к столу и угостил пивом.

В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше, проворно

выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями, при сем отступил, рука коромыслом, нога подогнута.

— Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст бранденбургский Фридрих имеет удовольствие просить ваше... (Тут он запнулся. Петр погрозил ему.) Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное согласно его сану приличное помещение...

Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку:

— Вот — это политес... Наципках стоит,— картинка... Парик, гляди, короткий, а у нас — до пупа... Ах, сукин сын!..

Петр сел с фон Принцем в карету. Ребята поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейпгофе для гостей был отведен купеческий дом. Въехали в Кенигсберг в сумерках, колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни частоколов, — что за диво! Дома прямо — лицом на улицу, рукой подать от земли — длинные окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет. Двери открыты. Люди ходят без опаски... Хотелось спросить — да как же вы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет?

В купеческом доме, где стали,— опять — ничего не спрятано, хорошие вещи лежат открыто. Дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке:

— Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится,— повешу на воротах...

— И правильно, мин херц, мне и то боязно стало... Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить... Ну, не дай бог с пьяных-то глаз...

Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец...

Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал фонтан и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду, в стеклянных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо с острым носом и большим пробитым лбом. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды.

— О брат мой, юный брат мой,— проговорил он по-французски и повторил то же по-немецки. Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его — братом? Не по чину... Дяденькой? Неудобно. Светлостью или еще как? Не угадаешь — еще обидится...

Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. У Петра закружилась голова, — будто ожила одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преображенском. На мраморном, весело топившемся камине помахивали маятником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами и месяцем. Мягкий свет стенных с зеркалом трехсвечников озарял шпалерные картины на стенах, хрупкие стульчики и лавочки и множество красивых и забавных вещиц, коим трудно найти употребление. Ветки с цветами яблонь и вишен в тонких, как мыльный пузырь, высоких кубках.

Курфюрст вертел табакерку, острые глаза его были добродушно полуприкрыты. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу... Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняло с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил, что здесь он инкогнито и о делах не говорит, а через неделю прибудут великие послы,— с теми и надо говорить о мире.

Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно,— зеркальная

дверца,— и лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками.

У Петра схватило кишки от голода,— сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало: несколько ломтиков колбасы, жареная птичка-голубь, пирожок с паштетом, салат... Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол, заложил накрахмаленную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил:

— Вся Европа с восхищением следит за блистательными успехами оружия вашего царского величества против врагов Христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами — поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии хозяйничают эти разбойники шведы, процветание народов невозможно... Юный друг мой, вы скоро поймете,— наш общий враг, посланный богом за грехи наши,— не турки, но шведы... Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся,— они, как осы, живут грабежом. Страдаем не только мы, но Голландские штаты и Англия... А турки, турки! Они сильны лишь поддержкой Франции — этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к испанской короне Габсбургов... Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик Четырнадцатый стар, его знаменитые маршалы в могиле, Франция разорена непосильными налогами... У нее не найдется сил помогать турецкому султану... В международной игре карта Турции будет бита... Но Швеция, о, это опаснейший враг за спиной Московии.

Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали. Озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное.

Петр чувствовал,— оплетет его немец.

Выпил большой стакан вина.

— Хотел бы у ваших инженеров артиллерийской стрельбе поучиться...

— Весь парк к услугам вашего величества...

— Данке...

— Попробуйте глоточек вот этого мозельского вина...

— Данке. Нам еще рановато в европейскую кашу лезть,— турки нам в великую досаду...

— Только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный друг,— там пляшут под шведскую дудку...

— А мозельское вино доброе...

— Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли... Тогда как несколько гаваней на балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства.

Курфюрст кусал лепестки яблони, стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита...

6

Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат:

«...Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб, и в теории науки и в практике, осторожного и искусного огнестрельного художника, и ему во внимание к его отличным сведениям оказывать всевозможное вспоможение и приятную благосклонность...»

Великие послы въехали в Кенигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей под дорогими чепраками и попонами, за ними — прусские гвардейцы, пажи, кавалеры и рыцари. Оглушительно гремели русские трубачи. За ними шли тридцать волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. Верхами — посольские в малиновых кафтанах с золотыми гербами на груди и спине. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла — Лефорт, Головин и Возницын — в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлат-

ных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой — московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого...

Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, Петр уехал кататься на яхте по Фришгафу. Дела здесь не было: сколько курфюрст ни хитер,— с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись, в обычаях были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста, потому что-де еще не король. Предложили они союз не военный, а дружественный, и на том уперлись. Курфюрст стал уламывать. Послы сказали: ладно, быть союзу военному, но воевать противу тех держав, кои отстанут от войны с Турцией. И это решение было противно курфюрсту, он поехал на яхту к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал:

— Да, ладно... Бумагу только не будем писать... Буде у тебя нужда, курфюрст, поможем, вот крест... Веришь?

. . . .

Заключив тайный словесный союзный договор (что все же пришлось закрепить на бумаге), великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на три недели в Пилау из-за важнейшего известия: в Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более десяти человек, но главными и достоверными были Август, курфюрст саксонский, и принц Конти, брат французского короля.

Француз на польском престоле — значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилау он послал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на

имя кардинала примаса гнездинского. В ней говорилось: «...Когда бы в польском государстве француз королем стал, то не токмо против неприятеля святого креста союз, но и вечный мир с Польшей был бы зело крепко поврежден... Того ради мы, великий государь, имея ко государям нашим королям польским постоянную дружбу, также и к панам, раде и речи посполитой, такого короля с французской и турской стороны быти не желаем...» Грамоту подкрепили соболями и червонными. Из Парижа тоже прислали золото. Суетные поляки выбрали в короли и Августа и Конти. Началась смута. Паны вооружали челядь и мужиков, разбивали друг у друга хутора, жгли местечки. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с двенадцатитысячным войском — садиться на престол. Французская партия была бита. Паны разъехались по замкам, мелкое шляхетство — по шинкам. Принц Конти,— так стало известно в Европе,— доехав только до Булони, пожал плечами и вернулся к своим развлечениям. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром.

Великое дело закончилось благополучно. Послы и Петр с волонтерами покинули Пилау.

7

Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделья сносились в замок Ильзенбург: ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их.

Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями, никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом — дубовые рощи, прямоугольники хлебов за каменными изгородями — сады, и среди зелени — черепичные крыши, голубятни. На полянах — красивые сытые коровы, блестят ручьи в бережках, вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь две-три версты — городок,— кирпичная островерхая кирка, мощеная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цирюльника над дверью. Приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках... Старая добрая Германия...

В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дормезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской: «К золотому поросенку» — и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру:

— Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем... Лучше ночлега не найдем...

Петр и Меньшиков вылезли из дормеза, разминая ноги.

— А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?

— Не знаю, мин херц,— не скоро, пожалуй...

— Милая жизнь... Слышь, и собаки здесь лают без ярости... Парадиз... Вспомню Москву,— так бы сжег ее...

— Хлев, это верно...

— Сидят на старине,— ж...па сгнила... Землю за тысячу лет пахать не научились... Отчего сие? Курфюрст Фридрих — умный человек: к Балтийскому морю нам надо пробиваться — вот что... И там бы город построить новый — истинный парадиз... Гляди,— звезды здесь ярче нашего...

— А у нас бы, мин херц, кругом бы тут все обгадили...

— Погоди, Алексаша, вернусь — дух из Москвы вышибу...

— Только так и можно...

Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы, от пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пива, и только расположились закусывать,— с улицы вошел кавалер.

Был он в высокой — конусом — широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающем за шпоры. Кивнул трактирщику, чтобы тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии:

— Ее светлость курфюрстина ганноверская, Софья, с дочерью Софьей-Шарлоттой, курфюрстиной бранденбургской, и сыном кронпринцем Георгом-Людовиком, августейшим наследником английского престола, и герцогом Цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами,— покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобства ночлега — знакомством с необыкновенным и славным царем московским...

Коппенштейн,— таково было имя кавалера,— просил Петра пожаловать к ужину: курфюрстина с дочерью не садятся за стол, ожидая гостя... Петр половину только понял из сказанного и до того испугался,— едва не дернул на улицу...

— Не могу,— сказал, заикаясь,— зело тороплюсь... Да и время позднее... Назад когда из Голландии поеду, тогда разве...

Плащ и шляпа Коппенштейна опять полетели по кухне. Он настаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски:

— Не отвяжется... Лучше сходи на часок, мин херц,— немцы обидчивы...

Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-

нибудь задним ходом, в безлюдстве, и чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности — с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы под очагом.

На улице ждала карета.

8

Курфюрстина Софья с дочерью Софьей-Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола, перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами несомненно водились совы. Спешно добытые хозяином шелковые креслица стояли на плитчатом полу, истертом сапогами рыжебородых рыцарей и подковами рыцарских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава создателю,— исчезнувших навсегда. Их взор утешала висевшая на ржавом крюке, предназначенном для щитов и панцирей, большая картина, она изображала роскошное изобилие: прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями... Краски излучали солнечный свет...

Живопись, музыка, поэзия, игра живого ума, устремленного ко всему утонченному и изящному,— вот единственное достойное содержание мимолетной жизни: так думали мать и дочь. Они были образованнейшими женщинами в Германии. Обе состояли в переписке с Лейбницем [1], говорившим: «Ум этих женщин настолько пытлив, что иногда приходится капитулировать перед их глубокомысленными вопросами». Покровительствовали искусствам и словесности. Софья-Шарлотта основала в Берлине академию наук. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им

---

[1] Лейбниц Готфрид-Вильгельм — знаменитый немецкий философ, математик, физик, историк и дипломат.

в письме впечатления о царе варваров, путешествующем под видом плотника. «Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону». Мать и дочь не любили политики, их привело в Коппенбург благороднейшее любопытство.

Курфюрстина Софья сжимала худыми пальцами подлокотник кресла. Она прислушивалась,— за окном, раскрытым в ночной сад, сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчугов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь высокий, что, даже подняв руки, она не могла бы коснуться его верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинках, недостаток между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством.

Софья-Шарлотта, с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок... Немного вздернутый нос ее заставлял внимательно вглядеться в лицо, ища скрытого легкомыслия.

— Наконец-то,— сказала Софья-Шарлотта, поднимаясь,— подъехали.

Мать опередила ее. Обе, шумя шелком, подошли к глубокой, в толще стены, нише окна. По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень, за ней поспевала вторая — в плаще и шляпе конусом, подальше — третья.

— Это он,— сказала курфюрстина,— боже, это великан...

Дверь отворил Коппенштейн.

— Его царское величество!

Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и шерстяном чулке,— боком вошел Петр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал: «Гутен абенд...» Поднес руку ко лбу, будто чтобы потереть, совсем смутился и закрыл лицо ладонью.

Курфюрстина Софья подошла на три шага, при-

подняла кончиками пальцев платье и с легкостью, не свойственной годам, сделала реверанс.

— Ваше царское величество, добрый вечер...

Софья-Шарлотта так же, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла вбок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела.

— Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков.

Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того,— вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее, немецкие слова выскочили из памяти.

— Их кан нихт шпрехен... Я не могу говорить,— бормотал он упавшим голосом... Но говорить не пришлось. Курфюрстина Софья задала сто вопросов, не ждя ответа: о погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия, просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое — лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина. От женщин пахло сладкими духами. Старушка, разговаривая, ласково, как мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще судорожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти, среди цветов и хрусталя. Софья-Шарлотта угощала его с приятной обходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда,— оборачиваясь с прельстительной улыбкой:

— Откушайте вот этого, ваше величество... Право, это стоит того, чтобы вы откушали...

Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье,— совсем бы сестра родная. И голоса у них были как у родных. Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказывали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился...

— В Москве — науки, искусства! — сказал он, лягнув ногой под столом.— Сам их здесь только увидел... Их у нас не заводили, боялись... Бояре наши, дворяне — мужичье сиволапое — спят, жрут да молятся... Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами,— жутко оглянуться... Под одной Москвой — тридцать тысяч разбойников... Говорят про меня — я много крови лью, в тетрадях подмётных, что-де я сам пытаю...

Рот у него скривился, щека подскочила, выпуклые глаза на миг остекленели, будто не стол с яствами увидел перед собой, а кислую от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул шеей и плечом, отмахиваясь от видения... Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его...

— Так вы тому не верьте... Больше всего люблю строить корабли... Галера «Принкипиум» от мачты до киля вот этими руками построена (разжал наконец кулаки, показал мозоли)... Люблю море и очень люблю пускать потешные огни. Знаю четырнадцать ремесел, но еще плохо, за этим сюда приехал... А про то, что зол и кровь люблю,— врут... Я не зол... А пожить с нашими в Москве, каждый бешеным станет... В России все нужно ломать,— все заново... А уж люди у нас упрямы! — на ином мясо до костей под кнутом слезет...— Запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато: — У вас королями быть — разлюбезное дело... А ведь мне, мамаша,— схватил курфюрстину Софью за руку,— мне нужно сначала самому плотничать научиться.

. . . .

Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью-Шарлотту.

Все,— даже чудившаяся его жестокость и девственное непонимание иных проявлений гуманности,— казалось им хотя и страшноватым, но восхитительным. От

Петра, как от сильного зверя, исходила первобытная свежесть. (Впоследствии курфюрстина Софья записала в дневнике: «Это — человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он — полный представитель своей страны».)

От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился. Софья-Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь маленьким ртом, кивнул: «Ладно, валяйте...» Вошли герцог Цельский, сухой старик, с испанской, каких теперь уже не носили, седой бородкой и закрученными усами волокиты и дуэлиста, кронпринц — вялый, узколицый юноша в черном бархате; пестрые и пышные дамы и кавалеры; широкоплечий красавец Алексашка, окруженный фрейлинами,— этот всюду был дома,— и послы: Лефорт и толстый Головин, наместник Сибирский. (Они нагнали в Коппенбурге царский дормез и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок.)

Петр обнял герцога, подняв под мышки, поцеловал в щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели, кавалеры запрыгали со шляпами.

— Алексашка, прикрой дверь покрепче,— сказал он по-русски. Налил вином бокал, без малого — с кварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и — опять со странной улыбкой:

— Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя, пить всем — и дамам и кавалерам по полной...

Словом, веселье началось, как на Кукуе. Появились итальянские певцы с мандолинами. Петр захотел танцевать. Но итальянцы играли слишком мягко, тягуче. Он послал Алексашку в трактир, в обоз за своими музыкантами. Пришли преображенские дудошники и рожечники,— все в малиновых рубашках, стриженные под горшок,— стали, как истуканы, у стены и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах... Под средневековыми сводами отродясь не раздава-

лось такой дьявольской музыки. Петр подтопывал, вертел глазами:

— Алексашка, жги!

Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Софья пожелала видеть, как танцует Петр. Он щепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью. А посадив, выбрал толстенькую — помоложе и начал выписывать ногами курбеты. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Софья-Шарлотта выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разобрали дам и хватили вприсядку с вывертами, татарскими бешеными взвизгами. Крутились юбки, растрепались парики. Всыпали поту немкам. И многие дивились,— отчего у дам жесткие ребра? Спросил и Петр об этом у Софьи-Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез:

— Сие не ребра, а пружины да кости в наших корсетах...

9

В Коппенбурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам. Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну, не доезжая города Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Свернули правым рукавом Рейна и при деревне Форт вошли через шлюзы в прокопы, или каналы.

Плоскодонную барку тянули две широкозадых караковых лошади в высоких хомутах, степенно помахивая головами; они шли песчаной тропкой по травянистому берегу. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. День был жаркий, слегка мглистый. Левкои, гиацинты, нарциссы уже отцветали, кое-где остатки их на почерневших грядах срезались и укладывались в корзины. Но тюльпаны — черно-лиловые, красные, как пламя, пестрые и золотистые — бархатом покрывали землю. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся кры-

лья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких ив вдоль канав. В голубоватой дымке — очертания городов, соборов, башен, и — мельницы, мельницы...

Ладья с сеном двигалась мимо огородов по канаве. Из-за крыши мызы появился парус и скользил тихо между тюльпанами... У зеленого от плесени шлюза голландцы в широких, как бочки, штанах, узкогрудых куртках, деревянных башмаках (их лодки с овощами стояли в канаве, убегающей туда, где млгисто блестело солнце), спокойно покуривая трубки, дожидались открытия шлюза.

Местами барка плыла выше полей и строений. Внизу виднелись плоды на деревьях, распластанных ветвями вдоль кирпичной стены, белье на веревках, на чистом дворике по песку — разгуливающие павлины. Видя живьем этих птиц, русские только ахали. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли... Не то, что у нас в дикой степи!.. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой на носу барки:

— На ином дворе в Москве у нас просторнее... А взять метлу, да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный — и в мыслях ни у кого нет... Строение валится, и то вы, дьяволы, с печи не слезете подпереть,— я вас знаю... До ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога... Отчего сие? Сидим на великих просторах и — нищие... Нам то в великую досаду... Глядите — здесь землю со дна морского достали, каждое дерево надо привезти да посадить. И устроен истинный парадиз...

Через шлюзы из большого канала барка вошла в малые. Шли на шестах, постоянно расходясь с тяжело нагруженными ладьями. На востоке разостлалась молочно-серая пелена Зейдерзее — голландского моря. Все больше виднелось на нем парусов. Все многолюднее становилось вокруг. Вечерело, приближались к Амстердаму. Корабли, корабли на розовеющей морской пелене. Мачты, паруса, пылающие в закатном свете, острые кровли соборов и зданий... Багровые

облака, как горы, вставшие из-за моря, но быстро погасал свет, они подергивались пеплом. На равнине загорались огоньки, скользили по каналам.

Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями, сам же с Меньшиковым, Алешей Бровкиным и попом Биткой пересел в бот и поплыл дальше (минуя столицу) в деревеньку Саардам.

Более всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист (когда строили потешные корабли на Переяславском озере). Кист, подработав, тогда же вернулся на родину, но из Саардама прибыли (в Архангельск, потом — Воронеж) другие кузнецы и корабельные плотники и говорили: «Уж где строят суда, Петр Алексеевич, так это в Саардаме: легки, ходки, прочны,— всем кораблям корабли».

Километрах в десяти на север от Амстердама в деревнях Саардам, Ког, Ост-Занен, Вест-Занен, Зандик было не менее пятидесяти верфей. Работали на них днем и ночью с такой быстротой, что корабль поспевал в пять-шесть недель. Вокруг — множество фабрик и заводов, приводимых в движенье ветряными мельницами, изготовляли все нужное для верфей: точеные части, гвозди, скобы, канаты, паруса, утварь. На этих частных верфях строили средней величины купеческие и китобойные корабли,— военные и большие купеческие, ходившие в колонии, сооружались в Амстердаме на двух адмиралтейских эллингах.

Всю ночь с лодки, плывущей по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. При свете костра различались ребра шпангоутов, корма корабля на стапелях, переплет деревянной машины, поднимающей на блоках связки досок, тяжелые балки. Сновали лодки с фонариками. Раздавались хриплые голоса. Пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью... Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками.

В середине ночи заехали передохнуть в харчевню. Гребцы сменились. Утро настало сырое, серенькое. Дома, мельницы, барки, длинные бараки — все, казавшееся ночью таким огромным, принизилось на берегах, покрытых сизой росой. К туманной воде свешивались плакучие ивы. Где же славный Саардам?

— Вот он, Саардам,— сказал один из гребцов, кивая на небольшие, с крутыми крышами и плоской лицевой стороной, домики из дерева и потемневшего кирпича. Лодка плыла мимо них по грязноватому каналу, как по улице. В деревне просыпались, кое-где горел уже огонь в очаге. Женщины мыли квадратные окна с мелкими стеклами, радужными от старости. На покосившихся дверях чистили медные ручки и скобы. Кричал петух на крыше сарая, крытого дерном. Светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье: широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться.

Свернули в поперечную канаву мимо гнилых свай, курятников, сараев с прилепленными к ним нужными чуланами, дуплистых ветел. Канава кончалась небольшой заводью, посреди ее в лодке сидел человек в вязанном колпаке, с головой, ушедшей в плечи,— удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал:

— Гаррит Кист, кузнец, это ты?

Человек вытащил удочку и тогда только взглянул, и, видимо, хотя и был хладнокровен, но удивился: в подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим,— в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах... Но другого такого лица он не знал — властное, открытое, с безумными глазами... Гаррит Кист испугался — московский царь в туманное утро выплыл из канавы, на простой лодке. Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами,— действительно царь, и окрикнул его...

— Эй, это ты, Питер?

— Здравствуй...

— Здравствуй, Питер...

Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку:

— Ээ, это ты, парень?.. То-то я смотрю, как будто они... Вот как славно, что вы приехали в Голландию...

— На всю зиму, Кист, плотничать на верфи... Сегодня побежим покупать струмент...

— У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент и недорого,— я уж поговорю с ней...

— Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя...

— У меня тесно будет, Питер, я бедный человек,— домишко совсем плох...

— Так ведь и жалованья на верфи, чай, мне дадут немного...

— Эй, ты все такой же шутник, Питер...

— Нет, теперь нам не до шуток. В два года должны флот построить, из дураков стать умными! Чтоб в государстве белых рук у нас не было.

— Доброе дело задумал, Питер.

Поплыли к травянистому берегу, где стоял под осевшей черепичной кровлей деревянный домишко в два окна с пристройкой. Из плоской высокой трубы поднимался дымок под ветви старого клена. У покосившихся дверей, с решетчатым окном над притолокой, постелен чистый половичок, куда ставить деревянные башмаки, ибо в дома в Голландии входили в чулках. На подъехавших с порога глядела худая старуха, заложив руки под опрятный передник. Когда Гаррит Кист крикнул ей, бросая весла на траву: «Эй, эти — к нам из Московии»,— она степенно наклонила крахмальный ушастый чепец.

Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в два окна, небольшой темный чулан с постелью (для себя и Алексашки) и чердак (для Алешки с Биткой), куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты и, когда вез их в тачке домой,— встретил плотника Ренсена, одну зиму работавшего в Воронеже. Толстый, добродушный Ренсен, остановясь, раскрыл рот и вдруг побледнел: этот идущий за тачкою парень в сдвинутой на затылок лакированной шляпе напомнил Ренсену что-то такое страшное — защемило сердце... В памяти раскрылось: летящий снег,

зарево и вьюгой раскачиваемые трупы русских рабочих...

— Здорово, Ренсен,— Петр опустил тачку, вытер рукавом потное лицо и протянул руку: — Ну, да, это я... Как живешь? Напрасно убежал из Воронежа... А я на верфи Лингста Рогге с понедельника работаю... Ты не проговорись, смотри... Я здесь — Петр Михайлов.— И опять воронежским заревом блеснули его пристально-выпуклые глаза.

10

«Мин хер кениг... Которые навигаторы посланы по вашему указу учиться,— розданы все по местам... Иван Головин, Плещеев, Крапоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меньшиков, Алексей Бровкин, по вся дни пьяный поп Битка, при которых и я обретаюсь, отданы — одни в Саардаме, другие на Остиндский двор к корабельному делу... Александр Кикин, Степан Васильев — машты делать; Яким маляр да посольский дьякон Кривосыхин — всяким водяным мельницам; Борисов, Уваров — к ботовому делу; Лукин и Кобылин — блоки делать; Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Синявин — пошли на корабли в разные места в матрозы; Арчилов поехал в Гагу бомбардирству учиться... А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что — все тут... Но мы намерение их переменили, велели им идти в чернорабочие на остадскую верфь — еще и ртом посрать...

Господин Яков Брюс приехал сюды и отдал от вашей пресветлости письмо. Показывал раны, кои до сих пор не зажили, жаловался, что получил их у вашей пресветлости на пиру... Зверь! Долго ль тебе людей жечь? И сюды раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким... Быть от него роже драной... Питер...»

. . . .

«...В твоем письме, господине, написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкою Хмельницким, и то, госпо-

дине, неправда... Яков к вам приехал прямой московской пьяной, да и сказал в беспамятстве своем... Неколи мне с Ивашкой знаться,— всегда в ругательстве и лае, всегда в кровях омываемся... Ваше-то дело на досуге держать знакомство с Ивашкою, а нам недосуг... Как я писал тебе, господине, опять той же шайки воров поймано восемь человек, и те воры из посадских торговых людей, из мясников, из извозчиков и из боярских людей — Петрушка Селезень, да Митька Пичуга, да Попугай, да Куска Зайка, да сын дворянский Мишка Тыртов... Пристанище и дуван разбойной рухляди были у них за Тверскими воротами... А что до Брюса, али другие приедут жаловаться на меня,— так то все спьяну... Челом бью Фетка Ромодановский...»

«...Мин хер кениг... Письмо мое государское мне отдано, в котором написано о иноземце о Томасе Фаденбрахте,— как ему впредь торговать табаком? О том еще зимою указ учинен, что первый год — торговать на себя, другой год — на себя же с пошлинами, в третий год дать торг: кто больше даст, тому и отдать... Паки дивлюсь — разве ваши государевы бояре сами-то не могли подумать, а кажется дела посредственны... К службе вашей государской куплено здесь 15 000 ружья и на 10 000 подряжено, так же велено сделать к службе же вашей 8 гаубиц да 14 единорогов. О железных мастерах многажды здесь говорил, но сыскать еще не можем, добрые здесь крепко держатся, а худых нам ненадобно... Пожалуй, поклонись господину моему генералу и. побей челом, чтобы не покинул мою домишку... (Далее симпатическими чернилами.) А вести здесь такие: король французский готовит паки флот в Бресте, а куды — ни хто не знает... Вчерась получена из Вены ведомость, что король гишпанский умер... А что по смерти его будет,— о том ваша милость сама знаешь... [1]

Так же пишешь о великих дождях, что у нас ны-

---

[1] Война за испанское наследство.

не. И о том дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь... А мы здесь и ниже воды живем — однако сухо... Питер...»

Василий Волков, по приказу Петра ведя дневник, записал:

«В Амстердаме видел младенца женска пола, полутора года, мохната всего сплошь и толста гораздо, лицо поперек полторы четверти,— привезена была на ярмарку. Видел тут же слона, который играл минуветы, трубил по-турецки, стрелял из мушкетона и делал симпатию с собакою, которая с ним пребывает,— зело дивно преудивительно...

Видел голову сделанную деревянную человеческую,— говорит! Заводят, как часы, а что будешь говорить, то и оная голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе,— садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам... Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец, им же жгли дерево под водой, воды было пальца на четыре,— вода закипела и дерево сожгли.

Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разно,— сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится камень. Жила, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут,— как нитки... Зело предивно...

Город Амстердам стоит при море в низких местах, во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабли вводить, по сторонам каналов улицы широки,— в две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале и между ними — фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах — плезир, или гулянье великое.

Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, и народ живет торговый и вельми богатый. Так сподеваются, что — нигде... Биржа, которая вся сделана из камня белого и внутри вся нарезана алебастром — зело пречудно... Пол сделан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате... И так на всякий день здесь

бывает много народу, что на всей той площади ходят с великой теснотою... И бывает там крик великий... Некоторые люди,— которые из жидов — бедные,— ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно,— и тем кормятся...»

. . . .

Яков Номен, любознательный голландец, записал в дневнике:

«...Царю не более недели удалось прожить инкогнито: некоторые, бывшие в Московии, узнали его лицо. Молва об этом скоро распространилась по всему нашему отечеству. На амстердамской бирже люди ставили большие деньги и бились об заклад,— действительно ли это великий царь, или только один из его послов... Господин Гаутман, торгующий с Московией и неоднократно угощавший в Москве царя, приехал в Заандам, чтоб засвидетельствовать царю свое глубокое почтение. Он сказал ему:

«Ваше миропомазанное величество, вы ли это?»

На это царь ответил довольно сурово:

«Как видишь».

После сего они долго беседовали о затруднительности северного пути в Московию и о преимуществах балтийских гаваней,— причем Гаутман не смел смотреть царю прямо в лицо, зная, что это могло бы рассердить его: он не мог терпеть, когда ему смотрели прямо в глаза. Был такой пример: некий Альдертсон Блок посмотрел как-то на улице весьма дерзко царю в глаза, словом, так — будто перед ним было что-то весьма забавное и удивительное. За это царь сильно ударил его рукой по лицу, так что Альдертсон Блок почувствовал боль и, пристыженный, убежал, между тем как над ним засмеялись гуляющие:

«Браво, Альдертсон, ты пожалован в рыцари».

Другой торговец захотел видеть царя за работой и просил мастера на верфи, чтобы тот удовлетворил его любопытство. Мастер предупредил, что тот, кому он скажет: «Питер, плотник заандамский, сделай то или это»,— и есть царь московитов... Любопытный купец вошел на верфь и увидел, как несколько рабочих несут тяжелое бревно. Тогда бас или мастер крикнул:

«Питер, плотник заандамский, что же ты не подсобишь?»

Тогда один из плотников, почти семи футов росту, в запачканной смолою одежде, с кудрями, прилипшими ко лбу,— воткнул топор и, послушно подбежав, подставил плечо под дерево и понес его вместе с другими, к немалому удивлению помянутого торговца...

После работы он посещает невзрачную портовую харчевню, где, сидя за кружкой, курит трубку и весело беседует с самыми неотесанными людьми и смеется их шуткам, нисколько в таких случаях не заботясь о почтении к себе. Он часто посещает жен тех рабочих, которые служат в настоящее время в Московии, пьет с женщинами можжевеловую водку, похлопывает их и шутит... О некоторых его странностях говорит следующий случай... Он купил слив, положил их в свою шляпу, взял ее под мышку и ел их на улице, проходя через плотину к Зейддейку. За ним увязалась толпа мальчишек. Некоторые из детей ему понравились, он сказал:

«Человечки, хотите слив?»

И дал им несколько штук. Тогда подошли другие и сказали: «Дай нам тоже слив или чего-нибудь». Но он скорчил им гримасу и плюнул косточкой, забавляясь, что раздразнил их. Некоторые мальчуганы рассердились так сильно, что стали бросать в него гнилыми яблоками, грушами, травою, разным мусором. Посмеиваясь, он пошел от них. Один из мальчиков попал ему в спину камнем, причинившим боль, и это уже вывело его из терпения... Наконец у шлюза комок земли попал ему в голову,— и он вне себя закричал:

«Что у вас — бургомистров нет,— смотреть за порядком!..» Но и это нисколько не испугало мальчишек...

В праздники он катается по заливу в парусном ботике, купленном у маляра Гарменсена за сорок гульденов и кружку пива. Однажды, когда он катался по Керкраку, к его боту стало подходить пассажирское судно, где на палубе собралось много людей, го-

ревших любопытством поближе рассмотреть царя. Судно подошло почти вплоть, и царь, желая отделаться от назойливости, схватил две пустые бутылки и бросил их одну за другой прямо в толпу пассажиров, но, к счастью, никого не задел...

Он чрезвычайно любознателен, по всякому поводу спрашивает: «Что это такое?» И когда отвечают,— он говорит: «Я хочу это видеть». И рассматривает и расспрашивает, пока не поймет. В Утрехте, куда он ездил с частью своих спутников для свидания с штатгальтером голландским, английским королем Вильгельмом Оранским,— пришлось водить его по воспитательным домам, гошпиталям, различным фабрикам и мастерским. Особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюйша,— он так восхитился отлично приготовленным трупом ребенка, который улыбался, как живой, что поцеловал его. Когда Рюйш снял простыню с разнятого для анатомии другого трупа,— царь заметил отвращение на лицах своих русских спутников и, гневно закричав на них, приказал им зубами брать и разрывать мускулы трупа...

Все это я записал по рассказам разных людей, но вчера мне удалось увидеть его. Он выходил из лавки вдовы Якова Ома.

Он шел быстро, размахивая руками, и в каждой из них держал по новому топорищу. Это — человек высокого роста, статный, крепкого телосложения, подвижной и ловкий. Лицо у него круглое, со строгим выражением, брови темные, волосы короткие, кудрявые и темноватые. На нем был саржевый кафтан, красная рубашка и войлочная шляпа.

Таким его видели сотни людей, собравшихся на улице, а также моя жена и дочь...»

. . . .

«Мин хер кениг... Вчерашнего дня прислали из Вены цесарские послы к нашим послам дворянина с такою ведомостью, что господь бог подал победу войскам цесаря Леопольда над турок такую, что турки в трех окопах отсидеться не могли, но из всех выбиты и побиты и побежали через мост, но цесарцы из батарей стрелять стали. Турки стали бросаться в воду, а

цезарцы сзади рубить, и так вконец турок побили и обоз взяли. На том бою убито турков 12 000, меж которыми великий визирь, а сказывают, будто и султан убит.

Генералиссимусом над цезарскими войсками был брат арцуха савойскова — Евгений, молодой человек, сказывают — 27 лет, и этот бой ему первый...

Сие донесши, оным триумфом вам, государю, поздравляя, просим — дабы всякое веселие при стрельбе пушечной и мушкетной отправлено было... Из Амстердама, сентября в 13 день... Питер...»

11

В январе Петр переехал в Англию и поселился верстах в трех от Лондона, в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии: корабельное по всем правилам науки искусство, или геометрическую пропорцию судов. Два с половиной месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого профессора математики Андрея Фергарсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри — для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков англичан уломать не смогли, сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы: кубки, ожерелья, китайские чашки, но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей.

Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармартен: предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московии и за право ввезти три тысячи бочек той травы никоцианы,— по пятисот фунтов аглицкого веса каждая,— уплатил вперед двадцать тысяч фунтов стерлингов... Тогда же удалось взять на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плавания, человека гордого и строптивого, но искусного моряка,— Корнелия Крейса: жалованье ему положили 9000 гульденов,— по-нашему — 3600 ефимков,— дом на Москве и полный корм, зва-

ние вице-адмирала и право получать три процента с неприятельской добычи, а буде возьмут в плен,— выкупить его на счет казны.

Через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные командиры, штурманы, боцманы, лекари, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по дворянским и купеческим дворам,— в Москве начиналась великая теснота. Бояре не знали, что им делать с такой тучей иноземцев.

Тянулись обозы с оружием, парусным полотном, разными инструментами для обделки дерева и железа, китовым усом, картузной бумагой, пробкой, якорями, бокаутом и ясенем, кусками мрамора, ящиками с младенцами и уродами в спирту, сушеные крокодилы, птичьи чучела... Народ перебивается с хлеба на квас, нищих полна Москва, разбойнички — и те с голоду пухнут, а тут везут!.. А тут гладкие, дерзкие иноземцы наскакивают... Да уж не зашел ли у царя ум за разум?

С некоторого времени по московским базарам пошел слух, что царь Петр за морем утонул (иные говорили, что забит в бочку), и Лефорт-де нашел немца одного, похожего, и выдает его за Петра, именем его теперь будет править и мучить и старую веру искоренять. Ярыжки хватали таких крикунов, тащили в Преображенский приказ. Ромодановский сам их допрашивал под кнутом и огнем, но нельзя было добиться, откуда идут воровские слухи, где самое гнездо. Усилили караул в Новодевичьем, чтобы не было каких пересылок от царевны Софьи. Ромодановский зазывал к себе пировать бояр и больших дворян, вина не жалел. Ставили к дверям мушкетеров, чтобы гости сидели крепко, и так пировали по суткам и более, карлы и шуты ползали под столами, слушая разговоры, ходил меж пьяными ученый медведь, протягивал в лапах кубок с вином, чтобы гость пил, а кто пить не хотел,— медведь, бросив кубок, драл его и, наваливаясь, норовил сосать лицо. Князь-кесарь, тучный, усталый, дремал сполупьяна на троне, чутко слушая, остро видя, но гости и во хмелю не говорили лиш-

него, хоть он и знал про многих, что только и ждут, когда под Петром с товарищи земля зашатается...

Враг вскорости сам обнаружился открыто. В Москве появилось человек полтораста стрельцов, убежавших из войска, из-под литовского рубежа. Туда были посланы на подкрепление воеводе, князю Михайле Ромодановскому, четыре стрелецких полка — полковников Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермного. Это были те полки, что по взятии Азова остались на крепостных работах в Азове и Таганроге и позапрошлой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь сделать, как Стенька Разин. Им хуже редьки надоела тяжелая служба, хотелось вернуться в Москву, к стрельчихам, к спокойной торговлишке и ремеслам, вместо отдыха,— как простых ратников, погнали их на литовский рубеж, в сырые места, на голодный корм.

Стрельцов, видимо, на Москве кое-кто ждал. Их челобитная сразу пошла (через дворцовую бабу) в Кремль, в девичий терем, где не крепко запертая жила Софьина сестра, царевна Марфа. Через ту же бабу от Марфы был скорый ответ:

«У нас наверху позамялось: некоторые бояре, что на Кукуй часто ездят и с иноземцами кумятся, хотят царевича Алексея задушить. Да мы его подменили, и они, рассердясь, молодую царицу били по щекам... Что будет,— не знаем... А государь — неведомо жив, неведомо мертв... Если вы, стрельцы, на Москву не поторопитесь, не видать вам Москвы совсем, про вас уж указ написан...»

С этим письмом стрельцы бегали по площадям и, где нужно, кричали: «Бывало, царевна Софья кормила по восьми раз в году по триста человек, и сестры ее, царевны, кормили ж,— давали в мясоед простым людям языки говяжьи и студень, полотки гусины, куры в кашах и пироги с говядиной и яйцами, а потом давали соленую буженину, и тешки, и снятки, и вина вдоволь, двойного меду цыженого... Вот какие цари-то у нас были... А ныне хорошо жрут одни иноземцы, а вам всем с голоду помереть, на ваш-то сытый кусок крокодилов за морем покупают». Прихо-

дили они шуметь к Стрелецкому приказу, не испугались и боярина Ивана Борисовича Троекурова, а когда нескольких крикунов схватили было, повели в тюрьму,— отбили товарищей...

Князь-кесарь вызвал генералов — Гордона, Автонома Головина, и порешили — незамедлительно беглых стрельцов выбить из Москвы вон. Федор Юрьевич в сильной тревоге поехал проверять гвардейские и солдатские полки, но повсюду было тихо, смирно. Отобрали сто человек семеновцев и вызвали охотников из посадского купечества. Ночью, без шума, пошли в слободу, по стрелецким дворам, начали ломать ворота, выбивать стрельцов поодиночке. Но никто из них не сопротивлялся: «Ай, это вы, семеновцы... Чего шумите, мы и так уйдем...» Брали мешок с пирогами, ружье, завернутое в тряпицу, уходили, посмеиваясь, будто сделали то, зачем были в Москве...

Стрельцы уносили на литовский рубеж письмо царевны Софьи. В тот день Марфа посылала с карлицей в Новодевичье царевне Софье в постном пироге стрелецкую челобитную. Софья через карлицу передала ответ:

«Стрельцы... Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число... И вам быть в Москве всем четырем полкам и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом мне, чтоб идти мне к Москве против прежнего на державство... А если солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать бы не стали,— с ними вам управиться, их побить и к Москве нам быть... А кто б не стал пускать,— с людьми, али с солдаты,— и вам чинить с ними бой...»

Сие был приказ брать Москву с бою. Когда беглые вернулись с царевниным письмом на литовский рубеж в полки, там начался мятеж.

12

И Петр и великие послы не дюже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило: охранять степи от кочевников, смирить разбой-

ничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю.

Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей. Знали, что французский король с турецким султаном заодно и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг,— снег на голову,— приходит непонятная весть (привез ее из Польши от Августа шляхтич),— австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками, и об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков.

А все недавние уверения его в ревности к успехам христианского оружия против врагов гроба господня? Это что ж такое? Яхту Петру подарил... Называл братом... Пировали вместе... Это как же теперь думать?

Было еще понятно, что цезарь Леопольд разговаривает с турками о мире: между ним и французским королем начиналась война за испанское наследство, то есть (как понимали послы) — кто из них посадит сына в Мадрид королем... Дело великое, конечно, но при чем здесь Англия и Голландия?

Петру и великим послам трудно было усвоить то, что английские и голландские торговые и промышленные люди давно уже кровно озабочены в войне за сокрушение торгового и военного господства Франции на Атлантическом океане и Средиземном море, что испанское наследство — не трон для того или иного королевского сына, не драгоценная корона Карла Великого, а свободные пути для кораблей, набитых сукном и железом, шелком и пряностями, богатые рынки и вольные гавани, и что голландцам и англичанам удобнее воевать не самим, а втравить других... И еще мудренее казалось, что англичане и голландцы, стремясь развязать руки австрийскому цезарю,— для войны с Францией,— настоятельно желают, чтобы русские продолжали войну с султаном... Сие есть двоесмысленный и великий европейский политик...

Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спро-

шенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Так же уклонялись они и от другого важного для московитов дела... В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда... Виниус писал Петру:

«...Лучше той руды быть невозможно и во всем мире не бывало, так богата, что из ста фунтов руды выходит сорок фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтоб нашли железных мастеров добрых, умевших сталь делать...»

Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но, когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, мялись, виляли, говорили, что-де вам самим с такими заводами не справиться, съездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся... Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии.

Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что-де и здесь уже знают об этом,— какой-то ксендз болтает по городу, будто в Москве бунт, князь Василий Голицын вернут из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей в верности...

. . . .

«...Мин хер кениг... В письме вашем государском объявлено бунт от стрельцоф, и что вашим правительством и службою солдат усмирен. Зело радуемся. Только мне зело досадно на тебя,— для чего ты в сем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж... Бох тебя судит... Не так было говорено на загородном дворе в сенях...

А буде думаете, что мы пропали, для того что почты отсюда задержались,— только, слава богу, у нас ни един человек не умер, все живы... Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий... Пожалуй не осердись: воистину от болезни сердца пишу... Мы отсель поедем на сей неделе в Вену... Там только и разговоров, что о нашей пропаже... Питер...»

13

В троицын ясный и тихий день на улицах было подметено. У ворот и калиток вяли березовые ветки. Если и виднелся человек,— то сторож с дубиной или копьем у запертых на пудовые замки лавок. Вся Москва стояла обедню. Жаркий ладанный воздух плыл из низеньких дверей, убранных березками. Толпы нищих — и те разомлели в такой синий день на папертях под колокольный звон,— праздничное солнце пекло взъерошенные головы, тело под рубищами... Попахивало вином...

В тихую эту благодать ворвался треск колес — по Никольской бешено подпрыгивала по бревнам хорошая тележка на железном ходу, сытый конь несся скоком, в тележке подскакивал купчина без шапки, в запыленном синем кафтане,— выпучив глаза, хлестал коня... Все узнали Ивана Артемича Бровкина. На Красной площади он бросил раздувающего боками коня подскочившим нищим и кинулся,— горячий, медный,— в Казанский собор, где обедню стояли верхние бояре... Распихивая таких людей, до кого в мыслях дотронуться страшно, увидел коренастую парчовую спину князя-кесаря: Ромодановский стоял впереди всех на коврике перед древними царскими вратами, желтоватое и толстое лицо его утонуло в жемчужном воротнике. Протолкавшись, Бровкин махнул князю-кесарю поклон в пояс и смело взглянул в мутноватые глаза его, страшные от гневно припухших век...

— Государь, всю ночь я гнал из Сычевки,— деревенька моя под Новым Иерусалимом... Страшные вести...

— Из Сычевки? — не понимая, Ромодановский тяжко уставился на Ивана Артемича.— Ты что — пьян, чина не знаешь? — Гнев начал раздувать ему шею, зашевелились висячие усы. Бровкин, не страшась, присунулся к его уху:

— Четырьмя полки стрельцы на Москву идут. От Иерусалима днях в двух пути... Идут медленно, с

обозами... Уж прости, государь, потревожил тебя ради такой вести...

Прислонив к себе посох, Ромодановский схватил Ивана Артемича за руку, сжал с натугой, багровея, оглянулся на пышно одетых бояр, на их любопытствующие лица... Все глаза опустили перед князем-кесарем. Медленным кивком он подозвал Бориса Алексеевича Голицына:

— Ко мне — после обедни... Поторопи-ка архимандрита со службой... Автоному скажи да Виниусу, чтоб ко мне, не мешкая...

И снова, чувствуя шепот боярский за спиной, обернулся в полтела, муть отошла от глаз... Люди со страха забыли и креститься... Слышно было, как позвякивало кадило, да голубь забил крыльями под сводом в пыльном окошечке.

14

Четыре полка — Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермного — стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. В зеленом закате за ступенчатой вавилонской колокольней мигала звезда. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса,— в ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу.

Задержались они под монастырем и в деревне Сычевке из-за корма. Разведчики, вернувшиеся из-под Москвы, говорили, что там — смятение великое, бояре и большое купечество бегут в деревни и вотчины. В слободах стрельцов ждут, и только бы им подойти,— побьют стражу у ворот и впустят полки в город. Генералиссимус Шеин собрал тысячи три потешных, бутырцев, лефортовцев и будет биться, но — думать надо — весь народ подсобит стрельцам, а стрельчихи уж и сейчас пики и топоры точат, как полоумные бегают по слободе, ждут — мужей, сыновей, братьев...

Весь день в полках спорили,— одни хотели прямо ломиться в Москву, другие говорили, что надобно Москву обойти и сесть в Серпухове или в Туле и оттуда слать гонцов на Дон и в украинные города,— звать казаков и стрельцов на помощь.

— Зачем — в Серпухов... Домой, в слободы...

— Не хотим в осаду садиться... Что нам Шеин... Всю Москву подымем...

— Один раз не подняли... Дело опасное...

— У них с войском — Гордон да полковник Краге... Эти не пошутят...

— А мы устали... И зелья мало... Лучше в осаду сесть...

На телегу влез Овсей Ржов. Был он выбран пятисотенным. Еще в Торопце, откуда начался бунт, выкинули всех офицеров и полковников, Тихон Гундертмарк только и спасся, что на лошади. Колзаков с разбитой головой едва ушел за реку по мостовинам. Тогда же созвали круг и выбрали стрелецких голов... Овсей, надсаживая голос, закричал:

— У кого рубашка на теле? У меня — сгнила, с прошлого года бороду не чесал, в бане не был... У кого рубашка,— садись в осаду... А у нас одна дума — домой...

— Домой, домой! — закричали стрельцы, влезая на воза.— Забыли, что Софья нам отписала? Как можно скорее идти выручать. А не поторопимся — наше дело погибло... Франчишку Лефорта по гроб себе накачаем на шею... Лучше нам сейчас биться, да успеть Софью посадить царицей... Будет нам и жалованье, и корм, и вольности. Столб опять на Красной площади поставим. Бояр с колокольни покидаем,— дома их разделим, продуваним, царица все нам отдаст... А Немецкая слобода,— люди забудут, где и стояла...

На телегу к Овсею вскочили стрельцы-заводчики — Тума, Проскуряков, Зорин, Ерш... Застучали саблями о ножны...

— Ребята, начинай переправу...

— Кто к Москве не пойдет,— сажать тех на копья...

Многие побежали к телегам, дико закричали на лошадей. Обоз и толпы стрельцов двинулись к дымящейся реке... Но на том берегу в неясных кустах замахали чем-то — будто значком, и надрывной голос протянул:

— Стой, стой...

Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона. Стало тихо...

— Стрельцы! — услышали его голос.— Со мной четыре тысячи войск, верных своему государю... Мы заняли прекрасную позицию для боя... Но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?

— В Москву... Домой... Оголодали... Ободрались...

— Зачем вы нас в сырые леса загнали?..

— Мало нас побито под Азовом... Мало мы мертвечины ели, когда из Азова шли...

— Изломались на крепостных работах...

— Пустите нас в Москву... Дня три поживем дома, потом покоримся...

Когда откричались, Гордон приставил ладони ко рту:

— Очень карашо... Но только дураки переправляются ночью через реку. Дураки!.. Истра глубокая река, потопите обозы... Лучше подождите на том берегу, а мы — на этом, а завтра поговорим...

Он влез на рослого коня и ускакал в ночной сумрак. Стрельцы помялись, пошумели и стали разводить костры, варить кашу...

Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их — двенадцать медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом крыле стояли пять сотен драгун со значками. На правом, загораживая Московскую дорогу, за рогатками и дефилеями,— остальные войска...

Стрельцы подняли крик, торопливо впрягали лошадей, ставили телеги четырехугольником — по-казачьи... С холма шагом спустился Гордон с шестью

драгунами, подъехал к реке, вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала...

— Слюшайте... (Он поднял руку в железной перчатке...) Вы добрые и разумные люди... Зачем нам биться? Выдайте нам заводчиков, всех воров, кто бегал в Москву.

Овсей рванулся к его коню,— борода клочьями, красные глаза:

— У нас нет воров... Это вы русских людей ворами крестите, сволочи! У нас у всех крест на шее... Франчишке Лефорту, что ли, этот крест не ндравится?

Надвинулись, загудели. Гордон полуприкрыл глаза, сидел на коне не шевелясь:

— В Москву вас не пустим... Послюшайте старого воина, бросьте бунтовать, будет плохо...

Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Рослый, темноволосый, соколиноглазый Тума, взлезши на пушку, размахивал бумагой.

— Все наши обиды записаны... Пустите нас за реку,— хоть троих, мы прочтем челобитную в большом полку...

— Пусть сейчас читает... Гордон, слушай...

Запинаясь, рубя воздух стиснутым кулаком, Тума читал:

— «...будучи под Азовом, еретик Франчишко Лефорт, чтоб русскому благочестию препятствие великое учинить, подвел он, Франчишко, лучших московских стрельцов под стену безвременно и, ставя в самых нужных к крови местах, побил множество... Да его же умышлением делан подкоп, и тем подкопом побил он стрельцов с триста, и более!..»

Гордон тронул шпорами коня, хотел схватить грамоту. Тума отшатнулся. Стрельцы бешено закричали. Тума читал:

— «Его ж, Франчишки, умышлением всему народу чинится наглость, и брадобритие, и курение табаку во всесовершенное ниспровержение древнего благочестия...»

Не надеясь более перекричать стрельцов, Гордон

поднял коня на дыбы и сквозь раздавшуюся толпу поскакал к реке. Видели, как он соскочил у палатки генералиссимуса. Вскоре там загорелись под косым солнцем поповские ризы. Тогда и стрельцы велели служить молебен перед боем. Попоной накрыли лафет у пушки, поставили конское ведро с водой — кропить. Сняли шапки. Босые, оборванные попы истово начали службу... «Даруй, господи, одоление на агарян и филистимлян, иноверных языцев...»

На той стороне, у палатки Шеина, уже подходили к кресту, а стрельцы все еще стояли на коленях, подпевали. Крестясь, шли за ружьями, скусывали патроны, заряжали. Попы свернули потрепанные епитрахили и ушли за телеги. Тогда с холма враз ударили все двенадцать пушек... Ядра, шипя, понеслись над обозом и стали рваться у монастырских стен, вскидывая вороха земли...

Овсей Ржов, Тума, Зорин, Ерш,— размахивая саблями:

— Братцы, пойдем грудью напролом...

— Добудем Москву грудью...

— Стройся в роты...

— Пушки, пушки откатывай...

Стрельцы сбегались в нестройные роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак:

— Сергиев! Сергиев!

Полковник Граге велел принизить прицел, и батарея ударила ядрами по обозу,— полетели щепы, забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из четырых пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеям, но там их встретили бутырцы и лефортовцы. Четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. Бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки стадо, назад в обоз.

В тот же день генералиссимус Шеин перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Ни один из

стрельцов не выдал Софьи, не помянул про ее письмо. Плакались, показывали раны, трясли рубищами, говорили, что к Москве шли страшною неурядною яростью, а теперь опомнились и сами видят, что — повинны.

Тума, вися на дыбе, со спиной, изодранной кнутом в клочья, не сказал ни слова, глядел только в глаза допросчиков нехорошим взглядом. Туму, Проскурякова и пятьдесят шесть самых злых стрельцов повесили на Московской дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу...

15

Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду... Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз, и на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией со всем соглашался, ничего не отрицал, все обещал, но, когда доходило до решения, увертывался, как намыленный. Петр говорил ему: «Англичане и голландцы хлопочут лишь из-за прибылей торговых, не во всяком деле надобно их слушать. А нам писал иерусалимский патриарх, чтоб гроб господень оберегли... Так неужто цезарю гроб господень не дорог?..» Канцлер отвечал: «Цезарь вполне присоединяется к сим высоким и достопочтенным мыслям, но на пятнадцатилетнюю войну истрачены столь несметные суммы, что единственным достойным деянием является мир в настоящее время...»

«Мир, мир,— говорил Петр,— а с французами собираетесь воевать, как же сие?»

Но канцлер в ответ только глядел веселыми водянисто-непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь, и пусть-де цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским дво-

ром, но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя...

Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Послы уже соглашались идти через кавалерские комнаты без шляп и ограничиться сорока восемью простыми гражданами для переноса подарков, но упорно настаивали, чтобы при входе в зал обер-камергер громогласно провозгласил царский титул, хотя бы малый, и чтоб царские подарки на ковер к ногам цезаря кладены не были... «Мы-де не чуваши и цезарю не данники, а народ равновеликий...» Министр двора улыбался, разводил руками: «Сих неслыханных претензий удовлетворить никак невозможно...»

Тут еще горше, чем в Голландии, узнали, что такое европейский политик. С горя ездили в оперу, дивились. Посетили загородные замки. Были на великом придворном машкараде...

Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Ромодановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом.

. . . .

«...Мин хер кених... Письмо твое, июня 17 дня писанное, мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет,— в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ни чем сей огнь угасить не мочно...

Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете... Питер...»

16

За обедней в Успенском соборе князь-кесарь, приложась к кресту, вошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты:

— Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву.

И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя саженного роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве.

Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию... Принесло ясна сокола! Прощай, значит, сон да дрема,— опять надевай машкерку. А отвечать за стрелецкие бунты? за нешибкую войну с татарами? за пустую казну? за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не собрались? Батюшки, беда!

Не до отдыха стало, не до неги. Два раза в день сходилась большая государева Дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, идти в приказ Большой Казны — считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать... Призвали приказных дьяков,— Христом богом просили,— буде какие непорядки в приказах — как-нибудь, навести порядок, мелких подьячих и писцов в эти дни домой на ночь не отпускать, строптивых привязывать к столам за ногу...

Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылое немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни на есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра — Натальей — спешно вернулись из Троицы.

Четвертого сентября под вечер у железных ворот дома князя-кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков. Постучали. На дворе завыли страшные кобели. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому, на шарах и витых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Ромодановский, — опухшее лицо его задрожало радостью.

17

От Ромодановского царь поехал в Кремль. Евдокия уж знала о прибытии и ожидала мужа, прибранная, разрумянившаяся. Воробьиха в нарядной душегрее, жмуря глаза, улыбаясь, стояла на страже на боковом царицыном крылечке. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на Воробьиху, освещенную сквозь дверную щель,— ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню:

— Приехал!.. Да прямо у царевнина крыльца вылез... Побегу, узнаю...

У Евдокии сразу опустела голова — почувствовала недоброе. Обессилев — присела. За окном — звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав,— сразу к Наталье кинулся... Хрустнула пальцами... «Жили, были в божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел — мучить!»

Вскочила... Где ж Алешенька? Бежать с ним к отцу!.. В двери столкнулась с Воробьихой... Баба громко зашептала:

— Своими глазами видела... Вошел он к Наталье... Обнял ее,— та как заплачет... А у него лик — суровый... Щеки дрожат... Усы кверху закручены. Кафтан заморский, серой, из кармана платок да трубка торчат, сапоги громадные — не нашей работы...

— Дура, дура, говори, что было-то...

— И говорит он ей: дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного... И как это она повернулась, и тут же выводит Алешеньку...

— Змея, змея, Наташка,— дрожа губами, шептала Евдокия.

— И он схватил Алешеньку, прижал к груди и ну его целовать, миловать... Да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит: «Спать, говорит, поеду в Преображенское...»

— И уехал? (Схватилась за голову.)

— Уехал, царица-матушка, ангел кротости,— уехал, уехал, не то спать поехал, не то в Немецкую слободу...

18

Еще на утренней заре потянулись в Преображенское кареты, колымаги, верхоконные... Бояре, генералы, полковники, вся вотчинная знать, думные дьяки — спешили поклониться вновь обретенному владыке. Протискиваясь через набитые народом сени, спрашивали с тревогой: «Ну, что? ну, как — государь?..» Им отвечали со странными усмешками: «Государь весел...»

Он принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами, кружками и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым. Не русской казалась царская видимость,— тонкого сукна иноземный кафтан, на шее — женские кружева, похудевший, со вздернутыми темными усиками, в шелковистом паричке, не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул.

В длинных шубах, бородою вперед, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину,— в ноги или в пояс, и тут только замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томоса и Секу, с овечьими ножницами.

Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело:

— Ишь — бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются... Уж одолжи мне ее на радостях...

Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава... Томос и Сека тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные, холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. Окромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, трясся, но царь сам подносил ему не малый стакан тройной перцовой:

— Выпей наше здоровье на многие лета... И Самсону власы резали... (Оглядывался блестящим взором на придворных, поднимал палец.) Откуда брадобритие пошло? Женской породе оно любезно,— сие из

Парижа. Ха, ха! (Два раза — деревянным смехом.) А бороду жаль,— в гроб вели положить, на том свете пристанет...

Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды, грози чем угодно,— не был бы столь страшен... Непонятный, весь чужой, подмененный,— улыбался так, что сердца захватывало холодом...

В конце стола суетился полячок — цирюльник, намыливая остриженные бороды, брил... Зеркало подставлял, проклятый, чтоб изувеченный боярин взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом, срамное лицо свое... Тут же, за столом, плакали пьяные из обритых... Только по платью и узнавали — генералиссимуса Шеина, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских... Царь двумя перстами брал обритых за щеку:

— Теперь хоть и к цесарскому двору — не стыдно...

19

Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Слуги хлопотали около него, одевая, завивая, пудря. На ковре шутили карл и карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюший, дворецкий, начальник стражи почтительно стояли в отдалении. Вошел Петр. Придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало:

— Не розыск был у них, преступное попущение и баловство... Шеин рассказал сейчас,— и сам, дурак, не понимает, что нить в руках держал... Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам: «Щуку-де вы съели, а зубы остались...»

В зеркале дикие глаза Петра потемнели. Лефорт, обернувшись, приказал людям выйти...

— Франц... Жало не вырвано!.. Сегодня бояр брил,— вся внутренность во мне кипела... Помыслю о сей кровожаждущей саранче!.. Знают, все знают,— молчат, затаились... Не простой был бунт, не

к стрельчихам шли... Здесь страшные дела готовились... Гангреной все государство поражено... Гниющие члены железом надо отсечь... А бояр, бородачей, всех связать кровавой порукой... Семя Милославского! Франц, сегодня ж послать указы,— из тюрем, монастырей везти стрельцов в Преображенское...

20

За обедом он опять как будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность—темный, пристальный взгляд: среди беседы и шуток вдруг, замолкнув, уставится на того или другого,— непроницаемо, пытливо,— нечеловечным взглядом... Дернет ноздрей и — снова усмехается, пьет, хохочет деревянно...

Иноземцы — военные, моряки, инженеры сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе,— они сжимались и разжимались. Лефорт рассказывал различные курьезите о любовницах французского короля. Становилось шумнее. Вдруг, высоко вскрикнув петушиным горлом, Петр вскочил, бешено перегнулся через стол к Шеину:

— Вор, вор!

Отшвырнув стул, выбежал. Гости смешались, поднялись. Лефорт кидался ко всем, успокаивая. Музыка гремела с хор. В сенях появились первые дамы, оправляя парики и платья... Взоры всех привлекла пышная синеглазая красавица, с высоко взбитыми пепельными волосами,— шелковые с золотыми кружевами юбки ее были необъятны, голые плечи и руки белы и соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно, по-ученому, присела, и так стояла, глядя вверх, в руке — роза.

Иноземцы торопливо спрашивали: «Кто эта?» Оказалось — дочь богатейшего купчины Бровкина,— Александра Ивановна Волкова. Лефорт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кланяясь. И снова — замешательство: дыша

ноздрями, вернулся Петр, зрачки его нашли Шеина,— выхватил шпагу и с размаху рубанул ею по столу перед лицом отшатнувшегося генералиссимуса. Полетели осколки стекол. Подскочил Лефорт. Петр ударил его локтем в лицо и второй раз промахнулся шпагой по Шеину.

— Весь твой полк, тебя, всех твоих полковников изрублю, вор, бл...ий сын, дурак...

Алексашка бросил даму, смело подошел к Петру, не берегясь шпаги, обнял его, зашептал на ухо. Шпага упала, Петр задышал в Алексашкин парик:

— Сволочи, ах, сволочи... Он полковничьими званиями торговал...

— Ничего, мин херц, обойдется, выпей венгерского...

Обошлось. Выпил венгерского, после сего погрозил пальцем Шеину. Подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос:

— А где Анна? Справлялся? Здорова? — Перекосив сжатый рот, взглянул на оранжевый закат за высокими окнами.— Постой, сам схожу за ней...

В домике у вдовы Монс бегали со свечками, хлопали дверьми, и вдова и сенные девки сбились с ног,— беда: Анхен разгневалась, что плохо были накрахмалены нижние юбки, пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху, в напудренном парике, но не одетая, в пудромантеле, зашивала чулок. Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок.

Анхен поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце.

21

Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую слободу, сажали под караул по избам и подвалам.

В конце сентября начался розыск. Допрашивали Петр, Ромодановский, Тихон Стрешнев и Лев Кирил-

лович. Костры горели всю ночь в слободе перед избами, где происходили пытки. В четырнадцати застенках стрельцов поднимали на дыбу, били кнутом, сняв — волочили на двор и держали над горящей соломой. Давали пить водку, чтобы человек ожил, и опять вздергивали на вывороченных руках, выпытывая имена главных заводчиков.

Недели через две удалось напасть на след... Овсей Ржов, не вытерпев боли и жалости к себе, когда докрасна раскаленными клещами стали ломать ему ребра, сказал про письмо Софьи, по ее-де приказу они и шли в Новодевичье — сажать ее на царство. Константин, брат Овсея, с третьей крови сказал, что письмо они, стрельцы, затоптали в навоз под средней башней Нового Иерусалима. Вскрылось участие царевны Марфы, карлицы Авдотьи и Верки — ближней к Софье женщины...

Но тех, кто говорил с пыток, было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах... В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него...

Ночи он проводил в застенках. Днем — в делах с иноземными инженерами и мастерами, на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту, какому-либо послу или генералу обедать. Часу в десятом, среди смеха, музыки, дурачества князь-папы — вставал,— прямой, со втиснутой в плечи головой,— шагал из пиршественной залы на темный двор и в таратайке по гололедице, укрывая лицо вязаным шарфом от ледяного ветра, ехал в Преображенское,— издали видное по тусклому зареву костров...

. . . .

Один из секретарей цезарского посольства записывал в дневнике то, что видел в эти дни, и то, что ему рассказывали...

«...Чиновники датского посланника,— писал он,— пошли из любопытства в Преображенское. Они обходили разные темничные помещения, направляясь туда, где жесточайшие крики указывали место наиболее грустной трагедии... Уже они успели осмотреть, содрогаясь от ужаса, три избы, где на полу и даже

в сенях виднелись лужи крови,— когда крики, раздирательнее прежних, и необыкновенно болезненные стоны возбудили в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе....

Но лишь вошли туда — как в страхе поспешили вон, ибо наткнулись на царя и бояр. Царь, стоявший перед голым, подвешенным к потолку человеком, обернулся к вошедшим, видимо крайне недовольный, что иностранцы застали его при таком занятии. Нарышкин, выскочив за ними, спросил: «Вы кто такие? Зачем пришли?..» И, так как они молчали, объявил, чтобы немедленно отправились в дом князя Ромодановского... Но чиновники, чувствуя себя неприкосновенными, пренебрегли этим довольно наглым приказанием. Однако в погоню за ними пустился офицер, намереваясь обскакать и остановить их лошадь. Но сила была на стороне чиновников,— их было много, и они были бодрее духом... Заметив все же, что офицер намеревается применить решительные меры, они убежали в безопасное место... Впоследствии я узнал фамилию этого офицера,— Алексашка,— царский любимец и очень опасен...»

. . . .

«...Определен новый денежный налог: на каждого служащего в приказах наложена подать соразмерно должности, которую он исправляет...

Вечером даны были во дворце Лефорта, с царскою пышностью, разные увеселения. Собрание любовалось зрелищем потешных огней. Царь, как некий огненный дух, бегал по обнаженному от листвы саду и поджигал транспаранты и фонтаны, мечущие искры. Царевич Алексей и царевна Наталья были тоже зрителями сих огней, но из особой комнаты... На состоявшемся балу единодушно красивейшей из дам признана Анна Монс, говорят, заменившая царю законную супругу, которую он собирается сослать в отдаленный монастырь...»

. . . .

«...Десятого октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе прилс-

гает возвышенная площадь. Это место казни: там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами казненных. Этот холм окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было московитян, влезших на крыши и ворота. Иностранцев, находившихся в числе простых зрителей, не подпускали близко к месту казни.

Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, приходилось долго ждать... Наконец его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между тем толпа осужденных наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело.

Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь поочередно... На лицах их не было заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти. Я не считаю мужеством подобное бесчувствие, оно проистекало у них не от твердости духа, а единственно от того, что, вспоминая о жестоких истязаниях, они уже не дорожили собой,— жизнь им опротивела...

Одного из них провожала до плахи жена с детьми,— они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху.

Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко:

«Посторонись-ка, государь, я здесь лягу...»

Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гордону на упорство стрельцов, даже под топором не желающих сознавать своей вины. Действительно русские чрезвычайно упрямы...»

. . . .

«У Новодевичьего монастыря поставлено тридцать виселиц четырехугольником, на коих 230 стрельцов повешены. Трое зачинщиков, подавших челобитную царевне Софье, повешены на стене монастыря

под самыми окнами Софьиной кельи. Висевший посредине держал привязанную к мертвым рукам челобитную».

. . . .

«Его царское величество присутствовал при казни попов, участников мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ломом, и затем они живыми были положены на колеса, третий обезглавлен. Еще живые, попы зловещим шепотом негодовали, что третий из них отделался столь быстрым родом смерти...»

. . . .

«Желая, очевидно, показать, что стены города, за которые стрельцы хотели силою проникнуть, священны и неприкосновенны, царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два мятежника. Таким способом казнено в этот день более двухсот человек... Едва ли столь необыкновенный частокол ограждал какой-либо город, каковой изобразили собою стрельцы, перевешанные вокруг всей Москвы».

. . . .

«...27 октября... Эта казнь резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными... Триста тридцать человек зараз обагрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской Думы, дьяки — по повелению царя — должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена; кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр... Все эти высокородные господа являлись на площадь, заранее дрожа от предстоящего испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить оный, собственноручно обезглавив осужденного.

Царь сидел в кресле, принесенном из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он

нездоров,— от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки...

Генерал Лефорт также был приглашен взять на себя обязанность палача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. Триста тридцать человек, почти одновременно брошенных на плахи, были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно: Борис Голицын ударил свою жертву не по шее, а по спине; стрелец, разрубленный, таким образом, почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Александр, ловко действуя топором, не поспешил отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день тридцать голов. Князь-кесарь собственной рукой умертвил четверых. Некоторых бояр пришлось уводить под руки, так они были бледны и обессилены».

. . . .

Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивала вьюга на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилось по темным углам. Кончалась византийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.

Книга вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей — не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою,— отвечали сторожа,— кругом шалят...»

Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, зябко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели,— открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды,— садиться на паперти. Ругались вполголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки.

Босой, вприскочку, бежал юродивый,— вонючий, спина голая, в голове еще с лета — репьи. На паперти так и ахнули: в руке у божьего человека — кусище сырого мяса... Опять, значит, такое скажет,— по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки,— ждет, когда народу соберется больше.

Стало видно на улице. Хлопали калитки. Шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками. Без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветреными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом,— видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья, обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. Три с половиной года,— сказано,— будет мнимое царство длиться...»

В прежние года в этот час в Китай-городе — шум и крик — тесно. Из Замоскворечья идут, бывало, обозы с хлебом, по ярославской дороге везут живность, дрова, по можайской дороге — купцы на тройках. Гляди сейчас,— возишка два расшпилили, торгуют тухлятиной. Лавки — половина заколочены. А в слободах и за Москвой-рекой — пустыня. На стрелецких дворах и крыши сорваны.

Начинают пустеть и храмы. Много народа стало отвращаться: православные-де попы на пироги прельстились,— заодно с теми, кто этой зимой на Москве казнил и вешал. На ином церковном дворе поп не начинает обедни, задрав бороду, кричит звонарю: «Вдарь в большой, дура-голова, вдарь громче...» Звони, не звони, народ идет мимо, не хочет креститься щепотью. Раскольники учат: «Щепоть есть кукиш, раздвинь пальцы, большой сунь меж ними. Известно, кто учит кукишем омахиваться».

Народу все-таки подваливало на улицах: боярская челядь, дармоеды, ночные разные шалуны, людишки, бродящие меж двор. Многие толпились у кабака, ожидая, когда отопрут,— нюхали: тянуло чесночком, постными пирогами. Из-за Неглинной шли обозы с порохом, чугунными ядрами, пенькой, железом. Раскатываясь на ухабах, спускались через Москву-реку на воронежскую дорогу. Конные драгуны, в новых нагольных полушубках, в иноземных шляпах,— усатые, будто не русские,— надрывались матерной руганью, замахивались плетями на возчиков. В народе говорили: «Немцы опять нашего-то на войну подбивают. Наш-то в Воронеже с немками, с немцами вконец оскоромился!»

Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабатчик-целовальник. Обмерли,— никто не засмеялся, понимали, что — горе: у целовальника лицо — голое,— вчера в земской избе обрили по указу. Поджал губы, будто плача, перекрестился на пять низеньких глав, хмуро сказал: «Заходите...»

Наискосок, на паперти, юродивый запрыгал по-собачьему, тряс зубами мясо. Бежали бабы, мужики,— дивиться... Счастье храму, где прибился юродивый. Но и опасно по нынешнему времени. У Старого Пимена прикармливали так-то юрода, он раз вошел в храм на амвон, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Поклоняйтеся, али меня не узнали?..» Юродивого с попом и дьяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю-кесарю, Федору Юрьевичу Ромодановскому.

Вдруг закричали: «Пади, пади!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды,— ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка,— на взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты...

А законную царицу Евдокию Федоровну этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь, навечно — слезы лить...

2

— Братцы, люди хорошие, поднесите... Ей-ей, томно... Крест вчера пропил...

— Ты кто ж такой?..

— Иконописец, из Палехи, мы — с древности... Такие теперь дела,— разоренье...

— Зовут как?

— Ондрюшка...

На человеке — ни шапки, ни рубахи — дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но — вежливый — человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно...

— Садись, чего уж...

Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик, с тонкой шеей, рассказывал:

— Казнили стрельцов. Ладно. Это — дело царское. (Поднял перед собой кривоватый палец.) Нас не касается... Но...

Мягкий посадский в стрелецком кафтане (многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки,— стрельчихи с воем, чуть не даром, отдавали рухлядь), посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику:

— То-та, что — но... Вот — то-та!..

Хитрый мужик, помахивая на него пальцем:

— Мы сидим смирно... Это у вас в Москве чуть что — набат... Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать... Не о том речь, посадский... Вы, дорогие, удивляетесь, почему к Москве подвозу нет? И не ждите... Хуже будет... Сегодня — и смех и грех... Привез я соленой рыбки бочку... Для себя солил, но провоняла. Стал на базар,— еще, думаю, побьют за эту вонищу,— в час, в два все расхватали... Нет, Москва сейчас — место погиблое...

— Ох, верно! — Иконописец всхлипнул.

Мужик поглядел на него и — деловито:

— Указ: к масленой стрельцов со стен поснимать, вывезти за город. А их тысяч восемь. Хорошо. А где подводы? Значит, опять мужик отдувайся? А посады на что? Обяжи конной повинностью посады.

Мягкие щеки посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику:

— Эх ты, пахарь... Ты бы походил зиму-то мимо стен... Метелью подхватит, начнут качаться... Довольно с нас и этого страха...

— Конечно, их легче бы сразу похоронить,— сказал мужик.— В прощеное воскресенье привезли мы восемнадцать возов, не успели расшпилить — налетают солдаты: «Опоражнивай воза!» — «Как? За-

чем?» — «Не разговаривай». Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку,— опрокинули, дьяволы. «Ступай, кричат, к Варварским воротам...» А у Варварских ворот навалено стрельцов сотни три... «Грузи, такой-сякой...» Не евши, не пивши, лошадей не кормили, повозили этих мертвецов до ночи... Вернулись на деревню,— в глаза своим смотреть стыдно.

К столу подошел незнакомый человек. Стукнув донышком, поставил штоф.

— На дураках воду возят,— сказал. Смело сел. Из штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом:— Бывайте здоровеньки.— Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках.

Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик:

— Мужик — дурак, дурак, знаешь,— мужик понимает... (Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крякнул.) Нет, дорогие мои... (Потянулся за чесночной головкой.) Утресь — видели — обоз пошел в Воронеж? Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные — плати, по кабальным — плати, кормовые боярину — дай, повытошные в казну — плати, мостовые — плати, на базар выехал — плати...

Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик пресекся,— шмыгнул.

— Ладно... Теперь — лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут... Нет, дорогие мои... В деревнях посчитайте,— сколько жилых-то дворов осталось? Остальные где? Ищите... Ныне наготове бежать мало не все. Мужик — дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть... (Взялся за бородку, поклонился.) — Мужик лапти переобул и па-ашел куда ему надо.

— На север. На озера... В пустыни!..— Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами.

Мужик отстранил: «Помолчи!..» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол:

— Ребята,— зашептал,— действительно, многие пугаются, уходят за Бело-озеро, на Вол-озеро, на Мат-

ка-озеро, на Выг-озеро... Там тихо... (Дрогнув вспухшими щеками.) Только те, кто уйдет,— те и живы будут...

У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз,— стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому...

— Он верно говорит... Мы в Палехе к великому посту шестьсот икон написали. По прежним годам это — мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палехе-та. Отчего? Письмо наше светлое, титл Исуса с двомя «иже». Рука, благословляющая со щепотью. И крест пишем — крыж — четырехконечный. Все по православному чину. Понятно? Те, кто у нас иконы берут,— гостинодворцы Корзинкин, Дьячков, Викулин,— говорят нам: «Так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные: на них, говорят, лапа...» — «Как лапа?» (Иконописец всхлипнул коротко. Посадский, низко склонясь над столом, застучал зубами.) «А так, говорят, след *его* лапы... Птичий след на земле видели,— четыре черты?.. И у вас на иконах тот же...» — «Где?» — «А крыж... Понятно? Вы, говорят, этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет...»

Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли... Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, поддакивал... и вдруг, оглянувшись, вытянул губы, зашептал:

— А табак? В каких книгах читано — человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чаво? За сорок за восемь тысяч рублев все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову — продавать табак. И указ, чтобы эту адскую траву-никоциану курили... Чьих рук это дело? А чай, а кофей? А картовь,— тьфу, будь она проклята! Похоть антихристова,— картовь! Все это зелье — из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики... Чай кто пьет — отчается... Кто кофей пьет — у того на душе ков... Да — тьфу! — сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое...

— Торгуешь-то чем? — спросил пегобородый.

— Да какая теперь торговля... Немцы торгуют, а мы воем. Овсея Ржова, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка... Вот моя лавка, вот их торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали... Говорил Овсей не раз: «Терпим за то, что тогда, в восемьдесят втором году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы, стрельцам, тогда за старую веру стать дружно... Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен... А теперь не знаем, как и душу спасти...» Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались... Нет стрельцов,— бери нас голыми руками... Всем морду обреют, всех заставят пить кофей, увидите...

— Вот хлеб съедим, к весне все разбредемся,— сказал мужик твердо.

— Братцы! — Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко.— Братцы, на севере — прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие...

В кабаке становилось все шумнее и жарче, бухала обитая рогожей дверь. Спорили пьяные, у стойки качался один, голый по пояс, без креста, молил — в долг чарочку... Одного выволокли за волосы в сени и там, надрывающе вскрикивая, били,— должно быть, за дело...

У стола остановился согнутый, едва не пополам, нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал:

— Откуда залетел, сокол?

— Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал...

— Онвад с унод? [1] — в половину голоса быстро спросил согнутый.

— Ступай,— мы здесь явно...

Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бороденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский,— испугавшись:

— Это — кто ж такой?

[1] Тарабарский язык, употреблявшийся владимирскими офенями, раскольниками, иногда и разбойниками. Слова говорились навыворот.

— Путник на сиротской дороге,— строго сказал пегобородый.

— По-каковски с тобой говорил-то?

— По-птичьи.

— А ведь он тебя будто признал, парень...

— А ты поменьше спрашивай, умнее будешь... (Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки.) Слухай теперь... Мы — с Дону, по торговому делу.

Посадский живо придвинулся, заморгал:

— Чего покупаешь?

— Огневое зелье,— нужно бочек десять. Свинцу пудов полсотни. Сукна доброго на жупаны. Железо подковное, гвозди. Деньги есть.

— Сукна доброго, железа достать можно... Свинец и порох — тяжело: мимо казны нигде не взять.

— То-то, что постараться — мимо казны.

— Есть у меня один подьячий. Нужны подарки.

— Само собой...

Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку, сказал, что постарается — сейчас приведет подьячего. Убежал. Мужику хотелось вмешаться в торговое дело. Наморща лоб, покашлял:

— Шерсть поярковая, кожи не надо тебе, милок? Ну,— скажите, пятьдесят пудов свинца... Воевать, казачки, что ли, собираетесь?

— Перепелов бить...

Пегобородый отвернулся. К нему опять подходил согнутый человек на клюках. Держа шапку с милостыней, сел рядом и — не глядя:

— Здравствуй, Иван...

— Здравствуй, Овдоким,— так же, не глядя, ответил пегобородый.

— Давно не видались, атаман...

— Побираешься?

— От немощи... Летась погулял в лесу легонько,— не те года... Надоело,— помирать надоть...

— Обожди немного...

— А что,— разве хорошее слышно?

Иван, усмехаясь, глядел сквозь чад на пьяных людишек. Глаза охолодели. Тихо — углом рта:

— Дон поднимаем.

Овдоким уткнулся в шапку, перебирал полушки.

— Не знаю,— проговорил,— слыхать — донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают...

— Пришлых много, гультяев. Они начнут, казаки подсобят... А не подсобят,— все равно — либо в Турцию уходить, либо под Москву в холопы, навечно... Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришлых велят выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют... Конец тихому Дону...

— Для такого дела нужен большой человек,— сказал Овдоким,— не вышло бы, как тогда, при Степане...[1]

— Человек у нас есть, не как Степан,— без ума голову свою потерял,— прямой будет вож... Весь раскол за ним встанет...

— Смутил меня, Иван, прельстил, Иван,— а уж я собрался на покой...

— Весной приходи. Нам старые атаманы нужны. Погуляем веселей, чем при Степане...

— Едва ли, едва ли... Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй...

Запыхавшись, вернулся посадский, подмигивал щекой. За ним шел важно лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами, в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Не здороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо — жаждущее, глаза — мутные, антихристовы, в ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь, из-за спины, ему на ухо:

— Кузьма Егорыч, вот человек, который...

— Блинов,— мятым голосом проговорил подьячий, не обращая внимания,— блинов с тешкой...

3

Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему — Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался — и грудь и под

---

[1] То есть при Степане Разине.

мышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно... Уа-ха-ха-ха-а-а...— позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало,— мутно и скучно.

В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку,— шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтораста, кто у возка — держат коней, кто бежит к воротам. Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину... Под ручки, под бочки подсаживали в возок... Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец — ждать, когда государевы светлые очи (а после — царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался...

Все минуло! Проснешься — батюшки! неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь... Вон висит на тесовой стене — где бы ничему не висеть — голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то на смех, не то в наказание. Терпи...

Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде — вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?

— Мишка! — сердито закричал боярин. (В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.) Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та... Лей на руки...

Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся,— противно такое бритое, колючее мыть... Ворча, сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.

— Это еще что? — крикнул Роман Борисович.

— Зубы чистить.

— Не буду!

— Воля ваша... Как царь-государь говорил надысь зубы чистить,— боярыня велела кажное утро подавать...

— Кину в морду блюдцем... Разговорчив стал...

— Воля ваша...

Одевшись, Роман Борисович подвигал телом,— жмет, тесно, жестко... Зачем? Но велено строго,— дворянам всем быть на службе в немецком платье, при алонжевом парике... Терпи!.. Снял с гвоздя парик (неизвестно — какой бабы волосы), с отвращением наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым.

— Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?

— Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим...

— Знаю... Не скаль зубы...

— Воля ваша...

Мишка открыл обитую сукном дверцу, в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вздел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем...

Было отчего задуматься... Ведь так если дальше пойдет,— всем великим родам,княжеским и дворянским, разорение, а про бесчестье и ругательство говорить не приходится. «Ишь ты,— взялись дворянство искоренять! Искорени... При Иване Грозном пробовали так-то — разорять княженецкие фамилии... Получилась гиль, смута... И ныне будет гиль... Становой хребет государству — мы... Разори нас,— и государства нет, жить незачем... Холопами, что ли, царь, будешь управлять?.. Чепуха!.. Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, па Кукуе пропил...»

Роман Борисович поправил очки, начал читать — гнусливо, по чину. Но мысли гуляли мимо строчек...

«Дворни пятьдесят душ взяли в солдаты... Пятьсот рублев взяли на воронежский флот... В воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну,— все амбары вычистили. Пшеницы было за три года урожая,— ждал, когда цену дадут... (От резкой досады горько стало во рту.) Теперь слышно — у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну... Солонины велено заготовить десять бочек... Ах, боже мой, солонина-то им зачем?..»

Читал. За слюдяным, в свинцовой раме, окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны...

«На масленой бесчестили великие фамилии!.. По триста человек ряженых налетало,— в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны. Пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют, дворовым девкам подолы обдерут... Кричат козлами, петухами, птицами».

Роман Борисович переступил с ноги на ногу,— вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами... И не смешно вовсе... Жена видела, Мишка видел... «Ох, господи! Зачем? К чему это?»

Роман Борисович с натугой размышлял: в чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут,— в мир-де пришел льстец. Католики и лютеране — его слуги, иноземные товары — все с печатью антихристовою. Настал-де конец света.

Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался. «Невероятно... Господь не допустит пропасть русскому дворянству. Обождать да потерпеть. Эх-хе-хе...»

Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик, покрытый ковром. Разогнув немалой толщины тетрадь, где было записано все касательно — кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами, или хлебом, или запасами,— медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами.

В палату вошел старший приказчик Сенка, взысканный из кабальных холопов за пронырливый ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель: до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал,

конечно, хотя — в меру, по совести, и — хоть режь его — никогда в воровстве не сознавался. Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду на толстых жабрах, возил и бил затылком о стену: «Украл, ведь украл, сознавайся!..» Сенка, не моргая, рыжими глазами глядел на боярина, как на бога. Только, когда оставят его бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет.

— Напрасно, Роман, Борисович, слуг бьешь так-то. Бог тебя простит, я перед тобой ни в чем не виноват...

Сенка влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая-чудотворца, поклонился боярину и стал на колени.

— Ну, Сенка, что скажешь хорошего?

— Все слава богу, Роман Борисович.

Сенка, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть — с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из сельца Иваньково и со вчерашнего вечера поставил на дворе на правёж...[1]

Роман Борисович удивился, приоткрыл рот,— неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь: Федька в прошлом году взял шестьдесят рублев,— избу-де новую справить, да сбрую, да лемех новый, да на семена... Коська взял тридцать семь рублев с полтиной, тоже, видно, врал, что на хозяйство...

— Ах сволочи, ах мошенники! Ты бить-то их велел батогами?

— С вечера бьют,— сказал Сенка,— двое приставлены к каждому — бить без пощады... Что ж, Роман Борисович, батюшка, вам горевать: Федька с Коськой не заплатят,— против их долга у нас кабальные расписки,— возьмем обоих в кабалу лет на десять. Нам рабы нужны...

— Деньги мне нужны, не рабы! — Роман Борисович бросил на стол гусиное перо.— Рабов пои-корми — царь опять в солдаты возьмет...

---

[1] Пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят.

— Деньги нужны — сделайте, как у Ивана Артемича, у Бровкина: поставил у себя полотняный завод в Замоскворечье, сдает в казну парусное полотно. От денег мошна лопается...

— Да, слышал... Врешь ты, чай, все.

Бровкинский полотняный завод давно не давал покою Роману Борисовичу, Сенка чуть не каждый день поминал про него: явно, хотел на этом деле уворовать не мало. А вот Нарышкин, Лев Кириллович (дядя государев), тот поступает вернее: деньги дает в Немецкой слободе одному голландцу, Ван-дер-Фику, и тот посылает их в Амстердам на биржу в рост, и Нарышкину с тех денег на каждый год идет с десяти тысяч шестьсот рублев одного росту. «Шестьсот рублев — не пито, не едено!..»

— Жили деды, забот не ведали,— проговорил Роман Борисович.— А государство крепче стояло. (Надел в рукава поданную Сенкой шубу на бараньем меху.) С государем сидели, думу думали,— вот какие были наши заботы... А тут не рад и проснуться...

Роман Борисович пошел по лестницам,— вниз и вверх,— по холодным переходам. По пути отворил забухшую дверь,— оттуда пахнуло кислым, горячим паром, в глубине едва были видны при горевшей лучине четыре мужика,— босые, в одних рубахах,— валявшие баранью шерсть.

— Ну, ну, работайте, работайте, бога не забывайте,— сказал Роман Борисович. Мужики ничего не ответили. Идя далее, открыл дверь в рукодельную светлицу. Девки и девчонки, душ двадцать, встав от столов и пялец, поклонились в пояс. Боярин закрутил носом.

— Ну, тут у вас и дух, девки... Работайте, работайте, бога не забывайте...

Заглянул Роман Борисович и в швальню и в кожевню, где в чанах кисли и дубились кожи. Угрюмые мужики-кожемяки мяли кожи руками... Сенка, вздув сальную свечу в круглом фонаре с дырочками, снимал тяжелые замки на чуланах и клетях, где хранились запасы. Все было в порядке. Роман Борисович спустился на широкий двор. Было уже светло, облачно. У ко-

лодца поили овец. От ворот до сеновала стояли возы с сеном. Мужики сняли шапки.

— Мужички, маловаты воза-то! — крикнул Роман Борисович...

Повсюду из ветхих изб и клетей, топившихся почерному, шли дымки, сбиваясь ветром,— застилали двор. Повсюду — кучи золы и навоза. Морозное тряпье хлопало на веревках. Около конюшни, лицом к стене, понуро переминались два мужика без шапок. Из конюшни, завидев на крыльце боярина, торопливо выбежали рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить мужиков по заду и ляжкам...

— Ой, ой, господи, за что?..— стонали Федька и Коська...

— Так, так, за дело, всыпь еще,— поддакивал с крыльца Роман Борисович.

Федька, длинный, рябой, красный мужик,— обернувшись:

— Милостивец, Роман Борисович, да нет у нас... Ей-богу, хлеб до рождества съели... Скотину, что ли, возьми,— разве можно эдакую муку терпеть...

Сенка сказал Роману Борисовичу:

— Скотина у него мелкая, худая, он врет... А можно взять у него девку,— в пол его долга. А остальное доработает.

Роман Борисович сморщился, отвернулся.

— Подумаю. Вечор потолкуем.

За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. «Ох, грехи тяжкие»,— пробормотал Роман Борисович, оглянул еще раз хозяйство и пошел в столовую палату — пить кофей.

. . . .

Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчовая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня — в русском, темного бархата, просторном летнике, на голове — иноземный чепец. Княжны — в немецких робах со шлёпами: [1] Наталья — в персиковом,

[1] Шлейф.

Ольга — в зеленом, полосатом, старшая — Антонида — в робе цвета «незабвенный закат». У всех волосы взбиты, посыпаны мукой. Щеки кругло нарумянены, брови подведены, ладони — красные.

Прежде, конечно, и Авдотье и девкам в столовую палату и ходу не было: сидели по светлицам у окошечек за рукодельем, в летнее время — в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату: «Где дочери? Посадить за стол...» (Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур — без памяти.) Царь помял каждую — за подбородок: «Танцевать умеешь?.. (Какое там,— у девок от стыда слезы из глаз прыщут.) Научить... К масленой плясали б минувет, польский и контерданс...» Взял князя Романа за кафтан, не шутя тряхнул: «Сделать в доме политес изрядный,— запомни!..» Девчонок посадили за стол, заставили пить вино... И дивно — пьют, бесстыжие... Недолго погодя смеяться начали, будто им и не в диковину...

Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзки, придирчивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят. Сидят с утра, разодевшись, делают плезир,— пьют чай и кофей.

Роман Борисович вошел в палату. Покосился на дочерей. Те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась:

— Здравствуй, батюшка...

Антонида зашипела на мать:

— Сядьте, мутер...

Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку калганной, закусить чесночком... Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут...

— Чего-то кофей не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли... Мать, поднеси крепкого.

— У вас, фатер, один разговор кажное утро — водки,— сказала Антонида,— когда вы только приучитесь...

— Молчи, кобылица,— закричал Роман Борисович,— ай, плетку возьму...

Княжны отвернули носы. Авдотья по-старинному, с поклоном, поднесла чарочку, шепнула:

— Да поешь ты, батюшка, вволю...

Выпил, отдулся. Грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжичков соленых рубленных, с лучком. Жуя пирожок маленький,— черт те с чем,— спросил про сына:

— Мишка где?

— Арифметику, батюшка, заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет...

Рябоватая Ольга, самая дотошная до политеса, проговорила, морща губы:

— Мишка все с мужиками да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился...

— Дитя он малое еще,— простонала Авдотья.

Молчали некоторое время, Наталья, младшая,— смешливая, вертлявая,— нагнулась к окошечку (в оконницы недавно вставили стекла вместо слюды).

— Ах, ах, девы! Гости приехали...

Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки — убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. Мажордом (по-прежнему — дворецкий), старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола — делать галант гостье: трясти перед собой шляпой, лягать ногами... А перед кем ломаться-то князю Буйносову! Эту боярыню Волкову семь лет назад Санькой звали, сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец, Ивашко Бровкин, был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться. Видишь ты,— мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала! Муж у царя в милости... (Муж ее приходился князю Роману двоюродным племянником.) Отцу дьявол помог, вылез в купчины, теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.

Мажордом раскрыл дверь (по-старинному — низенькую и узкую), зашуршало розово-желтое платье.

Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки, с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку,— атласный башмачок с каблуком вершка в два,— присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой, страусовыми перьями. Окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы:

— Бонжур, прынцес!

Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостью глазами. Роман Борисович взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу — откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.

— Ах, ах, куафа на китовом усе, конечно.

— А нам-то прутья да тряпки подкладывают.

Санька им отвечала:

— С куафер чистое наказанье: на всю Москву один. На масленой дамы по неделе дожидались, а которые загодя-то причесанные — так и спали на стуле... Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.

— Почтенному Ивану Артемичу поклон передайте,— сказал князь.— Как заводик его полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное...

— Тятенька в Воронеже. И Вася в Воронеже, при государе.

— Наслышаны, наслышаны, Александра Ивановна.

— Вася вчерась письмо прислал.— Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж (Роман Борисович заморгал: вот-вот сейчас женщина заголится), вытащила голубенькое письмецо.— Как бы Васю мово не послали в Париж...

— Что пишет? — кашлянув, спросил князь.— Про государя что отписывает?..

Санька долго разворачивала письмецо,— лоб наморщился. Щеки, шея залились краской. Шепотом:

— Читать не так давно научилась. Виновата...

Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам с

титлами и росчерками, стала читать, выговаривая медленно каждое слово:

«Сашенька, здравствуй, свет мой, на множество лет... У нас в Воронеже вот какие дела... Скоро флот будем спускать в Дон, и с тем наше житье здесь окончится... Пугать не стану, а стороной слышал, государь-де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее — в Париж. Не знаю, как и думать о сем: далеко, да и страшновато... Мы все, слава богу, здоровы. Герр Питер тебе кланяется,— поминали недавно за ужином. Он по вся дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди и скобы кует, сам и конопатит. И бороду брить недосуг: зело всех торопит, людей загонял. Но флот построили...»

Роман Борисович стучал по столу ногтями:

— Да... Конечно, флот, да... Сам кует, сам конопатит... Сил, значит, девать некуда...

Санька кончила чтенье. Тихонько вытерла губы. Сложила письмецо и — за корсаж.

— На святой государь вернется — в ноги ему брошусь... Хочу в Париж...

Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками: «Ах, и — ах, и — ах!» Княгиня Авдотья перекрестилась.

— Напугала, матушка, страсть какая,— в Париж... Чай, там погано!

У Саньки потемнели синие глаза, прижала перстни к груди:

— Так я скучаю в Москве!.. Так бы и полетела за границу... У царицы Прасковьи Федоровны живет француз — учит политесу, он и меня учит. Он рассказывает! (Коротко передохнула.) Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минувет, танцую лучше всех, голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу... Так стало скушно в Москве. Слава богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти...

. . . .

Боярыня Волкова уехала. Роман Борисович, посидев за столом, велел заложить возок — ехать на

службу, в приказ Большого дворца. Ныне всем сказано служить. Будто мало на Москве приказного люда. Дворян посадили скрипеть перьями. А сам весь в дегтю, в табачище, топором тюкает, с мужиками сивуху пьет...

— Ох, нехорошо, ох, скушно,— кряхтел князь Роман Борисович, влезая в возок...

4

У Спасских ворот, в глубоком рву, где надо льдом торчали кое-где сгнившие сваи, Роман Борисович увидел десятка два саней, покрытых рогожами. Понуро стояли худые лошаденки. Мужик на откосе лениво выкалывал пешней примерзший труп стрельца. День был серый. Снег—серый. По Красной площади, по навозным ухабам, брели сермяжные люди, повесив головы. Часы на башне заскрипели, захрипели (а, бывало, били звонко). Скучно стало Роману Борисовичу.

Возок проехал по ветхому мосту в Спасские ворота. В Кремле, как на базаре, люди ходят в шапках. У изгрызанной лошадьми коновязи стоят простые сани... Стеснилось сердце у Романа Борисовича. Опустело место сие, пресветлых очей нет, что вон в том окошечке царском теплились, как лампады во славу Третьего Рима. Скучно!

Роман Борисович остановился у приказного крыльца. Никого не было, чтобы вынуть князя из возка. Вылез сам. Пошел, отдуваясь, по наружной крытой лестнице. Ступеньки захожены снегом, наплевано. Сверху, едва не толкнув князя, сбежали какие-то человечишки в нагольных полушубках. Задний — пегобородый — нагло царапнул гулящим глазом... Роман Борисович, остановясь на пол-лестнице, негодующе стукнул тростью:

— Шапку! Шапку ломать надо!

Но крикнул на ветер. Такие-то порядки завелись в Кремле.

В приказе, в низких палатах,— угар от печей, вонь, неметеные полы. За длинными столами, локоть

к локтю, писцы царапают перьями. Разогнув спину, один скребет нечесаную башку, другой скребет под мышками. За малыми столами — премудрые крючки-подьячие,— от каждого за версту тянет постным пирогом,— листают тетради, ползают пальцами по челобитным. В грязные окошечки — мутный свет. По повыту, мимо столов, похаживает дьяк-повытчик в очках на рябом носу.

Роман Борисович важно шел по палатам, из повыта в повыт. Де́ла в приказе Большого дворца было много, и дела́ путаные: ведали царскую казну, кладовые, золотую и серебряную посуду, собирали таможенные и казацкие деньги и стрелецкую подать, ямские деньги и оброк с дворцовых сел и городов. Разбирались в этом только приказный дьяк да старые повытчики. Новоназначенные бояре сиживали целый день в небольшой, жарко натопленной палате, страдали в тесном немецком платье, глядели сквозь мутные окошечки на опустевший царский дворец, где, бывало, на постельном крыльце, на боярской площадке, хаживали они в собольих шубах, помахивали шелковыми платочками, судили-рядили о высоких делах.

Много страшных дел прошумело на этой площади. Вон с того ветхого, ныне заколоченного крыльца, по преданию, ушел с опричниками из Кремля в Александровскую слободу царь Иван Грозный, чтобы ярость и лютость обратить на великие боярские роды. Рубил головы, на сковородах жег и на колья сажал. Отбирал вотчины. Но бог не попустил вконец боярского разорения. Поднялись великие роды.

Вон из того деревянного терема с медными петухами на луковичной крыше выкинулся проклятый Гришка Отрепьев — другой разоритель преславного боярства русского. Пустыня осталась от московской земли, пожарища, кости человечьи на дорогах, но бог не попустил,— поднялись великие роды.

Ныне опять налезла гроза — по грехам нашим... «Э-хе-хе»,— скучливо кряхтели бояре в жаркой палате у окошечек. Видно, не мытьем хотят взять —

катаньем... Бороды все обрили, служить всем велели, сынов расписали по полкам, по чужим землям... «Э-хе-хе, не попустит бог и на этот раз...»

Войдя в палату, Роман Борисович увидел, что опять сегодня поднесли чего-то сверху. Старый князь Мартын Лыков тряс бабьими щеками. Думный дворянин Иван Ендогуров и стольник Лаврентий Свиньин, запинаясь, читали грамоту. Поднимая головы, только и могли молвить, что: «Ах, ах!»

— Князь Роман, сядь послушай,— едва не плача, сказал князь Мартын.— Что же будет-та? Теперь каждый и облает и обесчестит... Одна была управа, и ту отнимают.

Ендогуров и Свиньин сызнова начали читать по складам царский указ. В нем говорилось, что ему, царю и великому князю и пр., и пр., много докучают князья и бояре, и думные, и московские дворяне челобитными о бесчестье. Такого-то дня подана ему, царю и пр., челобитная от князя Мартына, княж Григорьева, сына Лыкова, в том, что его на постельном крыльце лаяли и бесчестили, и лаял-де и бесчестил его Преображенского полку поручик Олешка Бровкин... Проходя по крыльцу, кричал ему, князю Мартыну: «Что-де смотришь на меня *зверообразно,* я-де тебе ныне не холоп, ты прежде был князь, а ныне ты — *небылица...*»

— Мальчишка он, мужицкий сын, страдник,— князь Мартын тряс щеками,— тогда-то сгоряча я запамятовал, он хуже мне кричал...

— А что же он тебе тогда кричал, князь Мартын? — спросил Роман Борисович.

— Ну, чего, чего... Кричал, многие слышали: «Мартынушка-мартышка, плешивый...»

— Ай, ай, ай, обидно,— завертел головой Роман Борисович.— А что,— не сын ли это Ивана Артемича, Олешка?

— А черт его знает,— чей он сын...

— «Царь и великий князь и пр.,— читали далее Ендогуров и Свиньин,— чтобы ему не докучали в такое трудное для государства время, за докуку и себе в досаду повелел на челобитчике, князе Мар-

тыне, выправить десять рублев и те деньги раздать нищим и ныне челобитные о бесчестье воспретить...»

Окончив чтение, покрутили носами. Князь Мартын опять всполохнулся:

— Небылица! Потрогай меня,— какая же я небылица? Род наш — от князя Лычко! В тринадцатом веке вышел из Угорской земли Лычко-князь с тремя тысячами копейщиков. И от Лычки — Лыковы пошли и князья Брюхатые, и Таратухины, и Супоневы, и от младшего сына — Буйносовы...

— Врешь! Истинную несешь небылицу, князь Мартын! — Роман Борисович всем телом повернулся на лавке, навесив брови, засверкал взором (эх, не босые бы щеки, кривоватый голый рот,— совсем бы страшен был князь Роман)...— Буйносовы от века сидели выше Лыковых. Мы род свой от стольных черниговских князей считаем поименно. А вы, Лыковы, при Иване Грозном сами в родословец себя вписали... Черт его, князя Лычко, видел, как он вышел из Угорской земли...

У князя Мартына глаза стали вращаться, запрыгали мешки под глазами, задрожало, будто плачем, лицо с большой верхней губой.

— Буйносовы! Не в Тушине ли, в лагере, тушинский вор вам вотчины-то жаловал?

Оба князя поднялись с лавки, стали оглядывать друг друга от ног до головы. И быть бы лаю и шуму великому — не вступись Ендогуров и Свиньин. Усовестили, успокоили. Вытирая платками лбы и шеи, князья сели по разным лавкам.

. . . .

Скуки ради думный дворянин Ендогуров рассказывал, о чем болтают бояре в государевой Думе,— руками разводят, бедные: царь со своими советчиками в Воронеже одно только и знает,— денег да денег. Подобрал советчиков,— наши да иноземные купцы, да людишки без роду-племени, да плотники, кузнецы, матросы, вьюноши такие — только что им ноздри не вырваны палачом. Царь их воровские советы слушает. В Воронеже и есть истинная Дума государева. Жалобы со всех городов от посадских и

торговых людей так туда и сыплются: нашли своего владыку... И с этим сбродом хотят одолеть турецкого султана. В Москву писал один человек из посольства Прокопия Возницына, из Карловиц: турки-де над воронежским флотом смеются, дальше донского устья он не уйдет, весь сядет на мелях.

— Господи, да сидеть нам смирно, зачем нам турков дражнить,— сказал смирный Лаврентий Свиньин. (Троих сыновей его взяли в полки, четвертого — в матросы. Старик скучал.)

— Это — как смирно? — проговорил Роман Борисович, грозно раскрыв на него глаза.— Не должен бы ты, Лаврентий, по худости, наперед других встревать в разговор,— первое... (Ударил себя по ляжке.) Как, перед турками, перед татарами — смирно? А для чего мы князя Василия Голицына два раза в Крым посылали?

Князь Мартын,— глядя на печь:

— Не у всех вотчины за Воронежем да за Рязанью.

Роман Борисович дернул на него ноздрей, но пренебрег.

— В Амстердаме за польскую пшеницу по гульдену за пуд дают. А во Франции — и того дороже. В Польше паны золотом завалились. Поговори с Иваном с Артемичем Бровкиным, он расскажет, где денежки-то лежат... А я по винокурням прошлогодний хлеб Христа ради продал по три копейки с деньгой за пудик... Ведь досадно, мне — рядом: вот — Ворона-река, вот — Дон, и — морем пшеничка моя пошла... Великое дело: сподобил бы нас бог одолеть султана... А ты — смирно!.. Нам бы городишко один в море, Керчь, что ли, бы... И опять: мы, как Третий Рим,— должны мы порадеть о гробе господнем? Али мы совсем уже совесть потеряли?

— Султана не одолеем, нет. Зря задираемся,— облегченно сказал князь Мартын.— А что хлеба у нас досыта — и слава тебе, господи. С голода не помрем. Только не гнаться дочерям шлёпы навешивать да галант заводить дома...

Помолчав, глядя мимо раздвинутых колен на сучок в полу, Роман Борисович спросил:

— Хорошо. Кто же это шлёпы на дочерей навешивает?

— Конечно, таких дураков, которые еще в Немецкой слободе кофей покупают по два и по три четвертака за фунт, таких никакой мужик не прокормит.— Князь Мартын, косясь на печь, трепетал дряблым подбородком, явно опять нарывался на лай...

Дверь сильно толкнули. В духоту с мороза вскочил круглолицый, с приподнятым носом, румяный офицер, в растрепанном парике и надвинутой на уши небольшой треугольной шляпе. Тяжелые сапоги — ботфорты — и зеленый кафтан с широкими красными обшлагами закиданы снегом. Скакал, видимо, во всю мочь по Москве.

Князь Мартын, увидав офицера, стал разевать — разинул рот: это его обидчик, преображенский поручик Алексей Бровкин — из царских любимцев.

— Бояре, бросайте дела... (Алешка, торопясь, держался за распахнутую дверь.) Франц Яковлевич помирает...

Тряхнул париком, нагло (как все они — безродные выкормки Петровы) сверкнул глазами и понесся — каблуками, шпорами — по гнилым полам приказной избы. Вслед ему косились плешивые повытчики: «Потише бы надо, бесстрашной, здесь не конюшня».

5

Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками — датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капало с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах. Разгорячаясь все более, поднимал кубок из кокосового ореха и пил за братский союз царя Петра с королем датским и курфюрстом бранденбургским. Перед окнами двенадцать пушек на ярко-зеленых лафетах

враз (когда мажордом у окна взмахивал платком) ударяли громовым салютом. Клубы белого порохового дыма застилали солнечное небо.

Лефорт откидывался на золоченом стульчике, широко раскрывал глаза, завитки парика прилипали к побледневшим щекам:

— Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам... Рыбою одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей засеем хоть тысячи верст. А дикое поле — южные степи, где в траве скрывается всадник! Выбьем оттуда татар,— скота у нас будет как звезд на небе. Железо нам нужно? — руда под ногами. На Урале — горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас? Позовем англичан, голландцев. Своих заставим. Не оглянетесь — будут у нас всякие мануфактуры. Наукам и искусствам посадских людей обучим. Купца, промышленника вознесем, как и не чаяли.

Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланникам. От вина и его речей пришли они в изумление. В зальце было душно. Лефорт велел мажордому раскрыть оба окна и с удовольствием втягивал ноздрями талый, холодный воздух. До вечерней зари он осушал чаши за великие прожекты. Вечером поехал к польскому послу и там танцевал и пил до утра.

На другой день Франц Яковлевич, против обыкновения, почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог,— зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Он нюхал мочу и мокроты, цыкал языком, скреб нос. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство.

. . . .

Пастор Штрумпф (вслед за служкой, звонящим в колокольчик), держа над головой дары, с трудом протискивался в большом зале. Лефортов дворец гудел голосами,— съезжалась вся Москва. Хлопали

двери, дули сквозняки. Суетились потерянные слуги, иные уже пьяные. Жена Лефорта, Елизавета Францевна, встретила пастора у дверей в мужнину спальню,— увядшее лицо — в красных пятнах, унылый нос — исплакан. Малиновое платье кое-как зашнуровано, жиденькие прядки волос висели из-под парика. Адмиральша была до смерти напугана, видя столько подъезжающих знатных особ. По-русски она почти не говорила, всю жизнь провела в задних комнатах. Суя сложенные ладони в грудь пастору, шептала по-немецки:

— Что я буду делать? Такое множество гостей... Господин пастор Штрумпф, посоветуйте мне — может быть, подать легкую закуску? Все слуги — как сумасшедшие, никто меня не слушает. Ключи от кладовых под подушкой у бедного Франца. (Слезы полились из бледно-желтых глаз адмиральши, она стала шарить за лифом, вытащила мокрый платок, уткнулась в него.) Господин пастор Штрумпф, я боюсь выходить в зало, я так всегда теряюсь... Что будет, что будет, пастор Штрумпф?..

Пастор приличным случаю баском сказал адмиральше утешительные слова. Провел ладонью по сизообритому лицу, согнал с него земную суету и вошел в опочивальню.

Лефорт лежал на широкой измятой постели. Туловище его было приподнято на подушках. Щетина отросла на впавших щеках и на высоком черепе. Он дышал часто, со свистом, выпячивая желтые ключицы, будто все еще пытался влезть, как в хомут, в жизнь. Открытый рот запекся от жара. Жили одни глаза — черные, неподвижные.

Лекарь Поликоло отвел в сторону пастора Штрумпфа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами.

— Сухие жилы,— сказал он,— коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом, в сем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каждой минутой притекает к телу по все более узким канальцам, и надо ждать полного закрытия оных мокротами.

Пастор Штрумпф тихо сел у изголовья умирающего. Лефорт недавно очнулся от бреда и беспамятства и о чем-то заметно беспокоился. Услышав свое имя, он с усилием перевел было глаза на пастора и опять стал глядеть туда, где в камине дымило серое полено. Там, над каминными завитками, лежал Нептун — бог морей — с трезубцем, под локтем его из золоченой вазы лилась золотая вода, разбегаясь золотыми завитками. Посредине, в черной дыре, дымило полено.

Штрумпф, стараясь отвратить взор адмирала к распятию, говорил о надежде на вечное спасение, в коем не отказано никому из живущих... Лефорт что-то пробормотал невнятно. Штрумпф нагнулся к лиловым губам его. Лефорт — сквозь частое дыхание:

— Много не говори...

Все же пастор исполнил свой долг: дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях. Поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями, с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:

— Позови музыкантов... Друзей... Чаши...

На цыпочках вошли музыканты,— неодетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам и на шестидесяти рогах — серебряных, медных, и деревянных — заиграли менуэт, роскошный танец.

Мертвенно бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки,— вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть.

. . . .

Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти — Кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели: приворотным зельем опаивал он царя Петра,— да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему

стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо — Лефортов дворец...

Рассказывали: помирая, Лефорт приказал музыкантам играть, шутам скакать, плясицам плясать, и сам — зеленый, трупный — сорвался с постели, да и заскакал... А во дворце на чердаке, как завоет, засвищет нечистая сила!..

Семь дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. Четыре офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, четыре — внизу, у помоста. Вдова в скорбном платье сидела внизу перед помостом на раскладном стуле.

Бояре всходили на помост, свернув нос и губы в сторону,— чтобы не опоганиться,— касались щекой синей руки чертова адмирала. Потом, подойдя к вдове,— поясной поклон: пальцами до полу, и — прочь со двора...

На восьмой день из Воронежа, загонивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его,— шестерней — пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Разномастные лошади с трудом поводили мокрыми ребрами. Из-за полости высунулась рука,— шарила ремень — отстегнуть.

Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова, на крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.

— Отъезжай с клячами, ну, чего стал на дороге,— сказала она царскому кучеру.

Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из возка полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках. Вылез, высокий: Санька, глядя на него, задрала голову... Кругловатое лицо — осунувшееся, глаза — припухшие, темные усики — торчком. Батюшки,— царь!

Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись. Узнал посаженую дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта. Сказал глухо:

— Горе, горе...— И пошел во дворец, размахивая рукавами тулупа. Санька — за ним.

Вдова на стуле, увидев царя, обомлела. Сорвалась. Хотела пасть в ноги. Петр обнял ее, прижал, поверх ее головы глядел на гроб. Подбежали слуги. Сняли с него тулуп. Петр косолапо, в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик, и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном, затылок натянулся.

У Саньки, глядевшей на его спину, глаза раскисли от слез,— подпершись по-бабьи, тихо, тонко выла. Так жалела, так чего-то жалела... Он пошел с помоста, сопя, как маленький. Остановился перед Санькой. Она горько закивала ему.

— Другого такого друга не будет,— сказал он. (Схватился за глаза, затряс темными, слежавшимися за дорогу, кудреватыми волосами.) — Радость — вместе и заботы — вместе. Думали одним умом...— Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В зало входили, торопливо крестясь, бояре — человек десять.

По месту — старшие первыми — они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи.

Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже,— стоял чужой, надменный. Раздувались крылья короткого носа.

— Рады, рады, вижу! — сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок.

6

Этой осенью в Немецкой слободе, рядом с лютеранской киркой, выстроили кирпичный дом по голландскому образцу, в восемь окон на улицу. Строил

приказ Большого дворца, торопливо — в два месяца. В дом переехала Анна Ивановна Монс с матерью и младшим братом Виллимом.

Сюда, не скрываясь, ездил царь и часто оставался ночевать. На Кукуе (да и в Москве) так этот дом и называли — царицын дворец. Анна Ивановна завела важный обычай: мажордома и слуг в ливреях, на конюшне — два шестерика дорогих польских коней, кареты на все случаи.

К Монсам, как прежде бывало, не завернешь на огонек аустерии — выпить кружку пива. «Хе-хе,— вспоминали немцы,— давно ли синеглазая Анхен в чистеньком передничке разносила по столам кружки, краснела, как шиповник, когда кто-нибудь из добряков, похлопав ее по девичьему задку, говорил: «Ну-ка, рыбка, схлебни пену, тебе цветочки, мне пиво...»

Теперь у Монсов бывали из кукуйских слобожан лишь почтенные люди торговых и мануфактурных дел, и то по приглашению,— в праздники, к обеду. Шутили, конечно, но пристойно. Всегда по правую руку Анхен сидел пастор Штрумпф. Он любил рассказывать что-нибудь забавное или поучительное из римской истории. Полнокровные гости задумчиво кивали кружками с пивом, приятно вздыхали о бренности. Анна Ивановна в особенности добивалась приличия в доме.

За эти годы она налилась красотой: в походке — важность, во взгляде — покой, благонравие и печаль. Что там ни говори, как ни кланяйся низко вслед ее стеклянной карете,— царь приезжал к ней спать, только. Ну, а дальше что? Из Поместного приказа жалованы были Анне Ивановне деревеньки. На балы могла она убирать себя драгоценностями не хуже других, и на грудь вешала портрет Петра Алексеевича, величиной в малое блюдце, в алмазах. Нужды, отказа ни в чем не было. А дальше дело задерживалось.

Время шло. Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от южного моря к северному. Анна Ивановна слала ему письмеца, и — при каждом случае — цитронов, апельсинов по полдю-

жине (доставленных из Риги), колбасы с кардамоном, настоечки на травах. Но разве письмецами да посылками долго удержишь любовника? Ну, как привяжется к нему баба какая-нибудь, въестся в сердце? Ночи без сна ворочалась на перине. Все непрочно, смутно, двоесмысленно. Враги, враги кругом — только и ждут, когда Монсиха споткнется.

Даже самый близкий друг — Лефорт,— едва Анна Ивановна околицами заводила разговор — долго ли Питеру жить в неряшестве, по-холостецки,— усмехался неопределенно,— нежно щипал Анхен за щечку: «Обещанного три года ждут...» Ах, никто не понимал: даже не царского трона, не власти хотела бы Анна Ивановна,— власть беспокойна, ненадежна... Нет, только прочности, опрятности, приличия...

Оставалось одно средство — приворот, ворожба. По совету матери, Анна Ивановна однажды, вставши с постели от спящего крепко Петра, зашила ему в край камзола тряпочку маленькую со своей кровью... Он уехал в Воронеж, камзол оставил в Преображенском, с тех пор ни разу не надевал. Старая Монсиха приваживала в задние комнаты баб-ворожей. Но открыться им — на кого ворожить — боялись и мать и дочь. За колдовство князь-кесарь Ромодановский вздергивал на дыбу.

Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну простой человек (с достатком),— ах, променяла бы все на безмятежную жизнь. Чистенький домик,— пусть без мажордома,— солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках, пахнет из кухни жареным кофе, навевая успокоение, звякает колокол на кирке, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна за рукодельем...

Со смертью Лефорта будто черная туча легла на голову Анны Ивановны. Она столько плакала за эти семь дней (до приезда Питера), что старая Монсиха велела привезти лекаря Поликоло. Тот приказал промывательное и очистительное, чтобы удалить излишние мокроты, появившиеся в крови вследствие огорчения. Анна Ивановна — сама хорошенько не по-

нимая почему — с ужасом ожидала приезда Питера. Вспоминалось его землистое лицо со щекой, раздутой от зубной боли, когда он после самой страшной из стрелецких казней сидел у Лефорта. В расширенных глазах застыл гнев. Красные от мороза руки лежали перед пустой тарелкой. Не ел, не слушал застольных шуток. (Шутили, стуча зубами.) Не глядя ни на кого, заговорил непонятно:

— Не четыре полка, их — легион... На плахи ложились — все крестились двумя перстами... За старину, за нищенство... Чтобы наготова́ть и юродствовать... Посадские люди! Не с Азова надо было начинать,— с Москвы!

По сей день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера в то время. Чувствовала, в жестокие тревоги толкает ее от тихого окна этот мучительный человек... Зачем? Уж не антихрист ли и вправду он, как шепчут русские? По вечерам в постели, при кротком свете восковой свечи, Анна Ивановна, ломая руки, плакала отчаянно:

— Мама, мама, что я сделаю с собой? Я не люблю его. Он придет — нетерпеливый... Я — мертвая... Может быть, мне лучше лежать в гробу, как бедному Францу.

Неприбранная, с припухшими веками, неожиданно утром она увидела в окно, как за изгородью на ухабистой улице остановился царский возок. Не засуетилась на этот раз: пусть — какая есть,— в чепце, в шерстяной шали. Идя через садик, Петр тоже увидел ее в окошке, покивал без улыбки. В сенях вытер о коврик ноги. Трезвый, смирный.

— Здравствуй, Аннушка,— сказал мягко. Поцеловал в лоб.— Осиротели мы.— Сел у стены, около стенных часов, медленно качавших смеющимся медным лицом на маятнике. Говорил вполголоса, будто дивясь, что смерть так неразумно оплошала.— Франц, Франц... Плохим был адмиралом, а стоил целого флота. Это — горе, это — горе, Аннушка... Помнишь, как в первый раз привел меня к тебе, ты еще девочка была,— испугалась, как бы я не сломал

музыкальный ящик... Не того смерть унесла... Нет Франца! — непонятно...

Анна Ивановна слушала,— закрылась до самых глаз пуховой шалью. Не приготовилась — не знала, что ответить. Слезы ползли под шаль. За дверью осторожно позвякивали посудой. Всхлипнув носом, полным слез, пробормотала, что Францу, наверно, хорошо сейчас у бога. Петр странновато взглянул на нее...

— Питер, вы ничего не ели с дороги, прошу вас остаться откушать. Как раз сегодня ваши любимые поджаренные колбаски...

С тоской видела, что и колбаски его не прельстили. Присела рядом, взяла его руку, пахнущую овчиной, стала целовать. Он другой рукой погладил ей волосы под чепцом:

— Вечерком заеду на часок... Ну, будет тебе, будет,— всю руку замочила... Поди принеси колбаску, чарку водки... Поди, поди... А то мне дела много сегодня...

7

Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. За колесницей цугом (в шестнадцать вороных коней) несли на подушках шляпу, шпагу и шпоры адмирала. Ехал всадник в черных латах и перьях, держа опрокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье. За ними — бояре, окольничие, думные и московские дворяне — до тысячи человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев.

Не видя поблизости царя, кое-кто из бояр понемногу рысью опережал иноземных послов, чтобы первым быть в шествии. Послы пожимали плечами, перешептывались. У кладбища их совсем оттерли. Роман Борисович Буйносов и весьма глупый князь Степан Белосельский брели у самых колес, держась за колесницу. Многие русские были навеселе: собрались к выносу чуть свет, подвело животы, не дожидаясь по-

минок, потеснились у столов, уставленных блюдами с холодной едой, поели и выпили.

Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича:

— Почему они вперед послов пролезли? Кто велел?

— Я уж срамил, лаял, не слушают,— тихо ответил Лев Кириллович.

— Собаки! (И — громче.) Собаки, не люди! — Дернул шеей, завертел головой, лягнул ботфортом. Послы и посланники протискивались сквозь раздавшуюся толпу бояр к могиле, где один, около открытого гроба, чужой всем, озябший, в суконном кафтанишке, стоял царь. Все со страхом глядели, что́ он еще выкинет. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.

— Закрывай... Опускай...

Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить,— огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:

«Чертушку похоронили, а другой остался,— видно, еще мало людей перевел».

8

Торговых и промысловых дел добрые люди, оставя сани за воротами и сняв шапки, поднимались по длинной — едва не от середины двора — крытой лестнице в Преображенский дворец. Гости[1] и купцы гостиной сотни приезжали на тройках, в ковровых санях,— входили, не робея, в лисьих, в пупковых шубах гамбургского сукна. Обветшалая палата была плохо топлена.

[1] Торговые агенты правительства из богатых купцов.

Бойко поглядывая на прогнувшийся щелястый потолок, на траченное молью алое сукно на лавках и дверях, говорили:

— Строеньице-то — не ахти... Она и видна боярская-то забота. Жалко, жалко...

Собрали сюда торговых людей наспех, по именным спискам. Кое-кто не приехал, боясь, как бы не заставили есть из никонианской посуды и курить табак. Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан великий указ: «Известно государю учинилось, что гостям и гостиныя сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах *чинятся большие убытки и разорение*... Милосердуя, он, государь, об них указал: во всяких их расправных, судных и челобитных, и купецких делах, и в сборах государственных доходов — *ведать бурмистрам их и в бурмистры выбирать* им меж себя погодно добрых и правдивых людей,— кого они меж себя похотят. А из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом...» В городах, в посадах и слободах указано ж выбирать для суда и расправы и сбора окладных податей земских бурмистров из лучших и правдивых людей, а для сбора таможенных пошлин и питейных доходов выбирать таможенных и кабацких бурмистров — кого похотят. Бурмистрам *думать* и торговыми и окладными делами *ведать* в особой Бурмистерской палате, и ей со спорами и челобитными входить — мимо приказов — к одному государю.

Для Бурмистерской палаты отведено было в Кремле, близ храма Иоанна-Предтечи, строение староцарского дворца, с подвалами — где хранить казну.

Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег (давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской — теперь сами там сели): ветхий дворец покрыли новой крышей — под серебро, покрасили снаружи и внутри, вставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу,

За избавление от воеводского разорения и приказной неправды купечество должно было теперь платить двойной против прежнего оклад. Казне — явная прибыль. Ну, а купечеству? — как сказать...

Действительно, от воевод, от приказных людей и людишек не стало житья: алчны, как волки, не убережись — горло перервут, в Москве затаскают по судам, разденут, а в городах и посадах затомят на правеже на воеводином дворе. Это все так...

Но многие,— конечно, кто похитрее,— оберегались и жили не совсем плохо: воеводе поклонился рублем, подьячему послал сахарцу, сукнеца или рыбки, повытчика зазвал откушать чем бог послал. У иного богатея не то что воевода или приказный — дьявол не дознается, сколько у него товаров и денег. Конечно, такие орлы,— Митрофан Шорин — первый купец гостиной сотни, или Алексей Свешников,— эти,— как на ладони, к ним на двор и митрополит ездит. Рады платить хоть тройной оклад в Бурмистерскую палату,— там им честь, и сила, и порядок. Ну, а, скажем, Васька Ревякин старший? В лавчонке его в скобяном ряду товару на три алтына,— сидит, глаза тряпочкой вытирает. А, между прочим, знающие люди говорят: кабальных душ крестьянских за ним, посчитать, тысячи три. Не то что мужик или посадский,— редкий купец не бывал у него в долгу по тяжелой записи. И нет такого города, такого посада, где бы Ревякин не держал скобяного склада и лавчонки, и все это у него записано на родственников и приказчиков. Ухватить его никакими средствами нельзя: как налим — гол и скользок. Ему Бурмистерская палата — разорение,— от своих не скроешься.

В ожидании царского выхода купечество — постарше сидели на лавках, меньшие стояли. Понимали: нужны, значит, денежки надёже-государю, хочет поговорить по душам. Давно бы так,— по душам-то... Бывавшие здесь впервые не без страха поглядывали на раскрашенные львами и птицами двери сбоку тронного места (трона не было, остался один балдахин).

Петр вышел неожиданно из боковой дверцы,— был в голландском платье,— красный, видимо выпивший.

«Здорово, здорово»,— повторял добродушно, здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним — несколько человек: Митрофан Шорин и Алексей Свешников (в венгерских кафтанах); братья Осип и Федор Баженины — серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах; низенький и важный Иван Артемич Бровкин — скоробогатей — обрит наголо, караковый парик до пупа; суровый думный дьяк Любим Домнин и какой-то — по одеже простой посадский — неведомый никому человек, с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех.

Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени. «Садитесь, садитесь»,— сказал придвинувшемуся купечеству. Помялись. Он велел, дернул головой. Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Домнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них:

— Вот таких бы побольше у нас... Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать... В Англии, в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры, и нам — ввести тот же обычай. Верно я говорю? (Обернулся направо, налево. Приподнял бровь.) Вы что мнетесь? Денег, боитесь, буду у вас просить? По-новому надо начинать жить, купцы, вот что я хочу...

Момонов, богатый суконщик, спросил, поклонясь:

— Это как — по-новому жить, государь?

— Отучаться жить осóбе... Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя, вы — люди торговые... Учиться надо торговать не в одиночку — кумпаниями. Ост-Индская кумпания в Голландии — милое дело: сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли... Нам у них учиться... В Европе — академии для сего. Желаете — биржу построим не хуже, чем в Амстердаме. Составляйте кумпании,

заводите мануфактуры... А у вас одна наука: не обманешь — не продашь...

Молодой купчик, влюбленно глядевший на царя, вдруг ударил шапкой о руку:

— Это верно, у нас это так...

Его стали тянуть за полу в толпу. Он,— вертя головой, пожимая плечами:

— А что? Разве не правда? На обмане живем, один обман,— обвешиваем, обмериваем...

Петр засмеялся (невесело, баском, кругло раскрыв рот). Близстоящие также посмеялись вежливо. Он, оборвав смех,— строго:

— Двести лет торгуете,— не научились... Возле богатства ходите... Опять все то же убожество, нагота. Копейку наторговал и — в кабак. Так, что ли?

— Не все так, государь,— проговорил Момонов.

— Нет так! (Раздувая ноздри.) За границу поезжайте, поглядите на тех купцов,— короли! Нам ждать недосуг, покуда сами научитесь... Иную свинью силой надо в корыто мордой совать... Почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое... Лес, руды, промыслы... Почему свои не могут? В Воронеж, черт те откуда, один человек приехал, такие развел тарара, такие прожекты! У вас, говорит, золотой край, только люди вы бедные... Отчего сие? Я смолчал... Спрашиваю,— или не те люди живут в нашем краю? (Оглянул купцов вылезшими глазами.) Бог других не дал. С этими надо справляться, так, что ли? Мне русские люди иногда — поперек горла... Так уж поперек. (Ухо у него натянулось, шейная жила вот-вот дернется.)

Тогда Иван Артемич, сидевший рядом с ним, проговорил добро, нараспев:

— Русских били много, да били без толку, вот и уроды получились.

— Дурак! — крикнул Петр.— Дурак! — И локтем ткнул его в бок.

Иван Артемич — еще придурковатее:

— Ну, вот, а я-то что говорю...

Петр с минуту бешено глядел на лоснящееся, придурковато сощуренное, с дурацкой улыбкой лицо Бровкина. Ладонью щелкнул его по лбу:

— Ванька, шутом быть тебе еще не велено!

Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве — не разумно. Купцы — не бояре: тем податься некуда, вотчину в кармане не унесешь. Купец, как улитка: чуть что — рожки спрятал и упятился с капиталом... Действительно, в палате стало тихо, отчужденно. Иван Артемич хитрой щелкой глаза повел на Петра.

— Читай, Любим,— сказал Петр дьяку.

Братья Баженины опять почтенно потупились. Любим Домнин высоким голосом сухо, медленно читал:

— «...дана сия милостивая жалованная грамота за усердное радение и к корабельному строению тщание... В прошлом году Осип и Федор Баженины в деревне Вовчуге построили с немецкого образца водяную пильную мельницу *без заморских* мастеров, сами собою, чтобы на той мельнице лес растирать на доски и продавать в Архангельске иноземцам и русским торговым людям. И они лес растирали, и к Архангельску привозили, и за море отпускали. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. И мы, великий государь, их пожаловали,— велели им в той их деревне строить корабли и яхты и, которые припасы к тому корабельному строению будут вывезены из-за моря, пошлин с них имать не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы,— держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелье против иных торговых иноземческих кораблей...»

Долго читал дьяк. Свернул в трубку грамоту с висящей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги,— все чин чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уже не по царскому обычаю,— ликуясь щечкой,— а в рот, крепко.

— То дорого, что почин,— сказал он купечеству. Отыскал бегающими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородой, залысым лбом.— Демидыч! (Тот, резко пхаясь, пролез сквозь толпу.) — Демидыч, поклонись купечеству... Никита Демидов Антуфьев — тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него коротки. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо — земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, я за тебя поручусь...

9

— Ты кто? Тебе зачем? Кого здесь нужно?

Суровая широкоплечая баба недобрым взглядом осматривала Андрея Голикова (палехского иконописца). У него под коричневой, в дырах и клочьях, сермягой пупырчатая кожа мелко дрожала. Дул сырой мартовский ветер. Свистели голые кусты на обветшалой стене Белого города. Тревожно кричали вороны, взлетая,— косматые и голодные,— над кучами мусора. Неперелазные заборы купца Василия Ревякина тянулись вдоль сошедшихся углом московских стен. Место было угрюмое, переулки тесные, пустынные.

— От старца Авраамия,— прошептал Андрей, плотно приложил два перста ко лбу. За спиной бабы, на разъезженном колеями дворе, у покосившихся амбаров, вставали на дыбки на цепях поджарые кобели... Андрюшка весь обледенел, горячи были одни глаза. Баба, помедлив, пропустила его на двор, указала идти по брошенным в грязь доскам к высокому и длинному строению, без лестницы и крыльца. Под самой крышей хлопали ставни на слюдяных окошечках.

Спустились в темные сени, где пахло кадками. Баба толкнула Андрюшку.

— Ноги вытри о солому, не в хлеву,— и, подождав,— все так же недружелюбно: — во имя отца и сына и святого духа.

Отворила низенькую дверь в подклеть. Здесь было жарко, углями из печи озарялись в углу темные доски

икон. Андрей долго крестился на страшные глаза древних ликов. Робея, остался у двери. Баба села. За стеной глухо пели многие голоса.

— Зачем тебя старец послал?

— На подвиг.

— Какой?

— На три года к старцу Нектарию.

— К Нектарию,— протянула баба.

— Сюда послал, чтобы к нему дорогу указали. В мире жить не могу,—телу голодно, душе страшно. Боюсь. Ищу пустыни, райского жития... (Андрюшка потянул носом.) Смилуйся, матушка, не прогони.

— Старец Нектарий сотворит тебе пустыню,— проговорила баба загадкой. Видные от света углей глаза ее сузились.

Андрей стал рассказывать: вот уже более полугода он бродит меж двор, умирает голодною и озябает студеною смертью. Связывался со всякими людьми, подбивали его на воровские дела. «Не могу, душа ужасается». Рассказывал, как этой зимой в снежные вьюги ночевал под худыми крышами городских стен: «Соломки достану, рогожей укроюсь. Вьюга воет, снег крутит, мертвые стрельцы на веревках пляшут, о стену бьются. Взáлкал в эти ночи тихого пристанища, безмолвного жития...»

Расспросив доточно про старца Авраамия, баба со вздохом поднялась: «Иди за мной». Повела Андрюшку опять через темные сени вниз по ступеням. Велев быть на нищем месте, впустила в подполье, где пели голоса. Горячо пахнуло воском и ладаном. Человек тридцать и более стояло на коленях на скобленом полу. За бархатным аналоем читал кривоплечий человек в черном подряснике и скуфье. Перелистывая ветхую страницу рукописного требника, поднимал клочкастую бороду к свечным огням. По всей стене, даже от пола, горели свечи перед большими и малыми иконами старого новогородского письма.

Служили по беспоповскому чину. Пели сумрачно, гнусовато. Направо от старца, впереди молящихся, на коленях стоял маленький козлинобородый Василий Ревякин. Перебирал лествицу, то вскидывал глаза на

лики, то, чуть обернувшись, косился,— и под глазком его молящиеся истовее клали поклоны, даже до изъязвления лба.

Кривоплечий старец закрыл книгу, поднял ее над головой, повернулся: выдранная клочками борода, нестарое лицо с перешибленным носом. Вперясь расширенными зрачками будто в страшное видение, разинув рот с выбитыми зубами, возопил:

— Праведного Ипполита, папы римского, словеса помянем: «По пришествии времени антихристова церковь божия позападает и упразднится жертва бескровная. Прельщение содеется в градах и в селах, в монастырях и в пустынях. И никто не спасется, только малое число...»

Страшен был голос. Молящиеся упали на лица, содрогались плечами. Старец стоял со вздетой книгой, покуда плач не стал всеобщим.

. . . .

— Братие, что я вам расскажу (окончив службу, говорил старец, схватясь за деревянный крест на груди). Была надо мной милость божия. Привел господь меня на Вол-озеро, в пустынь, к старцу Нектарию. Поклонился я старцу, и он спросил меня: «Что хочешь: душу спасти или плоть?» Я сказал: «Душу, душу!» И старец сказал: «Благо тебе, чадо». И душу мою спасал, а плоть умерщвлял... Кушали мы в пустыне вместо хлеба траву папорть, и кислицу, и дубовые желуди, и с древес сосновых кору отымали и сушили и, со рыбою вместе истолокши,— то нам и брашно было. И не уморил нас господь. А како я терпел от начальника моего с первых дней: по дважды на всякий день бит был. И в светлое воскресенье дважды был бит. И того за два года сочтено у меня по два времени на всякий день — боев тысяча четыреста и тридесять. А сколько ран и ударов было на всякий день от рук его честных — того и не считаю. Пастырь плоть мою сокрушал: что ему в руках прилучилось — тем и жаловал меня, свою сиротку и малого птенца. Учил клюкою и пестом, чем в ступе толкут, и кочергою, и поварнями, в чем яству варят, и рогаткою, чем тесто творят... Того ради тело мое начальник изъязв-

лял, чтобы душа темная просветилась... Коромыслом, на чем ушаты с водою носят, тем древом из ноги моей икра выбита, чтобы ноги мои на послушание готовы были. И не только древом всяким, но и железом, и каменением, и за власы рванием, а ино и кирпичом тело мое смирял. В то время персты рук моих из суставов выбиты, и ребра мои и кости переломаны. И господь не уморил меня. Ныне немощен телом, но духом светел... Братие, не разленитесь о душе своей!

. . . .

— Не разленитесь о душе своей,— три раза провопил старец, немилосердно въедаясь глазами в оробевшую паству. Здесь были всё родственники, свояки, крепостные люди Василия Ревякина; его приказчики, амбарные и лавочные сидельцы. Слушая, они сокрушенно вздыхали. Иные не вытерпливали исступленного взгляда старца. Андрей Голиков сгибался от рыданий, схватив себя за щеки, плакал, желтые лучи от огоньков свечей сквозь слезы колыхались по всей моленной, будто крылья архангелов.

Старец поясно поклонился пастве и отошел. На место его встал сам Василий Ревякин, низенький, седатый, вместо глаз — две морщины, где непойманно бегали зрачки. Перебирая лествицу, тихо, человечно заговорил:

— Дорогие мои, незабвенные... Страшно! Возлюбленные, страшно! Был светел день, нашла туча, все житие наше смрадом покрыла... (Оглянулся через правое, через левое плечо, будто не стоит ли кто за ним. Мягко в чесаных валеночках шагнул вперед.) Антихрист уж здесь. Слышите? Воссел на куполах церкви никонианской. Щепоть — печать его, щепотникам нет спасения: уж пожраны суть... И тем, кто пьет и ест со щепотниками, нет спасения. Кто от попа таинство примет — нет спасения,— просфоры их клейменые и священство их мнимое... Как нам спастись? Мы слышали, как спасаются-то. Никого не держу,— идите, уходите, милые, примите муки, просветитесь. Лишними заступниками будете за нас, грешных и слабых. Может, и сам я уйду... Амбары, лавки закрою, товары, животишки раздам нищим. Единое спасе-

ние — дедовская вера, послушание да страх... (Горько помотал бородкой, вытер ресницы суконным рукавом. Паства затихла. Не дышали, не шевелились.) Благо, кому вместится... А кому не вместится — и тот не отчаивайся... Старцы замолят. Одного больше смерти бойтесь — как бы лукавый под локоть не толкнул... Не прежние времена: слуги его невидимые обступили каждого, только того и ждут... Согреши, душой покриви, копейку утаи от хозяина... Будто бы — малость? Копейка! Нет... Кинутся на тебя, и пропал,— на вечную муку... Бойтесь, чтобы старцы молиться за вас не перестали... (Еще шагнул вперед, лестовкой хлестнул себя по ляжке.) Ишь ты, прельщение какое: Бурмистерская палата!.. Вот где — ад, прямой ад... От древности купечество платило оклады в казну, и за всем тем мое тайное дело: чем торгую, как торгую... Господь разумом наградил — вот и купец. А дурачок век в батраках прозябнет. Бурмистров выбирать! Он и в амбар, он и в сундук ко мне... Все ему скажи, все покажи... Зачем! Кому нужно! Антихристову сеть накидывают на купечество... А еще — почта! Зачем? Я верного человека пошлю в Великий Устюг, скорее почты доедет и скажет, что нужно,— тайно... А почтой,— разве я знаю, какой человек мое письмо повезет? Нет, нам ни почты не надо, бурмистеров не надо, окладов двойных не платить, и с иноземцами, с никонианами табаку не курить. (Не хотел, а рассердился. Дрожащей лиловатой рукой полез в карман, вынув платок, вытерся. Покачал головой, глядя на догоравшие свечи. Вздохнул тяжело и кончил.) Ужинать пойдемте...

Все, кто был в моленной, пошли через сени и поварню рядом в подклеть. Сели за дошатый стол, покрытый крашениной, в красном углу, где ужинали Василий Ревякин и трое старых приказчиков — его двоюродные братья. Попросили было и старца под образа. Но он вдруг громко плюнул и пошел к двери, к нищим, сидевшим на полу. С ними был и Андрей.

Посреди стола горела сальная свеча. Из темноты приходила суровая баба с полными чашками. Иногда с потолка падал таракан. Ели молча, степенно жева-

ли, тихо клали ложки. Андрей пододвинулся поближе к старцу. Держа чашку на коленях, согнувшись, капая на клочкастую бороду, старец судорожно хлебал, обжигался,— хлеб ел маленькими кусками. Откушав и помолясь, сложил на животе руки. По замутившимся глазам видно было, что подобрел.

Андрей тихо ему:

— Батюшка мой, хочу к старцу Нектарию. Пусти.

Старец задышал часто. Но глаза опять осовели:

— Ужо, лягут спать,— приходи в моленну. Я тебя попытаю.

Андрей содрогнулся,— в тоске, в обречении стал ерзать затылком по заусенцам бревенчатой стены...

10

С юга, с Дикого поля, дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах, заливавших равнину. Вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж-река, затопило верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные нептуньи морды. Трепало паруса, поднятые для просушки. В мутных водах шуршали, ныряя, последние льдины. Над стенами крепости — на правой стороне реки, напротив Воронежа,— взлетали клубы порохового дыма, ветер рвал их в клочья. Катились по водам пушечные выстрелы, будто сама земля взбухала и лопалась пузырями.

На верфи шла работа день и ночь. Заканчивали отделку сорокапушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. К нему то и дело отплывали через реку ладьи, груженные порохом, солониной и сухарями,— причаливали к его черному борту. Течением натягивало концы, трещало дерево. На корме, на мостике, перекрикивая грохот катящихся по палубе бочек, визг блоков, ругался по-русски и по-португальски коричневомордый капитан Памбург — усищи дыбом,

глаза — как у бешеного барана, ботфорты — в грязи, поверх кафтана — нагольный полушубок, голова стянута шелковым красным платком. «Дармоеды! Шукины дети! Карраха!» Матросы выбивались из сил, вытягивая на борт кули с сухарями, бочки, ящики, — бегом откатывали к трюмам, где хрипели цепными кобелями боцмана в суконных высоких шапках, в коричневых штанах пузырями.

Над рекой на горе покривились срубчатые островерхие башни, за ветхими стенами ржавели маковки церквей. Перед старым городом по склону горы раскиданы мазаные хаты и дощатые балаганы рабочих. Ближе к реке — рубленые избы новоназначенного адмирала Головина, Александра Меньшикова, начальника Адмиралтейства Апраксина, контр-адмирала Корнелия Крейса. За рекой, на низком берегу, покрытом щепой, изрытом колесами, стояли закопченные, с земляными кровлями, срубы кузниц, поднимались ребра недостроенных судов, полузатопленные бунты досок, вытащенные из воды плоты, бочки, канаты, заржавленные якоря. Черно дымили котлы со смолой. Скрипели тонкие колеса канатной сучильни. Пильщики махали плечами, стоя на высоких козлах. Плотовщики бегали босиком по грязи, вытаскивали баграми бревна, уносимые разливом.

Главные работы были закончены. Флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным тщанием. Через три дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага.

. . . .

То и дело рвали дверь, входили новые люди, не раздеваясь, не вытирая ног, садились на лавки, а кто побольше — прямо к столу. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, — в избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок.

Вице-адмирал Корнелий Крейс спал за столом, уткнув лицо в расшитые золотом обшлага. Шаутбенахт [1]

---

[1] Шаутбенахт — чин, соответствующий контр-адмиралу.

русского флота, голландец Юлиус Рез,— отважный морской бродяга, с головой, оцененной в две тысячи английских фунтов за разные дела в далеких океанах,— тянул анисовую, насупившись на свечу одноглазым свирепым лицом. Корабельные мастера Осип Най и Джон Дей, обросшие щетиной за эти горячие дни, попыхивали трубками, насмешливо подмигивали русскому мастеру Федосею Скляеву. Федосей только что пришел,— распустив шарф, расстегнув тулупчик, хлебал лапшу со свининой...

— Федосей,— говорил ему Осип Най, подмигивая рыжими ресницами.— Федосей, расскажи, как ты пировал в Москве?

Федосей ничего не отвечал, хлебая. Надоело, в самом деле. В феврале вернулся из-за границы, и надо бы сразу — по письму Петра Алексеевича — ехать в Воронеж. Черт попутал. Закрутился в Москве по приятелям, и пошло. Три дня — в чаду: блины, закуски, заедки, винище. Кончилось это, как и надо было думать: очутился в Преображенском приказе.

Царь, узнав, что жданный любимец его Федосей сидит за князем-кесарем, погнал в Москву нарочного с письмом к Ромодановскому:

«Мин хер кениг... В чем держишь наших товарищей, Федосея Скляева и других? Зело мне печально. Я ждал паче всех Скляева, потому что он лучший в корабельном мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судия. Истинно никакого нет мне здесь помощника. А, чаю, дело не государственное. Для бога освободи и пришли сюды. Питер».

Ответ от князя-кесаря дней через десять привез сам Скляев:

«Вина его вот какая: ехал с товарищами пьяный и задрался у рогаток с солдатами Преображенского полку. И по розыску явилось: на обе стороны не правы. И я, разыскав, высек Скляева за его дурость, также и солдат-челобитников высек, с кем ссора учинилась. В том на меня не прогневись,— не обык в дуростях спускать, хотя б и не такова чину были».

Ладно. Тому бы и конец. Петр Алексеевич, встретив Скляева, обнимал и ласкал, и хлопал себя по ляж-

кам, и изволил не то что засмеяться, а ржал до слез... «Федосей, это тебе не Амстердам!» И письмо князя-кесаря за ужином прочел вслух.

Съев лапшу, Федосей оттолкнул чашку, потянулся к Осипу Наю за табаком.

— Ну, будет вам, посмеялись, дьяволы,— сказал грубым голосом.— В трюм, в кормовую часть, лазили сегодня?

— Лазили,— ответил Осип Най.

— Нет, не лазили...

Медленно вынув глиняную трубку, опустив углы прямого рта, Джон Дей проговорил через сжатые зубы по-русски:

— Почему ты так спрашиваешь, что мы будто не лазили в трюм. Федосей Скляев?

— А вот потому... Чем мыргать на меня — взяли бы фонарь, пошли.

— Течь?

— То-то, что течь. Как начали грузить бочки с солониной,— шпангоуты расперло, и снизу бьет вода.

— Этого не может случиться...

— А вот может. О чем я вам говорил,— кормовое крепление слабое.

Осип Най и Джон Дей поглядели друг на друга. Не спеша встали, надвинули шапки с наушниками. Встал и Федосей, сердито замотал шарф, взял фонарь.

— Эх вы, генералы!

К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками что попадется с блюд: жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря...

У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами — линек. (Им он потчевал кого надо.) Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо-лениво:

— Куда прешь, куда, бодлива мать?..

За перегородкой, в спальной половине, сидели сейчас государственные люди: адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин — начальник Адмиралтейства — и Александр Данилович Меньшиков. Этот, после смерти Лефорта, сразу жалован был генерал-майором и губернатором псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон: «Были у меня две руки, осталась одна, хоть и вороватая, да верная».

Алексашка, в преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь,— у стола. Слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц на Дунае, со съезда, где цезарский, польский, венецейский и московский послы договаривались с турками о мире.

Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтоб министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирьными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал:

— Учинена мною с турецкими послами, рейс-эфенди Рами и тайным советником Маврокордато, армисциция, сиречь унятие оружия на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры: в Европе сейчас такая каша заваривается,— едва ли не на весь мир. Испанский король дряхл, не сегодня-завтра помрет бездетным. Французский король добивается посадить в Испанию своего внука Филиппа и уж женил его, держит при себе в Париже, ожидая — вот-вот короновать. Император австрийский, с другой стороны, хочет сына своего Карла посадить в Испанию...

— Да знаем, знаем это все,— нетерпеливо перебил Алексашка.

— Потерпи уж, Александр Данилович, говорю, как умею (седым взором поверх очков Возницын тяжело уставился на красавца), решается великий спор меж Францией и Англией. Будет Испания за француз-

ским королем,— французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором,— англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они и свели в Карловицах австрийцев с турками. Для войны с французским королем австрийскому цезарю надобно руки себе развязать. И турки усердно рады мириться, чтоб отдохнуть, собраться с силами: принц Евгений Савойский много у них земель и городов побрал за цезаря, в Венгрии, в Семиградской земле и в Морее, и цезарцы[1] уж в самый Цареград смотрят... Туркам сейчас забота — свое вернуть... Воевать отдаленно — с поляками или с нами — сейчас и в мыслях нет... Тот же Азов,— не стоит он того, что им надобно под ним потерять.

— Так ли турецкий султан слаб, как ты успокаиваешь? Сомнительно,— проговорил Алексашка. (Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой.)

Алексашка,— подрожав ляжкой, позвенев шпорой:

— А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют сорок тысяч городовых стрельцов, да в Ахтырке собран конный большой полк Шеина, да в Брянске готовы суда для переправы. Не с голыми руками тебя посылали... Армисциция!

Прокофий Возницын медленно снял очки. Трудно было привыкать к новым порядкам,— чтобы мальчишка без роду-племени так разговаривал с великим послом. Проведя сухой ладонью по задрожавшему от гнева лицу, Прокофий собрался с мыслями. Лаем, конечно, тут ничего не возьмешь.

— А вот почему не мир,— учинена армисциция, Александр Данилович... Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецейцами, тайно, одни,

---

[1] Цезарцы — австрийцы; Евгений Савойский — австрийский полководец; Семиградская земля, или Трансильвания — восточная часть Румынии; Морея — южная часть Греции.

переговаривались с турками. И поляки тайно от нас договорились. И нас бросили одних. Турки, приведя дела с цезарцами к удовольствию, с нами вначале и говорить не хотели, так надулись... Не будь там старинного моего знакомца Александра Маврокордато,— и армисциции бы у нас не было... Вы здесь сидите, господа министры, думаете — на вас вся Европа смотрит... Нет, для них мы — малый политик, можно сказать — никакой политик...

— Ну, это еще бабка надвое...

— Подожди, не горячись, Александр Данилович,— мягко остановил его Головин.

— На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили... Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Еще будучи в Вене, взял я одного дохтура, бывалого поляка. Дохтура и стал засылать в турецкий стан к Маврокордато. Послал раз. Маврокордато велел кланяться. Послал в другой. Маврокордато велел кланяться и сказать, что студено. Я рад. Взял кафтан свой чернобурых лисиц, на малиновом сукне, послал его с дохтуром, велел ехать кругом посольских станов — степью. Маврокордато кафтан взял, на другой день посылает мне табаку, два чубука добрых да кофе с фунт, да писчей бумаги. Ах, ты, думаю, отдаривается... И опять ему на возу — икры паюсной, спинок осетровых, пять тешь белужьих больших, наливок разных... Да и сам поехал ночью в турецкий стан, один в простом платье. А турки как раз в тот день подписали с цезарем мир...

— Эх! — топнул шпорой Алексашка.

— Маврокордато мне: «Вряд ли, говорит, будет у нас с вами удовольствие, если не вернете нам днепровские городки, чтобы Днепр запереть и ход вам заградить навсегда в Черное море, и Азов придется отдать, и крымскому хану вам дань платить по-старинному...» Вот, Александр Данилович, как с первого-то разговора турки начали задираться... А ведь я — один. Союзники свои дела кончили, разъехались... Воронежским флотом грожу. Турки смеются: «В первый раз слышим, чтобы за тысячу верст от моря строили

корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через гирло вам не перелезть...» Грозил и украинским войском, а они мне — татарами: «Смотрите, у татар сейчас руки развязаны, как бы вам они не сделали как при Девлет-Гирее[1]». Не будь у турок заботы — обвалили бы они на нас войну... Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армисциция — все-таки не война...

. . . .

Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона.

Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы, по пояс голые, с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи,— все валились с ног, отмахивали руки, почернели. Отдыхающие (сменялись несколько раз в ночь) сидели тут же: кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей.

Старший мастер Кузьма Жемов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле (куда был взят из тульской тюрьмы — в вечную работу), покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках.

Наваривали лапы большому якорю для «Крепости». Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жемов здоровой рукой (другая была замотана тряпкой) ковырял в углях, приговаривал:

— Не ленись, не ленись, поддай...

Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фар-

---

[1] При Иоанне Грозном крымцами была сожжена Москва и около полмиллиона человек убито и уведено в плен.

туке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гузку, осторожно длинными клещами поворачивал в том же горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое — наварка такой большой части...

Жемов,— обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока:

— Берись... Слушай... (И — Петру.) В самый раз, а то пережжем... (Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.) Быстро, навались... Давай!..

Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов — уже шепотом:

— Нагибай, клади... Клади плотнее... (Якорь лег.) Сбивай окалину. (Загорающимся веником стал омахивать окалину.) Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал диким голосом.) Что ж ты! Давай!

— Есть!

Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне,— едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил...

— Плотнее! — крикнул Жемов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами, с оттяжкой. Петр держал лапу, Жемов постукивал молотком — так-так-так, так-так-так. Жгучая окалина брызгала в фартуки.

Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан. Вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову. Тот весь собрался морщинами:

— Что ж, бывает, Петр Алексеевич... Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то,— так и человека можно задеть и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела...

Петр промолчал, вымыл руки в чану, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы. Остро

пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на «Крепости». Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу, у самой воды.

. . . .

Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда,— с удовольствием закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывал блюда.

— Слышь-ка,— сказал он круглобородому человеку с удивленно задранными бровями (на маленьком лице — ярко-голубые глаза,— знаменитый корабельный плотник Аладушкин),— Мишка, вон то передай,— указал через стол на жареную говядину, обложенную мочеными яблоками. Присев на скамью, напротив спящего вице-адмирала, медленно — как пьют с усталости — выпил чарочку,— пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче. Жуя, плюнул косточкой в плешь Корнелию Крейсу:

— Чего, пьяный, что ли?

Тогда вице-адмирал поднял измятое лицо и — простуженным басом:

— Ветер — зюд-зюд-вест, один балл. На командорской вахте — Памбург. Я отдыхаю.— И опять уткнулся в расшитые рукава.

Поев, Петр сказал:

— Что ж у вас тут невесело? — Положил кулаки на стол. Минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку. Сел на кровать. (Министры почтительно стояли.) Большим пальцем плотно набил в трубочку путаного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой: — Ну, здравствуй, великий посол.

Стариковские ноги Возницына, в суконных чулках, подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх,— поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет. Петр сказал, навалясь локтем на подушку:

— Алексаша, подними великого посла... Ты, Прокофий, не сердись,— устал я чего-то... (Возницын, отстраняя Меньшикова, сам поднялся, обиженный.) Письма твои читал. Пишешь, чтобы я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, —по старинке. Верю... (Зло открыл зубы.) Цезарцы! Англичане! Ладно,— в последний раз так-то ездили кланяться... Сядь. Рассказывай.

Возницын опять стал рассказывать про обиды и великие труды на посольском съезде. Петр все это уже знал из писем,— рассеянно дымил трубочкой.

— Холоп твой, государь, скудным умишком своим так рассудил: если турок не задирать, то армисцицию можно тянуть долго. Послать к туркам какого ни на есть человека — умного, хитрого... Пусть договаривается, время проводит,— где и посулит чего уступить, так ведь магометан, государь, и обмануть не грех,— бог простит.

Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго.

— Еще что скажете, бояре? (Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы.)

Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так, сразу, и ответить... По-прежнему, как говаривали в Думе,— витиевато, вокруг да около,— этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы.

— Ну? — спросил его Петр.

— Что ж, Прокофий по-дедовски рассудил: канитель путать! Нынче нам так не подходит...

Лев Кириллович,— с одышкой, горячась:

— Сам бог не допустил, чтобы мы с турками мир подписали. Иерусалимский патриарх со слезами нам пишет: охраните гроб господень. Молдавский и валахский господари едва не на коленях молят: спасти их от турецкой неволи. А мы,— да, господи! (Петр насмешливо: «А ты не плачь...» Лев Кириллович осекся, разинув рот и глаза. И — опять.) Государь, не быть нам без Черного моря! Слава богу, сила у нас теперь есть, и турки слабы... Не как Васька Голицын,— не

в Крым нам идти, а через Дунай на Цареград,— крест воздвигнуть на святой Софии.

Рогатые парики тревожно колыхались. Глаз Петра все так же поблескивал непонятно, трубочка похрипывала. Смирный Апраксин сказал тихо:

— Мир лучше войны, Лев Кириллович, война — дорогà. Замириться с турками хоть на двадцать пять лет, хоть на десять, не отдав ни Азова, ни днепровских городков,— чего лучше... (Покосился на Петра, вздохнул.)

Петр встал, но места — шагать — было мало, сел на стол.

— Все мне на вас, на дворян, на вотчинников, оглядываться! Дворянское ополчение! Влезут, гладкие дьяволы, на коней, саблю не знают в какой руке держать. Дармоеды, истинно дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми... Архангельск — одна дыра на краю света: англичане, голландцы что хотят, то и дают, за грош покупают... Митрофан Шорин рассказывал: восемь тысяч пудов пеньки сгноил в амбарах, три навигации выжидал цену. Энти ироды ходят мимо — только смеются... А лес! За границей лес нужен, весь лес — у нас, а мы кланяемся: купите... Полотно! Иван Бровкин: лучше, говорит, я его сожгу вместе с амбаром в Архангельске, чем отдам за такую цену... Нет! Не Черное море — забота... На Балтийском море нужны свои корабли.

Выговорил слово... Длинный, чумазый, глядел со стола выпученными глазами на господ министров. Насупились. Воевать с татарами, ну, с турками, хоть и трудно,— привычная забота. Но Балтийское море воевать? Ливонцев, поляков?.. Шведов воевать? Лезть в европейскую кашу? Лев Кириллович пошарил полной рукой по торчащей поле кафтана, вынул орехового шелка платок, вытерся. Возницын качал сухоньким лицом. Петр,— потащив из штанов кисет:

— С турками теперь, не как Прокофий, по-новому будем просить мира... Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе...

— Конечно! — вдруг сказал Алексашка, заблестев глазами.

11

По мутному полноводному Дону плыли на полосатых парусах, наполненных теплым ветром. Восемнадцать двухпалубных кораблей, впереди и позади них — двадцать галиотов и двадцать бригантин, скампавеи, яхты, галеры: восемьдесят шесть военных судов и пятьсот стругов с казаками далеко растянулись на поворотах реки.

С высоких палуб видны были зазеленевшие степи, ряби поемных озер. Караваны птиц летели на север. Иногда вдали белели меловые кряжи. Дул зюйд-ост, вначале противный ветер,— и много пришлось положить трудов, покуда не повернули по Дону на запад: заполаскивались паруса, корабли дрейфовали, бешено орали капитаны в медные трубы. Приказ по флоту был такой:

«Никто не дерзнет отстать от командорского корабля, но за оным следовать под пеной. Ежели кто отстанет на три часа,— четверть года жалованья, ежели на шесть,— две трети, ежели на двенадцать часов,— за год жалованья вычесть».

После поворота на юго-запад поплыли шутя. Ненадолго разливались над степью пышные и влажные закаты. Катился выстрел с адмиральского корабля. Били склянки. Огоньки ползли на верхушки мачт. Убирались паруса, с плеском падал якорь. На помрачневших берегах зажигались костры, протяжно кричали казачьи голоса.

С темной громады «Апостола Петра» (где в звании командора состоял царь) ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвивалась в звездное небо ракета. В кают-компании собирались ужинать. С ближайших кораблей приплывали в эти и без того пьяные ночи адмиралы, капитаны, ближние бояре.

Близ Дивногорского монастыря к флоту присоединились шесть судов, построенных кумпанством князя Бориса Алексеевича Голицына. По сему случаю стали на якорь под меловым берегом, два дня пировали на вольном воздухе в монастырском саду. Соблазняли

монахов игрой на рогах и двусмысленными шутками, пугали стрельбой из восьмисот корабельных пушек.

Снова по всей реке надувались паруса. Плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. Мимо новых боярских и монастырских вотчин, рыбных промыслов. Под городком Паньшиным видели на левом берегу тучи конных калмыков с длинными копьями, а на правом — казаков в четырехугольнике обоза, с двумя пушками. Калмыки и казаки съехались биться, не поделив табуны коней и осетровые ятови.

Воевода Шеин пошел на шлюпке к калмыкам, Борис Алексеевич Голицын — к казакам. Помирили. По сему случаю на зеленых холмах пировали под медленно плывущими облаками, под летящими караванами журавлей. Корнелиус Крейс с похмелья велел наловить черепах и сам сварил похлебку из них. Петр тоже велел наловить черепах и угостил бояр чудным блюдом, а когда поели,— показал черепашьи головы. Воеводе Шеину сделалось тошно. Много смеялись.

Двадцать четвертого мая, в жаркий полдень, из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло сорокапушечных кораблей.

. . . .

Покуда вице-адмирал промеривал рукав Дона — Кутюрму, а Петр ходил на яхте в Азов и Таганрог — осматривать крепости и форты,— прибыло из Бахчисарая ханское посольство на красивых конях, с вьючным обозом. Разбили ковровые шатры, на холме воткнули бунчук — конский хвост с полумесяцем на высоком копье, послали переводчика узнать — примет ли царь поклон от хана и подарки? Послам ответили, что царь-де в Москве, а здесь его наместник адмирал Головин с бояры. Три дня веял бунчук на холме. Татары поскакивали на горячих конях перед жерлами пушек. На четвертый посольство пришло на адмиральский корабль. Разостлали белый анатолийский ковер, положили дары: кованый арчак для седла, сабельку, пистоли, нож, сбрую,— все — так себе, в серебре, с

дешевыми каменьями. Головин важно сидел на раскладном стуле, татары — на ковре, поджав ноги. Говорили о перемирии, подписанном Возницыным, о том и о сем, пощипывая реденькие раздвоенные бороды, шарили повсюду глазами, быстрыми, как у морской собаки, цокали языками:

— Карош москов, карош флот... Только напрасно надеетесь, большими кораблями Кутюрмой вам не пройти, не так давно султанский флот как-то пытался войти в Дон, ни с чем вернулся в Керчь...

По всему видно, что прибыли только для разведки. Наутро ни бунчука, ни шатров, ни всадников уже не было на холме.

. . . .

Промеры показали, что Кутюрма мелка. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйд-вест,— если нагонит в гирло морскую воду.

Из Таганрога вернулся Петр. Помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга. Началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное за зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду. Неподвижно, с убранными парусами, корабли лежали в мареве зноя.

Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в Кутюрме продолжала спадать.

Двадцать второго июня в обеденный час шаутбенахт Юлиус Рез, выйдя, багровый и тяжелый, из жаркой, как баня, кают-компании — помочиться с борта,— увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:

— Идет шторм.

Петр, адмиралы, капитаны выскочили из-за стола. Разорванные облака неслись в вышину, из-за беловатой водной пелены поднимался мрак. Солнце калило железным светом. Мертво повисли флаги, вымпелы, матросское белье на вантах. По всем судам боцмана́

засвистали аврал — все наверх! Крепили паруса, заводили штормовые якоря.

Туча закрывала полнеба. Помрачились воды. Мигнул широкий свет из-за края. Засвистало в снастях крепче, тревожнее. Защелкали вымпелы. Ветер налетел всею силой в крутящихся, раскиданных обрывках тьмы. Заскрипели мачты, полетели сорванные с вантов подштанники. Ветер мял воду, рвал снасти. Судорожно цеплялись за них матросы на реях. Топали ногами капитаны, перекрикивая нарастающую бурю. Пенные волны заплескались о борта. Треснуло небо раскатами, разрывающими душу ударами, загрохотало, не переставая. Упали столбы огня.

Петр, без шляпы, со взвитыми полами кафтана, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба, раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля, в гребни волн. Юлиус Рез закричал ему в ухо:

— Это ничего. Сейчас будет самый шторм.

. . . .

Шторм пролетел, натворив много бед. Молнией убило двух матросов на берегу. Порвало якорные канаты, сломило несколько мачт, повыкидало на берег, затопило много мелких судов. Но зато установился крепкий зюйд-вест: то, что и надо было.

Вода в Кутюрме быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни гребных стругов, подхватив на длинных бечевах, повели первым «Крепость». От вехи к вехе, ни разу не царапнув килем, он вышел через Кутюрму в Азовское море, выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга.

В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли: «Апостол Петр», «Воронеж», «Азов», «Гут Драгерс» и «Вейн Драгерс». Двадцать седьмого июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога.

Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту «Крепости», посвистывая, стучал молотком по конопати. Либо, выпятив поджарый зад в холщовых замазанных штанах, лез по выблен-

кам на мачту — крепить новую рею. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Скляев (поругавшийся до матерного лая с Джоном Деем и Осипом Наем). Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.

— Петр Ликсеич, вы мне уж не мешайте, для бога,— неласково говорил Федосей,— плохо получится мое крепление,— отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь под руку...

— Ладно, ладно, я помогу только...

— Идите помогайте вон Аладушкину, а то мы с вами только поругаемся...

Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез делал непрестанные ученья судовым командам, взятым из солдат Преображенского и Семеновского полков. Среди них много было детей дворянских, сроду не видавших моря. Юлиус Рез — по свирепости и отваге истинный моряк — линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бом-брам-реях, на двенадцати саженях над водой, прыгать с борта головой вниз в полной одежде: «Кто утонет, тот не моряк!» Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, челюсть, как у медецинского кобеля, все видел, пират, одним глазом: кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. «Эй, там, на стеньга-стакселе, грязный корофф, как травишь фалл?» Топал башмаком: «Все — на шканцы... Снашала!»

Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов Посольского приказа, с ним — дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и полтора пуда чаю.

Четырнадцатого августа «Крепость» поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом, при крепком северо-восточном ветре вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. Семнадцатого с левого борта на ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани, флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние, высокие квадратные башни кое-где обвалились. Ни фортов, ни бастио-

нов. Близ берега стояли четыре корабля. Турки, видимо, переполошились,— не ждали, не гадали увидеть весь залив, полный парусов и пушечного дыма.

. . . .

Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. Он послал приставов на московский адмиральский корабль — спросить, зачем пришел такой большой караван. Месяц тому назад ханские татары доносили, что царский флот худой и совсем без пушек и через азовские мели ему сроду не пройти.

— Ай-ай-ай... Ай-ай-ай,— тихо причитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли. Бросил.— Кто поверил ханским лазутчикам? — закричал он чиновникам, стоявшим позади него на башенной площадке, загаженной птицами.— Кто поверил татарским собакам?

Муртаза затопал туфлями. Чиновники, сытые и обленившиеся в спокойном захолустье, прикладывали руки к сердцу, сокрушенно качали фесками и чалмами. Понимали, что Муртазе придется писать султану неприятное письмо, и как еще обернется: султан, хоть и пресветлый наместник пророка, но вспыльчив, и бывали случаи, когда и не такой паша, кряхтя, садился на кол.

Косой парус фелюги с приставами отделился от адмиральского корабля. Муртаза послал чиновника на берег торопить посланных и сам снова принялся считать корабли. Пристава — два грека — явились, подкатывая глаза, вжимая головы в плечи, щелкая языками. Муртаза свирепо вытянул к ним жирное лицо. Рассказали:

— Московский адмирал велел тебе кланяться и сказать, что они провожают посланника к султану. Мы сказали адмиралу, что ты-де не можешь пропустить посланника морем,— пусть едет, как все, через Крым на Бабу. Адмирал сказал: «А не хотите пускать морем, так мы всем флотом до Константинополя проводим посланника».

Муртаза-паша на другой день послал важных беев к адмиралу. И беи сказали:

— Мы вас, московитов, жалеем, вы нашего Черного моря не знаете,— во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей на Бабу.

Адмирал Головин только надулся: «Испугали». И стоявший тут же какой-то длинный, с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись.

Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построения, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках. Откажи таким нахалам! Надеясь на одного аллаха, Муртаза-паша затягивал переговоры.

. . . .

Шлюпка подошла к турецкому адмиральскому кораблю. На борт поднялись Корнелий Крейс и двое гребцов в голландском матросском платье — Петр и Алексашка. На шканцах турецкий экипаж отдал салют московскому вице-адмиралу. Адмирал Гассан-паша важно вышел из кормовой каюты,— был в белом шелковом халате, в чалме с алмазным полумесяцем. С достоинством приложил пальцы ко лбу и груди. Корнелий Крейс снял шляпу, пятясь, повел перьями перед Гассан-пашой.

Подали два стула. Адмиралы сели под парусиновым навесом. Низенький жирный человек — охолощенный повар — принес на подносе блюдца со сладкими заедками, кофейник и чашечки, чуть побольше наперстка. Адмиралы начали приличный разговор. Гассан-паша спросил про здоровье царя. Корнелий Крейс ответил, что царь здоров, и сам спросил про здоровье султанского величества. Гассан-паша низко склонился над столом: «Аллах хранит дни султанского величества...» Глядя печальными глазами мимо Корнелия Крейса, сказал:

— В Керчи мы не держим большого флота. Здесь нам бояться некого. Зато в Мраморном море у нас могучие корабли. Пушки на них столь велики,— могут даже бросать каменные ядра в три пуда весом.

Корнелий Крейс,— прихлебывая кофе:

— Наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по восемнадцати и по тридцати фунтов весом. Оные пронизовывают неприятельский корабль сквозь оба борта.

Гассан-паша чуть поднял красивые брови:

— Мы немало удивились, увидев, что в царском флоте прилежно служат англичане и голландцы — лучшие друзья Турции...

Корнелий Крейс — со светлой улыбкой:

— О Гассан-паша, люди служат тому, кто больше дает денег. (Гассан-паша важно наклонил голову.) Голландия и Англия ведут прибыльную торговлю с Московией. С царем выгоднее жить в мире, чем в войне. Московия столь богата, как никакая другая страна на свете.

Гассан-паша — задумчиво:

— Откуда у царя столько кораблей, господин вице-адмирал?

— Московиты выстроили их сами в два года...

— Ай-ай-ай,— качал чалмой Гассан-паша.

Покуда адмиралы беседовали, Петр и Алексашка угощали турецких матросов табаком, всячески смешили их. Гассан-паша нет-нет и взглядывал на этих высоченных парней,— чересчур были любопытны. Вон один полез на мачту, в бочку. Другой навострил глаз на английскую скорострелющую пушку. Но из вежливости Гассан-паша промолчал, даже когда матросы увели московитов на нижнюю палубу.

Корнелий Крейс просил позволения съехать на берег — купить фруктов, сластей и кофе. Гассан-паша, подумав, сказал, что, пожалуй, он сам бы мог продать кофе господину вице-адмиралу.

— Много ли тебе нужно кофе?

— Червонцев на семьдесят.

— Абдула-Алла,— крикнул Гассан-паша, топнул пяткой. Вперевалку подбежал охолощенный повар. Выслушав, вернулся с весами. За ним матросы тащили мешки с кофе. Гассан-паша удобнее подвинулся со стулом, проверил весы, вытащил из-за пазухи янтарные четки — отсчитывать меры. Приказал развязать мешок. Пересыпая в холеных пальцах зерна,

полузакрыл глаза: — Это кофе лучшего урожая на Яве. Ты мне скажешь спасибо, господин вице-адмирал. Я вижу, ты — хороший человек. (Нагнувшись к его уху.) Не хочу тебе зла,— отговори московитов плыть морем: у берегов много подводных камней и опасных мелей. Мы сами боимся этих мест.

— Зачем плыть вдоль берегов,— ответил Корнелий Крейс,— нашему кораблю курс прямой через море, был бы ветер попутный.

Он отсчитал семьдесят червонцев. Простились. Подойдя к трапу, Корнелий Крейс крикнул сурово:

— Эй, Петр Алексеев!..

— Здесь! — торопливо отозвался голос.

Петр, за ним Алексашка выскочили из люка, на обоих — красные фески. Вице-адмирал помахал адмиралу шляпой, сел на руль, шлюпка помчалась к берегу. Петр и Алексашка, налегая на гнущиеся весла, весело скалили зубы.

С прибойной волной шлюпка врезалась в береговую гальку. От крепостных ворот мимо гнилых лодок и прозеленевших свай торопливо шли пристава и давешние беи просить никак не заходить в город, а если нужда какая, купчишки принесут сюда, в шлюпку, всякие товары... У Петра забегали зрачки, гневом вспыхнули щеки. Алексашка,— держа поднятое торчком весло.

— Мин херц, да скажи ты... Подойдем флотом на пушечный выстрел... В самом деле...

— Не пускать — это их право: это — крепость,— сказал Корнелий Крейс.— Мы погуляем по берегу около стен, мы увидим все, что нужно.

12

Муртаза-паша больше ничего не мог придумать: плывите, аллах с вами. Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. Двадцать восьмого августа «Крепость», взяв на борт посла, дьяка и переводчиков, сопровождаемый четырьмя турецкими военными кораблями, обогнул керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма.

Турецкие корабли следовали за ним в пене, за кормой. На переднем находился пристав. Гассан-паша остался в Керчи,— в последний час просил, чтоб дали ему хотя бы письменное свидетельство, что царский посланник едет сам собой, а он, Гассан, ему не советует. Но и в этом было отказано.

В виду Балаклавы пристав сел в лодку, поравнялся с «Крепостью» и стал просить зайти в Балаклаву — взять свежей воды. Отчаянно махал рукавом халата на рыжие холмы.

— Хороший город, зайдем, пожалуйста.

Капитан Памбург, облокотясь о перила, пробасил сверху:

— Будто мы не понимаем, приставу нужно зайти в Балаклаву — взять у жителей хороший бакшиш за посланничий корм. Ха! У нас водой полны бочки.

Приставу отказали. Ветер свежел. Памбург поглядел на небо и велел прибавить парусов. Тяжелые турецкие корабли начали заметно отставать. На переднем взвились сигналы: «Убавьте парусов». Памбург уставился в подзорную трубу. Выругался по-португальски. Сбежал вниз, в кают-компанию, богато отделанную ореховым деревом. Там, у стола на навощенной лавке, страдая от качки, сидел посол Емельян Украинцев,— глаза закрыты, снятый парик зажат в кулаке. Памбург — бешено:

— Эти черти приказывают мне убавить парусов. Я не слушаю. Я иду в открытое море.

Украинцев только слабо махнул на него париком.

— Иди куда хочешь.

Памбург поднялся на корму, на капитанский мостик. Закрутил усы, чтобы не мешали орать:

— Все наверх! Слушать команду! Ставь фор-бом-брамсели... Грот... Крюс-бом-брамсели... Фор-стеньга-стаксель, фока-стаксель... Поворот на левый борт... Так держать...

«Крепость», скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя, как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград...

. . . .

Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. Шестнадцать человек команды,— голландцы, шведы, датчане, все — морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки: идти было легко, шутя. Зато половина воинской команды — солдаты и пушкари — валялись в трюме между бочками с водой и солониной. Памбург приказывал всем больным отпускать водки три раза в день: «К морю нужно привыкать!»

Шли день и ночь, на второй день взяли рифы,— корабль сильно зарывался, черпал воду, пенная пелена пролетала по всей палубе. Памбург только отфыркивал капли с усов.

Сильно страдало качкой великое посольство. Украинцев и дьяк Чередеев, лежа в кормовом чулане,— маленькой свежевыкрашенной каюте,— поднимали головы от подушек, взглядывали в квадратное окошечко... Вот оно медленно падает вниз, в пучину, зеленые воды шипят, поднимаются к четырем стеклышкам, с тяжелым плеском заслоняют свет в чулане. Скрипят перегородки, заваливается низенький потолок. Посол и дьяк со стоном закрывали глаза.

Ясным утром второго сентября юнга, калмычонок, закричал с марса, из бочки: «Земля!» Близились голубоватые, холмистые очертания берегов Босфора. Вдали — косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех: «Мыться. Чистить кафтаны. Надеть парики».

В полдень «Крепость» под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. На крепостном валу, на мачте, взвились сигналы: «Чей корабль?» Памбург велел ответить: «Надо знать московский флаг». С берега: «Возьмите лоцмана». Памбург поднял сигналы: «Идем без лоцмана».

Украинцев надел малиновый кафтан с золотым галуном, шляпу с перьями, дьяк Чередеев (костлявый, тонконосый, похожий на великомученика суздальского

письма) надел зеленый кафтан с серебром и шляпу с перьями же. Пушкари стояли у пушек, солдаты — при мушкетах на шканцах.

Корабль скользил по зеркальному проливу. Налево, среди сухих холмов, — еще не убранные поля кукурузы, водокачки, овцы на косогорах, рыбачьи хижины из камней, крытые кукурузной соломой. На правом берегу — пышные сады, белые ограды, черепичные крыши, лестницы к воде... Черно-зеленые деревья — кипарисы, высокие, как веретена. Развалины замка, заросшие кустарником. Из-за дерев — круглый купол и минарет... Подходя ближе к берегу, видели чудные плоды на ветвях. Тянуло запахом маслин и роз. Русские люди дивились роскоши турецкой земли:

«Все говорят — гололобые да бусурмане, а смотри, как живут»!

. . . .

Разлился далекий, будто за тридевять земель, золотой закат. Быстро багровея, угасал, окрасил кровью воды Босфора. Стали на якорь в трех милях от Константинополя. В ночной синеве высыпали большие звезды, каких не видано в Москве. Туманом отражался Млечный Путь.

На корабле никто не хотел спать. Глядели на затихшие берега, прислушивались к скрипу колодца, к сухому треску цикад. Собаки, и те брехали здесь особенно. В глубине воды уносились течением светящиеся странные рыбы. Солдаты, тихо сидя на пушках, говорили: «Богатый край, и живут тут, должно быть, легко...»

. . . .

Поглядывая задумчиво на огонек свечи, светом своим заслонявшей несколько крупных звезд в черном окошечке кормового чулана, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце (в сем случае вытирал его о парик), и цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу:

«...Здесь мы простояли около суток... Третьего числа подошли отставшие турецкие корабли. Пристав со слезами пенял нам, зачем убежали вперед, за это-де султан велит отрубить ему голову, и просил подо-

ждать его здесь: он сам известит султана о нашем прибытии. Мы наказали, чтобы прием нам у султана был со всякою честью. К вечеру пристав вернулся из Цареграда и объявил, что султан нас примет с честью и пришлет за нами сюда сандалы — ихние лодки. Мы ответили, что нет,— поплывем на своем корабле. И так мы спорили, и согласились плыть в сандалах, но с тем, что впереди будет плыть «Крепость».

На другой день прислали три султанских сандала, с коврами. Мы сели в лодки, и впереди нас поплыл «Крепость». Скоро увидели Цареград, достойный удивления город. Стены и башни хотя и древнего, но могучего строения. Весь город под черепицу, зело предивные и превеликолепные стоят мечети белого камня, а София — песочного камня. И Стамбул и слобода Перу с воды видны как на ладони. С берега в наше сретенье была пальба, и капитан Памбург отвечал пальбой изо всех пушек. Остановились напротив султанского сераля, откуда со стены глядел на нас султан, над ним держали опахало и его омахивали.

Нас на берегу встретили сто конных чаушей и двести янычар с бамбуковыми батожками. Под меня и дьяка привели лошадей в богатой сбруе. И как мы вышли из лодки — начальник чаушей спросил нас о здоровье. Мы сели на коней и поехали на подворье многими весьма кривыми и узкими улицами. С боков бежал народ.

О твоем корабле здесь немалое удивление: кто его делал и как он мелкими водами вышел из Дона? Спрашивали, много ли у тебя кораблей и сколь велики? Я отвечал, что много, и дны у них не плоски, как здесь врут, и по морю ходят хорошо. Тысячи турок, греков, армян и евреев приезжают смотреть «Крепость», да и сам султан приезжал, три раза обошел на лодке кругом корабля. А наипаче всего хвалят парусы и канаты за прочность и дерево на мачтах. А иные и ругают, что сделан-де некрепко. Мне, прости, так мнится: плыли мы морем в ветер не самый сильный, и «Крепость» гораздо скрипел и набок накланивался и воду черпал. Строители-то его — Осип Най да Джон Дей,—

чаю, не без корысти. Корабль — дело не малое, стоит города доброго. Здесь его смотрят, но не торгуют, и купца на него нет... Прости, пишу как умею.

А турки делают свои корабли весьма прилежно и крепко и сшивают зело плотно,— ростом они пониже наших, но воду не черпают.

Один грек мне говорил: турки боятся,— если твое царское величество Черное море запрешь,— в Цареграде будет голодно, потому что хлеб, масло, лес, дрова привозят сюда из-под дунайских городов. Здесь слух, что ты со всем флотом уж ходил под Трапезунд и Синоп. Меня спрашивали о сем, я отвечал: не знаю, при мне не ходил...»

. . . .

Памбург с офицерами поехал в Перу к некоторым европейским послам спросить о здоровье. Голландский и французский послы приняли русских ласково, благодарили и виноградным вином поили за здоровье царя. К третьему поехали на подворье — к английскому послу. Слезли с лошадей у красного крыльца, постучали. Вышел огненнобородый лакей в сажень ростом. Придерживая дверь, спросил, что нужно? Памбург, загоревшись глазами, сказал, кто они и зачем. Лакей захлопнул дверь и не слишком скоро вернулся, хотя московиты ждали на улице,— проговорил насмешливо:

— Посол сел за стол обедать и велел сказать, что с капитаном Памбургом видеться ему незачем.

— Так ты скажи послу, чтобы он костью подавился! — крикнул Памбург. Бешено вскочил на коня и погнал по плоским кирпичным лестницам, мимо уличных торговцев, голых ребятишек и собак, вниз на Галату, где еще давеча видел в шашлычных и кофейных и у дверей публичных домов несколько своих давних приятелей.

Здесь Памбург с офицерами напились греческим вином дузиком до изумления, шумели и вызывали драться английских моряков. Сюда пришли его приятели — штурмана дальнего плаванья, знаменитые корсары, скрывавшиеся в трущобах Галаты, всякие непонятные люди. Их всех Памбург позвал пировать на «Крепость».

На другой день к кораблю стали подплывать на каюках моряки разных наций — шведы, голландцы, французы, португальцы, мавры,—иные в париках, в шелковых чулках, при шпагах, иные с головой, туго обвязанной красным платком, на босу ногу — туфли, за широким поясом — пистолеты, иные в кожаных куртках и зюйдвестках, пропахших соленой рыбой.

Сели пировать на открытой палубе под нежарким сентябрьским солнцем. На виду — за стенами — мрачный, с частыми решетками на окнах, дворец султана, на другой стороне пролива — пышные рощи и сады Скутари. Преображенцы и семеновцы играли на рожках, на ложках, пели плясовые, свистали разными птичьими голосами «весну».

Памбург в обсыпанном серебряною пудрой парике, в малиновой куртке с лентами и кружевами,— в одной руке — чаша, в другой — платочек,— разгорячась, говорил гостям:

— Понадобится нам тысяча кораблей, и тысячу построим... У нас уж заложены восьмидесятипушечные, стопушечные корабли. На будущий год ждите нас в Средиземном море, ждите нас на Балтийском море. Всех знаменитых моряков возьмем на службу. Выйдем и в океан...

— Салют! — кричали побагровевшие моряки. — Салют капитану Памбургу!

Затягивали морские песни. Стучали ногами. Трубочный дым слоился в безветрии над палубой. Не заметили, как и зашло солнце, как аттические звезды стали светить на это необыкновенное пиршество. В полночь, когда половина морских волков храпела, кто свалясь под стол, кто склонив поседевшую в бурях голову между блюдами, Памбург кинулся на мостик:

— Слушай команду! Бомбардиры, пушкари, по местам! Вложи заряд! Забей заряд! Зажигай фитили! Команда... С обоих бортов — залп... О-о-огонь!

Сорок шесть тяжелых пушек враз выпыхнули пламя. Над спящим Константинополем будто обрушилось небо от грохота... «Крепость», окутанный дымом, дал второй залп...

. . . .

Емельян Украинцев писал цифирью:

«...припал на самого султана и на весь народ великий страх: капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло...

Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальной в чем был, и многие министры и паши испужались, и от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сераля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Я султану отвечал, что мне неизвестно, для чего капитан стрелял, и я его о том спрошу, и если султанову величеству стрельба учинилась досадна, я капитану вперед стрелять не велю и жестоко о том прикажу, но с корабля снимать мне его незачем. Тем дело и кончилось.

Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзоморта-пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета — мир с тобой учинить или войну».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Сентябрьское солнце невысоко стояло над лесистым берегом. День за днем, чем дальше уходили на север, глуше становились места. Косяки птиц срывались с тихой реки. Бурелом, болота, безлюдье. Изредка виднелась рыбачья землянка да челн, вытащенный на берег. До Белого озера оставалась неделя пути.

Четырнадцать человек тянули бечевой тяжелую

барку с хлебом. Уронив головы, уронив вперед себя руки, налегали грудью на лямки. Шли от самого Ярославля. Солнце заходило за черные зубцы елей, долго, долго томилось в мрачном зареве. С баржи кричали: «Эй, причаливай!» Бурлаки вбивали кол или прикручивали бечеву за дерево. Зажигали костер. В молочном тумане на болотистом берегу медленно тонул ельник. Длинношеей тенью в закате пролетали утки. Ломая валежник, приходили на реку лоси, рослые, как лошади. Зверья, небитого, непуганого, был полон лес.

По реке шлепали весла,— от баржи к берегу плыл сам хозяин, старец Андрей Денисов,— вез работничкам сухари, пшенца, когда и рыбки, по скоромным дням — солонины. Осматривал, крепок ли причал. Засунув руки за кожаный пояс, останавливался у костра,— свежий мужчина, в подряснике, в суконной скуфейке, курчавобородый, ясноглазый.

— Братья, все ли живы? — спрашивал.— Потрудитесь, бог труды любит. Веселитесь,— все вам зачтется. Одно счастье — ушли от никонианского смрада. А уж когда Онего-озером пойдем — вот где край! Истинно райский...

Выдернув из-за пояса руки, садился на корточки перед огнем. Уставшие люди молча слушали его.

— В том краю на реке Выге жил старец... Так же вот бежал от антихристовой прелести. А прежде был купчиной, имел двор, и лавки, и амбары. Было ему видение: огонь и человек в огне и — глас: «Прельщенный, погибаю навеки...» Все отдал жене, сыновьям. Ушел. Срубил келью. Стал жить, причащался одним огнепальным желанием. Пахал пашню кочергой, сеял две шапки ячменю. Оделся в сырую козлиную кожу, она на нем и засохла, и так и носил ее зимой и летом. Всей рухляди у него—чашечка деревянная с ложечкой да старописанный молитвенник. И скоро он такую силу взял над бесами,— считал их за мух... Начали ходить к нему люди, — он их исповедовал и причащал листочком либо ягодкой. Учил: в огне лучше сгореть живым, но не принять вечной муки. Год да другой — люди стали селиться около него. Жечь лес, пахать

под гарью. Бить зверя, ловить рыбу, брать грибы, ягоды. Все — сообща, и амбары и погреба — общие. И он разделил: женщин — особе, мужчин — особе.

— Это хорошо,— проговорил суровый голос,— с бабой жить — добра не нажить.

Веселым взором Денисов взглядывал в темноту на говорившего.

— Молитвами старца и зверь шел в руки, и рыбину иной раз такую вытаскивали — диво! Урожались и грибы и ягоды. Он указал, и нашли руды медные и железные,— поставили кузницы... Истинно святая стала обитель, тихое житие...

Из-за валежника поднялся Андрюшка Голиков, присев около Денисова, стал глядеть ему в глаза. Голиков шел с бурлаками по обету. (В тот раз на ревякинском дворе старец исповедовал Андрюшку, бил лествицей и велел идти в Ярославль дожидаться Денисовой баржи с хлебом.) Здесь из четырнадцати человек было девятеро таких же, пошедших по обету или епитимье.

Денисов рассказывал:

— В свой смертный час старец благословил нас, двоих братьев, Семена и меня, Андрея, быть в Выговской обители в главных. Причастил — и мы пошли. А келья его стояла поодаль, в ложбинке. Только отошли, глядим — свет. Келья — в огне, как в кусте огненном. Я было побежал, Семен — за руку: стой! Из огня — слышим — сладкогласное пение... А сверху-то в дыму — черти, как сажа, крутятся, визжат,— верите ли? Мы с братом — на колени, и сами запели... Утром приходим на то место,—из-под пепла бежит ключ светлый... Мы над ключом срубчик поставили и голубок — для иконки... Да вот иконописца не найти,— написать как бы хотелось.

Голиков всхлипнул. Денисов легонько погладил его по нечесаным космам:

— Одна беда, братцы мои, хлеб у нас через два года в третий не родится. Прошлым летом все вымочило дождями, и соломы не собрали. Приходится возить издалека... Да ведь дело святое, детушки... Не зря трудитесь.

Денисов еще поговорил немного. Прочел общую молитву. Сел в лодку, поплыл к барже через тусклую полосу зари на реке. Ночи были прохладные, спать студено в худой одежонке.

Чуть свет Денисов опять приплывал к берегу, будил народ. Кашляли, чесались. Помолясь, варили кашу. Когда студенистое солнце несветлым пузырем повисало в тумане, бурлаки влезали в лямки, шлепали лаптями по прибрежной сырости. Версту за верстой, день за днем. С севера ползли грядами тучи, задул резкий ветер. Шексна разлилась.

Тучи неслись теперь низко над взволнованными водами Белого озера. Повернули на запад, к Белозерску. Волны набегали на пустынный берег, сбивали с ног бурлаков. Вести баржу стало трудно. В обед сушились в рыбацкой землянке. Здесь двое наемных поругались с Денисовым из-за пищи, взяли расчет — по три четвертака, ушли — куда глаза глядят...

. . . .

Баржа стояла на якоре напротив города, на бурунах. Ветер свежел, пробирал до костей. Отчаяние брало,— подумать только — идти бечевой на север. Наемные все разругались с Денисовым, разбрелись по рыбачьим слободам. И остальные... кто знакомца встретил, кто повертелся, повертелся, и — нет его...

На берегу, на опрокинутой лодке, между мокрыми камнями, сидели Андрюшка Голиков, Илюшка Дехтярев (каширский беглый крестьянин) и Федька, по прозванию Умойся Грязью, сутулый человек, бродяга из монастырских крестьян, ломанный и пытанный много. Глядели по сторонам.

Все здесь было угрюмое: снежная от волн, мутная пелена озера, тучи, ползущие грядами с севера, за прибрежным валом — плоская равнина и на ней, почти накрытый тучами, ветхий деревянный город: дырявые кровли на башнях, ржавые луковки церквей, высокие избы с провалившимися крышами. На берегу мотались ветром жерди для сетей. Народу почти не видно. Уныло звонил колокол...

— Денисов-то, тоже,— ловок словами кормить. Покуда до его рая-то доберешься — одна, пожалуй,

душа останется,— проговорил Умойся Грязью, ковыряя ногтем мозоль на ладони.

— А ты верь! (Голиков ему со злобой.) А ты верь! — и в тоске глядел на белые волны. Бесприютно, одиноко, холодно...— И здесь, должно быть, далеко до бога-то...

Илюшка Дехтярев (большеротый, двужильный мужик с веселыми глазами) рассказывал тихо, медленно:

— ...Я, значит, его спрашиваю, этого человека: отчего на посаде у вас пустота, половина дворов заколочены?.. «Оттого пустота на посаде,— он говорит,— монахи озорничают... Мы в Москву не одну челобитную послали, да там, видно, не до нас... На святой неделе что они сделали — силов нет... Выкатили монахи на десяти санях со святыми иконами,— кто в посад, кто в слободы, кто по деревням... Входят в избы, крест — в рыло, крестись щепотьем, целуй крыж!.. И спрашивают хлеба, и сметаны, и яиц, и рыбы... Как веником, все вычистят. И деньги спрашивают... Ты, говорят, раскольник, беспоповец. Где у тебя старопечатные книги? И ведут человека на подворье, сажают на чепь и мучают».

Умойся Грязью вдруг закинул голову, захохотал хрипло:

— Вот едят, вот пьют! Ах, монахи, пропасти на них нет!

Дехтярев толкнул его коленом. К лодке, против ветра, придерживая развевающуюся рясу, подходил монах с цыганской бородой,— скуфья надвинута. Страшными глазами поглядел на судно, скрипящее на волнах, потом — на этих троих:

— Откуда баржа?

— Из-под Ярославля, отец,— ласково-лениво ответил Дехтярев.

— С чем баржа?

— Нам не сказывали.

— С хлебом?

— Ну, да...

— Куда ведете?

— А кто ж его знает,— куда прикажут...

— Не ври, не ври, не ври! — Монах торопливо стал загибать правый рукав.— Денисова эта баржа... В Повенец плывете, в раскольничьи скиты хлеб везете, страдники...

И сразу, кинувшись, взял Илюшку Дехтярева за грудь, тряхнул заробевшего мужика и, обернувшись к посаду, закричал что есть силы:

— Караул!

Андрюшка Голиков сорвался с лодки, побежал вдоль волн к рыбачьим землянкам.

— Караул! — заорал второй раз монах и пресекся. Умойся Грязью схватил его за волосы, оторвал от Илюшки, сбил с ног и стал вертеться над землей, ища камень. Монах бойко вскочил, налетел на него сбоку, но Федька весь сделался костяной от злобы, не шелохнулся, опять сгреб его, нагнув, ударил по шее. Монах крякнул. Из переулка к берегу бежали четверо с кольями...

. . . .

Андрюшка Голиков, ужасаясь, выглядывал из-за угла рыбацкой землянки. Умойся Грязью дрался с пятерыми: вырвал у одного кол, наскакивал, дико вскрикивал,— такой злобы в человеке Андрюшка не видывал сроду... «Бес, чистый бес!..» Потом ввязался и Дехтярев: изловчась, смазал монаха в ухо,— тот в третий раз покатился. Помощники его стали подаваться назад. Кое-где на посаде из ворот вышли люди, подкрякивали: так, так, так!..

Илюшка с Федькой одолели, погнали было этих, но скоро вернулись на берег и, отсморкав кровь, пошли прямо к избенке, где дрожал Голиков.

— А и тебя бы следовало поучить, по совести,— сказал ему Умойся Грязью.— Дурак ты, а еще в рай хочешь...

В дверцу из мазанки (стоявшей задом к морю) высунулась нечесаная голова, дымчатая борода от самых глаз. Поморгав, вылез кряжистый босой человек, темный от копоти. Поглядел в сторону посада,— там уж не было ни души.

— Заходите,— сказал и опять улез в низенькую мазанку. Свет в ней пробивался в щель над дверью.

Пахло прогорклой рыбой, половина помещения завалена снастями. Илья, Андрей и Федор, войдя, перекрестились двуперстно. Рыбак сказал им:

— Садитесь. А вы знаете, кого били сейчас?

— Меня всю жисть били, ни разу не спросили,— проговорил Умойся Грязью.

— Били вы ключаря Крестовоздвиженского монастыря, Феодосия. Разбойник, ах, разбойник, сатана! Бешенай!

Рыбак, видя, что это — люди свои, сел между ними на лавку, взял себя под мышками, покачиваясь, рассказывал:

— Здесь места самые рыбные, жить бы и жить,— уйду... Нельзя стало, этот сатана всем озером завладел... Монахам мы давали: зимой — четвертую часть снятка, и от каждой путины даем. Ему мало. Парус увидит и бежит на берег, и оставит тебе рыбы, только чтобы пожрать. Не дай,— он сейчас: «Как хрестишься?» Согрешишь, конечно, обмахнешься щепотью. «Не так, лукавишь! Иди за мной!» А идти за ним — известно: в монастырский подвал, садиться на цепь. А сколько он у нас снастей порвал, челнов перепортил... К воеводе ходили жаловаться. Воевода сам глядит, чего бы стянуть. Ведь у них в монастыре — жалованная митрополичья грамота: искоренять стариноверующих. Вам, братцы, скорей надо уходить отсюда.

— Ох, нет, мы с Денисовым,— проговорил Голиков, испуганно взглядывая на Илюшку и Федьку...

— Денисов откупится,— сильный человек... В огне не сгорит... Он с севера плывет,— с мехами, да костью, да медью,— откупается. Назад плывет,— откупается. Не один уже раз... У него, брат, везде свои люди...

Умойся Грязью — с усмешкой:

— Краснобай! Всю дорогу сухарями кормил, а уж наговорит, будто курятину едим.

Голиков весь изморщился, покуда просто говорили про выговского старца. Вспоминал, как Денисов, бывало, скупо-ласково погладит его по голове: «Что, мальчик, душа-то жива? Ну, и хорошо...» Вспоминал,

какие чудные беседы он вел у костра, как садился в лодку и чернел острой скуфеечкой на закатной воде. На древних иконах писали таких святителей на лодочке. За него Андрюшка сейчас бы в соломе живым сгорел...

Сидели на лавке, думали — как быть? Куда бежать? Идти ли все-таки на север? Рыбак не советовал: на север до Выга идти пешим, без челна,— месяца два в лесах,— пропадешь...

— Податься бы вам в легкие края, на Дон, что ли...

— Был я на Дону,— прохрипел Умойся Грязью,— там — не прежняя воля. Казаки-станишники гультяев выдают. Меня два раза в железо ковали, возили в Воронеж на царские работы...

Ничего толком не придумали, сказали Андрюшке, идти искать Денисова,— как он скажет?

. . . .

Андрюшка набрался страху: только дошел до ветхих городских ворот,— крики: «Стой, стой!» Бежали оборванные, босые люди,— кое-кто перемахнул через забор. За ними гнались, держась за шляпы, два солдата в зеленых кафтанах. Тяжело дыша, скрылись в кривом переулке. Почтенный старичок у калитки сказал: «Второй день ловят». Голиков спросил его — не знает ли он купчины Андрея Денисова, не видал ли его? Старичок,— подумав:

— Иди на площадь, ищи Денисова на воеводином дворе.

На небольшой площади, заваленной буграми навоза, гостиные ряды были заколочены, столбики покосились, крыши провисли. Торговали две-три лавки — кренделями, рукавицами. Без ограды стоял древний собор с треснувшими стенами. У низеньких крытых сеней его на травке спали обмотанные тряпьем нищенки, юродивый, положив около себя три кочерги, зевал до слез, тряс башкой. Здесь, видимо, жили не бойко.

Посредине площади, где врыт был столб для казни, переминался сторож с копьем. Голиков опаснова-

то пошел к нему. Из дощатой лавки навстречу высунулся купец, чистая лиса, и — сладкогласно:

— Ах, что за крендельки с маком!

Смиренно поклонясь сторожу, Голиков спросил,— где воеводин двор? Коротконогий сторож, в заплатанном стрелецком кафтане до пят, хмуро отвернулся. На столбе приколочена была жестяная грамота с орлом.

— Проходи прочь! — закричал сторож.

Андрюшка, отойдя, озирался — гнилые заборы, покосившиеся избы... Тучи цепляются за церковные кресты. К нему приближался низко подпоясанный человек в валенках,— толстые облупленные губы его вытянулись жаждуще. Сторож у столба и купчишки из лавок глядели, что сейчас будет.

— Откуда пришел? Ты чей? Меж двор шатаешься? — Человек вплоть задышал чесночным перегаром. Голиков только и мог от страха — заикнулся, затрепетал языком. Человек взял его за ворот.

— Это — денисовский,— крикнули из лавки.

— Он их девять человек везет сжигаться,— тонкогласно сказали из другой лавки.

Человек тряхнул Андрюшку:

— На столбе царскую грамоту читал? Иди за мной, сукин сын...

И поволок его (хотя Андрюшка и не упирался) в конец площади, на воеводин двор.

. . . .

Андрей Денисов, нарядный, расчесанный, держа на колене кунью шапку, сидел в горнице у воеводы — захудавшего стольника Максима Лупандина. Воевода, пригорюнясь, поглядывал, какие у купчины добрые козловые сапожки и кафтан мышиный, на алом шелку, гамбургского, а то, пожалуй, и аглицкого сукна. Сам-то воевода сидел в потертой беличьей шубейке,— не дороден, лыс, угреват. При покойном государе Федоре Алексеевиче был в стольниках, при Петре Алексеевиче едва добился кормления в Белозерск.

Разговаривали вокруг да около: и Денисов не нажимал, и воевода не нажимал. «Экий у него кафтан,— думал воевода,— а вдруг отдаст?» Он тайно послал

холопа в Крестовоздвиженский монастырь за отцом Феодосием, но и Денисов тоже кое-что придерживал до времени.

— Погода, погода, бог с ней,— говорил Денисов.— Переменится ветер — пойдем на парусах через озеро... Не переменится — как-нибудь уже берегом пробьемся... Лихое дело нам до Ковжи добраться, там людей найдем до самого Повенца...

— Конечно, твое дело понятное,— уклончиво отвечал воевода, поглядывая на кафтан...

— Максим Максимыч, сделай милость — не задерживай баржи и людишек моих.

— Кабы не указ,— о чем и толковать.— Воевода вытаскивал из кармана царскую грамоту, свернутую трубкой, подслеповато ползал по ней бородкой.— «...По указу великого князя и царя всеа... Сказано... Тунеядцев и дармоедов, что кормятся при монастырях, и всяких монастырских служек брать в солдаты...»

— Монастыри нас не касаются, у нас дело торговое...

— Обожди... «...и брать в солдаты же конюхов и боярских холопей, и всех шатающихся меж двор, нищих и беглых...» Что мне с тобой делать, Андрей? — не придумаю... Ну, подьячий бы какой-нибудь привез эту грамоту... Привез ее Преображенского полку поручик Алексей Бровкин с солдатами. Знаешь, как ныне с поручиками-то разговаривать?

Денисов, отогнув полу кафтана, брякнул серебром в кармане. Воевода испугался, что сейчас продешевит, стал оглядываться на дверь,— не войдет ли Феодосий. Вошел толстогубый ярыжка, толкая перед собой Андрюшку Голикова. Сорвал шапку, махнул в пояс поклон:

— Максим Максимыч, еще одного поймал...

— На колени! — гневно крикнул воевода. (Ярыжка поднажал, Голиков стукнулся о пол костлявыми коленками.) — Чей сын? Чей холоп? Откуда бежал? (Ярыжке). Ванька, подай чернила, перо...

Денисов сказал тихо:

— Оставь его, Максим Максимыч, это — мой приказчик...

У воеводы засветились глаза, отколупал крышечку на медной чернильнице, кряхтя, ловил пером оттуда муху. «Ох, нейдет ключарь»,— думал, и как раз заскрипели половицы в сенях. Ванька отворил дверь,— гневно вошел давешний монах с цыганской бородой, один глаз у него заплыл. Увидев Денисова, ударил посохом.

— Били меня его люди и разбивали, едва до смерти не убили,— заговорил зычно.— А ты, Максим, посадил его возле себя! Кого, кого, спрашиваю? Раскольника проклятого! Выдай мне его, выдай, воевода, трижды тебе говорю!

Положив руки на высокий посох, сверлил диким глазом то Денисова, то Максима Максимыча. Голиков без памяти отполз в угол. Ванька жаждуще ждал знака — кинуться крутить локти. «Мой кафтан»,— подумал воевода.

— Кто ты таков, пришел лаяться, монах, не знаю, да и знать не хочу,— проговорил Денисов. Встал. (У Феодосия посинели руки на посохе.) Расстегнул рубаху и с медного осьмиконечного креста снял мешочек.— Хотел я честно с тобой, Максим Максимыч,— поклониться от моих скудных прибытков... Значит, разговора у нас не выходит...

Из мешочка вынул сложенную грамоту, бережно развернул:

— Сия грамота жалована Бурмистерской палатой нам, Андрею и Семену Денисовым, в том, чтоб торговать нам, где мы ни захотим, и убытку, и разорения нам, Андрею и Семену, никто б чинить не смел... Своеручно подписана грамота президентом Митрофаном Шориным...

— Что мне Митрофан,— срывая руку с посоха, закричал Феодосий,— против твово Митрофана вот — кукиш!

— Ох! — слабо охнул воевода.

У Денисова румянец взошел на щеки.

— Против президента, из лучших московского купечества, ты — кукиш? Это — воровство!

— Подавись, подавись им, проклятый,— налезая бородой, бешено повторял Феодосий и схватил Денисова за медный раскольничий крест.— А за это, беспоповец, сожгу тебя... Против твоей слабенькой грамоты у меня сильненькая...

— Ох, да помиритесь вы,— стонал воевода,— Ондрей, дай монаху рублев двадцать, отвяжется...

Но монах и Денисов, не слушая, раздували ноздри. Ярыжка начал подходить бочком. Тогда Денисов, дернув у ключаря крест, кинулся к окошечку, поднял раму и крикнул на двор:

— Господин поручик, слово государево за мной!..

В комнате сразу замолчали, перестали сопеть. В сенях зазвенели шпоры. Вошел Алеша Бровкин,— в ботфортах, в белом шарфе, при шпаге. Юношеские щеки — румяны, на брови надвинута треугольная шапочка.

— О чем лай?

— Господин поручик, против президентской грамоты ключарь Феодосий и воевода лают непотребно и кукиш показывают, и грудь мне рвали, и грозились сжечь...

У Алешки глаза стали круглеть, строго выкатываться,— совсем как у Петра Алексеевича. Оглянул монаха, воеводу (упершегося руками в лавку, чтобы встать). Постучал тростью и — вскочившему солдату:

— Под стражу обоих...

2

Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс: «Удивительно! Откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову. Анхен вся — в покойного Монса».

Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр.

«Мое сердечко,— не раз говорила ему Анхен с нежным упреком,— вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды... Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель, там — я узнала — можно по доброй цене купить коров, дающих два ведра

молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую, хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки...»

Мыза была поставлена в березовой роще на дареной землице, идущей клином от ворот заднего двора, мимо ручья Кукуя, до Яузы. Здесь стояли: небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, рига, амбары. На косогоре у реки паслись пегие тучные коровы,— каждую звали поименно в честь греческих богинь,— тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли иноземные овощи и картофель.

Чуть свет Анхен, в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку. Была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Настало время рубить капусту. Таких кочнов не видали на огороде и у самого пастора Штрумпфа. Немцы приходили удивляться: такой кочан или такую репу можно было послать в Гамбург, в кунсткамеру. Шутили: «Наверно, Анхен знает какую-то молитву, что так пышно на этой недавней пустоши произрастают плоды земли».

С песнями русские девки рубили капусту в новом липовом корыте. Анхен брала девок самых здоровых и веселых из деревни Меньшикова или адмирала Головина (чьи новые дворы и палаты стояли неподалеку от Немецкой слободы). Стучали тяпки, от румяных девок пахло свежими кочерыжками, на траве, там, где падала длинная тень от сарая, еще лежал иней, снежные гуси важно шли из птичника на вырытое озерцо. Над острой крышей мызы поднимался дымок в осеннюю синеву. Через подметенный двор два опрятных мужика-пекаря несли корзину со свежевыпеченными калачами.

Анхен была счастлива,— постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой: ни дня покою, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра

Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки, или — хочешь не хочешь — наряжайся, скачи на ассамблею — отбивать каблуки.

Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день — обжорство, пляс. Но всего более огорчало Анну Ивановну сумасбродство самого Питера: он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всякого добра,— болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор.

Анхен однажды осторожно попросила Петра: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня всякий раз о приезде». Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему.

Солнце поднялось над осыпавшейся желтизной берез. Девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни,— их, за две недели перед тем как резать, откармливали орехами; Анхен сама каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе; посмотрела, как моют мохноногим курам ноги,— это нужно было делать каждое утро; в овчарнике брала на руки ягнят, целовала их в кудрявые лобики. Потом с неохотой вернулась домой. Так и есть,— на улице стояла карета. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:

— Господин саксонский посланник Кенигсек.

Ну, это было ничего... Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке — переодеться.

. . . .

Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке — табакерка, правая — свободна для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сем: о забавных приключениях,

о женщинах, о политике, о своем повелителе — курфюрсте саксонском и польском короле Августе. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках, беспечно-наглые, водянистые глаза ласкали Анхен. Она сидела напротив (у камина, где разгорались дрова), прямая,— в жестком корсаже,— округло уронив руки ладонями вверх. Потупясь, слушала, уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.

Господин посланник рассказывал:

— ...Ему нельзя не поклоняться. Он красив, любезен, смел... Король Август — божество, принявшее человеческий облик... Он неутомим в своих страстях и развлечениях. Ему надоедает Варшава,— он мчится в Краков, по пути охотится на диких свиней, роскошно пирует в замках у магнатов или ночью на сеновале растерянной простолюдинке дарит поцелуй Феба... Он приказывает выписать себе подорожную на имя кавалера Винтера и под видом искателя приключений пересекает Европу и появляется в Париже. Этой шпагой я не раз отражал удары, направленные в его грудь, в ночных драках на перекрестках парижских улиц. Мы скачем в Версаль на ночной праздник, король Август одет странствующим офицером. О, Версаль! О, вы должны увидеть этот земной рай, фрейлен Монс... Огромные окна освещены миллионом свечей, по фасаду переливаются огни плошек. На террасе вдоль боскетов гуляют дамы и кавалеры. На деревах, как райские плоды,— китайские фонарики. За озером взлетают ракеты, их искры опадают в воду, где на барках музыка арф и виол. Плещут фонтаны, летают ночные бабочки. Мраморные статуи сквозь листву кажутся ожившими божествами. Христианнейший король Людовик—в кресле. Тень от парика скрывает его тучное лицо, но все же мне удалось увидеть надменный профиль — с выдвинутой нижней губой и всему свету известной полоской усиков. О его кресло облокотилась дама в черном домино с опущенным на глаза капюшоном. Это была мадам де Ментенон. По правую руку сидел на стуле Филипп Анжуйский —

будущий король Испании, его внук, подавленный меланхолией... Все вокруг, тысячи лиц в полумасках, дворец, весь парк, казалось, были озарены золотом славы...

Пальчики Анхен трепетали, округлости груди поднялись из тесноты корсажа.

— Ах, нельзя поверить, что это — не сон... Но кто это госпожа Ментенон, которая стояла за стулом короля?

— Его фаворитка... Женщина, перед которой трепещут министры и посланники... Мой повелитель, король Август, прошел несколько раз мимо мадам Ментенон и был замечен ею...

— Господин посланник, почему король Людовик не женится на мадам Ментенон?

Кенигсек несколько изумился, на минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхен ниже опустила голову, в уголке губ легла складочка.

— О фрейлен Монс... Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева — это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке, потому что жизнь — это политика, а политика — это золото и слава. Король задергивает ночью полог постели не у королевы — у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке... (У Анхен слабый румянец пополз к щекам. Посланник ближе придвинулся надушенным париком.) На горячей подушке поверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории.

— Господин посланник,— Анхен подняла влажно-синие глаза,— дороже всего знать, что счастье — долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности... Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один бог... Я плыву на роскошной, но на утлой ладье...

Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка...

— Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя.—

Кенигсек взял ее за локоть, нежно сжал.—Вам некому поверять тайн... Поверяйте их мне... С восторгом отдаю вам себя... Весь мой опыт... На вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме справляется о «нимфе кукуйского ручья»...

— В каком смысле вы себя предлагаете, не понимаю вас.

Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам... Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.

— Не знаю, должна ли я даже слушать вас...

Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. На подоконнике, между геранями, в золоченой клетке нахохлился на помрачневший день ученый перепел — подарок Питера. Анхен силилась собраться с мыслями, но потому ли, что Кенигсек, не шевелясь, глядел ей в спину,— тревожно стучало сердце... «Фу, глупость! С чего бы вдруг?» Было страшно обернуться. И хорошо, что не обернулась: у Кенигсека блестели глаза, будто он только сейчас разглядел эту девушку... Над пышными юбками — тонкий стан, молочной нежности плечи, пепельные, высоко поднятые волосы, затылок для поцелуев...

Все же он не терял рассудка: «Чуть побольше остроты ума и честолюбия у этой нимфы,— с ней можно делать историю».

Анхен вдруг отступила от окна, бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кенигсеке:

— Царь!..

Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка, жмурясь от пыли, вылез Петр. Вслед подъехала крытая кожаная колымага. Он что-то крикнул туда и пошел к дому. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали.

. . . .

Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного,— рослого, со злым и надменным лицом,— взяв за плечи, тряхнул, похлопал:

— Здесь вы у меня дома, герр Иоганн Паткуль... Будем обедать...

Петр был трезв и очень весел. Вытащил из-за красного обшлага парик:

— Возьми гребень, расчеши, Аннушка. За столом буду в волосах, как ты велишь... Нарочно за ним солдата посылал.— И — другому гостю — генералу Карловичу (с лилово-багровыми, налитыми щеками): — Какой ни надень парик,— за королем Августом не угнаться: зело пышен и превеликолепен... А мы — в кузнице да на конюшне...

Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кенигсеку:

— Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник...

— Ваше величество,— Кенигсек повел шляпой, пятясь и садясь на колено,— смертных не судят, цветы и голубей приносящих на алтарь Венус...

. . . .

Покуда Петр мылся и чистился, Анна Ивановна делала политес: взяла с подноса по рюмке тминной водки, поднесла гостям, спросила каждого о здоровье и — «давно ли изволили прибыть в Москву и не терпите ли какой нужды?» Вспоминая, что ей говорил Кенигсек, выставила тупой кончик туфельки, раскинула юбки по сторонам стула:

— Приезжим из Европы у нас первое время скучно бывает. Но вот скоро, бог даст, с турками замиримся — велим всем носить венгерское и немецкое платье, улицы будем мостить камнем, разбойников из Москвы выведем.

Иоганн Паткуль отвечал ей ледяным голосом, не разжимая тонких губ. В Москву он приехал с неделю, из Риги. Остановился не на посольском дворе, а в доме вице-адмирала Корнелия Крейса, вместе с генерал-майором Карловичем, прибывшим несколько ранее из Варшавы от короля Августа. Нужды они покуда никакой

не терпят. Москва действительно не мощена и пыльна, и народ одет худо.

— Я успел заметить,— Паткуль с усмешкой взглянул на Карловича, слегка свистевшего горлом от полнокровия и тесноты военного кафтана, перепоясанного по тучному животу широким шарфом,— я заметил особенный способ, каким московская чернь наживает несколько копеек себе на водку. Когда что-нибудь купишь у него и требуешь сдачи, он намеренно обсчитывает в свою пользу и просит проверить. Пересчитав, говоришь ему, что счет не верен. Он божится, будто именно я обсчитался, снова начинает считать сдачу и крестится на церковные главы, что счет верен. Я второй и третий раз пересчитываю, и он спорит и опять считает сам. И так он проделывает раз десять сряду, покуда тебе не надоест и ты не отойдешь, махнув рукой на пропажу.

— Нужно приказывать своему холопу брать такого человека и тащить в земскую избу, там его хорошенько отколотят батогами,— с твердостью сказала Анна Ивановна.

Паткуль презрительно пожал плечом.

Вошел Петр, свежий, в расчесанном паричке. Анхен торопливо поднесла ему тминной... Выпив, он потянулся губами, чмокнул ее в щеку. Мажордом отворил дверь, стукнул булавой. Пошли в столовую, где на сводчатом потолке резвились меж облачков купидоны, штукатуренные стены прикрыты фламандскими шпалерами, над глазуревым камином — картина славного Снайдерса,— изобилие битой птицы и плодов земли.

Петр сел спиной к пылающим дровам, Паткуль — по правую его руку, Карлович и Кенигсек — по левую, озабоченная Анхен — напротив. На пестрой полотняной скатерти в хрустальных кубках было уже налито венгерское, грудой посреди стола лежали кровяные, свиные и ливерные колбасы. От холодных блюд пахло пряностями. За окошком несло колючую пыль, мотались голые ветви. Здесь было тепло. Убранство стола, довольные лица гостей, огоньки камина уютно отражались в зерцалах стенных подсвечников.

Петр поднял чарку за любезного друга сердца

польского короля Августа. Гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать.

— Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное,— сказал Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний: молодых гусят с грецкими орехами.

— Ладно.— Петр кивнул. Раздвинув локтями оловянные блюда, морщась улыбкой, поглядывал на щечки подвыпившей Анхен. Весь обед он шутил, подсмеивался над хозяйской скупостью Анны Ивановны, подмигивал ей на Кенигсека: «Не из его ли голубей соус на столе, коих на ваш Венеркин алтарь приносит?..» Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Иоганн Паткуль и Карлович спешно прибыли в Москву.

До нынешнего дня видели они его всего раз — у вице-адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда, к фаворитке, на тайный обед. Паткуль почтительно-холодным взором наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла Двенадцатого давно сидело в Москве, переговариваясь со Львом Кирилловичем и боярами о вечном со Швецией мире,— шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот.

— Господин Карлович и господин посланник подтвердят, что мои слова — в полном согласии с сердечным желанием его величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все лифляндское рыцарство и все именитое купечество Риги молят, государь, преклонить к нам слух.

Большой лоб Паткуля собрался морщинами. Говорил медленно, порою сдерживая гнев:

— Несчастная Лифляндия ищет покоя и мира. Некогда мы были частью Ржечи Посполитой, мы сохраняли наши вольности, и город Рига был славен на всем Балтийском море. Сердца человеческие черны завистью. Ржечь Посполита протянула руку к нашим богатствам, иезуиты воздвигли гонение на нашу веру, на наш язык и обычаи... Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифляндское рыцарство добровольно от-

далось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва.

— Неосторожно было,— сказал Петр,— швед — всему миру хищник известный.— Он потащил из кармана коротенькую трубочку. Кенигсек, торопливо поднявшись, стал высекать огнивом искру. Задымившийся кусочек трута поднес Петру на тарелке. Иоганн Паткуль вежливо ждал, когда царь закурит.

— Государь, вы изволили слышать о законе, сказанном в шведском сенате и утвержденном покойным шведским королем Карлом Одиннадцатым: о редукции. Тому минуло двадцать лет. Шведские сенаторы,— бюргеры, злобные торгаши,— не знаю уж чем опоили короля, внушив ему неслыханное злодейство: отобрать у дворянства все земли, жалованные прежними королями. Эрлы и бароны принуждены были покинуть замки, и смерд стал пахать земли высокородных. Нам, лифляндскому рыцарству, дано было клятвенное обещание о нераспространении редукции. Но через восемь лет король все же повелел редукционной комиссии брать в казну наши земли, жалованные прежними государями. Право на исконные земли рыцарей, гроссмейстеров ордена и епископов нужно было доказывать древними грамотами, а буде грамот не окажется, в казну отходили и эти земли... Со времен Иоанна Грозного и Стефана Батория Лифляндия опустошается войной, грамоты наши утеряны, мы не можем доказать исконных прав... Я написал челобитную о злодействах редукционной комиссии и от всего лифляндского рыцарства подал ее шведскому королю... Но добился лишь того, что сенат приговорил меня к отсечению правой руки, написавшей сию челобитную, и к отсечению головы (Паткуль повысил голос, уши его поджались, тонкие губы побелели)... к отсечению головы, не пожелавшей униженно склониться перед злодеянием... Государь, лифляндское рыцарство разорено. Но не легче и нашему купечеству... (С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно.) Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовят разорение. Иностранные корабли сворачивают

теперь мимо Риги в Кенигсберг, весь хлеб из Польши тянется к Бранденбургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел, город на кладбище похож. А в Ревеле и того хуже сделано шведами. Остается — либо нам разорение вконец, либо война. Теперь или никогда, государь. Все рыцарство сядет на коней. Король Август клятвенно берет нас под державную руку Польши...

Паткуль твердо взглянул на генерала Карловича, перевел желтоватые глаза на Кенигсека. Оба важно наклонили парики. Петр,— кусая чубук:

— Не попасть бы вам опять из огня в полымя... Рука у короля Августа легка, у польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете — Ригу и Ревель...

— Польша теперь не та, что при Стефане Батории. Польша не ищет нашей погибели,— сказал Паткуль.— У нас один враг на суше и море. На вольности, на веру Ржечь Посполита не покусится...

— Дай бог, дай бог... Нынче сейм так приговорит, завтра по-другому,— что панам в голову взбредет... Был бы король Август единовластен,— тогда надежно. А то — паны!.. (Петр благодушно рассуждал, попыхивая дымком. У Паткуля кости проступили на лице под кожей,— так въелся зрачками в царя.) Да захотят ли еще паны воевать?

— Государь, саксонскому войску короля Августа, коим он один повелевает, приказано уже стать на зимние квартиры в Шавльском и Бирзенском поветах близ ливонской границы...

— Сколь велико войско?

— Двенадцать тысяч отборных германцев.

— Маловато будто бы для такого дела.

— Да столько же ливонских рыцарей сойдутся под Ригу. Шведский гарнизон невелик. Ригу возьмем с налету. А там — война начнется — паны сами возьмутся за сабли. Другой союзник сей коалиции — датский король Христиан. Государь, вам известно, сколь он пылает ненавистью против герцога [1] и шведов. Датский флот нам будет обороною с моря...

[1] Герцог Голштейн-Готорбский, Фридрих IV, женатый на сестре Карла XII. Герцогство Голштинское граничит с Данией.

Паткуль добрался до трудного места. Царь, свесив руку, постукивал по столу ногтями, на круглом лице его не выражалось ни желания, ни противности. Начинались сумерки, за окном усиливался ветер, скрипя ставнями. Анхен хотела было зажечь свечи. Петр — сквозь зубы: «Не надо».

— Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море, обратно взять у шведов исконные вотчины — Ингрию и Карелию. Поразив шведов и утвердясь при море, достигнуть всемирной славы, завести торговлю с Голландией, Англией, Испанией и Португалией, со всеми северными, западными и южными странами и сделать то, чего ни один монарх Европы не в состоянии был сделать,— открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом. Войти в связь со всеми монархами христианскими, иметь слово в делах Европы... Заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой... И всем этим скорее, нежели покорением турок и татар, прославиться в свете. Сейчас или никогда...

Паткуль поднял руку, будто призывая бога в свидетели. Кенигсек шепотом повторил: «Сейчас или никогда». Генерал Карлович значительно засопел...

— Что ж так, сейчас! Крыша, что ли, горит? Дело большое — воевать со шведами,— грызя чубук, проговорил Петр. (У собеседников насторожившиеся глаза поблескивали каминными огоньками.) — Двенадцать тысяч саксонцев — сила добрая. Датский флот... Гм... Рыцари да паны? Это еще бабушка в решето видела... Шведы, шведы... Первое в Европе войско... Трудно вам что-нибудь присоветовать...

Он опять застучал ногтями. Паткуль — со сдержанной яростью:

— Сегодня шведов голыми руками можно взять. Карл Двенадцатый — мал и глуп... Сие — король! Разряженный, как девка,— одно знает — пиры да по лесам за зайцами скакать! Из казны все деньги вытянул на машкерады. Лев — без зубов... Недаром шведское посольство с весны сидит в Москве, просит вечного мира... Смешно сказать,— послы. Всей Европе известно — ни на одном шелковых чулков нет. Прожились, одним

горохом питаются. Да вот, государь,— генерал Карлович в прошлом году был в Стокгольме, нагляделся на короля... Господин генерал, извольте рассказать...

Карлович выпростал несколько шею из воротника:

— Был, так точно... Город невелик, но неприступен с воды и суши,— истинное логовище льва. Я сошел с корабля, будучи под вымышленным именем и в платье партикулярном. Иду на рынок, дивлюсь: как будто в городе неприятель,— в лавках и домах закрывают ставни, женщины хватают детей. Спрашиваю прохожего. Машет рукой, бежит прочь: «Король!»

Я видывал всякое в походах и во многих городах, где стаивали на квартирах, но не такое, чтобы народ от своего короля, как от чумы, бросался без памяти в двери... Гляжу — с лесистой горы скачут,— не ошибиться,— не менее сотни охотников, за спиной — рога, на сворах — собаки... Гонят через каменный мост в город. А уж площадь пуста. Впереди на вороном жеребце — юноша, лет семнадцати, в солдатских ботфортах, в одной рубахе. Скачет, бросив поводья: король Карл Двенадцатый... Львенок... Охотники за ним,— свист, хохот. Как бесы, промчались по рынку. Хорошо, что обошлось, а бывает, что и потопчут.

Будучи любознателен, упросил я одного знакомца сводить меня во дворец под видом будто бы продавца аравийских ароматов. Час был ранний, но во дворце пировали. Король забавлялся. В столовой стены на человеческий рост забрызганы кровью, на полу кровь — ручьями. Смрад, валяются пьяные. Король и те, кто еще стоял на ногах, рубили головы баранам и телятам — с одного удара саблей на спор о десяти шведских кронах. Я не мог не одобрить королевской рубки: конюха подпихивали к нему теленка, король рысцой пробегал и, описывая саблей круг, смахивал телячью голову, ловко увертывался, чтобы кровь не хлестнула на ботфорты.

Учтиво я поклонился, король бросил саблю на стол и поднес мне для поцелуя запачканную руку. Узнав, что я торговец: «Вот, кстати, сказал, не можешь ли ссудить мне пятьсот голландских гульденов?» Меня усадили за стол и заставили неумеренно пить. Один из

придворных шепнул: «Не перечьте королю, он пьян третьи сутки. Вчера одного почтенного негоцианта здесь раздели догола, вымазали медом и обваляли в перьях». Чтобы избежать бесчестья, я обещал королю пятьсот гульденов, которых у меня не было, и до ночи провел за столом, притворяясь пьяным. Придворные просыпались, ели, пили, орали песни, опрокидывали блюда на головы лакеев и снова валились с ног.

Ночью король с толпой приспешников вышел из дворца — бить стекла, пугать спящих граждан. Я воспользовался темнотой и скрылся. Весь город стонет от королевских безумств. При мне в трех церквах с амвона проповедники говорили народу: «Горе стране, где король юн». Горожане посылают лучших людей во дворец — просить короля бросить распутство, заняться делом. Челобитчиков выбивают вон. Эрлы и бароны, разоренные покойным королем, ненавидят правящую династию. В сенате еще держатся за короля, но уже с деньгами прижимают. А ему хоть бы что,— безумец!

Не так давно, придя в сенат, потребовал двести тысяч крон безответно. Сенат единогласно отказал. Король в бешенстве сломал трость: «Так будет со всеми, кто против меня...» А на другой день ворвался с охотниками в сенатскую залу,— из мешка выпустили полдюжины зайцев и порскнули гончих собак... (Петр вдруг, откинув голову, весело засмеялся.) Сенаторы на подоконники полезли, на иных собаки ободрали кафтаны. Весь он тут,— король-шалун... Куда как страшен львенок!

Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком. Петр, облокотясь о стол, продолжал смеяться. Анна Ивановна неожиданно для всех проговорила с презрением:

— Нечего сказать,— король! Такого Карлу с одним нашим Преображенским полком можно добыть...

К ней все повернули головы. Кенигсек приложил ко рту платочек. Петр — негромко:

— Вот уж это, Аннушка, не твоего ума дело. Скажи-ка лучше вздуть свечи...

Зажгли свечи в стенных подсвечниках перед зерцалами. Налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Паткуля. Анхен принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яства на столе, и светят свечи, и улыбаются голубенькие глазки,— пусть шумит ветер за окошком... Петр, усмехаясь, в такт покачивал головой, подтопывал башмаком. В этот вечер он ни слова более не сказал о политике.

3

Каждое воскресенье у Ивана Артемича Бровкина в новом кирпичном доме на Ильинке обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемич жил вдовцом. Старший сын, Алеша, был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Недавним указом таких полков сказано набрать тридцать,— три дивизии. Для снабжения учредить новый приказ — Провиантское ведомство — под началом генерал-провианта. Само собой генерал-провиант ни овса, ни сена, ни сухарей и прочего довольствия из одних ведомственных бумаг добыть не мог. Главным провиантором опять остался Бровкин, хотя без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках.

Другие сыновья: Яков служил в Воронеже, во флоте, Гаврила учился в Голландии, на верфях. И только меньшенький, Артамон,— ему шел двадцать первый годок,— находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Знал он бойко немецкий язык и переводил отцу сочинения по коммерции и — для забавы — гишторию Пуффендорфа. Иван Артемич, слушая, вздыхал: «А мы-то живем, господи, на краю света — свиньи свиньями».

Все дети — погодки — были умны, а этот — чистое золото. Видно, их мать, покойница, всю кровь свою по капельке отдала, всю душу разорвала,— хотела сча-

стья детям. В зимние вьюги, бывало, в дымной избе жужжит веретеном, глядит на светец — горящую лучину — страшными, как пропасть, глазами. Маленькие посапывают на печи, шуршат в щелях тараканы, да воет над соломенной крышей вьюга о бесчеловечной жизни... «Зачем же маленьким-то неповинно страдать?» Так и не дождалась счастья. Иван Артемич тогда ее не жалел, досуга не было, а теперь, под старость, постоянно вспоминал жену. Умирая, закляла его: «Не бери детям мачехи». Так вот и не женился второй раз...

Дом у Бровкина был заведен по иноземному образцу: кроме обычных трех палат,— спальней, крестовой и столовой,— была четвертая — гостиная, где гостей выдерживали до обеда, и не на лавках вдоль стен, чтобы зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты, кругом стола, покрытого рытым бархатом. Для утехи здесь лежали забавные листы, месяцеслов с предсказаниями, музыкальный ящик, шахматы, трубки, табак. Вдоль стен — не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке,— стояли поставцы, или шкафы огромные,— при гостях дверцы у них открывали, чтобы видна была дорогая посуда.

Все это завела Александра. Она следила и за отцом: чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах. Но, по совести, жил скучновато. Надуваться спесью теперь было почти и не перед кем,— за руку здоровался с самим царем. Иной раз хотелось посидеть на Варварке, в кабаке, с гостинодворцами, послушать занозистые речи, самому почесать язык. Не пойдешь,— невместно. Скучать надо.

Иван Артемич стоял у окошка. Вон — по улице старший приказчик Свешникова бежит, сукин сын, торопится. Умнейшая голова. Опоздал, милый,— лен-то мы еще утречком в том месте перехватили. Вон Ревякин в новых валенках, морду от окна отворотил,— непременно он из Судейского приказа идет... То-то, милай, с Бровкиным не судись...

Вечером — когда Саньки дома не было — Иван Артемич снимал парик и кафтан гишпанского бархата,

спускался в подклеть, на поварню,— ужинать с приказчиками, с мужиками. Хлебал щи, балагурил. Особенно любил, когда заезжали старинные односельчане, помнившие самого что ни на есть последнего на деревне — Ивашку Бровкина. Зайдет на поварню такой мужик и, увидя Ивана Артемича, будто до смерти заробеет и не знает — в ноги ли поклониться, или как, и отбивается — не смеет сесть за стол. Конечно, разговорится мало-помалу, издали подводя к дельцу,— зачем заехал...

— Ах, Иван Артемич, разве по голосу, а так не узнать тебя. А у нас на деревне только ведь и разговоров,— соберутся мужики на завалине и — пошли: ведь ты еще тогда, в прежние-то годы,— помним,— однолошадный, кругом в кабале, а был орел...

— С трех рубликов, с трех рубликов жить начал. Так-то, Константин.

Мужик строго раскрывал глаза, вертел головой:

— Бог-то, значит, человека видит, метит. Да... (Потом — мягко, ласково.) Иван Артемич, а ведь ты Констянтина Шутова помнишь, а не меня. Я — не Констянтин... Тот — напротив от тебя-то, а я — полевее, с бочкю. Избенка плохонькая...

— Забыл, забыл.

— Никуда изба,— уже со слезой, горловым голосом говорил мужик,— того и гляди развалится. Намедни обсела поветь,— гнилье же все,— тялушку, понимаешь, задавило... Что делать — не знаю.

Иван Артемич понимал, что делать, но сразу не говорил: «Сходи завтра к приказчику, до покрова за тобой подожду»; покуда не одолевала зевота, расспрашивал, кто как живет, да кто помер, да у кого внуки... Балагурил: «Ждите, на Красную Горку приеду невесту себе сватать».

Мужик оставался на поварне ночевать. Иван Артемич поднимался наверх, в жаркую опочивальню. Два холопа в ливреях, давно спавшие у порога на кошме, вскакивали, раздевали его,— низенького и тучного. Положив сколько надо поклонов перед лампадой, почесав бока и живот, совал босые ноги в обрезки валенок, шел в холодный нужник. День кончен. Ложась на перину,

Иван Артемич каждый раз глубоко вздыхал: «День кончен». Осталось их не так много. А жалко,— в самый раз теперь жить да жить... Начинал думать о детях, о делах,— сон путал мысли.

Сегодня после обедни ожидались большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков, без всяких поклонов, поцеловал тестя, невесело сел к столу. Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками, цвета фрезе-кразе, оглядывая новое платье.

— Батюшка, у меня к вам разговор... Такой разговор серьезный.— Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала,— синеглазая, томная, ротик маленький.— Уж такой разговор... (И опять — и присела и раскладными перьями обмахнулась.)

Волков сказал угрюмо:

— Шалая какая-то стала. Вбила в башку — Париж, Париж... Только ее там и ждут... Спим теперь врозь.

Иван Артемич, сидя у голландской печи, посмеивался:

— Ай-ай-ай, учить надо.

— Поди ее — поучи: крик на весь дом. Чуть что — грозит: «Пожалуюсь Петру Алексеевичу». Не хочу ее брать в Европу — свихнется.

Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик:

— Возьмешь. Петр Алексеевич мне сам велел ехать. А ты — невежа.

— Тесть, видел? Что это?

— Ай-ай-ай...

— Батюшка,— сказала Санька, расправив платье, села около него.— Вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей. Девка так и горит. Они еще старшую не пропили, а до этой когда черед? Наташа — в самой поре,— красотка. Политес и талант придворный понимает не хуже меня...

— Что ж, у князя Романа дела, что ли, плохи? — спросил Иван Артемич, почесывая мягкий нос.— То-то он все насчет полотняного завода заговаривает...

— Плохи, плохи. Княгиня Авдотья плакалась. А сам ходит тучей...

— Он с умной головы сунулся по военным подрядам, ему наши наломали бока...

— Род знаменит, батюшка,— Буйносовы!.. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за приданым не будем слишком гнаться,— отдадут. Я про меньшенького, Артамошу, говорю. (Иван Артемич полез было в затылок, помешал парик.) Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила.

— Говорила? — Иван Артемич сразу бросил трепать нос.— Ну, и он что?

— Милое дело, говорит. Мы с ним танцевали у Меньшикова вчерась. Усами по щеке меня щекочет и говорит: «Крутите свадьбу да скорее».

— Почему скорее? — Иван Артемич поднялся и напряженно глядел на дочь. (Санька была выше его ростом.)

— Да война, что ли... Не спросила его, не до того было... Вчера все говорили — быть войне.

— С кем?

Санька только выпятила губу. Иван Артемич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь,— в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами, красными каблуками.

У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости.

. . . .

Глядя по гостю, Иван Артемич или встречал его наверху, в дверях, выпятя живот в шелковом камзоле, то спускался на самое крыльцо. Князя Романа Борисовича, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы,— добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом поскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки, Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором,— девица весьма спелая.

Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Почтенные гости — президент Митрофан Шорин, Свешников, Момонов,— чтобы не насту-

пать на девичьи шлепы, подались к печке и оттуда косились из-под бровей: «Все это, конечно, так: воля царская — тянуться за Европой, а добра большого не жди таскать по домам девок».

Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы — гравюры — славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочки, разглядывая голых богов и богинь... «А это кто? А это чего у него? А это она что? Ай!»

Санька объясняла с досадой:

— Это мужик, с коровьими ногами — сатир... Вы, Ольга, напрасно косоротитесь: у него — лист фиговый,— так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой... Она, несчастная, плачет,— свет не мил. Сердечный друг сделал ей амур и уплыл — видите — парус... Называется — «Ариадна брошенная»... Надо бы вам это все заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих-то богов. Это — не прошлый год... А уж с иноземцем и танцевать не ходите...

— Мы бы заучили,— книжки нет... От батюшки полушки не добьешься на дело,— сказала Антонида. Рябоватая Ольга от досады укусила кружево на рукаве. Санька вдруг обняла Наталью за плечи, шепнула что-то. Круглолицая, русоволосая Наталья залилась зарей...

Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша,— в коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета. Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти,— не повернуть...

Артамоша поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Санька, поджав губы, коротко присев,— скороговоркой:

— Презанте мово младшего брата Артамошу.

Девы лениво покивали высокими напудренными прическами. Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье. Санька представляла: «Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья». Каждая дева, поднявшись, присела,— перед каждой Артамон пополоскал рукой. Осторожно сел к столу. Зажал руки между коленями.

На скулах загорелись пятна. С тоской поднял глаза на сестру. Санька угрожающе сдвинула брови.

— Как часто делаете плезир? — запинаясь, спросил он Наталью. Она невнятно прошептала. Ольга бойко ответила:

— Третьего дня танцевали у Нарышкиных, три раза платья меняли. Такой сюксе, такая жара была. А вас отчего никогда не видно?

— Молод еще.

Санька сказала:

— Батюшка боится — забалуется. Вот женим, тогда пускай... Но танцевать он ужасно ловкий... Не глядите, что робеет... Ему по-французски заговорить,— не знаешь, куда глаза девать.

Почтенные гости с любопытством поглядывали на молодежь... «Ну, ну, детки пошли!» Митрофан Шорин спросил у Бровкина:

— Где сынка-то обломал?

— Учителя ходят, нельзя, Митрофан Ильич: мы на виду... Родом не взяли, другим надо брать...

— Верно, верно... Приходится из щелей-то вылезать...

— И государь обижается: что же, говорит, деньги лопатой гребешь, так уж лезь из кожи-то...

— Само собой. Расходы эти оправдаются.

— Санька мне одна чего стоит. Но бабенка — на виду.

— Бабочка бойкая. Только, Иван Артемич, ты посматривай, как бы...

— Конечно, ее можно плеткой наверх загнать — сидеть за пяльцами,— помолчав, задумчиво ответил Иван Артемич.— А толк велик ли? Что мужу-то спокойно? Э-ка! Понимаю, около греха вертится. Господи, верно... Грех-то у нее так и прыщет из глаз. Митрофан Ильич, не те времена... В Англии,— слышал? — Мальбрукова жена всей Европой верховодит... Вот ты и стой с плеткой около юбки-то ее — дурак дураком...

Алексей Свешников, суровый лицом, густобровый купчина (в просторном венгерском кафтане со шнурами), в своих волосах,— чернокудрявых, с проседью,—

вертел за спиной пальцами, дожидаясь, когда президент и Бровкин бросят судачить о пустяках.

— Митрофан Ильич,— пробасил он,— опять ведь я о том же: надо поторопиться с нашим-то дельцем. Слух есть, как бы нам дорогу не перебежали.

Востроносое, чисто вымытое, хитрое лицо президента заулыбалось медовым ртом.

— Как наш благодетель Иван Артемич рассудит, его спрашивай, Алексей Иванович...

Бровкин тоже быстро завертел за спиной пальцами, расставив короткие ноги, глядел снизу вверх на орлов — Шорина и Свешникова... Сразу сообразил: торопятся, ироды,— чего-то, значит, они разузнали особенное... (Вчера Бровкин весь день пробыл в хлебных амбарах, никого из высоких людей не видал.) Не отвечая, надуваясь важностью, прикидывал: чему бы этому быть? Вытащил из-за спины руки — почесать нос.

— Что ж, сказал, слух есть — сукнецо будет теперь в цене... Можно потолковать.

Свешников сразу выкатил цыганские глаза:

— Ты, значит, тоже, Иван Артемич, знаешь про вчерашнее?

— Знаем кое-что... Наше дело — знать да помалкивать... (Иван Артемич всей рукой взял себя за низ лица: «Что за дьявол! Про что они узнали?»)

Косясь на других гостей, попятился за изразцовую печь, Свешников и Шорин — за ним. Там, став тесно, заговорили вокруг да около, настороженно...

— Иван Артемич, вся Москва ведь болтает.

— Поговаривают, да.

— С кем же? Неужто со шведом?

— Это дело государево...

— Ну, а все-таки... Скоро ли? (Свешников влез ногтями в проволочную бороду.) В самый бы раз теперь нам заводик поставить. Дорого государю не то, что дешевле гамбургского, а то, что ведь свое будет сукно. Границы могут закрыть, а тут — сукно свое... Дело золотое. Вокруг народу что закрутилось,— тот же Мартисен...

«Вот они про что пронюхали»,— понял Иван Артемич, усмехаясь в горсть.

На днях этот Мартисен, иноземец, был у Бровкина с переводчиком Шафировым, предлагал поставить суконный завод: часть денег государя, часть — Бровкина, он же, Мартисен, войдет в треть всех доходов, за это обязуется выписать из Англии ткацкие станы, мастеров лучших и вести все дело. Свешников и Шорин со своей стороны давно предлагали Бровкину войти интересаном в кумпанию для устройства суконного завода. Но покуда шли только разговоры. Вчера, видимо, что-то случилось, вернее всего — Мартисен сам дошел до государя.

— Неужто дело такое великое отдать иноземцам? — горя глазами, сказал Свешников.

Президент Шорин, зажмурясь, вздохнул:

— А уж мы, кажется, животы готовы положить, последнее отдадим...

— Завтра, завтра потолкуем,— Иван Артемич устремился от печки к дверям. В гостиную вошел, никем не встреченный (в черном суконном платье, башмаки — в пыли), низенький, сизобритый, налитой человек с широкой переносицей, ястребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки, осклабился наискось.

— Почтеннейший Иоанн Артемьевич! — проговорил с напевом по всем буквам и пошел обнимать хозяина, облобызал троекратно, будто на пасху, чудак. Затем, мотнув на стороны огненно-рыжим париком, шепнул: — С Мартисеном пока — никак. Сейчас Александр Данилович пожалует.

— Рад тебе, рад, Петр Павлович, милости просим...

Это был переводчик Посольского приказа, Шафиров, из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно, и уж на него смотрели как на сильненького.

— Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй в Кремль, во дворец... Государь наказал быть десятерым от Бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов...

— Договорились?

— Нет, Иоанн Артемьевич, государь целовать евангелие не будет шведскому королю...

Бровкин, слушая, перевел дыхание, торопливо перекрестил пупок.

— Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти?

— Поживем — увидим, Иоанн Артемьевич, дела великие, дела великие...— и повернулся к буйносовским девам целовать у них пальцы — по-иноземному.

Князь Роман Борисович мрачно сидел на стуле у стены. Не честь была ездить по таким домам. Мутно поглядывал на дочерей: «Сороки, дуры. Кто их возьмет-то? Что за лютые, господи, времена! Деньги, деньги! Будто их ветром из кармана выдувает... С утра трещит голова от мыслей: как обернуться, как жить дальше? С деревенек все выжато, и того не хватает. Почему? Хватало же прежде... Эх, прежде — сиди у окошечка,— хочешь — яблочко пожуешь, хочешь — так, слушай колокольный звон... Покой во веки веков... Вихрь налетел, люди, как муравьи из ошпаренного муравейника, полезли. Непонятно... И — деньги, деньги. Заводы какие-то, кумпании».

Сидевший рядом с князем Романом пожилой купец Евстрат Момонов, один из первых гостиной сотни, тихо точил речи:

— Нельзя, батюшка князь Роман Борисович, по-купецки так рассуждаем: тесно, невозможно стало, иноземцы нас, как хотят, забивают... Он у тебя товар не возьмет, он почту пошлет сначала, и через восемнадцать дней — письмо его в Гамбурге, и еще через восемнадцать дней — ответ: какая у них на бирже цена товару... А наши дурачки и год и два все за одну цену держатся, а такой цены давно и на свете нет. Иноземцы давно из нашей земли окно прорубили. А мы — в яме сидим. Нет, батюшка, войны не миновать... Хоть бы один городок, Нарву, скажем, старую царскую вотчину.

— От денег пухнете, а все вам, купцам, мало,— брезгливо сказал Роман Борисович.— Война! Э-ка! Война — дело государственное, не вам, худородным, в эту кашу лезть...

— Истинно, истинно, батюшка,— сейчас же поддакнул Момонов,— мы так болтаем, от ума скудости...

Роман Борисович скосил налитые жилками белки на него: ишь ты, одежа простая, лицо обыкновенное, а денег зарыто в подполье — горшки...

— Сыновей-то много?

— Шестеро, батюшка князь Роман Борисович.

— Холостые?

— Женатые, батюшка, женатые все.

За окнами загрохотала карета по бревенчатой мостовой. Иван Артемич кинулся на лестницу, кое-кто из гостей — к окнам. Разговоры оборвались. Было слышно, как по чугунным ступеням звякают шпоры. Впереди хозяина вошел генерал-майор, губернатор псковский, Александр Меньшиков, в кафтане с красными обшлагами,— будто по локоть рукава его были окунуты в кровь. С порога обвел гостей сине-холодным государственной строгости взором. Сняв шляпу, размашисто поклонился княжнам. Поднял левую красивую бровь, с ленивой усмешкой подошел к Саньке, поцеловал в лоб, потрепал руку за кончики пальцев, повернувшись, коротким кивком приветствовал гостей.

Раскрылись двери в столовую. Александр Данилович, похлопывая Бровкина, нагнулся к уху:

— Со Свешниковым и Шориным брось, не дело... Мартисену ничего не дадим. Самим, самим нужно браться... Поговори нынче с Шафировым.

4

В четырнадцати каретах, четвернями, шведское посольство выехало с Посольского двора. Вдоль всей Ильинки — через площадь до кремлевских стен — стояли на стойке под ружьем солдатские полки, одетые в треугольные шляпы, короткие кафтаны, белые чулки. Октябрьский ветер развевал знамена, значки на пиках. Шведы серьезно поглядывали из окон карет на эти новые войска.

Проехав Спасские ворота, увидели оснеженные с бочков кучи ядер, глядящие в небо жерла медных мортир: у каждой — четыре саженного роста усатых пушкаря с банниками, дымящимися фитилями. Перед

Красным крыльцом стоял на огненно-рыжем донском жеребце старый генерал Гордон. Красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и латам. Когда посольский поезд остановился, генерал поднял руку,— ударили пушки, дымом заволокло подслеповатые окна приказов, церковные главы.

На крыльце послы, по требованию стольников, отдали шпаги. Сто семеновских солдат, держа королевские дары и поминки,— серебряные тазы, кубки, кувшины,— стали на крыльце и в сенях, подняли в пышной деревянной раме портрет — во весь рост — юного шведского короля Карла Двенадцатого. Послы степенным шагом вошли в столовую палату, в дверях сняли шляпы.

По четырем стенам на лавках сидели бояре, дворяне московские, гости и торговые люди из лучших. Все были в простой суконной одежде, многие — в иноземном платье. В дальнем конце сводчатой — коробом — палаты, расписанной по стенам и потолку рыцарями, зверями и птицами, на тронном стуле из рыбьего зуба и серебра сидел, как идол, неподвижно выпучив глаза, Петр, без шляпы и парика, в рысьем кафтане серого сукна. По левую руку его стоял Лаврентий Свиньин с золотой миской, по правую — Василий Волков держал на вытянутых руках полотенце.

Послы приблизились и на ковре перед тронными ступенями преклонили колени. Свиньин поднес миску, Петр, глядя вперед себя, сунул пальцы в воду, Волков вытер их, и послы подошли к царской шершавой руке. После сего Петр встал — головой под балдахин — и по-русски, раздувая горло, проговорил по старинному чину:

— Каролус король Свейский по здорову ли?

Посол, приложив руку к груди и склонив набок рогатую копну парика, ответил, что господней милостью король здоров и спрашивает о здоровье царя всея Великия, Малыя, и Белыя, и прочее. Переводчик Шафиров, одетый, как и шведы, в короткий плащ, в шелковые штаны с лентами и разрезами на ляжках, громко перевел ответ посла. Бояре внимательно приоткрыли рты, настороженно задрали брови, слушая,

нет ли хоть в букве какой бесчестья. Петр кивнул: «Здоров, благодарю». Посол, взяв у секретаря с бархатной подушки свиток — верительные грамоты,— коленопреклоненно поднес их Петру. Царь принял грамоты и, не глядя, ткнул ими в сторону первого министра, Льва Кирилловича Нарышкина,— этот, в отличие от всех, был одет с чрезвычайной пышностью — в белый атлас, сверкал каменьями. Лев Кириллович, не разворачивая свитка, громко проговорил, что прием окончен.

Послы с поклонами пропятились задом до дверей.

. . . .

Послы ожидали, видимо, что здесь же, на великом приеме, поднимут вопрос о главном,— для чего они полгода томились в Москве: о клятвенном целовании царем Петром евангелия в подтверждение мирного договора со Швецией. Но прошла неделя, покуда московские министры не позвали послов в Приказ иностранных дел на конференцию. Там Прокофий Возницын в ответ объявил шведам, что прежние мирные договоры со Швецией царь Петр подтверждает *своей душой* и вдругорядь целовать евангелия не станет, ибо однажды он уже присягал отцу нынешнего короля. Но зато молодому королю Карлу целовать евангелие нужно, ибо царю Петру он не присягал. Такова государская воля, и она послам объявлена и изменена не будет.

Послы горячились и спорили, но слова их отскакивали от надутых важностью московитов, как от стены горох. Послы сказали, что без разрешения короля никак не могут принять такой — на вечный мир — докончальной грамоты и напишут в Стокгольм. Прокофий Возницын ответил с усмешкой в стариковских глазах:

— Дорога в Стекольну[1] вам известна,— не получите ответа и в четыре месяца, придется вам этот срок жить в Москве напрасно, на своих кормах.

На второй конференции и на третьей все было то же. Посольский приказ перестал отпускать даже сено

[1] То есть в Стокгольм.

лошадям. Послы продавали кое-какую рухлядь, чтобы прокормиться,— парики, чулки, пуговицы. И наконец сдались. В Кремле царь Петр, так же сидя в рысьем кафтане на троне, передал охудавшим послам нецелованную докончальную грамоту.

. . . .

В туманное ноябрьское утро кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул: «Прочь пошла, стерва!» Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям.

Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифляндский рыцарь Паткуль.

— Вот и слава богу,— сказал Меньшиков, тряся им руки.

Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался.

Дверь открыл Петр. Без улыбки, молча наклонил голову. Ввел гостей в надымленную спаленку с одним слюдяным окошком, едва пропускавшим туманный свет.

— Ну, что ж, рад, рад,— пробормотал, возвращаясь к окошку. Здесь, на небольшом непокрытом столе, на подоконнике, на полу были разбросаны листы бумаги, книги, гусиные перья.— Данилыч!..

Петр пососал испачканный чернилами палец.

— Данилыч, этому подьячему ноздри вырву, ты ему так и скажи. Одно занятие — чинить перья,— спит целый день, дьявол... Ох, люди, люди! (Паткуль и Карлович выжидательно стояли. Он спохватился.) Данилыч, подай гостям стулья, возьми у них шляпы... Вот... (Ударил ногтями по исписанным вкривь и вкось листкам.) С чего приходится начинать: аз, буки, веди... Растут по московским дворам такие балды,— сажень ростом. Дубиной приходится гнать в науку...

Ох, люди, люди!.. А что, господин Паткуль, англичане Фергарсон и Гренс — знатные ученые?

— Будучи в Лондоне, слыхал о них,— ответил Паткуль,— люди не слишком знатные, сие не философы, но более наук практических...

— Именно. От богословия нас вши заели... Навигационные, математические науки. Рудное дело, медицина. Это нам нужно.. (Взял листки и опять бросил на стол.) Одна беда — все наспех...

Сел, бросил ногу на ногу. Облокотясь, курил. Налитой здоровьем Карлович, похрипывая, моргал на царя. Паткуль угрюмо глядел под ноги. Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку.

— Ну, как, написали, привезли?

— Мы написали тайный трактат и привезли,— твердо сказал Паткуль, подняв побледневшее лицо.— Прикажите господину Карловичу прочесть.

— Читайте.

Меньшиков на цыпочках придвинулся вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать:

— «Для содействия Российскому государю к завоеванию у Швеции неправедно отторгнутых ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море король польский начнет с королем шведским войну вторжением саксонских войск в Лифляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву и Ржечь Посполитую Польскую. Царь со своей стороны откроет военные действия в Ингрии и Карелии тотчас по заключении мира с Турцией, не позже апреля 1700 года, и между тем в случае надобности, пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. Союзники условливаются в отдельные переговоры с неприятелем не входить и друг друга не выдавать. Сей договор хранить в непроницаемой тайне».

Облизнув сухие губы, Петр спросил:

— Все?

— Все, ваше величество.

Паткуль сказал:

— Получив согласие вашего величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привезти подлинную подпись короля Августа.

Петр странно,— так пристально, что навернулись слезы,— взглянул в его желтоватые, жесткие глаза. Перекосился усмешкой:

— Дело великое... Ну, что ж... Поезжай, Иоганн Паткуль...

5

На соборной башне гулко пробило двенадцать. Уважающие себя горожане готовились к обеденной трапезе. Сенаторы покидали кресла в зале заседаний. Торговцы прикрывали двери лавок. Цеховой мастер, отложив инструмент, говорил подмастерьям: «Мойте руки, сынки, и — на молитву». Старый аристократ снимал очки и, потерев печальные глаза, торжественно проходил в столовую залу, потемневшую от дыма минувшей славы. Солдаты и матросы веселыми кучками устремлялись к харчевням, где, подвешенные над дверями, чудно пахли пучки колбас или копченый окорок.

Пожалуй, один только человек в городе не подчинялся голосу благоразумия,— король Карл Двенадцатый. Чашка с шоколадом стыла у его постели на столике между бутылками с золотистым рейнским вином. Пурпуровые занавески на высоких окнах были раздвинуты. В саду падал снег на еще зеленые кусты, подстриженные в виде шара, пирамиды и прямоугольника. Зеркало камина отражало снежный свет, отражались два канделябра с восковыми сосульками от догоревших свечей. Трещали сосновые поленья. Штаны короля висели на голове золотого купидона, у подножия постели. Шелковые юбки и женское белье разбросаны по стульчикам.

Опираясь локтем о подушку, король читал вслух Расина. Между строфами протягивал руку к бокалу с душистым рейнским. Рядом, закрывшись стеганым одеялом до кончика носа, дремала черноволосая жен-

шина,— кудри ее были раскиданы, румяна стерлись, лицо казалось желтоватым, почти как вино в бокале.

Это была известная своими приключениями легкомысленная Аталия, графиня Десмонт. Ее жизненный путь был извилист, как полет ночной мыши. С одинаковым изяществом она носила придворное платье, костюм актрисы и колет гвардейского офицера. Она умела спускаться из окон по веревочным лестницам от досадного любопытства императорской или королевской полиции. Она пела в венской опере, но при загадочных обстоятельствах потеряла голос. Танцевала перед Людовиком Четырнадцатым в феерии, поставленной Мольером. Переодетая мушкетером, сопровождала маршала Люксамбура во время осады фландрских городов,— рассказывали, что после взятия Намюра ее походная сумка оказалась набитой драгоценностями. По-видимому, по настоянию французского двора появилась в Лондоне, изумляя англичан своими верховыми лошадьми и туалетами. Ее очарованию поддались несколько пэров Англии и, наконец, герцог Мальборо, отважный красавец. Но графине дали знать, что герцогиня Мальборо советует ей покинуть Лондон с первым же кораблем. Наконец ветер приключений занес ее в постель шведского короля.

— Любовь, любовь,— проговорил Карл, тянясь за бутылкой,— и еще раз любовь... Это в конце концов надоедает. Расин утомителен. Царь мирмидонский Пирр был, наверно, неплохим рубакой — на протяжении пяти актов он болтает несчастный вздор... Я предпочитаю биографии Плутарха или комментарии Цезаря. Хочешь вина?

Графиня, не открывая глаз, ответила:

— Отстаньте от меня, ваше величество, у меня трещит голова, по-видимому, я не переживу этого дня.

Карл усмехнулся, потянул из стакана. В дверь скреблись. Уткнувшись в Расина, он лениво сказал:

— Войдите.

Вошел улыбающийся, шуршащий шелком барон Беркенгельм, камер-юнкер его величества. Приподнятый нос с небольшой бородавочкой, казалось, выра-

жал его живейшую готовность сообщить самые свежие новости.

Он раскланялся королевским штанам и в приятных выражениях начал рассказывать о незначительных происшествиях во дворце. От его пытливого ума ничто не могло скрыться, даже такая мелочь, как сомнительный шорох нынче ночью в спальне у добродетельной статс-дамы Анны Бoштрем. Атали простонала, поворачиваясь на правый бок:

— Боже мой, боже мой, какой вздор...

Барон не смутился,— видимо, у него было приготовлено кое-что существенное:

— Сегодня в девять утра лавочники подали в сенат новую петицию о пересмотре цивильного листа... (Карл фыркнул носом.) Жадность этих бюргеров не знает предела. Только что я видел французского посла,— он ехал с великолепнейшими английскими борзыми — травить зайцев по пороше... Что у него за жеребец! Тот, что он выиграл в карты у Реншельда... Рассказываю ему — посол пожимает плечами: «Очевидные происки гугенотов,— это его слова,— эти лавочники и ремесленники разбежались по всей Европе. Они унесли из Франции шестьдесят миллионов ливров... Эти еретики упорствуют и всюду, где только можно, подрывают самый принцип королевской власти. Они все — в тайной связи: в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах и у нас... Они пользуются любым случаем, чтобы внушать бюргерам ненависть к дворянству и королям...»

— Еще что ты узнал? — мрачно спросил Карл.

— Конечно, я был в сенате... Сегодняшняя петиция — только один из предлогов. Я кое с кем перемолвился в коридорах. Они готовят закон об ограничении королевского права объявления войны.

Карл яростно захлопнул «Андромаху» Расина. Швырнул книгу. Сел, подтыкая одеяло.

— Я спрашиваю, что ты узнал сегодня? (Беркенгельм глазами показал на кудрявый затылок графини.) Вздор! Здесь нет лишних ушей, говори...

— Вчера на купеческом корабле прибыл из Риги один дворянин... Мне еще не удалось его видеть... Он

рассказывает,— если только можно верить,— он рассказывает, будто Паткуль неожиданно объявился в Москве...

Затылок графини приподнялся на подушке. Карл покусал кожицу на губе:

— Поди попроси ко мне графа Пипера.

Беркенгельм взмахнул, как крылышками, кистями рук в кружевах и вылетел по ковру. Карл глядел на падающий снег за окном. Узкое лицо его с высоким лбом, женственными губами и длинным носом было бесцветно, как зимний день. Он не замечал иронического глаза графини, блестевшего из-за пряди волос. Следя за снежными хлопьями, внимал в глубине себя новым ощущениям: подступающему жгучему гневу и расчетливой осторожности. Когда послышались тяжелые шаги за дверью, он схватил подушку и бросил графине на голову.

— Закройтесь, я должен быть один.

Оправил рубашку, взял давно остывшую чашку шоколаду (следуя традиции французского двора, королям в кровать подавали шоколад).

— Войдите.

Вошел тайный советник Карл Пипер, недавно возведенный им в графы,— рослый, толстоногий, одетый тщательно и равнодушно, с помятым, настороженным лицом опытного чиновника. Холодно оглянув его, Карл сказал:

— Я принужден узнавать новости от придворных сплетников.

— Государь, они узнают их от меня.— Пипер никогда не улыбался, никогда не терял равновесия духа, бюргерские ноги могли выдержать какую угодно качку.— Но они узнают только то, что я нахожу нужным предоставить для дворцовой болтовни.

— Паткуль в Москве? (Пипер молчал. Карл повысил голос.) Если король делает вид, что он — один, значит он один — для земли и неба, черт возьми...

— Да, государь, Паткуль в Москве вместе с известным авантюристом генералом Карловичем.

— Что они там делают?

— Можно догадываться. Точных сведений у меня пока еще нет.

— Но в Москве сидит наше посольство...

— Посольство, отправленное по настоянию сената. Господа сенаторы хотят мира на Востоке во что бы то ни стало, пускай и добиваются мира своими средствами. Мы во всяком случае не пожертвовали для этого ни одним фартингом из вашей казны.

— Хотел бы я наскрести в моей казне этот самый фартинг,— сказал Карл.— Вы слышали о новой петиции? Вы слышали, что мне готовят господа сенаторы? (Пипер пожал плечами. Карл торопливо поставил чашку обратно на столик.) Вам известно, что я не желаю больше разыгрывать роль покорного осла? Ради этих унылых скопидомов мой отец разорил дворянство. Теперь эти «гугеноты» желают превратить меня в бессловесное чучело... Они ошибаются!.. (Покивал Пиперу узким лицом.) Да, да, они ошибаются. Знаю все, что вы скажете, граф Пипер,— у меня сумасбродная голова, пустой карман и скверная репутация... Цезарь овладел Римом через победы в Трансальпийской Галлии. Цезарь не меньше меня любил женщин, вино и всякое безобразие... Успокойтесь, я не собираюсь в конном строю брать наш почтеннейший сенат. В Европе достаточно места для славы... (Покусал губы.) Если Карлович — в Москве, значит мы имеем дело с королем Августом?

— Думается мне, не только с ним одним.

— То есть?

— Против нас коалиция, если я не ошибаюсь...

— Тем лучше... Кто же?

— Я собираю сведения...

— Превосходно. Пускай сенат думает сам по себе, мы будем думать сами по себе... Больше вам нечего сообщить? Благодарю, я вас не задерживаю...

Пипер неуклюже поклонился и вышел, несколько ошеломленный: король кого угодно мог смутить неожиданными оборотами мыслей. Пипер осторожно подготовлял борьбу с сенатом, боявшимся больше всего на свете военных расходов. После недолгого пе-

рерыва войной снова терпко запахло от Рейна до Прибалтики. Война была единственной дорогой к власти, Карл это понимал, но слишком горячо и несвоевременно рвался в драку: одного его темперамента было еще мало.

В коридоре перед дверями спальни граф Пипер взял за локоть Беркенгельма и — озабоченно:

— Постарайтесь развлечь короля. Устройте большую охоту, уезжайте на несколько дней из Стокгольма... Денег я достану...

Карл продолжал сидеть на постели, зрачки его были расширены, как у человека, глядящего на воображаемые события. Атали сердито сбросила с головы подушку и, придерживая зубами сорочку, поправляла волосы. У нее были красивые руки и смуглые плечи. Запах мускуса привлек наконец внимание короля.

— Вы знавали короля Августа? — спросил он. (Атали уставилась на него пустым взглядом круглых темных глаз.) Уверяют, что это — самый блестящий кавалер в Европе, любимец фортуны. Он тратил по четыреста тысяч злотых на маскарады и фейерверки. Пипер клялся мне, будто Август однажды сказал про меня, что я провалился в отцовские ботфорты, откуда хорошо бы меня вытащить за шиворот и наказать розгами...

Атали выпустила из зубов кружево рубашки и весело, немного хриповато, беззаботно рассмеялась. У Карла задрожало веко.

— Я же говорю, что Август остроумен и блестящ... У него десять тысяч саксонских пехотинцев собственного войска и широкие замыслы. Еще бы, Швеция с таким королем в отцовских ботфортах беззащитна, как овца... Я все-таки хочу доставить себе удовольствие напомнить Августу этот анекдот, когда мои драгуны приведут его со скрученными за спиной локтями к моей палатке...

— Браво, мальчик! — сказала Атали.— За успех всяких начинаний!—Хорошим глотком осушила бокал рейнского, вытерла губы кружевом простыни.

Карл выскочил из-под одеяла, босой, в ночной ру-

бахе до пят, побежал к секретеру, из потайного ящика вынул футляр,— в нем лежала алмазная диадема. Присев на край постели, приложил драгоценность к черным кудрям Атали.

— Ты будешь мне верна?

— По всей вероятности, ваше величество: вы почти вдвое моложе меня, минутами я испытываю к вам чувства матери.— Она поцеловала его в нос (так как это было первое, что подвернулось ее губам) и с нежной улыбкой вертела диадему.

— Атали, я хочу, чтобы ты поехала в Варшаву... Через несколько дней отплывает «Олаф», прекрасный корабль. Ты высадишься в Риге. Лошади, возок, люди, деньги — все будет приготовлено. Ты будешь мне писать с каждой почтой...

Атали с внимательным любопытством взглянула в эти юношеские глаза: они были ясны, жестки, и,— черт их знает, эти северные серо-водянистые глаза,— где-то в них таилась сумасшедшая решимость. Мальчик подавал надежды. Атали по давней привычке (приобретенной еще во времена походов с маршалом Люксамбуром) тихо свистнула:

— Ваше величество, вы хотите, чтобы я влезла в постель к королю Августу?

Карл сейчас же отошел к камину, уперся в бока, веки его, будто в томлении, полузакрылись:

— Я прощу вам любую измену... Но если это случится, клянусь святым евангелием, куда бы вы ни скрылись, найду и убью.

6

В Китай-городе только и разговоров было, что о Бровкиных. Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось: выдать замуж младшую княжну Буйносову — рюриковну — за Артамошку Бровкина. Бросил все дела. Министры и бояре напрасно прибывали во дворец,— был им один ответ: «Государь неведомо где».

Вечером однажды, когда уже начали ставить рогатки на улицах, он подкатил к бровкинскому дому.

Иван Артемич сидел внизу, в поварне, с мужиками, играл при сальной свече в карты, в дураки,— по старой памяти любил позабавиться. Вдруг в низкую дверь полезла, нагнувшись, голова в треуголке. Сначала подумали,— солдат какой-нибудь, стороживший склады, пришел погреться. Обмерли. Петр Алексеевич усмехнулся, оглянув хозяина: мало почтенен — в заячьей поношенной кацавейке, со вдавленной от страха в плечи седоватой головой.

Петр Алексеевич спросил квасу. Сел на лавку. При мужиках и приказчиках сказал так:

— Иван, был я раз у тебя сватом. Вдругорядь быть хочу. Кланяйся.

Иван Артемич, весь засалившись, недолго говоря, кувырнулся на земляной пол в ноги.

— Иван,— сказал Петр Алексеевич,— приведи сына.

Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеевич поставил его между колен, оглядел пытливо.

— Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а они — вот они... (И — Артамону.) Грамоте разумеешь?

Артамошка только чуть побледнел и по-французски без запинки, как горохом, отсыпал:

— Разумею по-французски и по-немецки, пишу и читаю способно... (Петр Алексеевич рот разинул: «Мать честная! Ну-ка еще!») — Артамошка ему то же самое по-немецки. На свечу прищурился и — по-голландски, но уже с запинкой.

Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал и тащил на себя, тряс.

— Ну, скажите! Ах, молодчина! Ах, ах! Ну, спасибо, Иван, за подарок. С мальчишкой простись, брат, теперь. Но не пожалеете: погодите, скоро за ум графами стану жаловать...

Велел собирать ужинать. Иван Артемич молил пойти наверх, в горницы: здесь же неприлично! Наспех, за печкой, наложил парик, натянул камзол. Тайно послал холопа за Санькой. В дверях встал мажордом с серебряным шаром на булаве. Петр Алексеевич только похохатывал:

— Не пойду наверх. Здесь теплее. Стряпуха, мечи что ни есть на печи...

Рядом посадил Артамошку, говорил с ним по-немецки. Шутил. Угощал вином приказчиков и мужиков. Велел петь песни. Пожилые мужики, стоя у дверей,— податься некуда,— запели медвежьими голосами. Вдруг в поварню влетела Санька,— напудренная, наполовину голая, в шелках. Петр схватил ее за руки, посадил по другую сторону. Бабочка, не робея, начала подтягивать мужикам долгим нежным голосом, придвинула ближе к лицу свечку, поглядывала на Петра — лукаво, прозрачно... Гуляли за полночь.

Наутро Петр Алексеевич с дружками поехал к князю Буйносову — сватать Наталью. И так ездил и рядился целую неделю то к Бровкиным, то к Буйносовым, возил за собой полсотни народу. Рядились, пировали на девишниках и мальчишниках,— шумно свадьбу сыграли на покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемичу в копеечку.

Недели через две Санька с мужем выехала в Париж.

. . . .

До Вязьмы ехали с обозами, медленно. Подолгу кормили лошадей в ямах [1]. Снегу выпало довольно, дни — ясные, дорога — легкая.

В Вязьме на постоялом дворе Александра Ивановна поругалась с мужем. Василий намеревался здесь передохнуть, сходить в баню, а назавтра, выстояв обедню,— к воеводе, дальнему родственнику, обедать. Да перековать лошадей, да то, да се.

— Хочу ехать быстро. Душу мою эта дорога вытянула,— сказала Александра Ивановна мужу.— Отдыхать будем в Риге.

— Саша! Да говорят же тебе — за Вязьмой шалят. Обозы по пятьсот саней сбиваются,— проехать эти места...

— Знать ничего не знаю...

Сидели за ужином наверху, в чистой светелке, озаренной лампадами. Василий — в дорожном расстегну-

---

[1] Ям — постоялый двор. Отсюда — ямщик.

том тулупчике, Александра Ивановна — в желудевом бархатном платье с длинными рукавами, в пуховом платке, русые волосы собраны косой вокруг головы. Не ела, только щипала хлеб. Лицо опалое, под глазами — тени, все от нетерпения. Господи, что за человек!

Волков,— с неохотой жуя соленую ветчину:

— Скажи мне, что ты за человек? Что за наказанье? Ни покою, ни тихости,— не спит, не ест, по-человечески не разговаривает... Несет тебя на край света,— зачем? С королями минуветы танцевать? Да еще захотят ли они...

— Только что здесь постоялый двор, только оттого и слушаю тебя.

Василий опустил вилку с куском, долго глядел жене на лоб с высокими, тоской и мечтой заломленными бровями, на темно-синие глаза, блуждающие черт те где...

— Ох, Александра, я тих, терпелив...

— Да хоть кричи,— мне-то что...

Василий укоризненно качал головой. Стыдно и как будто и не за что, а любил жену. В спорах — как начнет она сыпать обидными словами — терялся. Так и сейчас: понимал, что уступит, хотя только о двух головах какой-нибудь сумасшедший мог решиться без надежных спутников ехать лесами от Вязьмы до Смоленска. Про эти места рассказывали страсти: проезжих разбивал атаман Есмень Сокол. Едешь, скажем, днем. Глядь — на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком — ножик. Рот до ушей, зубы большие. Свистнет — лошади падают на колени. Ну, и читай отходную...

— Бояться разбойников — так я бы в Москве сидела,— сказала Александра Ивановна.— У нас лошади добрые, вынесут. И это даже лучше,— будет о чем рассказывать. Не об этом же мне с людьми говорить, как ты на постоялых дворах храпишь.

Оттолкнула тарелку и позвала девку калмычку,— приказала подать тетрадь и стелить постель. Тетрадь, писанную братом Артамошей,— перевод из гистории Самуила Пуффендорфия, глава о галлах,— положила

на колени и, низко нагнувшись, читала. Василий, подперев щеку, глядел на красивую Санькину голову, на шею с завитками волос. Королевна из-за тридевяти земель. А давно ли косила сама и навоз возила. Так вот и в Париж вкатится без страха и еще королю наговорит разной чепухи... Ах, Саня, Саня, присмирела бы да забрюхатела, жить бы с тобой дома, тихо...

Санька читала, шевеля губами:

«...Кроме того, французы веселых мыслей люди, на всякое дело скоры, готовы и удобообращательны, наипаче в украшении внешнем и в движении тела, и природная красота в них показуется. Многие от них похоть Венеры в славу себе приписуют и объятие красных лиц женского полу, и все сие с превеликим похвалением творят. Им же егда протчие народы хотят уподобляться и сообразоваться,— сами себе обесчещают и смех из самих себя творят...»

— Ты бы, чем так сидеть (она подняла голову, Василий только приноровился зевнуть,— вздрогнул)... ты бы за дорогу-то на шпагах, что ли, упражнялся...

— Это еще зачем?

— Приедешь в Париж — увидишь зачем...

— А ну тебя в самом деле! — Василий рассердился, вылез из-за стола, надвинул шапку, пошел на двор — поглядеть лошадей. Высоко стоял мглистый месяц над снежными крышами сараев. В небе — ни звезды, только опускаются, поблескивают иголочки. Тихий воздух чуть примораживал волоски в носу. Под навесом в черной тени жевали лошади. Дремотно постукивал в колотушку сторож около соседней церквёнки.

К Василию подошла собака, понюхала его высокий, крапленый валенок и, подняв морду с бровями, глядела,— будто удивленно чего-то ждала. Василию вдруг до того не захотелось ехать в Париж из этой родной тишины... Хрустя валенками, с тоской повернулся,— наверху, в бревенчатой светлице, из слюдяного окошечка лился кроткий свет: Санька читала Пуффендорфа... Ничего не поделаешь — обречено.

. . . .

Пунцовый закат, налитой диким светом, проступал за вершинами леса. Мимо летели стволы, задранные корневища, тяжелые, лиловые ветви задевали за верх возка, осыпали снежной пылью. Василий, высунувшись по пояс из-за откинутой кожаной полости, держал вожжи, кричал не своим голосом. Кучер, сбитый с облучка, валялся далеко за поворотом... Добрые кони, впряженные гусем,— вороной — заиндевелый коренник, рыжая — вторая и сивая злая кобылешка — угонная,— скакали, храпя. Возок кидало на ухабах. Позади, растянувшись, бежали разбойники. По всему лесу гоготали, наддавали голоса...

Назад минут пять там, за поворотом, где большая дорога пересекалась проселочной, из-за прошлогоднего стога вышли рослые мужики, душ десять,— с топорами, с кольями. Кучер, испугавшись, сдуру стал осаживать... Четверо кинулись к лошадям, закричали страшно: «Стой, стой». Другие, увязая, побежали к возку. Кучер бросил вожжи, замахал варежками на разбойников. Его ударили колом в голову.

Случилось все — не опомниться — в одно дыхание... Выручила выносная кобыленка: взвилась, подняв на уздцах двоих мужиков, начала лягаться. Санька откинула полость: «Хватай вожжи». Выдернула у мужа из-за пазухи тулупа пистолет, выстрелила в чье-то бородатое лицо. От огненного удара мужики отскочили, а главное — оттого, что удивились бабе... Лошади рванулись. Волков подхватил вожжи,— понеслись. Рукояткой пистолета Санька, не переставая, молотила мужа по спине: «Гони, гони».

Погоня кончилась. От коней валил пар. Впереди показался хвост большого обоза. Волков пустил коней шагом. Оглядывался, ища в возке шапку. Увидел Санькины круглые глаза, раздутые ноздри.

— Что, довольна? Не поверила в Есмень Сокола. Эх ты, дура стоеросовая. Курья голова... Что же мы без кучера-то будем делать. Да как жалко-то,— мужик хороший... И все через твою дурость бабью, чертовка...

Санька и не заметила, что ругают. Ах, это была жизнь — не дрема да скука...

7

Каждый день большие обозы со всех застав въезжали в Москву: везли людей для регулярного войска,— иных связанных, как воров, но многие прибывали добровольно, от скудного жития. На московских площадях на столбах прибиты были писанные на жести грамоты о наборе охотников в прямое регулярное войско. Солдату обещали одиннадцать рублев в год, хлебные и кормовые запасы и винную порцию. Холопы, кабальная челядь, жившая впроголодь на многолюдных боярских дворах, поругавшись с домоправителем, а то и самому боярину кинув шапку под ноги, уходили в Преображенское. Туда ежедневно сгонялось до тысячи душ.

Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться донага. Человек робел, разматывая онучи, оголяясь,— прикрыв горстью срам,— шел в палату. Между горящими свечами сидели в поярковых шляпах длинноволосые офицеры, как ястреба, глядели на вошедшего: «Имя? Прозвище? Какой год от роду?» А кто ты таков,—хоть беглый или вор,—не спрашивали. Меряли рост, задирали губы, приказывали показать срам. «Годен. В такой-то полк».

За дворцовым двором в снежные поля тянулись нововыстроенные солдатские слободы. Толпами годных разводили по избам. В них было тесно набито народу. При каждой — начальником — младший унтер-офицер с тростью. Новоприбывшим он говорил: «Слушать меня, как бога, два раза повторять не стану, спущу шкуру. Я вам и бог, и царь, и отец». Кормили сытно, но воли не давали — не то что в прежние времена в стрелецких полках. Солдатчина!.. Будили барабаном. Гнали натощак на истоптанное поле. Ставили в ряд по черте. Первое учили — разбирать руки: какая левая, какая правая. Иной мужик сроду и не задумывался — какие у него такие руки. Память вгоняли тростью. Появлялся офицер, по большей части не

русский и часто — сполупьяну. Став перед рядом, пучил мутные глаза на армяки, полушубки, лапти, валеные, бараньи шапки. Надув щеки, начинал орать по-иноземному. Требовал, чтобы понимали, замахивался тростью. От горя мало-помалу начинали понимать: «Марширен» — иди. «Хальт» — остановись. «Швейна» или «русиш швейна» — значит, ругает... После завтрака — опять на поле. Пообедали — в третий раз шагать с палками или мушкетами. Учили неразрывному строю, как в войсках у принца Савойского, ровному шагу, дружной стрельбе, натиску с примкнутыми багинетами. Виновных тут же перед строем, заголив штаны на снегу, секли без пощады.

Трудны были воинские артикулы: «Мушкет к заряду!» Помнить надо было по порядку: «Открой полку. Сыпь порох на полку. Закрой полку. Вынимай патрон. Скуси патрон. Клади в дуло. Вынь шомпол. Набивай мушкет. Взводи курки. Прикладывайся...» Стреляли плутонгами,— один ряд с колена заряжал, другой, стоя, давал огонь; стреляли нидерфалами, когда все ряды, кроме одного, поочередно падали ничком.

Военным обучением руководил цезарец — бригадир Адам Иванович Вейде. Ему, генералу Артамону Михайловичу Головину, и князю Аниките Ивановичу Репнину указано было устроить три дивизии по девяти полков в каждой.

. . . .

8

Поручик Алексей Бровкин набрал на Севере душ пятьсот годных в полки людей и сдал их — где воеводам, где ландратам (по-старому — губным головам) — для отсылки в Москву. Теперь он шел дальше за Повенец, в лесную глушь. Там — рассказывали — по скитам таилось много беглых и праздных. Знающие люди отговаривали его забираться далеко:

«По скитам пошла молва, раскольники насторожились. Их много, а вас — десятеро на трех санях. Пропадете безвестно».

Народ в этом краю был суровый — охотники, лесовики. Жили в кондовых огромных избах, где под одною кровлей был и скотный двор и рига. Села звались погостами. От жилья до жилья — дни пути по лесному бездорожью. Алексей понимал, что затея трудная. Но без страха не прожить. А вот когда Петру Алексеевичу станешь докладывать, что-де добрался до Севера да забоялся,— взглянет он, как журавель, сверху вниз пожирающим взором, дернет плечом,— отвернется: это — страх, и — конец твоему счастью, хоть лоб расшиби. Алексей был молод, горяч, упрям. Во сне не забывал, как пришел когда-то в Москву с денежкой за щекой,— белый офицерский шарф выдрал у судьбы зубами.

В Повенце на базаре Алексей встретил промыслового человека Якима Кривопалова и взял его в проводники. Яким уже лет двадцать работал покрученником у купцов Ревякиных,— бил чернобурую лисицу, куницу, белку, в прежние времена бил и соболя, но соболь ныне извелся в этих местах. Мягкую рухлядь сдавал в Повенце приказчику и гулял, покуда не пропивался до шейного креста. Ревякинский приказчик снова снабжал его одеждой, пищалью и огненным припасом. В эту осень промысел был худой, по записи оказалось, что не только Якиму получить, но в две зимы не покрыть всего долгу. Он разругался, пропился, Алексей Бровкин поднял его у кабака на снегу, разбитого и голого. Яким оказался золотым человеком, лишь бы в санях под облучком — известно ему — лежал штоф с вином.

Яким бежал на коротких лыжах впереди саней, указывая дорогу. Леса были дивные и страшные. Сквозь стволы виднелись огромные каменные лбы, поросшие лесом. Выезжали на берег пустынного озера,— глазам было больно от снежной глади. Иногда слышался глухой шум падающей воды. Яким присаживался на отвод саней:

— Здесь отроду людей не считали. Есть такие лешьи места,— один я знаю, как пробраться. Но только народ здесь жестокий, взять его будет трудно.

На ночь сворачивали в зимовище или на починок, на берег речонки, где под снегом лежал поваленный лес, заготовленный к весенней гари. У покосившегося сруба распрягали лошадей. Солдаты рубили еловые ветки, втаскивали в избу. На земляном полу разводили огонь. Тихий дым валил из щели под крышей, поднимался над лесом в серое небо. Яким суетился, покуда не получал чарку водки. Успокоясь, присаживался на ветвях поближе к огню,— широкобородый, с большими губами, с большими дыхалами, глаза круглые, лесные: сам — чистый леший,— начинал рассказы:

— Понимаешь, везде был, Выгу всю излазил, в Выговской обители по неделям живал, знаю такие пустыни, куда одна тропа, и той идешь опасаясь. Не могу добиться, где старец Нектарий скрывается. Прячут, не говорят. Любому раскольнику заикнись о нем,— замолчит, и — хоть ты режь. А для вашего дела его полезно повидать: глядь, он и отпустил бы с вами сотни две молодцов... Ох, сила...

— Кто ж он у них,— спросил Алексей,— патриарх, что ли, вроде?

— Старец. Его протопоп Аввакум в Пустозерске перед казнью благословил... Лет двенадцать назад сжег он в Палеостровском монастыре тысячи две с половиной раскольников. Подошли они ночью по льду, выломали монастырские ворота, монахов, настоятеля посадили в подвал, разбили кладовые,— всех он накормил, напоил. Казну взяли. В церкви иконы все вымыли святой водой. Свечи зажгли и давай служить по-своему. Мужиков с ним было не так много, а баб этих, ребят!.. Из Повенца идет по льду воевода со стрельцами. «Сдавайтесь!» Дня три мужики грозили боем, но у стрельцов пушка. Натащили в церковь соломы, смолы, селитры и в ночь, как раз под рождество, зажглись. Нектарий все-таки ушел оттуда, и с ним некоторая часть мужиков. Года через три он сжег в Пудожеском погосте тысячи полторы душ. Совсем недавно около Вол-озера в лесах опять была гарь. Говорят — он. Нынче пошли слухи про войну, про сол-

датский набор,— быть скоро большой гари... Поверьте. Народ к нему так и валит.

Алексей и солдаты, слушая, дивились: «Добровольно жечь себя? Откуда такие люди берутся?»

— Очень просто,— говорил Яким.— Бегут к нему оброчные, пашенные, кабальные, покидают дворы и животы: из-под Новгорода и Твери, и московские, и вологодские. Здесь человечьих костей по лесам,— боже мой... Соберутся в пустыни тысячи,— где их прокормить? Хлеба здесь своего нет. Они начинают стонать, шататься. Чем так-то им зря грешить, Нектарий их и отправляет прямым ходом в рай.

— Ну, уж врешь.

— Алексей Иваныч, никогда не вру. Люди живые в гроб ложатся,— вот есть какие... Туды, к Белому морю,— один старичок изюминкой причащает, кому положит в рот изюминку — значит, благословил ложиться в гроб живым...

— Ну тебя — на ночь с твоими рассказами...— Алексей завернулся в тулуп у огня на ветвях. Немного погодя сказал: — Яким, этого старца Нектария надо нам добыть...

. . . .

Двое на лыжах вышли из лесу на лунный свет поляны. От зимовища тянуло дымком. У саней понуро стояли лошади, прикрытые рогожами, и, привалясь к передку, спал сторожевой солдат, обхватя мушкет рукавами тулупа.

Двое на лыжах неслышно обошли вокруг зимовища. Опираясь на рогатины, стояли, слушали. Месяц обвело бледным кругом, в заиндевелом лесу — тишина. За стеной избы глухо кто-то забормотал. У саней вздохнула всей утробой лошадь. Сторожевой солдат лежал, как застывший, усатым лицом в лунном свете.

Один на лыжах сказал:

— Связать его разве? Спит крепко. Опосля бы в огонь и бросили с молитвой.

Другой,— выставя бороду, всматриваясь:

— Вязать-то,— нашумишь, закричит. Их там десятеро.

— Тогда чего же?

— Раз ткнуть рогатиной. Тут же бы дверь и подперли.

— Ах, Петруша, Петруша,— первый человек закачал ушастой шапкой.— Кто тебя за язык тянет? Кровь-то одна,— человек же, не зверь... В огне — сказано — крещение приемлет человек... А ты — рогатиной! Душу погубишь...

— Ну, возьму грех...

— Думать не смей. Не искушай меня ради Исуса...

— А то бы — милое дело: и скоро и тайно...

— За такие мысли что-то тебе еще скажет отец Нектарий.

— Да я ведь как лучше...

Замолчали. Думали, как быть. По голубому снегу неровно побежала тень от совы: лунь почуял поживу, кружился, проклятый. Дверь избенки вдруг скрипнула, полезла оттуда лешачья голова Якима,— за нуждой, видимо... Увидел двоих, ахнул, кинулся назад, поднял тревогу. Эти двое скользнули за оснеженные ветви, побежали, слышали — грохнул выстрел, встревожил лесную тишину.

Бежали долго, нарочно кружили, путая следы. Пробрались через еловую чащобу к руслу ручья. Было уже близ рассвета, месяц высок. Невдалеке медленно, унывно били в чугунную доску.

. . . .

Андрюшка Голиков звонил к ранней обедне. Был он в нагольной лисьей ветхой шубейке, но бос. Переступая обжигаемыми снегом посинелыми ступнями, повторял нараспев речение Аввакума: «Со мученики в чин, с апостолы в полк, со святители в лик» — и раз — ударял колотушкой в чугунную доску, подвешенную вместо колокола на столбе под кровелькой напротив скитских ворот. Такую епитимью наложил на него старец за то, что вчера, в день постный, возжаждал и напился квасу.

На звон собиралась братия. Выходили из келий, мужчины — особе, женщины — особе. Скит, огороженный тыном, был невелик. Многие жили окрест, по бе-

регу ручья, по краю болотного острова. Шли оттуда лесными тропами. Дальние торопились, боясь опоздать: старец был суровенькой.

Посреди скита, между тесно наваленными ометами соломы, стояла моленная — низкая рубленая изба с широкой, в четыре спуска, крышей, с одной, посредине, шатровой главой на восьмистенном срубчике.

Братия, вступив в ворота, шла боязненно, опустив головы, приложа руки к груди: мужики, не старые и средних лет, женщины — в холщовых саванах поверх шубенок, в платах, опущенных на лицо. Глухо и дребезжа — тоскою плотского бытия — в лунном мареве звонило чугунное бухало, да скрипел под лаптями снег.

Перед дверями люди двуперстно крестились, смиренно вступали в моленную с заиндевелыми бревенчатыми стенами. Перед ликами древнего письма горели копеечные свечки. Это казалось чудом,— свеча в дремучих лесах. Становились на колени, мужчины — направо, женщины — налево. Между ними протягивалась из лоскутов сшитая завеса на лыковом вервии.

. . . .

Тяжело дыша, те двое на лыжах вбежали в скитские ворота и — громко Андрею:

— Бросай стучать,— беда!

— Скорей скажи старцу, пусть к нам выйдет...

У Андрея вся душа была натянута, как сухая жила,— от поста, от бессонного бодрствования, от вечного ужаса. Испугавшись, он выронил колотушку, задрожал, задышал. Но недаром учил его Нектарий одолевать бесов (а их — тьма темь: сколько мыслей — столько бесов), мысленнно торопливо завопил: «Враг сатана, отженись от меня!..» Поднял колотушку, ударил по бухалу под голубком, замотал головой: не мешайте, отойдите прочь...

— Андрей, говорят тебе: тот офицер с солдатами — верстах в пяти отсюда...

— Хоть звони-то легче,— услышат... С ними Яким. По звону он их прямо сюда приведет...

Андрей — сквозь часто стукающие зубы:

— Старец еще в келье, идите прямо к нему.

Сняли лыжи, пошли. Оба они, Степка Бармин и Петрушка Кожевников, были из повенецкого посада, промышляли рыбой, зверем... За двуперстное сложение повенецкий воевода не раз их грабил и разбивал, свел со двора скотину, и это им надоело. Года уже с два их жены с детьми тайно жили в Выговской обители, а сами — в разных местах,— где удобнее для промысла и поглуше. Когда прошел слух, что в скиты едет офицер с солдаты (обритые, мясоеды, на версту смердят табаком — «табун-травой»), Нектарий приказал Степке и Петрушке следить за ними, сбивать с пути, и если возможно, без греха, и совсем избыть слуг антихристовых.

К отцу Нектарию просто не допускали. В холодные сени вышел послушник,— их у старца было двое: Андрей и этот — хроменький Порфирий, чахлый отрок с подкаченными глазами. Шепотом рассказали ему. Порфирий склонил набок головочку, молвил одним вздохом: «Войдите...» Лесные мужики, сдернув шапки, старались как-нибудь сжаться, вступая из сеней в келью,— неумеренно были здоровы, грубы. Старец не жаловал буйной плоти.

Стоя у аналоя,— маленький, согбенный, в древнего покроя черной домотканой мантии,— Нектарий покосился на Степку и Петрушку. Узкая борода клином висела едва не до колен, под черными бровями — угли, не глаза. Свеча, прилепленная к изъеденной червями книжной крышке, тихо потрескивала,— к сильным морозам, должно быть... Жаром дышала печь, сложенная из приозерных валунов. Бревенчатые стены чисто выскоблены. Под потолком на мочалках — пучки сухих трав.

У Степки и Петрушки поползли с усов ледяные сосульки, но боялись утереться, пошевелиться, покуда старец не кончит! Он читал грозным голосом. Из темного угла глядел на него, лежа на боку, бесноватый мужик, прикованный поперек туловища цепью к железному ершу в стене. У печи в квашне, прикрытой ветхой рясой, пучилось тесто.

— Ну, вы чего? — Нектарий повернулся к мужикам, двинулся на них седой бородой. Они медведя не

боялись, лося один на один брали, а перед ним заробели, конечно. Степка стал сбивчиво рассказывать про давешнее, Петрушка виновато поддакивал.

— Значит,— мягким голосом сказал Нектарий,— значит, ты, Петруша, хотел того солдата запороть рогатиной, а ты, Степа, греха убоялся?

Степан ему на это — горячо:

— Отец, мы за ними две недели ходим. Яким, проклятый, эти места знает, прямо сюда ведет. Мы уж и так и так думали... Они берегутся, а то бы — милое дело: дверь в зимовище подпереть, да — огоньку. Помолясь, и окрестили бы их... И им хорошо и нам... Да, видишь ты, не вышло... А разбоем убивать — сохрани Исус... Нынче только бес попутал...

— Благословил я вас на эту гарь? — спросил старец. (Мужики удивленно поглядели на него, не ответили.) Молитва твоя горяча, значит, Степа,— вот как? — десятерых в огне окрестить? Ох, ох! Кто же тебе власть такую дал? Видишь ты, Петрушу бес толкнул, а ты и беса одолел. Ах, святость! Ах, власть!

Степан насупился. Петрушка моргал на старца, плохо понимая.

— Порфиша, рыбанька, положи уголек в кадило, раздуй с молитовкой,— проговорил старец. Хроменький Порфирий снял кадило с деревянного гвоздя, заковылял к печи, раздул уголек в кедровой смоле, с лобызанием длани подал старцу. Нектарий длинной рукой, едва не шаркая кадильницей по полу, начал со звяканьем дымить на мужиков и в лицо им, и сбоку, и обошел сзади, шепча, кланяясь. Передал кадило Порфирию, взяв из-за ременного пояса плетеную лествицу, хлестнул Степку по лицу больно, потом Петрушку по лицу. Мужики стали на колени. Он, шепча посинелыми губами: «Гордыня, гордыня окаянная», разгораясь, бил их по щекам. Бесноватый мужик вдруг заржал на всю избу, стал рвать цепь, кидаясь, как кобель:

— Бей их, бей, старичок, выбивай беса.

Старец уморился, отошел, дышал тяжело.

— Потом сами поймете, за что,— сказал, поперхав.— Идите со Исусом...

Мужики осторожно вышли из кельи. Лунный свет помрачнел,— за моленной избой, за черным лесом проступала заря. Сильно морозило. Мужики развели руками: за что провинились? Почему? Что теперь делать?

— Ходили много, а ели мало,— проговорил Петрушка негромко.

— Как у него теперь попросишь?

— Может, хлеба даст?..

— Лучше ему не показываться. Пойдем так,— опять к энтим. Белку убьем, поедим...

. . . .

Андрей Голиков влез на печь, дрожал всеми суставами. (Старец, идя в моленную, велел ему бросить звонить, к обедне не допустил: «Ступай сажай хлебы».) Остуженные ноги ныли на горячих камнях, от голода мутилось в голове. Лежал ничком, схватил зубами подстилку. Чтобы не кричать, твердил мысленно из писания Аввакума: «Человек — гной еси и кал еси... Хорошо мне с собаками жить и со свиньями, так же и они воняют, что и моя душа, зловонною вонею. От грехов воняю, яко пес мертвой...»

Бесноватый мужик, шевелясь на цепи в углу, проговорил:

— Ночью нынче старичок опять мед жрал...

Андрей на этот раз не крикнул ему: «Не бреши!», крепче закусил подстилку. Сил не хватало больше давить в себе страшного беса сомнения. Вошел этот бес в Андрюшку по малому случаю. Постились втроем — Нектарий и послушники — сорок дней, не вкушая ничего, только воду, и то небольшой глоток. Чтобы Андрей и Порфирий, читая правила, не шатались, он приказывал мочить рот квасом и парить грудь. Про себя говорил: «Мне этого не надо, мне ангел росою райскою уста освежает». И — чудно: Андрей и Порфирий от слабости едва лепетали,— одни глаза остались, а он — свеж.

Только ночью раз Андрей увидал, как старец тихонько слез с печи, зачерпнул из горшка ложку меду и потребил его с неосвященной просфорой. У Андрюшки похолодели члены: кажется, лучше бы при нем сейчас человека зарезали, чем — это. И не знал — утаить,

что видел, или сказать? Утром все-таки, заплакав, сказал. Нектарий даже задохнулся:

— Собака, дура! То бес был, не я. А ты обрадовался! Вот она, плоть окаянная! Тебе бы за ложку меду царствие небесное продать!

Он стал бить Андрея рогачом, чем горшки в печь сажают, выбил его из кельи на снег в одной рубашке. Мысли от этого на время успокоились. А когда в келье никого не случилось, бесноватый мужик (сидевший здесь с осени на цепи, в тепле, слава богу) сказал Андрюшке:

— Погляди, ложка-то в меду, а с вечера была вымыта. Облизни.

Андрей обругал мужика. В другую ночь старец опять ел мед, тайно, губами мелко пришлепывал, как заяц. На заре, когда все еще спали, Андрей осмотрел ложку,— в меду! И волос седой пристал...

Треснула душа великим сомнением. Кто врет? Глаза его врут,— мед на ложке, волос усяной, сивый? (Не бесов же волос!) Или врет старец? Кому верить? Был час — едва не сошел с ума: путаница, отчаяние! Нектарий постоянно повторял: «Антихрист пришел к вратам мира, и выблядков его полна поднебесная. И в нашей земле обретается черт большой, ему же мера — ад преглубокий». А если так — поди уверь, что он сам, Нектарий,— не лукавый? Возить по спине рогачом и черт может. Все двусмысленно, все, как мховое болото, зыбко. Остается одно: ни о чем не думать, повесить голову, как побитому псу, и — верить, брюхом верить. А если не верится? Если думается? Мыслей не задавить, не угасить,— мигают зарницами. Это тоже, значит, от антихриста? Мысли — зарницы антихристовы? То вдруг у Андрея обмирали внутренности: куда лечу, куда качусь? Мал, нищ, убог... Припасть бы к ногам старца,— научи, спаси! И не мог: чудились усы в меду... Пришел в пустыню искать безмятежного бытия, нашел сомненье...

Потом от слабости телесной Андрюшка изнемог, мысли притупились, присмирели. Ежедневные побои выносил как щекотку. Старец лютовал на него день ото дня все хуже. Другому: «Порфиша да рыбанька»,

а этого — так и лошадь не бьют. Уйти бы... Но куда? Правда, Денисов говорил Андрюшке (когда в конце декабря доставили на санях хлеб в Выговскую обитель): «Поживи у нас, потрудись над украшением храма. Когда лед сойдет, пошлю тебя с товаром в Москву. Я тебе верю». Андрюшка отказался,— желал не того: тишины, умиления... Казалось, так и видел — келейку в лесу, старенького старца в скуфеечке на камне у речки, говорящего о неземном свете любезному послушнику и зверям, вышедшим из леса послушать, и птицам, севшим на ветки, и северному солнышку, неярко светящему на тихую гладь уединенной речки... Нашел тишину! Эдакой бури в мыслях и тогда не было, когда во вьюжные ночи дрожал в щели китайгородской стены, слушая, как ударяются друг о друга мерзлые стрельцы да скрипят виселицы.

Бесноватый мужик, поглядывая на печь, где лежал ничком Андрюшка, разговаривал:

— Тебе долго здесь не прожить,— хил. Старичок тебя в землю вобьет,— ты ему поперек горла воткнулся. Ох, властный старичок, гордый! Ему святители спать не дают. Начитается четьи минеи, и пошел чудить!.. Он бы десять лет на сосне просидел, кабы не лютые зимы. И народ он жжет для того же,— любит власть! Царь лесной... Я его насквозь вижу, я, брат, умнее его,— ей-богу... Я всех вас умнее. Действительно, во мне три беса... Первый — падучая, это — сильненький бес... Второй бес — что я ленивый... Кабы не лень, разве бы я сидел на цепи... Третий бес — умен я чересчур, ужас! Накануне, как меня начнет ломать падучая, ну, все понимаю. Делаюсь злой, все противно... Про каждого человека знаю, откуда он и какой он дурак и чего он ждет... И я нарочно говорю чепуху, на смех... Цепь грызу, катаюсь,— смешно, верят... Старичок, и тот глядит, разиня глаза... Он меня, брат, боится. Весной опять от него уйду... А тебе, Ондрюшка, он рогачом отобьет печенки,— зачахнешь. А вернее всего — на первой гари ты у него первый сгоришь...

— Ох, замолчи, пожалуйста...

Андрей слез с печи, помыл руки, засучился, снял с квашни покрышку. По другим кельям тесто творили

на одну треть из муки, две трети клали сушеную, толченую кору,— здесь тесто было из чистой муки, взошло шапкой. Бесноватый мужик потянулся посмотреть. Рванул цепь, выдернул ее вместе с ершом из стены. Андрей испугался было. Мужик сказал, засучиваясь:

— Ничего... Я так часто делаю. Старец вернется — ерш воткну назад, сяду...

Он тоже помыл руки. Вместе с Андреем стали валять просфоры, сажать в печь.

— Скука все-таки, Ондрюшка... Бабу сейчас бы сюда...

— Замолчи... Тьфу! (Андрей хотел оборониться крестом от таких слов,— пальцы были в тесте.) Ейбогу, старцу пожалуюсь...

— Я те пожалуюсь... Дурак, по скитам, думаешь, с ветра брюхатят бабы? В Выговской обители их десятка три, как тельные коровы, ходят... А уж на что там строго...

— Врешь ты все...

— Этой сласти, гляжу, ты еще не пробовал, Ондрюшка?..

— До смерти не осквернюсь...

— Позвать гладкую бабу и заставить полы мыть. Она моет, ты сидишь на лавке, разгораешься... Крепче вина это...

Андрей торопливо содрал тесто с пальцев. Вышел из кельи на мороз,— постоять... Утренняя заря широко разлилась за лесом, солнцу вот-вот взойти. Следы на снегу налиты теплой тенью, сахарные сугробы нагнулись около избенок, зеленели вершины огромных елей. В приоткрытую дверь моленной слышалось унылое пение. Степка и Петрушка опять пробежали мимо Андрея, крикнули:

— Идут сюда! Затворяй ворота...

. . . .

Алексей Бровкин послал Якима поговорить с раскольниками: что они за люди и сколько их и почему не отворяют ворота́ царскому офицеру? Лошадей оставил в лесу на дороге, сам с солдатами, велев

зарядить мушкеты, подошел к скиту. Из-за высокого тына искрились шапки снега на крышах, синел осьмиконечный крест на моленной,— оттуда слышалось пение, хотя время обедни давно прошло.

Яким долго стучал в калитку. Влез на тын, поглядел, нет ли собак, и спрыгнул на двор. Алексей для страху надел треугольную шляпу и поверх бараньего полушубка опоясался шарфом со шпагой,— здесь, видимо, можно было поживиться людьми, если припугнуть. Едва ли в такую глушь заглядывали подьячие или комиссары Бурмистерской палаты, собиравшие двойной оклад с двуперстно молящихся. Время шло. Солдаты поглядывали на низкое солнце,— с утра ничего еще не ели. Алексей сердито покашливал в варежку.

Наконец Яким перевалился с той стороны через тын.

— Алексей Иванович, удача: Нектарий здесь...

— Так что же он, чертов кум, ворота не отворяет! Я солдат поморожу.

— Алексей Иванович, здесь народ в моленной заперся. Видишь, какое дело,— знакомца я здесь встретил — один мужичок новгородский у них сидит на цепи... Он рассказал: паствы человек двести, и есть годные и в солдаты, но взять их будет трудно: старец хочет их сжечь...

Алексей недоверчиво, строго уставился на Якима:

— То есть как сжечь? Кто ему позволил? Не допустим. Люди не его — царские...

— То-то, что он у них в лесах — царь...

— Будет тебе врать! (Хмурясь, Алексей позвал солдат, они неохотно стали подходить, понимали, что дело необыкновенное.) Долго разговаривать не станем. Ребята, ломай ворота...

— Алексей Иванович, надо бы осторожнее. Моленная вплоть обложена ометами, и внутри у них — солома, смола и бочка с порохом... Лучше я старца какнибудь вызову. Он и сам понимает — не шутка двести человек уговорить на такое дело. Ему, Алексей Иванович, уважение окажите,— старичок властный,— полюбовно и сговоритесь...

Алексей оттолкнул болтливого мужика. Подойдя к воротам, попробовал — крепки ли.

— Ребята, неси бревно...

Яким отошел в сторону. Помаргивая, с любопытством глядел — что теперь будет? Солдаты раскачали бревно, ударили в мерзлые брусья ворот. После третьего удара отдаленное пение раскольников затихло.

. . . .

— Иди в моленную...

— Не пойду, сказал я тебе, отвяжись,— угрюмо повторил бесноватый мужик...

Нектарий вошел со двора, запыхавшись, на бороде — длинные капли воска. Зрачки побелевших глаз сузились в маковое зерно: не то пугал, вернее, был вне себя. Завопил перехваченным горлом:

— Евдоким, Евдоким, настал Страшный суд... Душу спасай! Один час остался до вечных мук... Ох, ужас! Бесы-то как в тебе ликуют! Спасайся!

— Да ну тебя в болото! — закричал Евдоким, злобно замотал башкой.— Каки таки бесы? Сроду их во мне не было. Сам иди ломайся перед дураками...

Нектарий поднял лестовку. Бесноватый мужик, нагнувшись, так поглядел исподлобья,— старец на минуту изнемог, присел на лавку. Помолчали...

— Ондрюшка где?

— А черт его знает, где твой Ондрюшка...

— Нет, проклятый, нет тебе спасения...

— Ладно уж, не причитывай...

Старец сорвался — поглядеть, не схоронился ли за печью послушник,— страха ради живота своего... На дворе в это время бухнуло, затрещало.

— Ворота ломают,— осклабясь, сказал мужик.

Нектарий споткнулся, не дойдя до печи, неистово начал дрожать. Парусом раздулась его мантия, когда поспешил на двор. Оставил дверь настежь.

— Ондрюшка,— позвал мужик,— дверь запри, студено.

Никто не ответил. Он вытащил ерш из стены, ругаясь, пошел, захлопнул дверь.

— Хорошего здесь не жди. Уходить надо.

Заглянул за печку. Там, в щели между стеной и печью, стоял Андрюшка Голиков,— видимо, без памяти, белый. Чуть слышно икал. Евдоким потянул его за руку:

— Умирать, что ли, неохота? Неохота — и не надо: без огня обойдешься... Ключ найди, слышь. Куда ключ старик спрягал? Чепь хочу снять. Ондрюшка! Очнись...

. . . .

Все стояли на коленях. Женщины безмолвно плакали, прижимая детей. Мужчины — кто, уронив волосы, закрыл лицо корявой ладонью, кто безмысленно глядел на огонь свечей. Старец ненадолго ушел из моленной. Отдыхали,— измучились за много часов: ему мало было того, что все покорны, как малые дети... Страшно кричал с амвона: «Теплого изблюю из уст! Горячего хочу! Не овец гоню в рай,— купины горящие!..»

Трудно было сделать, как он требовал: загореться душой... Люди все здесь были ломаные, ушедшие от сельской истомы, оттуда, где не давали обрасти, но, яко овцу, стригли мужика догола. Здесь искали покоя. Ничего, что пухли от болотной сырости, ели хлеб с толченой корой: в лесу и в поле все-таки сам себе хозяин... Но, видно, покой никто даром не давал. Нектарий сурово пас души. Не ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира — антихристу. Ленивых в ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял. Мужик привык издавна — велят, надо делать. Велят гореть душой,— никуда не подашься — гори...

Нынче старец мучил особенно, видимо — и сам уморился... Порфирий на клиросе читал отрешенным высоким голосом. Под дощатым куполом стоял пар от дыхания. Капало с потолка...

Старец неожиданно скоро вернулся.

— Слышите! — возопил в дверях.— Слышите слуг антихристовых?

Все услышали тяжелые удары в ворота. Он стремительно прошел по моленной, задевая краем мантии по головам. Вздымая бороду, с размаху три раза поклонился черным ликам. Обернулся к пастве до того

яростно,— дети громко заплакали. У него в руках были железный молоток и гвозди.

— Душа моя, душа моя, восстани, что спишь? — возопил.— Свершилось,— конец близко... Места нам на земле не осталось — только стены эти. Возлетим, детки... В пламени огненном. Над храмом, ей-богу, сейчас в небе дыру видел преогромную. Ангелы сходят к нам, голубчики, радуются, милые...

Женщины, подняв глаза, залились слезами. Из мужиков тоже кое-кто тяжело засопел...

— Иного времени такого — когда ждать? Само царство небесное валится в рот... Братья, сестры! Слышите — ворота ломают... Рать бесовская обступила сей остров спасения... За стенами — мрак, вихрь смрадный...

Подняв в руках молоток и гвозди, он пошел к дверям, где были припасены три доски. Приказал мужикам помочь и сам стал приколачивать доски поперек двери. Дышал со свистом. Молящиеся в ужасе глядели на него. Одна молодая женщина, в белом саване, ахнула на всю моленную:

— Что делаете? Родные, милые, не надо...

— Надо! — закричал старец и опять пошел к амвону.— Да еще бы в огонь христианин не шел? Сгорим, но вечно живы будем. (Остановясь, ударил молодуху по щеке.) Дура! Ну, муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя... А затем что? Не гроб ли? Жалели мы вас, неразумных. Ныне нельзя... Враг за дверями... Антихрист, пьян кровью, на красном звере за дверями стоит. Свирепый, чашу в руке держит, полна мерзостей и кала. Причащайтесь из нее! Причащайтесь! О, ужас!

Женщина упала лицом в колени, затряслась, все громче начала вскрикивать дурным голосом. Другие затыкали уши, хватали себя за горло, чтобы самим не заголосить...

— Иди, иди за дверь... (Опять — удары и треск.) Слышите! Царь Петр — антихрист во плоти... Его слуги ломятся по наши души... Ад! Знаешь ли ты — ад?.. В пустошной вселенной над твердью сотворен... Бездна преглубокая, мрак и тартарары. Планеты его

кругом обтекают, там студень лютый и нестерпимый... Там огонь негасимый... Черви и жупел! Смола горящая... Царство антихриста! Туда хочешь?..

Он стал зажигать свечи, пучками хватал их из церковного ящика, проворно бегал, лепил их к иконам — куда попало. Желтый свет ярко разливался по моленной...

— Братья! Отплываем... В царствие небесное... Детей, детей ближе давайте, здесь лучше будет,— от дыма уснут... Братцы, сестры, возвеселитесь... Со святыми нас упокой,— запел, раздувая локтями мантию...

Мужики, глядя на него, задирая бороды, подтягивая, поползли на коленях ближе к аналою. Поползли женщины, пряча головы детей под платами...

Стены моленной вздрогнули: в двери, зашитые досками, подпертые колом, ударили чем-то со двора. Старец влез на скамейку, прижал лицо к волоковому окошечку над дверями:

— Не подступайте... Живыми не сдадимся...

. . . .

— Ты будешь старец Нектарий? — спросил Алексей Бровкин. (Ворота они раскрыли, теперь ломились в дверь моленной). Из длинного окошка боком глядело на него белое стариковское лицо. Алексей ему — со злобой: — Что вы тут с ума сходите?

С трудом высунулась стариковская рука, двоеперстно окрестила царского офицера. Сотня голосов за стеной ахнула: «Да воскреснет бог». Алексей хуже рассердился:

— Не махай перстами, я тебе не черт, ты мне не батька. Выходите все, а то дверь высажу.

— А что вы за люди? — странно, насмешливо спросил старец.— Зачем в такое пустое лесное место заехали?

— А такие мы люди,— с царской грамотой люди. Не будете слушать — всех перевяжем, отвезем в Повенец.

Стариковская голова скрылась, не ответив. Что было делать? Яким отчаянно шептал: «Алексей Иванович, ей-богу, сожгутся...» Опять там затянули «со

святыми упокой». Алексей топтался перед дверями, от досады пошмыгивая носом. Ну, как уйти? Разнесут по всем скитам, что-де прогнали офицера. Снял варежки, подпрыгнул, ухватился за край окошка, подтянулся, увидел: в горячем свете множества свечей обернулись к нему ужаснувшиеся бородатые лица, обороняясь перстами, зашипели: «Свят, свят, свят». Алексей спрыгнул:

— Давай еще раз в дверь...

Солдаты раз ударили. Стали ждать. Тогда из чердачного окошка полезли трое (Яким признал Степку Бармина и Петрушку Кожевникова), в руках — охотничьи луки, за поясом — по запасной стреле, у третьего — пищаль. Вылезли на крышу, глядели на солдат. Мужик с пищалью сказал сурово:

— Отойдите, стрелять будем. Нас много.

От дерзости такой Алексей Бровкин растерялся. Будь то посадские какие-нибудь людишки,— разговор короткий. Это были самые коренные мужики, их упрямство он знал. Тот, с пищалью,— вылитый его крестный покойный, толстоногий, низко подпоясанный, борода жгутами, медвежьи глаза... Не стрелять же в своего, такого. Алексей только погрозил ему. Яким ввязался:

— Тебя как зовут-то?

— Ну, Осип зовут,— неохотно ответил мужик с пищалью.

— Что ж, Осип, не видишь — господин офицер и сам подневольный. Вы бы с ним по любви поговорили, столковались.

— Чего он хочет? — спросил Осип.

— Дайте ему человек десять, пятнадцать в войско, да нашим солдатам дайте обогреться. Ночью уйдем.

Петрушка и Степан, слушая, присели на корточки на краю крыши. Осип долго думал.

— Нет, не дадим.

— Почему?

— Вы нас по старым деревням разошлете, в неволю. Живыми не дадимся. За старинные молитвы, за двоеперстное сложение хотим помереть. И весь разговор...

Он поднял пищаль, дунул на полку, из рога подсыпал пороху и стоял, коренасто, над дверью. Что тут было делать? Яким посоветовал махнуть рукой на эту канитель: Нектария не сломить.

— Он упрям, я тоже упрям,— ответил Алексей.— Без людей не уйду. Возьмем их осадой.

Двоих солдат послали за лошадьми,— отпрячь, кормить. Четверых — греться в келью. Остальным быть настороже, чтобы в моленную не было проноса воды и пищи. День кончался. Мороз крепчал. Раскольники похоронно пели. Петрушка и Степан посидели, посидели, перешептываясь, на крыше, поняли — дело затяжное.

— Нам до ветру нужно,— стали просить.— На крыше — грех, пустите нас спрыгнуть.

Алексей сказал:

— Прыгайте, не трогнем.

Осип вдруг страшно затряс на них бородищей. Петрушка и Степан помялись, но все-таки, зайдя за купол, спрыгнули на солому.

Старец Нектарий тоже, видимо, понял, что крепко взят в осаду. Два раза приближал лицо к волоковому окну, подслеповато вглядывался в сумерки. Алексей пытался заговорить,— он только плевал. И опять из моленной доносился его охрипший голос, заглушавший пение, мольбы, детский плач. Там что-то творилось нехорошее.

Когда совсем помрачнел закат, на крышу из слухового окна вылезло человек десять мужиков без шапок. Махая руками, беснуясь, закричали:

— Отойдите, отойдите!..

Все торопливо начали раздеваться, снимали полушубки, валенки, рубахи, портки...

— Нате! — хватали одежу, кидали ее вниз солдатам.— Нате, гонители! Метайте жребий. Нагими родились, нагими уходим...

Голые, синеватые, бросались ничком на крышу, терли снегом лицо, всхлипывали, вскрикивали, вскочив, поднимали руки, и все опять,— с бородами, набитыми снегом,— улезли в слуховое окно. Остался один Осип. Не подпуская близко к дверям, приклады-

вался из пищали в солдат... Алексей очень испугался голых мужиков. Яким плачуще вскрикивал в сторону окошка:

— Детей-то пожалейте. Братцы! Бабочек-то пожалейте!

В моленной начался крик, не громкий, но такой, что — затыкай уши. Солдаты стали подходить ближе, лица у всех были важные.

— Господин поручик, плохо получается, пусть уж Осип в нас пужанет, мы дверь высадим...

— Высаживай! — крикнул Алексей, сжимая зубы.

Солдаты живо положили ружья, опять схватились за бревно. Купол с едва видимым на закате крестом вдруг покачнулся. Тяжело сотряслась земля, грохнул взрыв, в грудь всем ударило воздухом. Из щелей под крышей показался дым, повалил гуще, озарился... Языки огня лизнули меж бревен...

Когда дверь под ударом распалась, оттуда выскочил весь горящий, с обугленной головой человек, как червь начал извиваться на снегу. Внутри моленной крутило дымным пламенем, прыгали, метались огнем охваченные люди. Огонь бил из-под пола. Уже валили дымом ометы соломы вокруг.

От нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было нельзя. Сняв треуголки, крестились, у иных текли слезы. Алексей, чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за разломанные ворота. Коленки тряслись, подкатывалась тошнота. Прислонился к дереву, сел. Снял шапку, остужал голову, ел снег. Зарево ярче озаряло снежный лес. От запаха жареного мяса некуда было скрыться.

Он увидел: невдалеке по багровому снегу, увязая, идут три человека. Один отстал и, будто заламывая руки, глядел, как много выше леса, над скитом взвивается из валящего дыма огненный язык, ввысь уносится буран искр... Другой, беснующийся человек, тащил за руку небольшого длиннобородого старичка, в нагольном полушубке поверх мантии.

— Ушел он, ушел, сукин сын! — кричал беснующийся человек, подтаскивая старичка к царскому

офицеру.— Разорвать его надо... Через подполье лазом из огня ушел... Нас с Ондрюшкой хотел сжечь, черт проклятый!..

. . . .

9

Велено было царским указом: «По примеру всех христианских народов — считать лета не от сотворения мира, а от рождества Христова в восьмой день спустя, и считать новый год не с первого сентября, а с первого генваря сего 1700 года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с новым годом. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, против образцов, каковые сделаны на гостином дворе у нижней аптеки. Людям скудным хотя по древу или ветви над воротами поставить. По дворам палатных, воинских и купеческих людей чинить стрельбу из небольших пушечек или ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А где мелкие дворы — собрався пять или шесть дворов — зажигать худые смоляные бочки, наполняя соломою или хворостом. Перед бурмистерскою ратушей стрельбе и огненным украшениям по их рассмотрению быть же...»

. . . .

Звона такого давно не слышали на Москве. Говорили: патриарх Адриан, ни в чем не смея перечить царю, отпустил пономарям на звон тысячу рублев и пятьдесят бочек крепкого патриаршего полпива. Вприсядку отзванивали колокола на звонницах и колокольнях. Москва окутана была дымами, паром от лошадей и людей. Визжал морозный снег. Деревья гнулись от инея. В чаду стояли кабаки, открытые день и ночь. За дымами солнце поднималось румяное, небывалое,— отсвечивало на широких бердышах сторожей у костров.

Сквозь колокольный звон по всей Москве трещали выстрелы, басом рявкали пушки. Вскачь про-

носились десятки саней, полные пьяных и ряженых, мазанных сажей, в вывороченных шубах. Задирали ноги, размахивая штофами, орали, бесновались, на раскатах вываливались кучей под ноги одуревшему от звона и дыма простому народу.

Всю неделю до крещенья гудела, шумела Москва. Занималась пожарами. Хорошо, что было безветренно. В город сбежалось много разбойников из окрестных лесов. Только повалит дым где-нибудь за снежными крышами,— скачут в санях недобрые люди — в овечьих сушеных мордах, в скоморошьих колпаках, ломают ворота, кидаются в горящий дом,— грабят, разбивают все дочиста. Иных ловили, иных народ задавил. Шел слух, будто в Москве гуляет сам Есмень Сокол.

Царь с ближними, с князем-папой, старым беспутником Никитой Зотовым, со всешутейшими архиепископами,— в архидьяконской ризе с кошачьими хвостами,— объезжал знатные дома. Пьяные и сытые по горло,— все равно налетали, как саранча,— не столько ели, сколько раскидывали, орали духовные песни, мочились под столы. Напаивали хозяев до изумления и — айда дальше. Чтобы назавтра не съезжаться из разных мест, ночевали вповалку тут же, на чьем-нибудь дворе. Москву обходили с весельем из конца в конец, поздравляли с пришествием нового года и столетнего века.

Посадские люди, тихие и богобоязненные, жили эти дни в тоске, боялись и высунуться со двора. Непонятно было — к чему такое неистовство? Черт, что ли, нашептывал царю мутить народ, ломать старый обычай — становой хребет, чем жили... Хоть тесно жили, да честно, берегли копейку, знали, что это так, а это не так. Все оказалось дурно, все не по нему.

Не признававшие крыжа и щепоти собирались в подпольях на всенощные бдения. Опять зашептали, что дожить только до масленой: с субботы на воскресенье вострубит труба Страшного суда. В Бронной слободе объявился человек, собирал народ в баню, кружился, бил себя ладошами по лицу, кричал нараспев, что-де он — господь Саваоф, и с ручками и

с ножками, и падал весь в пене... Другой человек, космат, гол и страшен, являлся народу, держа в руке три кочерги, пророчил невнятно, грозил бедствиями.

У ворот Китая и Белого города прибили второй царский указ: «Боярам, цäредворцам, служилым людям приказным и торговым ходить отныне и безотменно в венгерском платье, весной же, когда станет от морозов легче, носить саксонские кафтаны».

На крюках вывесили эти кафтаны и шляпы. Солдаты, охранявшие их, говорили, что скоро-де прикажут всем купчихам, стрельчихам, посадским женкам, попадьям и дьяконицам ходить простоволосыми, в немецких коротких юбках и под платьем накладывать на бока китовые ребра... У ворот стояли толпы в смущении, в смутном страхе. Передавали шепотом, будто неведомый человек с тремя кочергами закидал калом такой же вот кафтан на крюке и кричал: «Скоро не велят по-русски разговаривать, ждите! Понаедут римские и лютерские попы перекрещивать весь народ. Посадских отдадут немцам в вечную кабалу. Москву назовут по-новому — Чертоград. В старинных книгах открылось: царь-де Петр — жидовин из колена Данова».

Как было не верить таким словам, когда под крещение приказчики купца Ревякина стали вдруг рассказывать — бегая в рядах по лавкам — о случившейся великой и страшной жертве во искупление мира от антихриста: близ Выг-озера несколько сот двуперстно молящихся сожглись живыми. Над пожарищем распалось небо, и видима стала твердь стеклянная и престол, стоящий на четырех животных, на престоле сидящий господь, ошую и одесную — дважды по двунадесят старцев и херувимы окрест его,— «двомя крылы летаху, двомя очи закрываху, двомя же ноги». От престола слетел голубь, и огнь погас, и на месте гари стало благоухание.

В Ямском приказе какой-то человек, обыкновенного роста и вида, уходя, бросил на пол письмо. Человека этого окликнули: «Чего обронил, эй?» Испугавшись, он побежал и скрылся. На запечатанном письме стояло: «Поднести великому государю, не рас-

печатав». Дьяк Павел Васильевич Суслов едва-едва трясущимися руками попал в рукава шубы. Грозя ездовому — спустить со спины шкуру,— поскакал в Преображенское.

Караульный офицер в дворцовых сенях с презрением оглянул дьяка от лысины до сафьяновых сапожек на меху: «Нельзя к царю». Павел Васильевич, ослабев от тревоги, сел на лавку. Народу толпилось много: наглые военные, русские — все большого роста, широкие в плечах, здоровые, как быки; иноземцы — помельче, но приятнее лицом (их, бедняг, за последнее время много начали выгонять со службы за глупость и пьянство); ловкие владимирские, ярославские, орловские ходоки, промышленники, купчишки; рядом сидели два великородных боярина, один — с обвязанной головой, другой — с черным синяком под глазом: после шумства прибыли бить челом друг на друга; заложив руки за спину, в коротеньком коричневом кафтанчике, в нитяном парике, похаживал, ни на кого не глядя, иностранец с добрым, голодным лицом, в очках — математик, химик, славный изобретатель перпетуум мобиле— вечного водяного колеса — и медного человека-автомата, играющего в шашки и вино или пиво извергающего из себя согласно натуре. Математик предлагал царю более ста патентов, могущих обогатить Русское государство.

Со двора в сени ввалился Никита Зотов, пьяный, с невиданной толщины человеком: «Не робей, он уродство любит, он тебе казны отвалит» — князь-папа волок толстяка в царские покои. Павел Васильевич, загорясь служебной ревностью, подошел к караульному офицеру и в лицо ему сказал сдавленно: «Слово и дело!» Сразу в сенях стало тихо. Офицер вытянулся, с коротким дыханием вытащил шпагу: «Идем».

Письмо, поданное Павлом Васильевичем царю в собственные руки (у Петра болела голова,— встретил дьяка насупясь, нетерпеливо), письмо это — немедленно вскрытое — было подписано Алешкой Курбатовым, дворовым человеком князя Петра Петро-

вича Шереметьева. Прочтя мельком, Петр взял себя ногтями за подбородок: «Гм!» — прочел вдругорядь, закинул голову: «Ха!» — и, забыв о Суслове, стремительно зашагал в столовую палату, где в ожидании обеда томились ближние.

— Господа министры! — у Петра и глаза прояснели.— Кормишь вас, поишь досыта, а прибыли от вас много ли?.. Вот! (Тряхнул письмом.) Человечишко худой, холоп,— придумал! Обогащение казны... Федор Юрьевич... (Обернулся к посапывающему князю Ромодановскому.) Прикажи отыскать, привезти Курбатова сейчас же. И обедать без него не сядем... То-то, господа министры,— орленую бумагу надо продавать: для всех крепостей, для челобитных — бумагу с гербом, от копейки до десяти рублев. Понятно? Денег нет воевать? Они — вот они — денежки!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы,— девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом, при сальной свече. Хлебая щи, недовольно оборачивался.

— Авдотья же... Антонида... Олька!.. О господи!..

Приподняв живот, тянулся за штофом. И мажордом, туда же, пропал. Ну вот — по лестнице загрохотал кто-то вниз башкой.

— Тише, дьяволы!.. О господи...

Вбежала шалая Антонида,— волосы растрепаны, на самой — старая матернина шуба.

— Антонида, сядь ты, ешь...

— Да, ах, тятенька...

Схватила пуховый платок, кинулась в сени. Роман Борисович стал искать — чего бы еще съесть. Над головой (в светлице) поволокли что-то, уронили,—

посыпался сор с дощатого потолка. Что же это такое? Дом ломают?.. Крутя головой. положил осетринки.

В дверь внесло княгиню Авдотью,— в шубе, в теплых платках,— ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась: за всю жизнь два раза только уезжала из Москвы — к троице и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь и — наспех...

— Чего ты загодя обмоталась платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы.

— Роман Борисович, далек ли поход-то?

— В Воронеж, мама.

— Ба-а-атюшки...

Всхлипнула без слез. Сверху — визгливый голос Ольги: «Маменька, парики вы куда засунули?» Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь.

Одно утешало Романа Борисовича: знал,— такая же суета сейчас по всей Москве. Князь-кесарь, хозяин и страшилище столицы, третьего дня объявил царский указ: палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатным людям из Немецкой слободы — ехать в Воронеж на спуск корабля «Предестинация», столь великого, что мало и за границей таких видано. Из-за близкой распутицы ехать не мешкав, чтобы захватить санный путь.

Роман Борисович, хотя и с натугой, но уже начинал все-таки разбираться в политике. В январе, после шумных праздников, пришли из Константинополя от великого посла Емельяна Украинцева письма: турки совсем было шли на вечный мир, только просили небольших уступок, дабы раздраженные сердца могли прийти к умягчению, и Емельян Украинцев даже склонил их к той мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицком конгрессе обозначенном фундаменте: «кто чем владеет, да владеет»,— но вдруг что-то в Цареграде случилось, какой-то враг вмешался в переговоры, и турки злее, чем вначале, стали задираться: требовать назад Азов и город Казыкерман с приднепровскими городками, требовали по-прежнему — платить московским царям дань крымскому хану. О гробе господнем и поминать не хотели.

Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно: «Выручать надо. Если к весне турок не устрашим превеликим флотом — миру не быть. Прахом пойдут все начинания».

Лев Кириллович, в свой черед, со слезами говорил в Кремле высоким палатным людям: «Бесчестье можем ли стерпеть? По-прежнему платить дань крымскому хану, ждать каждую весну татарских орд на лучших землях наших? Можем ли далее сносить поругания турками и католиками гроба господня? Как при Минине и Пожарском, исподнюю сорочку отдадим на построение великого воронежского флота».

Кораблестроительным кумпаниям пришлось снова развязывать кошель. По Москве пошли зловещие слухи о близкой войне: едва ли не весь мир, говорят, подымался с оружием друг на друга. Иноземцы, шнырявшие, как мыши, в Москву — из Москвы, разносили по всей Европе, что Москва-де не прежняя,— тихая обитель истинного христианства,— полна солдат и пушек, молодой царь заносится гордостью, советчики его дерзки... Москва-де лезет на рожон...

Давеча в Кремле Роман Борисович сгоряча обещал поставить полный годовой запас корма на заложенный корабль «Предестинация». Надуваясь багровой яростью, кричал перед лицом Льва Кирилловича: «Сам сяду на коня, а государю в бесчестье не быть». И даже, когда ночью, спустясь со свечой в тайный подвал, вытащил в углу из сырой земли горшок и отсчитывал копейками полтораста рублев на кумпанство,— свою долю,— даже и тогда один в подполье, ощупывая при слабом огоньке каждую копеечку, не допускал себя до противных мыслей. Не тот уже был князь Буйносов,— пообтесали.

Противные мысли задавил в себе, замкнул на тридевять замков. С такими же мыслями князь Лыков сидит сейчас у себя в деревеньке, в опале. Глупый князь Степан Белосельский на пиру у князя-кесаря, пьяный, стал кричать: «Ты мне, что же, и во

сне не велишь по-своему думать? Щеки обрили, французские портки ношу, а душу мою — выкуси...» — и сложил кукиш. Князь-кесарь только нехорошо усмехнулся. Назавтра князю Степану указ — ехать в Пустозерск воеводой...

У Романа Борисовича разума было достаточно. Но уж неизвестно, какой нужен разум — угнаться за причудами царя Петра. Будто ему и по ночам чешется — не давать людям покою. Скакать всей Москве в Воронеж... Зачем? В тесноте, в недоедании валяться по худым избенкам на лавках? Водку с матросами пить? Баб-то еще зачем туда тащить? О господи...

Роман Борисович выпил лишнюю чарку, чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там, царь, ни ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах, те же облака розовели за куполами... Роман Борисович из глубины утробы замычал, не разжимая рта. Слышно,— на дворе зазвякал колокольчик, конюха, запрягая, кричали на коней...

Выехали обозом в двух возках (и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью). Колокольчики заливались дорожной грустью. Коломенская дорога была уезжена, но ухабиста. Через каждую версту торчал красный столп, между ними — недавно посаженные березы. Антонида и Ольга считали столпы и березы (более нечем было развлечься в пути,— под мартовским солнцем — ледяной наст по снегу, вдали — коричневые рощи). По воронам на придорожных деревьях девы гадали об амурных встречах. В другом возке Роман Борисович, придавив плечом княгиню Авдотью, посапывал, на ухабах встряхивал губами. Ехали смирно.

В деревне Ульянино, в пятидесяти верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши,— мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий возок — шестеркой гнедых коней с двумя ездовыми. В стеклянное окошко на дев, завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черные соболя.

— Монсиха, Монсиха,— всполохнулась Антонида, вылезая шеей из материнской шубы.— Ольга, гляди, с ней кавалер... (В глубине пролетевшего возка, действительно, мелькнуло обритое лицо и галун на шляпе.)

— Кенигсек, лопни глаза.

Антонида всплеснула варежками.

— Да что ты?.. Ой, бесстыжая!..

— А ты опомнилась... Кобылица она, немка... Вся Москва про Кенигсека шепчет, один государь слеп...

— Кнутом ее ободрать на площади...

— Этим и кончит...

В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы, в раскрытые ворота виднелись боярские возки. Деревенские бабы бегали по навозным сугробам, ловя кур. Роман Борисович рассердился на Авдотью:

— Вот они, ваши дурьи сборы,— дò свету надо было выехать... Ищи теперь двор...

Велел гнать к царской избе. Такие взъезжие дворы,— в четыре окна, с красным крыльцом о пяти ступенях,— в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа. Комендантам указано иметь запас кормов и питья и под великим страхом остерегаться тараканов (потому что государь избяных сих зверей пужается).

Комендант выскочил на крыльцо,— при шпаге и паричке,— замахал на подъехавших: «Полнó, полнó, нельзя». Роман Борисович важно отпихнул его, вошел в сени, за ним княгиня и девы. Комендант отчаянно шипел сзади. Действительно, в обоих покоях — направо и налево из сеней — не протолкаться. Шубы, валенки, шляпы, шпаги валялись горой на полу, суетились сенные девки, пахло щами.

— Тятенька, здесь — верхние,— шепнула Ольга.

Он и сам видел, что нужно уходить без шума. Вдруг, из правой палаты, где смеялись кавалеры в париках, проговорил по-русски немецкий голос:

— Княшна Ольга, княшна Антонина, пошалуйте к нам за стол.

Парики раздвинулись. У накрытого стола — Анна Монс, в красном платье, в дорожном чепчике, держа

высокую рюмку с вином, обернулась, улыбаясь, звала... Кавалеры,— саксонский посланник Кенигсек, племянник шведского резидента в Москве Книперкрона — Карл Книперкрон, какой-то еще француз, неизвестный девам,— подскочили снять с княжен шубы. «Ах, мы сами, сами»,— девы торопливо сдернули материнскую рухлядишку, сунули в ворох чьих-то шуб. («Погоди, маменька, этот срам мы припомним».) Под руку с кавалерами вошли, обмирая — приседали...

Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик, с большими глазами, с приоткрытым ртом. Нагнув к плечу слабую голову, утомленно глядел на рослых, сыто-румяных людей, видимо оглушавших его говором и хохотом. На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец и сабелька на перевязи, ноги в белых чесанках не доставали до полу.

Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге, истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя-наследника, царевича Алексея Петровича, облобызать ручку.

— Дай, Алешенька, дай ему ручку,— певуче-весело сказала румяная царевна Наталья Алексеевна. (С тех пор как царицу Евдокию увезли в Суздаль, родная тетка Наталья была ему вместо матери.)

Алешенька медленно взглянул на нее, покорно протянул князю Роману пальцы, прикрытые кружевным обшлагом. Тот прилип толстыми губами. Царевич попытался было выдернуть руку,— Ольга и Антонида по всему политесу растопырили перед ним юбки, рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйносовых,— темные глаза его налились слезами...

— Поди, поди ко мне, Алешенька... Эк, обступили-то тебя.— Наталья,— полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке,— привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка.— Ничего, подождем,— подрастет, сам еще будет пужать людей... Так, Алешенька? — царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки ме-

довый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу.— Вы, что же, княжны, садитесь, кушайте... А ты, князь Роман, постой с кавалерами, вам после нас соберут...

За столом, кроме Натальи и Анны Ивановны, сидела длинная девица с умным желтоватым лицом, с бровями и ресницами в цвет кожи. Льняные волосы скручены тугим узлом на маковке. Она уже поела,— отставив тарелку и недопитую рюмку, улыбаясь, быстро вязала крючком рукоделье из цветной шерсти. Это была приятельница царя Петра — Амалия Книперкрон, дочь шведского резидента.

— Алексей Петрович, пошалуй ваше светлой лишико,— нежно, по-русски проговорила она и приложила вязанье к шее мальчика.— О... ви будете носить этот шарф...

Мальчик без улыбки потерся щекой о ее большую, почти мужскую руку. Анна Монс, сидевшая прямо и вежливо, сладко приподняв уголки губ, сказала тоже по-русски:

— Царевича укачало в возке. Но мы все уверены — царевич храбрый зольдат... Как он лихо носит свою сабельку...

Мальчик из-под локтя тетки, из-за пухового платка недобро взглянул на белолицую немку. Кавалеры, стоявшие за спинками стульев, стали уверять, что царевич действительно выдает все признаки храбреца.

— Батюшка ты наш, надежа-государь...— вдруг заголосил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплоть глядя в лицо мальчику.— Сядь на доброго коня, возьми сабельку вострую да побей ты врагов рати несметные... Оборони Русь православную,— одна она на свете, батюшка...

Хотел поцеловать в головку, не посмел, приложился к плечику царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу... Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него. Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала:

— На кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, ворогов у нас нет, кроме турок,— и с теми

хотим мира... Войны у нас не предвидится... (Политично покосилась на Амалию Книперкрон.)

— Что ты, что ты, матушка Анна Ивановна... Дай дорогам подсохнуть, поднимемся великим походом... Недаром войско собираем, льежескими ружьями снабжены... Не для потехи...

Амалия Книперкрон опустила вязанье, глаза ее раскрылись изумлением, рот стал мал, лицо вытянулось. Кавалеры, переглядываясь, слушали, как Буйносов, заносясь хвастовством, расписывал военные приготовления. Саксонский посланник Кенигсек выхватил из камзола табакерку, с испугом совал ее Роману Борисовичу. Но тот: «А ну тебя с табаком-то, погоди».

— Нет и нет, матушка Анна Ивановна, вся Москва о том говорит. Готовимся... Грудью встанем за древние за наши ливонские вотчины...

Но тут Кенигсек наступил князю Роману на ногу. Царевна Наталья, запылав гневным лицом, крикнула:

— Будет тебе пустое болтать... Во сне, что ли, война привиделась? Пьян, видно, со вчерашнего...

Держа за плечи Алешеньку, пошла за пестрядевую занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой, помедлив, ушла и Амалия Книперкрон (у этой так и не сошло с лица изумление). Кавалеры сели за стол. На Романа Борисовича не глядели, будто его и не было. Он понял — не угодил... А чем не угодил? За Русь православную, значит, и заступиться нельзя? Перед иностранцами русскому человеку молчать нужно? Насупясь, глядел на стол. Подавали блюда. Место одно было в конце стола,— последнее. И то уже стыд, что дураком ждал, когда попросят. А ну вас... Князь Роман повернулся, пошел в сени. Там на стульчике около шуб смирно сидела княгиня Авдотья...

— Ты что ж тут как худая дожидаешься?

— Не звали в покои-то, батюшка.

— Не звали тебя!.. Эх, ворона... Породу свою забыла... Идем в другую горницу...

Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной... Верхние щепотны, а перед иностранцами — в особенности. Ну, ничего,— со старика не взыщется...

После полудня, завалясь, огрузневший и сонный, в возок, Роман Борисович позевал, размял задом помягче место и беспечально заснул, чувствуя талый мартовский ветерок... Была бы у него черна совесть, нет, совесть — покойна,— где же было догадаться, какие тяжелые и необыкновенные дела воспоследствуют для него из пустяшного, казалось бы, случая на царском взъезжем дворе.

. . . .

До Воронежа все-таки хлебнули горя. Не заверни студеный ветер с метелью, пришлось бы тонуть где-нибудь на переправе через речку. Торопясь, бросили своих лошадей,— ехали теперь на перекладных. Чем ближе к Дону, в мимоезжих деревнях мужики становились несговорчивее, глядели угрюмо — зверем, шапки хотели ломать только после окрику. Роман Борисович охрип от лая на каждом взъезжем дворе, требуя лошаденок. Сам заходил в избы, тряс за грудь мужиков: «Да знаешь ты, перед кем стоишь, сукин сын!.. Разорю!»

Мужик, зло сжав зубы, мотался башкой, на печи, как волчата, светились глазами ребятишки, широкостая баба недобро держала ухват или кочергу: «Нечего нас разорять, боярин, уж разорили,— нет у нас лошадей, уходи с богом».

В одной деревне, дворов в десять, разметанных непогодой,— на косогоре над речкой,— Буйносовым пришлось жить сутки: в деревне — одни бабы, ни мужиков, ни лошадей. Ночевали в черной избе (где человек, стоя, тонул головой в дыму). Княжны стонали, лежа под тулупами на составленных лавках. Дым ел глаза. Бездомно подвывал ветер.

Роман Борисович, пробудившись, услышал голоса на улице,— кто-то, видимо, подъехал. Покряхтел, с неохотой вылез из-под шубы. На дворе — бело, в небе вызвездило меж летящих туч. Справив нужду,

князь Роман подошел к воротам. За ними — негромкие голоса:

— ...Жуковские мужики по весне все разбегутся, Иван Васильевич...

— Жили, слава богу, до этой самой грязи... Приехал Азмус,— как его там,— антихрист, и — пошло... Наделали черпаков, давай из болота грязь черпать, лепить кирпичи, сушить в ригах... Наши мужики с утра до ночи эту грязь возят, риги ей все забиты... Лошадей покалечили... Ни пахать тебе, ни сеять...

— Царь приезжал... Этого, говорит, мало... Велел поставить мельницу с черпаками, тянуть со дна грязищу-то... При нем ее жгли,— брали из риги. Нет, этой повинности мы не вытерпим. Бежать без оглядки...

— По оврагам скрываемся, Иван Васильевич. Ночью только и придешь за куском хлеба. Это разве жизнь?..

— Атаман, скоро ли гиль-то начнется?

Роман Борисович, не замечая, как ветер прохватывает его под накинутой на голову шубейкой, приложил глаза к щели в воротах. Различил (при смутном свете звезд): несколько мужиков понуро стоят около санок с ковровым задком, в них, держа вожжи,— широкий человек в чепане, в казацкой шапке, борода будто обрызгана известью,— пегая. «Ой, ой, этого вора я где-то видел»,— страшась, подумал Роман Борисович.

Один из мужиков,— наклоняясь над задком саней:

— На Дону что слышно, атаман?

Пегобородый, перебрав вожжи, ответил важно:

— До лета ждите...

Мужики придвинулись:

— Войны, что ли, ждут?

— Вот дал бы господь...

— Поскорее чем бы нибудь это кончилось...

— Кончится, кончится,— с угрозой пробасил пегобородый.— Зубы у нас есть.— Он сильно повернулся в санях: — Ребята, у кого коня я поставлю?

— Иван Васильевич, ко мне бы... Да черт принес вчера боярина с бабами... Озорничают-то как... Сено, солому раскидали, овес припрятал,— нашли, не по-

веришь — по ведру засыпают коням... А что мне с него,— он и копейки не даст...

Пегобородый раскрыл рот:

— Ха...— засмеялся.— Ха-ха... Возьми под облучком у меня в мешке ножик... Добудь копейку... Так-то, мужички невольные... (Натянул вожжи.) Ну,— к кому же?

Один кинулся от саней:

— Ко мне, Иван Васильевич, у меня просторно...

Только сейчас вдруг Романа Борисовича пробрало холодом. Постукивая зубами, поспешил в темную избу.

— Авдотья...— тряс угоревшую во сне княгиню.— Куда пистолеты мои засунула? Вставайте, Ольга, Антонида... Огонь вздуйте... Куда сунули кремень, огниво... Мишка, Ванька, вставайте — запрягать...

. . . .

Бревенчатый новостроенный царский дворец стоял за рекой, на полуострову, между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил,— ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья[1] с дочерьми — Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же вповалку разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда, кругом — болота, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые остовы кораблей на стапелях (по берегу старого Воронежа), овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней.

Буйносовы девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка,— вот уж не нашли плоше места! Ни рощи — погулять, ни бережков — посидеть, кругом — тина, мусор, щепки... С берега, с желтых кораблей несутся стукотня, мужичьи крики. Туда часто подъезжали верхами кучи кавалеров. Но девы только,— ах!..— издали на стройных всадников. Никто не знал, когда начнутся развлечения. Теперь по ночам у кораблей зажигали костры — работали всю ночь. Де-

---

[1] Вдова царя Ивана.

вы занавешивали юбками оба окошка в светелке, чтобы не просыпаться от страшных отблесков пламени...

Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнцепек,— скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках: с княжной Лыковой дурищей — поперек себя шире, даже глаза заплыли, или княжной Долгоруковой — черномазой гордячкой (скрывай не скрывай — вся Москва знала, что у нее ноги волосатые), или с восемью княжнами Шаховскими,— эти — выводок зловредный — только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья.

Однажды во двор нагнали мужиков,— в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками. Но к потехам не пробиться: то царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны Иоанновны. С ними выходил наставник,— в одном кармане кафтана — шелковый платок для вытирания носа, в другом — пучок прутиков — розга,— немец Иоганн Остерман, с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности, в круглых очках. Он усаживал царевен в лодочки, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель: «Нашинай, абер лангзам, лангзам» [1],— закрыв под очками глаза, ширкая огромными подошвами, крутился до одури.

Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурачки в кафтанцах навыворот, эфиопы — черные, как сажа, два старичка шалуна в бабьей одежде, задастые комнатные женщины, и выплывала, ведомая под локти со ступеней, царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стул, подушки,— садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парика не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом.

[1] **Лангзам** — по-немецки — медленно.

— Садитесь, садитесь,— лениво говорила царица боярышням, чтобы больше не кланялись, оставались бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня набок голову. Женщины испуганно придвигались:

— Что, матушка, свет ясный, что болит?

— Ничего... Отвяжитесь... (У царицы всегда что-нибудь болело,— была сыра.) Эй ты, Иоганн... Будет тебе крутиться-то, царевнам головки закружишь... Вот уж, господи прости, дурак немец... Долговязый такой, в очках, а только ему крутиться...

Иоганн Остерман подводил девочек к матери. Старшая, восьмилетняя Екатерина, была ряба, глазки у нее косили,— за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Прасковью, любила,— гладила по кудрявым волосикам, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя, Анна Ивановна [1], смугловатая угрюмая девочка с бледными губами, подходила робко, всегда позади сестер...

— Чего под ноги-то косишься, мать не съест,— говорила царица. Брала с поднесенной шалуном-старичком тарелки сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и — «на́ пряник!» — совала Анне. Вздохнув, оглядывала наставника — от суконных коричневых чулок до приглаженного паричка.— Ох, рано ему детей отдала,— надо бы им с мамками еще понежиться...

Задастые женщины трясли за стулом юбками.

— Рано им, свет-матушка, рано в науку-то...

— А ну вас, не шипите в ухо...— Царица морщилась. Подзывала Остермана.— Что, немец, им читал нынче? Учил ли прынцесс по-немецки, цифири учил ли?

Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весьма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова. Одно понимала: как прежде, по старине, теперь не жить. Хотя и трудно — равняться надо по новым порядкам.

---

[1] В будущем — императрица Анна.

Памятен остался ей девяносто восьмой год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх, царевна Софья с сестрами едва кнута миновала, царица Евдокия при живом муже серою монашкою слезы льет в Суздале...

Прасковья недаром была родом Салтыкова — сыра, но умна,— умен был и советчик ее, управляющий и дворецкий, родной брат Василий. Они понимали,— Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись: иноземные послы, именитые иноземцы взыскательны, не всякого потащишь на Кукуй к Монсихе... Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах, с глаз ее убирали, когда надо. За все это Петр Алексеевич царицу Прасковью любил и жаловал.

Поскучав на солнцепеке, Прасковья Федоровна удалялась с дочерьми и челядью. Буйносовы девы садились на карусель, приказывали мужикам вертеть шибче чего невозможно. Тихо визжали. Издалека доносились пушечные выстрелы да крики мужиков, поднимающих мачту где-нибудь на корабле. А там уже и обед. Дрема в жарких светелках, пахнущих смолой. Раза два из города присылали от Романа Борисовича за бельецом. Посланный рассказывал, что князюшка живет в великой тесноте — вчетвером в каморке на дворе у Апраксина, и когда кончится воронежское сидение — никто не знает...

В полдень однажды во двор верхом въехал Петр, худой, загорелые щеки свеже выбриты. Весело оглянулся на карусель, взглянул на окошки, где заметалось сонное бабье. Соскочил с коня, поправил шарф, коим был опоясан по узкому кафтану, и побежал наверх к царице Прасковье.

Минуты не прошло — всему дворцу стало известно,— завтра утром спуск корабля, и начинаются празднества.

. . . .

Двухпалубный пятидесятипушечный корабль «Предестинация» стоял на пологом берегу на стапелях и

стрелках. Крутая корма его, с тремя ярусами квадратных окошек, искусно изукрашена дубовой резьбой. По черным бортам — две белых полосы, на медных петлях откинуты пушечные люки. Подкручены к реям паруса из суровой парусины. На тупом носу, расположенном значительно ниже кормы, голая наяда поддерживала мощными, как бревна, руками длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косые паруса. Корабль был построен по чертежам Петра, под наблюдением его, Федосея Скляева и Аладушкина.

Солнце поднялось за цыплячье-зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День — безоблачный, прохладной синевы. Приятный ветер легко рябил воду, заманивал распустить паруса, плыть, куда полноводно течет река,— в весеннюю даль.

На дощатом помосте, близ корабля, стояли столы с яствами и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, перья на шляпах, локоны париков, кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица Прасковья и царевна Наталья с детьми, послы и посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы, иезуит из Парижа, Амалия Книперкрон, саксонский военный инженер Галларт и только что прибывший с письмом короля Августа имперский герцог Карл Евгений фон Круи. Гости, хотя бы и весьма родовитые, но не столько сейчас важные, стояли за столами на помосте. Матросы разносили водку в деревянных ведрах.

Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь, покручивал светлые усы, глядел невидяще — поверх. Нос у него был длинный, кривоватый, лицо вялое, с подглазными мешками, плоский парик начинался от самых бровей. Под лиловым кафтаном — орденская лента, на шее — золотая цепь, на боках — алмазные звезды. Даже царица с царевной робели перед ним: еще бы — герцог Священной Римской империи, непобедимый воин, участник пятнадцати знатных сражений. Но, видимо (так понимали московские, хотя и виду не показывали), карман у герцога был пустой, иначе бы — черт его за-

нес в Воронеж... За стулом его стоял переводчиком Петр Павлович Шафиров.

Герцог говорил, щуря красноватые веки:

— Россия — прекрасная страна, русские — трудолюбивый и богобоязненный народ, женщины в России — восхитительны. В Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи, нашу одежду. России самим богом указано обратить взоры на Азию. Привести к подножию царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Китай — вот превосходнейшая задача для пользы всего христианского мира...

Герцог не окончил размышления: гости зашумели, заширкали ногами. От корабля быстро шел царь в голландских, до колен, бархатных штанах, в парусиновой рубахе с закатанными рукавами, на затылке — клеенчатая круглая шляпа. Он остановился у помоста и почтительно снял шляпу перед толстым адмиралом Головиным, сидевшим под копной парика со стаканом венгерского...

— Господин адмирал, по здорову...

— Здравствуй, мастер Петр Алексеевич,— важно ответил Головин.

— Господин адмирал, корабль готов к пуску. Прикажи выбивать стрелы?

— С богом, начинайте.

Герцог, бросив теребить усы, с изумлением глядел, как царь, будто простой плотник, будто человек подлой породы, поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам. «Готовься!..» — закричал рабочим, и те засуетились под крутым днищем корабля. По пути он подхватил чугунный молот: «Становись к стрелам... Разом... Выбивай...» Раздались удары молотов по бревнам, подпиравшим спереди огромное судно. Заиграли протяжно рожки. Гости встали, высоко держа стаканы. Было видно, как под рубашкой ходят лопатки у Петра, работающего молотом. Мачты качнулись, корабль несколько осел на салазках. Помедлил, тронулся по наклонным ста-

пелям, смазанным салом. «Пошел, пошел...» — закричали на помосте.

Корабль все быстрее соскальзывал к реке. Под салазками задымилось сало. Нос коснулся воды. Позолоченная наяда ушла по пояс. Стремительно, раскидывая перед собою две волны, корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачты побежали вымпелы, ветер взвил их узкие шелковые языки. С бортов выбросилось пламя, ударили пушки...

. . . .

Вторые сутки шел пир у Меньшикова на подворье — на городской стороне, у моста. Часть гостей вовсе не спала, иные валялись под столами на сене (в столовой палате уже несколько раз убирали с пола все сено, стелили новое). Дамы, отдохнув чуточку, подрумянясь, напудрясь, сменив платье, снова подъезжали вскачь в грохочущих каретах. Вчера был фейерверк, сегодня — большой бал.

Иноземцы оставались весьма довольны празднествами. Петр Павлович Шафиров, не щадя себя, поил их лучшим венгерским и сектом (своим подавали поплоше). Добился, прехитрый еврей, того, что некоторые посланники написали друзьям в Константинополь о всем здесь виденном: после «Предестинации» за неделю спущено еще пять больших кораблей и четырнадцать галер, остальные суда торопливо достраивались, — до самой слободы Чижовки виднелись их ребристые остовы. Если прибавить все это к азовскому флоту, султану, берегущему Черное море, как чистую, непорочную девицу, не придется теперь слишком надуваться в переговорах о мире...

. . . .

Антонида в нежно-лазоревом платье, Ольга — в пронзительно-лимонном кушали в двухсветной, дощатой, наспех построенной зале, — полтораста гостей сидели с внешней стороны поставленного покоем стола, — внутри возились шуты: скакали в чехарду, дрались пузырями с горохом, лаяли, мяукали, поднимали такую возню — сено летело на блюда и парики. На дураков никто уже не смотрел. Князь-папа в же-

стяной митре — под балдахином — умаялся, старик, махать платочком в окно пушкарям после каждой заздравной чаши,— от пушечных залпов сотрясались стены. Почтенный шут Яков Тургенев насмешил давеча всех,— надев чалму, татарский халат и туфли, въехал на горбатой грязной свинье в зало, тряс обрюзгшим лицом, привязной бородой.

— Подходитя,— кричал,— подходитя, целуйте пятку султанскому величеству...

Сейчас он, мертвецки пьяный, валялся под столом.

Охрипли матросы-песельники, роговые музыканты несли несуразное. Все ждали танцев. Рядом с Ольгой сидел кавалер — прапорщик Преображенского полку Леопольдус Мирбах, рядом с Антонидой — моряк поручик Варфоломей Брам. Ольгин кавалер еще лопотал кое-как по-русски, мял ладонями лицо, чтобы отрезветь, но датчанин Брам, красный, как говядина, только пил, подмигивая обмиравшей деве. Ах, какие там еще разговоры и о чем?..— все пустое!.. Только подать кончики пальцев кавалеру, приподнять спереди юбочки и в лад под скрипки, с поклонами заскользить по навощенному полу. Девы были взволнованы, как лесное озеро в грозу.

Роман Борисович сидел за другим концом стола с Авдотьей. Князю не моглось, что далек от государя. Петра окружили иноземцы: рядом — герцог фон Круи, до того пьяный, что только мотал головой, как лошадь от мух, по другую сторону — Амалия Книперкрон. До последней минуты Петр был весел, шутил и развлекался... Но что-то случилось (заметили только,— к нему подходил Меньшиков, шепнул на ухо),— в глазах его пропал смех. Он, видимо, сдерживался. Когда подали новую перемену блюд, так стал дергать ножом и вилкой,— то мимо тарелки, то себе в лицо,— Амалия Книперкрон с нежным участием положила руку ему на обшлаг:

— Герр Питер, нужно успокоиться...

Он бросил вилку, нож, морщась, засмеялся:

— Руки — враги мои... (Сунул руку под стол.) Ну, чего уставилась, умница? Так сегодня еще спляшем — каблуки собьем...

Морщинки побежали на ее лоб, сказала тихо, с укоризной:

— Герр Питер, разве я более недостойна вашего доверия?

Зрачки его метнулись, крылья короткого носа раздулись:

— Вздор, вздор!

— Герр Питер, у меня тяжелое предчувствие.

— Старуха на бобах чего-нибудь нагадала?..

Отвернулся. У Амалии затряслись губы:

— Мой отец тоже в сильнейшей тревоге... Сегодня получила письмо...

— Письмо? — Он уставился кругло, как хищная птица, на взволнованное лицо девушки.— Что пишет Книперкрон?

— Герр Питер, мы бы хотели не видеть того, чего нельзя больше не замечать... Хотели бы не слушать. Но об этом говорят уже не таясь... (Амалия страшилась произнести какое-то слово, нос ее начал краснеть.) Сие противно разуму... Сие было бы коварство... (От напряжения у нее налились слезы.) Одно слово ваше, герр Питер...

Будто для глубокого вздоха она приоткрыла рот. За стулом Петра быстро, сурово остановился Василий Волков. Обветренное лицо — не брито, суконный кафтан смят,— видимо, только что вынут из походной сумки,— за обшлагом торчал угол письма. Амалия сильно побледнела, зрачки ее торопливо перебегали с царя на Волкова. Она знала, что Василий с женой — за границей... Сюда он прискакал явно не с добрыми вестями...

Петр указал ему на стул рядом: «Садись». Подошел, криво улыбаясь, Меньшиков в роскошном парике. Петр протянул руку, Волков поспешно подал письмо.

— От короля Августа,— сказал Петр, не глядя на Амалию.— Дурные вести... В Ливонии неспокойно... (Он вертел письмо,— решительно засунул его за борт кафтана.) Ну, что ж... Ливония далека... нам веселиться не помешают... (И — Волкову.) Передай на словах...

Волков приподнялся было, Меньшиков за плечи посадил его и стоял, облокотясь о спинку стула.

— Саксонское войско короля Августа вторглось в Лифляндию без объявления войны,— запинаясь, сказал Волков.— Подошли к Риге, но смогли занять лишь невеликую крепость Кобершанц. Город атаковать побоялись за жестоким огнем шведов... Генерал Карлович после сей неудачной диверсии пошел к морю и приступом взял крепость Динамюнде, под коей в конце штурма был убит наповал из мушкета.

— Жаль, жаль Карловича,— проговорил Петр.— Что ж, это все твои вести?..— Он положил холодную руку на руку Амалии. Девушка часто дышала. Он больно сжал ее руку. Волков замялся. Александр Данилович, пропуская локоны парика сквозь пальцы в перстнях, сказал небрежно:

— Я его спрашивал, более ничего не знает,— был в Варшаве, когда пришли вести из-под Риги. В тот же день король Август послал его сюда. Саксонцы Риги не взяли и не возьмут,— у шведов зубы крепки... Пустое дело затеяно.

Амалия, не выдергивая руки, быстро наклонила дрогнувшее лицо.

— Это война, это война, герр Питер,— зашептала.— Не скрывайте от меня... Я еще по дороге поняла... О, какое несчастье...

Он с минуту молчал. И — хриповато:

— Что поняла? Говорили что-нибудь? Кто говорил?

Тогда она сбивчиво стала рассказывать про то, как была изумлена речами князя Романа на взъезжем дворе.

— Буйносов тебе наболтал? — угрожающе переспросил Петр.— Который? Этот шут? (Амалия, брызгая со щек слезами, закивала.) Этому дураку поверила? А еще слывешь у нас умницей... Возьми платочек, оботрись... (Он чувствовал,— Амалия против воли своей внимает ему, затихает.) Так и напиши отцу: никогда не соглашусь начать несправедливую войну, не разорву вечного мира с Каролусом. А буде король польский и завладел бы Ригой,— не достанет-

ся ему сей город, вырву из лап... В сем клянусь богом...

Петр честно округлил глаза. Александр Данилович подтвердительно наклонил голову, лишь рот прикрыл пальцами, ибо усмешка какая-нибудь была бы неуместна в сем случае.

Амалия прикладывала к щекам платочек, смущенно улыбалась. Поверила и раскаивалась. Петр весело откинулся на кожаную спинку стула.

— Князь Роман,— позвал,— подь к нам.

За визгом шутов, поднявших возню вокруг блюда с миногами (катались клубком, вырывая миноги изо рта друг у друга), Роман Борисович не сразу расслышал царский голос,— до икоты смеялся. Антонида и Ольга страшными глазами указывали ему: зовет... Княгиня Авдотья потянула его за штаны: «Иди за милостью, иди, дождались, батюшка...»

Рысцою отправился на зов Роман Борисович, задрав шпагою сзади камзол, кланялся: «Вот он я, надежа,— твой с душой и телом». Петр даже щекой не повел в его сторону, и — Амалии:

— Муж сей — отменный политик и задорный. Уж не знаю — генералиссимусом его поставить,— боюсь — много крови прольет. Или взять для домашнего употребления...

И он так вдруг повернулся к Роману Борисовичу,— у того поплыла красная тьма в глазах:

— Слышал — воевать собираешься. Назад брать наши исконные ливонские вотчины. Так, спрашиваю?

Роман Борисович начал моргать, тошнота поползла от живота в колени...

— Смелые генералы нам нужны. За великую отвагу жалую тебя генералиссимусом всего шутейского войска.

Вскочив, Петр потащил за руку Романа Борисовича к помосту, где князь-папа, свесив руки, насупя опухшее лицо, рычал во сне, будто кончался. Петр начал его трясти... «Иди к черту»,— пробормотал князь-папа. Гости, чуя новую потеху, теснились вокруг помоста. Шуты пролезли меж ногами, расселись на ступенях. Князю-папе вложили в руку крест из

двух связанных табачных трубок, в другую — сырое яйцо. Романа Борисовича поставили на колени. Растормошенный князь-папа подбирал слюни:

— Жаловать? — спросил.— Пожалую, хрен с ним...

И тюкнул яйцом по темени Романа Борисовича,— желток потек по парику,— сунул в лицо трубками и ногой отпихнул его. Шуты закукурекали. Посадили князя Романа верхом на стул, дали держать обглоданную кость от свиного окорока, потащили в середину столов. Роман Борисович окаменел, сжав кость, разинув рот. Гости, тыча в него пальцами, качались от смеха. Звонко смеялась и Амалия Книперкрон — все страхи ее, вся боль сердца окончились потехой.

Антонида и Ольга только тогда воистину поняли беду, когда, оглянувшись, не нашли подле себя кавалеров,— Леопольдус Мирбах и Варфоломей Брам в дверях танцевальной залы, упрямо-спьяну и низко кланялись зловредным княжнам Шаховским. Восемь княжен, округляя голые руки, вертя напудренными париками, без счету приседали, поглядывали задорно на буйносовских дев.

2

Тогда зимой Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крейцбург. За польской границей не то, что в Московском царстве (от деревни до деревни — день пути глухими лесами),— селенья попадались часто: на высоком месте монастырь или костел и барский дом, в иных местах и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди или уж опальный какой-нибудь боярин сидел, как барсук, угрюмо за высоким тыном. Польские паны поживали весело, широко.

Александре Ивановне до смерти не моглось — свернуть с дороги в один из таких чудных замков, чьи острые графитовые крыши и огромные окна виднелись за вековыми липами. Волков сердился: «Мы люди государевы, едем с грамотами, напрашиваться нам невместно, пойми ты наконец...»

Напрашиваться не пришлось. Однажды поздним вечером въехали в большую деревню, будто мертвую,— даже собаки не брехали. Остановились у корчмы. Покуда хозяин, высокий, сутулый еврей в лисьей шапке, с трудом отворял ворота, Александра Ивановна вылезла из возка — размяться на снегу. Глядела на половину месяца, тоскливый свет его не загасил звезд. Саньке было томно отчего-то... Тихо шла по улице... Небольшие избы почти все позавалились, многие — без крыш,— одни жерди чернели в лунном небе. Дошла до заиндевевшей плакучей ивы,— под ней часовенка. У запертой дверцы уткнулась ничком, зажав ладонями лицо, какая-то женщина в белой свитке. Не обернулась на скрип снега. Санька постояла, вздохнула, отошла. Все ей чудилось — музыка где-то далеко.

Окликнул Волков. Пошли в корчму через длинные сени, уставленные кадушками и бочонками. Хозяин светил сальной свечой — плотная борода у него торчала вперед маленького лица,— с глазами старыми и мрачными.

— Клопов нет, хорошо будете спать,— сказал он по-белорусски.— Только пану Малаховскому не вошло бы в ум наехать в корчму. Ох, бог, бог...

В жаркой корчме пахло кислым. За рваной занавеской плакал в зыбке ребенок. Санька сняла шубу, прилегла на принесенные с холоду подушки,— ей тоже хотелось плакать. Зажмурясь, чувствовала,— поправее сердца (где живет душа) — невыносимая тревога... Не то жалко кого-то, не то любить хочется.

Дверь в корчме поминутно хлопала,— входил, уходил хозяин, люди какие-то. Ребенок плакал покорно... «Опять не спать ночь...» Муж позвал: «Саня, ужинать-то будешь?» Притворилась, будто спит. Мерещился ущербный месяц, тускло светивший у часовни на спину бабы в белой свитке. Отмахнуться хотела — нет... Мерещилось давнишнее: страшные глаза матери, когда умирала... Горит светец, маленькие братики в обмоченных рубашонках свесили головы с печи, слушают, как стонет мать, глядят на тень от прялки на бревенчатой стене,— будто это старик с

тонкой шеей, с козлиной бородой... «Саня, Саня,— вздохом одним звала мать,— Саня, их жалко».

Волков не спеша хлебал лапшу. Дверь опять бухнула, кто-то, войдя, осторожно вздыхал. Санька глотала слезы: «Вот так и проедешь мимо счастья». Муж — опять: «Саня, да съешь ты хоть молочка».

Женский голос у двери: «Милосердный пан, сохранит тебя владычица небесная,— третий день не ели, пожалуй от своих милостей хлебца». Санька,— будто у нее душу прокололо,— села на лавке. У двери на коленях стояла женщина, за пазухой белой свитки у нее бочком лежало ребячье жалкое личико. Санька сорвалась, схватила блюдо гусятины: «На! — подала и невольно сама закивала ей по-бабьи.— Уходи, уходи».

Баба ушла. Санька села к столу,— так билось сердце — молока даже не могла выпить. Волков спросил у еврея-корчмаря:

— Что же — у вас неурожай, что ли, был?

— Нет, до этого бог еще не довел. Пан Малаховский забрал хороший урожай и уже отвез его в Кенигсберг...

— Видишь ты,— удивился Волков и положил ложку.— В Кенигсберг продают. И цены берут хорошие?

— Ох, цены, цены! — Хозяин закряхтел, вертя войлочной бородой, поставил подсвечник на лавку, но сам сесть не решался.— Нынче кенигсбергские купцы хорошо понимают,— кроме них, ни к кому не повезешь пшеницу, в Ригу не повезешь,— кто же захочет платить пошлины шведам. Ну, и дают гульден...

— Гульден! За пуд? — Волков недоверчиво раскрыл голубые глаза.— Да ты, может быть, врешь?

— А, ей-богу, не вру, зачем мне врать ясновельможному пану? Когда я был молодой — возили хлеб в Ригу, там давали по полтора и по два гульдена. Пан не рассердится, если я сяду? Ох, бог, бог... Все шутки пана Малаховского... зарубил саблей нашего еврея Альтера на деревне у пана Бадовского. А пан Бадовский такой пан, что за простую курицу готов поднять всю свою загоновую шляхту,—

Альтер был у него фактором. Так пан Бадовский налетел со шляхтой на пана Малаховского. Была стрельба из пистолей! Ох, бог, бог... Потом пан Малаховский налетел со своей шляхтой на пана Бадовского. Сколько извели пороха — и все из-за одного убитого еврея... Потом они помирились и выпили пятьдесят бочонков пива. Сюда налетели шляхтичи пана Малаховского, схватили меня, схватили пятерых наших евреев, бросили нас на простую телегу, придавили жердями, как снопы возят, и повезли к пану Бадовскому на двор... Пан Малаховский держался за живот,— так он смеялся: «Вот тебе, пан Бадовский, за одного жида — шестеро». У Янкеля Кагана сломали ребро, покуда он лежал в телеге, у Моисея Левида отбили печенку, у меня ноги сохнут с тех пор...

— Так, если не врешь,— сказал Волков, наливая молока в глиняную тарелку,— отчего же деревня у вас худая?

— А мужикам с чего жиреть?

— Не жиреть, зачем? Обрастать мужику нельзя давать очень-то... Все-таки избы прикрыть бы надо. Это что же у вас,— я посмотрел,— скоты лучше живут... Оброчных, видимо, нет совсем?

— У нас все мужики на барщине.

— И сколько дней барщина?

— А все шесть дней на пана работают.

Волков опять удивился... «У нас бы царская казна не допустила,— с такого голого мужика полушки не возьмешь...»

— Кто же у вас в казну дани платит? Паны, что ли?

— Нет, паны даней не платят. Мы панам платим...

— Вот так государство.— Волков усмехнулся, покрутил головой.— Саня, вот воля панам...

Но Санька не слушала. Глаза раскрыты, зрачки остановились. Повернулась к окошку, прильнула к мокрому стеклу. На улице все громче слышалась музыка, бубенцы, голоса. Корчмарь, забеспокоясь, взял подсвечник, сутуло зашаркал к двери:

— Так я же говорил,— пан Малаховский вам не даст спать...

. . . .

У корчмы остановился десяток саней. Евреи пиликали на скрипках, дули в хрипучие кларнеты. Шляхтичи, вповалку на коврах, задирая ноги, хохотали, кричали, подзадаривая. Один, усатый, в коротком кожухе, отплясывал на утоптанном снегу,— то важно выступал, проводя по усам, то бешено крутился, и сабля летела за ним.

Подскакали всадники с факелами, соскочили наземь. Из темноты вырос четверик рослых коней с павлиньими перьями на задранных башках,— в открытых санях — дамы. (Санька так и прилипла к стеклу, лупясь на заграничных: все в узких бархатных шубках, меховые воротнички, маленькие шапочки — набок.) Дамы смеялись, озаренные факелами. С запяток саней слез коренастый пан, пошатываясь, пошел к корчме,— за мутным стеклом увидел Санькино лицо. «Айда!» — махнул шляхте. Пан и позади него шляхтичи,— иные в простых кожухах, иные и совсем рваные, но все при саблях и пистолетах,— ворвались в корчму. Пан, красный, как медный котел, раздвинув ноги, провел горстью по усам, столь великим, что не вмещались в горсть. Кунтуш его на черно-бурых лисах был в снегу,— видно, пан не раз валился с запяток. Громыхнув саблей, блестя глазами на Саньку, заговорил пышно, с пропитой натугой:

— Милостивая моя пани княгиня, проклятый корчмарь поздно донес мне о вашем приезде. Как! Чтобы такая красивая, высокородная пани ночевала в гадкой корчме! Не позволям. Шляхта, вались в ноги, проси пани княгиню в замок...

Шляхтичи,— были между ними и седые, украшенные сабельными рубцами поперек лица,— наполняя корчму духом перегара, стали бросаться на одно колено перед Санькой, сорвав шапку, ладонью ударяли в грудь:

— Милостивейшая пани княгиня, умереть — не встану от ваших божественных ножек,— пожалуй к пану Малаховскому.

Александра Ивановна, как выскочила из-за стола, сдернув с плеч дорожную шаль, так и стояла перед коленопреклоненной шляхтой, бледная, с поднятыми бро-

вями, только ноздри вздрагивали. Корчмарь высоко держал свечу. Пан Малаховский, глядя на такую красавицу, толкнул одного, другого шляхтича и, подступив, грузно пал сам на колено:

— Прошу.

У Саньки все же хватило ума оглянуться на мужа. Василий сильно испугался, дрожащей рукой расстегивал ворот рубах, доставая с груди мешок с грамотами — в удостоверение, что он лицо неприкосновенное. Санька с некоторой заминкой, но голосом певучим проговорила:

— Буду счастлива сделать знакомство...

. . . .

Вторую неделю пировал пан Малаховский, шумел на все Оршанское воеводство. Пани Августа, жена его, так любила веселье и танцы,— заплясывала кавалеров до одури. Иной, уморясь, прятался куда-нибудь в чулан,— будили, приволакивали заспанного в колонное зало, где на хорах из последних сил выбивались музыканты,— тощие, в заплатанных лапсердаках,— с венецианских люстр под пышно расписанным потолком капал воск свечей на потные парики, развевающиеся юбки, в соседних покоях воодушевленно пила и горланила загоновая шляхта.

Среди ночи вдруг пани Августа,— маленькая, кудрявая, с ямочками на щеках,— придумав новую забаву, хлопала в ладоши: «Едем». Валились в сани, с факелами мчались к соседу, где снова бочонки венгерского, целиком зажаренные бараны для высоких гостей, для шляхты — огромные миски рубцов с чесноком. Осушали чаши за прекрасных дам, за польский гонор, за великую волю Ржечи Посполитой.

Или придумывала пани Августа нарядить гостей турками, греками, индусами, шляхтичам поплоше мазала лица сажей. Увеселясь ночь, на рассвете ряжеными шли в соседний монастырь, приветливо бренькавший колоколом за голыми деревами на пригорке. Стояли обедню и потом в белой трапезной, согретой пылающими бревнами в очаге, пили столетние меды, шутили с галантными монахами в надушенных рясах и в шпорах — про всякий случай.

Санька со всем пожаром души своей кинулась в это

веселье. Только меняла платья и мокрые сорочки, обтиралась душистой водкой и снова, похудевшая, высокая, вся пропитанная музыкой, гордо кланялась в менуэте, как бешеная крутилась в польском.

Василий крепился поначалу, но к нему приставили двух объедал и опивал, знаменитых во всей Польше богатырей — пана Ходковского и пана Доморацкого. Это были такие шляхтичи, что разом выпивали кубок в четыре кварты пива, съедали целиком гуся со сливами, заедали миской вареников, запивали пятью бутылками венгерского. Василий день и ночь с ними целовался. Когда находило просветление — с тоской искал жену: «Голубушка, Санечка, собираться надо, довольно». Санька и не оглядывалась. Пан Ходковский обнимал его за плечи,— покачиваясь, шли пировать дальше...

Василий мычал, зарывался в подушку,— кто-то тряс за плечо. (Спал одетый, только снял кафтан и шпагу.) Голова свинцовая — не поднять. Трясли упрямо, впивались ногтями... «Ох, что еще?»

— Иди со мной танцевать... Иди же, иди,— торопливо повторил Санькин голос, до того странный, что Василий приподнялся на локте. У кровати Санька кивала ему напудренной головой... Глаза такие — будто пожар в доме, беда стряслась...— Со мной не хочешь танцевать?

— Рехнулась, матушка... Утро на дворе...

Санькино изменившееся лицо, оголенные плечи были голубоватые от света зари за большим прозрачным окном... «До чего себя довела,— ни кровинки».

— Ложись ты спать лучше.

— Не хочешь, не хочешь... Ах, Василий...

Она стремительно села на высокий стул, уронила голые руки. Пахло от нее французскими сладковатыми духами, чужим чем-то. Не мигая, глядела на мужа,— по горлу катился клубочек.

— Вася, ты любишь меня?

Спроси она про это мягко, обыкновенно,— нет, спросила будто с угрозой. Василий от досады ткнул кулаком в подушку:

— Меня-то хоть ты оставь жить покойно.

Она опять проглотила клубочек:

— Скажи, как ты меня любишь?

Что сказать на это? Вот чепуха бабья! Не трещала бы так голова с похмелья, Василий непременно бы выругался. Но не было ни сил, ни охоты,— молчал, с укоризненной усмешкой оглядывая жену. Санька тихо всплеснула руками:

— Не убережешь... Грех тебе...

Встала, ногой отбросила длинный хвост платья, ушла...

— Дверь-то закрывай, Саня...

. . . .

Василий так и не мог заснуть,— вздыхал, ворочался, слушая отдаленную музыку внизу, в залах. Не хотелось, а думалось: «Плохо, нехорошо». Сидел на постели, держась за голову... «Никуда не годится так жить...» Оделся, черным ходом пошел к службам — взглянуть, в порядке ли возок. Увидев у каретника Антипа кучера (купил его за шестьдесят рублей у смоленского воеводы — взамен пропавшего под Вязьмой), обрадовался своему человеку:

— Что ж, Антип, завтра поедем.

— Ах, Василий Васильевич, хорошо бы,— так уж тут надоело.

— Вечером сбегай к корчмарю насчет лошадей.

Василий медленно возвращался через парк. Мело чистым снегом, важно шумели деревья с грачиными гнездами. На пруду работало много мужиков и баб,— видимо, согнали всю деревню расчищать снег, ставили какие-то жерди с флагами, хлопавшими по ветру. «Все пустяки да забавы». Василий вдруг остановился, будто кто схватил за плечи,— сморщился. Колотилось сердце. Догадался: он! Сколько раз видел его сквозь пьяный угар, сейчас только понял — он,— пан Владислав Тыклинский, рослый красавец в парижском апельсинового бархата кафтане. Александра — все с ним: менуэт — с ним, контрданс, мазурку — с ним.

Василий глядел под ноги. Снег лепил в щеки, в шею. Но мелькнула эта острая догадка, и опять все стало затягивать похмельной одурью. Решения не принял. А его

уже искали завтракать. (Обычай здесь такой,— после веселой ночи — ранний завтрак и — спать до обеда.) Опостылевшие друзья, Ходковский и Доморацкий, хвастуны, лгуны толстопузые, хохоча, подхватили под руки: «Какой бигос подан, пан Василий...» Александры за столом не было и того — тоже... Василий хватил крепкой старки, но хмель не брал...

Он вылез из-за стола, прошел в танцевальную залу — пусто. На хорах, привалясь к турецкому барабану, спал длинный костлявый еврей. Василий осторожно приотворил двустворчатые двери в зеркальную галерею,— вдоль окон по навощенному паркету, замусоренному цветными бумажками, шли пан Владислав, нахально задрав шпагой полу апельсинового кафтана, и Александра. Он горячо ей говорил, норовисто вздергивал париком. Она слушала с опущенной головой. В ее склоненной шее было что-то девичье и беззащитное: завезли за границу неопытную дурочку, бросили одну, обидят — только слезы проглотит...

Василию бы надо подступить гневно, потребовать сатисфакции у гордого поляка, но он только глядел в дверную щель, страдая от жалости... «Эх, плохой ты защитник, Василий». Тем временем пан Владислав указал красивым взмахом на боковую дверь, у Саньки чуть приподнялись лопатки, чуть покачала головой. Повернули, ушли в зимний сад. Василий невольно потянулся — засучивать рукав... Не рукав — одни кружева. И шпага осталась наверху... А, черт!..

Он с треском откинул половинку двери, но сзади налетели на него шумные толстяки Ходковский и Доморацкий...

— Ты отведай только, пан Василий, горячие кныши со сметаной...

Опять сидел за столом,— в смятении. И стыд и гнев. Тут — явный сговор. Обжоры эти спаивают его... Бежать за шпагой,— биться? Хорош государев посланный — из-за бабы задрался, как мужик в кружале... А, пускай! Один конец!

Оттолкнул поднесенный стакан, быстро вышел из столовой. Наверху, стискивая зубы, искал шпагу... Нашлась под ворохом Санькиных юбок... Со всей силы

перепоясался шарфом. Сбежал по каменной лестнице. В замке уже полегли почивать. Обежал зимний сад — никого. Наткнулся на комнатную девушку,— низко присев перед ним, она пропищала:

— Пани княгиня, пани Малаховская и пан Тыклинский поехали кататься, сказали, чтобы до вечера их не ждали...

Василий вернулся наверх и до сумерек сидел у окна, глядел на дорогу. Додумался даже до того — стал сочинять покаянное письмо Петру Алексеевичу. Но бумаги, пера не нашлось.

Потом оказалось — Санька давно вернулась и отдыхала в спальне у пани Августы. После ужина готовился на пруду карнавал и фейерверк. Василий сходил в каретник, приказал Антипу потихоньку приготовить лошадей и кое-что из коробьев отнести в возок. Мрачно возвращался в замок. По карнизам зажигали плошки,— ветер перебегал по огонькам. Снежные тучи разнесло, ночь — голубая, луна срезана сбочку.

Около садовой постройки с каменными бабами, занесенными снегом, Волков услышал хриплые вскрики, частое дыханье, звяканье клинков. Прошел бы мимо,— не любопытно. За углом (у подножья купидона со стрелой) стояла женщина, держа у самой шеи накинутую шубку, завалилась белым париком. Вгляделся — Александра. Подбежал. Тут же за углом на лунном свете рубились саблями пан Владислав с паном Малаховским. Прыгали раскорячкой, наскакивали, притоптывая, бешено выхаркивали воздух, полосовали саблей по сабле.

Санька рванулась к Василию, обхватила, прильнула, закинув голову, зажмурясь,— сквозь зубы:

— Увези, увези...

Усатый Малаховский громко вскрикнул, увидя Волкова. Пан Владислав, налетая на него. «Не твоя, не позволим». Через парк подбегали шляхтичи с голыми саблями — разнимать панов.

. . . .

Василий успокоился, когда отъехали верст с полсотни от пана Малаховского. Саньке он ни слова не поминал, ни о чем не спрашивал, но был строг. Она

сидела в возке, не раскрывая глаз, затихшая. Богатые поместья объезжали стороной.

Однажды проводник, сидевший на облучке, засунув застуженные пальцы в узкие рукава тулупчика, завертелся, указывая с пригорка на черепичную кровлю часовни у дороги. Антип просунул голову в возок:

— Василий Васильевич, нам тут не миновать остановки.

Оказалось — часовня эта (в честь святого Яна Непомука) построена знаменитым паном Борейко,— о тучности его, обжорстве и хлебосольстве сложились поговорки. Дом пана был далеко от дороги, за темным леском. Чтобы без труда зазывать собутыльников, он поставил часовню на самом шляху,— в одной пристройке — кухня и погреб, в другой — трапезная. Здесь постоянно жил капуцин, толстяк и весельчак. Правил службы, в скучные часы играл с паном в карты, вдвоем подкарауливали проезжих.

Кто бы ни ехал,— важный ли пан, беззаботный шляхтич, пропивший последнюю шапку, или мещанин-торговец из местечка,— холопы протягивали канат поперек дороги, пан Борейко, переваливаясь и свистя горлом, подносил ему чашу вина (холопы живо распрягали лошадей), оробевшего человека затаскивали в часовню, капуцин читал молитву,— приступали к пиршеству. Злого пан Борейко людям не чинил, но трезвых не отпускал, иного без сознания относил в сани, иной, не приходя в себя, отдавал богу душу под глухую исповедь капуцина...

— Что же делать-то будем, Василий Васильевич? — спросил Антип.

— Поворачивай, гони что есть духу полем.

Видимо, у панов одно было на уме — веселье; казалось, вся Ржечь Посполитая беззаботно пировала. В местечках и городках что ни важный дом — ворота настежь, на крыльце горланит хмельная шляхта. Зато на городских улицах было чисто, много хороших лавок и торговых рядов. Над лавками и цирюльнями, над цеховыми заведеньями — поперек улицы — намалеванные вывески: то дама в бострогe, то кавалер на коне,

то медный таз над цирюльней. В дверях приветливо улыбается немец с фарфоровой трубкой, или еврей в хорошей шубе не нахально просит прохожего и проезжего зайти, взглянуть. Не то что в Москве купчишка тащит покупателя за полу в худую лавчонку, где одно гнилье — втридорога,— здесь войти в любую лавку — глаза разбегутся. Денег нет — отпустят в долг.

Чем ближе к лифляндской границе — городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями. В деревнях уже вывозили навоз. Пахло весной в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к Крейцбургу. Но здесь случилось, чего не ждали.

На постоялом дворе, за перегородкой, отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. (Возвращался в Москву из-за границы.) Услышав русские голоса, вышел в накинутом тулупчике, лысая голова повязана шелковым фуляром.

— Простите старика,— учтиво поклонялся Александре Ивановне.— Весьма обрадован приятной встречей...

Пристально и ласково поглядывал из-под черных, как горностаевые хвосты, бровей на раздевающуюся Саньку. Было ему лет под пятьдесят,— худощавый и низенький, но весь жиловатый. В Москве Толстого не любили, царь не мог простить ему прошлого, когда он с Хованским поднимал стрельцов за Софью. Но Толстой умел ждать. Брался за трудные поручения за границей, выполнял их отлично. Знал языки, изящную словесность, умел сходно купить живописную картину (во дворец Меньшикову), полезную книгу, нанять на службу дельного человека. Вперед не вылезал. Многие его начинали побаиваться.

— Не в Ригу ли путь держите? — спросил он Александру Ивановну. Калмычка стягивала с нее валеночки. Санька ответила скучливо:

— В Париж торопимся.

Толстой пошарил роговую табакерку, постучал по ней середним пальцем, сунул в табак большой нос.

— Хлопот не оберетесь, лучше поезжайте через Варшаву. (Волков, потирая обветренное лицо, спросил: «Почему?») В Ливонии война, Василий Васильевич, Рига в осаде.

Санька схватилась за щеки. Волков испуганно заморгал:

— Началась. Как же так? Август один, что ли...

И поперхнулся,— так холодно-предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич. Поднял нос, испачканный табаком. Чихнул,— концы фулярового платка взметнулись, как уши.

— Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Митаву. Там король Август. Он будет рад видеть вас и особливо супругу вашу — столь шармант и симпатик...

. . . .

Толстой кое-что сообщил о начавшейся войне. Еще с осени саксонские батальоны короля Августа начали подтягиваться к лифляндской границе — в Янишки и Митаву. Рижский губернатор Дальберг (три года тому назад бесчестивший великое московское посольство с Петром Алексеевичем) ничего не хотел видеть, не то пренебрегал этой диверсией. Ригу можно было взять с налету. Но венусовым весельем и безрассудным легкомыслием потеряли неоцененное время: саксонский главнокомандующий, молодой генерал Флеминг, влюбился в племянницу пана Сапеги,— всю зиму пропировал у него в замке. Солдаты пьянствовали своим порядком, грабили курляндские деревни,— мужики стали убегать в Лифляндию, и в Риге наконец спохватились. Губернатор укрепил город.

— С прибытием к войску генерала Карловича военные действия, слава богу, получили начало,— рассказывал Петр Андреевич, морща бритые губы, облюбовывая слова.— Но Венус и Бахус, увы, неглиже на свист пулек: генерал Флеминг ищет битв более жарких. Вместо подступов к шведам храбро подступает к фортеции прекрасной польки,— уже увез ее в Дрезден, и там скоро свадьба...

Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля

Августа идут худо. Рассудил: чтобы миновать какой-нибудь оплошности,— не отвечать потом Петру Алексеевичу,— нужно свернуть в Митаву.

. . . .

— Где ваши рыцари, сударь? Где ваши десять тысяч кирас? Ваши клятвы, сударь? Вы солгали королю.

Август резко поставил зажженный канделябр перед зеркалом среди пуховок, перчаток, флаконов с духами,— одна свеча упала и погасла. Зашагал по серебристому ковру спальни. Обтянутые сильные икры его вздрагивали гневно. Иоганн Паткуль стоял перед ним, бледный, мрачный, стискивая шляпу.

Он сделал все, что было в человеческих силах: всю зиму писал возбудительные письма, тайно рассылал их рыцарям по лифляндским поместьям и в Ригу. Пренебрегая угрозой шведского закона, переодетый купцом, переехал границу и побывал в замках у фон Бенкендорфа, фон Сиверса, фон Палена. Рыцари читали его письма и плакали, вспоминая былое могущество ордена, жаловались на хлебные пошлины, а те, кто по редукции лишился части земель, клялись не пощадить жизни. Но когда наконец саксонское войско вторглось в Лифляндию с манифестами Августа о свержении шведской неволи, из рыцарей никто не осмелился сесть на коня, и — хуже того — многие вместе с бюргерами стали укреплять и оборонять Ригу от королевских наемников, жаждущих дорваться до грабежа.

Сегодня Паткуль привез в Митаву эти неутешительные вести. Король прервал обед, схватил со стола канделябр, схватил Паткуля за руку, устремился в спальню...

— Вы толкнули меня в эту войну, сударь,— вы!.. Я обнажил шпагу, опираясь на ваши клятвенные обещания. И вы осмеливаетесь заявить, что лифляндское рыцарство — эти пьяницы и пожиратели ливерной колбасы — еще колеблется.

Август, огромный и великолепный, в белом военном кафтане, подступал к Паткулю, стиснув кулаки, яростно тряс кружевными манжетами, в раздражении выкрикивал много лишнего.

— Где датское вспомогательное войско? Вы обе-

щали мне его. Где пятьдесят солдатских полков царя Петра? Где ваши двести тысяч червонцев? Поляки, черт возьми, ждут этих денег. Поляки ждут моего успеха, чтобы взяться за сабли, или моего провала,— начать неслыханную междоусобицу...

Пена текла с его полных, резко вырезанных губ, холеное лицо тряслось... Паткуль, отведя глаза, сдерживая бешенство, подпиравшее к горлу, ответил:

— Государь, рыцари хотели бы получить гарантию того, что, свергнув шведское господство, не подвергнутся нашествию московских варваров. В этом, думается мне, причина колебания...

— Вздор! Пустые страхи... Царь Петр клялся на распятии не идти дальше Ямбурга,— русским нужна Ингрия и Корелия. Они не посягнут даже на Нарву.

— Государь, я опасаюсь вероломства. Мне известно,— из Москвы посланы лазутчики в Нарву и Ревель будто бы для закупки товаров — им приказано снять планы с этих крепостей.

Август отступил. Большая, с подкрашенными ногтями рука его упала на эфес шпаги, круглый подбородок выпятился надменно.

— Господин фон Паткуль, даю вам королевское слово: ни Нарва, ни Ревель, ни — тем паче — Рига не увидят русских. Что бы ни случилось, я вырву эти города из когтей царя Петра...

. . . .

Король отчаянно скучал в Митаве, в герцогском дворце. Его пребывание вблизи войска не ускоряло событий. Удалось только взять крепостцу Кобершанц. Два раза бомбардировали Ригу, но безуспешно. Лифляндские рыцари все еще раздумывали — садиться ли на коней. Польские магнаты настороженно выжидали, готовя, по-видимому, на предстоящем сейме запрос королю: с какими целями он втягивал Польшу в эту опасную войну.

Погода в Митаве была скверная. Денег мало. Курляндские помещики неотесаны, жены их более похожи на стельных коров, чем на соблазнительный пол. Молодой курляндский герцог, Фридрих-Вильгельм, чванный пьяница, нагонял непереносимую скуку. Если бы не

усилия нового друга — Аталии Десмонт, покинувшей вместе с королем веселую Варшаву, пылкому нраву Августа грозила меланхолия.

Аталия Десмонт затевала балы и охоты, выписала из Варшавы итальянских актеров, разбрасывала деньги с такой непонятной щедростью,— даже Август иной раз сопел носом, отдавая распоряжение министру двора — изыскать для графини столько-то золотых дублонов. От сурового климата итальянские актеры чихали и кашляли. На изящно задуманных балах местное дворянство, незнакомое с утонченными наслаждениями, только таращилось на роскошь, подсчитывало в уме, во что это обошлось королю.

Однажды король обедал. По обычаю он ел один, спиной к огню камина, за небольшим столом. Дамы сидели перед ним полукругом на золоченых стульчиках. На короле был небольшой галантный парик, легкий кафтан с цветочками, батистовая рубашка падала кружевами до низа живота. Кравчий, пергаментный старик с крашеными усами, подливал гретое вино. Сегодня присутствовало на приеме шесть местных баронесс со свекольными щеками, шесть дородных баронов напряженно стояли за их обсыпанными мукой париками. Два стульчика были не заняты.

Август, жуя фаршированного зайца, мутно поглядывал на дам. Потрескивали дрова. Бароны и баронессы не шевелились, очевидно, опасаясь неприличных звуков в виде сопения. Молчание слишком затянулось. Август, облокотясь, вытер губы, уронил на стол салфетку.

— Медам и месье, я не устану повторять о том высоком удовлетворении, которое испытываю, будучи гостем вашего прекрасного города. (Подтвердил это легким движением кисти руки.) Нужно ставить в пример высокие нравственные качества курляндского дворянства: с благородным образом мыслей оно счастливо соединяет трезвую практичность...

Бароны достойно наклонили парики из конского волоса, баронессы, помедлив несколько (так как плохо понимали французскую речь), приподняли пышные зады, присели.

— Медам и месье, увы, в наш практический век даже короли, заботясь о высшем благе своих подданных, принуждены иногда спускаться на землю. Эту истину не все понимают, увы (вздохнув, подкатил глаза). Что, кроме горечи, может возбудить близорукая и легкомысленная расточительность иного надутого гордостью пана, расшвыривающего золото на пиры и охоты, на кормление пьяниц и бездельников, в то время когда его король, как простой солдат, со шпагой идет на штурм вражеской твердыни...

Август отхлебнул вина. Бароны напряженно слушали.

— Королей не принято спрашивать. Но короли во взорах читают волнение души своих подданных. Месье, я начал эту войну один, с десятью тысячами моих гвардейцев. Месье, я начал ее во имя великого принципа. Польша разодрана междоусобиями. Бранденбургский курфюрст, этот хищный волк, вгрызается нам в печень. Шведы — хозяева Балтийского моря. Король Карл уже не мальчик, он дерзок. Не вторгнись я первый в Лифляндию, завтра шведы уже были бы здесь, курляндский хлеб обложили бы пятерной пошлиной и редукцию распространили бы на ваши земли.

Светлые глаза его расширились. Бароны начали сопеть, дамы втягивали головы.

— Господь возложил на меня миссию,— от Эльбы до Днепра, от Померании до Финского побережья водворить мир и благоденствие в единой великой державе. Кто-то должен есть приготовленный суп. Шведские, бранденбургские, амстердамские купцы протягивают к нему ложки. Я — дворянин, месье. Я хочу, чтобы суп спокойно ели вы... (Он поднял глаза к потолку, словно меряя расстояние, откуда нужно спуститься.) Вчера я приказал повесить двух фуражиров,— они ограбили несколько ферм в именье барона Икскуля... Но, месье... Мои солдаты проливают кровь, им ничего не нужно, кроме славы... Но лошадям нужны овес и сено, черт возьми... Я принужден взывать к дальновидности тех, за кого мы проливаем кровь...

Бароны багровели, понимая теперь, к чему он клонит. Август, все более раздражаясь их молчанием, на-

чал приправлять речь солдатскими словечками. Вошла Аталия Десмонт,— от полуопущенных век смугло-бледное лицо ее казалось страстным. С изящным непринуждением присела перед королем, обмахнулась перламутровым веером (баронессы покосились на эту удивительную парижскую новинку) и — с поклоном:

— Государь, позвольте мне иметь счастье представить вам московскую Венеру...

Волоча огромный шлейф, подошла к дверям и за руку ввела Александру Ивановну: действительно, изо всех ее затей эта была, пожалуй, самая остроумная. Аталия, первая узнав о приезде Волковых, явилась к ним на постоялый двор, оценила качества Александры, перевезла ее к себе во дворец, перерыла ее платья,— настрого запретила надевать что-либо московское: «Мой друг, это одежды самоедов. (Про лучшие-то платья, плаченные по сту червонцев!) Парики! Но их носили в прошлом столетии. После праздника нимф в Версале париков не носят, крошка». Приказала горничной бросить в камин все парики. (Санька до того заробела,— только моргала, на все соглашалась.) Аталия раскрыла свои сундуки и обрядила Александру, как «фам де калите в вечерней робе».

Август с приятным удивлением смотрел на московскую Венеру,— две пепельно-русых волны на склоненной голове, кудрявая прядь, падающая на низко открытую грудь, немного цветов в волосах и на платье — простом, без подборов на боках, похожем на греческий туник, через плечо — тканный золотом плащ, волочащийся по ковру.

Август взял ее за кончики пальцев, склонясь, поцеловал. (Она только мельком увидела багровые лица баронесс.) Вот он — жданный час. Король был, как из-за тридевяти земель, будто из карточной колоды,— большой, нарядный, любезный, с красным ртом, с высокими соболиными бровями. Санька очарованно глядела в его уверенно заблестевшие глаза: «Погибла».

. . . .

Скоро уж неделя, как Василий сидит на постоялом дворе. Саньку увезли, и о нем забыли. Ездил справляться во дворец,— адъютант короля каждый раз лю-

безно уверял, что завтра-де король не замедлит его принять. От скуки Василий днем бродил по городу, по кривым уличкам. Узкие, мрачные дома с открытыми крышами, с железными дверями — как вымершие,— разве высоко в окошке прильнет к стеклу сердитое лицо в колпаке. На базарных площадях лавки почти все заперты. Иногда — четверкою тощих коней — громыхали пушки по большим булыжникам мостовой. Угрюмые всадники прикрывались шерстяными плащами от сквозного ветра. Одни только нищие — мужики, бабы с исплаканными лицами, дети в тряпье — бродили кучками по городу, глядели, сняв шапки, на окна.

По вечерам, отужинав, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве, о беспокойной службе. Как учили отцы, деды,— будь смирен, богобоязнен, чти старших,— нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут — у кого когти и зубы. Александр Меньшиков — дерзок, наглый,— давно ли был в денщиках,— губернатор, кавалер, только и ждет случая выскочить на две головы впереди всех. Алешка Бровкин жалован за набор войска гвардии капитаном: смело воевод за парики хватает. Яшка Бровкин — мужик толстопятый, зол и груб,— командует кораблем... Санька. Ах, Санька, боже мой, боже мой!.. Другой бы муж плетью ей всю спину исполосовал...

Значит, надо чего-то еще понять. Нынче тихие — не ко двору. Хочешь не хочешь — карабкайся... (Печальными зрачками глядел на огонек свечи... Душе бы нежиться, как бывало, в тихой усадьбе, под вой вьюги над занесенной крышей... Печь да сверчки, да неспешные, приятные думы.) Пуффендорфия, что ли, начать читать? Заняться коммерцией, как Александр Меньшиков или как Шафиров? Трудно,— не приучены. Война бы скорее... Волковы — смирны, смирны, а сядут на коня, поглядим тогда, кто в первых-то — Яшка ли с Алешкой Бровкины?

В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий, волнуясь, торопливо оделся. Поехали в карете. Август принял его в

спальне. Протянул руки навстречу, не допустил преклонить колена — обнял, посадил рядом.

— Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести извинения за беспорядки моего двора... Только что за обедом узнал о вашем приезде. Графиня Аталия, легкомысленнейшая из женщин, очаровалась вашей супругой, оторвала ее от объятий мужа и уже целую неделю, скрывая ото всех, одна наслаждается ее дружбой...

Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо. Говорил громко, со смехом. Впрочем, скоро перестал смеяться.

— Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвезти тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под кровом графини Аталии. Вам известны последние события?

С его лица будто смахнули смех,— злые складки легли в углах губ...

— Дела под Ригой плохи — лифляндское рыцарство предало меня. Лучший из моих генералов, Карлович, три дня тому назад пал смертью героя...

Он ладонью прикрыл лицо, минутой сосредоточенности отдал последний долг несчастному Карловичу...

— Завтра я уезжаю в Варшаву на сейм,— предотвратить ужасное брожение умов... В Варшаве я передам вам письма и бумаги... Вы не пощадите сил, вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии...

. . . .

Среди ночи Аталия будила горничную,— вздували свечи, затопляли камин, вносили столик с фруктами, паштетами, дичью, вином. Аталия и Санька вылезали из широкой постели — в одних сорочках, в кружевных чепцах — и садились ужинать. Саньке до смерти хотелось спать (еще бы — за весь день ни минуты передышки, ни слова попросту, все с вывертом, всегда начеку), но, потерев припухшие глаза, мужественно пила вино из рюмки, отливающей как мыльный пузырь, улыбалась приподнятыми уголками губ. Приехала за границу не дремать — учиться «рафине». Это самое «ра-

фине» (так объясняла Аталия) понимают даже и не при всех королевских дворах: в самом Версале грубости и свинства весьма достаточно...

— Представь, душа моя, в сырой вечер не растворишь окна — такое зловоние вокруг дворца,— из кустов и даже балконов... Придворные ютятся в тесноте, спят кое-как, в неряшестве, обливаются духами, чтобы отбить запах нечистого белья... Ах, мы с тобой должны поехать в Италию... Это будет прекрасный сон... Это родина всего рафине... К твоим услугам — поэзия, музыка, игра страстей, утонченные наслаждения ума...

Серебряным ножичком Аталия очищала яблоко. Положив ногу на ногу, покачивала туфелькой, полузакрыв глаза, тянула вино.

— Люди рафине — истинные короли жизни... Послушай, как это сказано: «Добрый землепашец идет за плугом, прилежный ремесленник сидит за ткацким станом, отважный купец с опасностью жизни ставит парус на своем корабле... Зачем трудятся люди? Ведь боги умерли... Нет,— иные божества меж розовеющих облаков я вижу на Олимпе».

Санька слушала, как очарованный кролик. У Аталии морщинки забегали на лоб. Протянув пустой стакан: «Налей»,— говорила:

— Мой друг, я все же не понимаю, почему вы страшитесь принять любовь Августа,— он страдает... Добродетель — только признак недостатка ума. Добродетелью женщина прикрывает нравственное уродство, как испанская королева — глухим платьем дряблую грудь... Но вы умны, вы — блестящи... Вы влюблены в мужа. Никто не мешает изъявлять к нему ваши пылкие чувства, только не делайте этого явно. Не будьте смешны, друг мой. Добрый горожанин в воскресный день идет гулять со своей супругой, держа ее ниже талии, чтобы никто не осмелился отнять у него это сокровище... Но мы — женщины рафине,— это обязывает...

За кружевами чепчика не было видно Санькиного опущенного лица. Что ей было делать? Могла плясать хоть сутки, не присаживаясь, выламываться под какую угодно греческую богиню, в ночь прочесть книжку, наизусть заучить вирши... Но некоторого в себе не

могла пересилить: сгорела бы от стыда, замучилась бы после, уговори ее Аталия по-женски пожалеть короля... («Все это будет, будет, конечно, но не сейчас».) Как объяснить? Не признаться же, что не на Парнасе родилась,— пасла коров, что готова бы расстаться с добродетелью, но чего-то из себя еще не в силах выдрать, будто маменькины страшные глаза стерегут заветное, стержень какой-то...

Аталия не настаивала. Ущипнув Саньку за щеку, переводила разговор:

— Моя мечта — увидеть царя Петра. О, я с благоговением поцелую эту руку, умеющую держать молот и меч. Царь Петр напоминает мне Геркулеса — его двенадцать подвигов,— он бьется с гидрой, он очищает конюшни Авгия, он поднимает на плечах земной шар... Неужели не сказка, мой друг, что за несколько лет царь Петр создал могучий флот и непобедимую армию? Я хочу знать имена всех маршалов, всех генералов. Ваш государь — достойный противник королю Карлу. Европа ждет, когда наконец московский орел вонзит когти в гриву шведского льва. Вы должны утолить мое любопытство...

Всякий раз Аталия сворачивала разговор на московские дела. Санька отвечала, как умела. Не понимала, почему ей становился неприятен настороженно-вкрадчивый голос подруги... Потом, в постели, натянув одеяло до носа, долго не могла заснуть, растревоженная ночными разговорами. Ах, не легка была эта самая «рафине»...

3

«...И наконец вся эта коалиция — не более чем листок бумаги, способный испугать почтенных сенаторов,— не вашу пылкую отвагу... Датчане не посмеют нарушить мира,— верьте женской проницательности. Царь Петр связан переговорами о мире — он не выступит, покуда турки не развяжут ему рук. Но этого не случится. Дьяк Украинцев роздал визирям все свои шубы на соболях,— ему больше нечего сказать. Царь Петр стремился напугать турок спуском нового воро-

нежского флота,— вместо того заставил весьма насторожиться англичан и голландцев. Их послы в Константинополе и слышать не хотят о русских кораблях в Черном море. Всех непримиримее польский посол Лещинский, смертельный враг Августа. Он умолял султана именем Ржечи Посполитой помочь полякам добыть у русских Украину с Киевом и Полтавой.

Вот последние новости или сплетни,— как вам больше понравится,— ими полна Варшава. Мы с Августом тратим не малые деньги на балы и развлечения,— увы, популярность короля продолжает падать. Он в бешенстве и ставит себя в смешное положение, волочась за одной русской простушкой...

Итак, попутный ветер истории наполняет ваши паруса, свистит в снастях о близкой славе. Сейчас или никогда. Преданная вам Аталия».

Карл получил письмо это в Кунгсёрском лесу. Читал, прислонясь к дереву. Шумели сосны, летели низкие облака в мартовском небе. Внизу, в туманном ущелье, тявкали гончие собаки, по их нетерпеливым голосам было ясно — гнались за большим зверем. Старик егерь, уминая снег между камнями, спустился на несколько шагов, выжидательно обернулся. Король снова и снова перечитывал письмецо. Гонец, доставивший его, держал под уздцы коня, косившего лиловым глазом на собачьи голоса.

Из ущелья показался олень,— сильными прыжками поднимался по откосу. Карл не поднял мушкета. Олень, закинув ветвистые рога, промчался между деревьями. Шагах в пятидесяти раздался выстрел — там, где на номере стоял французский посол. Карл не обернулся,— письмецо трепалось в его покрасневшей руке. Егерь, войдя морщинами подбородка в кожаный воротник, вернулся на старое место — позади этого юноши с маленькой головой и узким лицом, худого, как жердь, в лосином кафтане с длинной спиной.

— Кто передал вам это письмо? — спросил Карл.

Офицер, не выпуская узды, подошел на шаг.

— Граф Пипер, и на словах приказал сообщить вашему величеству королю о крайне важных вестях, еще не известных сенату.

У румяного толстолицего офицера серые глаза были вопросительны и дерзки. Карл отвернулся. Эти господа дворяне, вот так вот все — выжидающе глядели на него,— вся гвардия, как свора голодных гончих.

— Что именно приказано вам передать мне?

— Датские войска — пятнадцать или двадцать батальонов — перешли голштинскую границу.

Карл медленно скомкал письмо Аталии. Тявканье гончих опять приближалось. Из лесного ущелья слышался медвежий рев. Карл поднял мушкет, прислоненный к дереву, и — через плечо — офицеру:

— Перемените коня, возвращайтесь в Стокгольм. Скажите графу Пиперу, что мы здесь веселимся, как никогда. Обложено три матерых медведя. Я приглашаю на облаву графа Пипера, генерала Рёншельда, генерала Левенгаупта, генерала Шлиппенбаха. Ступайте и торопитесь.

На всегда бледном лице его проступили красные пятна. Срывающимся пальцем взводил курок мушкета. Решительно зашагал к обрыву, шлепая мерзлыми голенищами. Офицер с усмешкой глядел на его мальчишескую сутулую спину, на самолюбиво напряженный затылок — вскочил в седло, скачками по глубокому снегу скрылся в лесу.

. . . .

Убили и загнали в сети четырнадцать медведей. Карл забавлялся, как мальчик, отчаянным ревом попавших в сети медвежат,— их вязали сыромятными ремнями, чтобы отослать в Стокгольм. Пипер, Рёншельд, Левенгаупт и Шлиппенбах, прибывшие в этот день на рассвете (в кожаных кафтанах и шляпах с тетеревиным перышком), посадили на рогатину каждый по зверю. Французский посол Гискар собственноручно застрелил чудовище семи футов росту.

Утомленные охотники возвратились в бревенчатый замок — над водопадом, шумевшим во льдах на дне ущелья. В столовой было жарко от пылающих сосновых сучьев. Со стен поблескивали стеклянные глаза оленьих и лосиных голов. Гискар, низенький, налитый красным вином, подкрутив усы, взмахивая короткими руками, воодушевленно рассказывал, как зверь, ура-

ганом раскидывая снег, выскочил из берлоги и уже готов был пожрать его: «Я уже чувствовал на лице его зловонное дыхание! Но я удачно отскакиваю, я целюсь. Осечка!.. Мгновенно жизнь проходит перед моим взором... Хватаю запасной мушкет...»

Молчаливые шведы слушали, пили и улыбались. Карл во время ужина не отпил даже глотка пива. Когда французский посол с трудом был уведен в опочивальню, Карл приказал поставить у дверей часового, сел к огню. Пипер и генералы близко придвинулись к его стулу.

— Я хочу знать ваше мнение, господа,— сказал он и твердо сжал губы. Мальчишеский обветренный нос его пылал от огня.

Генералы опустили лбы. Во всяком деле, а в таком — особенно, нужно было хорошо подумать. Пипер медленно потер квадратный подбородок.

— Сенат боится и не хочет войны. Накануне нашего отъезда было чрезвычайное заседание. Слух о вторжении польского короля в Ливонию и — особенно — начало враждебных действий датчан взволновали Стокгольм. Судовладельцы, лесопромышленники и хлебные торговцы послали депутацию в сенат. Они были внимательно выслушаны, и среди сенаторов не раздалось ни одного голоса за войну. Решено отправить послов в Варшаву и Копенгаген — кончить миром во что бы то ни стало.

— А мнение о сем их короля? — спросил Карл.

— Сенат, видимо, полагает: честолюбие вашего величества достаточно удовлетворено охотой на медведей.

— Превосходно.— Карл, как рысь, быстро повернул узкое лицо к Рёншельду. Генерал Рёншельд потянул воздух через большие ноздри вздернутого носа.

— Думается мне,— проговорил он, честно глядя круглыми светлыми глазами,— думается мне: в армии не мало молодых дворян, коим тесно в Швеции... Добыть шпагой славу найдутся охотники. Если король поведет на край света — пойдем на край света. Шведам — не в первый раз...

Прямой рот его добродушно усмехнулся. Генералы подтвердительно покивали: «Не в первый раз отплывать от родных скал в чужие земли за золотом и славой». Когда качанье головами окончилось, Пипер сказал:

— Сенат не даст ни фартинга на войну. Королевская казна пуста. Это нужно обсудить.

Генералы молчали. Карл кусал губы. Дымились подошвы его ботфортов, упертых в решетку очага.

— Деньги нужны только на первые дни,— посадить войско на корабли и перевезти в Данию. Эти деньги мне даст французский посол. Он мне их даст потому, что иначе я их возьму у англичан... Дальнейшие наши военные операции должен оплатить датский король. Он заплатит.

Генералы вплотную придвинулись к стулу короля, подтверждая: «Так, так». Пипер быстро двигал кожей на лбу,— снова приходилось удивляться этому мальчику.

— Если бы даже мы и не решились на эту войну, державы нас заставят,— сказал Карл.— Сделаем лучшее: нападем первые... Великолепный Август мечтает о великой империи. У него так же нет денег, как и у меня,— он выпрашивает у царя Петра червонцы и пропивает их с девками. Из Августа мог бы выйти неплохой балаганный актер. Еще менее меня пугает московский царь: он лишится союзников, прежде чем научит свои мужицкие полки стрелять из мушкета... Господа, я хочу предложить на обсуждение план...

В тот же вечер над развернутой картой, лежавшей у Карла на коленях, три генерала составили диспозицию: нарвский губернатор Веллинг принимает начальство над шведскими войсками в Эстляндии и Лифляндии и идет на помощь Риге; Левенгаупт и Шлиппенбах под видом маневров стягивают гвардию и армию в Ландскрону,— военный порт в Зунде; Пипер делает все нужное в Стокгольме, чтобы отвлечь внимание сената от этих приготовлений.

В очаг подбросили сосновых корневищ, от двери сняли часового. Был накрыт ужин. Хорошо вздремнувший мосье Гискар появился в столовой, потирая руки.

Карл предложил ему место у огня и сказал, покашливая, будто фразы застревали в горле:

— Дорогой друг, вы можете быть уверены в моей горячей и преданной любви к моему брату и вашему повелителю... (Гискар медленнее тер ладонь о ладонь, настораживаясь.) Швеция останется верным стражем французских интересов в северных морях. В споре за испанский престол я отдаю мою шпагу Людовику. (Гискар низко склонился, разведя коротенькие руки.) Но не хочу скрывать: англичане делают все, чтобы склонить Швецию на свою сторону... Кроме короля, в Швеции есть сенат, и я не читаю их мыслей... Увы, нынешний мир полон противоречий... Сегодня я узнаю — английский флот появился в Зунде... Чтобы предотвратить роковую ошибку, мне нужны вещественные доказательства вашей дружбы, мосье Гискар...

. . . .

Ревущих медвежат везли в телеге по улицам Стокгольма. Сзади верхами ехали Карл, охотники и егеря. Трубили медные рога, лаяли собачьи своры. Добрые люди, подходя к окнам, качали головами: «Не слишком-то удачное время выбрал король для развлечений».

Тревожные слухи волновали город, привыкший к многолетнему миру. В водах Зунда появились английский и голландский флоты — зачем? Не идти ли на соединение с датчанами, чтобы покончить со шведским могуществом в северных морях? Необъятная Польша грозит смести с побережья Балтики шведские гарнизоны. На востоке тысячемильная московская граница почти не защищена, если не считать крепостцы Ниеншанц близ устья Невы да крепости Нотебург у выхода из Ладожского озера.

Страшно было помыслить — воевать едва ли не со всей Восточной Европой, располагая небольшой армией в двадцать тысяч солдат и сумасбродным королем. Мир, мир, конечно,— хотя бы поступиться меньшим, чтобы спасти основное.

Карл появился в сенате, не сняв охотничьего кафтана,— с надменной рассеянностью выслушал отеческие речи о деснице божьей, занесенной в этот час над Швецией, о благоразумии и добродетели. Играя

костяной рукояткой кинжала, ответил, что занят устройством весеннего карнавала в замке Кунгсёр и только после праздника выскажется по иностранной политике. Старейший из сенаторов, поднявшись, с низким поклоном и в отменных выражениях пожелал королю беспечных развлечений.

Король пожал плечами и вышел. Через несколько дней он действительно уехал в Кунгсёр. Там, переменив верховых лошадей, сопровождаемый Рёншельдом и десятком офицеров гвардии, поскакал в Ландскрону. В пути, почти без отдыха, не щадил ни лошадей, ни людей. Как будто в него вселился другой человек — одна мысль завладела его страстями и волей.

. . . .

В безоблачное весеннее утро шведские суда с пятнадцатью тысячами отборного войска вышли в Зунд. К полудню на полосе солнечной зыби показались черные, будто висящие между краем моря и светлого неба, очертания кораблей, шняв и галер. Веяли сотни вымпелов. Это был дрейфующий англо-голландский флот.

Когда на шведском головном фрегате побежал на мачту королевский штандарт,— круглые облачка дыма стали отделяться от корабельных бортов, покатились пушечные выстрелы, дым пеленою понесло на юг. Английский и голландский адмиралы, расшитые золотом, пошли на шлюпках к головному фрегату.

Карл, ожидая, стоял на мостике,— на нем был суконный серо-зеленый кафтан, застегнутый наглухо до черного галстука, и смазные ботфорты с широкими раструбами, приспособленные для всех превратностей судьбы. Под маленькой, сплющенной с боков шляпой парик заплетен в косу и вложен в кожаный мешочек. Рука опиралась, как на трость, на длинную шпагу. Таким он отправился в долгий путь — завоевывать Европу.

Адмиралы, много наслышанные про этого испорченного юношу, были удивлены его необыкновенной решительностью и сдержанностью. Он заговорил о нестерпимых обидах, нанесенных ему польским и датским

королями, и великодушно согласился принять помощь англо-голландского флота, дабы наказать датчан за вероломство.

В тот же день три соединенных флота, покрыв парусами море, взяли курс на Копенгаген.

4

Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека, в Немецкой слободе, бренькал колокол на кирке.

Петр сидел у поднятого окошка,— свечей еще не зажигали,— дочитывал челобитные. В глубине спальни, у двери, не шевелясь, белел залысым черепом Никита Демидов — кузнец из Тулы.

«...Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже,— думают, что все-де станет по-старому... (Писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов.) Гостиной сотни купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих и в сказке писал, будто всех пожитков у него только тысячи на две рублев и разорен всеконечно. Мне известно,— у Матвея на дворе в Зарядье, под полом, в нужном чулане, куда и зайти срамно, зарыто дедовских еще пожитков тысяч сорок золотых червонных. И он, Матвей, человек непостоянный,— пьянством истощает богатство, а не умножает, и, если его не обуздать — истребит до конца. Великий государь, укажи послать к Матвею в Зарядье подьячего да человек двадцать солдат, и он те золотые деньги вынет...»

Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник, налево,— к исполнению. Следующая была от судьи Мишки Беклемишева, написана дрожащей рукой,— разобрал только: «...служил отцу твоему и брату твоему и был на многих службах и сказано мне быть в московском Судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно... От такого бескорыстного сиденья одолжал и охудал вконец. Великий государь, смилуйся,— за бескорыстное сиденье отпусти меня воеводой хоть в Полтаву...»

Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг — направо. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди и крепостные люди и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть у строения морских судов и у лесной работы и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки... На углу бумаги пометил: «Вызвать белгородского и севского воевод, допросить с пристрастием».

Была слезная челобитная государственных крестьян на кунгурского воеводу Сухотина, что он-де стал брать со всякого двора сверх всех даней по восьми алтын себе в корысть и велит избы и бани запечатывать,— делай, что хочешь,— пора студеная, многие роженицы рожают в хлеву, младенцы безвременно помирают, а иных женщин воевода в земской избе берет за грудь и цыцки им жмет до крови и по-иному озорничает и увечит...

Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле,— уберут одного воеводу, другой хуже озорничает. Где взять людей?.. Вор на воре. Начал писать, брызгая гусиным пером: «Послать в Кунгур...»

— Никита,— обернулся,— тебя поставить воеводой, воровать будешь?

Никита Демидов, не отходя от двери, осторожно вздохнул:

— Как обыкновенно, Петр Алексеевич,— должность такая.

— Людей нет. А?

Никита пожал плечом,— дескать, конечно, с одной стороны, людей нет...

— На дыбе его ломаешь... Жалованье большое кладешь... Воруют... (Макал, писал, хотя было совсем темно.) Совести нет. Чести нет... Шутов из них понаделал... Отчего? (Обернулся.)

— Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич,— смелее...

— Но, но, ты — смелый...

— Плакать хочется, Петр Алексеевич... Горюешь — людей нет... А у меня с горячего дела взяли одиннадцать лучших кузнецов в солдаты...

— Кто взял?

— Твоей милости боярин Чемоданов,— прибыл в Тулу с дьяками для переписи... (Никита замялся, всматриваясь,— лица Петра не разобрать: он весь повернулся от окна.) От тебя чего скрывать,— такие дела были в Туле! Кто мог заплатить — все откупились... Заслал он и ко мне на завод подьячего... Будь я в Туле тогда,— отступного пятьсот рублев не пожалел бы за таких мастеров... Сделай милость,— уж как-нибудь... Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких...

Петр — сквозь зубы:

— Подай челобитную...

— Слушаю... Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно...

— Ладно... Говори дело...

Никита осторожно подошел. Дело было великое. Этой зимой он ездил на Урал, взяв с собой сына Акинфия и трех знающих мужиков-раскольников из Даниловой пустыни, промышлявших по рудному делу. Облазили уральские хребты от Невьянска до Чусовских городков. Нашли железные горы, нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежали втуне. Кругом — пустыня. Единственный чугунолитейный завод на реке Нейве, построенный два года тому назад по указу Петра, выплавлял едва-едва полсотни пудов, и ту малость трудно было вывозить по бездорожью. Управитель, боярский сын Дашков, спился от скуки, невьянский воевода Протасьев спился же. Рабочие — кто поздоровее — были в бегах, оставались маломощные. Рудники позавалились. Кругом стояли вековые леса, в прудах и речках — черпай ковшом, промывай золото хоть на бараньей шубе. Здесь было не то, что на тульском заводе Никиты Демидова, где и руда тощая, и леса мало (с прошлого года запрещено рубить на уголь дубы, ясень и клен), и каждый крючок-подьячий виснет на вороту. Здесь был могучий простор. Но подступиться к нему трудно: нужны большие деньги. Урал безлюден.

— Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет... Говорил я со Свешниковым, с Бровкиным, еще кое с

кем... И они жмутся — идти в такое глухое дело интересанами... И мне обидно — вроде приказчика, что ли, у них... Трудов-то сколько надо положить,— поднять Урал...

Петр вдруг топнул башмаком.

— Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь... (Никита живо присел на край стула, впился в Петра запавшими глазами.) Мне нужно нынче летом сто тысяч пудов чугунных ядер, пятьдесят тысяч пудов железа. Мне ждать некогда, покуда — тары да бары — будете думать... Бери Невьянский завод, бери весь Урал... Велю!.. (Никита выставил вперед цыганскую бороду, и Петр придвинулся к нему.) Денег у меня нет, а на это денег дам... К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин... Но, смотри... (Поднял длинный палец, два раза погрозил им.) Шведам плачу — железо по рублю пуд, будешь ставить мне по три гривенника...

— Не сходно,— торопливо проговорил Никита.— Не выйдет. Полгинничек...

И он смотрел, лупя синеватые белки, и Петр с минуту бешено смотрел на него. Сказал:

— Ладно. Это потом. И еще,— я тебя, вора, вижу... Вернешь мне все чугуном и железом через три года... Ей-ей, ты смел... Запомни — ей-ей — изломаю на колесе...

Никита тихо поперхал и — одним горловым свистом:

— Эти денежки я тебе раньше верну, ей-ей...

. . . .

Случился же такой вечер,— некуда себя деть... Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитанные бумаги,— лег на подоконник, высунулся в окно.

Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев. Туманчик вился над травой... Петр забирал ноздрями густой воздух,— пахло набухшими соками. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрое на шее.

В весенней тишине все спало настороженно. Нигде ни огонька, только издалече, из солдатской слободки,—

протяжный крик часового: «Послу-у-у-ушивай». В теле — истома, будто все связано. Слышно, как шибко стучит сердце, прижатое к подоконнику. Только и оставалось,— ждать, стиснув зубы.

Ждать, ждать... Как бабе какой-нибудь в ночной тишине, поднимая голову от горячей подушки, слушать чудящийся топот... Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меньшикову,— не поехал... Там, чай, пируют! Никогда еще не было так трудно, вся сила в том сейчас, чтобы ждать — уметь ждать... Король Август влез в войну сгоряча, не дождавшись, коготки и завязли под Ригой... И Христиан датский не дождался — сам виноват...

— Сам виноват, сам виноват,— бурчал Петр, таращась на темные кусты сирени, отяжелевшей после дождя. Там кто-то возился,— денщик, должно быть, с девчонкой... Сегодня приехал полковник Ланген от короля Августа с тревожными вестями: шведский львенок неожиданно показал зубы. С огромным флотом появился перед фортами Копенгагена, потребовал сдачи города. Устрашенный Христиан, не доведя до боя, начал переговоры. Карл тем временем высадил пятнадцать тысяч пехоты в тылу у датской армии, осаждавшей голштинскую крепость. Шведы ворвались в Данию стремительно, как буря. Ни свои, ни чужие не могли и помыслить, чтобы сей шалун, изнеженный юноша, в короткое время проявил разум и отвагу истинного полководца.

Ланген еще передал просьбу Августа — прислать денег: Польшу-де можно поднять на войну, если передать примасу и коронному гетману тысяч двадцать червонцев для раздачи панам. Ланген со слезами молил Петра — не дожидаться мира с турками,— выступить...

От этих рассказов вся кожа начинала чесаться. Но — нельзя! Нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать, ждать своего часа... Давеча приходил Иван Бровкин, рассказывал: в Бурмистерской палате был великий шум,— Свешников и Шорин тайно начали скупать зерно, гонят его водой и сухим путем в Новгород и Псков. Пшеница сразу вско-

чила на три копейки. Ревякин им кричал: что-де безумствуете,— Ингрия еще не наша, и когда будет наша? Напрасно зерно сгноите в Новгороде и Пскове... И они отвечали ему: осенью будет наша Ингрия, по первопутку повезем хлеб в Нарву...

Мокрые кусты вдруг закачались, осыпались дождем. Метнулись две тени... «Ой, нет, миленький,— не надо, не надо...» Тень пониже пятилась, побежала легко,— босая... Другая, длинная (Мишка-денщик), зашлепала вслед ботфортами. Под липой встали рядом — и опять: «Ой, нет, миленький...»

Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине за седыми ивами поднималась, затянутая туманами, большая луна. На равнине выступили стога, древесные кущи, молочная полоса речонки. Все будто от века — неподвижное, неизменное, налитое тревогой... И эти, под темной липой, две тени торопливо шептали все про одно...

— Балуй! — басом гаркнул Петр.— Мишка! Шкуру спущу!

Девчонка притаилась за липовым стволом. Денщик,— минуты не прошло,— пронесся на цыпочках по скрипучей лестнице, поскребся в дверь.

— Свечу,— сказал Петр.— Трубку.

Курил, ходил. Взяв со стола бумагу, близко подносил к свече — бросал. Ночь только еще начиналась. Дико было и подумать — лечь спать... Трубочный дым тянуло к окошку, загибая под краем рамы, уносило в свежую ночь...

— Мишка! (Денщик опять вскочил в дверь,— лицо толстощекое, курносое, глаза одурелые.) Ты смотри,— с девками! Что это такое! (Придвигался к нему, но Мишка, видно,— хоть бей его чем попало,— все равно без сознания.) Беги, мне чтоб подали одноколку. Поедешь со мной.

. . . .

Луна поднялась над равниной, в сизой траве поблескивали капли. Конь, похрапывая, косился на неясные кусты, Петр ударил его вожжами. С колес кидало грязью, разбрызгивались зеркальные колеи. Пронеслись по спящей улице Кукуя, где душной сладостью,—

так же, как много лет назад,— пахли цветы табака за палисадниками. В окнах у Анны Монс, за пышно разросшимися тополями, светились отверстия — сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половинке.

Анна Ивановна, пастор Штрумпф, Кенигсек и герцог фон Круи мирно, при двух свечах, играли в карты. Время от времени пастор Штрумпф, зарядив нос табаком, вытаскивал клетчатый платок и с удовольствием чихал,— увлажненные глаза его весело обводили собеседников. Герцог фон Круи, рассматривая карты, сосредоточенно моргал голыми веками, висячие усы, побывавшие в пятнадцати знаменитых битвах, выпячиваясь, подъезжали под самые ноздри. Анна Ивановна в домашнем голубом платье, с голыми по локоть располневшими руками, с алмазными слезками в ушах и на шейной бархатке, слабо морщила лоб, соображая в картах. Кенигсек, подтянутый, нарядный, напудренный, то нежно улыбался ей, то шевелением губ незаметно старался помочь.

Несомненно, все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью и кардамоном, что кладут в хлебцы, где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах и медленно тикали стенные часы.

— Мы скромно говорим — трефы,— вздыхал пастор Штрумпф, поднимая взор к потолку.

— Пики,— говорил герцог фон Круи, будто вытаскивая до половины ржавую шпагу.

Кенигсек, поднявшись, чтобы взглянуть из-за спины Анны Ивановны в ее карты, произносил сладко:

— Мы опять червы.

Петр, пройдя через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны. Мужчины торопливо поднялись. Как ни владела собой Анна Ивановна,— и вскрикнула радостно и, вся засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к груди, полуприкрытой косынкой,— все же ему померещился, мелькнувший отсветом, ужас в ее прозрачно-синих глазах. Петр сутуло повернулся к дивану:

— Играйте, я тут покурю.

Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты:

— Забавлялись скуки ради... Ах, Питер, как приятно,— вы всегда приносите радость и веселье в этот дом... (По-ребячьи похлопала в ладоши.) Будем ужинать...

— Есть не хочу,— пробурчал Петр. Грыз чубук. Непонятно отчего, злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пяльцы с клубками шерсти... Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхен (раньше этой складочки не замечалось).

— О Питер, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру... (И опять что-то жалкое в глазах.)

Он молчал. Пастор Штрумпф, взглянув на стенные часы, затем — на свои карманные: «Мой бог, уже третий час» — взял с подоконника молитвенник. Герцог фон Круи и Кенигсек также взялись за шляпы. Анхен голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами:

— О, не уходите...

Петр засопел — из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться. Вскочил. Стремительно шагая, вышел, бухнул дверью. Анхен начала дышать чаще, чаще, закрыла лицо платочком. Кенигсек на цыпочках поспешил за стаканом воды. Пастор Штрумпф осторожно качал головой. Герцог фон Круи у стола перебрасывал карты.

. . . .

Пар шел от деревянных крыш, от просыхающей улицы, в лужах — синяя бездна. Звонили колокола,— было воскресенье — Красная Горка, кричали пирожники и сбитенщики. Шатался праздный народ,— все большей частью пьяные. На облупленной городской стене, между зубцами, парни в новых рубахах размахивали шестами с мочалой — гоняли голубей. Белые птицы трепетали в синеве, играя — перевертывались, падали. Повсюду — за высокими заборами, под умытыми ночью липами и серыми ивами — качались на качелях: то девушки, развевая косами, подлетали между ветвей, то лысый старик, озоруя, качал толстую женщину, сидевшую, повизгивая, на доске.

Петр ехал шагом по улице. Глаза у него запали, лицо насупленное. Солнце жгло спину. Мишка-денщик,

всю ночь прождавший его в одноколке, вскидывал головой, чтобы не задремать. Народ раздавался перед мордой коня,— только редкий прохожий, узнав царя, рвал шапку, земно кланялся вслед.

От Анны Монс этой ночью Петр поехал к Меньшикову. Но только поглядел на большие занавешенные окна,— оттуда слышалась музыка, пьяные крики. «Ну их к черту»,— хлестнул вожжами, выкатил со двора и прямо повернул в Москву, в стрелецкую слободу. Ехали шибкой рысью, потом он погнал вскачь.

В слободе остановились у простого двора, где над воротами торчала жердь с пучком сена. Петр бросил Мишке вожжи, постучал в калитку. От нетерпения топтался по хлюпающему навозу. Застучал кулаками. Отворила женщина. (Мишка успел разглядеть,— рослая, круглолицая, в темном сарафане.) Ахнула, взялась за щеки. Он, нагнувшись, шагнул во двор, хлопнул калиткой.

Мишка, стоя в одноколке, видел, как за воротами в бревенчатой избе затеплился свет высоко в двух окошечках. Потом эта женщина торопливо вышла на крыльцо, позвала:

— Лука, а Лука...

Стариковский голос отозвался:

— Аюшки...

— Лука, никого не пускай,— слышишь ты?

— А ну — ломиться будут?

— А ты что,— не мужик?

— Ладно, я их рожном.

Мишка подумал: «Все понятно».

Через небольшое время из переулка вышли трое в стрелецких колпаках, оглядели пустую улицу, залитую луной, и — прямо к воротам. Мишка сказал строго:

— Проходите...

Стрельцы подошли недобро к одноколке:

— Что за человек? Зачем в такой час в слободе?

Мишка им — тихо, угрожающе:

— Ребята, давайте отсюда скорей...

— А что? — злобно крикнул один, пьянее других.— Чего пугаешь? Знаем мы, откуда... (Другие двое ухватили его за плечи, зашептали.) Голова-то у тебя

тоже на нитке держится... Погодите, погодите... (Товарищи уже оттаскивали его, не давали, чтобы он засучил рукав.) Не всех еще перевешали... Зубы у нас есть... Не торчать бы тому на коле... (Ему ударили по шее,— уронил шапку,— уволокли в переулок.)

Свет в окошечках скоро погас. Но Петр не выходил. За воротами Лука время от времени начинал сонно постукивать в колотушку. Скоро настала такая тишина — уморившийся конь и тот повесил голову. Мишка сквозь дрему услышал, как кричат петухи. Лунный свет похолодел. В конце улицы желтела, розовела заря. Во второй раз он проснулся от шепота,— кругом одноколки стояли мальчишки, иные без штанов. Но только он открыл глаза — все разбежались, махая рукавами, мелькая черными пятками. Солнце было уже высоко.

Петр вышел из калитки, надвинув на глаза шляпу. Густо кашлянул, взял вожжи.

«Вот и с плеч долой»,— пробасил, тронул рысью.

Когда выехали из Москвы на зеленое поле,— вдали острые кровли немецкой слободы, за ними лежащие за краем земли снежные облака,— Петр сказал:

— Так-то вашего брата — денщика... А еще станешь по ночам баловаться — в чулан буду запирать.— И засмеялся, сдвинул шляпу на затылок.

Нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах, к ногам у всех привязаны пучки травы и соломы,— шли они вразброд, сталкиваясь багинетами. Сержант — отчаянно: «Смирна!» Петр вылез из одноколки,— брал за плечи одного, другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно.

— Дерьмо! — крикнул, выкатывая глаза на угреватого сержанта.— Кто ставил кафтаны?

— Господин бомбардир, кафтанцы выданы на сухаревой швальне.

— Раздевайся.— Петр схватил третьего — востроносого, тощего солдата. Но тот будто задохнулся ужасом, глядя в нависшее над ним круглое, со щетиной черных усиков лицо бомбардира. Близстоящие товарищи выдернули из рук у него ружье, расстегнули перевязь, стащили с плеч кафтан. Петр схватил кафтан, бро-

сил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, — погнал в сторону Меньшикова дворца.

Раздетый солдат, дрожа всеми суставами, очарованно глядел на удаляющуюся по травянистой дороге одноколку. Сержант толкнул его тростью:

— Голиков, вон из строя, плетись назад... Смир-р-рна! (Разинув пасть, закинулся, заорал на все поле.) Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку... Шагом,— сено — солома, сено — солома...

. . . .

Сукно на сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной, у Кузнецкого моста. Интересанами в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Преображенский приказ уплатил вперед сто тысяч рублей за поставку кафтанного сукна. Меньшиков хвалился Петру, что сукнецоде поставит он не хуже гамбургского. Поставили дерюгу пополам с бумагой. Алексашка Меньшиков в воровстве рожден, вором был и вором остался. «Ну, погоди!» — думал Петр, нетерпеливо дергая вожжами.

Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шумства (гуляли до седьмого часу),— в синих глазах — муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний дьякон, по прозванию Педрила, зверогласный и звероподобный мужчина — без вершка сажень росту, в обхват — как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку:

— Ты огурчик пожалуй, накося...

— Иди к черту...

Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным, раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь — полстакана — или накинуть пиявки на загривок...

— Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков...

— Иди ты туда же...

Дьякон первый увидел в окошко Петра: «Никак грозен пожаловал». Не успели спохватиться — Петр вошел

в спальню и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу — ткнул ему под нос солдатский кафтан:

— Это лучше гамбургского? Молчи, вор, молчи, не оправдаешься.

Схватил его за грудь, за кружевную рубаху, дотащил до стены и, когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону,— у того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и ту трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернулся к Шарифову,— этот смирно стоял на коленях около кресла, Петр только подышал над ним.

— Встань. (Шафиров вскочил.) Дрянное сукно все продашь в Польшу королю Августу по той цене, как я вам платил... Даю неделю сроку. Не продашь — быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно?

— Продам, много раньше продам, ваше царское величество...

— А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен.

— Мин херц, господи,— сказал Алексашка, вытирая сопли и кровь,— да когда же мы тебя обманывали... Ведь с этим сукнецом-то что вышло?..

— Ладно... Вели — завтракать...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Жара. Безветрие. Черепичные крыши Константинополя выцвели. Над городом — марево зноя. Нет тени даже в бурых пыльных садах султанского дворца. У подножия крепостных стен, на камнях у зеркальной воды, спят оборванные люди. Город затих. Только с высоких минаретов начинают кричать протяжные голоса — скорбным напоминанием. Да по ночам воют собаки на большие звезды.

Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье в Перу. Со-

званы были двадцать три конференции,— но ни мы — ни взад ни вперед, ни турки — ни взад ни вперед. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно,— уступить туркам все, что возможно, кроме Азова, о гробе господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков, и, уступив, уже на сей раз стоять крепко.

На двадцать третьей конференции Украинцев сказал: «Вот наше последнее слово... Жития нам осталось в Цареграде две недели... Не будет мира — сами на себя пеняйте: флот у великого государя не в пример прошлому году... Чай, слышали...» Для устрашения великое посольство перебралось с подворья на корабль. «Крепость» стоял так долго в бездействии,— плесенью заросли борта, в каютах завелись тараканы и клопы, капитан Памбург совсем обрюзг от скуки.

Украинцев и Чередеев просыпались до света, почесывались и кряхтели в душной каюте. Надевали прямо на исподнее татарские халаты, выходили на палубу... Тоска,— над темным еще Босфором, над выжженными холмами разливалась безоблачная заря, таящая зной. Садились закусывать. Квасу бы с погребицы... Какой черт! — ели вонючую рыбу, пили воду с уксусом,— все без вкуса. Капитан Памбург, пропустив натощак чарку, прохаживался в одних подштанниках по рассохшейся палубе. Выкатывалось оранжевое солнце. И скоро нестерпимо было глядеть на текучую воду, на лениво колыхающиеся у берега лодки с арбузами и дынями, на меловые купола мечетей, на колющие глаз полумесяцы в синеве. Доносился шум голосов, крики, звонки продавцов из узких переулков Галаты.

— Емельян Игнатьевич, ну, что тебе пользы от меня,— говорил дьяк Чередеев,— отпусти ты меня... Пешком уйду...

— Скоро, скоро домой, потерпи, Иван Иванович,— отвечал Украинцев, закрывая глаза, чтобы самому не видеть опостылевшего города.

— Емельян Игнатьевич, на одно бы согласился: в огороде, в лебеде, в прохладе полежать... (И без того длинное, узкобородое лицо Чередеева совсем высохло

от жары и тоски, глаза завалились.) У меня в Суздале домишко... На огороде две березы старых,— во сне их вижу... Утречком встанешь — пошел скотинку взглянуть, ан ее уже выгнали на луг... Пойдешь на пасеку,— трава по пояс... На речке мужики идут бреднем... Бабы стучат вальками. Приветливо...

— Ай, ай, ай, да, да, да,— кивал морщинистым лицом великий посол.

— На обед — пирог с соминой...

Украинцев, покачиваясь, не открывая глаз:

— Сомина — жирновато, Иван Иванович... По летней поре — ботвинью... Квасок мятный...

— Хороша уха из ершей, Емельян Игнатьевич...

— И его чистить нельзя, ерша, как есть, сопливого надо варить. Сварил — долой и туда — стерлядь...

— Какое государство, боже мой! Ну, а здесь, Емельян Игнатьевич? Истинно — бусурмане. Так, марево какое-то. И гречанки здесь — истинно сосуд мерзостей...

— Вот этого тебе бы надо избегать, Иван Иванович.

У Чередеева на большом носу, как просо, проступал пот. Глаза глубже заваливались. От берега к кораблю шел шестивесельный сандал, покрытый ковром. Капитан Памбург вдруг закричал хрипло:

— Боцмана̀, свистать всех наверх! Давай трап.

На сандале подплыл, торопливо шлепая туфлями,— взобрался по трапу Соломон, один из подьячих великого визиря, быстрый в мыслях и в движениях тела, со скуластым лицом, приплюснутым носом. Живо обшарил глазами корабль, живо,— ладонь — ко лбу, к губам, к сердцу,— заговорил по-русски:

— Великий визирь просит спросить про твое здоровье, Емельян Игнатьевич... Боится, что тебе тесно на корабле. С чего разгневался на нас?

— Здравствуй, Соломон,— ответил Украинцев как можно не спеша,— скажи и ты про здоровье великого визиря... Все ли у вас слава богу? (При сих словах приоткрыл острый глаз.) А нам и здесь хорошо. По дому соскучились. Всего дому-то здесь — пятьдесят футов под ногами.

— Емельян Игнатьевич, можно в сторонку?

— Отчего же, можно и в сторонку,— кашлянув, сказал Чередееву и Памбургу: — Отойдите от нас.— И сам отступил в тень паруса.

Соломон улыбкой открыл корявые десны:

— Емельян Игнатьевич, я вам истинный друг, врагов ваших по пальцам знаю... (Замелькал перстами перед носом Украинцева,— тот только: «Так, так».) Над их происками смеюсь... Не будь меня, Диван бы и говорить с вами перестал... Удалось мне повернуть дело,— великий визирь хоть завтра подпишет мир... Бакшиш надо дать кое-кому...

— Вот как? — повторил Украинцев. Все теперь было понятно. Один грек, состоявший у него на жалованье, вчера донес, что в Константинополь вернулся из Парижа французский посол и было собрание Дивана — султанских министров — и они получили большие подарки. Емельян всю ночь, мучаясь от жары и тараканов, думал: «К чему бы сие? Не иначе, как снова втравляют турок в войну с австрийским цезарем. А посему туркам надо развязать руки с московскими делами...»

— Что ж, бакшиш — дело десятое... Ты вот что скажи великому визирю: ждем-де мы только попутного ветра. Будет мир — хорошо, не будет — еще нам лучше... А миру быть так... (Твердо из-под седатых бровей стал глядеть на Соломона.) Днепровские городки мы разорим, как уговорились... Но взамен вокруг Азова быть русской земле на десять дней верхового пути. Это твердо...

Соломон, испугавшись, как бы совсем бакшиш не ушел от него,— русские, видимо, знали больше, чем надо,— схватил великого посла за рукава. Начал спорить. Пошли в каюту. Памбург, зная, что много глаз глядит в подзорные трубы на «Крепость», послал матросов на мачты — будто бы готовить паруса к походу. Емельян на минуту показался из каюты.

— Иван Иванович, приберись, в город поедем.

И скоро сам вышел при парике и шпаге. Соломон подхватывал его за локти, когда спускались по трапу в сандал.

После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синева неба будто насыщалась пылью, заволакивало город. Начал дуть ветер из пустыни.

На другой день был подписан мир.

2

Иван Великий гудел над Москвой,— двадцать четыре молодца гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын по древнему обычаю,— в русской шубе, в колпаке меховом, в сафьяновых сапожках,— вышел на постельное крыльцо (уже заросшее крапивой и лопухами), внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ: идти на свейские города ратным людям войною. Быть на коне всем стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела.

Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские женки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили дьякона: «Побе-е-ды!..» Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники,— иные по-старинному в латах и епанчах,— горяча коней, врезались в толпу, хлестали нагайками. Сталкивались телеги, трещали оси, грызлись, взвизгивали кони.

В Успенском соборе в огнях множества свечей слабый телом патриарх Адриан, окутанный дымами ладана, плакал, воздев ладони. Бояре и за ними плотною толщей именитые купцы и лучшие гостиной сотни стояли на коленях. Все плакали, глядя на слезы, текущие по запрокинутому к куполу лицу владыки.

Архидьякон, разинув пасть, надув жилы на висках, возгласами победы, подобно трубе Страшного суда, покрывал патриарший хор. Черна была мантия патриарха, черны лики святителей в золотых окладах,— золотом и славою сиял храм.

Купечество в таком множестве в первый раз допускалось в Успенский собор — в твердыню боярскую. Бурмистерская палата пожертвовала на сей случай двадцать пять пудов восковых свечей, да многие именитые поставили отдельно свечи — кто в полпуда, а кто и в пуд. Дьяконов просили не жалеть ладана.

Иван Артемич Бровкин, сопя от слез, повторял: «Слава, слава...» По одну его сторону президент Митрофан Шорин самозабвенным голосом подпевал хору, по другую Алексей Свешников цыганскими глазами так жадно ел золото иконостаса, риз и венцов, будто вся эта мощь была его делом... «Победы!» — взревел, потрясая своды, пышно облаченный архидьякон,— красные розы, вытканные на ризе его, затянуло клубами.

Пошли к кресту. Первым — тучный, седой князь-кесарь Федор Юрьевич,— с минуту целовал крест, вздрагивая дряхлыми плечами. За ним — князья и бояре, один старее другого (молодые уже все были на службе и в походе). Истово двинулось купечество. Церковному старосте, державшему большой поднос, бросали со звоном червонцы, перстни, жемчужные нитки. Выходили из собора, подняв головы. Еще раз перекрестясь на огромный лик над входом, встряхивали волосами, надевали шапки и шляпы, шли через плешивую, поросшую травкой площадь в Бурмистерскую палату,— бойко стучали каблучками, хозяйственно поглядывали на толпы простого народа, на окна приказов.

Ивана Артемича при выходе схватили за бархатные полы десяток черных, корявых рук: «Князь, князь... Копеечку... Кусо-о-о-чек!» — вопили косматые, беззубые, голые, гнойные... Ползли, тянясь, трясли лохмотьями: «Князь, князь!..» Ужасаясь, Иван Артемич оглядывался: «Что вы, дураки, нищие, какой же я князь!..» Выворотил оба кармана, кидал копейки...

Плешивый юродивый задребезжал кочергами, взвыл нечеловечьим голосом: «Угольков хочу горяченьких...»

Тут же, посмеиваясь щелками глаз, щипля бороденку, стоял Васька Ревякин. Оторвав кое-как полы, Иван Артемич — ему:

— Не твое ли это войско, купец?.. Ты б лучше лоб перекрестил для такого дня...

— Мы с миром, Иван Артемич,— приложив к животу руки, Ревякин поклонился,— с миром смиряемся... Мир убог, и мы у бога...

— Тьфу! Пес, начетчик!.. Чистый пес!.. — Иван Артемич пошел прочь, вдогонку ему козлом заблекотал юродивый.

3

Солдатам то и дело приходилось, навалясь, вытаскивать из грязи телеги и пушки. Много дней дул ветер с запада, куда медленно, растянувшись на сотню верст, двигались войска генералов Вейде и Артамона Головина. (Репнинская дивизия никак не могла еще тронуться из Москвы.) Шли сорок пять тысяч пеших и конных и тысяч десять телег.

Студеные туманы волоклись по верхушкам леса. Дождь сбивал последние листья с берез и осин. В синеватой грязи разъезженных дорог колеса увязали по ступицу, кони ломали ноги. По всему пути валялись раздутые чрева, задранные ноги конской падали. Люди молча садились на гребни канав,— хоть убивай их насмерть. Особенно оказались нежны иностранные офицеры,— давно послезали с седел, в мокрых плащах, в мокрых париках дрожали среди рухляди под рогожными верхами повозок.

Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках, к шведской границе подходили босыми, по шею в грязи, без строя. Когда огибали Ильмень-озеро, вздутые воды, хлынув на луговой берег, потопили много обозных телег.

От великого беспорядка обозы не поспевали, путались. На стоянках нельзя было разжечь костров,—

сверху — дождь, снизу — топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения,— как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. Проходя мимо пеших, кричали: «С дороги, сиволапые». Алексей Бровкин — капитан в передовом полку фон Шведена — лаялся и не раз дрался тростью с конными помещиками. Трудов и тяготы было много, порядка мало.

Передовое войско вышло из грязи только у реки Луги, близ границы, и здесь стало лагерем, поджидая обозы. Разбили палатки, кое-как сушились. Солдаты вспоминали азовские походы, некоторые ратники помнили походы Василия Голицына в Крым. Сравнить нельзя,— идти вольными степями на теплый юг!.. С песнями, помнится, шли... А это что за земля? Болота угрюмые, тучи да ветер. Много слез придется пролить — воевать эту голодную землю.

Едко дымили костры у палаток. Солдаты латали одежонку, спускались по скользкому обрыву к речке — стирать. Казенные башмаки у всех развалились к черту,— хорошо, кто добыл лапти с онучами, другие обматывали ноги тряпьем. Тут и без войны к ноябрю месяцу ляжет половина народу. Конные иногда приводили на аркане чухонца — языка. Обступали, спрашивали его по-русски и по-татарски — как здесь живут? Глупый был народ чухонцы — только моргал коровьими ресницами. Вели в палатку к Алексею Бровкину — на допрос. Таких языков отпускали редко,— связав, отсылали в обоз, продавали за три четвертака,— иных, очень здоровых, и дороже,— маркитантам, а эти перепродавали в Новгород, где сидели приказчики военных поставщиков.

Алексей Бровкин строго вел ротное хозяйство: солдаты его были сыты,— зря не обижал, ел из солдатского котла, но баловства, оплошностей не спускал: каждый день кричал кто-нибудь, лежа кверху голой задницей под палками у его палатки. Среди ночи просыпался, сам проверял дозоры. Однажды, неслышно подойдя к лесной опушке, стал слушать: не то дерево поскрипывало, не то скулил зверь какой-то. Негромко окликнул. Смутно виднелся сидевший на пне сол-

лат,— обхватил ствол ружья, прижался головой к железу. Алексей — ему:

— Кто на дозоре?

Солдат вскочил — чуть слышно:

— Это я...

— Кто на дозоре? — гаркнул Алексей.

— Голиков Андрюшка.

— Ты скулил?

Солдат,— странно глядя в лицо:

— Не ведаю...

— Не ведаю! Эх, великопостники...

Побить бы надо его, конечно... Алексею вспомнилось летящее выше леса пламя над рухнувшей церковкой, над заживо сгоревшими, и на озаренном снегу — этот, заламывающий руки. Тогда Алексей велел его взять вместе с бешеным мужиком и старцем Нектарием. По дороге Нектарий ушел,— черт его знает как,— ночью, когда стояли под елями, Андрюшка Голиков лежал в санях под рогожей без памяти, не ел, не говорил. В Повенце, в земской избе, когда на допросе пригрозили кнутом, вдруг сорвался: «За что мучите? Уж мучили... Таких мук нет еще...» — и стал рассказывать все (подьячий не поспевал макать перо),— сорвав подрясник, показал язвы от побоев. Алексей увидел — это человек не обыкновенный, грамотный,— велел обстричь ему космы, вымыть в бане, определить в солдаты.

— Разве воину полагается скулить... Нездоров, что ли?

Голиков не отвечал, стоял вытянувшись, прилично. Алексей погрозил тростью, пошел прочь. Голиков отчаянно:

— Господин капитан...

У Алексея от этого голоса из темноты что-то даже дрогнуло,— сам был такой когда-то. Остановился. Сурово:

— Ну? Что тебе еще?

— В тьме страшно, господин капитан: ночной пустыни боюсь... Хуже смерти — тоска... Зачем нас сюда пригнали?

Алексей так удивился — опять подошел к Голикову:

— Как ты можешь рассуждать, гультяй! За такие речи — знаешь?

— Убейте меня сразу, Алексей Иванович... Сам я себе хуже врага... Так жить — скотина бы давно сдохла... Мир меня не принимает... Все пробовал — и смерть не берет... Бессмыслица... Возьмите ружье, колите багинетом...

В ответ Алексей, сжав зубы, ударил Андрюшку в ухо,— у того мотнулась голова, но не ахнул даже...

— Подыми шляпу. Надень. В последний раз добром с тобой говорю, беспоповец... У старцев учился!.. Научили тебя уму!.. Ты — солдат. Сказано — идти в поход,— иди. Сказано — умереть,— умри. Почему? Потому так надо. Стой тут до зари... Опять заскулишь, услышу,— остерегись...

Алексей ушел, не оборачиваясь. В палатке прилег на сено. До рассвета было еще далеко. Промозгло, но ни дождя, ни ветра. Натянул попону на голову. Вздохнул. «Конечно, каждый из них молчит, а ведь думают... Ох, люди...»

. . . .

Сутулый солдат, Федька Умойся Грязью, мрачно подавал из ковшика на руки,— Алексей фыркал в студеную воду, вздрагивал всей кожей. Утро было холодное, на прилегшей траве — сизый иней, под ботфортами похрустывала вязкая грязь. Дымы костров поднимались высоко между палатками. Непроспавшийся прапорщик Леопольдус Мирбах, в бараньем кожане, накинутом поверх галунного кафтана, кричал что-то двум солдатам,— они стояли, испуганно задрав головы.

— Пороть, пороть! — повторял он осипшим голосом.— Пфуй! Швинь! — Взял одного за лицо, сжав — пхнул. Поправляя на плече кожан, пошел к палатке Алексея. Давно небритое лицо надуто, глаза опухшие.— Горячий вод — нет... Кушать — нет... Это — не война... Правильный война — офицер доволен... Я не доволен... У вас паршивый зольдат...

Алексей ничего не ответил,— зло тер щеки полотенцем. Крякнув, подставил Федьке спину в грязной сорочке: «Вали...— тот начал колотить ладошами.— Крепче...»

Из леса в это время выехала тяжелая повозка с парусиновым верхом на обручах. От шестерни разномастных лошадей валил пар. Позади — десяток всадников в плащах, залепленных грязью. Повозка, валясь на стороны по истоптанному жнивью, шагом направлялась к лагерю. Алексей схватил кафтан,— от торопливости не попадал в рукава,— подхватив шпагу, побежал к палаткам.

— Барабанщики, тревогу!

Повозка остановилась. Вылез Петр — в меховом картузе с наушниками. Путаясь звездчатыми шпорами, вылез Меньшиков в малиновом широком плаще на соболях. Всадники спешились. Петр, морщась, глядел на лагерь — засунул красные руки в карманы полушубка. В прозрачном воздухе запела труба, затрещали барабаны. Солдаты слезали с возов, выбегали из палаток, застегивались, накидывали портупеи. Строились в карею. Вдоль линии рысцою шли прапорщики, тыча тростями, ругаясь по-немецки. Алексей Бровкин,— левая рука на шпаге, в правой — шляпа,— остановился перед Петром. (Парика впопыхах не нашел.)

Петр,— смотря поверх его вихрастой головы:

— Покройся. В походе шляпы не снимать, дурак. Где ваш пороховой обоз?

— Остался на Ильмень-озере, весь порох подмочен, господин бомбардир.

Петр перекатил глаза на Меньшикова. Тот лениво перекосился выбритым лицом.

— Извольте ответить,— сказал он, так же глядя поверх Алешкиной головы,— где другие роты полка? Где полковник фон Шведен?

— Ниже по реке вразброс стоят, господин генерал...

Меньшиков с той же кривой усмешкой покачал головой, Петр только насупился.

Оба они,— саженного роста,— пошли по кольям жнивья к выстроенной карее. Не вытаскивая рук из карманов, Петр будто рассеянно оглядывал серые, худые лица солдат, исковерканные непогодой, скверно свалянные шляпы, потрепанные кафтаны, тряпки, опорки на ногах. Одни только прапорщики-иноземцы вытягивались молодцевато. Так стояли долго перед строем, Петр,— дернув вверх головой:

— Здорово, ребята!..

Прапорщики яростно обернулись к линии. По рядам пошло нестройно:

— Желаем здравия, господин бомбардир.

— У кого жалобы? — Петр подошел ближе.

Солдаты молчали. Прапорщики (рука — на отнесенной вбок трости, левый ботфорт — вперед) воткнулись глазами в царя. Петр повторил резче:

— У кого жалобы, выходи, не бойся.

Кто-то вдруг глубоко вздохнул — всхлипом (Алексей увидал Голикова: у него мушкет ходил в руках, но справился, смолчал).

— Завтра пойдем на Нарву. Трудов будет много, ребята. Сам свейский король Каролус идет навстречу. Надо его одолеть. Отечества отдать нам не мочно. Здесь — Ям-город, Иван-город, Нарва,— вся земля до моря наше бывшее отечество. Скоро одолеем и скоро отдохнем на зимних станах. Понятно, ребята?

Строго выпучился. Солдаты молча глядели на него. Чего уж понятнее. Один мрачный голос из рядов прохрипел: «Одолеем, на это людей хватит». Меньшиков сейчас же шагнул вперед, всматриваясь — кто сказал? (У Алексея упало сердце: сказал Федька Умойся Грязью, самый ненадежный солдатешка.)

— Господин капитан... (Алексей подскочил.) За порядок в роте благодарствую тебя... В остальном — не виноват. Извольте выдать людям по тройной чарке водки.

Петр пошел к повозке, опустив голову. Меньшиков моргнул Алексею (на этот раз изволил признать старого друга), выпростал из мехового плаща холеную руку, похлопал Алешку и,— нагнувшись к уху:

— Петр Алексеевич — ничего, доволен. У тебя не

то, что у других... Отличись под Нарвой — в подполковники махнешь... Ивана Артемича видел в Новгороде,— приказал тебе кланяться...

— Спасибо вам, Александр Данилович...

— Счастливо! — Подхватив спереди плащ, Меньшиков рысью догнал Петра. Сели в повозку — поехали берегом туда, где река, отражавшая холодное небо, загибала за еловый лес.

. . . .

Верстах в двух от Нарвы по течению реки, через два рукава Наро́вы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на ревельскую дорогу — чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе,— видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле.

Двадцать третьего сентября все головное войско, свернув с ямгородской дороги, вышло на холмистую равнину и в виду приземистых, поросших травою башен Иван-города,— бывшей некогда твердыни Ивана Грозного,— и голубоватых — за рекой — островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы двинулось к острову Кампергольм и начало переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку.

День был тихий. Солнце — неяркое, скудное. На кирпичных церквах Нарвы и Иван-города дребезжали набатные колокола.

К мостам по широко разъезженной песчаной дороге валили без строя солдаты; стрельцы в ненавистных Петру колпаках с лисьими опушками; изломанные, кое-как связанные телеги с бочонками, кулями, ящиками, с прозеленевшими караваями хлеба; мужики-возчики, вконец оборванные за дорогу, хлестали по тощим лошаденкам, влезавшим через силу в мочальные хомуты; проплывало знамя, прикрученное к древку, или значок на пике, или банник на плече у пушкаря, потерявшего свою часть; постукивая тростью по головам, протискивался верховой офицер, закинувший

плащ за плечо; с гиком проскакал боярский сын в распахнутой шубе поверх дедовской кольчуги, и за ним подпрыгивали на клячах его люди — как бочки — в кафтанах из стеганого войлока, с татарскими луками и саадаками за спиной...

Все, проходя, оборачивались к лысому бугру,— в стороне от дороги, на бугре, на серой лошади сидел царь в железной кирасе, смотрел в подзорную трубу. О стремя с ним на вороном коне подбоченился Меньшиков,— поглядывал весело, ветер играл перьями его золоченого шлема.

Войска располагались полукругом — в расстоянии пушечного выстрела — перед крепостью, опираясь флангами о Нарову; выше города по течению реки стали части дивизии Вейде, в центре, у подножия лесистого холма Германсберг,— дивизия Артамона Головина, на левом фланге, у моста через остров Кампергольм,— семеновцы, преображенцы и стрелецкие полки Трубецкого. Здесь же был разбит шатер герцога фон Круи, ехавшего при войске как высший советник. Петр и Меньшиков остановились на самом острову, в рыбачьей избе.

По всей линии начали рыть глубокий ров с люнетами, реданами и бастионами, обращенными к внешней стороне — на случай подхода шведов по ревельской дороге. Перед бастионами Нарвы возводились редуты для установки ломовой артиллерии. Осадными работами руководил инженер Галларт. С верков крепости отрывались клубы дыма, свирепо в осенней сырости рявкали пушки, высоко забиравшимися дымящими дугами неслись бомбы, падали, рвались близ телег, палаток, во рвах, откуда выскакивали солдаты. От бомб запылало несколько мыз среди садов и огородов. Дым от пожарищ и множества костров тянуло седой тучей на город, откуда вспыхивали огненные языки пушечных выстрелов.

Нарвским комендантом был опытный и отважный воин полковник Горн.

Петр с инженером Галлартом, пробираясь верхами под защитой садов и строений, осматривали бастионы,— Фома, Глория, Кристеваль, Триумф. Иногда

приходилось подъезжать так близко, что в амбразурах видны были суровые лица шведских пушкарей. Не суетясь, но живо накатывали, наводили пушку, зорко ждали. Огонь! Ядро, неумолимо нажимая воздух, с шипом проносилось над головами. У Петра расширялись глаза, взбухали желваки на скулах, но ядрам не кланялся. Инженер Галларт, человек бывалый (деловитый, спокойный, скучный), вовремя трогал шпорами коня, отъезжал в сторону. Роскошный Меньшиков,— по нему-то каждый раз и целились,— только встряхивал перьями шлема, хвастливо кричал пушкарям: «Плоховато, камрады!», похлопывал по шее танцующего жеребца. Полсотни драгун, усатых и рослых, недвижимо ожидали — в кого шлепнет черный мячик.

Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня, столь крепкого, что чугунное ядро разлетается о него, как орех. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки — их в крепости было не менее трехсот, гарнизона — тысячи две — пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета.

Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги. Мишка-денщик подавал чернильницу. Галларт присаживался на корточки около,— расстояние прикидывал на глаз. Большая рука Петра, державшая гусиное перышко, осторожно проводила дрожащие линии. Меньшиков прохаживался перед полукружьем сидевших на конях драгун.

— На каждый бастион — по пятнадцати ломовых орудий, всего для прорыва нужно шестьдесят сорокавосьмифунтовых медных орудий,— говорил Галларт ровным, скучным голосом.— Сто двадцать тысяч ядер, на плохой конец...

— Здóрово! — сказал Петр.

— Для зажигания пожаров в городе перед штурмом потребуется не меньше сорока мортир и по тысяче бомб на каждую...

— Вот в Европе они как рассуждают,— сказал Петр, помечая цифры.

— Десять больших бочек уксусу для охлаждения орудий... Только непрестанною стрельбой, сущим адом всех батарей сокрушается твердость осажденных,— учит маршал Люксамбур... Нужно пятнадцать тысяч ручных гранат. Тысячу осадных двенадцатиаршинных лестниц, столь легких, чтоб каждую могли нести бегом два человека. Пять тысяч мешков с шерстью...

— А это зачем?

— Для защиты воина от мушкетных пуль. При осаде Дюнкирхена маршалу Вобану, заграждаясь таковыми мешками, удалось подойти вплоть к воротам, сколь ни была жестока стрельба, ибо пуля легко запутывается в шерсти...

— Ладно,— неуверенно сказал Петр, помечая на листке.— Данилыч, шерсти требуется пять тысяч мешков!..

Меньшиков, опершись о раздвинутые колени, нагнулся над трепещущей от ветра бумажкой. Покрутил губами:

— Баловство, мин херц. Да и шерсти совсем не достать. (Галларту.) Под Азовом с одними шпагами на стены лезли, а добыли город...

Позади — в ряду драгун — забилась лошадь, глухо вскрикнул человек. Обернулись. Сивая лошадь у одного, подбирая ноги, слепо вздергивала башкой,— выше ноздрей у нее била струею в палец черная кровь. Усатые драгуны, дичась, косились в сторону кустов, откуда, шагах в ста, выпыхивали дымки, Петр, как поднял руку с пером, так и застыл, сидя на барабане.

Незаметно, за грохотом пушечной стрельбы, из ворот крепостной башни (отсюда невидимой за выступом бастиона Глория) вышел отряд егерей и перебежал за плетнями огородов. Вслед за ними на тяжелых рыжих лошадях вылетело полсотни рейтар в железных кирасах, низко надвинутых касках. Подняв шпаги, они скакали, растянувшись по вересковому полю, в обход слева.

Александр Данилович секунду — не более — глядел широко разинутыми глазами на диверсию неприятеля, кинулся к вороному жеребцу, отстегнув, швыр-

нул плащ, вскочил в седло: «Шпаги — вон!» — заорал, багровея. Выдернул шпагу, впился звездчатыми шпорами, упал на шею вставшему на дыбы жеребцу, толкнул его с места во весь мах: «Драгуны, за мной!» — и все, Меньшиков и драгуны, огибая стоящего около барабана Петра, поскакали наперерез рейтарам, уже начавшим осаживать и поворачивать...

Галларт, озабоченно поджав тонкие губы, подвел Петру его серую, с черной гривой, беспокоящуюся кобылу:

— Прошу вас выйти из поля обстрела, ваше величество.

Петр запрыгал на одной ноге, садясь в седло,— глядел, как сближались драгуны и рейтары. Наши скакали плотной кучей, впереди подпрыгивали перья на сверкающем шлеме Алексашки; шведы далеко растянулись по полю, и сейчас фланговые, круто повернув, шпорили и били шпагами коней. Но сбиться не успели. Петр видел,— вороной жеребец Алексашки ударил грудью рыжую лошадь, рейтар завалился, хватаясь за гриву... Красные перья заметались среди железных касок. Но уже налетели всею лавой драгуны и, не задерживаясь, продолжали скакать (будто шутя — размахивали шпагами). За ними на поле оставались лежащие люди: один мотал опущенной головой, силился приподняться, другой вздрагивал задранными коленями. Несколько порожних лошадей испуганно скакало по полю.

Галларт упорно тянул за узду. «Ваше величество, здесь опасно». Серая кобыла приседала, вертела задом. Петр ударил ее пятками. Отъехав, продолжал оборачиваться. Рейтары теперь изо всей силы уходили от русских: справа, преграждая им дорогу в город, скакали через бурые полосы жнивья, с татарской удалью размахивали кривыми саблями пестрые разномастные всадники — несколько сотен дворянского иррегулярного полка. Из-под дощатого навеса на крепостной стене трещали по ним мушкетные выстрелы.

Въехали в березняк,— Петр вздохнул всем ртом, пустил кобылу шагом. «Да, нелегко будет»,— ответил своим мыслям. Галларт сказал:

— Могу вас поздравить, ваше величество, у вас отличные кавалеристы.

— Что ж из того — это еще полдела... Осерчать, скакать, рубить... Этим одним крепость не возьмешь...

Поднялся на бугор, натянул поводья и долго, морща лоб, глядел на растянувшуюся верст на семь линию войск и обозов. Повсюду из рвов лениво летели комья земли. Крики, ругань. Люди какие-то — без дела у костров, у распряженных телег. Стреноженные тощие лошаденки. Тряпье на кустах. Казалось, вся эта громада войск двигается и живет неповоротливо, с великой неохотой.

— Раньше ноября и думать нечего,— сказал Петр.— Покуда мороз не хватит — не подвезем ломовых пушек. Одно — на бумаге, одно — на деле...

Снова тронув шагом, стал расспрашивать Галларта о походах и осадах знаменитых маршалов Вобана и Люксамбура — творцов военного искусства. Расспрашивал об оружейных и пушечных заводах во Франции. Дергал тонкой шеей, туго перетянутой полотняным галстуком:

— Само собой... Там все налажено, все под руками... У них дороги, или у нас дороги...

Перемахивая через рвы, подскакал Меньшиков, весь еще горячий, весело оскаленный, с дикими глазами... На шлеме торчало только одно перо, на медной кирасе — следы ударов. Осадил тяжело поводившего пахами коня.

— Господин бомбардир... Враг отбит с уроном,— рейтар едва половина ушла от нас... (Сгоряча приврал, конечно.) Наших двое убитых, да есть оцарапанные...

У Петра от удовольствия глядеть на Алексашку наморщился нос.

— Ладно,— сказал,— молодец.

. . . .

Вечером в шатре у герцога фон Круи собрались генералы: напыщенный, весьма суровый Артамон Головин (первый созидатель потешного войска), князь Трубецкой — любимец стрелецких полков,— дородный, богатый боярин, командир гвардии Бутурлин,

знаменитый громоподобной глоткой и тяжелыми кулаками, и совсем больной, плешивый Вейде, дрожавший в бараньем тулупе. Когда пришли Петр, Меньшиков и Галларт, герцог просил — за стол отужинать по-походному. Были поданы редкие и даже невиданные кушанья (нарочный герцога добыл их в Ревеле), в изобилии разносили французские и рейнские вина.

Герцог чувствовал себя, как рыба в воде. Приказал зажечь много свечей. Разводя костлявыми руками, рассказывал о знаменитых сражениях, где он, на высоте — над полем кровавой битвы,— поставив ногу на разбитую пушку, отдавал приказания: кирасирам — прорвать каре, егерям — опрокинуть фланги. Топил в реке целые дивизии, сжигал города...

Русские, хмуро опустив глаза, ели спаржу и страсбургские паштеты. Петр рассеянно глядел герцогу в длинноносое лицо с мокрыми усами. Принимался барабанить по столу или вертел лопатками, будто у него чесалось. (С начала похода замечен был у Петра Алексеевича этот рассеянный взор.)

— Нарва! — восклицал герцог, протягивая денщику пустую чашу.— Нарва! Один день хорошей бомбардировки и короткий штурм южных бастионов... На серебряном блюде ключи от Нарвы — ваши, государь. Оставить здесь небольшой гарнизон и всеми силами, развернув на флангах конницу, обрушиться на короля Карла. Сочельник будем встречать в Ревеле, мое честное слово...

Петр поднялся от стола, пошагал, нагибаясь, чтобы не задевать головой за полотнище шатра, поднял с пола соломинку, прилег на герцогскую кровать (принесенную с ближней мызы). Поковырял соломиной в зубах.

— Галларт дал мне роспись,— сказал, и все обернулись к нему, оставили еду.— Будь у нас все, что сказано в росписи, Нарву мы возьмем. Нужно шестьдесят ломовых орудий... (Сев на кровати, вытащил из-за пазухи смятый листок, бросил на стол — Головину.) Прочти... У нас пока что ни одной доброй пушки на редутах. Репнин с осадными орудиями бьется в грязях под Тверью... Мортиры,— сегодня узнал,— за-

стряли на Валдае... Пороховой обоз по сю пору на Ильмень-озере... Что вы думаете о сем, господа генералы?..

Генералы, придвинув свечу, склонились головами над росписью. Один Меньшиков сидел поодаль со злой усмешкой перед полным кубком.

— Не лагерь — табор,— помолчав, опять сурово, не торопясь, заговорил Петр.— Два года готовились... И ничего не готово... Хуже, чем под Азовом. Хуже, чем было у Васьки Голицына... (Алексашка зазвенел шпорой, до ушей оскалился — зловредный.) Лагерь! Солдаты шатаются по обозам... Баб, чухонок, полон обоз... Гвалт... Беспорядок... Работают лениво,— плюнуть хочется, как работают... Хлеб — гнилой... Солонины в некоторых полках — только на два дня... Где вся солонина? В Новгороде? Почему не здесь? Пойдут дожди — где землянки для солдат?

В шатре только потрескивали свечи. Герцог, плохо понимая, о чем речь, с любопытством переводил глаза с Петра на генералов.

— Два месяца идем от Москвы, не можем дойти. Поход! Известно вам,— король Карл принудил Християна к позорному миру, принудил уплатить двести пятьдесят тысяч золотых дублонов контрибуции. Ныне Карл со всем войском высадился в Пернове и маршем идет на Ригу... Если теперь же он разобьет под Ригой короля Августа,— в ноябре надо его ждать сюда, к нам... Как будем встречать?

Старший по чину Артамон Головин, встав, поклонился, навесил седые брови:

— Петр Алексеевич, с божьей помощью...

— Пушки нужны! — перебил Петр, жила вздулась у него на лбу.— Бомбы! Сто двадцать тысяч ломовых ядер! Солонины, старый дурак...

. . . .

Снова недели на две зарядили дожди, потянули с моря непросветные туманы. Солдатские землянки заливало, шатры протекали, от сырости, от ночной стужи некуда было укрыться. Весь лагерь стоял по пояс в болоте. Люди начали болеть поносами, открывалась

горячка,— каждую ночь на десятках телег увозили мертвых в поле.

С крепости по осаждающим, не переставая, били из пушек и мелкого ружья. На рассвете чаще всего бывали вылазки,— шведы снимали сторожевых, подползали к землянкам, забрасывали спящих ручными гранатами. Петр ежедневно объезжал всю линию укреплений. В мокром плаще, в шляпе с отвисшими полями, молчаливый, суровый, появлялся на серой кобыле из дождевой завесы,— остановится, поглядит стеклянным взором и шагом дальше по изрытому полю — в туман.

Обозы подходили медленно. С пути доносили, что вся беда с подводами: у мужиков все взято, приходится брать у помещиков и в монастырях. Лошаденки худые, корма потравлены, и что ни день тяжелее от превеликих дождей и разбитых дорог. Был слух, что Петр у себя в рыбачьей избе на острову собственноручно избил до беспамяти генерал-провиантмейстера, помощника его велел повесить. С пищей будто бы стало немного лучше. И порядка в лагере прибавилось. Плохи были командиры: русские — медлительны, приучены жить по старинке, многоречивы и бестолковы. Иностранцы только и знали — пить водку от сырости да хлестать по зубам за дело и не за дело.

Подлинно стало известно: король Карл, высадившись в Пернове, повернул к Риге, одним появлением своим привел в смирение ливонских рыцарей и оттеснил войска короля Августа в Курляндию. Сам Август сидел в Варшаве среди взбудораженного раздорами панства и оттуда гнал гонцов к Петру — просил денег, казаков, пушек, пехоты... Под Нарвой понимали — шведов надо ждать с первыми заморозками.

Шереметьев с четырьмя иррегулярными конными полками, посланный для промысла над неприятелем, дошел до Везенберга и счастливо побил было шведский заградительный отряд, но внезапно отступил к приморским теснинам Пигаиоки — верстах в сорока от Нарвы — и оттуда писал Петру:

«...Отступил не для боязни, но для лучшей целости... Под Визенбергом — топи несказанные и леса

превеликие. Кормы, которые были не токмо тут, но и около, все потравили. А паче того я был опасен, чтобы нас не обошли к Нарве... А что ты гневен, что я селения всякие жгу и чухонцев разбиваю, то будь без сомнения: селений выжжено немного и то для того только, чтобы неприятелю не было пристанища. А ныне приказал, отнюдь без указу, чтобы край не разоряли... Где я стал под Пигаиоками — неприятелю безвестно мимо пройти нельзя, далее отступать не буду, здесь и положим животы свои, о том не сомневайся...»

Наконец,— на счастье или на беду,— ветер подул с севера. В день разогнало мокрую мглу, низкое солнце скупо озарило утопавший в грязях лагерь, в городе на церковном шпиле загорелся золотой петушок. Землю схватило морозом. Стали подходить обозы с огневыми припасами. На быках,— по десяти пар на каждую,— подвезли две знаменитых,— весом по триста двадцать пудов,— пищали «Лев» и «Медведь», отлитые сто лет тому назад в Новгороде Андреем Чоховым и Семеном Дубинкою. Как черепахи, ползли гаубицы на широких и низких колесах, короткие мортиры, бросающие трехпудовые бомбы. Все войска стояли под ружьем, все конные полки — о конь, с голыми шашками на случай вылазки шведов.

Двести человек, подхватив канатами, втащили «Льва» и «Медведя» на середний редут против южных бастионов крепости. На батареях всю ночь устанавливали гаубицы и мортиры. В крепости тоже не спали, готовились к штурму — по стенам ползали огоньки фонарей, перекликались часовые.

На рассвете пятого ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком, красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни, сотрясая равнину, ухнули, рявкнули пушки,— искряными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянуло и лагерь и стены. Петр опустил подзорную трубу и, раздув ноздри, кивнул Галларту. Тот подъехал, пощелкал языком:

— Плохо. Недолеты. Порох никуда не годится...
— Сделать что? Немедля...
— Прибавить заряд... Только бы выдержали орудия...

Петр спустился с холма, через подъемный мост и ворота из дубовых бревен проскакал за частокол и рогатки. На средней батарее пушкари обливали водою с уксусом длинные стволы «Льва» и «Медведя». Командир батареи, голландец Яков Винтершиверк, низенький старый моряк, с бородой из-под воротника, подойдя к Петру, сказал хладнокровно:

— Это никуда не годится... Этим порохом только стрелять по воробьям — один дым и одна копоть...

Петр сбросил плащ, кафтан, засучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченное дуло...

— Заряд.

Из погреба батареи пошли кидать — из рук в руки — пачки пороха в серой бумаге. Он надорвал одну пачку, высыпал порошинки на ладонь, только фыркнул, как кот, злобно. Вбил в дуло шесть пачек...

— Это будет опасно,— сказал Яков Винтершиверк.
— Молчи, молчи... Ядро...

Подкинул на руках пудовый круглый снаряд, вкатил в дуло, налегая на банник, плотно забил. Присел под прицелом,— вертел винт...

— Фитиль... Отойти всем от орудия.

Надрывая уши, «Медведь» изрыгнул огонь, тяжело дернулся назад чугунными колесами, зарылся хоботом. Ядро понеслось уменьшающимся мячиком,— на башне бастиона Глория брызнули камни, обвалился зубец...

— О, это не плохо,— сказал Яков Винтершиверк...
— Так стрелять...

Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям — увеличить заряд в полтора раза. Снова от грохота ста тридцати орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Когда разнесло тучи дыма — увидели: в городе пылало два дома. Второй залп был удачен. Но скоро узнали: на западной ба-

тарее разорвало две гаубицы, отлитые недавно на тульском заводе Льва Кирилловича, у нескольких орудий треснули оси на лафетах. Петр сказал: «Потом разберем... Найдем виноватых... Так стрелять...»

Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до пятнадцатого ноября.

. . . .

Царский повар Фельтен, бубня себе под нос, жарил на шестке на лучинках яичницу. С трудом достали десяток яиц,— кухонный мужик верхом прогнал чуть не до Ямбурга,— все оказались тухлые...

— Чего ты бормочешь, ты их перцем покрепче, Фельтен...

— Слышу, ваше величество... Перцем!

Петр сидел около горячей печки. Тут только и было тепло (в чулане за перегородкой, где они спали с Алексашкой, дуло сквозь стены). Сейчас, в полночь, было слышно — вой ветра да скрипели крылья ветряной мельницы рядом с домиком на острову. Хорошо потрескивали березовые лучинки. Коротенький, сердитый Фельтен разложил на шестке припасы и все нюхал, на мясистом носу его гневно пылали отсветы.

— А ну, как тебя шведы в плен возьмут, что тогда, Фельтен?..

— Я слушаю вас, ваше величество...

— Ага, скажут, царский повар! Да и повесят за ноги...

— Ну и повесят, я свой долг знаю...

Он накрыл чистым полотенцем шатающийся дощатый столик. Поставил глиняную сулею с перцовкой, тоненькими ломтями нарезал черный черствый хлеб. Петр, слабо попыхивая трубкой, посматривал, как ловко, мягко, споро двигался Фельтен — в валенках, в ватной куртке, подпоясанный фартуком.

— Я тебе про шведов не шучу... Хозяйство свое ты прибрал бы.

Фельтен искоса взглянул — понял: не шутит. Подал с жару сковородку с яичницей, налил из сулеи в оловянный стаканчик.

— Пожалуйте к столу, ваше величество...

Домишко весь сотрясся от ветра. Заколебалась свеча. С улицы шумно вошел Меньшиков:

— Ну и погода...

Морщась, развязывал узел на шарфе. У шестка над лучинками стал греть руки.

— Сейчас прибудет...

— Трезвый? — спросил Петр.

— Спал. Я его — недолго — с кровати...

Алексашка сел напротив. Попробовал — крепко ли стоит стол. Налил, выпил, замотал башкой. Некоторое время ели молча. Петр — негромко:

— Поздно... Больше ничего не поправишь...

Алексашка — с трудом глотая:

— Если он в ста верстах, да Шереметьев его не задержит,— послезавтра он — здесь... Выйти в чистое поле,— неужто не одолеем конницей-то? (Расстегнул воротник, обернулся к Фельтену.) Щец у тебя не осталось? (Налил вторую чарку.) У него всей силы тысяч десять только,— пленные на евангелии клянутся... Неужто уж мы такие сиволапые?.. Обидно...

— Обидно,— повторил Петр.— В два дня людям ума не прибавишь... Учинится под Нарвой нехорошо — будем задерживать его в Пскове и в Новгороде...

— Мин херц, грешно и думать об этом...

— Ладно, ладно...

Замолчали. Фельтен, присев, дул в угли,— грел пиво в медном котелке.

Под Нарвой было нехорошо. Две недели бомбардировали, взрывали мины, подходили апрошами,— стен так и не проломили и города не подожгли. На штурм генералы не решились. Из ста тридцати орудий разорвало и попортило половину. Вчера стали подсчитывать — пороху и бомб в погребах осталось на день такой стрельбы, а пороховые обозы все еще тащились где-то под Новгородом.

Шведская армия скорыми маршами подходила по ревельской дороге и сейчас, может быть, уже билась в пигаиокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как в клещах,— между артиллерией крепости и подступающим Карлом...

— Нашумели много... Это можем,— Петр бросил ложку.— Воевать еще не научились. Не с того конца взялись... Никуда это дело еще не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить... Понял?

Алексашка сказал:

— Сейчас еду,— в первой роте у костра солдаты разговаривают. Шведов ждут — весь лагерь гудит. Честят генералов,— ну-ну... Один — слышу: «Прапорщику, говорит, первую пулю...»

— Генералы! (У Петра замерцали глаза.) С хоругвями по стенам ходить! Воеводы... Старые дрожжи...

Тогда Алексашка сказал осторожно,— запустил глазом:

— Петр Алексеевич... Отдай войско мне на эти три дня... Ей-ей. А?

Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя, уминал пальцами крошки табаку:

— Главнейшим начальником с завтрашнего дня имеет быть герцог фон Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски,— боевой... И наши иностранцы при нем будут бодрее... Ты соберись, слышь, до свету — поедем...

Сопел. Придвинув свечу, раскуривал, Алексашка спросил тихо:

— Петр Алексеевич, куда поедем?

— В Новгород.

Петр взглянул наконец в раскрытые чрезмерным изумлением прозрачно-синие глаза Алексашки. Вдруг густо начал багроветь (надулась жила поперек вспотевшего лба) — и,— сдерживая гнев:

— Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего... Думаешь — под Нарвой начало и конец? Войне начало только... Должны одолеть... А с этим войском не одолеем... Понял ты? Начинать надо с тылу, с обозных телег... Скакать со шпагой — последнее дело... Дура, храбрее Карла хочешь быть? Опусти глаза! (Бешенство метнулось по лицу его.) Не моги смотреть на меня!

Алексашка не послушал, не опустил глаза, от жгучего стыда наливались слезы, капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся. Отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы.

— «Мин херц»,— передразнил Алексашкиным голосом.— Сердечный друг... За меня стыдно стало? Подожди, еще чего случится,— все морду створотят. Карла испугался... Войско бросил... В Новгород ускакал, все равно, как тогда — к Троице... Ладно... Вытри личико. Поди встреть — господа генералы пожаловали...

. . . .

Окрики часовых. Топот подков по мерзлой земле. За окном — свет факелов. Звеня шпорами, вошел герцог и генералы — красные от ветра, встревоженные,— что случилось в такой поздний час?.. Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову — взять свечу — и пошел за дощатую переборку в чулан.

Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя присыпанные золой, исчерканные строки. Кашлянул и,— ни на кого не глядя:

«Ин готснам, во имя божье,— начал читать суровым, твердым голосом.— Понеже его царское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войско его княжеской пресветлости герцогу фон Круи по нижеследующим статьям... (Герцог, стоя у самого стола, задергал ляжкой. Петр посмотрел на его тощую ляжку в белой лосине, потом — на сухие руки, обхватившие золотую рукоять сабли.) Первая статья: его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником... Второе: все генералы, офицеры, даже и до солдата имеют быть под его командой, как самому его царскому величеству... Третье... (Поднял голос.) Добывать немедленно Нарву и Иван-город всячески... Четвертое... За ослушание генералов, офицеров и солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти...»

Мимо герцога стал смотреть на генералов: Вейде согласительно кивал, князь Трубецкой вспух вспотевшим лицом, у Бутурлина седые стриженые волосы задвигались над низким лбом, Артамон Головин низко опустил голову, будто позор и беда уже легли на его плечи.

«Также его пресветлейшеству зело проведывать про шведский сикурс. Когда подлинно уведомится о пришествии короля Каролуса и если оный нарочито силен,— оного накрепко стеречь, чтобы в город Нарву не пропустить, и поиск над оным с божьей помощью искать... Но лучше обождать, буде возможно, до прибытия подмоги...» (Опустил листок и — герцогу.) Репнин и гетман с казаками и огнеприпасные обозы — в немногих днях пути... (Головину.) Садись, перебели...

В дверь из сеней постучали. Меньшиков озабоченно протискался в кухню. Кто-то вошел,— в раскрытую дверь с шумом ветра донеслись отдаленные крики множества голосов. Петр, оттолкнув кого-то, шагнул в кухню.

— Что случилось? — крикнул страшно.

Перед ним стоял юноша,— осунувшееся розовое, как у девушки, лицо, вздернутый нос, смелые глаза, над ухом русые волосы запеклись кровью...

— Павел Ягужинский, поручик, при Борисе Петровиче Шереметьеве,— быстро сказал Меньшиков.

— Ну?

У того задрожало лицо. Подняв нос к Петру, справился:

— Борис Петрович послал, государь, спросить — куда стать полкам?

Петр молчал. Генералы испуганно теснились в дверях чулана.

Меньшиков,— торопливо надевая полушубок:

— Бежали без чести от самых Пигаиок... Шапки побросали... Дворяне...

. . . .

Иррегулярные полки дворянского ополчения, утром семнадцатого ноября, узнав от сторожевых, что шведские разъезды за ночь прошли мимо теснин берегом моря в тыл на ревельскую дорогу, смешались

и, не слушая Бориса Петровича Шереметьева, стали уходить от Пигаиок — в страхе оказаться отрезанными от главного войска. Он подскакивал к расстроенным сотням, хватал за поводья, сорвал голос, бил нагайкой по лошадям и по людям,— задние напирали, конь его вертелся в лаве отступающих. Ему только удалось собрать несколько сотен, чтобы остеречь тыл и спасти часть воинского обоза от шведов, появившихся с восходом солнца,— в железных кирасах и ребрастых касках,— на всех скалистых холмах. Шведы не преследовали. Дворянские полки уходили вскачь. Ночью они появились под палисадами нарвского лагеря. Сторожа на валу, в темноте приняв их за врага, открыли стрельбу. Всадники отчаянно кричали: «Свои, свои...» Пробудился и загудел весь лагерь.

За палисады впустили поручика Павла Ягужинского, он поскакал к царю. Бушевал ледяной ветер. Служилые люди, сойдя с коней, стояли по ту сторону рва у поднятых мостов. С палисадов кричали им: «Помещики, чего скоро прибежали?.. В осаду хотите, сердешные?..» По всему лагерю начали бить барабаны, поплыли огоньки, поскакали всадники с фонарями. В полках и сотнях под знаменем читали царский указ о вручении войска преславному и непобедимому имперскому герцогу фон Круи. Войска молчали, пораженные изумлением и страхом. Скоро летучей молвою побежал слух, что царя уже нет в лагере и швед всею силою стоит в пяти верстах.

Никто не спал. Зажигали костры — их разметывал ветер. Под утро конницу Шереметьева отвели на правый фланг. Не заходя за палисады, она стала на самом берегу, там, где Нарова, выше города, бешено ревела между островками на порогах. Рассвело — шведов не было видно. Посланные дозоры нигде вблизи врага не обнаружили, хотя шереметьевцы и божились, что он висел у них на хвосте от самых Пигаиок.

Под хриплые вопли рожков герцог, в пышном плаще, с маршальским жезлом, упертым в бок, и за ним — позади на пол-лошадиного корпуса — генералы: Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретин-

ский и князь Яков Долгорукий — объезжали лагерь. Герцог, взбодряя висячие усы ребром перчатки, кричал солдатам: «Здорово, молоци! Умром за батушку цара!» Во всех полках под барабанный бой читан приказ:

«...Ночью половине войска стоять под ружьем... Перед рассветом раздать солдатам по двадцать четыре патрона с пулями. На восходе солнца всей армии выстроиться и по трем пушечным сигналам — музыке играть, в барабаны бить, все знамена поставить на ретраншементе. Стрелять не прежде, как в тридцати шагах от неприятеля...»

Ночью ветер повернул на запад — с моря. Потеплело. В темноте шведский генерал-майор Рибинг с двумя рейтарами, приказав обернуть войлоком конские копыта, тайно подъехал к самым палисадам, измерил глубину рва и высоту раскатов.

. . . .

Алексей Бровкин, голодный, как черт, насквозь продутый ветром, ходил по валу, — три шага вперед, три назад, — около ротного значка. Вал тянулся на семь верст, солдаты стояли редко друг от друга. Рожки протрубили, барабаны протрещали. Пушки, мушкеты заряжены, фитили дымились. Ветер трепал полотнища знамен на ретраншементах. Было одиннадцать часов утра...

Алексей со всей силой подтянул кушак. Новый главнейший начальник обо всем позаботился, только забыл накормить. Который день солдаты, — и офицеры строевые, — жевали заплесневелые сухари, вытряхивали крошки из сумок. В эту ночь и сухарей не выдали. Солдаты вороньими пугалами торчали на валу (из роты Бровкина осталось восемьдесят здоровых). Было время, — Алексей, ох, как ждал сразиться! — повести роту в пушечном дыму, самому схватиться за древко неприятельского знамени... («Спасибо, Алексей, жалую тебя в полковники...») Сегодня одного хотелось — залезть в теплую вонь землянки, похлебать из котелка жидкой каши, чтоб обожгло глотку...

Жмурясь от ветра, Алексей крикнул ближайшему — Голикову:

— Чего рот разинул, стоять бодро.

Тот не услышал,— подняв рваные плечи, уставил востроносое лицо, будто увидал смерть... И другие солдаты, как ощетиненные псы, глядели в сторону холма Германсберг. Над ним в стремительно летящих тучах показывалось, заволакивалось невысокое солнце. Между пней и мотающихся голых берез двигались тяжело навьюченные люди,— все больше их выходило из лесу. Они скидывали с плеч мешки и вьюки, перебегали вперед, строились в широкие, плотные колонны. Шестерными упряжками выезжали пушки, одни вниз — прямо — к середнему редугу, другие — на рысях через ручей — к сильным укреплениям Вейде, третьи вскачь мчались направо по равнине. Шесть пеших колонн выстраивались на холме Германсберг. Двойными тусклыми железными рядами выезжала из леса конница.

Алексей не своим голосом закричал:

— Барабанщики, боевая тревога!

На вал выскочили усатые унтер-офицеры, надвигали треуголки, чтобы не унес ветер. Затрещали барабаны... Леопольдус Мирбах, неизвестно чему радуясь, указывал пальцем, кричал Алексею: «Глядите, вот тот на коне — это король Карл». Колонны шведов, страшные своей правильностью, порядком, будто не люди, бесчувственные, бессмертные, поколыхиваясь черно-синими рядами, ползли с холма... Там, на высоком месте, стояло пять-шесть всадников, и один, тоненький, впереди,— помахивал рукой, к нему подскакивали верховые и мчались вниз, к колоннам.

Ветер гнул древки знамен и значков на валу, надрывая душу, трещали барабаны. Свинцово-снежная туча поднималась со стороны моря, быстро накрывала небо. Четыре орудийные запряжки подскакали, шагах в двухстах от рва, против места, где стояла рота Бровкина, с хода завернули,— снялись передки, подскакали зеленые зарядные ящики, завернули. Соскочили крепкие люди в темно-синих мундирах, стали у пушек. Бегом, не расстраивая правильного ряда, подошла пехотная колонна,— впереди ее выскочило несколько человек с белыми отворотами... При взмахе

блеснувших шпаг ряды шведов сдвоились, развернулись по сторонам батареи, припали,— полетели комья земли...

Алексей, приложив ко рту руки, перекрикивал ветер: «Господа прапорщики... Передать унтер-офицерам... Передать солдатам... Без приказу не стрелять за страхом смерти...» Леопольдус Мирбах побежал в длинных ботфортах по валу, крича по-немецки, грозя тростью... Федька Умойся Грязью (бородатый, грязный, чистое пугало) злобно оскалился — Леопольдус ударил по башке... Ветер рвал полы кафтанов, высоко полетела чья-то шляпа...

Алексей оборачивался к нашей батарее: «Да ну же... Скорее». Наконец тяжело рвануло уши... «Дьяволы, стрелять не умеют!..» В ответ четыре шведские пушки, отскочив, плюнули огнем... В полуверсте, особенно и важно, прогрохотали «Лев» и «Медведь»... «Ох, наши — лениво». Четыре запряжки снова подскакали, подцепили пушки, подвезли ближе к валу. Пушкари догнали бегом,— прочистили, зарядили, отскочили — двое к колесам, третий присел с фитилем. Человек с белыми отворотами поднял шпагу... Залп... Четыре ядра ударили в сосновые бревна палисада, рвануло железным визгом, полетели щепы. Алексей попятился, упал. Вскочил... Мельком, но страшно ясно (запомнил потом на всю жизнь) увидел: по кочковатому полю, близко вдоль рва, скачет на сивой лошади прямо, тонкий, как палец, юноша в маленькой треуголке, из-под нее подскакивает на загривке кожаный мешочек, ноги его не по-русскому вытянуты вперед, засунуты в стремя до каблука, узкое лицо насмешливо обращено к стреляющим с палисада, за ним десятка два вздвоенных ровных рядов кирасиров на очень костлявых конях скачут голова в голову... «Господи, помилуй!» — донесся отчаянный крик Голикова.

Низкая туча стремительно закрывала все небо. День быстро темнел. Пеленою снега затягивало лагерь, ряды скачущих кирасир, двигающиеся шведские колонны. В вое ветра рявкали пушки,— пламя их вспыхивало мутными сияниями. Трещал, рвался палисад. Ядра свирепо прошипывали над головой. Закрутилась

метель, косой колючий снег бил в лицо, залеплял глаза. Не было видно ни того, что впереди — по ту сторону рва, ни того, что уже с четверть часа началось в лагере.

На Алексея налетел бегущий без памяти, согнувшись, солдат не из его роты... Алексей схватил его за бока... Солдат истошно заорал: «Продали!..» — вырвался, исчез в метели... Только тогда Алексей заметил, как из крутящейся пелены стали валиться в ров будто бы вязанки хвороста. Сдирая с лица снег, закричал:

— Огонь!.. Огонь!..

Во рву уже копошились проворные люди...

(...Шведские гренадеры, коим снег бил в спину, подбежав, стали забрасывать ров фашинами, и по ним без лестниц полезли на палисад...)

...Алексей увидел еще: выстрелил Голиков, пятясь,— пихал перед собой багинетом... Большой, засыпанный снегом человек перекинул ноги через палисад, схватился рукой за багинет,— Голиков тянул мушкет к себе, тот — к себе... Алексей завизжал, тыкая его, как свинью, шпагой. Еще, еще переваливались люди, будто гнала их снежная буря... Алексей колол и мимо и в мягкое... Брызнула боль из глаз,— череп, все лицо сплющилось от удара...

...Голиков не помнил, как скатился со рва... Полз на четвереньках,— от животного ужаса... Мимо, размахивая руками, пробежал кто-то, за ним с уставленными багинетами — двое шведов, яростные, широкие... Голиков прилег, как жук... «Ох, какие люди!..» Поднял голову,— снегом забило рот. Вскочил, шатаясь, тотчас наткнулся на двоих... Федька Умойся Грязью лежал животом на Леопольдусе Мирбахе, добирался пальцами до его горла... Леопольдус рвал Федькину бороду... «Врешь, сатана»,— хрипел Федька —навалился плечами... Андрей побежал... «Ох, какие люди!..»

. . . .

Средняя колонна шведов,— четыре тысячи гренадеров,— всею фурией бросилась на дивизию Артамона Головина... Четверть часа длился бой на палисадах.

Русские, ослепляемые метелью, истомленные голодом, не веря командирам, не понимая, зачем нужно умирать в этом снежном аду, отхлынули от вала... «Ребята, нас продали... Бей офицеров!..» Беспорядочно стреляя, бежали по лагерю, давили друг друга в занесенных рвах и на турах батарей... Смяли и увлекли за собой полки Трубецкого. Тысячами бежали к мостам, к переправе...

Шведы недалеко преследовали их, страшась самим затеряться в метели среди столь огромного лагеря. Хриплые трубы повелительно звали — назад, на вал... Но часть гренадер наткнулась на рогатки,— за ними стояли обозы... Гренадеры закричали: «Мит готс хильф, во имя божье...» — и штурмом взяли обоз. Здесь под занесенными снегом рогожами нашли бочки с тухлой солониной и бочонки с водкой. Более тысячи гренадеров так и остались до конца боя у разбитых бочонков... Русских, метавшихся меж телег, одних перекололи, других просто прогнали прочь.

Вслед за пехотой в лагерь через разломанные ворота ворвалась конница — прямо на главный редут. Пищали «Лев» и «Медведь» взяты были в конном строю,— прислуга порублена, командир Яков Винтершиверк, раненный в голову, отдал шпагу. Пищали повернули на восток и стали бить по укреплениям Вейде. Шведы здесь встретили упорное сопротивление,— Вейде поставил всю дивизию на палисады, в четыре ряда, тесно, сам офицерским копьем сбивал шведов, лезущих на тын. Солдаты позади заряжали мушкеты, передние стреляли бегло... Весь ров был завален убитыми и ранеными. Когда стали долетать ядра с главного редута и опознали голоса «Льва» и «Медведя»,— Вейде верхом поскакал по валу: «Ребятушки, стойте твердо...» Под конем его рвануло бомбу, видели,— в летящем снегу, в дыму конь его встал на дыбы, опрокинулся...

. . . .

Конные полки Шереметьева стояли припертые к реке, между палисадами Вейде и лесом. В лицо неслись снежные вихри, позади ревела Нарова. Страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не

понимая. Справа, издалече, все чаще били пушки... Совсем близко на палисадах началась мушкетная пальба, крики, смертные вопли такие,— волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских...

Борис Петрович был на холме посреди своего войска. Подзорную трубу спрятал в карман,— едва можно было различить уши коня... Понятно — что делалось в нашем лагере. Тщетно ждал приказа командующего. Но он либо забыл о дворянской коннице, либо ее не могли отыскать, либо случилось нехорошее...

Стрельба послышалась с левого крыла, должно быть, из леса. Борис Петрович слушал, привстав на стременах. Подозвал молодого князя Ростовского:

— Возьми, батюшка, четыре сотни, скачи в лес, выбей-ка оттуда неприятеля... С богом...

Князь, окоченевший в кольчуге и железном колпаке, невнятно что-то ответил, съехал с холма... И из леса рявкнула пушка. Чей-то голос затянул смертную жалобу. И сразу — справа, слева, спереди — захлестали мушкетные выстрелы. Борис Петрович оглядывался, чтобы приказать: «Сабли вон, вперед с богом...» Но приказать было некому: на холм пятились конские зады... «Пропали, пропали, уходите через реку!» — закричали тысячи голосов. Борису Петровичу оставалось одно,— чтобы не смяли, самому повернуть коня: зажмурился, заплакал, рвя узду...

Рев, дикое гиканье... Колыхающаяся лава конских задранных голов, косматых грив, спин, осыпанных снегом, мчалась к реке. Берег был крут, лошади съезжали на задах, упирались, задние врезались в них вскачь, перескакивали через падающих... В желтой воде под пеленой метели закрутились конские морды, захлебывающиеся человеческие лица, из водоворотов показывались руки, судорожно цепляли воздух... Новые и новые сотни всадников бросались в Нарову,— плыли, бились на струях, тонули...

Добрый конь под Борисом Петровичем выбрался на островок посреди реки, постоял, поводя боками, осторожно опять вошел в воду, оскалясь, поплыл, вынес на тот берег...

. . . .

Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами,— вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план,— стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов,— план этот не удался: центр русских сразу был прорван — войска Артамона Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неожиданным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки — Семеновский и Преображенский.

Шел четвертый час, стрельба не затихала. Валил, крутился снег. До темноты необходимо было закончить бой победой, иначе четыре батальона шведов, проникшие в центре в лагерь, потрепанные и уставшие, могли быть в свою очередь окружены и уничтожены, если русские осмелятся наконец выйти из-за палисадов— на флангах у них по скромному расчету оставалось тысяч пятнадцать свежего войска.

В начале боя Карл с тремя эскадронами кирасир находился между колоннами Штенбока и Мейделя, чтобы видеть одновременно атаку центра и правого фланга. Здесь застала его метель. Наступающие колонны скрывались за пеленой снега, не стало видно даже вспышек орудий. Карл, подняв нос, сжав зубы, слушал упоительные звуки боя. Подскакавший адъютант генерала Рёншельда рапортовал, что гренадеры прорвали центр и гонят русских в глубь лагеря. Карл, схватив офицера за плечо, крикнул в ухо:

— Скажите генералу — король приказывает остановить преследование, занять центральный редут, приготовиться к обороне, ждать распоряжений...

Одного за другим он посылал вестовых на правый фланг к Шлиппенбаху, безуспешно штурмовавшему линию укрепления Вейде... «Передайте генералу — король удивлен». Он послал ему в подкрепление две роты из резерва, но их не нашли и не послали. Шведы бешено штурмовали полуразрушенный палисад, гене-

рал Вейде был ранен осколком бомбы, русские продолжали отбиваться чем попало...

Опасность увеличивалась с каждой минутой. Вчера на военном совете все генералы высказались против безумной операции под Нарвой: с десятью тысячами голодных, измученных солдат, навьюченных мешками (обозы пришлось бросить в поспешном наступлении), броситься на пятидесятитысячную армию за сильными укреплениями... Это было бы неосторожно... Но Карл сказал: «Выигрывает наступающий, опасность увеличивает силы, завтра вы приведете ко мне в палатку царя Петра...» Он изложил генералам свою диспозицию,— в ней было предвидено и учтено все, кроме бурана...

Подняв нос, вытянувшись в седле, весь занесенный снегом, он вслушивался в звуки боя. Опасность пьянила его. Эта игра несравнима даже с охотой на медведей в Кунгсёрском лесу. Ветер с особенной силой доносил выстрелы с левого фланга, где два батальона гренадер генерала Левенгаупта штурмовали позиции семеновцев и преображенцев. Неужели и там, в наиболее ответственном месте, еще нет успеха?

Обернувшись, Карл схватил за узду чью-то лошадиную морду (лошадь и всадника за бураном не было видно), крикнул, чтобы послали четыре роты из резервов в помощь Левенгаупту. Лошадиная морда вздернулась, исчезла. (Эти роты также не были найдены и посланы.) Пальба слева становилась все отчаяннее. Из облаков снега выскочил занесенный всадник:

— Король... Генерал Левенгаупт просит подкреплений...

— Я послал ему четыре роты... Я удивлен...

— Король... Палисады разбиты, рвы завалены фашинами и трупами... Но русские отошли за рогатки... Они озверели от страха и крови... Выкрикивают ругательства и лезут на штыки... Генерал Левенгаупт получил несколько ран и пеший продолжает сражаться впереди солдат...

— Указывай дорогу!..

Карл толкнул коня, нагнувшись против снега и ветра, поскакал о стремя с посланным офицером в сторону выстрелов на левом фланге. Ветер, пронизывая тело, казалось, пел в сердце... В этом упоении ветра, снега, грохота выстрелов ему нужно было ощутить сопротивление клинка, входящего в живое тело... Офицер что-то крикнул, указывая вперед, где на снегу расплылось желтое пятно... Это было занесенное русло ручья. Карл вонзил шпоры, конь тяжелым махом перенесся через желтый снег и увяз в трясине, вскидываясь, глубже увязил зад,— захрапел ноздрями в снежный ветер. Карл соскочил,— левая нога погрузилась в вязкий ил по самый пах... Рванул, вытащил ногу из ботфорта, на четвереньках, потеряв шляпу и шпагу, пополз на тот берег, где, спешась, стоял офицер, протягивая руку...

Так,— об одном ботфорте, без шляпы,— Карл влез на его дрожащую, покрытую ледяной коростой, худую лошадь, колотя шпорой, поскакал на близкие выстрелы, дикие крики. Лошадь стала перепрыгивать через снежные бугорки,— это были убитые или раненые... Впереди перебегали неясные тени. Огненно грохотнула пушка... Неожиданно близко он увидел беспорядочную толпу своих гренадеров,— они угрюмо стояли, опираясь на ружья, глядели туда, где за истоптанным, окровавленным снегом, за уткнувшимися телами убитых торчали наискось острые колья рогаток. За ними колыхалась стена русских. Они что-то надрывно кричали, грозя кулаками и мушкетами. Видимо, только что была отбита атака...

Он наехал лошадью на гренадер: «Шпагу!» — крикнул, как выстрелил... К нему обернулись, его узнали... Нагнувшись с седла, вытянув руку, растопырил пальцы.

— Шпагу! (Кто-то сунул ему в руку эфес шпаги.) Солдаты! Честь вашего короля — здесь, на этих рогатках... Они должны быть взяты... Вы опрокинете в Нарову грязных варваров. (Поднял шпагу, и сейчас же протяжно заиграл горн, и второй, и — еще,— невидимо за метелью.) Солдаты... С вами бог и ваш король!.. Я иду впереди вас... За мной!..

Он поскакал по кровавому снегу. Позади угрюмые глотки рявкнули: «Во имя божье!» Из-за рогаток раздались редкие выстрелы. Он наметил одного,— русский — великаньего роста — стоял, нагнув башку, посреди бреши в рогатках, разбитых ядрами... Усмехаясь, Карл поднял лошадь на дыбы, русский — с озверелым лицом вонзил штык, как вилы, в грудь лошади... Карл распластался по конской спине, соскальзывая, со всей силы вытянулся, погрузил шпагу в грудь великану...

Но, соскакивая с коня, он пошатнулся... (Вокруг — орущие рты, лязг железа, хрусткие удары.) Его толкнули,— упал. Тяжелый сапог наступил на спину, вдавил в снег... Сейчас же короля подхватили, подняли, понесли... Мысли его смешались. Карл очнулся на пушечном лафете под вонючей шинелью. Горны протяжно играли отбой. Сбросив шинель, сел:

— Принесите чьи-нибудь сапоги, я бос... Сапоги и коня...

. . . .

Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого, в страхе быть отрезанными от переправы, добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели,— желтые воды вздутой западным ветром Наровы начали перехлестывать через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой, плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева (потонувших при переправе пятью верстами выше). Конские туловища прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренялся правым бортом, вода хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начали рваться, середние понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревущий поток, где крутились конские и человеческие трупы, попáдали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать,— солдаты сотнями валились в Нарову, покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу.

Там, близ реки, стоял шатер герцога фон Круи,— в тылу расположения Преображенского и Семеновского полков. Третий час длился отчаянный бой на

рогатках на южной и западной стороне лагеря. Ни руководить, ни распоряжаться в этом снежном аду... В шатре у стола, обхватив голову, сидел толстый преображенский полковник Блюмберг, изредка сопел. Напротив него — скучный Галларт мигал ресницами на свечу, спокойно ждал, когда надо будет отдавать шпагу — эфесом вперед, с поклоном — шведскому офицеру.

В шатер вошел герцог в осыпанной снегом оленьей шубе поверх лат,— забрало поднято, усы висели сосульками, губы тряслись...

— Пускай черт воюет с этими русскими свиньями! — крикнул герцог.— Майор Кунингам и майор Гаст задушены в землянках... Капитан Вальбрехт с перерезанным горлом лежит здесь, в двенадцати шагах от шатра... Царь знал, что подсунуть мне, — армию! Сброд, сволочи!..

Галларт поспешно поднялся и откинул ковер,— в палатку влетел вихрь снега. Рев многотысячной толпы заглушал звуки выстрелов. Герцог бросился вон из шатра. Внизу были видны очертания подносимого к берегу моста, на нем кричали люди. Справа, там, где частокол лагеря упирался в реку, бесновались бесчисленные толпы...

— Центр прорван,— сказал Галларт,— это полки Головина...

Солдаты лезли через частокол, отдельные кучки их бежали к шатру...

— О, черт! — крикнул герцог.— На коней, господа! — Он потащил с себя оленью шубу,— латы мешали движениям.— Помогите же, о черт!

Герцог, Галларт и Блюмберг влезли на коней, спустились вниз к воде и по топкому берегу тяжело поскакали на запад, навстречу шведским выстрелам,— сдаваться в плен, чтобы этим уберечь свои жизни от разъяренных солдат.

. . . .

Стемнело. Ветер затихал, валил мягкий снег. Изредка хлопал одинокий выстрел. В русском лагере было тихо, как на кладбище, ни одного огня... Лишь в центре, в захваченном обозе, пьяные шведские гре-

надеры хрипло орали песни. Пламя горящих бочек озаряло пелену снега, ложившуюся на мертвецки пьяных и на убитых.

Артамон Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретинский, Яков Долгорукий, десять полковников (среди них — сын славного генерала Гордона и сын Франца Лефорта), подполковники, майоры, капитаны, поручики — восемьдесят командиров — собрались на конях и пешие у землянки, где совещались генералы. Только что были посланы к королю Карлу парламентеры,— князь Козловский и майор Пиль,— но они наткнулись на своих солдат, были опознаны и убиты...

В землянке при свече лучины Автоном Головин говорил:

— Укрепления прорваны, главнокомандующий бежал, мосты разломаны, пороховые обозы — у шведов... Назавтра не можем возобновить боя... Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля женерозных[1] условий, сохранить оружие и войска... Ты, Иван Иванович (поклонился Бутурлину), ступай, батюшка, сам к королю, скажи ему, что, не желая-де пролития христианской крови, хотим разойтись: уйдем-де в свою землю, а он пускай уходит в свою...

— А пушки? Отдать? — прохрипел Бутурлин.

На это никто не ответил, генералы потупились. У гордого Головина слезно сморщилось все лицо. Толстогубый, черный Яков Долгорукий сказал, ломая брови:

— Что зря-то болтать... Выпьем сраму досыта... На милость сдаемся.

Бутурлин щелкнул кремнями двух пистолетов, сунул их за пояс, надвинул шляпу на лоб, вышел из землянки:

— Трубача!

К нему придвинулись офицеры:

— Иван Иванович, ну что? Сдаемся?

— Мы готовы умереть, Иван Иванович... Да ведь от своих же умирать-то...

---

[1] Женерозных — милостивых.

В версте от русского лагеря, на мызе, Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, согласились пропустить на ту сторону Наровы все русское войско при оружии и со знаменами, но без пушек и обозов. В залог потребовали доставить на мызу всех русских генералов и офицеров, а войско пусть идет с богом домой... Бутурлин попытался было спорить. Карл сказал ему с усмешкой:

— Из любви к брату, царю Петру, спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске.

Пришлось согласиться на все. Взвод кирасир поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы,— со знаменами и оружием, под барабанный бой перешли мосты; солдаты все были рослые, усатые, угрюмые. На плечах несли раненых. Когда стала проходить дивизия Вейде, шведские кирасиры угрожающе придвинулись, потребовали сдать оружие. Солдаты, матерясь, бросали мушкеты. Остальные полки прогнали уже просто — выстрелами...

На рассвете остатки сорокапятитысячной русской армии — разутые, голодные, без командиров, без строя — двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Иван-города послали несколько бомб...

4

Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород, на двор воеводы. В раскрытые ворота за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский, соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя.

— Откуда? — нахмурясь, спросил Петр.

— Оттуда, господин бомбардир.

— Что там?

— Конфузия, господин бомбардир...

Петр быстро низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меньшиков,— сразу все понял: что было спрошено и что отвечено. Воевода Ладыженский, пучеглазый старичок, стоя на нижней ступени, разинул рот,— колючий ветер поднимал его редкие волосы.

— Ну... Идем, расскажи.— Петр поставил ногу на ступень и вдруг повернулся к воеводе, будто с великим изумлением разглядывая этого новгородского правителя:

— У тебя все готово к обороне?

— Великий государь... Ночи не сплю, все думаю: как тебе угодить? — воевода Ладыженский стал на колени, молил собачьими глазами, трепетал вывороченными веками.— Где ж его оборонять?.. Город худой, рвы позавалились, мост через Волхов сгнил совсем... Да и мужиков не сгонишь из деревень, лошадей всех побрали в извоз... Смилуйся...

Воевода не говорил, а вопил, хватался за ноги государя. Петр отряхнул его от ноги, взбежал в сени. Там повскакали с мест монахи, монашки, попы, старцы в скуфейках. Один, с гремящими цепями на голом теле, пополз под лавку...

— Это что за люди?

Чернорясные и попы замахали туловищами. Строгий, сытый иеромонах стал говорить, закатывая зрачки под лоб:

— Не дай запустеть монастырям и храмам божьим, великий государь. Указом твоим велено с каждого монастыря брать до десяти и более подвод и людей с железными лопатами, сколько вмочно, и кормы им... И от каждого прихода ставить подводы и людей же... Воистину сие выше сил человеческих, великий государь... Одною милостыней живем Христа ради...

Петр слушал, держась за дверную скобку,— выпучась, оглядывал кланяющихся.

— От всех монастырей челобитчики?

— От всех,— враз бодро ответили монахи.— От всех, от всех, милостивец наш,— клиросными голосами пропели монашки...

— Данилыч, не выпускать никого, поставь караул!..

Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низенькой, жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о гибели в Нарове тысячи всадников шереметьевской конницы, о гибели пяти тысяч солдат на разломавшемся мосту,— да более того убито во время боя,— о сдаче в плен семидесяти девяти генералов и офицеров (в их числе и раненый Вейде), о злосчастном отступлении войска — без командиров и обозов (остались только младшие офицеры и унтер-офицеры, и то главным образом в гвардейских полках)...

— Герцог первый сдался? Цезарец-то, герой, сукин сын! И Блюмберг с ним? Алексашка, можешь понять? Брат родной — Блюмберг — ускакал к шведу... Вор, вор! (Изо рта Петра летели огуречные семечки.) Семьдесят девять предателей! Головин, Долгорукий, Бутурлин Ванька, знал я, что — дурак... но — вор! Трубецкой, боров гладкий! Как они сдались?..

— Подъехал к землянке капитан Врангель с кирасирами, наши отдали ему шпаги...

— И ни один,— хотя бы?..

— Которые плакали...

— Плакали! Ерои! Что ж они,— надеются: я после сей конфузии буду просить мира?

— Мира просить сейчас — подобно смерти,— негромко сказал Алексашка...

Петр остановился перед слюдяным окошечком — в глубине низкого свода, расставя ноги, сжимал, разжимал за спиной пальцы.

— Конфузия — урок добрый... Славы не ищем... И еще десять раз разобьют, потом уж мы одолеем. Данилыч... Город поручаю тебе. Работы начнешь сегодня же — копать рвы, ставить палисады,— шведов дальше Новгорода пустить нельзя, хоть всем умереть... Да скажи, чтоб нашли и немедля быть здесь Бровкину, Свешникову, которые новгородские купцы из добрых — тоже пришли бы... А воеводу — отставить...

(Вдогонку Алексашке.) Вели выбить в шею со двора. (Меньшиков торопливо вышел. Петр — Ягужинскому.) Ты ступай найди подвод сотни три, грузи печеный хлеб, к вечеру выезжай с обозом навстречу войску. Уразумел?

— Будет сделано, господин бомбардир...

— Позови монахов...

Сел напротив двери на лавку,— неприветливый, чистый антихрист. Вошли духовные. И без того было душно, стало — не продохнуть.

— Вот что, божьи заступники,— сказал Петр,— идите по монастырям и приходам: сегодня же выйти на работу всем — копать землю. (Иеромонаху, задвигавшему под клобуком густыми бровями,— угрожающе.) Помолчи, отец... Выйти с железными лопатами и с лошадьми не одним послушникам,— всем монахам, вплоть до ангельского чина, и всем бабам-черноризкам, и попам, и дьяконам, с попадьями и с дьяконицами... Потрудитесь во славу божью... Помолчи, говорю, иеромонах... Я один за всех помолюсь, на сей случай меня константинопольский патриарх помазал... Пошлю поручика по монастырям и церквам: кого найдет без дела — на площадь, к столбу — пятьдесят батогов... Этот грех тоже на себя возьму. Покуда рвы не выкопаны, палисады не поставлены, службам в церквах не быть, кроме Софийского собора... Ступайте...

Взялся за край лавки, вытянул шею,— на круглых щеках отросшая щетина, усы торчком. Ох, страшен! Духовные, теснясь задами, улезли в дверцу. Петр крикнул:

— Кто там в сенях,— снять караул!..

Налил чарку водки и опять заходил... Немного времени спустя бухнула дверь с улицы. В сенях — вполголоса: «Где сам-то? Грозен? Ох, дела, дела...»

Вошли Бровкин, Свешников и пятеро новгородских купчиков,— эти мяли шапки, испуганно мигали. Петр не позволил целовать руки, сам весело брал за плечи, целовал в лоб, Бровкина — в губы:

— Здорово, Иван Артемич, здорово, Алексей Иванович! (Новгородским.) Здравствуйте, степенные...

Садитесь... Видишь, закуски, вино — на столе, хозяина велел прогнать... Ах, как меня огорчил воевода: я чаял, здесь у вас и рвы и неприступные палисады готовы уж... Хоть бы лопатой ткнули...

Налил всем водки. Новгородцы, приняв, вскочили. Он выпил первый, хорошо крякнул, стукнул пустой чаркой:

— За почин выпили... (Засмеялся.) Ну, что ж, купцы, слышали? Побил нас маленько шведский король... Для начала — ничего... За битого двух небитых дают, так, что ли?..

Купцы молчали,— Иван Артемич, поджав губы, глядел в стол, Свешников, перекосив страшенные брови, тоже отводил глаза. Новгородские купчики чуть вздыхали...

— Шведов ждать надо сюда на неделе. Отдадим Новгород — и Москву отдадим,— всем тогда пропадать.

— Охо-хо...— тяжело вздохнул Бровкин. У чернобородого Свешникова лицо стало желтое, как деревянное масло.

— Задержим шведов в Новгороде,— к лету соберем, обучим войско сильнее прежнего... Пушек вдвое нальем... Пушки под Нарвой! Пожалуйста, бери их: дрянь были пушки... Таких пушек лить не станем... Генералы — в плену, я тому рад... Старики у меня как гири на ногах. Генералов надо молодых, свежих. Все государство на ноги поднимем... Потерпели конфузию,— ладно! Теперь войну и начинаем... Даешь на войну рубль, Иван Артемич, Алексей Иванович,— через два года десять рублев верну...

Откинувшись, ударил кулаками по столу:

— Так, что ли, купцы?

— Петр Алексеевич,— сказал Свешников,— да где его, этот рубль-то, возьмешь? В сундуках у нас — деньги? Мыши...

— Истина, охо-хох, истина,— застонали новгородские купчики.

Петр метнул на них взором. (Поджались.) Тяжело положил ладонь на короткую спину Ивану Артемичу:

— Ты что скажешь?

— Связал нас бог одной веревочкой, Петр Алексеевич, куда ты, туда и мы.

Толстое лицо Бровкина было ясно, честно. Свешников даже обмер: ведь сговорились только что — попридержать денежки, и вдруг Ванька-ловкач сам выскочил... Петр обнял его за плечи, прижал запотевшее лицо к груди, к медным пуговицам:

— Другого ответа от тебя не ждал, Иван Артемич... Умен ты, смел, много тебе воздастся за это... Купцы, деньги нужны немедленно. В неделю должны укрепить Новгород и посадить в осаду дивизию Аникиты Репнина...

. . . .

«...Рвы копали и церкви ломали... Палисады ставили с бойницами, а около палисадов окладывали с обеих сторон дерном...

А на работе были драгуны и солдаты, и всяких чинов люди, и священники, и всякого церковного чина — мужеска и женска пола...

А башни насыпали землею, сверху дерн клали,— работа была насыпная. А верхи с башен деревянные и со стен кровлю деревянную же всю сломали... И в то же время у приходских церквей, кроме соборной церкви, служеб не было...

В Печерском монастыре велено быть на работе полуполковнику Шеншину. И государь пришел в монастырь и, не застав там Шеншина, велел бить его нещадно плетьми у раската и послать в полк, в солдаты...

И в Новгороде же повешен начальник Алексей Поскочин за то, что брал деньги за подводы,— по пяти рублев отступного, чтобы подводам у работы не быть...»

5

Караульный офицер на крыльце Преображенского дворца отвечал всем:

— Никого не велено пускать, проходите...

На дворе собралось много возков и карет. Декабрьский ветер забивал снежной крупой черные ко-

леи. Шумели обледенелые деревья, скрипели флюгера на ветхих дворцовых крышах. Так, в возках и каретах, и сидели с утра весь день министры и бояре. Шестериком в золоченой карете раскатился было Меньшиков,— и того поворотили оглоблями назад...

Вечером, в одиннадцатом часу, приехал Ромодановский. Караульный офицер затрясся, увидя князя-кесаря,— в медвежьей шубе, вперевалку вползающего по истертым кирпичным ступеням. Пустить,— нарушить царский приказ, не пустить,— князь-кесарь своею властью, не спрашивая царя, велит ободрать кнутом...

Ромодановский прошел во дворец,— стража у каждых дверей, заслыша грузные шаги, пряталась. По пути до царской спальни три раза присаживался. Постучав ногтем, вошел, поклонился старинным уставом.

— Ты чего, дядя, сюда забрел? — Петр ходил с трубкой, в дыму, недовольно обернулся, не ответил на поклон.— Я сказал — никого не пускать.

— Никого и не пускают, Петр Алексеевич. А меня и родитель твой без доклада пускал. (Петр пожал плечом, продолжал ходить, грызть чубук.) О чем, Петр Алексеевич, целые сутки думаешь? Родитель твой и родительница наказывали тебе совета моего слушать. Давай вместе подумаем... Ай — чего надумаем...

— Будет тебе пустое молоть... Сам знаешь... О чем?..

Федор Юрьевич не сразу ответил,— сел, распахнул шубу (старику в такой духоте трудно было дышать), цветным платком вытер лицо.

— Может, и не пустое пришел я молоть... Как знать, как знать...

Петр, сам не слыша своего голоса, так вдруг громко начал кричать, что за стеной в темной тронной зале часовой уронил ружье с испугу.

— В Бурмистерской палате толстосумы рассуждать стали: под Нарвой-де мы себя показали, воевать со шведом не можем... Мириться надо... В глаза мне не глядят... Я с ними вот как говорил... (Взял Федора Юрьевича за грудь, за кафтан, тряхнул.) Плачут: «Вели нам хоть на плаху, великий

государь, а денег нет, оскудели...» О чем я думаю!.. Деньги нужны! Сутки думаю — где взять? (Отпустил его.) Ну? Дядя...

— Слушаю, Петр Алексеевич, мое слово потом будет.

Петр прищурился: «Гм!..» — Походил, косясь на князя-кесаря,— и уже голосом полегче:

— Медь нужна... Лишние колокола — пустой трезвон, без него обойдутся,— колокола снимем, перельем... Акинфий Демидов с Урала пишет: чугуна пятьдесят тысяч пудов в болванках к весне будет... Но — деньги! Опять с посадских, с мужиков тянуть? Много ли вытянешь? Им и так дышать нечем, да и раньше года дани не собрать... А ведь есть и золото и серебро, есть оно,— лежит втуне... (Петр Алексеевич еще не выговорил, а уж у Федора Юрьевича глаза стали пучиться, как у рака.) Знаю, что ответишь, дядя. За тобой поэтому и не посылал... Но эти деньги я возьму...

— Монастырской казны трогать сейчас нельзя, Петр Алексеевич...

Петр крикнул петушиным голосом:

— Почему?

— Не тот час... Сегодня — опасно... Я уж тебе и не говорю, каких людей ко мне едва не каждый день таскают... (Толстые пальцы Федора Юрьевича, лежавшие на колене, начали беспокойно шевелиться.) Московское купечество — верные твои слуги покуда... Что ж, испугались Нарвы... Всякий испугается... Поговорят, да и перестанут,— война им в выгоду... И денег дадут, только не горячись... А тронь сейчас монастыри, оплот-то их... На всех площадях юродивые закричат, что намедни-то Гришка Талицкий[1] кричал на базаре с крыши. Знаешь? Ну, то-то... Монастырскую казну надо брать исподволь, без шума...

— Хитришь, дядя...

— А я — стар, чего мне хитрить...

---

[1] Григорий Талицкий — раскольник «книгописец», автор «тетрадей», в которых Петр I назывался «антихристом». Казнен в 1700 году.

— Деньги немедля нужны — хоть разбоем добыть...

— А много ли тебе?

Федор Юрьевич спросил и чуть усмехнулся. Петр опять,— «гм», пробежался по спаленке, закурил у свечи, пустил клуб, другой и выговорил твердо:

— Два миллиона.

— А поменьше нельзя?

Петр сейчас же присел перед ним, стал трясти князя за колени:

— Будет тебе томить... Давай так,— монастыри я покуда не трону... Ладно? Есть деньги? Много?

— Завтра посмотрим...

— Сейчас... Поедем...

Федор Юрьевич взял шапку, тяжело поднялся:

— Ну, бог с тобой... Если уж нужда крайняя... (По-медвежьему заковылял к двери.) Только никого с собой не бери, одни поедем...

. . . .

На Спасской башне прозвонило — час, кожаная карета князя-кесаря въехала в Кремль, покрутилась по темным узким переулкам между старыми домами приказов и стала у приземистого кирпичного здания. На ступеньке низенького крыльца стоял фонарь. Привалясь к железной двери, храпел человек в тулупе. Князь-кесарь, вылезая из кареты вслед за Петром Алексеевичем, поднял фонарь (сальная свеча, наплыв, коптила), ногой ткнул в лапоть, торчащий из тулупа. Человек — спросонок: «Чово ты, чово?» — приподнялся, отогнул край бараньего воротника, узнал, вскочил.

Князь-кесарь, отстранив его от двери, отомкнул замок своим ключом, пропустил Петра, вошел сам и дверь за собой запер. Держа высоко фонарь, пошел вперевалку через холодные и через теплые сени в низенькую, сводчатую, с облупившимися стенами палату приказа Тайных дел, учрежденного еще царем Алексеем Михайловичем. Здесь пахло пылью, сухой плесенью, мышами. Два решетчатых окошечка затянуты паутиной. Приотворилась дверь, со страхом просунулась стариковская голова внутреннего, доверенного, сторожа:

— Кто здесь? Что за люди?

— Подай свечу, Митрич,— сказал ему князь-кесарь.

У дальней стены были дубовые низенькие шкафы с коваными замками (к шкафам не то что прикасаться, но любопытствовать — какие такие в них хранятся дела — запрещено под страхом лишения живота). Сторож принес в железном подсвечнике свечу. Князь-кесарь,— показывая на средний шкаф:

— Отодвинь от стены... (Сторож затряс головой.) Я приказываю... Я отвечаю...

Сторож поставил свечу на пол. Налег хилым плечом,— шкаф не сдвигался. Петр торопливо сбросил полушубок, шапку, взялся,— шея побагровела,— отодвинул. Из-под шкафа выбежала мышь. За ним в стене, затянутая пыльными хлопьями паутины, оказалась железная дверца. Князь-кесарь вынул двухфунтовый ключ, сопя: «Митрич, свети,— не видать», неловко совал ключом в скважину. За три десятка лет замок заржавел, не поддавался. «Ломом, что ли, его,— сбегай, Митрич».

Петр,— со свечой осматривая дверь:

— Что там?

— Увидишь, сынок... По дворцовой росписи там — дела тайные хранятся. В Крымский поход князя Голицына сестра твоя Софья раз приходила сюда ночью... Да я тоже, вот так-то, отпереть не мог... (Князь-кесарь чуть усмехнулся под татарскими усами.) Постояла да ушла, Софья-то...

Сторож принес лом и топор. Петр начал возиться над замком,— сломал топорище, ободрал палец. Тяжелым ломом начал бить в край двери. Удары гулко раздавались по пустынному дому,— князь-кесарь, тревожась, подошел к окошку. Наконец удалось просунуть конец лома в щель. Петр, наваляясь, отломал замок,— железная дверца со скрипом приоткрылась. Нетерпеливо схватил свечу, первый вошел в сводчатую, без окон, кладовую.

Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные, развилистые ендовы — времен Ивана Грозного и Бориса Годунова; итальянские кубки на высоких

ножках; серебряные лохани для мытья царских рук во время больших выходов; два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости; стопки золотых тарелок; поломанные серебряные паникадила; большой павлин литого золота, с изумрудными глазами,— это был один из двух павлинов, стоявших некогда с боков трона византийских императоров, механика его была сломана. На нижних полках лежали кожаные мешки, у некоторых через истлевшие швы высыпались голландские ефимки. Под лавками лежали груды соболей, прочей мягкой рухляди, бархата и шелков — все побитое молью, сгнившее.

Петр брал в руки вещи, слюня палец, тер: «Золото!.. Серебро!..» Считал мешки с ефимками,— не то сорок пять, не то и больше... Брал соболя, лисьи хвосты, встряхивал.

— Дядя, это же все сгнило.

— Сгнило, да не пропало, сынок...

— Почему раньше мне не говорил?

— Слово дадено было... Родитель твой, Алексей Михайлович, в разные времена отъезжал в походы и мне по доверенности отдавал на сохранение лишние деньги и сокровища. При конце жизни родитель твой, призвав меня, завещал, чтоб никому из наследников не отдавать сего, разве воспоследствует государству крайняя нужда при войне...

Петр хлопнул себя по ляжкам.

— Выручил, ну — выручил... Этого мне хватит... Монахи тебе спасибо скажут... Павлин! — обуть, одеть, вооружить полк и Карлу наложить, как нужно... Но, дядя, насчет колоколов,— колокола все-таки обдеру,— не сердись...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В Европе посмеялись и скоро забыли о царе варваров, едва было не напугавшем прибалтийские народы,— как призраки, рассеялись его вшивые рати.

Карл, отбросивший после Нарвы назад в дикую Московию, где им и надлежало вечно прозябать в исконном невежестве (ибо известна, со слов знаменитых путешественников, бесчестная и низменная природа русских),— король Карл ненадолго сделался героем европейских столиц. В Амстердаме ратуша и биржа украсились флагами в честь нарвской победы; в Париже в лавках книгопродавцев были выставлены две бронзовые медали,— на одной изображалась Слава, венчающая юного шведского короля: «Наконец правое дело торжествует», на другой — бегущий, теряя калмыцкую шапку, царь Петр; в Вене бывший австрийский посол в Москве, Игнатий Гвариент, выдал в свет записки, или дневник, своего секретаря Иоганна Георга Корба, где с чрезвычайной живостью описывались смешные и непросвещенные порядки московского государства, а также кровавые казни стрельцов в 98 году. При венском дворе громко говорили о новом поражении русских под Псковом, о бегстве с немногими людьми Петра, о восстании в Москве и освобождении из монастыря царевны Софьи, снова взявшей правление государством.

Но все эти мелкие события сразу были заслонены разразившейся наконец военной грозой. Умер испанский король,— Франция и Австрия потянулись за его наследством. Вмешались Англия и Голландия. Блестящие маршалы: Джон Черчилль граф Мальборо, принц Евгений Савойский, герцог Вандом — начали разорять страны и жечь города. В Италии, в Баварии, в прекрасной Фландрии по всем дорогам пошли шататься вооруженные бродяги, насильничая над мирным населением, опустошая запасы пищи и вина. В Венгрии и в Савеннах вспыхнули мятежи. Решалась судьба великих стран,— кому, какому флоту владеть океанами. Дела на Востоке пришлось предоставить самим себе.

Карл, сгоряча после Нарвы, собрался броситься за Петром в глубь Московии, но генералы умоляли его дважды не играть судьбой. Усталое и потрепанное войско было отведено на зимние квартиры в Лаису, близ Дерпта. Оттуда король написал в сенат высокомерное письмо, требуя пополнений и денег. В Сток-

гольме те, кто не желал войны,— замолчали. Сенат приговорил новые налоги и к весне послал в Лаису двадцать тысяч пехоты и конницы. На латинском языке была выдана в свет книга — «О причинах войны Швеции с московским царем»,— при европейских дворах ее прочли с удовлетворением.

Теперь у Карла была одна из сильнейших в Европе армий. Предстояло решить — в какую сторону направить удар: на восток, в пустынную Московию, где редкие и нищие города сулили мало добычи и славы, или — на юго-запад, против вероломного Августа,— в глубь Польши, в Саксонию, в сердце Европы? Там уже гремели пушки великих маршалов. У Карла кружилась голова в предчувствии славы второго Цезаря. Его гвардейцам, потомкам морских разбойников, мерещились пышные шелка Флоренции, золото в подземельях Эскуриала[1], светловолосые женщины Фламандии, кабаки на перекрестках баварских дорог...

Когда установился летний путь, Карл выделил восьмитысячный корпус под командой Шлиппенбаха,— велев ему идти к русской границе, сам со всею армией быстрыми маршами прошел Лифляндию, в двух верстах выше Риги, в виду неприятеля, переправился на барках через Двину и наголову разбил саксонские войска короля Августа. В этой битве, восьмого июля, был ранен Иоганн Рейнгольд Паткуль,— едва уйдя верхом от королевских кирасир, он на этот раз избежал плена и казни.

Под Ригой были разгромлены не какие-то вшивые русские, но славнейшие в Европе саксонские солдаты. Казалось, крылья Славы раскрылись за плечами. «Король Карл ни о чем больше не думает, как только о войне... (Так писал о нем в Стокгольм генерал Стенбок.) Он больше не слушает разумных советов... Он так разговаривает, будто бог непосредственно внушает ему дальнейшие замыслы... Он полон самомнения и безрассудства... Думаю,— если у него останется тысяча человек, и с теми он бросится на целую армию... Он не заботится даже — чем питаются его сол-

[1] Эскуриал — замок, резиденция испанских королей, близ Мадрида.

даты. Когда кого-нибудь из наших убивают,— его это больше не трогает...»

От Риги Карл устремился в погоню за Августом. В Польше началась кровавая междоусобица между панами: одни стояли за Августа и против шведов, другие кричали, что шведы одни могут навести порядок и помочь вернуть правобережную Украину с Киевом и что Польше нужен новый король (Станислав Лещинский). Август бежал из Варшавы. Карл без боя вошел в столицу. Август в Кракове торопливо собирал новое войско...

Началась редкостная охота — короля за королем. Снова при европейских дворах аплодировали юному герою,— его имя произносили рядом с именами принца Евгения и Мальборо. Говорили, что Карл не позволяет приблизиться к себе ни одной женщине, что он даже спит в своих ботфортах, что в начале сражения он появляется перед войском,— верхом, без шляпы, в неизменном серо-зеленом кафтане, застегнутом до шеи,— и с именем бога бросается первый на неприятеля, увлекает за собой войска... Расправляться на унылом Востоке с царем Петром он предоставил заботам генерала Шлиппенбаха...

Всю зиму Петр провел между Москвой, Новгородом и Воронежем (где шла напряженная стройка кораблей для черноморского флота). В Москву было свезено девяносто тысяч пудов колокольной меди. Начальником работ по отливке новой артиллерии назначен знаток горного дела, старый думный дьяк Виниус. При литейном заводе в Москве он учредил школу, где двести пятьдесят детей боярских, посадских и юношей подлого рода, но бойких, учились литью, математике, фортификации и гиштории. Не хватало красной меди для прибавки к колокольной,— Петр послал Виниуса в Сибирь — искать руду. В Льеже Андреем Артамоновичем Матвеевым (сыном убитого на Красном крыльце боярина Матвеева) закуплено было пятнадцать тысяч новейших ружей, скорострельные пушки, подзорные трубки, страусовые перья для офицерских шляп. В Москве работали пять суконных и полотняных мануфактур,— мастеров вер-

бовали за добрые деньги по всей Европе. От зари до зари шли солдатские ученья. Труднее всего было с офицерством: им и солдат учить и самим учиться, возведут человека в чин — он одуреет от власти, либо загуляет, пропьется...

Тогда, недели через две после нарвской неудачи, Петр написал Борису Петровичу Шереметьеву, собиравшему в Новгороде растрепанные остатки конных полков (кто без коня, кто без сабли, кто — гол начисто):

«...Не лепо при несчастье всего лишиться... Того ради повелеваю, — тебе при взятом и начатом деле быть и впредь, то есть — над конницей, с которой ближние места беречь для последующего времени, и идтить вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем: понеже людей довольно, так же реки и болота замерзли... Еще напоминаю: не чини отговорки ни чем, ниже болезнью... Получили болезнь многие меж беглецов, которых товарищ, майор Лобанов, повешен за такую болезнь...»

Но дворянская иррегулярная конница не была надежна, — на место ее набирали людей всякого звания: и мужиков и кабальных, — по вольной охоте за одиннадцать рублев в год с кормами, в десять драгунских полков. От кабалы и мужицкой неволи столько людей просилось в верхоконную службу — пришлось отбирать самых здоровых и видных. Обученные драгунские сотни уходили в Новгород, где генерал Аникита Репнин приводил в порядок и обучал бывшие при Нарве дивизии.

К новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск, — в пятнадцати верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Ново-Двинку. Летом в Архангельск на июньскую ярмарку приплыло много товарных кораблей из Англии и Голландии. (В этот год в казну были взяты для торговли с иностранцами новые, против прежнего, товары, — морской зверь, и рыбий клей, и деготь, и поташ, и воск... Царские гости все брали в казну, частным купцам оставалось торговать разве

кожаными изделиями да резной костью.) Двадцатого июня в устье Северной Двины ворвался шведский военный флот. Увидя новостроенную крепость, не посмел пренебречь — пройти мимо к Архангельску,— открыл по фортам Ново-Двинки огонь со всех бортов. Во время диверсии из четырех шведских фрегатов один сел на мель перед самой крепостью, за ним села яхта. Русские бросились в челны и с бою захватили и фрегат и яхту,— остальные суда без чести уплыли назад в Белое море.

Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шведы ходили под Печерский монастырь, но только сожгли кругом села, твердыни не взяли. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще тысяч восемь войска,— русские-де с каждым месяцем становятся все более дерзки, видимо — от нарвского разгрома они, против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении,— нынче с двумя бригадами легко не разбить русские войска... Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию,— он был глух к голосу благоразумия.

Так шли дела до декабря тысяча семьсот первого года.

Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал Шлиппенбах стал на зимние квартиры на мызе Эрестфер, под Дерптом. Узнал — и сам испугался дерзостной мысли: неожиданно войти в глубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Случай редкий. В прежние времена, конечно, Борис Петрович счел бы за лучшее не пытать неверного счастья, но за этот год стало очень жестко с Петром Алексеевичем: не давал никому ни покоя, ни отдыха, ставил в вину не столько то, что ты сделал, но то, что мог бы сделать доброго, а не сделал...

Приходилось пытать счастье. Борис Петрович одел в полушубки и валенки десять тысяч новонабранного и новообученного войска и с пятнадцатью легкими пушками на санях,— быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмы-

ков и татар,— в три дня подошел к Эрестферу. Шведы поздно заметили на высоком снежном берегу речонки Ая ушастых всадников с луками и конскими хвостами на копьях. Подполковник Ливен вышел к речке с двумя ротами и пушкой. На том берегу косоглазые варвары подняли изогнутые луки, пустили стаю стрел, раздался нарастающий, как бы волчий вой,— по крутым сугробам вниз через речку, поднимая снежную пыль, помчались справа и слева полосатые татары с кривыми саблями, синежупанные черкасы с пиками и арканами, в лоб налетели визжащие калмыки,— триста эстляндских стрелков Ливена и сам подполковник были порублены, поколоты, раздеты до исподнего.

Всполошился весь шведский лагерь. Новый отряд шестью пушками оттеснил от реки конных разведчиков. Шлиппенбах с горнистами скакал по лагерю, шведы выскакивали,— кто в чем был,— из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим частям. Все войско выстроилось перед мызой, артиллерийским огнем встретило подступавшую русскую армию. Борис Петрович в одном суконном кафтане, с трехцветным шарфом через плечо, верхом ехал в середине кареи.

Огонь шведов привел в конфузию передние сотни драгун, еще не видевших боя. Шведы устремились вперед. Но выскакавшие на санях пятнадцать легких пушек открыли такую скорострельную пальбу картечью,— шведы изумились, ряды их остановились в замешательстве. С флангов мчались на них оправившиеся драгунские полки Кропотова, Зыбина и Гулицы. «Братцы! — натужным голосом кричал Шереметьев посреди кареи.— Братцы! Ударьте хорошенько на шведа!..» Русские с привинченными багинетами двинулись вперед. Быстро наступали сумерки, озарявшиеся вспышками выстрелов. Шлиппенбах приказал отходить под прикрытие построек мызы. Но едва печальные горны запели отступление,— драгуны, татары, калмыки, черкасы с новой яростью налетели со всех сторон на пятящиеся, ощетиненные четырехугольники шведов, прорвали их, смяли. Началась резня... В темноте генерал Шлиппенбах сам-четверт едва ушел верхом в Ревель.

В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом, на кострах жарились целиком бараны, раздавали народу калачи. На Спасской башне свешивались шведские знамена. Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну, или портрет, усыпанный алмазами, и еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам,— участникам победы,— выдано было по серебряному рублю (впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек).

Борис Петрович со слезами благодарил и с Меньшиковым послал Петру письмецо, прося отпустить его в Москву по делам неотложным... «Жена моя по сей день живет на чужом подворье, надобно ей хоть какой домишко сыскать, где бы голову приклонить...» Петр ответил: «В Москве быть вам, господин генерал-фельдмаршал,— без надобности... Но — полагаю то на ваше рассуждение... А хотя бы и быть,— так, чтобы на страстной седмице приехать, а на святой — паки назад...»

Через шесть месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа,— из семи тысяч шведы в этом кровавом бою потеряли пять с половиной тысяч убитыми. Ливонию защищать было некому — путь к приморским городам открыт. И Шереметьев пошел разорять страну, города и мызы и древние замки рыцарей... К осени отписал Петру:

«...Всесильный бог и пресвятая богоматерь желание твое исполнили: больше того неприятельской земли разорять нечего, все разорили и запустошили, осталось целого места — Мариенбург, да Нарва, да Ревель, да Рига. С тем прибыло мне печали: куда деть взятый ясырь? Чухонцами полны и лагеря, и тюрьмы, и по начальным людям — везде... Да и опасно оттого, что люди какие сердитые... Вели учинить указ: чухон, выбрав лучших, которые умеют топором, овые которые художники,— отослать в Воронеж или в Азов для дела...»

2

Двенадцать дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. Ниоткуда подступиться к ней было нельзя,— стояла на небольшом островке (на озере Пойп), каменные стены поднимались прямо из воды, от ворот, укрепленных осадистым замком,— деревянный мост сажен на сто был разметан самими шведами.

В крепости находились большие запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьма годились. Борис Петрович велел крикнуть охотников, вышел к ним и сказал так: «В крепости вино и бабы,— постарайтесь, ребята, дам вам сутки гулять». Солдаты живо растащили несколько бревенчатых изб в прибрежной слободе, связали плоты, и человек с тысячу охотников, отталкиваясь шестами, поплыли к крепостным стенам. Шведские бомбы рвались посреди плотов.

Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. Шведы злы, ожесточены,— неужто отобьются? Брать осадой — ох, как не хотелось бы,— провозишься до глубокой осени. Вдруг увидел: близ крепостных ворот из земли вырвалось большое пламя,— бревенчатая надстройка на башне покачнулась. Рухнула часть стены. Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окно замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился.

. . . .

По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Тащили детей на руках, узлы и коробья. Женщины с плачем оборачивались к покинутым жилищам, в ужасе косились на русских, присматривавших добычу. Но едва последние беглецы покинули крепость, кованые ворота с грохотом захлопнулись, из узких бойниц вылетели дымки,— первым был убит поручик, приплывший в челне, чтобы поднять на крепости русское знамя. В ответ с берега ударили мортиры. Люди заметались на мосту, роняя в воду узлы и коробья. Огромное пламя под-

кинуло вверх крыши замка, взрыв потряс озеро, падающими камнями начало бить людей. Крепость и склады охватило пожаром. Выяснилось,— прапорщик Вульф и штык-юнкер Готшлих в бессильной ярости сбежали в пороховой погреб и подожгли фитиль. Вульф не успел уйти от взрыва. Штык-юнкер, обожженный и окровавленный, появился в проломе стены, свалился к воде,— его подобрали в челн.

. . . .

Комендант крепости с офицерами, войдя в избу, где важно — спиной к окошку — за накрытым к обеду столом сидел генерал-фельдмаршал Шереметьев, снял шляпу, учтиво поклонился и протянул шпагу. То же сделали и офицеры. Борис Петрович, бросив шпаги на лавку, начал зло кричать на шведов: зачем не сдавались раньше, причинили столько несносных обид и смерти людям, коварством взорвали крепость... В избе стояли обросшие щетиной, загорелые, отчаянные кавалерийские полковники, недобро поглядывали. Все же комендант мужественно ответил генерал-фельдмаршалу:

— Между нашими — много женщин и детей, также суперинтендант, почтенный пастор Эрнст Глюк с женой и дочерьми... Прошу их пропустить свободно, не отдавая солдатам... Женщины и дети тебе не составят чести...

— Знать ничего не хочу! — крикнул Борис Петрович... Мягкое, привычное скорее домашнему обиходу бритое лицо его вспотело от гнева. Вжимая живот, вылез из-за стола.— Господина коменданта и господ офицеров взять под караул! — Оправил трехцветную перевязь, воинственно накинул малинового сукна короткий плащ, сопровождаемый полковниками — вышел к войскам.

Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около трехсот пленных шведов стояло, понурясь, на берегу. Русские солдаты, еще не зная — как прикажут с пленными, только похаживали около ливонских сердитых мужиков,— недели две тому назад бежавших в Мариенбург, в осаду, от нашествия,— заговаривали с женщинами, сидевшими на узлах, горестно уткнув

головы в колени. Заиграла труба. Важно шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами.

Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянули чьи-то глаза,— точно два огонька — обожгли сердце... Время военное,— иной раз женские глаза — острее клинка. Борис Петрович кашлянул важно — «Гм!» — и обернулся... За пыльными солдатскими кафтанами — голубая юбка... Насупился, выпятив челюсть, и — увидел эти глаза — темные, блестевшие слезами и просьбой и молодостью... На фельдмаршала из-за солдатских спин, поднявшись на цыпочки, глядела девушка лет семнадцати. Усатый драгун накинул ей поверх платьишка мятый солдатский плащ (августовский день был прохладен) и сейчас старался оттереть ее плечом от фельдмаршала. Она молча вытягивала шею, измученное страхом свежее лицо ее силилось улыбаться, губы морщились. «Гм»,— в третий раз крякнул Борис Петрович, пошел мимо к пленным...

. . . .

В сумерки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке, вздыхал... В избе при нем был только один Ягужинский, царапал пером на углу стола...

— Смотри — глаза попортишь,— тихо сказал Борис Петрович.

— Кончаю, господин фельдмаршал...

— Ну, кончаешь,— кончай... (И — уже совсем про себя.) Так-то вот оно нашего брата... Ну, ну... Ах ты, боже мой...

Легонько постукивал всей горстью по столу, глядел в мутное окошечко. На озере — в крепости еще полыхало... Ягужинский весело-насмешливо косился на господина фельдмаршала: ишь, как его подперло, шея надулась, лицо потерянное.

— Отнесешь указ-то полковнику,— сказал Борис Петрович,— да зайди во второй драгунский полк, что ли... Этого, как его, Оську Демина, урядника, разыщи. Там с ним в обозе — бабенка одна... Жалко — пропадет,— замнут драгуны... Ты ее приведи-ка сюда... Постой... Оське — на-ка — передай рубль,— жалую, скажи...

— Все будет исполнено, господин фельдмаршал...

Борис Петрович — один в избе — кряхтел, качал головой. И ведь ничего не поделаешь: без греха, как ты ни старайся,— не прожить... В девяносто седьмом году ездил в Неаполь... Привязалась к сердцу черненькая одна... Хоть плачь... И на Везувий лазил, глядел на адский огонь, и на острове Капри лазил на страшные скалы, глядел капища поганских римских богов, и прилежно осматривал католические монастыри, глядел и руками трогал: доску, на которой сидел господь бог, умывая ученикам ноги, и часть хлеба тайные вечери, и крест деревянный — в нем часть пупа Христова и часть обрезанья, и один башмак Христов — ветхий, и главу пророка Захарии — отца Иоанна Предтечи, и многое другое вельми предивное и пречудесное... Так нет же — все заслонила ему востроглазая Джулька, с бубном плясала, песни пела... Хотел взять ее в Москву, в ногах валялся у девчонки... Ах, боже мой, боже мой...

Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом,— легонько втолкнул в избу давешнюю девушку в голубом платье, в опрятных белых чулках,— грудь накрест перевязана косынкой, в кудрявых темных волосах — соломинки (видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами)... Девушка у порога опустилась на колени, низко нагнула голову — явила собой покорность и мольбу.

Ягужинский, бодро крякнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку... Ладная, видать — ловкая, шея, руки — нежные, белые... Весьма располагающая. Заговорил с ней по-немецки:

— Зовут как?

Девушка легко, коротко вздохнула:

— Элене Экатерине...

— Катерина... Хорошо... Отец кто?

— Сирота... Была в услужении у пастора Эрнста Глюка...

— В услужении... Очень хорошо... Стирать умеешь?

— Стирать умею... Многое умею... За детьми ходить...

— Видишь ты... А у меня исподнего платья простирать некому... Ну, что же,— девица?

Катерина всхлипнула, и — не поднимая головы:

— Нет уже... Недавно вышла замуж...

— А-а-а... За кого?

— Королевский кирасир Иоганн Рабе...

Борис Петрович насупился. Спросил неласково про кирасира: где же он — среди пленных? Может, убит?

— Я видела, Иоганн с двумя солдатами бросился вплавь через озеро... Больше его не видала...

— Плакать, Катерина, не надо... Молода... Другого наживешь... Есть хочешь?

— Очень,— ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась,— покорно, доверчиво. Борис Петрович подошел к ней, взял за плечи, поднял, поцеловал в тонкие теплые волосы. И плечи у нее были теплые, нежные...

— Садись к столу. Покормим. Обижать не будем. Вино пьешь?

— Не знаю...

— Значит — пьешь...

Борис Петрович крикнул денщика, строго (чтобы солдат чего не подумал лишнего, боже упаси — не ухмыльнулся) приказал накрывать ужинать. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину: ишь ты — какая голодная! Ест опрятно, ловко,— взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно приоткроет белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели...

— Платьишки твои, чай, все погорели?..

— Все пропало,— беспечно ответила она...

— Ничего, наживем... На неделе поедем в Новгород, там тебе будет лучше. Сегодня — по-походному — на печи будем спать...

Катерина из-под ресниц тёмно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой...

— Ишь ты, какая... Катерина, баба...— Сил нет, до чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка... Потянувшись через стол, взял ее за кисть

руки. Она все прикрывалась, сквозь пальцы чудно блестел ее глаз.— Ну, ну, ну, в крепостные тебя не запишем, не бойся... Будешь жить в горницах... Мне економка давно нужна...

8

Когда разбитые под Нарвой войска возвращались в Новгород,— много солдат убежало — кто на север в раскольничьи погосты, кто на большие реки: на Дон, за Волгу, на низовье Днепра... Ушел и Федька Умойся Грязью, угрюмый, все видавший мужик... (Ему бы и так не сносить головы за убийство поручика Мирбаха.) В побег сманил Андрюшку Голикова — все-таки вместе когда-то тянули лямку на Шексне, долго ели из одного котла. Андрюшке после нарвского ужаса все равно куда было идти, только не опять под ружье...

Ночью со стоянки они увели полковую клячу, продали ее в монастырь за пятьдесят копеек, деньги разделили, завернули в тряпицы. Пошли стороной от большой дороги, от деревни к деревне, где прося милостыню, а где и воруя,— у попа со двора унесли куренка, в Осташкове у бурмистра со двора унесли узду наборную и седелку, продали кабатчику. Два раза удалось сорвать церковную кружку, но она — пустая, в другой — копеечка на дне.

Зиму перебились на Валдае в занесенных снегами курных избах с угоревшими от дыма ребятами, с кричащими в зыбках под вой ночного ветра младенцами... Часто Андрюшка Голиков просыпался среди ночи, садился, держа себя за голые ступни. Рядом на вонючей соломе в углу жует теленок. Мужик храпит на лавке. На полу под шестком спит баба, поджав коленки. Бормочут во сне угоревшие ребята на печи. Тараканы кусают у младенца кончики пальцев и щеки. Младенец в люльке — уа-а-а, уа-а-а... Неведомо, зачем родился, неведомо, зачем грызут его тараканы...

— Чего ты не спишь, Андрей? — спрашивает Федька (он тоже не спит, думает).

— Федя, уйдем...

— Куда — уйдем, дурной, ночью-то, в метель...

— Томно, Федя...

— Вонища здесь, дышать трудно. Живут хуже скотов. Вон как храпит мужик-та. Нахрапится, ковшик воды выпьет и пошел работать, как лошадь — целый день... Давеча спрашивал — у них вся деревня на барщине. Молодой помещик ушел с войском, а старый живет здесь, в деревне, за оврагом, у него хороший двор. Старик — скряга, драчун. Все начисто берет у мужиков, одну лебеду оставит... И мужики у него все — глупые. Кто поумнее, побойчее — он его сейчас на телегу, везет в Валдай и на базаре мужика этого продает, прямо с воза — сам. Умных всех вывел — ему и спокойнее. Тут и дети глупые родятся, бессловесные...

Андрюшка сидит, сжимая голые, холодные ступни, раскачивается. Десятерым досыта хватило бы того, что за двадцать четыре года вынес Андрей. Живуч... И даже не хилым телом живуч, а неугасимым желанием уйти из мрака... Будто лезет, ободранный, голодный, через бурелом, через страшные места,— год за годом, версты за верстами,— веря, что где-то — светлый край, куда он все-таки придет, продерется сквозь жизнь. Где этот край, какой он?

Вот и сейчас, плохо слушая, что говорит Федька,— рядом на соломе,— Андрей раскрыл глаза в тьму... Не то вспоминается, не то чудится: зеленый бугор, береза,— всеми веточками, всеми листочками дрожит, трепещет от теплого ветра... Ох, радость... И нет ее... Плывет лицо, невиданное никогда, ближе,— подплыло вплоть, раскрывает глаза, глядит на Андрюшку,— живее живого... Будь сейчас доска, кисть, краски — списал бы его... Усмехнулось, проплыло... В голубоватом тумане чудится город... Предивный, пречудесный, ох, какой город! Где же искать город этот, где искать дрожащую листами березу, усмехнувшееся дивное лицо?

— Утрась прямо айда на усадьбу, наврем боярину — сколько он хочет, глядь и покормят на людской,— хрипит Федька. На богатых дворах он всегда начинал рассказы про нарвскую беду,— врал, что было и чего не было, и в особенности до слез доводил

слушателей (бывало, и сам помещик зайдет от скуки в людскую и пригорюнится, подперев щеку) — до слез доводил рассказом про то, как король Карл, побив неисчислимые тысячи православного воинства, ехал по полю битвы...

«...Лицом светел, в левой ручке — держава, в правой ручке — вострая сабля, сам — в золоте, серебре, конь под ним — сивый, горячий, по брюхо в человечьей крови, коня под уздцы ведут два мужественных генерала... И наезжает король на меня... А я лежу, конечно, в груди у меня пуля... Около меня шведы как мешки накиданы — убитые. Наехал на меня король, остановился и спрашивает генералов: «Что за человек лежит?» Генералы ему отвечают: «Это лежит храбрый русский солдат, сражался за православную веру, убил один двенадцать наших гренадеров». Король им отвечает: «Мужественная смерть». Генералы ему: «Нет, он живой, у него в груди — пуля». И они меня поднимают, я встаю, беру мушкет и делаю на полный караул, как полагается перед королем. И он говорит: «Молодец,— вынимает из кармана золотой червонец: — На, говорит, тебе, храбрый русский солдат, иди спокойно в свое отечество да скажи русским: с богом не боритесь, с богатым не судитесь, со шведом не деритесь...»

Без осечки, после такого рассказа Федьку, а с ним и Андрея, оставляли в людской ночевать и кормили. Но трудно было пробираться на богатый двор. Люди стали недоверчивы. Год от году все больше народу бегало от войскового набора, от военных и земских повинностей,— скрывались в лесах, шалили и в одиночку и шайками... Были такие городки, где остались одни старики, старухи да малые дети,— про кого ни спроси: — этот взят в драгуны, этот на земляных работах или увезен на Урал, а этот — еще недавно держал на базаре лавку — и почтенный и богобоязненный,— бросил жену, малых ребят, свистит с кистенем в овраге у большой дороги...

Федька не раз задумывался,— не пристать ли к разбойникам, пошалить? Да и так рассуждая: куда было деваться? Не век бродить меж двор,— надоест...,

Но Андрей — ни за что... Уперся, — пойдем, пойдем на полдень до края земли... Федька ему: «Ну, придешь, опять же там — люди, даром кормить не станут, придется батрачить у казаков или лезть в кабалу к помещику, ломать спину на черта... А пошалили бы да погуляли — глядь и зашили бы каждый в шапку по сто рублев. С такими деньгами в купцы можно выйти. Тут уж к тебе ни драгун, ни подьячий, ни помещик не привяжется, — сам хозяин...»

Один раз, — это было летом, — сидели на вечерней заре в поле. От костра из сухого навоза тянул дымок, ветер клонил стебли, посвистывал. Андрюшка глядел на догоревшую зарю, ее осталось — тусклая полоса у края земли.

— Федя, вот что я тебе скажу один раз... Живет во мне сила, ну такая сила — больше человеческой... Слушаю — ветер свистит по стеблям и — понимаю, так понимаю все, — грудь разрывает... Гляжу — заря вечерняя, сумрак, и — все понимаю, так бы и разлился по небу с этой зарей, такая во мне печаль и радость...

— У нас в деревне был дурачок, гусиный пастух, — сказал Федька, ковыряя стеблем в рассыпающихся углях, — такое же нес, бывало, понять ничего нельзя... Играл хорошо на тростниковых дудках, — всей деревней ходили слушать... Тогда искали людей к покойному к Францу Лефорту в музыканты, — что ж ты думаешь — взяли его...

— Федя, мне под Нарвой рассказывал крепостной человек Бориса Петровича про итальянскую страну... Про живописцев... Как они живут, как они пишут... Я не успокоюсь, рабом последним отдамся такому живописцу — краски тереть... Федя, я умею... Взять доску деревянную, дубовую, протереть маслицем, покрыть грунтом... В черепочках натрешь красок, иные на масле, а иные на яйце... Берешь кисточки... (Голиков говорил совсем тихо, не заглушал посвистывания ветра.) Федя, день просветлел и померк, а у меня на доске день горит вечно... Стоит ли древо, — береза, сосна, — что в нем? А взгляни на мое древо на моей доске, все поймешь, заплачешь...

— Где ж она, страна эта?
— Не знаю, Федя... Спросим,— скажут.
— Можно и туда... Все равно.

4

Весною семьсот второго года в Архангельск прибыли на корабле десять шлюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалованье (по семнадцати рублев двадцати копеек в месяц, на государевых кормах). Половину мастеров отправили под Тулу, на Ивановское озеро — строить (как было задумано в прошлом году) тридцать один каменный шлюз между Доном и Окой через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний Волочок — строить шлюз между Тверицей и Мстою.

Вышневолоцким шлюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером, Ивановскими шлюзами — Ладожское озеро, все Поволжье — с Черным морем.

Петр был в Архангельске, где укрепляли устье Двины и строили фрегаты для беломорского флота. Здешние промышленники рассказали ему, что издавна известен путь из Белого моря в Ладогу — через Выг, Онего-озеро и Свирь. Путь трудный — много переволок и порогов, но если прокопать протоки и поставить шлюзы до Онего-озера — все беломорское приморье повезет товары прямым сплавом в Ладогу.

Туда — в Ладожское озеро —упирались все три великих пути от трех морей,— Волга, Дон и Свирь. От четвертого — Балтийского моря — Ладогу отделял небольшой проток Нева, оберегаемый двумя крепостями — Нотебургом и Ниеншанцем. Голландский инженер Исаак Абрагам говорил Петру, указывая на карту: «Прокопав шлюзовые каналы, вы оживите мертвые моря, и сотни ваших рек, воды всей страны устремятся в великий поток Невы и понесут ваши корабли в открытый океан».

Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени семьсот второго года. Апраксин — сын адми-

рала — все лето разорял Ингрию, дошел до Ижоры и на берегу быстрой речки, вьющейся по приморской унылой равнине, разбил шведского генерала Кронгиорта, отбросил его на Дудергофские холмы, откуда тот в конфузии отступил за Неву в крепостцу Ниеншанц, что на Охте.

Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Назии. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с пятью батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбачьей деревни Нюхча. Отсюда он послал в Сороку, в раскольничий погост, что при устье Выга, капитана Алексея Бровкина. (Летом Иван Артемич — добился — разменял сына на пленного шведского подполковника,— сам ездил в Нарву, еще дал в придачу триста ефимков.) Алексей должен был проплыть в челне по всему Выгу и посмотреть — пригодна ли река для шлюзованья.

Из Нюхчи войска пошли через Пул-озеро и погост Вожмосальму на Повенец,— просеками, гатями и мостами. Дорогу эту в три месяца построил сержант Щепотев, согнав крестьян и монастырских служек из Кеми, из Сумского посада, из раскольничьих погостов и скитов. Войска волокли на катках две оснащенные яхты. Шли болотами, где гнил лес и звенели комары, мхом, как шубою, покрыты были огромные камни. Увидели дивное Выг-озеро с множеством лесистых островов,— их ощетиненные горбы, подобно чудовищам, выходили из залитых солнцем вод. В бледном небе — ни облака, озеро и берега — пустынны, будто все живое попряталось в чащобы.

. . . .

В десяти верстах от военной дороги, в Выгорецкой Даниловой обители день и ночь шли службы, как на страстную седьмицу. Мужчины и женщины в смертной холщовой одежде молились коленопреклоненные, неугасимо жгли свечи. Все четверо ворот — наглухо заперты, в воротных сторожках и около моленных за-

готовлены солома и смола. В эти дни из затвора вышел старец Нектарий. После сожжения паствы и побега он, будучи не при деле, поселился в обители. Но Андрей Денисов его не жаловал и к народу не допускал. Нектарий со зла сел в яму молчальником, сидел молча два года. Когда к яме, прикрытой жердями и дерном, кто-либо подходил — старец кидал в него калом. Сегодня он самовольно явился народу,— узкая борода отросла до колен, мантия изъедена червями, в дырья сквозили желтые ребра. Вздев высохшие руки, он закричал: «Андрюшка Денисов за пирог с грибами Христа продал... Что смотрите?.. Сам антихрист к нам пожаловал, с двумя кораблями на полозьях... Набьют вас туда, как свиней,— увезут в ад кромешный... Спасайтесь... Не слушайте Андрюшку Денисова... Глядите, как он морду надул в окошке... Ему царь Петр пирог с начинкой прислал...»

Андрей Денисов, видя, что оборачивается худо и, пожалуй, найдутся такие, кто и на самом деле захочет гореть,— начал попрекать старца и кричал на него из окна кельи: «Должно быть, в яме ты с ума спятился, Нектарий, тебе только людей жечь — весь бы мир сжег... Царь нас не трогает, пусть его идет мимо с богом, мы сами по себе... А что меня пирогом попрекаешь,— пирогов за век ты больше моего сожрал. Мы знаем — кто тебе по ночам в яму-то курятину таскает, всех курей перевел в обители,— костей полна яма».

Тогда кое-кто кинулся к яме, и верно,— в углу закопаны куриные кости. Началось смущение. Андрей Денисов тайно вышел из обители и на хорошей лошади поехал за реку, к войску,— нашел его по зареву костров, по ржанию коней, по пению медных труб на вечерней заре.

Петр принял Андрея Денисова в полотняном шатре,— сидел с офицерами у походного стола, все курили трубки, отгоняя дымом комаров. Увидев свежего мужчину в подряснике и скуфье, Петр усмехнулся:

— Здравствуй, Андрей Денисов, что скажешь хорошего? Все ли еще вы двумя перстами от меня берегаетесь?

Денисов, как ему было указано, сел к столу, не морщась, но лишь у самого носа отмахиваясь от табачного дыма, сказал честно, светло глядя в глаза:

— Милостивый государь, Петр Алексеевич... Начинали мы дело на диком месте,— сходился сюда темный народ, всякие люди. Иных лаской в повиновение приводили, а иных и страхом. Пужали тобой,— прости, было... В большом начинании не без промашки. Было всякое, и такое, что и вспоминать не стоит...

— А теперь что делается? — спросил Петр.

— Теперь, милостивый государь, хозяйство наше стоит прочно. Пашни общей расчищено свыше пятисот десятин да лугов столько же. Коровье стадо — сто двадцать голов. Рыбные ловли и коптильни, кожевни и валяльни. Свое рудное дело. Рудознатцы и кузнецы у нас такие, что и в Туле нет...

Петр Алексеевич уже без усмешки переспрашивал,— в каких местах какие руды? Узнав, что железо — по берегам Онего-озера, и даже близ Повенца есть место, где из пуда руды выплавляют полпуда железа,— задымил трубкой:

— Так чего же вы, беспоповцы, от меня хотите?

Денисов, подумав, ответил:

— Тебе, милостивый государь, для войска нужно железо. Укажи,— поставим, где удобнее, плавильные печи и кузницы. Наше железо — лучше тульского и обойдется дешевле... Акинфий Демидов на Урале считает по полтинничку...

— Врешь, по тридцати пяти копеек...

— Что ж, и мы по тридцати пяти посчитаем. Да ведь Урал далеко, а мы — близко... Тут и медь есть. Строевые мачтовые леса под Повенцом, на Медвежьих горах,— по сорока аршин мачты, звенит дерево-то... Будет Нева твоя, плоты станем гнать в Голландию. Одного боимся — попов с подьячими... Не надо нам их... Прости меня, говорю, как умею... Оставь нас жить своим уставом... Страх-то какой!.. В обители третий день все работу побросали, обрядились в саваны, поют псалмы... Скотина не поена, не кормлена — ревет в хлевах. Пошлешь нам попа с крыжом, с при-

частием,— все разбегутся — куда глаза глядят... Разве удержишь... Народ все пытаный, ломаный. Уйдут опять в глушь, и дело замрет...

— Чудно́,— сказал Петр.— А много у вас народа в обители?

— Пять тысяч работников мужска и женска пола, да престарелые на покое, да младенцы...

— И все до одного вольные?

— От неволи ушли...

— Ну что ж мне с вами делать? Ладно, снимайте саваны... Молитесь двумя перстами, хоть одним,— платите двойной оклад со всего хозяйства...

— Согласны, со всей радостью...

— В Повенец пошлете мастеров — лодочников добрых. Мне нужны карбасы и йолы, судов пятьсот...

— Со всей радостью...

— Ну, выпей мое здоровье, Андрей Денисов.— Петр налил из жестяного штофа водки полную чарку, поднес с наклонением головы. Денисов побледнел. Светлые глаза метнулись. Но — достойно встал. Широко, медленно, прижимая два перста, перекрестился. Принял стопку. (Петр пронзительно глядел на него.) Выпил до капли. Сняв скуфью, вытер ею красные губы.

— Спасибо за милость.

— Закуси дымом.

Петр протянул ему трубку — обмусоленным чубуком вперед. Теперь у Денисова в глазах мелькнула усмешка,— не дрогнув, взял было трубку. Петр отстранил ее.

— А места... (Сказал, будто ничего и не было.) А места, где найдете руду, и земли кругом, сколько потребуется, обмеряйте и ставьте столбы. О сем пишите в Москву — Виниусу. Я ему скажу, чтобы с промыслов и плавильных печей пошлины не брать лет десять... (Денисов поднял брови.) Маловато? Пятнадцать лет не будем брать пошлины. О цене на железо договоримся. Начинайте работать — не мешкая. Понадобятся люди, или еще какая нужда,— пиши Виниусу... Денег не просите... Выпей-ка еще стопку, святой человек...

• •

В конце сентября, в непогожие дни, три войска, соединясь на берегах Назии, двинулись к Нотебургу. Древняя крепость стояла на острову посреди Невы, у самого выхода ее из Ладоги. Судам можно было попадать в реку по обоим рукавам мимо крепости не иначе, как саженях в десяти от бастионов, под жерлами пушек.

Войска вышли на мыс перед Нотебургом. Сквозь низко летящие дождевые облака виднелись каменные башни с флюгарками на конусных кровлях. Стены были так высоки и крепки — русские солдаты, рывшие на мысу апроши и редуты для батарей, только вздыхали. Недаром при новгородцах, построивших эту крепость, звалась она Орешек,— легко не раскусишь. Шведы, казалось, долго раздумывали. На стенах не было видно ни души. Хмурыми облаками заволакивались свинцовые кровли. Но вот на круглой башне замка на мачту поползло королевское знамя со львом,— захлестало по ветру. Медным ревом ударила тяжелая пушка, ядро шипя упало в грязь на мысу перед апрошами. Шведы приняли бой.

Правый берег Невы, по ту сторону крепости, был сильно укреплен, со стороны озера попасть туда было трудно из-за болот. Заранее, еще до прихода всего войска к Нотебургу, по левому берегу прорубили просеку от озера через мыс к Неве. Теперь несколько тысяч солдат вытаскивали на канатах ладьи из Ладожского озера, волокли их по просеке и спускали в Неву — ниже крепости. Человек по пятидесяти, ухватясь за концы, тянули, другие поддерживали с бортов, чтобы судно ползло на киле по бревнам. «Еще раз! Еще раз! Берись дружней!» — кричал Петр. Кафтан он бросил, рубашка промокла, на длинной шее, перетянутой скрученным галстуком, вздулись жилы, ноги сбил в щиколотках, попадая между бревен... Хватался за конец, выкатывал глаза: «Разом! Навались!» Люди не ели со вчерашнего дня, в кровь ободрали ладони. Но чертушка, не отступая, кричал, ругался, дрался, тянул... К ночи пятьдесят тяжелых лодок — с помостами для стрелков на носу и корме — удалось переволочь и спустить в Неву. Люди не хотели и есть,—

засыпали где кто повалился, на мокром мху, на кочках.

Барабаны затрещали еще до зари. Прапорщики трясли людей, ставили на ноги. Было приказано — зарядить мушкеты, два патрона (оберегая от дождя) положить за пазуху, по две пули положить за щеку. Солдаты, прикрывая замки полами кафтанов, влезали на помосты качающихся лодок. Била волна. В темноте плыли на веслах через быструю реку на правый берег. Там шумел лес. Солдаты спрыгивали в камыши. Шепотом ругались офицеры, собирая роты.

Ждали. Начала проступать ветреная заря — малиновые полосы сквозь летучий туман. По свинцовой реке подошел весельный бот. Из него выскочили Петр, Меньшиков и Кенигсек. (Саксонский посланник попросился в поход добровольцем и состоял при царе.) «Готовься!» — протяжно закричали голоса. Петр, цепляясь за кусты, взобрался на обрывистый берег. Ветер поднимал полы его короткого кафтана. Он зашагал смутно различимой длинной тенью,— солдаты торопливо шли за ним. По левую его руку — Меньшиков с пистолетами, по правую — Кенигсек. Они вдруг остановились. Первый ряд солдат, продолжая идти, обогнал их. Петр приказал: «Мушкет на караул... Взводи курки... Стрельба плутонгами...» По рядам резко защелкали кремни... Второй ряд прошел вперед, минуя Петра. «Глядеть пред себя! — диким голосом закричал Петр.— Первый плутонг палить!» Ружейными вспышками осветились мотавшиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями — низкая насыпь шведского шанца. Оттуда тоже стреляли, но неуверенно. «Второй плутонг... Палить!» Второй ряд, так же как и первый, выстрелив, упал на колени... «Третий... Третий! — кричал срывающийся голос.— Багинет пред себя... Бегом...»

Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды, крича все громче и злее, тысячной горячей толпой, уставя штыки, хлынули на земляное укрепление. Изо рва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убегала в сторону леса.

Шанцы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассвело — через реку переправили мортиры. И в тот же день начали кидать ядра в Нотебург с обоих берегов реки.

. . . .

В крепости, выдержавшей две недели жестокой бомбардировки, начался большой пожар и взрывы артиллерийских погребов, отчего обвалилась восточная часть стены. Тогда увидели лодочку с белым флагом на корме, она торопливо плыла к мысу, к шанцам. Русские батареи замолчали. От мортир, обливаемых водой, валил пар. Из лодки вылез высокий бледный офицер — голова его была обвязана окровавленным платком. Неуверенно оглядывался. Через шанец к нему перепрыгнул Алексей Бровкин,— дерзко глядя, спросил:

— С чем хорошим пожаловал?

Офицер быстро заговорил по-шведски,— указывал на огромный дым, поднимавшийся из крепости в безветренное небо.

— Говори по-русски,— сдаетесь или нет? — сердито перебил Алексей.

На помощь к нему подошел Кенигсек,— нарядный, улыбающийся,— вежливо снял шляпу — поклонился офицеру и, переспросив, перевел: что-де жена коменданта и другие офицерские жены просят позволить им выйти из крепости, где невозможно быть от великого дыма и огня. Алексей взял у офицера письмо о сем к Борису Петровичу Шереметьеву. Повертел. Вдруг исказился злобой, бросил письмо под ноги офицеру, в грязь:

— Не стану докладывать фельдмаршалу... Это — что ж такое? Баб выпустить из крепости. А нам еще две недели на штурмах людей губить... Сдавайтесь на аккорд сейчас же,— и весь разговор...

Кенигсек был вежливее: поднял письмо, отер о кафтан, вернул офицеру, объяснив, что просьба — напрасна. Офицер, пожимая плечами, негодуя, сел в лодку, и — только отплыл — рявкнули все сорок две мортиры батарей Гошки, Гинтера и Петра Алексеевича.

Всю ночь пылал пожар. На башнях расплавлялись свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. Заревом освещалась река, оба стана русских и ниже по течению — сотня лодок у берега наготове, с охотниками, тесно стоящими на помостах, со штурмовыми лестницами, положенными поперек бортов. После полуночи канонада замолкла, слышался только шум бушующего огня.

Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка. Надрывающе забили барабаны. Ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры: Михайла Голицын, Карпов и Александр Меньшиков. (Вчера Алексашка со слезами говорил Петру: «Мин херц, Шереметьев в фельдмаршалы махнул... Надо мной люди смеются: генерал-майор, губернатор псковский! А на деле — денщик был, денщиком и остался... Пусти в дело за военным чином...»)

Петр с фельдмаршалом и полковниками был на мысу, на батарее. Глядели в подзорные трубы. Ладьи быстро подходили с восточной стороны, там, где обвалилась стена,— навстречу им неслись каленые ядра. Первая лодка врезалась в берег, охотники горохом скатились с помостов, потащили лестницы, полезли. Но лестницы не хватали доверху, даже в проломе. Люди взбирались на спины друг другу, карабкались по выступам. Сверху валились камни, лился расплавленный свинец. Раненые срывались с трехсаженной высоты. Несколько лодок, подожженных ядрами, ярко пылая, уплывали по течению.

Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя,— совал трубу под мышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане (несколько уже оторвал). Лицо — землистое, губы черные, глаза ввалились...

— Ну, что же это, что такое! — глухо повторял, дергал шеей, оборачивался к Шереметьеву. (Борис Петрович только вздыхал неторопливо,— видал дела и пострашнее за эти два года.)

— Опять пожалели снарядов... Бери голыми руками! Нельзя же так!..

Борис Петрович отвечал, закрывая глаза:

— Бог милостив, возьмем и так...

Петр, расставя ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу.

Много раненых и убитых валялось под стенами. Солнце было уже высоко, задернуто пленками. К облакам поднимался дым из крепостных башен, но пожар, видимо, слабел. Новый отряд охотников, подойдя в лодках с западной стороны, кинулся на лестницы. У всех в зубах горящие фитили,— выхватывали из мешков гранаты, скусывали, поджигали, швыряли. Кое-кому удалось засесть в проломе, но оттуда — не высунуть головы. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку,— то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой...

Казалось, все надежды, судьба всех тяжких начинаний — в упорстве этих маленьких человечков, суетливо двигающихся на лестницах, передыхающих под выступами стен, стреляющих, хоронясь за кучи камней от шведской картечи... Помочь ничем нельзя. Батареи принуждены бездействовать. Были бы в запасе лодки,— перевезти еще тысячи две солдат на подмогу. Но свободных лодок не было, и не было лестниц, не хватало гранат...

— Батюшка, отошел бы в шатер, откушал бы,— отдохни... Что сердце зря горячить,— говорил с бабьим вздохом Борис Петрович.

Петр, не опуская трубы, нетерпеливо оскалился. Там, на стене, появился высокий седобородый старик в железных латах, в старинной каске. Указывая вниз, на русских, широко развел рот,— должно быть, кричал. Шведы тесно обступили его, тоже кричали,— видимо, о чем-то спорили. Он оттолкнул одного, другого ударил пистолетом,— тяжело полез вниз по уступам камней — в пролом. За ним туда скатилось человек с полсотни. В проломе сбились в яростную кучу шведы и русские. Человеческие тела, как кули, летели вниз... Петр закряхтел длинным стоном.

— Этот старик — комендант — Ерик Шлиппенбах,

старший брат генералу Шлиппенбаху, которого я бил,— сказал Борис Петрович.

Шведы быстро овладели проломом, защелкали оттуда из мушкетов. Сбегали по лестницам вниз, кидались с одними шпагами на русских. Высокий старик в латах, стоя в проломе, топал ногой, взмахивал руками, как петух крыльями... («Швед осерчает — ему и смерть не страшна», — сказал Борис Петрович.) Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Какой-то человек, с обвязанным тряпкою лицом, метался, отгоняя солдат от лодок, чтобы в них не садились,— прыгал, дрался... Навалившись на нос лодки — отпихнул ее, порожнюю, от берега. Прыгнул к другой — отпихнул... («Мишка Голицын,— сказал Борис Петрович,— тоже горяч».) Рукопашный бой был у самых лодок...

Двенадцать больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения к крепости. Это был последний резерв, отряд Меньшикова. Алексашка, без кафтана — в шелковой розовой рубахе,— без шляпы, со шпагой и пистолетом, первым выскочил на берег... («Хвастун, хвастун»,— пробормотал Петр.) Шведы, увидя свежего противника, побежали к стенам, но только часть успела взобраться наверх, остальных покололи. И снова со стен полетели камни, бревна, бухнула пушка картечью. Снова русские полезли на лестницы. Петр следил в трубу за розовой рубашкой. Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу... Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлиппенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах — старика едва уберегли свои, утащили наверх... Шведы ослабели под этим новым натиском... («Вот — черт!» — крикнул Петр и затопал ботфортом.) Розовая Алексашкина рубаха уже металась на самом верху, между зубцами стены.

Было плохо видно в подзорную трубу. Огромное раскаленное зарево северного заката разливалось за крепостью.

— Петр Алексеевич, а ведь никак белый флаг выкинули,— сказал Борис Петрович.— Уж пора бы,— тринадцать часов бьемся...

. . . .

Ночью на берегу Невы горели большие костры. В лагере никто не спал. Кипели медные котлы с варевом, на колышках жарились целиком бараны. У распиленных пополам бочек стояли усатые ефрейторы,— оделяли водкой каждого вволю,— сколько душа жаждет.

Охотники, еще не остывшие от тринадцатичасового боя, все почти перевязанные окровавленным тряпьем, сидя на пнях, на еловых ветвях у костров, рассказывали плачевные случаи о схватках, о ранах, о смерти товарищей. Кружком позади рассказчиков стояли, разинув рты, солдаты, не бывшие в бою. Слушая, оглядывались на смутно чернеющие на реке обгорелые башни. Там, под стенами опустевшей крепости, лежали кучи мертвых тел.

Погибло смертью свыше пятисот охотников, да на телегах в обозе и в палатках стонало около тысячи раненых. Солдаты со вздохом повторяли: «Вот он тебе Орешек,— разгрызли».

. . . .

За ручьем, на пригорке, из освещенного царского шатра доносились крики и роговая музыка. Стрельбы при заздравных чашах не было,— за день настрелялись. Время от времени из шатра вылезали пьяные офицеры за нуждой. Один — полковник,— подойдя к берегу ручья, долго пялился на солдатские костры по ту сторону,— гаркнул пьяно:

— Молодцы, ребята, постарались...

Кое-кто из солдат поднял голову, проворчал:

— Чего орешь, иди — пей дальше, Еруслан-воин.

Из шатра, также за нуждой, вышел Петр. Пошатываясь — справлялся. Огни лагеря плыли перед глазами: редко пьянел, а сегодня разобрало. Вслед вышли Меньшиков и Кенигсек.

— Мин херц, тебе, может, свечу принести, чего долго-то? — пьяным голосом спросил Алексашка.

Кенигсек засмеялся: «Ах, ах!» — как курица, начал приплясывать, задирая сзади полы кафтана.

Петр ему:

— Кенигсек...

— Я здесь, ваше величество...

— Ты чего хвастал за столом...

— Я не хвастал, ваше величество...

— Врешь, я все слышал... Ты что плел Шереметьеву? «Мне эта вещица дороже спасения души...» Какая у тебя вещица?

— Шереметьев хвастал одной рабыней, ваше величество,— лифляндкой. А я не помню, чтобы я...

Кенигсек молчал, будто сразу отрезвел. Петр, оскаленный усмешкою,— сверху вниз — журавлем,— глядел ему в испуганное лицо...

— Ах, ваше величество... Должно быть, я про табакерку поминал — фрацузской работы,— она у меня в обозе... Я принесу...

Он шаткой рысцой пошел к ручью,— в страхе расстегивал на груди пуговички камзола... «Боже, боже, как он узнал? Спрятать, бросить немедля...» Пальцы путались в кружевах, добрался до медальона — на шелковом шнуре, силился оборвать,— шнур больно врезался в шею... (Петр торчал на холме,— глядел вслед.) Кенигсек успокоительно закивал ему,— что, дескать, сейчас принесу... Через глубокий ручей, шумящий между гранитными валунами, было переброшено — с берега на берег — бревно. Кенигсек пошел по нему, башмаки, измазанные в глине, скользили. Он все дергал за шнур. Оступился, отчаянно взмахнул руками, полетел навзничь в ручей.

— Вот дурень пьяный,— сказал Петр.

Подождали. Алексашка нахмурился, озабоченно спустился с холма.

— Петр Алексеевич, беда, кажись... Придется людей позвать...

Кенигсека не сразу нашли, хотя в ручье всего было аршина два глубины. Видимо, падая, он ударился затылком о камень и сразу пошел на дно. Солдаты притащили его к шатру, положили у костра. Петр принялся сгибать ему туловище, разводить руки,— дул в рот... Нелепо кончил жизнь посланник Кенигсек... Расстегивая на нем платье, Петр обнаружил на груди, на теле, медальон — величиной с детскую ладонь. Обыскал карманы, вытащил пачку писем. Сейчас же пошел с Алексашкой в шатер.

— Господа офицеры,— громко сказал Меньшиков,— кончай пировать, государь желает ко сну...

Гости торопливо покинули палатку (кое-кого пришлось волочь под мышки — шпорами по земле). Здесь же, среди недоеденных блюд и догорающих свечей, Петр разложил мокрые письма. Ногтями отодрал крышечку на медальоне,— это был портрет Анны Монс, дивной работы: Анхен, как живая, улыбалась невинными голубыми глазами, ровными зубками. Под стеклом вокруг портрета обвивалась прядка русых волос, так много целованных Петром Алексеевичем. На крышечке, внутри, иголкой было нацарапано по-немецки: «Любовь и верность».

Отколупав также и стекло, пощупав прядку волос, Петр бросил медальон в лужу вина на скатерти. Стал читать письма. Все они были от нее же к Кенигсеку, глупые, слащавые,— размягшей бабы.

— Так,— сказал Петр. Облокотился, глядел на свечу.— Ну, скажи, пожалуйста. (Усмехаясь, качал головой.) Променяла... Не понимаю... Лгала. Алексашка, лгала-то как... Всю жизнь, с первого раза, что ли?... Не понимаю... «Любовь и верность»!..

— Падаль, мин херц, стерва, кабатчица... Я давно хотел тебе рассказать...

— Молчи, молчи, этого ты не смеешь... Пошел вон.

Набил трубочку. Опять облокотился, дымя. Глядел на валяющийся в луже портретик,— «к тебе через забор лазил... сколько раз имя твое повторял.. доверяясь, засыпал на горячем твоем плече... Дура и дура... Кур тебе пасти... Ладно... Кончено...» Петр махнул рукой, встал, бросил трубку. Повалившись на скрипящую койку, прикрылся бараньим тулупом.

5

Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург — ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях. Посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры. Петр вернулся в Москву.

У Мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостиная сотня с хоругвями встретили Петра. На сто сажен Мясницкая устлана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному: «Виват!» Петр ехал, стоя, в марсовой золоченой колеснице, за ним волочили по земле шведские знамена, шли пленные, опустив головы. На высокой колымаге везли деревянного льва, на нем верхом сидел князь-папа Никита Зотов, в жестяной митре, в кумачовой мантии, держал меч и штоф с водкой.

Две недели пировала Москва,— как и полагалось по сему случаю. Немало почтенных людей занемогло и померло от тех пиров. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Пошел слух, что царь велел выдавать вяземские печатные пряники и платки, но бояре-де обманули народ,— за этими пряниками приезжали из деревень далеких. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты, по стенам крутились огненные колеса. Допировались и дошутились на самый покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе, ветер был сильный, головни несло за Москву-реку. Волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму, в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла, кроме Житного двора и Кокошкиных хором,— сгорел старый дворец (едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем),— все приказы, монастыри, склады военных снарядов; на Иване Великом попа́дали колокола, самый большой, в восемь тысяч пудов,— раскололся.

После, на пепелищах, люди говорили: «Поцарствуй, поцарствуй, еще не то увидишь...»

. . . .

По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья: Алексей, недавно возведенный в подполковники; Яков — воронежский штурман, мрачный, с грубым голосом, пропахший насквозь трубочным та-

баком; Артамоша с женой Натальей,— он состоял при Шафирове переводчиком в Посольском приказе, Наталья в третий раз была брюхата, стала красивая, ленивая, раздалась вширь — Иван Артемич не мог наглядеться на сноху; был и Роман Борисович с дочерьми. Антониду этой осенью удалось спихнуть замуж за поручика Белкина,— худородного, но на виду у царя (был сейчас в Ингрии). Ольга еще томилась в девках.

Роман Борисович одряхлел за эти годы,— главное оттого, что приходилось много пить. Не успеешь проспаться после пира, а уж на кухне с утра сидит солдат с приказом — быть сегодня там-то... Роман Борисович захватывал с собой усы из мочалы (сам их придумал) и деревянный меч. Ехал на царскую службу.

Таких застольных бояр было шестеро, все великих родов, взятые в потеху кто за глупость, кто по злому наговору. Над ними стоял князь Шаховской, человек пьяный и нежелатель добра всякому,— сухонький старичок, наушник. Служба не особенно тяжелая: обыкновенно, после пятой перемены блюд, когда уже изрядно выпито, Петр Алексеевич, положив руки на стол и вытянув шею, озираясь, громко говорил: «Вижу — зело одолевает нас Ивашко Хмельницкий, не было бы конфузии». Тогда Роман Борисович вылезал из-за стола, привязывал мочальные усы и садился на низенькую деревянную лошадь на колязках. Ему подносили кубок вина,— должен, подняв меч, бодро выпить кубок, после чего произнести: «Умираем, но не сдаемся». Карлики, дураки, шуты, горбуны с визгом, наскочив, волокли Романа Борисовича на лошади кругом стола. Вот и вся служба,— если Петру Алексеевичу не приходило на ум какой-либо новой забавы.

Иван Артемич находился сегодня в приятном расположении: семья в сборе, дела — лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкиных. Не хватало только любимицы — Александры. Про нее-то и рассказывал Гаврила — степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу,

Александра жила сейчас в Гааге (с посольством Андрея Артамоновича Матвеева), но стояли они с мужем не на посольском подворье, а особо снимали дом. Держала кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачтовую... («Ах, ах»,—удивлялся Иван Артемич, хотя на лошадей и на яхту, тайно от Петра Алексеевича, посылал Саньке немалые деньги.) Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго,— Александре немецкий королевский двор не понравился: король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый кусок на счету...

— В Гааге у нее дом полон гостей,— рассказывал Гаврила,— знатных, конечно, мало, больше всякие необстоятельные люди: авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, умеющие отводить глаза... Она с ними катается на парусах по каналу,— сидит на палубе, на стульчике, играет на арфе...

— Научилась? — всплескивал ладонями Иван Артемич, оглядывал домашних...

— Выходит гулять на улицу — все ей кланяются, и она вот так только головой — в ответ... Василия не всегда выпускает к гостям, да он тому и рад,— стал совсем тихий, задумчивый, постоянно с книжкой, читает даже по-латыни, ездит на корабельные верфи, по кунсткамерам и на биржу — присматривается...

Перед самым отъездом Гаврилы Санька говорила, что и в Гааге ей все-таки надоело: у голландцев только разговоров — торговля да деньги, с женщинами настоящего рафине нет, в танцах наступают на ноги... Хочется ей в Париж...

— Непременно ей с французским королем минувет танцевать! Ах, девчонка! — ахал Иван Артемич, у самого глаза щурились от удовольствия.— А когда она домой-то собирается? Ты вот что скажи...

— Временами,— надоедят ей авантюристы,— говорит мне: «Гашка, знаешь — крыжовнику хочу нашего, с огорода... На качелях бы я покачалась в саду над Москвой-рекой...»

— Свое-то, значит, ничем не вытравишь...

Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехали Петр и Меньшиков. (Петр часто теперь заворачивал сюда.) Кивнул домашним, сказал затрепетавшему Роману Борисовичу: «Сиди,—сегодня без службы». Остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы.

— Гиблое место,— сказал он внятно.— За границей города стоят по тысяче лет, а этот не помню — когда он и не горел... Москва!

Невеселый сел к столу, некоторое время молча много ел. Подозвал Гаврилу, начал строго расспрашивать — чему тот научился в Голландии, какие книги прочел? Велел принести бумагу, перо,— чертить корабельные части, паруса, планы морских фортеций. Один раз заспорил, но Гаврила твердо настоял на своем. Петр похлопал его по голове: «Отцовские деньги зря не проедал, вижу». (Иван Артемич при сем потянул носом счастливые слезы.) Закурив, Петр подошел к окошку.

— Артемич,— сказал,— надо новый город ставить...

— Поставят, Петр Алексеевич,— через год опять обрастут...

— Не здесь...

— А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее,— Москва. (Задрав голову,— низенький, коротенький,— торопливо мигал.) Я уж, Петр Алексеевич, взялся за эти дела... Пять тысяч мужиков подговорено — валить лес... Избы мы по Шексне, по Шелони, на месте будем рубить, пригоним их на плотах,— бери, ставь: рубликов по пяти изба с воротами и с калиточкой!.. Чего милее! Александр Данилыч идет ко мне интересаном...

— Не здесь,— повторил Петр, глядя в окошко.— На Ладоге надо ставить город, на Неве... Туда гони лесорубов...

Коротенькие руки Ивана Артемича так сами и просились — за спину — вертеть пальцами...

— Можна...— сказал тонким голосом.

. . . .

— Мин херц, опять приходила ко мне старая Монсиха... Плачет, просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали, к обедне,— осторожно проговорил Меньшиков...

Ехали от Бровкина, под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь,— Алексашкиных слов будто и не слышал...

После Шлиссельбурга он только один раз, в Москве уже, помянул про Анну Монс: велел Алексашке поехать к ней, взять у нее нашейный, осыпанный алмазами, свой портрет,— прочих драгоценностей, равно и денег, не отнимать и оставить ее жить, где жила (захочет — пусть уезжает в деревню), но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не показывалась.

С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И сейчас (в карете) ни одна жилка на лице не дрогнула.

Анна Ивановна писала ему,— без ответа. Она засылала мать к Меньшикову с подарками, моля позволить — упасть к ногам его царского величества, которого одного любила всю жизнь... А медальон Кенигсеком у нее-де был украден. (Про письма, найденные на нем, она не знала.)

Меньшиков видел, что мин херц весьма нуждается в женской ласке. Царские денщики (все у Меньшикова на жаловании) доносили, что Петр Алексеевич плохо спит по ночам, охает, стучит в стену коленками. Ему нужна была не просто баба,— добрая подруга. Сейчас Алексашка запустил про Анну Монс только для проверки. Петр — никак. Съехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу,— Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой.

Петр — ему — холодно:

— Удивляюсь, как я тебя все-таки терплю,— не знаю...

— А что я?.. Да — ей-ей...

— Во всяком деле тебе непременно надо украсть... И сейчас крутишься,— вижу...

Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорил со смешком:

— С Борисом Петровичем у меня вышла ссора... Он тебе еще будет жаловаться... Он все хвастал економкой... Купил-де ее за рубль у драгуна... «А не уступлю, говорит, и за десять тысяч... Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь... На все руки девка...» Ну, я и подъехал... Подпили мы с ним: — покажи... Жмется,— она, говорит, не знаю, куда ушла... Я и пристань... Старику — тесно, повертелся, повертелся, позвал... Так она мне понравилась сразу,— не то чтобы какая-нибудь писаная красавица... Приятна, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые... Я говорю: надо бы по старинному обычаю гостю — чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется. Наливает кубок и — с поклоном. Я выпил,— ее — в губы. Поцеловал ее в губы, мин херц,— обожгло, ни о чем думать не могу, кровь кипит... «Борис Петрович, говорю, уступи девку... Дворец отдам, последнюю рубашку сниму... Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал... А ты ее только растревожишь без толку... А к тому же, говорю, тебе и грех: жена, дети... Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет...» Припер старика... Сопит... «Александр Данилович, отнимаешь ты у меня последнюю радость...» Махнул рукой, заплакал... Ей-ей, прямо смех... Ушел, заперся один в спальне... Я с этой економкой живо переговорил, послал за каретой, погрузил ее вместе с узлами и — к себе на подворье... А на другой день — в Москву. Она недельку поплакала, но — притворно, я так думаю... Сейчас, как птичка, у меня во дворце...

Петр,— не понять,— слушал или нет... Под конец рассказа кашлянул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял,— Петр Алексеевич слушал внимательно.

6

Бровкин, Свешников, гостинодворец Затрапезный, государевы гости — Дубровский, Щеголин, Евреинов ставили на Яузе и Москве-реке суконные, полотняные, шелковые заводские дворы, бумажные заведения, канатные сучильни. Ко многим заводам приписаны были в вечную крепость деревеньки из Поместного приказа (куда отходили вотчины побитых на войне или разжалованных помещиков).

Купечество просыпалось от дремы. Собираясь на большом крыльце быстро отстроенной после пожара Бурмистерской палаты — только и говорили о новозавоеванной Ингрии, где надо бы этим летом сесть крепко на морском берегу. Из подпольев выкапывали дедовские горшки с червонцами и ефимками. Рассылали приказчиков по базарам и кабакам — кабалить рабочих людей.

Иван Артемич за эту зиму широко развернул дела. Через Меньшикова добился права — брать из тюрем Ромодановского колодников под крепкие записки, сажал их, кого на цепи, а кого и так, на свои суконные и полотняные заводы, шумевшие водяными колесами на Яузе. За семьсот рублей выкупил состоявшего за Разбойным приказом знаменитого кузнечных дел мастера Жемова (на тройке привез его из Воронежа), и тот сейчас ставил на новом лесопильном заводе Ивана Артемича, в Сокольниках, невиданную огненную машину, работающую от котла с паром.

Рабочих рук не хватало нигде. Из приписных деревенек много народа бежало от новой неволи на дикие окраины. Тяжко работать в деревне на барщине, иной лошади легче, чем мужику. Но еще безнадежней казалась неволя на этих заводах,— хуже тюрьмы и для колодника и для вольнонаемного. Кругом — высокий тын, у ворот — сторожа злее собак. В темных клетях, согнувшись за стучащими ста́нами, и песни не запоешь,— ожжет тростью по плечам иностранец-мастер, пригрозит ямой. В деревне мужик хоть зи-

мой-то выспится на печке. Здесь и зиму и лето, день и ночь махай челноком. Жалованье, одежда — давно пропиты,— вперед. Кабала. Но страшнее всего ходили темные слухи про уральские заводы и рудники Акинфия Демидова. Из приписанных к нему уездов люди от одного страха бежали без памяти.

Приказчики-вербовщики Акинфия Демидова ходили по базарам и кабакам, широко угощали всякого, сладкоречиво расписывали легкую жизнь на Урале. Там-де земли — непочатый край,— поработай с годик, денежки в шапку зашил, иди с богом, мы не держим... Хочешь старайся, ищи золото,— там золота, как навоза под ногами.

Напоив подходящего человека, такой приказчик,— уговором или обманом,— при свидетеле-кабатчике подсовывал кабальную запись: поставь, мила голова, крест чернилом вот туточко. И — пропал человек. Сажали его в телегу, если буйный — накладывали цепь, везли за тысячу верст, за Волгу, за ковыльные киргизские степи, за высокие лесные горы — на Невьянский завод, в рудники.

А уж оттуда мало кто возвращался. Там людей приковывали к наковальням, к литейным печам. Строптивых пересекали лозами.

Бежать некуда,— конные козаки с арканами оберегали все дороги и лесные тропы. А тех, кто пытался бунтовать, бросали в глубокие рудники, топили в прудах.

После рождества начался новый набор в войско. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно.

7

— Что же ты Катерину-то не показываешь?

— Робеет, мин херц... Так полюбила меня, привязалась,— глаз ни на кого не поднимает... Прямо хоть женись на ней...

— Чего же не женишься?

— Ну, как, все-таки...

Меньшиков присел на вощеном полу у камина, отворачивая лицо, мешал горящие поленья. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей. Снегом кидало в стекла высокого окна. Колебались огоньки двух восковых свечей на столе. Петр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только что вернулся из Тулы — с заводов — и, не заезжая в Преображенское,— прямо к Меньшикову, в баню. Парился часа три. В Алексашкином надушенном белье, в шелковом его кафтане,— без шейного платка — с открытой грудью,— сел ужинать (велел чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг), расспрашивал про разные пустячные дела, посмеивался. И вдруг спросил про Катерину (с того разговора в карете о ней помянул в первый раз).

— Жениться, Петр Алексеевич, с моим худым родишком да на пленной... Не знаю... (Копал кочергой, сыпал искрами.) Сватают мне Арсеньеву Авдотью. Род древний, из Золотой орды... Все-таки — покроет пироги-то мои. Постоянно у меня во дворце иностранцы,— спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титл? Наши-то — толстозадые, великородные — им и рады нашептывать: он-де с улицы взят...

— Правильно,— сказал Петр. Вытерся салфеткой. Глаза у него блестели.

— Мне бы хоть графа какого получить — титл.— Алексашка бросил кочергу. Загородил огонь медной сеткой, вернулся к столу.— Метель, ужас. Тебе, мин херц, думать нечего — ехать домой.

— Я и не собираюсь.

Меньшиков взялся за рюмку,— задрожала в руке. Сидел, не поднимая глаз.

— Этот разговор не я начал, а ты его начал,— сказал Петр.— Поди ее позови...

Алексашка побледнел. Сильным движением поднялся. Вышел.

Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только выла метель на больших чердаках. Петр слушал, подняв брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги,— быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, стал в открытой двери, кусал губы:

— Сейчас — идет.

У Петра поджались уши,— услышал: в тишине дома, казалось, весело, беспечно летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках.

— Входи, не бойся,— Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась,— из темноты коридора на свет свечей. Будто спрашивая,— взглянула на Алексашку (была ему по плечо, черноволосая, с подвижными бровями), тем же легким шагом, без робости, подошла к Петру, присела низко, взяла, как вещь, его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала. Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Заложила руки под белый передничек,— остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие ее сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза ясно, весело.

— Садись, Катерина.

Она ответила по-русски — ломано, но таким приятным голосом,— ему сразу стало тепло от камина, уютно от завывания ветра, разжались уши, бросил мотать ногой. Она ответила:

— Сяду, спасибо.— Сейчас же присела на кончик стула, все еще держа руки на животе под передником.

— Вино пьешь?

— Пью, спасибо.

— Живешь не плохо в неволе-то?

— Не плохо, спасибо...

Алексашка хмуро подошел, налил всем троим вина:

— Что заладила одно: спасибо да спасибо. Расскажи чего-нибудь.

— Как я буду говорить,— они не простой человек.

Она выпростала руки из-под передничка, взяла рюмку, быстроглазо улыбнулась Петру:

— Они сами знают — какой начать разговор...

Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. Начал спрашивать Катерину — откуда она, где жила, как попала в плен? Отвечая, она глубже уселась на стуле, положила голые локти на скатерть,— блестели ее темные глаза, как шелк блестели ес

черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую грудь. И казалось,— так же легко, как только что здесь по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни...

Алексашка все доливал в рюмки. Положил еще поленьев в камин. По-полуночному выла вьюга. Петр потянулся, сморщив короткий нос,— поглядел на Катерину:

— Ну, что же — спать, что ли? Я пойду... Катюша, возьми свечу, посвети мне...

Угрюмый мужик, Федька Умойся Грязью, со свежим пунцовым клеймом на лбу, раздвинув на высоких козлах босые ноги, скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалды, бил с оттяжкой по торцу сваи... Мужик был здоров. Другие,— кто опустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно,— глядели, как свая с каждым ударом уходит в топкий берег.

Вбивали первую сваю для набережного крепления маленького острова Янни-саари,— по-фински — Заячий остров. Три недели тому назад русские войска взяли на аккорд,— верстах в двух выше по Неве,— земляную крепость Ниеншанц. Шведы, оставив невские берега, ушли на Сестру-реку. Шведский флот из боязни мелей темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. Два небольших корабля отважились войти в устье Невы — до острова Хиври-саари, где в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева,— но их облепили галеры и взяли на абордаж.

Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. (Петр писал Ромодановскому: «...в людях зело нужда есть, вели по всем городам, приказам и ратушам собрать воров,— слать их сюда».) Тысячи рабочих людей, пришедших за тысячи верст, перевозились на плотах и челнах на правый берег Невы, на остров Койбу-саари, где на берегу стояли шалаши и землянки, ды-

мили костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед Койбусаари — на Неве — на болотистом острове Яннисаари, в обережение дорого добытого устья всех торговых дорог русской земли,— начали строить крепость в шесть бастионов. («...Строить их шести начальникам: первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, второй — Меньшиков, третий — князь Трубецкой, четвертый— князь-папа Зотов...») После закладки,— на большом шумстве в землянке у Петра, при заздравных стаканах и пушечной пальбе, крепость придумано было назвать Питербурх.

Открытое море отсюда было — подать рукой. Ветер покрывал его веселой зыбью. На западе, за парусами шведских кораблей, стояли высокие морские облака,— будто дымы другого мира. Смотрели на эти нерусские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Не хватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналась чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору. Петр писал князю-кесарю, прося слать еще людей,— «зело здесь болеют, а многие и померли». Шли и шли обозы, рабочие, колодники...

Федька Умойся Грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи...

Книга третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Скучно стало в Москве. В обеденную пору — в июльский зной — одни бездомные собаки бродили по кривым улицам, опустив хвосты, принюхивая всякую дрянь, которую люди выбрасывали за ненадобностью за ворота. Не было прежней толкотни и крика на площадях, когда у иного почтенного человека полы оторвут, зазывая к палаткам, или вывернут карманы, раньше чем он что-нибудь купит на таком вертячем месте. Бывало, еще до зари ото всех слобод,— арбатских, сухаревских и замоскворецких,— везли полные телеги красного, скобяного и кожевенного товара,— горшки, чашки, плошки, кренделя, решета с ягодой и всякие овощи, несли шесты с лаптями, лотки с пирогами, торопясь, становили телеги и палатки на площадях. Опустели стрелецкие слободы, дворы на них позападали, поросли глухой крапивой. Много народу работало теперь на новозаведенных мануфактурах вместе с колодниками и кабальными. Полотно и сукно оттуда шло прямо в Преображенский приказ. Во всех московских кузницах ковали шпаги, копья, стремена и шпоры. Конопляной веревочки нельзя было купить на Москве,— вся конопля взята в казну.

И колокольного звона прежнего уже не было — от светла до светла,— во многих церквах большие колокола сняты и отвезены на Литейный двор, перелиты в пушки. Пономарь от Старого Пимена, когда пропахшие табачищем драгуны сволокли у него с колокольни великий колокол, напился пьян и хотел повеситься на перекладине, а потом, лежа связанный на сундуке, в исступлении ума закричал, что славна была Москва малиновым звоном, а теперь на Москве станет то́мно.

Прежде у каждого боярского двора, у ворот, зубоскалили наглые дворовые холопы в шапках, сбитых на ухо, играли в свайку, метали деньгу или просто — не давали проходу ни конному, ни пешему,— хохот, баловство, хватанье руками. Нынче ворота закрыты наглухо, на широком дворе — тихо, людишки взяты на войну, боярские сыновья и зятья либо в полках унтер-офицерами, либо усланы за море, недоросли отданы в школы — учиться навигации, математике и фортификации, сам боярин сидит без дела у раскрытого окошечка,— рад, что хоть на малое время царь Петр, за отъездом, не неволит его курить табак, скоблить бороду или в белых чулках по колено, в парике из бабьих волос — до пупа — вертеть и дергать ногами.

Не весело, то́мно думается боярину у окошечка... «Все равно маво Мишку математике не научишь, поставлена Москва без математики, жили, слава богу, пятьсот лет без математики — лучше нынешнего; от этой войны само собой ждать нечего, кроме конечного разорения, сколько ни таскай по Москве в золоченых телегах богопротивных Нептунов и Венерок во имя преславной виктории на Неве... Как пить дать, швед побьет наше войско, и еще татары, давно этого дожидаясь, выйдут ордой из Крыма, полезут через Оку... О, хо-хо!»

Боярин тянулся толстым пальцем к тарелке с малиной,— осы, проклятые, облепили всю тарелку и подоконник! Лениво перебирая четки из маслиновых косточек — с Афона,— боярин глядел на двор. Запустение! Который год за царскими затеями да

забавами и подумать некогда о своем-та... Клети покривились, на погребах дерновые крыши просели, повсюду бурьян безобразный... «И куры, гляди-ко, какие-то голенастые, и утка мелкая нынче, горбатые поросята идут гуськом за свиньей — грязные да тощие. О, хо-хо!..» Умом боярин понимал, что надо бы крикнуть скотницу и птичницу да тут же их под окошком и похлестать лозой, вздев юбки. В такой зной кричать да сердиться — себе дороже.

Боярин перевел глаза повыше — за тын, за липы, покрытые бело-желтым цветом и гудящими пчелами. Не так далеко виднелась обветшавшая кремлевская стена, на которой между зубцами росли кусты. И смех и грех,— доцарствовался Петр Алексеевич! Крепостной ров от самых Троицких ворот, где лежали кучи мусора, заболотился совсем, курица перейдет, и вонища же от него!.. И речка Неглинная обмелела, с правой стороны по ней — Лоскутный базар, где прямо с рук торгуют всяким краденым, а по левому берегу под стеной сидят с удочками мальчишки в запачканных рубашках, и никто их оттуда не гонит...

В рядах на Красной площади купцы запирают лавки, собрались идти обедать, все равно торговлишка тихая, вешают на дверях пудовые замки. И пономарь прикрыл двери, затряс козлиной бородой на нищих, тоже пошел потихоньку домой — хлебать квас с луком, с вяленой рыбой, потом — посапывать носом в холодок под бузину. И нищие, убогие, всякие уроды сползли с паперти, побрели под полуденным зноем — кто куда...

В самом деле, пора бы собирать обедать, а то истома совсем одолела, такая скучища. Боярин всмотрелся, вытянул шею и губы, даже приподнялся с табурета и прикрыл ладонью сверху глаза свои,— по кирпичному мосту, что перекинут от Троицких ворот через Неглинную на Лоскутный базар, ехала, отсвечивая солнцем, стеклянная карета четверней — цугом серых коней, с малиновым гайдуком на выносной. Это царевна Наталья, любимая сестра царя Петра, с таким же беспокойным нравом, как у брата, вышла в поход. Куда же она поехала-то, батюшки?

Боярин, сердито отмахиваясь платком от ос, высунулся в окошечко.

— Гришутка,— закричал он небольшому пареньку в длинной холщовой рубашке с красными подмышками, мочившему босые ноги в луже около колодца,— беги что есть духу, вот я тебя!.. Увидишь на Тверской золотую карету — беги за ней, не отставая, вернешься — скажешь, куда она поехала...

2

Четверня серых лошадей, с красными султанами под ушами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. Не перечесть, сколько на бревенчатом, потемневшем от времени дворце было пестрых и луженых крыш над светлицами, переходами и крыльцами: и крутых, с гребешком, как у ерша, и бочкой, и кокошником. Над ними в полуденной тишине резали воздух злые стрижи. Все окошечки во дворце заперты. На крыльце дремал на одной ноге старый петух,— когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал, и, как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда из подклети открылась низенькая дверца, и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, стал на колени и поклонился лбом в землю.

Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо:

— Где боярышни, дедушка?

Дед поднялся, выставил сивую бороду, вытянул губы:

— Здравствуй, матушка, здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна,— и ласково глядел на

нее из-под бровей, застилавших ему глаза,— ах ты, богоданная, ах ты, любезная... Где боярышни, спрашиваешь? А боярышни не знаю где, не видал.

Наталья выпрыгнула из кареты, стащила с головы тяжелый, жемчужный, рогатый венец, с плеч сбросила парчовый летник,— надевала она старомосковское платье только для выезда,— ближняя боярыня, Василиса Мясная, подхватила вещи в карету. Наталья, высокая, худощавая, быстрая, в легком голландском платье, пошла по лугу к роще. Там — в прохладе — зажмурилась,— до того был силен и сладок дух цветущей липы.

— Ау! — крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, откликнулся ленивый женский голос. На берегу пруда, близ воды, у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер, в тени его на подушках, изнывая, лежали четыре молодые женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, разморенные, с развитыми косами. Та, что постарше, низенькая, длинноносая, Анисья Толстая, первая подбежала к ней и всплеснулась, вертя проворными глазами:

— Свет наш, Натальюшка, государыня-царевна, ах, ах, туалет заграничный! Ах, ах, божество!

Две другие,— сестры Александра Даниловича Меньшикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой для обучения политесу и грамоте,— юные девы Марфа и Анна, обе пышные, еще мало обтесанные, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское,— красная, тонкой шерсти широкая юбка с тройной золотой каймой по подолу и невиданная узкая душегрейка,— шея, плечи — голые, руки по локоть — голые. Наталья и сама понимала, что только с богиней можно сравнить ее, ну — с Дианой, кругловатое лицо ее, с приподнятым коротким, как у брата, носом, маленькие ушки, ротик — все было ясное, юное, надменное.

— Туалет вчера мне привезли, прислала из Гааги Санька, Александра Ивановна Волкова... Красиво

и — телу вольно... Конечно — не для большого выхода, а для рощи, для луга, для забав.

Наталья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль, скромно сложив напереди опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские. Круглые щеки — румяны от зноя, темные кудрявые волосы — тоже влажные. Наталья, поворачиваясь под ахи и всплески рук, несколько раз взглянула на нее, строптиво выпятила нижнюю губу,— еще не понимала сама: любезна или неприятна ей эта мариенбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меньшиковым и покорно — однажды ночью, у горящего очага, за стаканом вина,— отданная им Петру Алексеевичу.

Наталья была девственница, не в пример своим единокровным сестрам, родным сестрам заточенной в монастыре правительницы Софьи, царевнам Катьке и Машке, над которыми потешалась вся Москва. Нрав у Натальи был пылкий и непримиримый. Катьку и Машку она не раз ругивала потаскушками и коровами, разгорячась, и била их по щекам. Старые тюремные обычаи, жаркие скоромные шепоты разных бабок-задворенок она изгнала у себя из дворца. Она и брату, Петру Алексеевичу, выговаривала, когда он одно время, навсегда отослав от себя бесстыжую фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами. Вначале Наталья думала, что и эта — солдатская полонянка — также ему лишь на полчаса: встряхнется и забудет. Нет, Петр Алексеевич не забыл того вечера у Меньшикова, когда бушевал ветер и Екатерина, взяв свечу, посветила царю в спальне. Для меньшиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелю, узлы и коробья, а через небольшое время оттуда ее перевезли в измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой.

Здесь Катерина жила без печали, всегда веселая, простодушная, свежая, хоть и валялась в свое время

под солдатской телегой. Петр Алексеевич часто ей присылал с оказией коротенькие смешливые письма,— то со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Питербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала. У Натальи растравлялось любопытство: чем она все-таки его приворожила?

— Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя? — сказала Наталья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила:

— Хочу очень... Спасибо...

— Робеет она тебя, свет Натальюшка,— зашептала Анисья Толстая,— не пепели ее взором, будь с ней послабже... Я ей — и так и сяк — про твою доброту, она знай свое: «Царевна безгрешная, я — грешная, ее, говорит, доброту ничем не заслужила... Что меня, говорит, государь полюбил — мне и то удивительно, как гром с ясного неба, опомниться не могу...» Да и эти две мои дурищи все к ней лезут с расспросами,— что с ней было да как? Я им настрого про это и думать и говорить заказала. Вот вам, говорю, греческие боги да амуры, про их похождения и думайте и говорите... Нет и нет, въелась в них эта деревенщина — щебетать про все пошлое... С утра до ночи им одно повторяю: были вы рабынями, стали богинями.

От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве так, что в ушах было сухо. Далеко, на той стороне пруда, черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в мареве. Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли на бледной воде. Наталья вошла под тень шатра, сбросила душегрейку, окрутила темно-русые косы вокруг головы, расстегнула, уронила юбку, вышла из нее, спустила тонкую рубашку и, совсем как на печатанных голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из Дворцового приказа,— не стыдясь наготы,— пошла на мостки.

— Купаться всем! — крикнула Наталья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна жеманились, раздеваясь, покуда Анисья Толстая не прикрикнула на них: «Чего приседаете, тол-

стомясые, никто ваши прелести не похитит». Катерина тоже смущалась, замечая, что царевна пристально разглядывает ее. Наталья как будто и брезговала и любовалась ею. Когда Катерина, опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве, и зной озолотил ее, круглоплечую, тугобедрую, налитую здоровьем и силой, Наталье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине, ему, наверно, видится сквозь табачный дым, как вот она — красивыми руками поднесет младенца к высокой груди... Наталья выдохнула полную грудь воздуха и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду... В этом месте со дна били ключи...

Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась, и тут только Наталья окончательно поняла, что, кажется, готова любить ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи.

— Красивая ты, Катерина, я рада, что братец тебя любит.

— Спасибо, государыня...

— Можешь звать меня Наташей...

Она поцеловала Катерину в холодноватую, круглую, мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза.

— Будь умна, Катерина, буду тебе другом...

Марфа и Анна, окуная то одну, то другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках, — Анисья Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все паучки разбежались, все стрекозы, сорвавшись с осоки, летали, толклись над купающимися богинями.

3

В тени шатра, закрутив мокрые волосы, Наталья пила только что принесенные с погреба ягодные водички, грушевые медки и кисленькие кваски. Кладя в рот маленький кусочек сахарного пряника, говорила:

— Обидно видеть наше невежество. Слава богу — мы других народов не глупее, девы наши статны и красивы, как никакие другие, — это все иностранцы

говорят,— способны к учению и политесу. Братец который год бьется,— силой тащит людей из теремов, из затхлости... Упираются, да не девки,— отцы с матерями. Братец, уезжая на войну, уж как меня просил: «Наташа, не давай, пожалуйста, им покоя — старозаветным-то бородачам... Досаждай им, если добром не хотят... Засосет нас это болото...» Я бьюсь, я — одна... Спасибо царице Прасковье, в последнее время она мне помогает,— хоть и трудно ей старину ломать — все-таки завела для дочерей новые порядки: по воскресеньям у нее после обедни бывают во французском платье, пьют кофей, слушают музыкальный ящик и говорят о мирском... А вот у меня в Кремле осенью будет новинка, так новинка.

— Что же за новинка будет у тебя, свет наш? — спросила Анисья Толстая, вытирая сладкие губы.

— Новинка будет изрядная... Тиатр... Не совсем, конечно, как при французском дворе... Там, в Версале, во всем свете преславные актеры, и танцоры, и живописцы, и музыканты... А здесь — я одна, я и трагедии перекладывай с французского на русский, я и сочиняй —чего недостает, я и с комедиантами возись...

Когда Наталья выговорила «тиатр», обе девы Меньшиковы, и Анисья Толстая, и Катерина, слушавшая ее, впившись темным взором, переглянулись, всплеснули руками...

— Для начала, чтобы не очень напугать, будет представлено «Пещное действо», с пением виршей... А к новому году, когда государь приедет на праздники и из Питербурга съедутся, представим «Нравоучительное действо о распутном сластолюбце Дон-Жуане, или как его земля поглотила...» Уж я велю в тиатре бывать всем, упираться начнут — драгунов буду посылать за публикой... Жалко, нет в Москве Александры Ивановны Волковой,— она бы очень помогла... Вот она, к примеру, из черной мужицкой семьи, отец ее лычком подпоясывался, сама грамоте начала учиться, когда уж замуж вышла... Говорит бойко на трех языках, сочиняет вирши, сейчас она в Гааге при нашем после Андрее Артамоновиче Матвееве. Кавалеры из-за нее на шпагах бьются, и есть убитые... И она соби-

рается в Париж, ко двору Людовика Четырнадцатого — блистать... Понятна вам ученья польза?

Анисья Толстая тут же ткнула жесткой щепотью под бок Марфу и Анну.

— Дождались вопроса? А вот приедет государь, да — случится ему — подведет к тебе или к тебе галантного кавалера, а сам будет слушать, как ты станешь срамиться...

— Оставь их, Анисья, жарко,— сказала Наталья,— ну, прощайте. Мне еще в Немецкую слободу нужно заехать. Опять жалобы на сестриц. Боюсь, до государя дойдет. Хочу с ними поговорить крутенько.

4

Царевны Екатерина и Марья уже давно,— по заключении Софьи в Новодевичий монастырь,— выселены были из Кремля — с глаз долой — на Покровку. Дворцовый приказ выдавал им кормление и всякое удовольствие, платил жалованье их певчим, конюхам и всем дворовым людям, но денег на руки царевнам не давал, во-первых, было незачем, к тому же и опасно, зная их дурость.

Катьке было под сорок, Машка на год моложе. Вся Москва знала, что они на Покровке бесятся с жиру. Встают поздно, полдня нечесаные сидят у окошечек да зевают до слез. А как смеркнется — к ним в горницу приходят певчие с домрами и дудками; царевны, нарумянившись, как яблоки, подведя сажей брови, разнаряженные, слушают песни, пьют сладкие наливки и скачут, пляшут до поздней ночи так, что старый бревенчатый дом весь трясется. С певчими будто бы царевны живут и рожают от них ребят, и отдают тех ребят в город Кимры на воспитание.

Певчие эти до того избаловались,— в будни ходят в малиновых шелковых рубашках, в куньих высоких шапках и в сафьяновых сапогах, постоянно вымогают у царевен деньги и пропивают их в кружале у Покровских ворот. Царевны, чтобы достать денег, посылают на Лоскутный базар бабу-кимрянку, Домну

Вахрамееву, которая живет у них в чулане, под лестницей, и баба продает всякое их ношенное платье; но этих денег им мало, и царевна Екатерина мечтает найти клады, для этого она велит Домне Вахрамеевой видеть сны про клады. Домна такие сны видит, и царевна надеется быть с деньгами.

Наталья давно собиралась поговорить с сестрами крутенько, но было недосуг,— либо проливной дождь с громом, либо что-нибудь другое мешало. Вчера ей рассказали про их новые похождения: царевны повадились ездить в Немецкую слободу. Отправились в открытой карете на двор к голландскому посланнику; покуда он, удивясь, надевал парик, и кафтан, и шпагу, Катька и Машка, сидя у него в горнице на стульях, шептались и пересмеивались. Когда он стал им кланяться, как полагается перед высокими особами — метя пол шляпой, они ответить не сумели, только приподняли зады над стульями и опять плюхнулись, и тут же спросили: «Где живет здесь немка-сахарница, которая продает сахар и конфеты?» — за этим они-де и заехали к нему.

Голландский посланник любезно проводил царевен к сахарнице, до самой ее лавки. Там они, хватаясь руками за то и за это, выбрали сахару, конфет, пирожков, марципановых яблочек и яичек — на девять рублей. Марья сказала:

— Скорее несите это в карету.

Сахарница ответила:

— Без денег не отнесу.

Царевны сердито пошептались и сказали ей:

— Заверни да запечатай, мы после пришлем.

От сахарницы они, совсем потеряв стыд, поехали к бывшей фаворитке, Анне Монс, которая жила все в том же доме, построенном для нее Петром Алексеевичем. К ней не сразу пустили, пришлось долго стучать, и выли цепные кобели. Бывшая фаворитка приняла их в постели, должно быть, нарочно улеглась. Они ей сказали:

— Здравствуй на много лет, любезная Анна Ивановна, мы знаем, что ты даешь деньги в рост, дай нам хоть сто рублей, а хотелось бы двести.

Монсиха ответила со всей же́сточью:

— Без заклада не дам.

Екатерина даже заплакала:

— Лихо нам, закладу нет, думали так выпросить.

И царевны пошли с фавориткиного двора прочь. В ту пору захотелось им кушать. Они велели карете остановиться у одного дома, где им было видно через открытые окошки, как веселятся гости,— там жена сержанта Данилы Юдина, бывшего в ту пору в Ливонии, на войне, родила двойню, и у нее крестили. Царевны вошли в дом и напросились кушать, и им был оказан почет.

Часа через три, когда они отъехали от сержантовой жены, шедший по дороге аглицкий купец Вильям Пиль узнал их в карете, они остановились и спросили его,— не хочет ли он угостить их обедом? Вильям Пиль подбросил вверх шляпу и сказал весело: «Со всем отменным удовольствием». Царевны поехали к нему, кушали и пили аглицкую водку и пиво. А за час до вечера, отъехав от Пиля, стали кататься по слободе, заглядывая в освещенные окошки. Екатерина желала еще куда-нибудь напроситься поужинать, а Марья ее удерживала. Так они прохлаждались дотемна.

5

Карета Натальи вскачь неслась по Немецкой слободе мимо деревянных домиков, искусно выкрашенных под кирпич, приземистых, длинных купеческих амбаров с воротами, окованными железом, мимо забавно подстриженных деревцев в палисадниках; повсюду — поперек к улице — висели размалеванные вывески, в лавочках распахнуты двери, увешанные всяким товаром. Наталья сидела, поджав губы, ни на кого не глядя, как кукла,— в рогатом венце, в накинутом на плечи летнике. Ей кланялись толстяки, в подтяжках и вязаных колпаках; степенные женщины в соломенных шляпах указывали детям на ее карету; с дороги отскакивал какой-нибудь щеголь в растопыренном на боках кафтане и прикрывался шляпой от пыли; На-

талья чуть не плакала от стыда, хорошо понимая, как Машка и Катька насмешили всю слободу и все, конечно,— голландки, швейцарки, англичанки, немки,— судачат про то, что у царя Петра сестры — варварки, голодные попрошайки.

Открытую карету сестер она увидела в кривом переулке около полосатых — красных с желтым — ворот двора прусского посланника Кейзерлинга, про которого говорили, что он хочет жениться на Анне Монс и только все еще побаивается Петра Алексеевича. Наталья застучала перстнями в переднее стекло, кучер обернул смоляную бороду, надрывающе закричал: «Тпррррру, голуби!» Серые лошади остановились, тяжело поводя боками. Наталья сказала ближней боярыне:

— Ступай, Василиса Матвеевна, скажи немецкому посланнику, что, мол, Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна мне весьма надобны... Да им не давай куска проглотить, уводи хоть силой!..

Василиса Мясная, тихо охая, полезла из кареты. Наталья откинулась, стала ждать, хрустя пальцами. Скоро с крыльца сбежал посланник Кейзерлинг, худенький, маленький, с телячьими ресницами; прижимая наспех схваченные шляпу и трость к груди, кланялся на каждой ступеньке, вывертывая ноги в красных чулках, умильно вытягивал острый носик, молил царевну пожаловать зайти к нему, испить холодного пива.

— Недосуг!— жестко ответила Наталья.— Да и не стану я у тебя пиво пить... Стыдными делами занимаешься, батюшка... (И не давая ему раскрыть рта.) Ступай, ступай, вышли мне царевен поскорее...

Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна вышли наконец из дома, как две копны — в широких платьях с подхватами и оборками, круглые лица у обеих — испуганные, глупые, нарумяненные, вместо своих волос— вороные, высоко вскрученные парики, увешанные бусами (Наталья даже застонала сквозь зубы). Царевны жмурили на солнце заплывшие глаза, позади боярыня Мясная шипела: «Не срамитесь вы, скорее садитесь к ней в карету». Кейзерлинг с поклонами открыл дверцу. Царевны, забыв и проститься с ним,

полезли и едва уместились на скамейке, напротив Натальи. Карета, пыля красными колесами и поваливаясь на стороны, помчалась через пустырь на Покровку.

Всю дорогу Наталья молчала, царевны удивленно обмахивались платочками. И только войдя к ним наверх в горницу и приказав запереть двери, Наталья высказалась:

— Вы что же, бесстыжие, с ума совсем попятились или в монастырское заточение захотели? Мало вам славы по Москве? Понадобилось вам еще передо всем светом срамиться! Да кто вас научил к посланникам ездить? В зеркало поглядитесь,— от сытости щеки лопаются, еще им голландских да немецких разносолов захотелось! Да как у вас ума хватило пойти кланяться в двухстах рублях к скверной женке Анне Монсовой? Она-то довольна, что выгнала вас, попрошаек,— Кейзерлинг об этом непременно письмо настрочит прусскому королю, а король по всей Европе растрезвонит! Сахарницу хотели обворовать,— хотели, не отпирайтесь! Хорошо она догадалась, вам без денег не отдала. Господи, да что же теперь государь-то скажет? Как ему теперь поступить с вами, коровищами? Остричь, да на реку на Печору, в Пустозерск...

Не снимая венца и летника, Наталья ходила по горнице, сжимая в волнении руки, меча горящие взоры на Катьку и Машку,— они сначала стояли, потом, не владея ногами, сели: носы у них покраснели, толстые лица тряслись, надувались воплем, но голоса подавать им было страшно.

— Государь сверх сил из пучины нас тянет,— говорила Наталья.— Недоспит, недоест, сам доски пилит, сам гвозди вбивает, под пулями, ядрами ходит, только чтоб из нас людей сделать... Враги его того и ждут — обесславить да погубить. А эти! Да ни один лютый враг того не догадается, что вы сделали... Да никогда я не поверю, я дознаюсь — кто вас надоумил в Немецкую слободу ездить... Вы — девки старые, неповоротливые...

Тут Катька и Машка, распустив вспухшие губы, залились слезами:

— Никто нас недоумил,— провыла Катька,— провалиться нам сквозь землю...

Наталья ей крикнула:

— Врешь! А кто вам про сахарницу рассказал? А кто сказал, что Монсиха дает деньги в рост?..

Марья также провыла:

— Сказала нам про это баба-кимрянка, Домна Вахрамеева. Она эту сахарницу во сне видела, мы ей верим, нам марципану захотелось...

Наталья кинулась, распахнула дверь,— за ней отскочил старичок — комнатный шалун в женском платье, попятились бабки-задворенки, бабки-уродки, бабки-шутихи с набитыми репьями в волосах. Наталья схватила за руку опрятную мягкую женщину в черном платке.

— Ты — баба-кимрянка?

Женщина молча махнула всем туловищем истовый поклон:

— Государыня-царевна, точно, я из Кимр, скудная вдова Домна Вахрамеева...

— Ты царевен подговаривала ездить в Немецкую слободу? Отвечай...

Белое лицо Вахрамеевой задрожало, длинные губы перекривились:

— Я — женка порченая, государыня моя, говорю нелепые слова в ума исступлении, благодетельницы-царевны моими глупыми словами тешатся, а мне то и радость... По ночам сны вижу несказанные. А уж верят ли моим снам благодетельницы-царевны, нет ли — того не ведаю... В Немецкой слободе отродясь не бывала, никакой сахарницы и в глаза не видала.— Опять махнув Наталье поклон, вдова Вахрамеева стала, сложа руки на животе под платком, закаменела,— хоть огнем пытай...

Наталья мрачно взглянула на сестер,— Катька и Машка только негромко охали, маясь от жары. В дверь просунулся старичок-шалун с одними ноздрями вместо носа,— усы, бороденка взъерошены, губы выворочены.

— Ай рассмешить надо? — Марья досадливо махнула на него платком. Но уже с десяток рук вцепились с той стороны в дверь, и шутихи, уродки в лохмотьях,

простоволосые, иные в дурацких сарафанах, в лубяных кокошниках, толкая старичка-шалуна, ввалились в горницу. Проворные, бесстыжие, начали сигать, вскрикивать, драться между собой, таскаясь за волосы, хлеща по щекам. Старичок-шалун влез верхом на горбатую бабку, выставив лапти из-под лоскутной юбки, закричал гнусаво: «А вот немец на немке верхом поехал пиво пить...» В сенях подоспевшие певчие с присвистом грянули плясовую. Домна Вахрамеева отошла и стала за печку, опустив платок на брови.

В досаде, в гневе Наталья затопала красными башмачками,— «прочь!» — закричала на эту кувыркающуюся рвань и дрянь,— «прочь!» Но дураки и шутихи только громче завизжали. Что она могла сделать одна с этой бесовской толщей! Вся Москва полна ею, в каждом доме боярском, вокруг каждой паперти крутился этот мрак кромешный... Наталья брезгливо подобрала подол,— поняла, что на том и кончился ее разговор с сестрами. И уйти было бы глупо сейчас,— Катька с Машкой, высунувшись в окошки, так-то бы посмеялись вслед ее карете...

Вдруг, среди шума и возни, послышался на дворе конский топот и грохот колес. Певчие в сенях замолкли. Старичок-шалун крикнул, оскаля зубы: «Разбегайся!» — дурки и шутихи, как крысы, кинулись в двери. В доме сразу будто все умерло. Деревянная лестница начала скрипеть под грузными шагами.

В светлицу, отдуваясь, вошел тучный человек, держа в руке посох, кованный серебром, и шапку. Одет он был по-старомосковски в длинный — до полу — клюквенный просторный армяк; широкое смуглое лицо обрито, черные усы закручены по-польски, светловатые — со слезой — глаза выпучены, как у рака. Он молча поклонился — шапкой до полу — Наталье Алексеевне, тяжело повернулся и так же поклонился царевнам Катерине и Марье, задохнувшимся от страха. Потом сел на скамью, положив около себя шапку и посох.

— Ух,— сказал он,— ну вот, я и пришел.— Вытащил из-за пазухи цветной большой платок, вытер лицо, шею, мокрые волосы, начесанные на лоб.

Это был самый страшный на Москве человек — князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский.

— Слышали мы, слышали,— неладные здесь дела начались. Ай, ай, ай! — Сунув платок за пазуху армяка, князь-кесарь перекатил глаза на царевен Катерину и Марью.— Марципану захотелось? Так, так, так... А глупость-то хуже воровства... Шум вышел большой.— Он повернул, как идол, широкое лицо к Наталье.— За деньгами их посылали в Немецкую слободу,— вот что. Значит, у кого-то в деньгах нужда. Ты уж на меня не гневайся,— придется около дома сестриц твоих караул поставить. В чулане у них живет баба-кимрянка и носит тайно еду в горшочке на пустырь за огородом, в брошенную баньку. В той баньке живет беглый распоп Гришка... (Тут Катерина и Марья побелели, схватились за щеки.) Который распоп Гришка варит будто бы в баньке любовное зелье, и зелье от зачатия, и чтобы плод сбрасывать. Ладно. Нам известно, что распоп Гришка, кроме того, в баньке пишет подметные воровские письма, и по ночам ходит в Немецкую слободу на дворы к некоторым посланникам, и заходит к женщине-черноряске, которая, черноряска, бывает в Новодевичьем монастыре, моет там полы, и моет пол в келье у бывшей правительницы Софьи Алексеевны... (Князь-кесарь говорил негромко, медленно, в светлице никто не дышал.) Так я здесь останусь небольшое время, любезная Наталья Алексеевна, а ты уж не марайся в эти дела, ступай домой по вечерней прохладе...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

За столом сидели три брата Бровкины — Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Нынче всё — спех, всё — недосуг,

сегодня ты здесь, завтра уже мчишься за тысячу верст в санях, закопавшись в сено под тулупом... Оказалось, что людей мало, людей не хватает.

Яков приехал из Воронежа, Гаврила — из Москвы. Обоим было указано ставить на левом берегу Невы, повыше устья Фонтанки, амбары, или цейхгаузы, у воды — причалы, на воде — бóны и крепить весь берег сваями — в ожидании первых кораблей балтийского флота, который со всем поспешением строился близ Лодейного Поля на Свири. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков, велел валить мачтовый лес и как раз на святую неделю заложил первую верфь. Туда привезены были знаменитые плотники из Олонецкого уезда и кузнецы из Устюжины Железопольской. Молодые мастера-навигаторы, научившиеся этим делам в Амстердаме, старые мастера из Воронежа и Архангельска, славные мастера из Голландии и Англии строили на Свири двадцатипушечные фрегаты, шнявы, галиоты, бригантины, буера, галеры и шмаки. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути, и скоро ожидали его здесь, в Питербурге.

Алексей, без кафтана, в одной рубашке голландского полотна, свежей по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, штоф с водкой, три оловянных стаканчика, перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба.

— Шти с солониной в Москве не диковинка,— говорил братьям Алексей, румяный, чисто выбритый, со светлыми подкрученными усами и остриженной головой (парик его висел на стене, на деревянном гвозде),— здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуста квашеная — у Александра Даниловича на погребе, у Брюса, да — пожалуй — у меня и — только... И то ведь оттого, что летось догадались — сами на огороде посадили. Трудно, трудно живем. И дорого все, и достать нечего.

Алексей бросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами, налил по чарке. Братья, поклонясь

друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать.

— Ехать сюда боятся, женок здесь, почитай что, совсем нет, живем, как в пустыне, ей-ей... Зимой еще — туда-сюда — бураны преужасные, тьма, да и дел этой зимой было много... А вот, как сегодня, завернет весенний ветер,— и лезет в голову неудобь сказуемое... А ведь здесь с тебя, брат, спрашивают строго...

Яков, разгрызая хрящ, сказал:

— Да, места у вас невеселые.

Яков, не в пример братьям, за собой не смотрел,— коричневый кафтан на нем был в пятнах, пуговицы оторваны, черный галстук засален на волосатой шее, весь пропах табаком-кануцером. Волосы носил свои — до плеч — плохо чесанные.

— Что ты, брат,— ответил Алексей,— места у нас даже очень веселые: пониже, по взморью, и в стороне, где Дудергофская мыза. Тра́вы — по пояс, рощи березовые — шапка валится, и рожь, и всякая овощь родится, и ягода... В самом невском устье, конечно,— топь, дичь. Но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное, удобное. Одна беда — швед очень беспокоит. В прошлом году так он на нас навалился от Сестры-реки и флотом с моря,— душа у нас в носе была. Но отбили. Теперь-то уж он с моря не сунется. В январе около Котлина острова опустили мы под лед ряжи с камнями и всю зиму возили и сыпали камень. Реке еще не вскрыться — будет готов круглый бастион о пятидесяти пушек. Петр Алексеевич к тому чертежи прислал из Воронежа и саморучную модель и велел назвать бастион — Кроншлотом.

— Как же, дело известное,— сказал Яков,— об этой модели с Петром Алексеевичем мы поспорили. Я говорю: бастион низок, в волну будет пушки заливать, надо его возвысить на двадцать вершков. Он меня и погладил дубинкой. Утрась позвал: «Ты, говорит, Яков, прав, а я не прав». И, значит, мне подносит чарку и крендель. Помирились. Вот эту трубку подарил.

Яков вытащил из набитого всякой чепухой кармана обгорелую трубочку с вишневым, изгрызанным на конце чубуком. Набил и, сопя, стал высекать искру на трут. Младший, Гаврила, ростом выше братьев и крепче всеми членами, с юношескими щеками, с темными усиками, большеглазый, похожий на сестру Саньку, начал вдруг трясти ложку со щами и сказал — ни к селу, ни к городу:

— Алеша, ведь я таракана поймал.

— Что ты, глупый, это уголек.— Алексей взял у него черненькое с ложки и бросил на стол. Гаврила закинул голову и рассмеялся, открывая напоказ сахарные зубы.

— Ни дать ни взять покойная маманя. Бывало, батя ложку бросит: «Безобразие, говорит, таракан». А маманя: «Уголек, родимый». И смех и грех. Ты, Алеша, постарше был, а Яков помнит, как мы на печке без штанов всю зиму жили. Санька нам страшные сказки рассказывала. Да, было...

Братья положили ложки, облокотились, на минуту задумались, будто повеяло на каждого издалека печалью. Алексей налил в стаканчики, и опять пошел неспешный разговор. Алексей стал жаловаться: наблюдал он за работами в крепости, где пилили доски для строящегося собора Петра и Павла,— не хватало пил и топоров, все труднее было доставать хлеб, пшено и соль для рабочих; от бескормицы падали лошади, на которых по зимнему пути возили камень и лес с финского берега. Сейчас на санях уж не проедешь, телеги нужны,— колес нет...

Потом, налив по стаканчику, братья начали перебирать европейский политик. Удивлялись и осуждали. Кажется, просвещенные государства,— трудились бы да торговали честно. Так — нет. Французский король воюет на суше и на море с англичанами, голландцами и императором, и конца этой войне не видно; турки, не поделив Средиземного моря с Венецией и Испанией, жгут друг у друга флоты; один Фридрих, прусский король, покуда сидит смирно да вертит носом, принюхивая — где можно легче урвать; Саксония, Силезия и Польша с Литвой из края в край пылают войной и

междоусобицей; в позапрошлом месяце король Карл велел полякам избрать нового короля, и теперь в Польше стало два короля — Август Саксонский и Станислав Лещинский,— польские паны одни стали за Августа, другие — за Станислава, горячатся, рубятся саблями на сеймиках, ополчась шляхтой, жгут друг у друга деревеньки и поместья, а король Карл бродит с войсками по Польше, кормится, грабит, разоряет города и грозит, когда пригнет всю Польшу, повернуть на царя Петра и сжечь Москву, запустошить русское государство; тогда он провозгласит себя новым Александром Македонским. Можно сказать: весь мир сошел с ума...

Со звоном вдруг упала большая сосулька за глубоким — в мазаной стене — окошечком в четыре стеклышка. Братья обернулись и увидели бездонное, синее — какое бывает только здесь на взморье — влажное небо, услышали частую капель с крыши и воробьиное хлопотанье на голом кусте. Тогда они заговорили о насущном.

— Вот нас три брата,— проговорил Алексей задумчиво,— три горьких бобыля. Рубашки у меня денщик стирает и пуговицу пришьет, когда надо, а все не то... Не женская рука... Да и не в том дело, бог с ними, с рубашками... Хочется, чтобы она меня у окошка ждала, на улицу глядела. А ведь придешь усталый, озябший, упадешь на жесткую постель, носом в подушку, как пес, один на свете... А где ее найти?..

— Вот то-то — где? — сказал Яков, положив локти на стол, и выпустил из трубки три клуба дыма один за другим.— Я, брат, отпетый. На дуре какой-нибудь неграмотной не женюсь, мне с такой разговаривать не о чем. А с белыми ручками боярышня, которую вертишь на ассамблее да ей кумплименты говоришь по приказу Петра Алексеевича, сама за меня не пойдет... Вот и пробавляюсь кое-чем, когда нуждишка-то... Скверно это, конечно, грязь. Да мне одна математика дороже всех баб на свете...

Алексей — ему — тихо:

— Одно другому не помеха...

— Стало быть, помеха, если я говорю. Вон — на кусту воробей, другого занятия ему нет,— прыгай через воробьиху... А бог человека создал, чтобы тот думал.— Яков взглянул на меньшого и захрипел трубкой.— Разве вот Гаврюшка-то наш проворен по этой части.

От самой шеи все лицо Гаврилы залилось румянцем; он усмехнулся медленно, глаза подернулись влагой, не знал — в смущении — куда их отвести.

Яков пхнул его локтем:

— Рассказывай. Я люблю эти разговоры-то.

— Да ну вас, право... И нечего рассказывать... Молодой я еще...— Но Яков, а за ним Алексей привязались: «Свои же, дурень, чего заробел...» Гаврила долго упирался, потом начал вздыхать, и вот что под конец он рассказал братьям.

Перед самым рождеством, под вечер, прибежал на двор Ивана Артемича дворцовый скороход и сказал, что-де «Гавриле Иванову Бровкину велено тотчас быть во дворце». Гаврила вначале заупрямился,— хотя был молод, но — персона, у царя на виду, к тому же он обводил китайской тушью законченный чертеж двухпалубного корабля для воронежской верфи и хотел этот чертеж показать своим ученикам в Навигационной школе, что в Сухаревой башне, где по приказу Петра Алексеевича преподавал дворянским недорослям корабельное искусство. Иван Артемич строго выговорил сыну: «Надевай, Гаврюшка, французский кафтан, ступай, куда тебе приказано, с такими делами не шутят».

Гаврила надел шелковый белый кафтан, перепоясался шарфом, выпустил кружева из-за подбородка, надушил мускусом вороной парик, накинул плащ, длиной до шпор, и на отцовской тройке, которой завидовала вся Москва, поехал в Кремль.

Скороход провел его узенькими лестницами, темными переходами наверх в старинные каменные терема, уцелевшие от большого пожара. Там все покои были низенькие, сводчатые, расписанные всякими травами-цветами по золотому, по алому, по зеленому полю; пахло воском, старым ладаном, было жарко от

изразцовых печей, где на каждой лежанке дремал ленивый ангорский кот, за слюдяными дверцами поставцов поблескивали ендовы и кувшины, из которых, может быть, пивал Иван Грозный, но нынче их уже не употребляли. Гаврила со всем презрением к этой старине бил шпорами по резным каменным плитам. В последней двери нагнулся, шагнул, и его, как жаром, охватила прелесть.

Под тускло-золотым сводом стоял на крылатых грифонах стол, на нем горели свечи, перед ними, положив голые локти на разбросанные листы, сидела молодая женщина в наброшенной на обнаженные плечи меховой душегрейке; мягкий свет лился на ее нежное кругловатое лицо; она писала; бросила лебединое перо, поднесла руку с перстнями к русой голове, поправляя окрученную толстую косу, и подняла на Гаврилу бархатные глаза. Это была царевна Наталья Алексеевна.

Гаврила не стал валиться в ноги, как бы, кажется, полагалось ему варварским обычаем, но по всему французскому политесу ударил перед собой левой ногой и низко помахал шляпой, закрываясь куделями вороного парика. Царевна улыбнулась ему уголками маленького рта, вышла из-за стола, приподняла с боков широкую жемчужного атласа юбку и присела низко.

«Ты — Гаврила, сын Ивана Артемича? — спросила царевна, глядя на него блестящими от свечей глазами снизу вверх, так как был он высок — едва не под самый свод париком.— Здравствуй. Садись. Твоя сестра, Александра Ивановна, прислала мне письмо из Гааги, она пишет, что ты для моих дел можешь быть весьма полезен. Ты в Париже был? Театры в Париже видел?»

Гавриле пришлось рассказывать про то, как в позапрошлом году он с двумя навигаторами на масленицу ездил из Гааги в Париж и какие там видел чудеса — театры и уличные карнавалы. Наталья Алексеевна хотела все знать подробно, нетерпеливо постукивала каблучком, когда он мялся — не мог толково объяснить; в восхищении близко придвигалась, глядя

расширенными зрачками, даже приоткрывала рот, дивясь французским обычаям.

«Вот,— говорила,— не сидят же люди, как бирюки, по своим дворам, умеют веселиться и других веселить, и на улицах пляшут, и комедии слушают охотно... Такое и у нас нужно завести. Ты инженер, говорят? Тебе-то я и велю перестроить одну палату,— ее присмотрела под театр. Возьми свечу, пойдем...»

Гаврила взял тяжелый подсвечник с горящей свечой; Наталья Алексеевна летучей походкой, шурша платьем, пошла впереди него через сводчатые палаты, где на горячих лежанках просыпались, выгибали спины ангорские коты и снова ложились нежась; где со сводов — то там, то там — черствые лики царей московских непримиримо сурово глядели вслед царевне Наталье, увлекающей в тартарары и себя, и этого юношу в рогатом, как у черта, парике, и всю заветную старину московскую.

На крутой, узкой лестнице, спускающейся в тьму, Наталья Алексеевна заробела, просунула голую руку под локоть Гавриле; он ощутил теплоту ее плеча, запах волос, меха ее душегрейки; она выставляла из-под подола юбки сафьяновый башмачок с тупым носиком, нагибаясь в темноту — спускалась все осторожнее; Гаврилу начало мелко знобить внутри, и голос стал глухой; когда сошли вниз, она быстро, внимательно взглянула ему в глаза.

«Отвори вот эту дверь»,— сказала, указывая на низенькую дверцу, обитую изъеденным молью сукном. Наталья Алексеевна первая шагнула через высокий порог туда — в теплую темноту, где пахло мышами и пылью. Высоко подняв свечу, Гаврила увидел большую сводчатую палату о четырех приземистых столпах. Здесь в давние времена была столовая изба, где смиренный царь Михаил Федорович обедал с Земским Собором. Росписи на сводах и столпах облупились, дощатые полы скрипели. В глубине на гвоздях висели мочальные парики, бумажные мантии и другое комедиантское отрепье, в углу свалены жестяные короны и латы, скипетры, деревянные мечи, сломанные стулья — все, что осталось от недавно упраздненно-

го — по причине дурости и великой непристойности — немецкого театра Иоганна Кунשта, бывшего на Красной площади.

«Здесь будет мой театр,— сказала Наталья,— с этой стороны поставишь для комедиантов помост с занавесом и плошками, а здесь — для смотрельщиков — скамьи. Своды надо расписать нарядно, чтобы уж забава была — так забава...»

Тем же порядком Гаврила провел царевну Наталью наверх, и она его отпустила,— пожаловав поцеловать ручку. Он вернулся домой за полночь и, как был в парике и кафтане, повалился на постель и глядел в потолок, будто при неясном свете оплывшей свечи все еще виделись ему кругловатое лицо с бархатно-пристальными глазами, маленький рот, произносивший слова, нежные плечи, полуприкрытые пахучим мехом, и все шумели, улетая перед ним в горячую темноту, тяжелые складки жемчужной юбки...

На другой вечер царевна Наталья опять велела ему быть у себя и прочла «Пещное действо» — свою не оконченную еще комедию о трех отроках в огненной пещи. Гаврила допоздна слушал, как она выговаривала, помахивая лебединым пером, складные вирши, и казалось ему,— не один ли он из трех отроков, готовый неистово голосить от счастья, стоя наг в огненной пещи...

За перестройку старой палаты он взялся со всей горячностью, хотя сразу же подьячие Дворцового приказа начали чинить ему преткновения и всякую приказную волокиту из-за лесу, известки, гвоздей и прочего. Иван Артемич помалкивал, хотя и видел, что Гаврила забросил чертежи и не ездит в Навигационную школу, за обедом, не прикасаясь к ложке, уставляется глупыми глазами в пустое место, и ночью, когда люди спят, сжигает целую свечу ценой в алтын. Только раз Иван Артемич, вертя пальцами за спиной, пожевав губами, выговорил сыну: «Одно скажу, одно, Гаврюшка,— близко огня ходишь, поостерегись...»

Великим постом из Воронежа через Москву на Свирь промчался царь Петр и приказал Гавриле ехать

с братом Яковом в Питербурх — строить гавань. На том и окончились его дела с театром... На том Гаврила и окончил свой рассказ. Вылез из-за стола, расстегнул множество пуговичек на голландской куртке, раскинул ее на груди и, засунув руки в широкие, как пузыри, короткие штаны, зашагал по мазаной избушке — от двери до окна.

Алексей сказал:

— И забыть ее не можешь?

— Нет... И не хочу такое забывать, хоть мне плахой грози...

Яков сказал, стуча по столу ногтями:

— Это маманя сердцем-то нас неистовым наградила... И Санька такая же... Тут ничего не поделаешь,— сию болезнь лечить нечем. Давайте, братки, нальем и выпьем — память родительницы нашей, Авдотьи Евдокимовны...

В это время в сенях, околачивая грязь, застучали сапогами, шпорами, рванули дверь, и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Эстляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков.

2

— Батюшки, накурили, как в берлоге! Да си́дите, сидите, будьте без чинов. Здорово! — грубо-весело сказал Александр Данилович.— На реку, что ли, сходим? А? — И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, поглядел на валяющиеся обглоданные мослы, заглянул в пустую чашку.— Со скуки рано пообедал, спать лег на часок, а — просыпаюсь — в доме нет никого, ни гостей, ни челяди. Бросили генерал-губернатора... Мог я во сне умереть, и никто бы не знал.— Он глазом мигнул Алексею.— Господин подполковник, перцовочки поднеси да расстарайся капустки,— голова что-то болит... Ну, а у вас как дела, братья-корабельщики? Надо, надо поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю.

Алексей принес из сеней капусту и штоф. Александр Данилович, отставляя холеный мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с тарелки щепоть капусты с ледком, прищурясь, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал хрустко жевать капусту.

— Хуже нет воскресенья, так я скучаю по воскресеньям, ужас. Или весна, что ли, здешняя такая вредная?.. Все тело разломило и тянет... Баб нет,— вот причина!.. Вот тебе и завоеватели! Довоевались! Построили городок,— баб нет! Ей-богу, отпрошусь у Петра Алексеевича, не надо и не надо мне генерал-губернаторства... Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться... Да девки-то какие в Москве! Венусы! Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые... Ну, пойдемте, пойдемте на реку, здесь что-то душно...

Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте, времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с царем Петром; говорил он одно, сам думал другое и разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. Опять — натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольих пупках и вышел из мазанки вместе с братьями Бровкиными. Сразу в лицо задул сильный, сырой весенний ветер. По всему Фомину острову, как называли его в старину,— а теперь Питербургской стороной,— шумели сосны так мягко и могуче, будто из бездны бездн голубого неба лилась река... Кричали грачи, кружась над голыми редкими березами.

Алексеева мазанка стояла в глубине очищенной от леса и выкорчеванной Троицкой площади, неподалеку от только что построенных деревянных гостиных рядов; лавки были накрест забиты досками, купцы еще не приехали; направо виднелись оголенные от снега земляные валы и бастионы крепости; пока только один из бастионов — бомбардира Петра Алексеева — был до половины одет камнем, там на мачте плескался белый с андреевским крестом морской флаг — в предвестии ожидаемого флота.

По всей площади ветром рябило воду; Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел — наискосок — к Неве. Главная площадь Питербурха была только в разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке; а всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка — Троицкий собор, да неподалеку от него — ближе к реке — дом Петра Алексеевича,— чисто рубленная изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич, на крыше, на коньке, поставлены деревянные — крашеные — мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями.

По другой стороне площади находился низенький голландский дом, весьма располагающий к тому, чтобы туда зайти,— из трубы его постоянно курился дымок, за окном, сквозь мутные стеклышки, виднелась оловянная посуда и висящие колбасы, на входной двери намалеван преужасный штурман с пиратской бородой, в одной руке он держит пивную кружку, в другой — чем играют в кости, над входом скрипела на шесте вывеска: «Аустерия четырех фрегатов».

Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий, с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился:

— Две тысячи рублев отпустили им на все работы! Ах, чернильные души, ах, постники, грибоеды! Да наплевал я на дьяков, на подьячих, на все Приказы,— в Москве над полушкой трясутся, бумагу переводят! Я здесь хозяин! У меня есть деньги, есть лошади, мужиков добрых могу достать, сколько надобно, где я их найду — это мое дело... Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали... Не доспать, не доесть — к концу мая должны быть готовы все причалы, и боны, и амбары... Да не только на левом берегу, где вам указано... Здесь, на Питербурхской стороне, должны быть удобства, чтобы подойти, пришвартоваться большому кораблю...— Александр Данилович быстро шел по берегу, указывая — где начинать бить сваи, где ставить причалы.— После морской виктории подплывет флагман, с пальбой, с продырявленными па-

русами,— что ж ему в устье Фонтанки швартоваться? Нет — здесь! — он топал ботфортом в лужу.— А случится — приплывет из Англии, из Голландии богатый гость,— вот — дом Петра Алексеевича, вот — мой дом — милости просим...

Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец,— в ста саженях от царской избушки — вверх по реке,— построен был наспех, глинобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видной издалече по реке; как раз посреди фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах, с портиком, на котором — на правом скате — лежал деревянный золоченый Нептун с трезубцем, на левом скате — Наяда, с большими грудями, локтем опиралась на опрокинутый горшок; в треугольнике портика — шифр «А. М.», обвитый змеей; на крыше — на мачте — собственный флаг генерал-губернатора; перед крыльцом стояли две пушки.

— Домишко не стыдно иностранным показать... Хороши, ах, хороши боги морские! Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом... А как флот-то со Свири здесь мимо проплывет, да из пушек мы надымим... Красиво, ах, красиво!..

Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза. Потом повернулся и крякнул с досады, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин.

— Ах, обидно!.. Малость тут попортили сгоряча...— Он указал тростью на то место, где Фонтанка вытекала из Невы.— Какая была першпектива перед моими окнами,— бор стоял стеной, там бы плезир поставить для летнего удовольствия... Вырубили! Вот, черт, всегда так... Ну, что ж, пойдемте ко мне, чего-нибудь соберем, выпьем...

— Господин генерал-губернатор,— сказал Алексей,— взгляните — сверху по Неве что-то много саней идет... Уж не государь ли?

Александр Данилович только взглянул: «Он!» — и спохватился. Братья Бровкины тотчас побежали в разные стороны с приказами, сам он поспешил к дому, громким голосом зовя людей. И через небольшое

время опять стоял на берегу, на мостках,— в одном преображенском мундире, с огромными — шитыми золотом — красными обшлагами, с шелковым шарфом через плечо, при шпаге — той самой, с которой в позапрошлом году лез на абордаж, на борт шведского фрегата в невском устье.

По вздувшемуся льду Невы, на которую и смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали бодрить заморенных лошадей и поскакали к берегу,— в опасенье полыньи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины возка, из-за медвежьих одеял, высунулась длинная нога в ботфорте,— около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом протянулись два тулупьих рукава, из них выпростались пальцы с крепкими ногтями, ухватились за кожаный фартук возка, и оттуда был низковатый голос:

— Данилыч, помоги, вот, черт,— не вылезу...

Александр Данилович прыгнул с мостков по колена в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, покатился грохот по Неве. У царского домика на мачту пополз штандарт.

Петр Алексеевич вылез на мостки, потянулся, распрямился, сдвинул на затылок меховой колпак и — первое — взглянул на Данилыча, на его покрасневшее от радости длинное лицо, прыгающие брови. Взял его рукой за щеки, сжал:

— Здравствуй, камрат... Не изволил ко мне приехать, а я ждал... Ну, вот — сам приехал... Тащи с меня тулуп. Дорога дрянная, пониже Шлиссельбурга едва не потонули, всего уваляло на ухабах, в ноге — мурашки...

Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на беличьем меху; подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние облака, на быстрые тени, пролетающие по лужам и полыньям, на яростное — сквозь прорывы облаков — бездремное солнце за Васильевским

островом; у него раздулись ноздри, с боков маленького рта появились ямочки.

— Парадиз! — сказал.— Ей-ей, Данилыч, парадиз, земной рай... Морем пахнет...

По площади, разбрызгивая лужи, бежали люди. Позади бегущих тяжело ударяли башмаками, шли в линию преображенцы и семеновцы в зеленых узких кафтанах, в белых гетрах,— держали ружья с багинетами перед собой.

8

— ...в Варшаве у кардинала Радзеевского за столом он говорил: в Неву ни единой скорлупы не пропущу, пусть московиты и не надеются сидеть у моря... А покончу с Августом — мне Санктпитербурх, как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть...

— Ну и дурак же он, бодлива мать! — Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову.— Съехаться мне с ним на поле — я бы этому ерою показал вишневую косточку...

— И еще говорил: в Архангельск ни единого аглицкого корабля не пропущу, у московских купцов товар пускай гниет в амбарах.

— А товар-то у нас не гниет, мин херц, а?

— Тридцать два аглицких корабля, собравшись в караван, с четырьмя охранными фрегатами, с божьей помощью без потерь, приплыли в Архангельск, привезли железо, и сталь, и пушечную медь, и табак в бочках, и многое другое, чего нам ненадобно, а купить пришлось.

— Ну что ж, мин херц, в убытке не останемся... Им тоже надо иметь удовольствие,— с отвагой плыли... Квасом хочешь поддать? Нартов! — закричал Александр Данилович, шлепая по мокрому свежеструганному полу к низенькой двери в предбанник.— Что ты там — угорел, Нартов? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько...

Петр Алексеевич лежал на полке́ под самым потолком, подняв худые колени — помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже два раза его парил и об-

ливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать. Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить, хотя вот уже два часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода и стола.

Нартов открыл медную дверцу в печи, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный мягкий дух, жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крякнул, помовая себе на грудь листьями березового веника.

— Мин херц, а вот Гаврила Бровкин рассказывает — в Париже, например, париться да еще квасом — ничего этого не понимают, и народ мелкий.

— Там другое понимают — чего нам не мешает понять,— сказал Петр Алексеевич.— Купцы наши — чистые варвары,— сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать,— три года будет врать, божиться, плакать — подсовывать гнилье, покуда и свежее у него не сгниет... Рыбы в Северной Двине столько — весло в воду сунь, и весло стоит — такие там косяки сельди... А мимо амбаров пройти нельзя — вонища... Поговорил я с ними в Бурмистерской палате — сначала лаской,— ну, потом пришлось рассердиться...

Александр Данилович сокрушенно вздохнул.

— Это есть у нас, мин херц... Темнота жа... Им, купчишкам, дьяволам, дай воли — в конфузию все государство приведут... Нартов, подай пива холодного...

Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке́, нагнул голову, с кудрявых темных волос его лил пот...

— Хорошо,— сказал он.— Очень хорошо. Так-то, камрад любезный... Без Питербурха нам — как телу без души.

4

Здесь, на краю русской земли, у отвоеванного морского залива, за столом у Меньшикова сидели люди новые,— те, что по указанию царя Петра: «отныне

знатность по годности считать» — одним талантом своим выбились из курной избы, переобули лапти на юфтевые тупоносые башмаки с пряжками и вместо горьких дум: «За что обрекаешь меня, господи, выть с голоду на холодном дворе?» — стали, так вот, как сейчас, за полными блюдами, хочешь не хочешь, думать и говорить о государском. Здесь были братья Бровкины, Федосей Скляев и Гаврила Авдеевич Меньшиков — знаменитые корабельные мастера, сопровождавшие Петра Алексеевича из Воронежа на Свирь, подрядчик — новогородец — Ермолай Негоморский, поблескивающий глазами, как кот ночью, Терентий Буда, якорный мастер, да Ефрем Тараканов — преславный резчик по дереву и золотильщик.

За столом были и не одни худородные: по левую руку Петра Алексеевича сидел Роман Брюс — рыжий шотландец, королевского рода, с костлявым лицом и тонкими губами, сложенными свирепо,— математик и читатель книг, так же как и брат его Яков; братья родились в Москве, в Немецкой слободе, находились при Петре Алексеевиче еще от юных его лет и его дело считали своим делом; сидел соколиноглазый, томный, надменный, с усиками, пробритыми в черту под тонким носом,— полковник гвардии князь Михайла Михайлович Голицын, прославивший себя штурмом и взятием Шлиссельбурга,— как и все, он пил немало, бледнел и позвякивал шпорой под столом; сидел вице-адмирал ожидаемого балтийского флота — Корнелий Крейс, морской бродяга, с глубокими, суровыми морщинами на дубленом лице, с водянистым взором, столь же странным, как холодная пучина морская; сидел генерал-майор Чамберс, плотный, крепколицый, крючконосый, тоже — бродяга, из тех, кто, поверя в счастье царя Петра, отдал ему все свое достояние — шпагу, храбрость и солдатскую честь; сидел тихий Гаврила Иванович Головкин, царский спальник, человек дальнего и хитрого ума, помощник Меньшикова по строительству города и крепости.

Гости говорили уже все враз, шумно,— иной нарочно начинал кричать, чтобы государь его услышал. В высокой комнате пахло сырой штукатуркой, на бе-

лых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зерцалами, горело много свечей и на пестрой скатерти, воткнутых в пустые штофы — среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог попотчевать гостей генерал-губернатор: ветчина и языки, копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы,— все привезенное Александру Даниловичу в дар подрядчиком Негоморским.

Больше всего споров и крику было из-за выдачи провианта и фуража,— кто у кого больше перетянул. Довольствие сюда шло из Новгорода, из главного провиантского приказа,— летом на стругах по Волхову и Ладожскому озеру, зимой по новопросеченной в дремучих лесах дороге,— на склады в Шлиссельбург, под охрану его могучих крепостных стен; там, в амбарах, сидели комиссарами земские целовальники из лучших людей и по требованию отпускали товар в Питербурх для войска, стоявшего в земляном городе на Выборгской стороне, для разных приказов, занимавшихся стройкой, для земских мужиков-строителей, приходивших сюда в три смены — с апреля месяца по сентябрь,— землекопов, лесорубов, плотников, каменщиков, кровельщиков. Путь из Новгорода был труден, здешний край разорен войной, поблизости достать нечего, запасов постоянно не хватало, и Брюс, и Чамберс, и Крейс, и другие — помельче люди, рвали каждый себе, и сейчас за столом, разгорячась, сводили счеты.

Петру Алексеевичу было подано горячее — лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторке, на берегу Фонтанки, у рыбака-чухонца, содравшего ради такого случая пять алтын за старую птицу. Поев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями: на них после бани надулись жилы. Он говорил мало, слушал внимательно, выпуклые глаза его были строгие, страшноватые; когда же,— набивая трубку или по какой иной причине,— он опускал их — круглощекое лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом казалось добродушным,— подходи смело, стучись чаркой о его чарку: «Твое здра-

вие, господин бомбардир!» И он, смотря, конечно, по человеку, одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой,— темные, тонкие, завивающиеся волосы его встряхивались. «Во имя Бахуса»,— говорил баском и пил, как научили его в Голландии штурмана и матрозы,— не прикасаясь губами к чарке — через зубы прямо в глотку.

Петр Алексеевич был сегодня доволен и тем, что Данилыч поставил назло шведам такой хороший дом, с Нептуном и морской девой на крыше, и тем, что за столом сидят все свои люди и спорят и горячатся о большом деле, не задумываясь,— сколь оно опасно и удастся ли оно, и в особенности радовало сердце то, что здесь, где сходились далекие замыслы и трудные начинания, все то, что для памяти он неразборчиво заносил в толстенькую записную книжку, лежавшую в кармане вместе с изгрызанным кусочком карандаша, трубкой и кисетом,— все это стало въяве,— ветер рвет флаг на крепостном бастионе, из топких берегов торчат сваи, повсюду ходят люди в трудах и заботах, и уже стоит город как город, еще невелик, но уже во всей обыкновенности.

Петр Алексеевич, покусывая янтарь трубки, слушал и не слушал, что ему бубнил про гнилое сено сердитый Брюс, что кричал, силясь дотянуться чаркой, пьяный Чамберс... Желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, белесом и теплом, добытом с великими трудами, хорошо на Белом море, колышущем студеные волны под нависшим туманом, но не равняться им с морем Балтийским — широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам. Здесь и сердце бьется по-особенному, и у мыслей распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое...

Александр Данилович нет-нет да и поглядывал, как у мин херца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки.

— Да будет вам! — крикнул он вдруг гостям.— Заладили — овес, пшено, овес, пшено! Господин бомбардир не за тем сюда ехал — слушать про овес, пшено.— Меньшиков всей щекой мигнул толстенькому,

сладко улыбающемуся человеку, в коротеньком, растопыренном кафтане.— Фельтен, налей ренского, того самого,— и выжидающе повернулся к Петру Алексеевичу. Как всегда, Меньшиков угадал, прочел в потемневших глазах его, что — вот, вот — настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так и этак у него в голове,— отчетливо и уже непоколебимо становилось волей... И тут не спорь, не становись поперек его воли.

За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой бутыли в чарки. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула.

— Король Карл отважен, но не умен, весьма лишь высокомерен,— заговорил он, с медленностью,— по-московски,— произнося слова.— В семисотом году фортуну свою упустил. А мог быть с фортуной, мы бы здесь ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли. Наши генералы, вкупе с Борис Петровичем Шереметьевым, Аникитой Ивановичем Репниным, показали всему миру, что шведы — не чудо и побить их можно и в чистом поле и на стенах. Вы, дети сердца моего, добыли и устроили сие священное место. Бог Нептун, колебатель пучин морских, лег на крыше дома сего вельможи, в ожидании кораблей, над коими мы все трудились даже до мозолей. Но разумно ли, утвердясь в Питербурхе, вечно отбиваться от шведов на Сестре-реке да на Котлине острове? Ждать, когда Карл, наскуча воевать с одними своими мечтами да сновидениями, повернет из Европы на нас свои войска? Тогда нас здесь, пожалуй, и бог Нептун не спасет. Здесь сердце наше, а встречать Карла надо на дальних окраинах, в тяжелых крепостях. Надобно нам отважиться — наступать самим. Как только пройдет лед — идти на Кексгольм, брать его у шведов, чтобы Ладожеское озеро, как в древние времена, опять стало нашим, флоту нашему ходить с севера без опасения. Надобно идти за реку Нарову, брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас, камрады. Промедление — смерти подобно.

5

Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис.

— Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо, схожу — подышу, вернусь.

Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий, мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома — из-за колонны — отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.

— Тебе чего? — спросил Петр Алексеевич.— Ты кто? Встань,— указа не знаешь?

— Великий государь,— сказал человек тихим, проникающим голосом,— бьет тебе челом детинишка скудный и бедный, беззаступный и должный, Андрюшка Голиков... Погибаю, государь, смилуйся...

Петр Алексеевич сердито потянул носом, сердито взял грамоту, приказал еще раз — встать:

— От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?

— Здоров я, государь, от работы не бегаю, вожу камень и землю копаю, бревна пилю... Государь, сила чудная во мне пропадает... Живописец есмь от рода Голиковых — богомазов из Палехи. Могу парсуны писать, как бы живые лица человечьи, не стареющие и не умирающие, но дух живет в них вечно... Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму,— весьма искусно...

Петр Алексеевич в другой раз фыркнул, но уже не сердито:

— Корабли умеешь писать? А — как тебе поверить, что не врешь?

— Мог бы сбегать, принести, показать, да — на стене написано, на штукатурке, и не красками — углем... Красок-то, кистей — нет. Во сне их вижу... За краски, хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек

несколько, государь, так бы тебе отслужил — в огонь бы кинулся...

В третий раз Петр Алексеевич фыркнул коротким носом: «Пойдем!» — и, подняв лицо к месяцу, что светил на тонкий ледок луж, хрустевших под ботфортами, пошел, как всегда, стремительно. Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее.

Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли, крытые дерном, низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков — вне себя — кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек двадцать спало на нарах,— из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной,— латал рубаху.

Он не удивился, увидя царя Петра, воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви — черному лику.

— Жалуйся! — отрывисто сказал Петр.— Еда плохая?

— Плохая, государь,— ответил человек просто, ясно.

— Одеты худо?

— Осенью выдали одежонку,— за зиму — вишь — сносили.

— Хвораете?

— Многие хворают, государь,— место очень тяжелое.

— Аптека вас пользует?

— Про аптеку слыхали, точно.

— Не верите в аптеку?

— Да как тебе сказать, сами собой будто бы поправляемся.

— Ты откуда? По какому наряду пришел?

— Из города Керенска пришел, по третьему, по осеннему наряду... Мы — посадские. Тут, в землянке, мы все — вольные...

— Почему остался зимовать?

— Не хотелось на зиму домой возвращаться,— все равно — с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе,— возим лес. А ты посмотри — какой хлеб дают.— Мужик вытащил из-под полушубка кусок черного хлеба, помял, поломал его в негнущихся пальцах.— Плесень. Разве тут аптека поможет?

Андрей Голиков тихонько переменил лучину в светце,— в низенькой, обмазанной глиной, местами лишь побеленной землянке стало светлее. Кое-кто из-за рогожи поднял голову. Петр Алексеевич присел на нары, обхватил коленку, пронзительно,— в глаза,— глядел на бородатого мужика:

— А дома, в Керенске, что делаешь?

— Мы — сбитенщики. Да ныне мало сбитню стали пить, денег ни у кого нет.

— Я виноват, всех обобрал? Так?

Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустился медный крест на его тощей груди,— с усмешкой качнул головой:

— Пытаешь правду?.. Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные... Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было... А ныне — все деньги да деньги давай... Платили прежде с дыму, с сохи, большей частью — круговой порукой, можно было договориться, поослобонить,— удобство было... Ныне ты велел платить всем подушно, все души переписал,— около каждой души комиссар крутится, земский целовальник, плати. А последние года еще,— сюда, в Питербург, тебе ставь в лето три смены, сорок тысяч земских людей... Легко это? У нас с каждого десятого двора берут человека,— с топором, с долотом или с лопатой, с поперечной пилой. С остальных девяти дворов собирают ему кормовые деньги — с каждого двора по тринадцати алтын и две денежки... А их надо найти... Вот и дери на базаре глотку: «Вот он, сбитень горячий!» Другой бы добрый человек и выпил,— в кармане ничего нет, кроме «спасиба». Сыновей моих ты взял в драгуны, дома — старуха да четыре девчонки — мал мала меньше... Конечно, государь, тебе виднее — что к чему...

— Это верно, что мне виднее! — жестко проговорил Петр Алексеевич.— Дай-ка этот хлеб-то.— Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман.— Пройдет Нева, привезут новую одежу, лапти. Муку привезут, хлеб будем печь здесь.— Он пошел было к двери, забыв про Голикова, но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него, Петр Алексеевич с усмешкой сказал: — Ну, богомаз? Показывай...

Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:

— Вельми преславная морская виктория в усть Неве майя пятого дня, тысячу семьсот третьего года: неприятельская шнява «Астрель» о четырнадцати пушек и адмиральский бот «Гедан» о десяти пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову.

На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля, в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на абордаж. Над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексеевич присел на корточки. «Ну и ну!» — проговорил. Все было правильно,— и оснастка судов, и надутые пузырями паруса, и флаги. Он даже разобрал Алексашку с пистолетом и шпагой, лезущего по штурмовому трапу, и узнал себя,— принаряженного слишком, но — действительно — он стоял тогда под самой неприятельской кормой, на носу лодки, кричал и кидал гранаты.

— Ну и ну! Откуда же ты знаешь про сию викторию?

— Я тогда на твоей лодке был, гребцом...

Петр Алексеевич потрогал пальцем рисунок,— и верно, что уголь. (Голиков за спиной его тихо застонал.)

— Эдак я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю — учиться. Не сопьешься? А то я вас знаю, дьяволов...

...Петр Алексеевич вернулся к генерал-губерна-

тору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали. Гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склонясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у мин херца подергивается уголок рта, и быстро соображал — с чего бы это?

— На, закуси! — вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба.— Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!..

— Мин херц, тут не я виноват, хлебными выдачами ведает Головкин, ему подавиться этим куском... Ах, вор, ах, бесстыдник!

— Ешь! — у Петра Алексеевича бешено расширялись глаза.— Дерьмом людей кормишь — ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь! За каждую душу человечью...

Александр Данилович повел на мин херца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы...

6

Петр Алексеевич пошел спать к себе в домик, потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца Киста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть, и все-таки ему там нравилось.

Денщик Нартов тепло натопил печь, на столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все — чем писать, готовальни — чертежные, столярные и медицинские — в толстых кожаных сумках, подзорные трубы, компасы, табак и трубки. Горница была обита морской парусиной. В углу стоял — в полроста человека — медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости; лежало несколько якорей для ботиков и буеров, смоляные концы, бокаутовые блоки.

Тут бы Петру Алексеевичу — после бани и хорошего ужина — и заснуть сладко на деревянной постели с крашенинным пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщовый колпак. Но ему не спалось. Шумел ветер по крыше — порывами, взвывал в печной трубе, тряс ставней. На полу, на кошме, поставив около себя круглый фонарь с дырочками, сидел друг сердечный — Алексашка и рассказывал про денежные трудности короля Августа, о которых постоянно доносил — письменно и через нарочных — посол при его дворе князь Григорий Федорович Долгорукий.

Короля Августа вконец разорили фаворитки, а денег нет; в Саксонии подданные его отдали все, что могли,— говорят, там ста талеров не найти взаймы; поляки на сейме в Сандомире в деньгах отказали; Август продал прусскому королю свой замок за полцены, и опять — не то черт ему подсунул, не то король Карл — одну особу — первую красавицу в Европе, графиню Аврору Кенигсмарк, и он эти деньги ухлопал на фейерверки да на балы в ее честь; когда же графиня убедилась, что карманы у него вывернуты, сказала ему кумплимент и отъехала от него, увозя полную карету бархатов, шелков и серебряной посуды. Ему стало и есть нечего. Прибыл он ко князю Григорию Федоровичу Долгорукому, разбудил его, упал в кресло и давай плакать: «Мои, говорит, саксонские войска другую неделю грызут одни сухари, польские войска, не получая жалованья, занялись грабежом... Поляки совсем сошли с ума,— такого пьянства, такой междоусобицы в Польше и не запомнят, паны со шляхтой штурмом берут друг у друга города и замки, жгут деревнишки, безобразничают хуже татар; до Речи Посполитой им и горя мало... О, я несчастный король! О, лучше мне вынуть шпагу, да и напороться на нее!»

Князь Долгорукий, человек добрый, послушал-послушал, прослезился над таким несчастьем и дал ему без расписки из своих денег десять тысяч ефимков. Король тут же залился домой, где у него бесилась новая фаворитка — графиня Козельская, и давай с ней пировать...

Александр Данилович пододвинул железный фонарь, вынул письмецо и, поднеся его к светящимся дырочкам, прочел с запинками, так как еще не слишком был силен в грамоте:

— Мин херц, вот,— к примеру,— что нам отписывает из Сандомира князь Григорий Федорович: «Польское войско хорошо воюет в шинках за кружкой, а в поле противу неприятеля вывести его трудно... Саксонское войско короля Августа изрядно, только сердца против шведов не имеет. Половина Польши разорена шведом вконец, не пощажены ни костелы, ни гробы. Но польские паны ни на что не глядят: думают только каждый о себе. Не знаю — как может стоять такое государство! Нам оно никакой помощи не принесет,— разве только отвлекать неприятеля...»

— На бо́льшую пользу и не рассчитываю,— сказал Петр Алексеевич,— а Долгорукому я писал, что как хочет — так сам и взыскивает с короля десять тысяч ефимков, я в них не ответчик... Фрегат можно построить на эти деньги.— Он зевнул, стукнув зубами.— Евины дочки! Что делают с нашим братом! В Амстердаме ко мне ходила одна, из трахтира,— врунья, прыткая, но — ничего... Тоже — не дешево обошлась...

— Мин херц, разве тебе равняться по этой части с Августом. Ему одна Аврора Кенигсмарк стоила полмиллиона. А трактирщице,— я хорошо помню,— ты подарил не то триста, не то пятьсот рублев,— только...

— Неужто — пятьсот рублев? Ай-ай-ай... Бить некому было... Август нам не указка, мы — люди казенные, денег у нас своих нет. Поостерегись, Алексашка, с этим «только»,— полегче рассуждай насчет казенных денег...— Он помолчал.— У тебя тут человек один есть, лес возит... Вот бог дал таланту...

— Это Андрюшка Голиков, что ли?

— Здесь он — зря, не при своем деле... Надо его послать в Москву... Пусть напишет парсуну с одной особы.— Петр Алексеевич покосился. Алексашка,— не разобрать,— кажется, начал скалить зубы.— А вот — встану — так отвожу тебя дубинкой, куманек, будешь знать — как смеяться... Скучаю я по Кате-

рине, вот и все... Закрою глаза — и вижу ее, живую, открою глаза — ноздрями ее слышу... Все ей прощаю, всех ее мужиков, с тобой вместе... Евина дочка,— и сказать больше нечего...

Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному, серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном — в шуме ветра — начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда.

— Нева тронулась, мин херц!..

Петр Алексеевич вытащил ноги из-под медвежьего одеяла:

— Да ну! Теперь нам — не спать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые гребные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и пяти верст вверх по Неве,— на берегу, из поломанного ельника, выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Петр Алексеевич крейсировал на боте позади гребной флотилии; услышав, как кричит этот человек: «Э-эй, лодошники, где государь? к нему грамота!» — он перекинул парус и подплыл к берегу. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно-испуганными глазами, проговорил осипшим голосом:

— От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, господин бомбардир.

Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский.

Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмецо, прочел еще раз внимательно, нахмурился. Прищурясь, стал глядеть туда, где по солнечной зыби плыли тяжело груженные лодки, враз взмахивая веслами.

— Отдай лошадь матрозу, садись в лодку,— сказал он Ягужинскому и вдруг закричал на него: — Зайди в воду, видишь мы — на мели, отпихни лодку, потом прыгай.

Он молчал весь путь до Питербурхской стороны, куда пришлось плыть, лавируя против ветра. Он ловко подвел бот к мосткам, два матроса торопливо опустили большой парус, кинулись, стуча башмаками, на нос лодки, где на заевшем кливерштоке хлопало полотнище. Петр Алексеевич молча посверкивал зрачками, покуда они в порядке, по регламенту, не свернули паруса и не убрали все снасти. Только тогда он зашагал к своему домику. Тотчас туда собрались встревоженные Меньшиков, Головкин, Брюс и вице-адмирал Крейс. Петр Алексеевич приоткрыл окно, впуская ветер в душную комнатку, сел к столу и прочел им письмо Петра Матвеевича Апраксина, начальствующего гарнизоном в крепости Ямбурге, расположенной в двадцати верстах к северу от Нарвы:

«Как ты приказал, государь, вышел я в начале весны из Ямбурга с тремя пехотными полками и пятью ротами конницы к устью Наровы и стал там на месте, где впадает ручей Россонь. Вскорости пришло пять шведских кораблей, и еще были видны вымпелы далеко в море. В малый ветер два боевых корабля вошли в устье и стали бить из пушек по нашему обозу. Слава богу, мы отвечали из полевых пушек изрядно, один корабль у шведов разбили ядрами и неприятеля из усть-Наровы выбили.

После этого боя шведы вторую неделю стоят на якорях на взморье,— пять военных кораблей и одиннадцать шхун грузовых, чем приводят меня в немалое сомнение. Я посылаю непрестанно разъезды по всему морскому берегу, не давая шведам выгрузить ничего на сухой берег. А также посылаю драгун по ревельской дороге и к самой Нарве и разбиваю неприятельские

караулы. Языки говорят, что в Нарве всем нуждаются и очень тужат, что твоим премудрым повелением мы заняли наровское устье.

Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну с цифирным письмом. Оный нарочный объявился презнатной фамилии капитаном гвардии Сталь фон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском и шведы уже отправили туда караван в тридцать пять судов с хлебом, солодом, сельдями, копченой рыбой и солониной. Караваном командует вице-адмирал де Пру, француз, у которого левая рука оторвана и вместо нее приделана серебряная. У него на кораблях — свыше двухсот пушек и морская пехота.

Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преужасном деле, но — вот, государь,— сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше сорока вымпелов. Силы мои слабы, конницы — самое малое число, пушек — только девять и то одну на днях разорвало при стрельбе... Кроме конечной погибели, ничего не жду... Помоги, государь...»

— Ну? Что скажете? — спросил Петр Алексеевич, окончив чтение.

Брюс свирепо уткнулся подбородком в черный галстух. Корнелий Крейс не выразил ничего на дубленом лице своем, только сузил зрачки, будто отсюда увидал полсотни шведских вымпелов в Нарвском заливе; Александр Данилович, всегда быстрый на ответ, сегодня тоже молчал, насупясь.

— Спрашиваю, господа военный совет, считать ли нам, что в сей хитрой игре король Карл выиграл у меня фигуру: одним ловким ходом на Нарву оборонил Кексгольм? Или продолжать нам быть упрямыми и вести гвардию на Кексгольм, отдавая Нарву Шлиппенбаху?

Корнелий Крейс затряс лицом,— противно адмиральскому положению вынул из табакерки кусочек мат-

российского табаку, вареного с кайенским перцем и ромом, и сунул за щеку.

— Нет! — сказал он.

— Нет! — сказал Брюс твердо.

— Нет! — сказал Александр Данилович, стукнув себя по коленке.

— Кексгольм нам не трудно будет взять,— проговорил Гаврила Иванович Головкин смирным голосом,— но как бы король Карл в это время у нас вторую фигуру не отыграл, на сей раз — ферзя.

— Так! — сказал Петр Алексеевич.

И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву — значило отказаться от овладения главными крепостями — Нарвой и Юрьевым,— без которых оставались открытыми подступы к Питербургу. Медлить нельзя было ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали по шлиссельбургской дороге и вдоль Невы с приказом — повернуть обратно в Питербург войска и гребной флот.

Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший с седла трое суток, только и успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью и отправился обратно в лагерь к Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено — без сомнения положить печаль свою на господа бога и стоять с войском крепко против шведского флота даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб:

— На словах передашь ему: через неделю всеми войсками буду под Нарвой...

2

Короля Карла разбудило заливистое пенье петуха; открыв глаза в полусвете палатки, он слушал, как петух с придыханием прилежно надрывает глотку; его возили в обозе и на ночь ставили в клетке у королевского шатра. Потом протяжно заиграл рожок зорю,— королю вспомнилось туманное ущелье, рога, собачий лай и нетерпение — пролить кровь зверя... У самого шатра затявкала собачонка, по голосу — дрянь, из тех, что дамы

возят с собой в карете... Кто-то шикнул на нее, собачонка жалобно взвизгнула. Король отметил: «Узнать — откуда собачонка». Неподалеку у коновязи забились лошади, одна дико закричала. Король отметил: «Жаль, но, видимо, «Нептуна» придется охолостить». Протопали мерные, тяжелые шаги. Король насторожил ухо, чтобы услышать команду при смене караула. Над палаткой пронеслись птицы, разрезая со свистом воздух. Отметил: «Будет погожий день». Звуки и голоса становились все отчетливее. Слаще всех виол, арф, клавесин была эта бодрая, мужественная музыка пробуждающегося лагеря.

Король чувствовал себя отлично после короткого сна на походной постели, под шинелью, пахнущей дорожной пылью и конским потом. О да, было бы в тысячу раз приятнее проснуться от петушиного крика, когда по другую сторону поля стоит неприятель и в сыром тумане оттуда тянет дымком его костров... Тогда — одним прыжком с постели — в ботфорты, и — на коня... И спокойным шагом, сдерживая блеск глаз,— выехать к своим войскам, которые уже построились перед боем и стоят, усатые, суровые...

Черт возьми! После роковой битвы при Клиссове король Август, потеряв все пушки и знамена, только отступает, вот уже целый год отступает, петляет, как заяц, по необъятной Польше... О трус, о лгун, интриган, предатель, развратник! Он боится открытой встречи, он принуждает своего противника разменивать прогремевшую славу побед при Нарве, Риге и Клиссове на бесплодную погоню за голодными саксонскими фузилерами и пьяными польскими гусарами... Он принуждает своего врага валяться, подобно куртизанке, все утро в постели!..

Король Карл приложил два пальца к губам, свистнул. Тотчас откинулся край парусины, и в палатку вошли камер-юнкер барон Беркенгельм, с бородавочкой на приподнятом носике, и вестовой — телохранитель — ростом под самый верх палатки; он внес вычищенные ботфорты и темно-зеленый сюртук, на котором в нескольких местах были заштопанные следы от пуль и ядерных осколков.

Король Карл вышел из шатра и подставил ладони,— вестовой осторожно стал лить воду из серебряного кувшина. К летящим ядрам король Карл приучил себя легко, но холодной воды боялся, когда она попадала на шею и за ушами... Бросив полотенце вестовому, он причесал коротко остриженные волосы,— не глядя в зеркальце, поднесенное ему бароном Беркенгельмом. Он оправил застегнутый до шеи сюртук и оглянул ровные ряды палаток — на зеленом склоне, спускающемся к ручью. Позади палаток шла обычная суета у коновязей; пушкари начищали тряпками медные стволы пушек. Карл презрительно отметил: «Сколь великолепнее — брызги грязи на лафетах и медь, закопченная порохом!» Внизу, у берега ручья, солдаты мыли рубахи, развешивали их на ветвях низеньких ракит. По другую сторону ручья — по болоту — важно расхаживали аисты, похожие на профессоров богословия. Дальше — торчали голые трубы сожженной деревни, за ней — на бугре — из-за вековых деревьев желтели две облупленные башни костела.

Королю Карлу до оскомины надоел такой, столько раз повторявшийся, скучный пейзаж! Три года колесить по проклятой Польше! Три года, которые могли бы отдать ему полмира — от Вислы до Урала!

— Ваше королевское величество изволят принять завтрак,— сказал барон Беркенгельм, изящно холеной рукой указывая на откинутые полотнища шатра. Там, на пустой пороховой бочке, покрытой белоснежным полотном, лежал на серебряной тарелке хлеб, нарезанный тоненькими кусочками, стояла миска с вареной морковкой и другая — с солдатской похлебкой из полбы. Вот и все. Король вошел, сел, развернул на коленях салфетку. Барон стал за его спиной, не переставая удивляться упрямым королевским причудам: сокрушать свое здоровье столь постной пищей! Может быть, это необходимо для будущих мемуаров? Король честолюбив... В золоченом кубке работы великого мастера Бенвенуто Челлини — из коллекции короля Августа, захваченной после битвы при Клиссове,— налита вода из ручья, пахнущая лягушками. Несомненно, мировая слава — не легкое бремя!

— Откуда в лагере появилась паршивая собачонка, кто-нибудь приехал? — спросил Карл, жуя морковку.

— Ваше величество, поздно ночью в лагерь приехала фаворитка короля Августа, графиня Козельская, в надежде, что вы окажете ей милость — принять ее...

— Граф Пипер знает об ее приезде?

Барон ответил утвердительно. Король Карл, окончив печальный завтрак, отважно испил воды из кубка, скомкал салфетку и вышел из шатра, нахлобучивая на затылок маленькую треугольную шляпу без галунов. Он спросил, где карета графини, и зашагал в направлении ореховых кустов; там, между ветвями, поблескивали на солнце золоченый купидон и голубки, украшавшие верх экипажа...

Графиня Козельская спала в карете среди груды подушек и кружев. Это была пышная, еще свежая женщина, с очень белой кожей и русыми кудрями, выбившимися из-за помятого чепца. Пробудившись от визга собачонки, попавшей королю под ботфорт, она раскрыла большие изумрудные славянские глаза, которые король Карл презирал у мужчин и ненавидел у женщин. Она увидела придвинувшееся к стеклу каретной дверцы землистое худощавое лицо с презрительным мальчишеским ртом и большим мясистым носом,— графиня вскрикнула и закрылась руками.

— Зачем вы приехали? — спросил король.— Прикажите немедленно запрячь ваших лошадей и отправляйтесь обратно со всей скоростью, иначе вас примут за шпионку грязного бесстыдника короля Августа... Вы слышите меня?

Графиня была полькой,— напугать ее было не легко. К тому же король сразу повернул дело не в свою пользу: начал с невежливости и угроз... Графиня отняла от лица пухленькие руки, голые по локоть, приподнялась в подушках и улыбнулась ему с очаровательным простодушием:

— Bonjour, sir,— сказала она грациозно,— примите тысячу извинений, что я испугала вас моим криком... Виновата Бижу, моя собачка, она доставляет мне столько тревог, неуклюже попадая под ноги... Я выпу-

стила ее из кареты, чтобы она поискала какую-нибудь корочку или куриную косточку... Сир, мы обе умираем от голоду... Весь вчерашний день мы мчались по пустыне мимо разоренных деревень и сожженных замков,— мы не могли достать крошки хлеба, я предлагала по червонцу за куриное яйцо... Добрые поляки, которые вылезли из каких-то нор, только воздевали руки к богу... Сир, я хочу завтракать... Я хочу вознаградить себя за все ужасы путешествия, взываю к вашей доброте, вашему великодушию — позвольте мне завтракать в вашем присутствии.

Говоря без умолку на таком изысканном французском языке, будто она всю жизнь провела в Версале, графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надушиться и переменить ночной чепец на испанские кружева... Король Карл тщетно пытался вставить слово,— графиня выпорхнула из кареты и взяла его под руку:

— О мой король, от вас — без ума вся Европа, больше не говорят о принце Евгении Савойском, о герцоге Мальборо,— Евгений и Мальбрук принуждены уступить венок славы королю шведов... Можно извинить мое волнение,— за минуту видеть вас, героя наших сновидений, я безрассудно готова отдать жизнь... Обвиняйте меня в чем хотите, сир, я наконец слышу ваш голос, я счастлива...

Графиня подхватила вертевшуюся под ногами курносую, косматую собачонку и так крепко вцепилась королю под локоть, что ему пришлось бы оказаться смешным, отдирая от себя эту даму.

— Я ем овощи и пью только воду,— отрывисто сказал он,— сомневаюсь, что этим вы могли бы удовлетвориться после излишеств короля Августа... Идите в мою палатку...

Весь шведский лагерь немало был удивлен, увидя своего короля, вытаскивающего из орешника пышную красавицу в разлетающихся на утреннем ветерке легких юбках и кружевах. Король вел ее, зло подняв нос. У палатки ожидали — барон Беркенгельм в изящной позиции, с золотым лорнетом, в преогромном парике,

и мужиковатый, громоздкий, спокойно-насмешливый граф Пипер.

Пропустив графиню в палатку, король Карл сказал ему сквозь зубы:

— Этого я вам долго не прощу.— И Беркенгельму: — Найдите, черт возьми, какой-нибудь говядины для этой особы...

Король сел на барабан напротив графини, она — на подушки, подсунутые ей бароном. Завтрак, накрытый на пороховой бочке, превзошел все ожидания,— здесь был паштет, гусиные потроха, холодная дичь, и в кубке работы Бенвенуто Челлини оказалось вино. Король отметил, поджав губы: «Отлично! Я знаю теперь, чем питается этот негодяй Беркенгельм у себя в палатке...» Графиня со вкусом уписывала завтрак, бросая косточки собачонке и продолжая щебетать:

— Ах, Иезус-Мария, зачем ненужное притворство!.. Сир, вы читаете мои мысли... Я приехала сюда с одной надеждой — спасти Речь Посполитую... Это моя миссия, внушенная сердцем... Я хочу вернуть Польше ее беспечность, ее веселье, ее славные пиры, ее роскошные охоты... Польша — в развалинах. Сир, не хмурьте брови,— во всем виновато легкомыслие короля Августа. О, как он раскаивается теперь, что в злой час послушал этого демона, Иоганна Паткуля, и стал вашим врагом... Не злая воля Августа, верьте мне, но лишь Паткуль, достойный четвертования, начал несчастную войну за Ливонию. Паткуль, только Паткуль создал противоестественный союз короля Августа с датским королем и диким чудовищем — царем Петром... Но разве ошибки неисправимы? Разве не выше всех добродетелей — великодушие... О сир, вы — великий человек, вы — великодушны...

Славянские глаза графини сделались похожими на влажные изумруды. Но аппетита она не потеряла. Ее мысли мчались таким галопом, что король Карл с трудом догонял их, и едва только намеревался произнести ответную резкость, как нужно было возражать на новую фразу. Беркенгельм сдерживал вздохи. Пипер, расставя в углу палатки тяжелые ноги, с портфелем, прижатым к животу, тонко улыбался.

— Мира, только мира хочет король Август, готовый с облегчением разорвать позорный договор с царем Петром. Но громче всех молим вас о мире мы — женщины... Три года войны и смуты,— это слишком много для наших коротких лет...

— Не мир — капитуляция,— проговорил наконец король Карл, уставясь на графиню желтоватыми глазами.— Разговаривать я намерен не здесь, в Польше, более уже не принадлежащей Августу, а в Саксонии, в его столице. Вы насытились, сударыня? Вам более не в чем упрекнуть меня?..

— Сир, я совсем сошла с ума,— торопливо сказала графиня, облизывая розовые пальчики, после того как расправилась с отлично зажаренным бекасом.— Я забыла сообщить самое важное,— для чего я мчалась к вам сломя голову.— Она открыла золотую коробочку, висящую у нее на браслете, вынула бумажную трубочку и развернула ее.— Сир, вот депеша голубиной почты, полученной вчера утром. Царь Петр с большими силами двинулся на Нарву. Мой долг предупредить вас об этом опасном марше московского тирана...

Граф Пипер перестал улыбаться, подошел к королю, и они вместе стали разбирать мелкий почерк голубиной депеши. Графиня перевела прекрасные глаза на Беркенгельма, легко вздохнула и, подняв кубок Бенвенуто Челлини, отпила из него...

3

Великолепный король Август, казалось, созданный природой для роскошных празднеств, для покровительства искусствам, для любовных утех с красивейшими женщинами Европы, для тщеславия Речи Посполитой, желающей иметь короля не хуже, чем в Вене, в Мадриде или в Версале,— находился сейчас в крайне подавленном состоянии духа. Его двор расположился в полуразрушенном замке дрянного городишка Сокаль,— Львовского воеводства,— и терпел лишения. Здесь не было даже воскресного базара, потому что украинское население из ближайших деревень либо попряталось по лесам, ожидая конца войны, либо ушло черт

знает куда, вернее всего в Приднепровье, откуда шли темные слухи о начавшейся гайдаматчине...

Чтобы не ложиться спать на пустой желудок, королю Августу приходилось принимать приглашения на ужины от местных помещиков, говорить французские комплименты захолустным дамам и пить сквернейшее вино. Любой польский пан, закрутив пышные усы и гордо поглядывая на дальний — «серый» — конец стола, где стучала саблями и кружками беспутная загоновая шляхта,— чувствовал себя больше королем, чем король Август. Варшавским сеймом он был декоронован. Правда, половина польских воеводств не признала этого, но все же в Варшаве, в его дворце, сидел второй польский король, Станислав Лещинский, писал оскорбительные универсалы и дарил его — Августа — парчовые кафтаны и парижские чулки своей челяди. Весь восток — правобережье Днепра — от Винницы до Подолии — пылал мужицким восстанием, не менее кровавым, чем при Богдане Хмельницком. И, замыкая окружение, не так далеко отсюда, где-то между Львовом и Ярославом, стоял король Карл с отборным тридцатипятитысячным войском, отрезая Августу отступление в его родную Саксонию.

Август терял самоуверенность от омерзительного страха перед королем Карлом — этим свирепым мальчишкой в пыльном сюртуке и порыжелых ботфортах, с лицом скопца и глазами тигра. Карла нельзя было ни купить, ни соблазнить,— он ничего не желал от жизни, кроме грохота и дыма пушек, лязга скрещенного железа, воплей раненых солдат и зрелища истоптанного поля, пахнущего гарью и кровью, по которому осторожно — через трупы — ступает его вислозадый конь. Единственная книжка, которую Карл держал у себя под тощей подушкой, были комментарии Цезаря. Он любил войну со страстью средневекового норманна. Он предпочел бы получить в голову двадцатифунтовую бомбу, чем заключить мир, хотя бы самый выгодный для его королевства.

Сегодня король Август весь день ожидал возвращения графини. Он не надеялся, чтобы она, при всей женской ловкости, могла склонить Карла на мир. Но

известия, доставленные из Литвы по голубиной почте, о выступлении царя Петра были столь важными и угрожающими, что Карл мог и не понадеяться на один корпус генерала Шлиппенбаха и поколебаться,— продолжать ли бессмысленную погоню за Августом, или повернуть войска в Прибалтику, куда для схватки с царем Петром толкали его решительно все: и австрийский император, смертельно боявшийся, как бы Карл не заключил союза с французским королем и не двинул свои войска на Вену, и французский король, опасавшийся, как бы венские дипломаты не перетянули Карла на сторону императора и не предложили бы ему военную прогулку к французским границам, и прусский король, боявшийся решительно всех и больше других — сумасбродного Карла, которому ничего не стоило вторгнуться в Бранденбургскую Пруссию, захватить Кенигсберг и отделать его — короля — так, что он не повернет ни рукой, ни ногой.

Затем пришел злой, как черт, Иоганн Паткуль, казавшийся еще толще от плохо сшитого зеленого, с красными обшлагами, русского генеральского мундира. Он хрипел, собирал морщинами высокий лоб, слишком узкий для его жирного и надменного лица, и на скверном французском языке жаловался на трусость царя Петра, уклоняющегося от решительной схватки с королем Карлом.

«У царя две большие армии. Он должен вторгнуться в Польшу и, соединясь с вами, разбить Карла, каких бы жертв это ни стоило,— говорил Паткуль, вздрагивая багровыми щеками.— Это был бы смелый и умный шаг. Царь алчен, как все русские. Его пустили к Финскому заливу, где он с мальчишеской торопливостью строит свой городишко; он получил Ингрию и две прекрасные крепости — Ям и Копорье; будь доволен и выполняй свой долг перед Европой! Но у него разыгрывается аппетит на Нарву и Юрьев, он раскрывает рот на Ревель. После ему захочется Ливонии и Риги! Царя нужно удержать в границах... Но разговаривать об этом с его министрами бесполезно... Это неотесанные мужики в париках из крашеной кудели,— Европа для них то же, что чистая постель для

грязной свиньи... Я выражаюсь слишком резко и откровенно, ваше величество, но мне больно... Я хочу одного,— чтобы моя Ливония вернулась под скипетр вашего королевского величества... Но повсюду — в Вене, в Берлине и здесь у вас — я встречаю полное равнодушие... Я теряюсь,— кто же в конце концов бóльший враг для Ливонии: король Карл, угрожающий лично мне четвертованием, или царь Петр, оказавший мне столь лестное доверие — вплоть до чина генерал-лейтенанта? Да, я надел русский мундир и честно доведу эту игру до конца... Но мои чувства остаются моими чувствами... Боль моего сердца усугубляется оцепенением и бездействием вашего величества... Возвысьте голос, требуйте войск от царя, настаивайте на решительной схватке с Карлом...»

В другое время король Август просто вышвырнул бы за дверь этого наглеца. Сейчас ему приходилось молчать, вертя в пальцах табакерку. Паткуль наконец ушел. Король кликнул дежурного — ротмистра Тарновского — и сказал, что пожалует сто червонцев (которых у него не было) тому, кто первый донесет о возвращении графини Козельской. Внесли свечи в прозеленевшем трехсвечнике, взятом, должно быть, из синагоги. Король подошел к зеркалу и задумчиво стал разглядывать свое — несколько осунувшееся — лицо. Оно никогда ему не надоедало, потому что он живо представлял себе, как должны любить женщины этот очерченный, как у античной статуи, несколько чувственный рот с крепкими зубами, большой породистый нос, веселый блеск красивых глаз — фонарей души... Король приподнял парик,— так и есть,— седина! От глаза к виску бегут морщинки... Проклятый Карл!

— Позвольте напомнить, ваше величество,— сказал ротмистр, стоявший у дверей,— пан Собещанский в третий раз присылает шляхтича — сказать, что пан и пани не садятся за стол в ожидании вашего величества... У них блюда такие, что могут перепреть...

Из кармана шелкового камзола, крепко пахнущего мускусом, король вынул пудреницу, лебяжьей пуховкой провел по лицу, отряхнул с груди, с кружев пудру и табак,— спросил небрежно:

— Что же у них будет особенное к ужину?

— Я допросил шляхтича,— он говорит, что со вчерашнего дня на панском дворе колют поросят, режут птицу, набивают колбасы и фарш. Зная утонченный вкус вашего величества, сама пани приготовила жареные пиявки с гусиной кровью...

— Очень мило... Дай шпагу, я еду...

Именье пана Собещанского было невдалеке от города. Грозовая туча прикрыла тускнеющую полосу заката, сильно пахло дорожной пылью и еще не начавшимся дождем, когда Август в кожаной карете, изрядно потрепанной за все невзгоды, подъезжал к усадьбе. О его прибытии оповестил прискакавший вперед него шляхтич. Под темными ветвями вековой аллеи навстречу карете бежали люди с факелами... Карета обогнула куртину и под завыванье собак остановилась у длинного одноэтажного дома, прикрытого камышовой крышей. Здесь тоже метались с факелами босые, в рваных рубахах панские холопы, с дико растрепанными волосами. У самого крыльца толпилось с полсотни загоновой шляхты, кормившейся при дворе пана Собещанского,— седые ветераны панских драк с ужасающими сабельными рубцами на лице; толстобрюхие обжоры, гордившиеся напомаженными, жесткими, как шипы, усами — без малого по четверти в длину; юнцы в потрепанных кафтанах с чужого плеча, но от того не менее задорные. Все они стояли подбоченясь, положив руки на рукоятки сабель,— в доказательство своей шляхетской вольности,— когда же король Август, нагнувшись большим телом, полез из кареты, они разом — по-латыни — закричали ему приветствие. С крыльца сходил, разводя руками, пожилой пан Собещанский, готовый в эту минуту — от широкого польского гостеприимства — подарить гостю все, чего бы он ни пожелал: гончих собак, коней из конюшни, всю челядь свою, если она ему нужна, василькового сукна, отороченный мехом кунтуш с самого себя. Пожалуй, не отдал бы только молодую пани Собещанскую... Пани Анна стояла позади супруга, такая хорошенькая, беленькая, с приподнятым носиком, удивленными глазами, в испанской шапочке с высокой

тульей и пером,— у короля Августа отхлынула от сердца вся меланхолия.

С низким поклоном он взял пани Анну за кончики пальцев и, несколько приподняв ее руку,— как бы в фигуре полонеза,— повел в столовую. За ними шел пан с увлажненными от умиления глазами, за паном — духовник,— пахнущий козлом сизовыбритый босоногий монах, подпоясанный веревкой; далее — по чину — вся шляхта.

Стол, на котором под скатертью расстелено было сено, а поверху разбросаны цветы, вызвал крики восхищения; один длинный шляхтич, в кунтуше, надетом на голое тело, даже схватился за голову, мыча и раскачиваясь, чем вызвал общий смех. На серебряных, оловянных, расписных блюдах были навалены груды колбас, жареной птицы, телячьи и свиные окорока, копченые полотки, языки, соленья, моченья, варенья, хлебцы, бублики, пышки, лепешки, стояли украинские — зеленого стекла — медведи с водками, бочонки с венгерским, кувшины с пивом... Горели свечи, и помимо них в окна светили дымящими факелами дворовые холопы, глядевшие сквозь мутноватые стекла, как славно пирует их пан.

Король Август надеялся, что его присутствие заставит хозяина отказаться от обычая напаивать гостей так, чтобы ни один не мог уйти на своих ногах. Но пан Собещанский твердо стоял за старинный польский чин. Сколько сидело за столом гостей — столько раз он поднимался, расправя горстью седые усы, громко произносил имя, начиная от короля, кончая последним на конце — тем длинным шляхтичем, оказавшимся также и без сапог,— и пил во здравие кубок венгерского. Весь стол вставал, кричал «виват!». Хозяин протягивал полный кубок гостю, и тот пил ответный за здравие пана и пани... Когда же за всех было выпито, пан Собещанский снова пошел по кругу, провозглашая здравицу сначала Речи Посполитой, затем всемилостивейшему королю Польши Августу,— «единственному, кому отдадим наши сабли и нашу кровь»... «Виват! Долой Станислава Лещинского!» — в исступлении кричала шляхта... Затем была витиеватая здра-

вица нерушимой шляхетской вольности. Тут уже разгоряченные головы совсем потеряли разум,— гости выхватили сабли, стол зашатался, свечи повалились. Один плотный, одноглазый шляхтич, вскрикнув: «Так погибнут наши враги — схизматики и москали!» — лихо разрубил саблей огромное блюдо с колбасами.

По левую руку короля Августа, со стороны сердца, сидела раскрасневшаяся, как роза, пани Собещанская. Она дивно успевала расспрашивать короля об увлекательных обычаях Версаля, о его там похождениях, мелко-мелко смеясь, касалась его то локтем, то плечом и в то же время следила за гостями, особенно за «серым» концом, где иной шляхтич, придя в изумление от выпитого, засовывал копченый язык или гусиный полоток в карман своих холщовых шаровар,— и быстрыми, колючими взглядами подзывала слуг, отдавая приказания.

Король уже не один раз пытался обхватить нежную талию хозяйки, но каждый раз пан Собещанский протягивал ему для вивата полный кубок: «Вам в руки, всемилостивейший король». Август пытался недопивать или незаметно выплескивал под стол,— ничто не помогало,— кубок тотчас доливался холопом, стоявшим за стулом, либо другим холопом, который сидел с бутылкой под столом. Наконец дорогому гостю было подано знаменитое блюдо поджаренных пиявок,— хозяйка своими руками положила их полную тарелку.

— Право же, мне стыдно, когда вы хвалите такое деревенское кушанье,— говорила она простеньким голосом, а в глазах ее он читал совсем иное,— делать их немудрено, лишь бы гусь был молодой и не особенно жирный... Когда они напьются крови, их вместе с гусем всовывают в духовую печь, они отваливаются от гусиной грудки и кладутся на сковородку...

— Бедный гусь,— говорил король, беря двумя пальцами пиявку и с хрустом укусывая ее.— Чего только не придумают хорошенькие женщины, чтобы полакомиться.

Пани Анна смеялась, перо на ее шапочке с высокой тульей, надетой набок, задорно вздрагивало. Король видел, что дело идет на лад. Он ждал лишь начала

танцев, чтобы объясниться без помехи. В это время, расталкивая в дверях пьяных шляхтичей, ворвался черный от пыли, потный, перепуганный человек в изодранном кунтуше.

— Пан, пан, беда! — закричал он, бросаясь на колени перед панским стулом.— Ты послал меня в монастырь за бочкой старого меда... Я все достал исправно... Да черт меня понес обратно околицей — по большому шляху... Все я потерял — и бочку с медом, и лошадь, и саблю, и шапку... Едва душу свою спас... Разбили меня! Неисчислимое войско подходит к Сокалю.

Король Август нахмурился. Пани Анна впилась ногтями в его руку. Какое иное войско могло сейчас входить в Сокаль,— только король Карл в упрямой погоне... Шляхта закричала дикими голосами: «Шведы! Ратуйте!» Пан Собещанский ударил по столу кулаком так, что подскочили кубки:

— Тихо, паны, ваша милость! Каждому — у кого хмель сейчас же не выскочит из башки — прикажу отпустить пятьдесят плетей, разложа на ковре... Слушать меня, собачьи дети... Король мой гость,— я не покрою вечным позором свою седую голову... Пусть шведы приходят сюда хоть всем войском,— моего гостя им не отдадим...

— Не отдадим! — закричала шляхта, с лязгом выхватывая сабли из ножен.

— Седлайте коней... Зарядите пистоли... Умрем, не посрамим польской славы...

— Не посрамим... Виват!..

Королю Августу было ясно, что единственное благоразумное решение — немедля вскочить в седло и бежать, благо ночь темна... Но бежать ему, Августу Великолепному, как жалкому трусу, покинув веселый ужин и прелестную женщину, все еще не отпускающую его руки? К такому унижению Карл его не принудит!.. К черту благоразумие!

— Велю вам, милостивые государи, вернуться к столу. Продолжим пир,— сказал он и сел, откинув от разгоряченных щек букли парика. В конце концов, если сюда явятся шведы — его куда-нибудь спрячут, увезут,— с королями плохого не случается... Он налил

вина, поднял кубок,— большая, красивая рука его была тверда... Пани Анна взглянула на него с восхищением — за такой взгляд действительно можно было отдать королевство...

— Добро! Король нам велит пировать! — Пан Собещанский хлопнул в ладоши и приказал тому шляхтичу, что разрубил блюдо с колбасой, ехать с товарищами к большому шляху и стать там дозором; всему столу — вплоть до «серого» конца — наливать лучшего венгерского и пить, покуда в последней бочке не высохнет дно, из погребов и чуланов нести все, что есть еще доброго в доме, да звать музыкантов...

Пир загремел с новым воодушевлением. Пани Анна пошла танцевать с королем. Она танцевала так, будто соблазняла самого апостола Петра, чтобы отворил ей двери в райский сад. Шапочка ее сбилась набок, в кудрях вились звуки мазурки, короткая юбка крутилась и ластилась вокруг стройных ног, башмачки с красными каблучками то притоптывали, то летели, будто не касаясь пола... Великолепен был и король, танцевавший с нею,— огромный, пышный, бледный от вина и желания...

— Я теряю голову, пани Анна, я теряю голову, ради всех святых — пощадите,— говорил он ей сквозь зубы, и она взглядом отвечала, что пощады нет и двери рая уже раскрыты...

...За окнами в темноте послышались испуганные голоса челядинцев, захрапели лошади... Музыка оборвалась... Никто даже не успел схватиться за саблю или взвести курок пистолета... Только король, у которого в глазах все плыло кругом, крепко обхватил пани Анну и потянул шпагу...

В пиршественную залу вошли двое: один — огромный, кривой на один глаз, в высокой бараньей шапке с золотой кистью, с висящими светлыми усами под большим носом, другой — пониже его — барственный, с приятной мягкостью лица, одетый в запыленный мундир с генеральским шарфом через плечо.

— Здесь ли находится его королевское величество король Август? — спросил он и, увидев Августа, стоящего со шпагой в угрожающей позиции, снял шляпу,

низко поклонился: — Всемилостивейший король, примите рапорт: повелением государя Петра Алексеевича я прибыл в ваше распоряжение, с одиннадцатью полками пехоты и пятью конными казачьими полками.

Это был киевский губернатор, командующий вспомогательным войском, Дмитрий Михайлович Голицын, старший брат шлиссельбургского героя Михайлы Михайловича. Другой — высокий, в клюквенном кафтане и в епанче до пят — был наказной казачий атаман Данила Апостол. У шляхты угрожающе зашевелились усы при виде этого казака. Он стоял на пороге, небрежно подбоченясь, играя булавой, на красивых губах — усмешка, брови как стрелы, в едином глазу — ночь, озаряемая пожарами гайдамацких набегов.

Король Август рассмеялся, бросил шпагу в ножны, обнял Голицына и атаману протянул руку для целования. В третий раз был накрыт стол. По рукам пошел кубок, вмещавший полкварты венгерского. Пили за царя Петра, сдержавшего обещание — прислать из Украины помощь, пили за все пришедшие полки и за погибель шведов. Задорным шляхтичам в особенности хотелось напоить допьяна атамана Данилу Апостола, но он спокойно вытягивал кубок за кубком, только поднимал брови,— увалить его было невозможно.

На рассвете, когда уже немало шляхтичей пришлось унести волоком на двор и положить около колодца, король Август сказал пани Анне:

— У меня нет сокровищ, чтобы бросить их к вашим ногам. Я — изгнанник, питающийся подаянием. Но сегодня я снова силен и богат... Пани Анна, я хочу, чтобы вы сели в карету и следовали за моим войском. Выступать надо тотчас, ни часу промедления!.. Я проведу за нос, как мальчишку, короля Карла... Божественная пани Анна, я хочу поднести вам на блюде мою Варшаву...— И, поднявшись, великолепно взмахнув рукой, он обратился к тем за столом, кто еще таращил глаза и напомаженные усы: — Господа, предлагаю вам и повелеваю — седлайте коней, вас всех беру в мою личную свиту.

Сколько ни пытался князь Дмитрий Михайлович

Голицын — вежливо и весьма человечно — доказать ему, что войскам нужно денька три отдохнуть, покормить коней и подтянуть обозы,— король Август был неукротим. Еще солнце не высушило росы — он вернулся в Сокаль, сопровождаемый Голицыным и атаманом. Повсюду на городских улицах стояли возы, кони, пушки, на кудрявой травке спали усталые русские солдаты. Дымились костры. Король глядел в окно кареты на спящих пехотинцев, на казаков, живописно развалившихся на возах.

— Какие солдаты! — повторял он.— Какие солдаты, богатыри!

В дверях замка его встретил ротмистр Тарновский испуганным шепотом:

— Графиня вернулась, не желает ложиться почивать, весьма гневна...

— Ах, какие мелочи! — король весело вошел в сводчатую, сырую спальню, где, оплывая сосульками, догорали свечи в прозеленевшем подсвечнике из синагоги. Графиня встретила его стоя, молча глядя в лицо, лишь ожидая его первого слова, чтобы ответить как нужно.

— Софи, наконец-то! — сказал он с большей, чем хотелось бы, торопливостью.— Ну как? Вы видели короля Карла?

— Да, я видела короля Карла, благодарю вас...— Ее лицо было будто обсыпано мукой и казалось обрюзгшим, некрасивым.— Король Карл ничего так не желает, как повесить вас на первой попавшейся осине, ваше величество... Если вам нужны подробности моей беседы с королем — я расскажу... Но сейчас мне хочется спросить: какое вы сами дадите качество вашему поведению? Вы посылаете меня, как последнюю судомойку, обделывать ваши грязные делишки... Я подвергаюсь оскорблениям, в дороге я тысячу раз подвергаюсь опасности быть изнасилованной, зарезанной, ограбленной... А вы тем временем развлекаетесь в объятиях пани Собещанской!.. Этой маленькой шляхтянки, которую я постеснялась бы взять к себе в камеристки...

— Какие мелочи, Софи!

Это восклицание было неосторожным со стороны короля Августа. Графиня придвинулась к нему и — ловко, как кошка лапой,— влепила ему пощечину...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

На бугре, где была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекладинам на площадку. За ним — Чамберс, Меньшиков, Аникита Иванович Репнин и — последним — Апраксин Петр Матвеевич,— этому весьма мешала тучность и верчение головы: шутка ли взлезать на такую страсть — сажен на десять над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся, вынул из кармана подзорную трубу, расставя ноги,— стал глядеть.

Нарва была видна, будто на зеленом блюде,— все ее приземистые башни, с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен — выступы бастионов, сложенных из тесаного камня, громада старого замка с круглой пороховой башней, извилистые улицы города, острые кровли кирок, вздетые, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались восемь мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами, крепости Иван-города, построенной еще Иваном Грозным.

— Наш будет город! — сказал Меньшиков, тоже глядевший в трубу.

Петр Алексеевич ему — сквозь зубы:

— А ты не раздувайся раньше времени.

Ниже города, по реке, в том месте, где на ручье Россонь стояла земляная крепость Петра Матвеевича Апраксина, медленно двигались обозы и войска, плохо различимые сквозь поднятую ими пыль. Они переходили плавучий мост, и конные и пешие полки располагались на левом берегу, верстах в пяти от города.

Там уже белелись палатки, в безветрии поднимались дымы, по луговинам бродили расседланные кони... Доносился стук топоров,— вздрагивали вершинами, валились вековые сосны.

— Огородились мы только телегами да рогатками, не прикажешь ли еще для бережения и рвы копать, ставить палисады? — спросил князь Аникита Иванович Репнин. Человек он был осторожный, разумный и бывалый в военном деле, отважный без задору, но готовый — если надо для великого дела — и умереть, не пятясь. Не вышел он только лицом и дородством, хотя род свой считал древнее царя Петра,— был плюгав и подслеповат, однако же маленькие глаза его за прищуренными веками поглядывали весьма умненько.

— Рвы да палисады не спасут. Не для того сюда пришли — за палисадами сидеть,— буркнул Петр Алексеевич, поворачивая трубу дальше на запад.

Чамберс, имевший привычку с утра выпивать для бодрости духа добрый стакан водки, просипел горлом:

— Можно велеть солдатам спать не разуваясь, при ружье... Пустое! Если достоверно, что генерал Шлиппенбах стоит в Везенберге — раньше, как через неделю, нельзя ожидать его сикурса...

— Я уж так-то здесь один раз поджидал шведского сикурса... Спасибо, научены! — странным голосом ответил Петр Алексеевич. Меньшиков коротко, грубо засмеялся.

На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, расстилалось море, ни малейший ветерок не рябил его сероватой пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала де Пру с серебряной рукой.

Апраксин, вцепясь в перильца зыбкой площадки, сказал:

— Господин бомбардир, как же мне не испугаться было эдакой силы — полсотни кораблей и адмирал такой отважный... Истинно — бог меня выручил,— не дал ему, проклятому, ветра с моря...

— Сколько добра пропадает, ах! — Меньшиков ног-

тем считал мачты на горизонте.— Трюмы у него доверху, чай, забиты угрями копчеными, рыбой камбалой, салакой, ветчиной ревельской... Ветчина у них, батюшки! Уж где едят — так это в Ревеле! Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, черт однорукий... Апраксин, Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная! Почему у тебя лодок нет? В такой штиль — посадить роту гренадеров в лодки,— де Пру и деваться некуда...

— Чайка на песок садится! — крикнул вдруг Петр Алексеевич.— Ей-ей, садится! — Лицо у него было задорное, глаза круглые.— Бьюсь о заклад на десять ефимков,— жди шторма... Кто хочет биться? Эх вы, моряки! Не стони, Данилыч,— весьма возможно, и попробуем адмиральской ветчины.

И он, сунув трубку за пазуху, бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, сказал: «Один эскадрон пошли вперед, с другим следуй за мной». Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой,— рослый гнедой мерин, с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха,— шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рыси высоко подскакивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана, жеребца, тоже отбитого у шведов,— и конь с веселыми глазами и всадник точно играли, то проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу,— то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался,— алого сукна короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича, вились перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день,— в небольших рощах, в покинутых сейчас садах распелись, раскричались птицы.

Аникита Иванович Репнин, привыкший с малых лет ездить по-татарски, спокойно,— бочком,— трясся в высоком седле на мелкой, уходистой лошадке. Апраксин обливался потом под огромным париком, в кото-

ром для русского человека не было ни удобства, ни красы. Далеко впереди шнырял между зарослями рассыпавшийся эскадрон драгун. Позади — в строю — шел второй эскадрон,— перед ним поскакивал полковник Рен, красавец и запивоха,— так же, как генерал Чамберс,— в поисках счастья по свету отдавший царю Петру честь и шпагу.

Петр Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полусгнившие колья, торчавшие повсюду из земли.

— Здесь погибла моя армия,— сказал он просто.— На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы — силу. Здесь мы научились — с какого конца надо редьку есть, да похоронили навек закостенелую старину, от коей едва не восприяли конечную погибель...

Он отвернулся от Чамберса. Оглядываясь, заметил невдалеке заброшенный домишко под провалившейся крышей. Стал придерживать коня. Круглое лицо его сделалось злым. Меньшиков, подъехав, сказал весело:

— Тот самый домишко, мин херц. Помнишь?

— Помню...

Насупясь, Петр Алексеевич ударил коня и опять запрыгал в седле. Как было не помнить той бессонной ночи перед разгромом. Он сидел тогда в этом домишке, глядя на оплывшую свечу; Алексашка лежал на кошме, молча плакал. Трудно было побороть в себе отчаяние, и срам, и бессильную злобу и принять то, что завтра Карл неминуемо должен побить его... Трудно было решиться на неслыханное, непереносимое,— оставить в такой час армию, сесть в возок и скакать в Новгород, чтобы там начинать все сначала... Добывать деньги, хлеб, железо... Исхитряться продавать иноземным купцам исподнюю рубашку, чтобы купить оружие. Лить пушки, ядра... И самое важное,— люди, люди, люди! Вытаскивать людей из векового болота, разлеплять им глаза, расталкивать их под микитки... Драться, обламывать, учить. Скакать тысячи верст по снегу, по грязи... Ломать, строить... Вывертываться из тысячи бед в европейской политике. Оглядываясь,—

ужасаться: «Экая громада какая еще не проворочена...»

Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стены Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Петр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями.

Наверху воротной башни стояли шведы, в железных касках, в кожаных панцирях. Один держал — отставя на вытянутой руке — желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала водя ее по всадникам на холме, потом прямо уставил на Петра Алексеевича.

— Люди какие все здоровые, на башне-то их увидишь — ужаснешься,— негромко говорил Апраксин Аниките Ивановичу Репнину, обмахиваясь шляпой.— Сам теперь видишь, что я вытерпел в усть-Нарове один-то, с девятью пушками, когда на меня флот навалился... А этот, длинный,— в трубу глядит,— ох — какой вредный человек... Перед самым вашим прибытием я с ним встретился в поле, хотел его добыть... Ну, где же...

— Кто этот высокий на башне? — хрипло спросил Петр Алексеевич.

— Государь, он самый и есть, генерал Горн, нарвский комендант...

Едва Апраксин выговорил это имя — Александр Данилович толкнул коня и поскакал по лугу к башне... «Дурак!» — бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот осадил, сорвал с себя шляпу и, помахивая ею, заголосил протяжно:

— Эй, там, на башне... Эй, господин комендант... Выпустим вас из города с честью, со знамена, ружья и музыкой... Уходи полюбовно...

Генерал Горн опустил трубу, вслушиваясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный, как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему перевели. Суровое, стариковское лицо сморщилось, как от кислого, он перегнулся через край башни и плюнул в сторону Меньшикова...

— Вот тебе мой ответ, глупец! — крикнул.— Сейчас получишь кое-что покрепче.

На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко,— ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой Александра Даниловича.

— Э-э-э-й! — закричал с холма Аникита Иванович Репнин тонким голосом.— Плохо стреляете, шведы, пришлите нам пушкарей, мы их поучим...

На холме тоже враз засмеялись. Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на коне, махал шляпой и скалил зубы шведам, покуда второе ядро не разорвалось совсем рядом и конь, шарахнувшись, не унес его прочь от башни.

Окончив объезд крепости, сосчитав на стенах по крайней мере до трехсот пушек, Петр Алексеевич на обратном пути свернул к памятному домику, слез с лошади и, велев всем ждать, позвал Меньшикова в ту самую комнату, где четыре года тому назад он пожертвовал стыдом и позором ради спасения государства русского. Здесь тогда была хорошая печь, сейчас валялась куча обгорелого кирпича, на полу — грязная солома,— видимо, сюда загоняли овец и коз на ночь. Сел на подоконник разбитого окошечка. Алексашка виновато стоял перед ним.

— Запомни, Данилыч, истинный бог — увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой,— сказал Петр Алексеевич.— Молчи, не отвечай... Сегодня ты сам себе выбрал долю... Я думал: кому дать начало над осадным войском,— тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпочесть своего перед иноземцем... Сам все напортил, друг сердешный,— плясал, как скоморох, на коне перед генералом

Горном! Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские! Все шутить хочешь, как у меня за столом! А на тебя Европа смотрит, дурак! Молчи, не отвечай.— Он посопел, набивая трубочку.— И еще — второе: посмотрел я опять на эти стены,— смутился я, Данилыч... Второй раз отступить от Нарвы нельзя... Нарва — ключ ко всей войне... Если Карл этого еще не понимает,— я понимаю... Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела... Через две недели придут осадные пушки... А дальше как быть? Стены крепки, генерал Горн упрям, Шлиппенбах висит за плечами... Будем здесь топтаться — накличем и Карла из Польши со всей своей армией... Город брать нужно быстро, и крови нашей много лить не хочется... Что скажешь, Данилыч?

— Можно, конечно, придумать хитрость... Это — дело десятое... Но раз фельдмаршал Огильви здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает,— что к чему... А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь — тяп да ляп — по-мужицки.— Меньшиков топтался, мялся и поднял глаза,— у Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное, таким он его редко видел... Алексашку, как ножом по сердцу, полоснула жалость.— Мин херц,— зашептал он, перекося брови,— мин херц, ну — что ты? Дай срок до вечера, приду в палатку, чего-нибудь придумаю... Людей наших, что ли, не знаешь... Ведь нынче — не семисотый год... Не кручинься, ей-ей...

2

В просторном полотняном шатре заботами Нартова, так же как и в петербургском домике, были разложены на походном столе готовальни, инструменты, бумаги, военные карты. Через приподнятые полотнища, как из печи, дышало жаром земли, и — хоть уши затыкай просмоленной пенькой — востро, сухо трещали в траве сверчки.

Петр Алексеевич работал в одной рубашке, распахнутой на груди, в голландских штанах — по колено, в туфлях на босу ногу. Время от времени он вставал

из-за стола, и в углу шатра Нартов выливал ему на голову ковш ключевой воды. За эти дни нарвского похода,— как и всегда, впрочем,— накопилось великое множество неотложных дел.

Секретарь Алексей Васильевич Макаров, незаметный молодой человек, недавно взятый на эту службу, стоя у края стола, у стопки бумаг, подавал дела, внятно шелестя губами,— настолько громко, чтобы заглушать трещание сверчков. «Указ Алексею Сидоровичу Синявину ведать торговыми банями в Москве и других городах»,— он тихо клал перед государем лист со столбцом указа на левой стороне. Петр Алексеевич, скача зрачками по строкам, прочитывал, совал гусиное перо в чернильницу и крупно, криво, неразборчиво, пропуская за торопливостью буквы, писал с правой стороны листа: «Где можно при банях завести цирюльни, дабы людей приохотить к бритью бороды, также держать мозольных мастеров добрых».

Макаров клал перед ним новый лист: «Указ Петру Васильевичу Кикину ведать рыбные ловли и водяные мельницы во всем государстве...» Рука Петра Алексеевича с кляксой на кончике пера повисла над бумагой:

— Указ кем заготовлен?

— Указ прислан из Москвы от князя-кесаря на вашу, милостивый государь, своеручную подпись...

— Дармоедов полна Москва, сидят по окошечкам, крыжовник кислый жрут со скуки, а для дела людей не найти... Ладно, поиспытаем Кикина, заворуется — обдеру кнутом,— так ты и отпиши князю-кесарю, что я в сумнении...

— Из Питербурга с нарочным, от подполковника Алексея Бровкина донесение,— продолжал Макаров.— Прибыли из Москвы от Тихона Ивановича Стрешнева для вашего, милостивый государь, огорода на Питербургской стороне шесть кустов пионов, в целости, да только садовник Левонов, не успев их посадить, помре.

— Как — помре? — спросил Петр Алексеевич.— Что за вздор!..

— Купаясь в Неве,— утонул...

— Ну, пьяный, конечно... Вот ведь — добрые люди не живут... а гораздо был искусный садовник, жалко... Пиши...

Петр Алексеевич пошел в угол палатки — обливать голову и, отфыркиваясь, говорил Макарову, который, стоя, ловко писал на углу стола.

— «Стрешневу... Пионы ваши получены в исправности, только жалеем, что мало прислал. Изволь не пропустить времени — прислать из Измайлова всяких цветов и больше таких, кои пахнут: канупера, мяты да резеды... Пришли садовника доброго, с семьей, чтобы не скучал... Да отпиши, для бога, как здравствует в Измайлове Катерина Василефская с Анисьей Толстой и другие с ними... Не забывай об сем писать чаще... Также изволь уведомить, как у вас с набором солдат в драгунские полки,— один полк возможно скорее набрать — из людей получше — и прислать сюда...»

Он вернулся к столу, прочел написанное Макаровым, усмехнувшись про себя — подписал.

— Еще что? Да ты мне не по порядку подкладывай, давай важнейшее...

— Письмо Григория Долгорукова, из Сокаля, о благополучном прибытии наших войск.

— Читай! — Петр Алексеевич закрыл глаза, вытянул шею, большие, в царапинах, сильные руки его легли на столе. Долгорукий писал о том, что с прибытием русских войск в Сокаль король Август опять восприял чрезмерную отвагу и хочет встречи на бранном поле с королем Карлом, дабы с божьей помощью генеральной баталией взять реванш за конфузию при Клиссове. На это безумство особенно подговаривают его фаворитки,— их теперь у него две, и его бытие сделалось весьма беспокойное. Дмитрию Михайловичу Голицыну с великими трудами удалось отклонить его от немедленной встречи с Карлом (который, как хищный волчец, только того и ждет) и указать ему путь на Варшаву, оставленную Карлом с малой защитой. Что из сего может произойти — одному богу известно...

Петр Алексеевич терпеливо слушал длинное письмо, губа его с полоской усиков поднималась, открывая зубы. Дернув шеей, пробормотал: «Союзничек!» Пододвинул чистый лист, скребнул ногтями в затылке и, едва поспевая пером за мыслями, начал писать — ответ Долгорукому:

«...Еще напоминаю вашей милости, чтобы не уставал отводить его величество короля Августа от жестокого и пагубного намерения. Он спешит искать генерального боя, надеясь на фортуну — сиречь счастье, но сие точно в ведении одного всевышнего... Нам же, человекам, разумно на ближнее смотреть, что — суть на земле... Короче сказать,— искание генерального боя весьма для него опасно, ибо в один час можно все потерять... Не удастся генеральный бой,— от чего, боже, боже сохрани и его, да и нас всех,— его величество Август не только от неприятеля будет ввергнут в меланхолию, но и от бешеных поляков, лишенных добра отечеству своему, будет со срамом выгнан и престола своего лишен... Для чего же ввергать себя в такое бедство? Что же ваша милость пишет о фаворитках,— истинно, сию горячку лечить нечем... Одно — старайся с сими мадамками делать симпатию и альянс...»

Дышать уже было нечем в слоях табачного дыма. Петр Алексеевич с брызгами подписал — «Птръ» и вышел из шатра в нестерпимый зной. Отсюда, с холма, была видна в стороне Нарвы пыльная туча, поднятая обозами и войсками, передвигавшимися из лагеря на боевые позиции перед крепостью. Петр Алексеевич провел ладонью по груди, по белой коже,— медленно, сильно стучало сердце. Тогда он стал глядеть туда, где в необъятном стеклянном море, отсюда неразличимые, дремали корабли адмирала де Пру, набитые добром, которого хватило бы на всю русскую армию. Земля, и небо, и море были в томлении, в ожидании, будто остановилось само время. Вдруг много черных птиц беспорядочно пронеслось мимо холма к лесу. Петр Алексеевич задрал голову,— так и есть! С юго-запада высоко в раскаленное, как жесть, небо быстро поднимались прозрачные пленки облаков.

— Макаров! — позвал он.— Спорить хочешь на десять ефимков?

Макаров сейчас же вышел из шатра,— востроносый, пергаментный от усталости и бессонницы, с прямым ртом без улыбки, и потащил из кармана кошель:

— Как прикажешь, милостивый государь...

Петр Алексеевич махнул на него рукой:

— Поди скажи Нартову, чтоб подал мне матросскую куртку, да зюйдвестку, да ботфорты... Да крепили бы хорошенько шатер, не то унесет... Шторм будет знатный.

Море всегда завораживало, всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, он ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона драгун к морскому берегу. (В лагерь к Апраксину было послано за двумя пушками и гренадерами.) Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помрачненного горизонта. И море наконец дыхнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все Нептуновы губы...

Придерживая зюйдвестку, Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег,— солнце в последний раз блеснуло из заклубившегося края тучи, стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. Громыхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели,— обрушилось небо...

Около Петра Алексеевича очутился Меньшиков, тоже в зюйдвестке, в куртке.

— Вот это шторм! Вот это — лю-лю! — прокричал ему Петр Алексеевич.

— Мин херц, до чего же ты догадлив...

— А ты сейчас только понял это?

— С добычей будем?

— Подожди, подожди...

Ждать пришлось не так долго. При вспышках молний стали видны совсем невдалеке военные и купеческие корабли адмирала де Пру,— буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали,— раскачивались голые мачты, развевались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с Нептунами и морскими девами. Казалось — еще немного и весь разметанный караван прибьет к берегу.

— Молодец! Молодец! — закричал Петр Алексеевич.— Гляди, что делает! Вот это адмирал! Бом-кливера ставит! Форстеньга-стакселя, фока-стакселя ставит! Триселя ставит! Эх, черт! Учись, Данилыч!

— Ох, уйдет, ох, уйдет! — стонал Меньшиков.

Изменился ли ветер немного или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала — корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные барки продолжало нести на песчаные отмели. Треща, громыхая реями, хлеща клочьями парусины, они сели на мель шагах в трехстах от берега. Огромные волны начали валить их,— перекатываясь, смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты.

— А ну, давай по ним огонь, с недолетом, для испуга! — крикнул Меньшиков пушкарям.

Пушки рявкнули, и бомбы вскинули воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньшикову пришлось спешиться,— жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах, отплевываясь и крича:

— Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!

Шведов, должно быть, сильно испугал вид всадника среди волн и огромные усатые гренадеры, идущие на абордаж по грудь в воде, ругаясь и грозя дымящимися гранатами. С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и абордажные сабли: «Москов, москов, друг»,— и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, тут же снисходительно по-

хлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда:

— Господин бомбардир, из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно.

3

Войска обложили Нарву подковой, упираясь в реку выше и ниже города. На другой стороне реки точно так же был окружен Иван-город. Рыли шанцы, обставлялись частоколами и рогатками. Русский лагерь был шумный, дымный, пыльный. Шведы с высоких стен угрюмо поглядывали. После шторма, разметавшего флот де Пру, они были очень злы и стреляли из пушек даже по отдельным всадникам, скакавшим короткой дорогой через луг мимо грозных бастионов.

По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные с барок, были на виду шведов привезены в лагерь,— за телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала де Пру и генерала Горна. Бочки роздали по ротам и батареям. Солдаты, помахивая вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!» Тогда шведы не выдержали. Затрубили в рожки, забили в барабаны, мост опустился, и, теснясь большими конями в воротах, выехал эскадрон кирасир,— нагнув головы в ребрастых шлемах, уставя широкие шпаги меж конскими ушами, они тяжело поскакали на русские шанцы. Пришлось, побросав добро, отбиваться чем попало,— кольями, банниками, лопатами. Началась свалка, поднялся крик. Кирасиры увидели драгун, мчавшихся на них с тыла, увидели лезущих через частокол страшных гренадеров и повернули коней обратно,—лишь несколько человек осталось на лугу, да еще долго скакали испуганные лошади без всадников и бегали за ними русские солдаты.

Помимо таких вылазок, шведы не выказывали особенного беспокойства. Генерал Горн,— как передавали языки,— будто бы сказал: «Русских я не

боюсь, пускай с помощью своего Георгия-победоносца осмелятся на штурм — угощу их лучше, чем в семисотом году...» Хлеба, пороха и ядер у него было достаточно, но больше всего он надеялся на Шлиппенбаха, ожидавшего подкреплений, чтобы сделать русским жестокий сикурс. Стоял он на ревельской дороге, в городке Везенберге. Это установил Александр Данилович, сам ездивший в разведку.

Бездействовали и русские войска: вся осадная артиллерия — огромные стенобитные пушки и мортиры для зажигания города — все еще тащилась из Новгорода по непролазным дорогам. Без тяжелого наряда нельзя было и думать о штурме.

От фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева вести были тоже не слишком бойкие: Юрьев он осадил, окопался, огородился, повел подкоп для пролома стены и начал метать бомбы в город. «Зело нам докучают шведы,— писал он в нарвский лагерь Александру Даниловичу,— по сие время не могу отбить пушечной и мортирной стрельбы неприятеля; палят из многих пушек залпами, проклятые, сажают враз по десяти бомбов в наши батареи, а пуще всего стреляют по обозам. Так же — бьемся — не можем достать языка из города, только вышло к нам два человека — чухны, ничего подлинно не знают, одно бредят, что Шлиппенбах обнадеживает город скорым сикурсом...»

Шлиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меньшиков не обманул,— придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал — какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна — надеяться на Шлиппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился: «Спьяну, что ли, придумал?..» Но — походил по шатру, попыхивая трубочкой, и вдруг рассмеялся:

— А неплохо было бы одурачить старика.

— Мин херц, одурачим, ей-ей...

— Это твое — «ей-ей» — дешево стоит... А не выйдет ничего? Не в шутку ответишь, куманек.

— Что ж, и отвечу... Не в первый раз... На одном ответе всю жизнь живу...

— Делай!

В ту же ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стремянную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно, для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны, епанчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские треухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно — эскадрон за эскадроном — два драгунских полка Асафьева и Горбова, и два полка — Семеновский и Ингерманландский — с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по ревельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиеги, в десяти верстах от Нарвы. Туда же — в урочище — было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили.

В ясное утро — восьмого июня — под нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты,— застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под треухов,— строились в две линии. Пушкари с криками вытаскивали пушки и поворачивали их в сторону ревельской дороги. Верховые гнали табуны обозных лошадей с лугов в лагерь, за телеги.

Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и уставил подзорную трубу на ревельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела, через минуту — снова два выстрела и так до шести раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы приближающегося Шлиппенбаха, и сейчас же с бастиона Глория они ответили королевским паролем из двадцати одной пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола.

За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои, увидя, как по

ту сторону шанцев перед строящимися в две линии московскими войсками по-козлиному поскакивает на белом коне разнаряженный Меньшиков, нахальнейший изо всех русских. Будто и на самом деле опытный полководец, он взмахом шпаги приказывает задней линии солдат повернуться лицом к крепости, и они бегом, как стадо, побежали и заняли места в шанцах за частоколами. Вот он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к ревельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну: этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас сделает непоправимую глупость,— поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. Двенадцать эскадронов конницы и четыре батальона пехоты стояли у него у запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха кинуться с тылу на русских.

Меньшиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом — в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «ура». Крик долетел до нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меньшикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду из-за сосен, во всей красе, плечо к плечу как на параде, уставя перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло, с ходу, стрелял через головы первого ряда, в третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из лядунки полотняный платок, встряхнул его и провел по глазам. «Боги войны!» — пробормотал он...

Меньшиков, придерживая шляпу, помчался перед фронтом и остановил свои батальоны. На фланги к нему скакали — в упряжках по шести коней — пушки

и двуконные зарядные ящики. Русские артиллеристы были расторопны,— кое-чему научились за эти годы. До блеска начищенные пушки — по восьми на каждом фланге — ловко завернули жерлами на шведов (упряжки были отцеплены и ускакали в сторону) и враз выбросили плотные белые дымы,— что указывало на доброе качество пороха. Шведы не успели пройти и двух десятков шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок,— такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. Что за черт! Непохоже на Шлиппенбаха — смутиться пушечной стрельбой! Или он хочет пропустить вперед кирасир для атаки, или поджидает свою артиллерию? Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи... Но он выжидал... Наконец-то! — из лесу выдвинулись шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор... Тогда,— это он увидел ясно,— смешались ряды Меньшикова... Пора!.. Горн отвернул от трубы сморщенное лицо и, показывая до десен желтые зубы, сказал своему помощнику полковнику Маркварту:

— Приказываю: отворить ворота и атаковать правое крыло русских.

Загромыхали мосты, разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир, за ними бегом — пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином нарвский гарнизон так, чтобы — с налету перескочив через русские частоколы и рогатки — ударить Меньшикова с тылу во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях.

То, что увидел Горн в подзорную трубу, вначале порадовало его, затем — смутило. Отряд полковника Маркварта быстро, без больших потерь, разметав русские рогатки, перелез через частоколы и оказался по ту сторону шанцев. Вслед за ним из ворот вышли — пешие и на телегах — нарвские жители, чтобы грабить русский лагерь. Беспорядочно палящие из ружей батальоны Меньшикова неожиданно начали делать малопонятное передвижение: их правый

фланг, на который устремился Маркварт, со всей поспешностью начал отступать к своим палисадам и рогаткам, левый же — дальний — с такой же поспешностью кинулся к шведам Шлиппенбаха, как бы намереваясь сдаваться в плен. Пушки с обеих сторон внезапно замолкли. Блестяще атакующий Маркварт оказался в чистом поле, в развилке между войсками Меньшикова и Шлиппенбаха. Отсвечивающие панцирями эскадроны его кирасир начали сдерживать коней, разворачиваться в полудугу и остановились в нерешимости. Остановилась и подбежавшая к ним пехота...

— Ничего не понимаю! Что случилось, черт бы взял этого Маркварта! — закричал Горн. Стоящий около адъютант Бистрем ответил:

— Я также не совсем понимаю, господин генерал.

Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меньшикова,— этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами. Но Меньшиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров,— судя по их епанчам и по желтому — со вздыбленным львом — знамени, это был штаб Шлиппенбаха... Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меньшиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла... На бугор поднимался всадник на большой вислоухой лошади,— знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах... Слеза замутила глаз старику Горну, он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на вислоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха... Он походил больше всего...

— Господин генерал, измена! — шепотом проговорил адъютант Бистрем.

— Вижу и без вас, что это царь Петр, наряженный в шведский мундир... Меня изрядно провели за нос, понимаю и без вашей помощи... Прикажите подать мне кирасу и шпагу...— Генерал Горн оставил

теперь уже бесполезную подзорную трубу и, как молодой, побежал по крутой лестнице с воротной башни.

Там на поле машкерадного боя началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами семеновцы и ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальоны Меньшикова кинулись со всей фурией с двух сторон на шведов несчастного Маркварта,— который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший по крайней мере треть нарвского гарнизона.

Кирасиры его, прикрывавшие пехоту, некоторое время отступали, не теряя строя, огрызаясь короткими наездами. Но когда на них с тылу, из березовой рощи, помчался с драгунскими эскадронами полковник Рен, сидевший там в засаде,— началась свалка. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих сплеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг о кирасы и шлемы. Взвивались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие, по лугу, сшибались, размахнув руки, валились... Все русское войско вылезло на шанцы, как на масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя... Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх треухи.

Только небольшой части шведского отряда удалось пробиться к Нарве. Все, что мог сделать генерал Горн — это отстоять ворота, чтобы русские с налету не ворвались в город. Выехавшие грабить жители метались на телегах перед рвом. Солдаты перескакивали через палисад и сгоряча, не боясь стрельбы со стен, похватали немало нарвских жителей с телегами и лошадьми, привели их в лагерь для продажи господам офицерам.

Вечером в большом шатре у Меньшикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину — и мало кем еще виден-

ную — копченую камбалу. Рыбка praванивала, но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие. «Поставил премудрому Горну изрядный нос! Истинно ты именинник сегодня!» — басил, подскакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич — и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток. «Бьюсь об заклад — ты бы мог перехитрить самого царя Одиссея! — кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора.— Трудно представить себе людей, более хитрых, чем русские!»

Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена «Большого Носа». Начало было складное: «Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощеному коту, аки лев рыкающему...» Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу.

Аникита Иванович Репнин, отсмеявшись козлиным голоском сколько нужно, сказал под конец:

— Петр Алексеевич, а стоит ли срамить-то старика? Ведь дело еще не кончено...

На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман:

— Посмеялись,— будет...

Он поднялся, покачнулся, вцепился Макарову в плечо, распустившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели,— вильнув длинной шеей, он, как всегда, овладел собой:

— Кончай гулять!

И вышел из шатра. Рассветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. Петр Алексеевич глубоко вдохнул утреннюю свежесть:

— Ну, в добрый час... Пора! — И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, Аникита Иванович Репнин и полковник Рен.— Еще раз повторяю обоим,— пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое.

Его нужно так побить, чтоб он не мог уже более собраться с силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем... Ступайте...

Аникита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колена в густой траве к темному лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги,— все участники вчерашнего машкерадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело: окружить под Везенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха.

4

— Итак, господа, бывший король Август, которого мы считали приведенным в ничтожество, получил помощь от русских и быстро двигается к Варшаве,— сказал молодой король Станислав Лещинский, открывая военный совет. Король был утомлен навязанными ему государственными делами, тонкое надменное, недоброе лицо его было бледно до синевы под опущенными ресницами,— он не поднимал глаз потому, что ему до отвращения надоели напыщенные лица придворных, все разговоры о войне, деньгах, займах... Слабой рукой он перебирал четки. Он был одет в польское платье, которое терпеть не мог, но с тех пор, как в Варшаве стоял шведский гарнизон под командой полковника Арведа Горна — племянника нарвского героя,— польские магнаты и знатные паны повесили свои парики на подставки, пересыпали французские кафтаны табаком и ходили в жупанах с откидными рукавами, в бобровых шапках, в мягких сапожках с многозвонными шпорами, вместо шпаг — опоясывались тяжелыми дедовскими саблями.

В Варшаве жили весело и беспечно под надежной охраной Арведа Горна, простив ему невежество, когда он заставил сейм избрать в короли этого мало знатного, но изящно воспитанного молодого человека. Шведские офицеры были грубоваты и высокомерны, но зато в питье вин и медов не выдерживали боя

с поляками, а в танцах и совсем уступали роскошным мазурщикам — Вишневецкому или Потоцкому. Была одна беда,— все меньше поступало денег из разоренных войною имений, но и это обстоятельство казалось так же скоропреходящим: не вечно Карлу хозяйничать в Польше, когда-нибудь да уйдет же он отсюда на восток — расправляться с царем Петром.

И вот нежданно-негаданно на Варшаву надвинулась черная туча. Август без боя захватил богатый Люблин и стремительно двигался с шумным польским конным войском по левому берегу Вислы на Варшаву; одноглазое страшилище, атаман Данила Апостол с днепровскими казаками перебрался на правый берег Вислы и приближался к Праге — варшавскому предместью; одиннадцать русских пехотных полков очищали прибугские городки от приверженцев короля Станислава, уже заняли Брест и также поворачивали к Варшаве; а с запада к ней быстро шел саксонский корпус фельдмаршала Шуленбурга, обманувшего ловким маневром короля Карла, который искал его на другой дороге.

— Видит бог и пресвятая дева, я не стремился надевать на себя польскую корону, такова была воля Сейма,— не поднимая глаз, говорил король Станислав с презрительной медленностью. На ковре у ног его лежала — мордой в лапы — белая борзая сука благороднейших кровей.— Кроме затруднений и неприятностей, я покуда еще ничего не испытал в моем высоком сане. Я готов сложить с себя корону, если сейм из чувства осторожности и благоразумия пожелает этого, чтобы не подвергать Варшаву злобе Августа. Несомненно, у него много оснований — испортить себе печень. Он честолюбив и упрям. Его союзник — царь Петр — еще более упрям и хитер, они будут драться, покуда не добьются своего, покуда мы все не будем вконец разорены.— Он положил ногу в сафьяновом сапожке на спину собаки, она повела лиловыми глазами на короля.— Право же, я ни на чем не настаиваю, я с восторгом удалюсь в Италию... Упражнения в Болонском университете восхищают меня...

Румяный, с бешено холодными глазами, плотный

в своем зеленом поношенном сюртуке, полковник Арвед Горн проворчал, сидя напротив короля на раскладном стуле:

— Это не военный совет,— позорная капитуляция...

Король Станислав медленно покривил рот. Кардинал примас Радзиевский, лютый враг Августа, не слыша неприличного замечания шведа, сказал тем вкрадчивым, смиренно повелительным голосом, какому прилежно учат в иезуитских коллегиях со времен Игнатия Лойолы. Он сказал:

— Желание вашего королевского величества уклониться от борьбы — не более чем минутная слабость... Цветы вашей души поникли под суровым ветром,— мы умиляемся... Но корона католического короля, в отличие от шляпы, снимается только вместе с головой. Будем со всем мужеством говорить о сопротивлении узурпатору и врагу церкви, каков есть курфюрст саксонский Август, дурной католик. Мы послушаем, что скажет полковник Горн.

Кардинал примас, шурша шелком пышной пурпуровой рясы, отражавшейся в навощенном полу, грузно повернулся к шведу и повел рукой столь изысканно, будто предлагал ему сладчайшее кушанье. Полковник Горн толкнул стул, расставил крепкие ноги в смазных ботфортах (поношенный сюртук и грубые ботфорты с раструбами он носил, как все шведы, в подражание королю Карлу), сухо кашлянул, прочищая горло:

— Я повторяю: военный совет должен быть военным советом, а не разговором о цветочках. Я буду оборонять Варшаву до последнего солдата,— такова воля моего короля. Я приказал,— с наступлением темноты моим фузилерам стрелять в каждого, кто выходит за ворота. Ни одного труса не выпущу из Варшавы,— у меня и трусы будут драться! Мне смешно,— у нас не меньше войска, чем у Августа. Об этом лучше меня знает великий гетман князь Любомирский... Мне смешно,— Август нас окружает! Это лишь значит, что он дает нам возможность разбить себя по частям: на юге — его пьяную шляхетскую конницу, на восток от Варшавы—атамана Данилу Апостола, казаки которого легко вооружены и не выдержат удара панцирных

гусар... Фельдмаршал Шуленбург найдет свою могилу, не доходя до Варшавы,— за ним, несомненно, гонится мой король. Единственная значительная опасность—это одиннадцать русских полков князя Голицына, но покуда они тащатся пешком от Бреста, мы уже уничтожим Августа, им придется или отступать, или умирать. Я предлагаю князю Любомирскому нынче же ночью собрать в Варшаву все конные полки. Я предлагаю вашему величеству сейчас, покуда не догорели эти свечи, объявить посполитое рушение[1]... Пускай возьмет меня черт, если мы не выдернем у Августа все перья из хвоста...

Раздувая белокурые усы, Арвед Горн засмеялся и сел. Теперь даже король поднял глаза на великого гетмана Любомирского, командующего всеми польскими и литовскими войсками. Во все время разговора он сидел по левую руку от короля в золоченом кресле, опустив лоб в ладони, так что была видна только его остриженная чуприной круглая голова, точно посыпанная перцем, да висячие, жидкие, длинные усы.

Когда настала тишина, он будто очнулся, вздохнул, выпрямился,— был он велик, костист, широкоплеч,— медленно положил руку на осыпанную алмазами булаву, засунутую за тканый драгоценный пояс. Горбоносое лицо его, тронутое оспой, со впавшими щеками, с натянутой на скулах воспаленной кожей, было так нелюдимо и гордо мрачно, что у короля затрепетали веки, и он, нагнувшись, стал гладить собаку. Великий гетман медленно поднялся. Для него настал долгожданный час расплаты.

Он был знатнейшим магнатом Польши, более властительным в своих обширных владениях, чем любой король. Когда он отправлялся на сейм или в Ченстохов на богомолье — впереди его кареты и позади ехало верхами, в бричках и на телегах не менее пяти тысяч шляхтичей, одетых — один как один — в малиновые жупаны с лазоревыми отворотами на откидных рукавах. На посполитое рушение,— походы против бунтую-

[1] Народное ополчение, созываемое польским королем с согласия сейма, на случай войны.

щей Украины или против татар,— он выводил свои три полка гусар в стальных кирасах с крыльями за плечами. Как Пяст по крови, он считал себя первым претендентом на польский престол после низвержения Августа. Тогда — в прошлом году — уже две трети делегатов сейма, стуча саблями, прокричали: «Хотим Любомирского!» Но этого не захотел король Карл, которому нужна была кукла. Полковник Горн окружил бушующий сейм своими фузилерами,— они запалили фитили и оскорбили торжественность треском барабанов. Горн, как бы вбивая каблуками гвозди, прошел к пустому тронному месту и крикнул: «Предлагаю Станислава Лещинского!»

Великий гетман затаил злобу. Никто и никогда не осмеливался затрагивать его честь. Это сделал король Карл, у которого пахотной земли и золотой посуды, наверно, было меньше, чем у Любомирских. Поводя диким, темным взором, скребя ногтями яблоко булавы, он заговорил, с яростью, как змий, шипя согласными звуками:

— Ослышался я или почудилось: мне, великому гетману, мне, князю Любомирскому, осмелился приказывать комендант гарнизона! Шутка? Или нахальство? (Король поднял руку с четками, кардинал подался вперед на стуле, затряс совиным обрюзгшим лицом, но гетман лишь угрожающе повысил голос.) Здесь ждут моего совета. Я слушал вас, господа, я беседовал с моей совестью... Вот мой ответ. Наши войска ненадежны. Чтобы заставить их пролить свою и братскую кровь, нужно, чтобы сердце каждого шляхтича запело от восторга, а голова закружилась от гнева... Может быть, король Станислав знает такой боевой клич? Я не знаю его... «Во имя бога, вперед, на смерть за славу Лещинских!» Не пойдут. «Во имя бога, вперед, за славу короля шведов»? Побросают сабли. Вести войска я не могу! Я более не гетман!

До косматых бровей побагровело искаженное лицо гетмана. Не в силах сдерживать себя, он вытащил из-за пояса булаву и швырнул ее под ноги мальчишке королю. Белая сука жалобно взвизгнула...

— Измена! — бешено крикнул Горн.

5

Слово «берсеркиер»,— или одержимый бешенством,— идет из глубокой древности, от обычая северных людей опьяняться грибом мухомором. Впоследствии, в средние века, берсеркиерами у норманнов назывались воины, одержимые бешенством в бою,— они сражались без кольчуги, щита и шлема, в одних холщовых рубахах и были так страшны, что, по преданию, например, двенадцать берсеркиеров, сыновей конунга Канута,— плавали на отдельном корабле, так как сами норманны боялись их.

Припадок бешенства, случившийся с королем Карлом, можно было только назвать берсеркиерством, до такой степени все придворные, бывшие в это время в его шатре, были испуганы и подавлены, а граф Пипер даже не чаял остаться живым... Тогда, получив от графини Козельской голубиную депешу, Карл, наперекор мнению Пипера, фельдмаршала Рёншельда и других генералов, остался непоколебим в мстительном желании теперь же доконать Августа, привести всю Польшу к покорности Станиславу Лещинскому, дать хороший отдых войскам и на будущий год, в одну летнюю кампанию, завершить восточную войну блестящим разгромом всех петровских полчищ. За судьбу Нарвы и Юрьева он не тревожился,— там были надежные гарнизоны и крепкие стены — не по зубам московитам, там был отважнейший Шлиппенбах. А помимо всего, пострадала бы гордость его, наследника славы Александра Македонского и Цезаря, смешавшего свои великие планы из-за какой-то голубиной депеши, да еще переданной распутной куртизанкой...

Весть о приходе в Сокаль русского вспомогательного войска и о неожиданном марше Августа на Варшаву из-под самого носа Карла (который, как сытый лев, лениво не торопился вонзить клыки в обреченного польского короля) привез тот самый шляхтич, что на пиру у пана Собещанского разрубил саблей блюдо с колбасой. Граф Пипер в смущении пошел будить короля,— было это на рассвете. Карл тихо спал на походной постели, положив на грудь скрещенные руки. Сла-

бый огонек медной светильни озарял его большой нос с горбинкой, аскетическую впадину щеки, плотно сжатые губы,— даже и во сне он хотел быть необыкновенным. Он походил на каменное изваяние рыцаря на саркофаге.

Вначале граф Пипер положил надежду на королевского петуха, которому как раз приспело время загорланить во всю глотку. Но петуху приходилось разделять монашеское житие вместе в королем, он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдавил из горла что-то вроде — э-хе-хе...

— Ваше величество, проснитесь,— как можно мягче произнес граф Пипер, прибавляя огонек в светильне,— ваше величество, неприятное известие (Карл, не шевелясь, открыл глаза)... Август ушел от нас...

Карл тотчас сбросил на коврик ноги в холщовых исподних и шерстяных чулках, опираясь на кулаки, глядел на Пипера. Тот со всей придворной осторожностью рассказал о счастливой перемене судьбы Августа.

— Мои ботфорты, штаны! — медленно произнес Карл, еще ужаснее раскрывая немигающие глаза,— они даже начали мерцать, или то было отражение в них огонька светильни, начавшего коптить. Пипер кинулся из шатра и тотчас вернулся с Беркенгельмом в нахлобученном кое-как парике. В палатку входили генералы. Карл надел штаны, задирая ноги, натянул ботфорты, застегнул сюртук, обломав два ногтя, и тогда только дал волю своей ярости.

— Вы проводите время с грязными девками, вы разжирели, как католический монах! — лающим голосом (потому что скулы у него сводило и зубы лязгали) кричал он ни в чем не виновному генералу Розену.— Сегодня день вашего позора,— повернувшись точно для удара шпагой, кричал он генералу Левенгаупту,— вам уместно тащиться нижним чином в обозе моей армии! Где ваша разведка? Я узнаю новости позже всех!.. Я узнаю важнейшие новости, от которых зависит судьба Европы, от какого-то пьяного шляхтича! Я узнаю их от куртизанок! Я смешон! Я еще удивляюсь, почему меня сонного не утащили из шатра казаки и с веревкой на

шее не отвезли в Москву! А вам, господин Пипер, советую заменить дурацким колпаком графскую корону на вашем гербе! Вы, пожиратель бекасов, куропаток и прочей дичи, пьяница и осел! Не смейте изображать оскорбления! Я с удовольствием вас колесую и четвертую! Где ваши шпионы, я спрашиваю? Где ваши курьеры, которые должны сообщать мне о событиях за сутки раньше, чем они случаются? К черту! Я бросаю армию, я становлюсь частным лицом! Мне противно быть вашим королем!

Затем Карл оторвал все пуговицы на своем сюртуке. Ударом ботфортов проткнул барабан. В клочья истрепал парик, стащив его с головы барона Беркенгельма. Ему никто не возражал,— он метался по шатру среди пятящихся придворных. Когда припадок берсеркиерства стал утихать, Карл завел руки за спину, нагнул голову и проговорил:

— Приказываю немедленно по тревоге поднять армию. Даю вам, господа, три часа на сборы. Я выступаю. Вы узнаете все из моего приказа. Оставьте мой шатер. Беркенгельм, перо, бумагу и чернила.

6

— Это несносно... Стоим, стоим целую вечность... Побольше решительности, хорошая атака — и сегодняшнюю ночь могли бы ночевать в Варшаве,— ворчливо говорила графиня Козельская, глядя в окно кареты на бесчисленные огни костров, раскинувшиеся широкой дугой перед невидимым в ночной темноте городом. Графиня устала до потери сознания. Ее изящная карета с золотым купидоном сломалась на переправе через речонку, и пришлось пересесть в неудобный, трясучий, безобразный экипаж пани Анны Собещанской. Графиня была так зла, пани Анна казалась ей столь презренным существом, что она была даже любезна с этой захолустной полячкой.

— Карета короля стоит впереди нас, но его там нет... О чем он думает — самому богу неизвестно... Никаких приготовлений к ужину и отдыху...

Графиня с трудом, дергая за ремень, опустила окно кареты. Потянуло теплым запахом конского пота и сытным дымком солдатских кухонь. Ночь была полна лагерного шума,— перекликались голоса, трещали сцепившиеся телеги,— крики, брань, хохот, конский топот, отдаленные выстрелы. Графине осточертели эти походные удовольствия, она подняла стекло. Откинулась в угол кареты. Ей все мешало — и сбившееся платье, и бурнус, и углы шкатулок, она бы с наслаждением кого-нибудь укусила до крови...

— Боюсь, что королевский дворец мы найдем в полнейшем беспорядке, ограбленным... Семья Лещинских славится алчностью, и я слишком хорошо знаю Станислава,— ханжа, скуп и мелочен... Он бежал из Варшавы не с одним молитвенником в кармане. Советую вам, милая моя, иметь в запасе чей-нибудь партикулярный дом, если, конечно, у вас в Варшаве есть приличные знакомые... На короля Августа вы не очень-то рассчитывайте... Боже, какой это негодяй!

Пани Анна наслаждалась беседами с графиней,— это была высшая школа светского воспитания. Пани Анна с юного девичества, едва только под сорочкой у нее стали заметны прелестные выпуклости, мечтала о необыкновенной жизни. Для этого стоило только поглядеться в зеркало: хороша, да не просто хорошенькая, а с перчиком, умна, остра, резва и неутомима. Родительский дом был беден. Отец — разорившийся шляхтич — промышлял по ярмаркам да за карточными столами у богатых панов. Он редко бывал дома. В затрапезном кафтанчике, усталый, присмирелый, с помятым лицом, сидел у окошка и тихо глядел на бедное свое хозяйство. Анна — единственная и любимая дочь — приставала к нему, чтобы рассказывал про свои похождения. Отец, бывало, с неохотой, потом — разгорячась, начинал хвастать подвигами и сильными знакомствами. Как волшебную сказку, слушала Анна были и небылицы про чудеса и роскошь князей Вишневецких, Потоцких, Любомирских, Чарторыйских... Когда отец, продав за карточный долг последнюю клячу со двора и съев последнего куренка, просватал дочь за пожилого пана Собещанского,— Анна не противилась, понимая, что

этот брак лишь надежная ступень к будущему. Огорчало ее только то, что муж уж слишком пылко, не по годам влюбился. Сердце у нее было доброе, впрочем, в полном подчинении у рассудка.

И вот,— случай вознес ее сразу на самый верх лестницы счастья. Король попал в ее сети. У пани Анны не закружилась голова, как у дурочки; острый ум ее стал шнырять, как мышь в темном закроме; все надо было обдумать и предвидеть. Пану Собещанскому, который обыкновенно, как влюбленный муж, ничего не понимал и не видел, она заявила ласково: «Хватит с меня деревенской глуши! Вы сами, Иозеф, должны быть за меня счастливы: теперь я хочу быть первой дамой в Варшаве. Ни о чем не заботьтесь, пируйте себе и обожайте меня».

Сложно было другое: перехитрить графиню Козельскую и безмятежно утопить ее, и самое, наконец, щепетильное,— не для минутной прихоти послужить королю, но привязать его прочно...

Для этого мало одной женской прелести, для этого нужен опыт. Пани Анна, не теряя времени, выведывала у графини тайны обольщений.

— Ах, нет, любезная графиня, в Варшаве я готова жить в лачуге, лишь — вблизи вас, как серая пчелка близ розы,— говорила пани Анна, сидя с поджатыми ногами в другом углу кареты и мельком поглядывая на лицо графини с закрытыми глазами; оно то розовело от отблесков костров, то погружалось в тень (будто луна в облаках).— Ведь я еще совсем дитя. Я до сих пор дрожу, когда король заговаривает со мной,— не хочется ответить что-нибудь глупое или неприличное.

Графиня заговорила, будто отвечая на свои мысли, кислые, как уксус:

— Когда король голоден — он пожирает с одинаковым удовольствием ржаной хлеб и страсбургские пироги. В одном придорожном шинке он увязался за рябой казачкой, бегавшей, как молния, через двор на погреб и опять в шинок с кувшинами... Она ему показалась женщиной... Только одно это имеет для него значение... О, чудовище! Графиня Кенигсмарк взяла его тем, что во время танца показывала подвязки,— черные бар-

хатные ленточки, завязанные бантиком на розовых чулках...

— Иезус-Мария, и это так действует? — прошептала пани Анна.

— Он, как скотина, влюбился в русскую боярыню Волкову; она во время бала несколько раз меняла платье и рубашку; он вбежал в комнату, схватил ее сорочку и вытер потное лицо... Такая же история была в прошлом столетии с Филиппом Вторым — королем Франции... Но там это кончилось долгой привязанностью, а боярыня Волкова, ко всеобщему удовольствию, улизнула у него из-под носа...

— Я ужасно глупа! — воскликнула пани Анна,— я не понимаю, при чем же тут сорочка той особы?

— Не сорочка, важна кожа той особы, ей присущий запах... Кожа женщины то же, что аромат для цветка, об этом знают все девчонки в школах при женских монастырях... Для такого развратника, как наш возлюбленный король, его нос решает его симпатии...

— О пресвятая дева!

— Вы присматривались к его огромному носу, которым он очень гордится, находя, что это придает ему сходство с Генрихом Четвертым... Он все время раздувает ноздри, как легавая собака, почуявшая куропатку...

— Значит, особенно важны духи, амбрные пудры, ароматические притирания? Так я поняла, любезная графиня?

— Если вы читали Одиссею, должны помнить, что волшебница Цирцея превращала мужчин в свиней... Не притворяйтесь наивной, милая моя... А впрочем, все это достаточно противно, скучно и унизительно...

Графиня замолчала. Пани Анна принялась размышлять,— кто кого, собственно, сейчас перехитрил? За окном кареты показалась конская морда, роняющая пену с черных губ. Подъехал король. Он соскочил с седла, раскрыл дверцу,— ноздри его были раздуты, крупное, оживленное лицо ослепительно улыбалось. При свете факела, которым светил верховой, он был так великолепен в легком золоченом шлеме, с закинутым наверх забралом, в пышно перекинутой через плечо пурпуровой

мантии, что пани Анна сказала себе: «Нет, нет, никаких глупостей...» Король воскликнул весело:

— Выходите, сударыни, вы будете присутствовать при историческом зрелище...

Пани Анна тотчас, тоненько вскрикнув, выпорхнула из кареты. Графиня сказала:

— У меня переломлена поясница, чего вы, несомненно, добивались, ваше величество. Я не одета и останусь здесь дремать на голодный желудок.

Король ответил резко:

— Если вам нужны носилки, я пришлю...

— Носилки, мне? — От удара зеленого света ее распахнувшихся глаз Август несколько попятился. Графиня, будто с зажженным фитилем, вылетела из кареты,— в персиковом бурнусе, в огоньках драгоценных камней, дрожащих в ушах, на шее, на пальцах, с куафюрой потрепанной, но оттого не менее прелестной.— Всегда к вашим услугам! — и сунула голую руку под его локоть. Еще раз пани Анна поняла, как велико искусство этой женщины...

Втроем они пошли к королевской карете, где при свете факелов стоял на конях эскадрон отборной шляхетской конницы,— в кирасах с белыми лебедиными перьями, прикрепленными за плечами на железных ободах. Август и дамы — по сторонам его и несколько позади — сели в кресла на ковре. У пани Анны билось сердце: ей представилось, что обступившие их высокие всадники с крыльями, с бликами огней на кирасах и шлемах,— божьи ангелы, сошедшие на землю, чтобы вернуть Августу его варшавский дворец, славу и деньги... Она закрыла глаза и прочла короткую молитву:

— Да будет король в руках моих, как ягненок...

Послышался конский топот. Эскадрон расступился. Из темноты приближался великий гетман Любомирский со своим конвоем, также с крыльями за плечами, но лишь из черных перьев. Подъехав вплотную к королю, великий гетман рванул поводья, раздув епанчу, прянул с храпящего коня и на ковре преклонил колено перед Августом:

— Если можешь, король, прости мою измену...

Горячие темные глаза его глядели твердо, воспален-

ное лицо было мрачно, голос срывался. Он ломал свою гордость. Он не снял меховой шапки с алмазной гирляндой, лишь сухие руки его дрожали...

— Моя измена тебе — мое безумие, потемнение разума... Верь,— я все же ни часу не признавал королем Станислава... Обида терзала мои внутренности. Я дождался... Я бросил ему под ноги мою булаву... Я плюнул и вышел от него... На королевском дворе на меня напали солдаты коменданта... Слава богу, рука моя еще крепко держит саблю,— кровью проклятых я скрепил разрыв с Лещинским... Я предлагаю тебе мою жизнь.

Слушая его, Август медленно стаскивал железные перчатки. Уронил их на ковер, лицо его прояснилось. Он поднялся, протянул руки, потряс ими:

— Верю тебе, великий гетман... От всего сердца прощаю и обнимаю тебя...

И он со всей силой прижал его лицо к груди, к чеканным кентаврам и нимфам, изображенным на его панцире итальянской работы. Продержав его так, прижатым, несколько дольше, чем следовало, Август приказал подать еще один стул. Но стул уже был подан. Великий гетман, трогая помятую щеку, стал рассказывать о варшавских событиях, происшедших после его отказа выступить против Августа и русских.

В Варшаве начался переполох. Кардинал примас Радзиевский, который в прошлом году на люблинском сейме публично, на коленях перед распятием, клялся в верности Августу и свободе Речи Посполитой, а через месяц в Варшаве поцеловал лютеранское евангелие на верность королю Карлу и потребовал,— даже с пеной на губах,— декоронации Августа и выдвинул кандидатом на престол князя Любомирского и тут же, по требованию Арведа Горна, предал и его,— этот трижды предатель первым бежал из Варшавы, ухитрясь при этом увезти несколько сундуков церковной казны.

Король Станислав три дня бродил по пустому дворцу,— с каждым утром все меньше придворных являлось к королевскому выходу. Арвед Горн не спускал его с глаз,— он поклялся ему удержать Варшаву с одним своим гарнизоном. Так как по правилам этикета он

не мог присутствовать за королевским столом, поэтому в обед и ужин сидел рядом в комнате и позванивал шпорами. Станислав, чтобы не слышать досадливого позванивания, читал сам себе вслух по-латыни, между блюдами, стишки Апулея. На четвертую ночь он все же улизнул из дворца,— вместе со своим парикмахером и лакеем,— переодетый в деревенское платье, с наклеенной бородой. Он выехал за городские ворота на телеге с двумя бочками дегтя, где находилась вся королевская казна. Арвед Горн слишком поздно догадался, что король Станислав,— истинный Лещинский,— помимо чтения Апулея и скучливого шагания вместе со своей собакой по пустым залам, занимался в эти дни и еще кое-чем... Арвед Горн сорвал и растоптал занавеси с королевской постели, проткнул шпагой дворцового маршалка и расстрелял начальника ночной стражи. Но теперь уже ничто не могло остановить бегства из Варшавы знатных панов, так или иначе связанных с Лещинским.

Август хохотал над этими рассказами, стучал кулаками по ручкам кресла, оборачивался к дамам. Глаза графини Козельской выражали только холодное презрение, зато пани Анна заливалась смехом, как серебряный колокольчик.

— Какой же совет ты мне дашь, великий гетман? Осада или немедленный штурм?

— Только — штурм, милостивый король. Гарнизон Арведа Горна невелик. Варшаву нужно взять до подхода короля Карла.

— Немедленный штурм, черт возьми! Мудрый совет.— Август воинственно громыхнул железными наплечниками.— Чтобы штурм был удачен — нужно хорошо накормить войско, хотя бы вареной гусятиной... По скромному счету пять тысяч гусей!.. Гм! — Он сморщил нос.— Неплохо также заплатить жалованье... Князь Дмитрий Михайлович Голицын смог выделить мне только двадцать тысяч ефимков... Гроши! Что касается денег — царь Петр не широк, нет — не широк! Я рассчитывал на кардинальскую и дворцовую казну... Украдена! — закричал он, багровея.— Не могу же я обложить контрибуцией мою же столицу!

Князь Любомирский все это выслушал, глядя себе под ноги, и сказал тихо:

— Мой войсковой сундук еще не пуст... Прикажи только...

— Благодарю, охотно воспользуюсь,— несколько слишком торопливо, но с чисто версальской грацией ответил Август.— Мне нужно тысяч сто ефимков... Возвращу после штурма...— Просияв, он поднялся и снова обнял гетмана, коснувшись щекой его щеки.— Иди, князь, и отдохни. И мы хотим отдохнуть.

Гетман вскочил на коня, не оборачиваясь, ускакал в темноту. Август повернулся к дамам.

— Сударыни, итак, ваше утомительное путешествие будет вознаграждено... Скажите мне лишь ваши желания... Первое из них и самое скромное,— я догадываюсь,— ужинать... Не подумайте, что я забыл о ваших удобствах и развлечениях... Таков долг короля,— никогда и ничего не забывать... Прошу в мою карету...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Гаврила Бровкин без отдыха скакал в Москву,— с царской подорожной, на перекладной тройке, в короткой телеге на железном ходу. Он вез государеву почту и поручение князю-кесарю — торопить доставки в Питербург всякого железного изделья. С ним ехал Андрей Голиков. Велено было в дороге не мешкать. Какое там мешкать! На сто сажен впереди тройки летело Гаврилино нетерпеливое сердце. Доскакивая до очередного яма,— или, как иначе стали говорить, почтового двора,— Гаврила, весь в пылище, взбегал на крыльцо и колотил в дверь рукоятью плетки: «Комиссар!—кричал, вращая глазами,— сей час — тройку!» — и надвигался на заспанного земского целовальника, у которого одна лишь шляпа с галунами была признаком комиссарства,— за жарким временем бывал он бос, в одних

исподних и в длинной рубахе распояской. «Ковш квасу, и, покуда допью, чтоб заложена была...»

Андрей Голиков также находился в восторженном воспарении. Стиснув зубы, вцепясь в обод телеги, чтобы не свалиться, не убиться, с волосами, отдутыми за спину, с носом, выставленным, как у кулика, он будто в первый раз раскрыл глаза и глядел на плывущие навстречу леса, дышащие смолистым теплом, на окаймленные ядовито яркой зеленью круглые болотные озера, отражающие небо и летние тучки, на извилистые речонки, откуда — с черной воды — поднимались стаи всякой дичи, когда колеса громыхали по мосту. О дальнем, нескончаемом пути тоскливо заливался колокольчик под качающейся дугой. Ямщик гнал и гнал тройку, чувствуя сутулой спиной бешеного седока с плеткой.

Редко попадались деревни, ветхие, малолюдные, с убогими избами, где вместо окошек — дыра в две ладони, затянутая пузырем да закопченная дымом щель над низенькой дверью, да под расщепленной ивой — голубок с иконкой, чтобы было все-таки перед чем хоть бога-то помянуть в такой глуши. В иной деревеньке осталось два, три двора жилых,— в остальных просели худые крыши, завалились ворота, кругом заросло крапивой. А людей — поди ищи в непролазных лесах, на чертовых кулижках на севере по Двине или Выгу, или — убежали за Урал или на нижний Дон.

— Ах, деревни-то какие бедные, ах, живут как бедно,— шептал Голиков и от сострадания прикладывал узкую ладонь к щеке. Гаврила отвечал рассудительно:

— Людей мало, а царство — проехать по краю — десяти лет не хватит, оттого и беднота: с каждого спрашивают много. Вот, был я во Франции... Батюшки! — мужиков ветром шатает, едят траву с кислым вином и то не все... А выезжает на охоту маркиз или сам дельфин французский, дичь бьют возами... Вот там — беднота. Но там причина другая...

Голиков не спросил, какая причина тому, что французских мужиков шатает ветром... Ум его не был просвещен, в причинах не разбирался: через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни, и радовался, и мучился чрезмерно...

На Валдайских горах стало веселее,— пошли поляны с прошлогодними стогами, с сидящим коршуном наверху, лесные дорожки, пропадающие в лиственной чаще, куда бы так и уйти, беря ягоду, и шум лесов стал другой,— мягкий, в полную грудь. И деревни — богаче, с крепкими воротами, с изукрашенными резьбой крыльцами. Остановились у колодца поить,— увидели деву лет шестнадцати с толстой косой, в берестяном кокошнике, убранном голубой бусинкой на каждом зубчике, до того миловидную — только вылезти из телеги и поцеловать в губы. Голиков начал сдержанно вздыхать. Гаврила же, не обращая внимания на такую чепуху, как деревенская девка, сказал ей:

— Ну, чего стоишь, вытаращилась? Видишь, у нас обод лопнул, сбегай позови кузнеца.

— Да, ой,— тихо вскрикнула она, бросила ведра и коромысло и побежала по мураве, мелькая розовыми пятками из-под вышитого подола холщовой рубахи. Впрочем, она кому-то чего-то сказала, и скоро пришел кузнец. Глядя на такого мужика, всякий бы удовлетворенно крякнул: ну и дюж человек! Лицо с кудрявой бородкой крепко слажено, на губах усмешка, будто он из одного снисхождения подошел к приезжим дурачкам, в грудь можно без вреда бить двухпудовой гирей, могучие руки заложены за кожаный нагрудник.

— Обод, что ли, лопнул? — насмешливо спросил он певучим баском.— Оно видно — работа московская.— Покачивая головой, он обошел кругом телеги, заглянул под нее, взялся за задок и легко тряхнул ее вместе с седоками.— Она вся развалилась. На этой телеге только чертям дрова возить.

Гаврила, сердясь, заспорил. Голиков восторженно глядел на кузнеца,— изо всех чудес это было, пожалуй, самое удивительное. Ну как же было ему не тосковать по кистям и краскам, по дубовым пахучим доскам! Все, все летит мимо глаз, уходит без возврата в туманное забвение. Лишь один живописец искусством своим на белом левкасе доски останавливает безумное уничтожение.

— Ну, а долго ты будешь с ней возиться? — спро-

сил Гаврила.— У меня час дорог, скачу по царскому наказу.

— Можно и долго возиться, а можно и коротко,— ответил кузнец. Гаврила строго посмотрел на свою плетку, потом покосился на него:

— Ладно... Сколько спросишь?

— Сколько спрошу? — кузнец засмеялся.— Моя работа дорогая. Спросить с тебя как следует — у тебя и деньжонок не хватит. А ведь я тебя знаю, Гаврила Иванович, ты с братом весной здесь проезжал, у меня же и ночевал. Забыл? А вот брат у тебя толковый мужик. Я и царя Пётру хорошо знаю, и он меня знает,— каждый раз в кузню заворачивает. И он тоже — толков. Ну, что ж, поворачивайте к кузнице, чего-нибудь сделаем.

Кузница стояла на косогоре у большой дороги, низенькая, из огромных бревен, с земляной крышей, с тремя станами для ковки лошадей; кругом валялись колеса, сохи, бороны. У дверей стояли, в кожаных фартуках, с перевязанными ремешком кудрями, два его младших брата, и — старший — угрюмый, бородатый верзила, молотобоец. Не спеша, но споро, играючись, кузнец принялся за дело. Сам отпрег лошадей, перевернул телегу, снял колеса, вытащил железные оси. «Гляди — обе с трещиной,— этой бы осью энтого бы московского кузнеца по темечку...» Оси он сунул в горн, высыпал туда куль угля, крикнул младшему брату: «Ванюша, дуй бодрей. Эх, лес сечь — не жалеть плеч!..» И пошла у братьев работа. Гаврила, сопя трубочкой, прислонился в дверях. Голиков сел на высоком пороге. Они было спросили, не помочь ли им для скорости? Кузнец махнул рукой: «Сидите спокойно, хоть раз поглядите, какие есть валдайские кузнецы...»

Ванюша раздувал мехи,— искры, треща бураном, неслись под крышу. Озаренный ими, бородатый старший брат стоял, как идол, положив руки на длинную рукоять пудового молота. Кузнец пошевеливал ось в жарко дышащем горне:

— А зовут нас, чтоб вы знали, кличут нас Воробьевы,— говорил он, все так же посмеиваясь в кудрева-

тые усы.— Мы — кузнецы, оружейники, колокольщики... Под дугой-то у вас — нашего литья малиновый звон... В прошлом году царь Пётра так же вот здесь сидел на пороге и все спрашивал: «Погоди, говорит, Кондратий Воробьев, стучать, ответь мне сначала,— почему у твоих колокольчиков малиновый звон? Почему работы твоей шпажный клинок гнется, не ломается? Почему воробьевский пистолет бьет на двадцать шагов дальше и бьет без осечки?» Я ему отвечаю,— ваше царское величество, Петр Алексеевич, потому у наших колокольчиков такой звон, что медь и олово мы взвешиваем на весах, как нас учили знающие люди, и льем без пузырей. А шпага наша потому гнется, не ломается, что калим ее до малинового цвета и закаливаем в конопляном масле. А пистолеты потому далеко бьют и без осечки, что родитель наш, Степан Степанович, царствие ему небесное, бивал нас, маленьких, лозой больно за каждую оплошку и приговаривал: худая работа хуже воровства... Так-то...

Клещами Кондратий выхватил ось из горна на наковальню, обмел вспыхнувшим веничком окалину с нее и кивнул бородой старшему брату. Тот отступил на шаг и, откидываясь и падая вперед, описывая молотом круг, стал бить,— каленые брызги летели в стены. Кондратий кивнул среднему брату: «А ну, Степа...» Тот с молотом поменьше встал с другой стороны; и пошел у них стук, как в пасхальный перезвон,— старший бухал молотом один раз, Степа угождал два раза, Кондратий, поворачивая железо и так и сяк, наигрывал молотком. «Стой!» — прикрикнул он и бросил скованную ось на земляной пол. «Ванюша, поддай жару...»

— Вот он мне, значит, и говорит,— вытерев пот тылом ладони, продолжал кузнец: «Слышал ли ты, Кондратий Воробьев, про тульского кузнеца Никиту Демидова? У него сегодня на Урале и заводы свои, и рудники свои, и мужики к нему приписаны, и хоромы у него богаче моих, а ведь начал вроде тебя с пустяков... Пора бы и тебе подумать о большом деле, не век у проезжей дороги лошадей ковать... Денег нет на устройство,— хоть и у меня туго с деньжонками,—

дам. Ставь оружейный завод в Москве, а лучше — ставь в Питербурге... Там — рай...» И так он мне все хорошо рассказал,— смотрю — смущает меня, смущает... Ох, отвечаю ему, ваше величество, Петр Алексеевич, живем мы у проезжей дороги знатно как весело... Родитель наш говаривал: «Блин — не клин, брюхо не расколет,— ешь сытно, спи крепко, работай дружно...» По его завету мы и поступаем... Всего у нас вдоволь. Осенью наварим браги, такой крепкой — обруча на бочках трещат, да и выпьем твое, государь, здоровье. Нарядные рукавицы наденем, выдем на улицу — на кулачки и позабавимся... Не хочется отсюда уходить. Так я ему ответил. А он как осерчает. «Хуже, говорит, не мог ты мне ответить, Кондратий Воробьев. Кто всем доволен, да не хочет хорошее на лучшее менять, тому — все потерять. Ах, говорит, когда же вы, дьяволы ленивые, это поймете?..» Загадал мне загадку...

Кузнец замолчал, нахмурился, потупился. Младшие братья глядели на него, им тоже, конечно, хотелось кое-что сказать по этому случаю, но — не смели. Он покачал головой, усмехнулся про себя:

— Так-то он всех и мутит... Ишь ты, это мы-то ленивые? А выходит, что — ленивые.— Он быстро обернулся к горну, где калилась вторая ось, схватил клещи и — братьям: — Становись!

Часа через полтора телега была готова, собрана, крепка, легка. Дева в лубяном кокошнике все время вертелась около кузницы. Кондратий наконец заметил ее:

— Машутка! — Она метнула косой и стала как вкопанная.— Сбегай принеси боярам молока холодного — испить в дорогу.

Гаврила, прищурясь на то, как она мелькает пятками, спросил:

— Сестра? Девка завидная...

— А — ну ее,—сказал кузнец.— Замуж ее отдать — как будто еще жалко. Дома она — ни к чему, ни ткать, ни коров доить, ни гусей пасти. Одно — ей,— намять синей глины и — баловаться,— сделает кошку верхом на собаке или старуху с клюкой, как живую,

это истинно... Налепит птиц, зверей, каких не бывает. Полна светелка этой чепухи. Пробовали выкидывать — крик, вопли. Рукой махнули...

— Боже мой, боже мой,— тихо проговорил Голиков,— надо же поскорее посмотреть это! — И, будто в священном ужасе, раскрыл глаза на кузнеца. Тот хлопнул себя по бокам, засмеялся. Ванюша и Степа сдержанно улыбнулись, хотя оба не прочь были также прыснуть со смеху. Дева в лубяном кокошнике принесла горшок топленого молока. Кондратий сказал ей:

— Машка, этот человек хочет посмотреть твоих болванчиков, для чего — не ведомо. Покажи...

Дева помертвела, горшок с молоком задрожал у нее в руках.

— Ой, не надо, не покажу! — поставила горшок на траву, повернулась и пошла, как сонная,— скрылась за кузницей. Тут уже все братья начали хвататься за бока, трясти волосами... Не смеялся один Голиков,— выставив нос, он глядел туда, где за углом кузницы скрылась дева. Гаврила сказал:

— Ну, как же, Кондратий Степанович, все-таки будем расплачиваться?

— Как расплачиваться? — Кузнец вытер мокрые глаза, расправил усы и уже задумчиво погладил бородку: — Увидишь царя Пётру — передай ему поклон... Прибавь там от себя — чего полагается. И скажи,— Кондратий Воробьев просит-де на него не гневаться, глупее людей Кондратию Воробьеву не бывать... Государь ответ мой поймет...

2

За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами, далеко за синим лесом стояла радуга, одна ее нога пропадала в уходящей дождевой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры.

— Видишь, Андрюшка?

— Вижу...

— Москва...

— Гаврила Иванович,— это вроде — как знаменье... Радуга-то нам ее осветила...

— Сам не понимаю — с чего Москва так играет... А ты, чай, рад, что — в Москву-то?

— А то как же... И рад, и страшно...

— Приедем,— прямо в баню... Утречком сбегаю к князю-кесарю... Потом сведу тебя к царевне Наталье Алексеевне...

— Вот то-то и страшно...

— Слушай, ямщик,— сказал Гаврила на этот раз даже вкрадчиво,— погоняй, соколик, человечно прошу тебя, погоняй...

После дождя дорога была угонистая. Летели комья с копыт. Блестела листва на березах. Ветерок стал пахучий. Навстречу тянулись пустые телеги с мужиками, с непроданной коровенкой или хромой лошадью, привязанной к задку. Проплывал верстовой столб с орлом и цифирью: до Москвы 34 версты... Опять у дороги — плохонькие избенки, стоявшие, которая — бочком, которая — задом, и за седыми ветлами на кладбище — облупленный шатер церквенки. И опять поперек улицы перед самой тройкой бежит голопузый мальчишка, закидывая волосы, будто он конь. Ямщик перегнулся, обжигая его кнутом по изъеденному комарами месту, откуда растут ноги, но тот — хоть бы что — только шмыгнул, провожая круглыми глазами тройку.

И опять — с горки на горку. Взглянешь направо, где сквозь кусты блестит речка,— бородатые мужики в длинных рубахах, один впереди другого, широко расставляя ноги, идут по лугу, враз взблескивают косами. Взглянешь налево — на лесной опушке, на краю тени, лежит стадо, и пастушонок бегает с кнутом за пегим бычком, а за ним, взмахивая из травы ушами, скачет умная собачка... Опять полосатый верстовой столб,— 31 верста... Гаврила застонал:

— Ямщик, ведь только три версты проехали...

Ямщик обернул к нему веселое лицо с беспечно вздернутым носом, который, казалось, только для того и пристроился между румяных щек, чтобы смотреться в рюмку:

— Ты, боярин, версты не по столбам считай, по кабакам их считай, в столбах верности нет... Гляди,— сейчас припустим...

Он вдруг вскрикнул протяжно: «Ой-ой-ой, лошадушки!» — откинулся, бросил вожжи, большеголовые разномастные лошаденки помчались вскачь, круто свернули и стали у кабака, у старой длинной избы с высокой вехой, торчавшей над воротами, и с вывеской,— для грамотных,— выведенной киноварью по лазоревому полю над дверью: «Къобакъ»...

— Боярин, что хочешь делай, кони зарезались,— весело сказал ямщик и снял с головы высокую войлочную шапку,— хочешь... до смерти бей, а лучше прикажи поднести зелененького.

Целовальник, одетый по-старинному, в клюквенном кафтане с воротником — выше лысины, уже вышел на гнилое крылечко, умильный, свежий, и держал на подносе три рюмки зеленого вина и три кренделя с маком для закуски... Делать нечего, пришлось вылезти из телеги, размяться...

К Москве стали подъезжать в сырые сумерки. Конца не было усадьбам, деревенькам, рощам, церковкам, заборам. Иногда дуга задевала за ветвь липы, и на седоков сыпались дождевые капли... Повсюду теплился свет сквозь пузырчатые стекла или слюдяные окошечки; на папертях еще сидели нищие; кричали галки в пролетах колоколен. Колеса загромыхали по деревянной мостовой... Гаврила, схватив ямщика за плечо, указывал — в какие сворачивать кривые переулки... «Вон, где человек у забора лежит, так напротив — в тупик... Стой, стой, приехали!..» Он выскочил из телеги и застучал в ворота, окованные, как сундук, полосами луженого железа. В ответ грохнули бешеным лаем, загремели цепями знаменитые бровкинские волкодавы.

Хорошо после долгого небывания приехать в родительский дом. Войдешь — все привычно, все по-новому знакомо. В холодных сенях на подоконнике горит свеча, здесь у стен — резные скамьи для просителей, чтобы сидели и ждали спокойно, когда позовут к хозяину; далее — пустые зимние сени с двумя

печами, здесь свеча, отдуваемая сквозняком, стоит на полу, отсюда — налево — обитая сукном дверь в нежилые голландские горницы — для именитых гостей, дверь направо — в теплые низенькие покои, а — пойти прямо — начнешь блуждать по переходам, крутым лестницам вверх и вниз, где — клети, подклети, светлицы, чуланы, кладовые... И пахнет в родительском доме по-особенному, приятно, уютно... Люди — рады приезду, говорят и смотрят любовно, ждут исполнить желания...

Родителя, Ивана Артемича, дома не случилось, был в отъезде по своим мануфактурам. Гаврилу встретили ключница, дородная (как и полагалось ей быть), степенная женщина с тяжелой рукой и певучим голосом, старший приказчик, про которого Иван Артемич сам говорил, что это сатана, и, недавно нанятый за границей, мажордом Карла, фамилии его никто не мог выговорить, длинный и угрюмый мужчина со щекастым лицом, опухшим от безделья и русской пищи, с могучим подбородком, с нависшим лбом, оказывающим великий ум в этом человеке, лишь был у него изъян,— из-за него он и попал в Москву за сходное жалование,— вместо носа носил он бархатный черный колпачок и был несколько гнусав.

— Ничего не хочу, только в баню,— сказал им Гаврила.— К ужину чтоб студень был, да пирог с говядиной, да гусь, да еще чего-нибудь посытнее... В Питербурге на одной вонючей солонине да сухарях совсем отощали...

Ключница развела пухлые кисти рук, сложила их: «Исусе Христе, да как же ты сухари-то кушал!» Сатана-приказчик — ай, ай, ай — сокрушенно замотал козлячьей бороденкой. Мажордом, ни слова не понимавший по-русски, стоял, как идол, с презрительной важностью отставя огромную плоскую ступню, заложив руки за спину. Ключница стала собирать чистое белье для бани и певуче рассказывала:

— В баньке попарим, напоим, накормим и на лебяжью перинку уложим, батюшка, в родительском доме сон сладок... У нас все слава богу, лихо-беда

идут мимо двора... Голландские коровы все до одной отелились тёлушками, аглицкие свиньи по шестнадцати поросят каждая пометала,— сам князь-кесарь приезжал дивиться... Ягоды, вишни в огороде невиданные... Рай, рай — родительский дом... Только что пусто,— ах, ах... Родитель твой, Иван Артемич, походит, походит, бедный, по горницам: «Скушно мне, говорит, Агаповна, не съездить ли опять на мануфактуры...» Денег у родителя столько стало, со счету сбился, кабы не Сенька,— она мигнула на сатану-приказчика,— сроду ему не сосчитать... Одна у нас досада с этим вот черноносым... Конечно, нашему дому без такой персоны нельзя теперича, по Москве говорят — как бы Ивану Артемичу титла не дали... Ну, этот шляпу с красными перьями на башку вздёнет, булавой в пол стукнет, ножищей притопнет,— ничего не скажешь — знатно... У прусского короля был мажордомом, покуда нос ему, что ли, не откусили... Сначала мы его робели, ведь — иностранный, шутка ли! Игнашка, конюх, его на балалайке научил... С тех пор целый день тренькает, так-то всем надоел... И жрать здоров... Хóдит за мной: «Матка, кушать...» Дурак, какого еще не видывали. Хотя, может, это и надо в его звании. Был у нас на Иванов день большой стол, пожаловала царица Прасковья Федоровна, и без Карлы, конечно, было бы нам трудно. Надел он кафтан, голубчик, тесьмы, бахромы на нем фунтов с десять наверчено, надел лосиные рукавицы с пальцами; берет он золотое блюдо, ставит чашу в тысячу рублев и — колено преклоня — подает царице. Берет он другое блюдо, другую чашу лучше той и подает царевне Наталье Алексеевне...

Покуда ключница рассказывала, комнатный холоп, который с появлением в доме мажордома стал называться теперь камер-динер, снял с Гаврилы пыльный кафтан, камзол, распутал галстух и, кряхтя, начал стаскивать ботфорты. Гаврила вдруг дернул ногами, вскочил, вскрикнул:

— У нас в дому была царевна? Что ты мелешь?

— Была, была красавица, по левую руку от Ивана Артемича сидела, ненаглядная... Все-то на нее за-

смотрелися, пить-есть забыли... Ручки в перстнях, в запястьях, плечи — лебединые, над самой грудью родимое пятнышко в гречишное зернышко,— все заметили... Платье на ней, как лен цветет, легче воздуха, на боках взбито пышно, по подолу — все в шелковых розах, а на головке — жар-птицы хвост...

Гаврила далее не слушал... Накинув на плечи бараний полушубок и шлепая татарскими туфлями, понесся по переходам и лестницам в мыльню. В сыром предбаннике он вдруг вспомнил:

— Агаповна, а где же человек, что со мной приехал?

Оказалось,— Андрюшку Голикова не пустил мажордом, и тот все еще сидел на дворе в отпряженной телеге. Впрочем, ему и там было хорошо со своими думами. Над черными крышами светили звезды, пахло поварней, сеновалом, хлевами,— весьма уютно, и — нет-нет — откуда-то тянуло сладчайшим духом цветущей липы. От этого особенно билось сердце. Андрюшка, облокотясь, глядел на звезды. Что это были за огоньки, рассыпанные густо по темно-лиловой тверди, очень ли они далеко и зачем они там горят — он не знал и не думал об этом. Но оттуда лился в душу ему покой. И до чего же он, Андрей, был маленьким в этой телеге! Но — между прочим — маленьким, но не таким, как его когда-то учил старец Нектарий,— не смиренным червем, жалкой плотью чувствовал он себя... Казалось бы — животному не вынести того, что за короткую жизнь вытерпел Андрюшка,— уничижали, били, мучили, казнили его голодной и студеной смертью, а он вот, как царь царей, обратя глаза к вселенским огням, слушает в себе тайный голос: «Иди, Андрей, не падай духом, не сворачивай, скоро, скоро возвеселится, взыграет твоя чудная сила, будет ей все возможно: из безобразного сотворишь мир прекрасный в твоем преображении...»

Ох, ох! За такой бы голос бесовский ему бы — в его бытность у старца — сидеть на цепи сорок дней на одном ковшике воды, тайно мазать лампадным

маслицем кровавые рубцы. Подумав про это, Андрей беззлобно усмехнулся. В памяти скользнуло — вспомнилось, как его один раз — царя-то царей — на Варварке в чадном кабаке били с особенной яростью какие-то посадские люди, выволокли за ноги на крыльцо и бросили в навозный снег. За что били? — не вспомнить. Было это в ту страшную зиму, когда на китайгородских, на кремлевских стенах качались повешенные стрельцы. Андрей тогда, голодный, в изодранном армячишке на голое тело, босой, в отчаянии, в тоске ходил по кабакам, выпрашивая у гуляющих стаканчик зеленого вина и тайно надеясь, что его в конце концов убьют,— этого он хотел тогда мучительно, до слез жалел себя... Там же в кабаке встретил пьяненького пономаря от Варвары-великомученицы, с прищуренными глазками, раздвоенным носом, торчащей косицей. Он и уговорил тогда Андрея искать райской тишины, идти на львиное терзание плоти к старцу Нектарию... «Чудаки! — прошептал Андрей.— Плоть терзать! А плоть — ах — бывает хороша...» И еще скользнуло в памяти: тихий вечер на селе на Палехе, стоит золотая пыль, мычат коровы, заворачивая к своим заборам. Мать — тощая, с мужичьими плечами — идет к воротам, а их давно бы надо чинить, и двор — худой, заброшенный. Андрей и братья,— все погодки,— сидят на перевернутой телеге без колес. Ждут, терпят,— с эдакой мамкой потерпишь!.. Она приотворяет покосившиеся ворота. Шаркая широкими боками о половинки ворот, мыча коротко, добро, входит Буренка, кормилица. У матери лицо темное, злое, скорбное, у Буренки морда теплая, лоб кудрявый, нос влажный, глаза большие, лиловые. Буренка-то уж не обидит. Дыхнула в сторону мальчишек и пошла к колодцу пить. И тут же, у колодца, мать, присев на скамеечку, стала ее доить. Ширкширк, ширк-ширк — льется Буренкино молоко в подойник. Мальчишки сидят на телеге, терпят. Мать приносит крынки и широкой струей разливает в них из подойника. «Ну, идите»,— нелюбезно говорит она. Первым пьет парное молоко Андрюшка, покуда можно только терпеть животом, братья смотрят, как он пьет,

младший даже вздохнул коротко, потому что ему пить последнему...

— Дорожный человек, ей, вылезай из телеги! — Андрей очнулся. Перед ним стоял с сердитым лицом паренек, камер-динер.— Гаврила Иванович зовет в баню — париться... Да ты тут разуйся, брось под телегу и кафтан, и шапку... У нас не как в боярских домах,— к нам в рубище не пускают...

Ублаготворенные после бани, с полотенцами на шее, Гаврила и Андрей сели ужинать. Агаповна отослала мажордома в каморку, чтобы не стеснял. Пухлые белые руки ее так и летали по столу, накладывая на тарелки что повкуснее, наливая в венецианские рюмки, вынутые для такого дорогого случая, заветные наливки и настойки. Когда разгорелись свечи, Гаврила заметил в углу на стуле стоявшую раму, занавешенную холстом. Агаповна сокрушенно подперла щеку:

— Уж не знаю, как при чужом-то человеке и показать тебе это... Из Голландии Санюшка, сестрица твоя, прислала как раз к Иванову дню... Иван Артемич, голубчик, то на стену это повесит, то закручинится, снимет, прикроет полотном... При посылке она отписала: «Папенька, не смущайтесь, ради бога, вешайте мою парсуну смело в столовой палате, в Европе и не то вешают, не будьте варваром...»

Гаврила вылез из-за стола, взял свечу и сдернул холст с того, что стояло в углу на стуле. Голиков привстал,— у него даже дыхание перехватило... Это был портрет боярыни Волковой, несказанной красоты и несказанного соблазна...

— Ну-ну,— только и сказал Гаврила, озаряя его свечой. Живописец изобразил Александру Ивановну посреди утреннего моря, на волне, на спине дельфина, лежала она в чем мать родила, только прикрывалась ручкой с жемчужными ноготками, в другой руке держала чашу, полную винограда, на краю ее два голубя клевали этот виноград. Над ее головой — справа и слева — в воздухе два перепрокинутых ногами вверх толстых младенца, надув щеки, трубили в раковины. Юное лицо Александры Ивановны, с водянистыми

глазами, усмехалось приподнятыми уголками рта весьма лукаво...

— Ай да Санька,— сказал Гаврила, тоже не мало удивленный.— Это ведь к ней, Андрюшка, тебя пошлем в Голландию... Ну, смотри, как бы тебя там бес не попутал... Венус, чистая Венус!.. Вот и знатно, что из-за нее кавалеры на шпагах дерутся и есть убитые...

3

Оберегатель Москвы, князь-кесарь, жил у себя на просторном прадедовском дворе, что на Мясницкой, близ Лубянской площади. Здесь были у него: и церковь с причтом, и суконноваляльные, полотняные, кожевенные, кузнечные заведения, конюшни, коровники, овчарни, птичники и всякие набитые добром хранилища и погреба,— все— построенное из необхватных бревен, крепостью на сотни лет. И дом был такой же — без глупых затей (какими стали чваниться в Москве со времен царя Алексея Михайловича) — неказист, но рублен крепко, с гонтовой крышей, поросшей от старости мхом, с маленькими окошечками — высоко от земли. Порядки и обычаи в доме были старинные же. Но если кто-нибудь, соблазнясь этим от простого ума, являлся — по старинке — в шубе до пят, с длинными рукавами, да еще с бородой,— будь он хоть Рюрикова рода, такой человек скоро уходил со двора под хохот ромодановской дворни: шуба у него отрезана по колени, на щеках остриженные клочья, а сама борода торчала из кармана, чтобы ее в гроб положить, если перед богом стыдно... Когда у князя-кесаря бывал большой стол — многие из званых приуготовлялись к этому с великим воздыханием,— такое у него на пирах было принуждение, и неприличное озорство, и всякие тяжелые шутки. Один ученый медведь как досаждал: подходил к строптивому гостю, держа в лапах поднос с немалым стаканом перцовки, рыкал, требовал откушать, а если гость выбивался — не хотел пить, медведь бросал поднос и начинал гостя драть не на шутку. А князь-кесарь только

тряс животом стол, и княжий шут, умный, злой, кривой, с одним клыком в беззубом рту, кричал: «Медведь знает, какую скотину драть...»

Встав рано поутру, князь-кесарь, в крашенинной темной рубахе, подпоясанной под грудями пояском с вытканной Исусовой молитвой, в сафьяновых пестрых сапожках, стоял краткую заутреню; когда солнечный луч пронизывал клубящийся дым ладана, мертвели огоньки свечей и лампад и робкий попик возглашал с дребезжанием «аминь», князь-кесарь рухал на колени на коврик, тяжко кряхтя, достигал лбом свежевымытого пола, поднятый под руки, целовал холодный крест и шествовал в столовую избу. Там, сев удобнее на скамью, приоправив черные усы, принимал чарку перцовки,— такой здоровой, что иной нерусский человек, отпив ее, долго бы оставался с открытым ртом,— закусывал кусочком черного посоленного хлеба и кушал: ботвинью, всякое заливное, моченое, квашеное, лапшу разную, жареное,—ел по-мужицки — не спеша. Домочадцы и сама княгиня Анастасия Федоровна — родная сестра царицы Прасковьи — молчали за столом, тихо клали ложки, щепотно брали пальцами куски с блюд. В клетках, на окнах, начинали подавать голоса перепела и ученые скворцы, один даже выговаривал явственно: «Дядя, водочки...»

Князь-кесарь, испив ковш квасу, помедлив несколько, поднимался, шел, скрипя половыми досками, в сени, ему подавали просторный суконный кафтан, посох, шапку. Когда его тень, видная сквозь мутноватые стекла крытого крыльца, медленно спускалась по лестнице, все люди, случившиеся поблизости на дворе, кидались кто куда. Он один шел через двор по дорожке, вымощенной кирпичом. Шея у него была толстая, и головой поворачивать было ему трудно, все-таки углом выпученного глаза он все замечал: кто куда побежал, куда спрятался, где какие мелкие непорядки. Все запоминал. Но дел у него было чрезмерно много больших, государских, и до мелочей часто и руки не добирались. Через железную калитку в заборе он переходил на соседний двор Преображенского прика-

за. Там в полутемных длинных переходах перед ним молча рвали с себя шапки дьяки и приказные, вытягивались — на караул — солдаты.

Дьяк Преображенского приказа Прохор Чичерин встречал его в дверях канцелярии и, когда князь-кесарь садился у стола под заплесневелым сводом, под окошком, сразу начинал говорить о делах по порядку: за вчерашний день привезено из Тулы изготовленных пушек медных четыре, да столько же чугунных доброго литья. Посылать их тотчас и куда — под Нарву или под Юрьев? Да за вчерашний день окончательно одета первая рота новонабранного полка, только солдаты еще босые, башмаки без пряжек будут на той неделе, в Бурмистерской палате купцы сапожного ряда Сопляков и Смуров готовы крест целовать, что не обманут. Как быть? Пороха, фитилей, пуль в мешочках, кремней рассыпанных в кулях послано под Нарву по указу. Гранат ручных не удалось послать, затем, что кладовщик Ерошка Максимов другой день пьян, ключи от кладовой никому не отдает, хотели взять силой,— он во исступлении ума замахивался на людей сечкой — чем капусту рубят... Как быть? Много таких дел было сказано дьяком Чичериным, под конец он, ближе придвинувшись под свод к окошку, взял столбцы тайных дел (записи подьячих с допросов без рукоприкладства и с допросов под пытками) и начал читать их. Князь-кесарь, тяжело положив на стол руку, непонятно — внимал ли, дремал ли, хотя Чичерин хорошо знал, что самую суть он непременно услышит...

— «В брошенной баньке, где скрывался распоп Гришка, на дворе у царевен Екатерины Алексеевны и Марьи Алексеевны, под полом найдена тетрадь в четверть листа, толщиной в полпальца,— читал по столбцам дьяк Чичерин таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на темя.— На тетради на первом листе написано: «Досмотр ко всякой мудрости». Да на первом же листе ниже писано: «Во имя отца и сына и святого духа... Есть трава именем зелезека, растет на падях и палях, собой мала, по сторонам девять листочков, наверху три цвета — черв-

лен, багров, синь, та трава вельми сильна,— рвать ее, когда молодой месяц, столочь, сварить и пить трижды,— узришь при себе водных и воздушных демонов... Скажи им заклятое слово «нсцдтчндси» — и желаемое исполнится...»

Князь-кесарь глубоко вздохнул, приподнял полуопустившиеся веки:

— Слово-то это повтори-ка явственно.

Чичерин, почесав лоб, сморщась, со злобой едва выговорил: нсцдтчндси... Взглянул на князя-кесаря, тот кивнул. Дьяк продолжал читать:

— «О князья, вельможи, о слезы и воздыхания! Что желаемое есть? Желаем укротить нынешнее время, ярость его, да настали бы опять будничные времена...»

— Вот, вот, вот! — Князь-кесарь пошевелился на стуле, в выпученных глазах его появилась и пропала насмешка, догадка.— Понятна трава зелезека. А что — распоп Гришка признал тетрадь?

— Гришка сегодня в третьем часу после пытки признал тетрадь. Купил-де ее на Кисловке у незнаемого человека за четыре копейки, а зачем прятал в баньке под половицей? — сказал, что по скудоумию.

— А ты спрашивал у него — как понимать: «Опять бы настали будничные времена»?

Спрашивал. Дадено ему пять кнутов,— ответил: тетрадь-де купил для ради бумаги — просфоры на ней печь, а что в ней написано — не читал, не знает.

— Ах, вор, ах, вор! — Князь-кесарь медленно муслил палец, переворачивал потрепанные листы тетради. Кое-что прочитывал вполголоса: «Трава «вахария», цвет рудожелт, если человека смертно окормят — дай пить, скоро пронесет верхом и низом...» Полезная травка,— сказал князь-кесарь. И — далее — вел ногтем по строкам: — «В Кириллиной книге сказано: придет льстец и соблазнит. Знамения пришествия его: трава никоциана, сиречь табак, повелят жечь ее и дым глотать, и тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать. Знамение другое: брадобритие...» Ну что ж,— князь-кесарь закрыл тетрадь,— пойдем, дьяк,

поспрошаем его — кто же это желает укротить нынешнее время? Распоп человек прыткий и тертый, про эту тетрадь я давно знаю, он с ней пол-Москвы обегал.

Спускаясь по узкой, изъеденной сыростью кирпичной лестнице в подполье, в застенок, Чичерин, как всегда, проговорил сокрушенно:

— Из-под земли эта моча проступает, кирпич сгнил, то и гляди убьешься, надо бы новую лесенку скласть...

— Да, надо бы,— отвечал князь-кесарь.

Впереди со свечой шел подьячий-писец, так же, как и дьяк, одетый в иноземное платье, но сильно затертое, на шее висела медная чернильница, из полуоторванного кармана торчал сверток бумаги. Он поставил свечу на дубовый стол в низком подполье, где, как тени, кинулось несколько крыс по норам в углах.

— И крыс же нынче у нас развелось,— сказал дьяк,— все хочу попросить в аптеке мышьяку.

— Да, надо бы...

Два зверовидных мужика, нагибаясь под сводами, приволокли распопа Гришку, с закаченными глазами, с бороденкой, сбитой, как шерсть,— лицо у него было зеленоватое, с отвислой губой. Подлинно ли, что он уж и не мог владеть ногами? Поставленный под крюк с висящей веревкой, он мягко повалился, уткнулся, как неживой. Дьяк сказал тихо: «Допрашивали без вредительства членов, и ушел он на своих ногах...»

Князь-кесарь некоторое время глядел Гришке на плешь меж всклокоченных волос.

— Узнано,— заговорил он сонным голосом,— в позапрошлом году ты в Звенигороде у Ильи-пророка сорвал серебряные бармы с икон, да у Благовещенья взломал церковную кружку с деньгами, да там же из алтаря украл поповский тулуп и валенки. Вещи продал, деньги пропил, взят под стражу и от караула бежал в Москву, где по сей день скрывался по разным боярским дворам, а позже — у царевен на дворе в баньке... Признаешь? Отвечать будешь? Нет... Ну, ладно. Эти дела для тебя еще полбеды...

Князь-кесарь помолчал. Позади зверовидных мужиков неслышно появился кат — палач — благообразный, испитой, бледно-восковой, с большим ртом, краснеющим меж плоско прижатых усов и кудрявой бородки.

— Узнано,— опять заговорил князь-кесарь,— хаживал ты в Немецкую слободу к бабе-черноряске, Ульяне, передавал ей письма и деньги от некоторых особ... Которая баба Ульяна относила письма в Новодевичье к известной персоне... От ней брала письма же и посылки, и ты их относил к вышеупомянутым особам... Было это? Признаешь?

Дьяк перегнулся через стол, шепнул князю-кесарю, указывая глазами на Гришку:

— Насторожился, ей, ей, по ушам вижу...

— Не признаешь? Так... Упрямишься... А — напрасно... И нам с тобой лишние хлопоты, и тебе — лишние муки телесные... Ну, ладно... Теперь вот что мне расскажи... В чьи именно дома ты ходил? Кому именно ты читал из сей тетради про желание укротить нынешнее время, ярость его, и о желании вернуть буднишние времена?..

Князь-кесарь, будто просыпаясь, приподнял брови, лицо его вздулось. Палач мягко подошел к лежащему ниц Гришке, потрогал его, покачал головой...

— Князь Федор Юрьевич, нет, сегодня он говорить не станет. Зря только будем его беспокоить. С дыбы да пяти кнутов он окостенел... Надо отложить до завтра.

Князь-кесарь застучал ногтями по столу. Но Силантий, палач, был опытен,— если человек окостенел, его — хоть перешиби пополам — правды от него не добьешься. А дело было весьма важное: со взятием распопа Гришки князь-кесарь нападал на след — если не прямого заговора — во всяком случае злобного ворчания и упрямства среди московских особ, все еще сожалеющих о боярских вольностях при царевне Софье, что по сей день томится в Новодевичьем под черным клобуком. Но — делать нечего — князь-кесарь поднялся и пошел наверх по гнилой лестнице. Дьяк Чичерин остался хлопотать около Гришки.

4

Утро было сырое, теплое, мглистое. В переулках пахло мокрыми заборами и дымками из печных труб. Лошадь шлепала по лужам. Гаврила слез с верха у ворот Преображенского приказа и долго не мог добиться караульного офицера.

«Куда же он, сатана, провалился?» — крикнул он усатому солдату, стоявшему у ворот. «А кто его знает, все время тут был, куда-то ушел...» — «Так — сбегай, найди его...» — «Никак не могу отлучиться...» — «Ну пусти меня за ворота...» — «Никого не велено пускать...» — «Так я сам пройду»,— Гаврила толкнул его, чтобы шагнуть за калитку, солдат сказал: «А вот — отвори калитку, я тебя, по артикулу, штыком буду пороть...»

Тогда на шум вышел наконец караульный офицер, скучавший до этого в будке по ту сторону ворот,— конопатый, с маленьким лицом и никуда не смотревшими глазами. Гаврила кинулся к нему, объясняя, что привез из Питербурга почту и должен передать ее в собственные руки князю Федору Юрьевичу.

— Где я могу увидеть князя-кесаря? Он в приказе сейчас?

— Ничего не известно,— ответил караульный офицер, глядя на полосатого большого кота, брезгливо переходившего мокрую улицу.— Кот — с княжеского двора,— сказал он солдату,— а сколько крику было, что пропал, а он — вон он, паскуда...

Ворота вдруг завизжали на петлях, распахнулись и размашисто вылетела четверня — цугом — вороных в бирюзовой сбруе. Гаврила едва отскочил, сквозь окошко огромной облезлой, золоченой колымаги на низких колесах взглянул на него Ромодановский рачьими глазами. Гаврила поспешно влез на лошадь, чтобы догнать карету, караульный офицер схватился за узду,— черт его знает — то ли от природы был та-

кой вредный человек, то ли действительно по уставу нельзя было догонять выезд князя-кесаря...

— Пусти! — бешено крикнул Гаврила, перехватил узду, ударил шпорами, вздернул коня, — офицер повис на узде и упал... «Караул! Лови вора!» — уже издалека услышал Гаврила, выскакивая на Лубянскую площадь.

Кареты он не догнал, плюнул с досады и через Неглинный мост повернул в Кремль, в Сибирский приказ.

Низенький, длинный, со ржавой крышей дом приказа, построенный еще при Борисе Годунове, стоял на обрыве, выше крепостной стены, задом к Москве-реке. В сенях и переходах толпились люди, сидели и лежали у стен на полу, из скрипучих дверей выбегали подьячие, в долгополых кафтанах с заплатанными локтями (от постоянного ерзанья ими по столу), с гусиными перьями за ухом, — размахивая бумагами — сердито кричали на угрюмых сибиряков, приехавших за тысячи верст добиться правды на воеводу ли озорника-взяточника, какого не бывало от сотворения мира, или по разным льготам насчет рудных, золотых, пушных, рыбных промыслов. Бывалый человек, претерпев такую брань, прищуривался ласково, говорил подьячему: «Кормилец, милостивец, ай бы нам сойтись, потолковать душа в душу в обжорном ряду, что ли, или где укажешь...» Неопытный так и уходил, повесив голову, чтобы завтра и еще много дней, проедаясь на подворье, приходить сюда, ждать, надоедать...

Князь-кесарь был в разряде оружейных дел. Гаврила не стал спрашивать — можно ли к нему, протолкался к двери, кто-то его потянул за кафтан: «Куда, куда, нельзя!..» — Он отмахнулся локтем, вошел. Князь-кесарь сидел один в душной, низенькой палате с полуприкрытым ставнею окошком, вытирал пестрым платком шею. Стопа грамот, прошений, жалоб лежала на столе около него. Увидев Гаврилу, он укоризненно покачал головой:

— А ты — смелый, Иван Артемича сынок! Ишь

ты! Черная кость нынче сама двери отворяет!.. Чего тебе?

Гаврила передал почту. Сказал — что ему велено было передать на словах насчет скорейшей доставки в Питербург всякого скобяного товара,— особенно гвоздей... Князь-кесарь, сломав восковую печать, толстыми пальцами развернул письмо государя и, далеко отнеся его от глаз, стал шевелить губами... Петр писал:

«Sir! Извещаю ваше величество, что у нас под Нарвою учинилось удивительное дело,— как умных дураки обманули... У шведов перед очами гора гордости стояла, через которую не увидели нашего подлога... Об сем машкерадном бое, где было нами побито и взято в плен треть нарвского гарнизона, услышите вы от самовидца оного, от гвардии поручика Ягужинского, он скоро у вас будет... Что до посылки в Питербург лекарственных трав для аптеки — до сих пор сюда ни золотника не послано... О чем я многожды писал Андрею Виниусу, который каждый раз отподчивал меня московским тотчасом... О чем изволите его допросить: почему делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его голов дороже... Птръ...»

Прочтя, князь-кесарь поднес к губам то место письма, где была подпись. Тяжко вздохнул.

— Душно,— сказал он.— Жара, мгла... Дел много. А за день и половины не переделаешь... Помощники, ах, помощнички мои!.. Трудиться мало кто хочет, все норовят — скользь. Да ухватить побольше... А ты чего нарядился, парик надел?.. К царевне, что ли, едешь? Ее нет во дворце, в Измайловском она... Ты — увидишь ее — не забудь: на Петровке, в кружале, в кабаке, на окне стоит дорогой скворец, так хорошо говорит по-русски — все люди, которые мимо идут, останавливаются и слушают. Я сам давеча из кареты слушал. Его можно купить, ежели царевна пожелает... Ступай... По пути скажи дьяку Нестерову, чтоб послал за Андреем Виниусом,— привести его ко мне тотчас... На, целуй руку...

5

После полудня стало накрапывать. Анисья Толстая, страшась приуныния, придумала играть в мяч в пустой тронной палате, где уже много лет никто не бывал.

Анне и Марфе — девам Меньшиковым — лишь бы играть во что-нибудь,— развевая лентами, протянув голые по локоть пухлые руки, они с визгом носились за мячиком по скрипучим половицам. Наталье Алексеевне сегодня было почему-то слезливо, игра не веселила... Когда она была совсем маленькой, в этой палате во всех окошках, высоко от пола, всегда горело солнце сквозь красные, желтые, синие стеклышки и блестела золоченая кожа на стенах. Кожу ободрали, и стены стояли бревенчатые, с висевшей паклей. По крыше стучал дождь. Она сказала Катерине:

— Не люблю измайловского дворца, большой, пустой, чисто покойник... Пойдем куда-нибудь, сядем тихонечко.

Она положила руку на плечо Катерине и повела ее вниз в маленькую, тоже брошенную и забытую, спальню покойной матери, Натальи Кирилловны. Сколько прошло времени, а здесь — хотя слабо — пахло не то ладаном, не то мускусом. Наталья Кирилловна до последних дней любила восточные ароматы.

Наталья взглянула на голую кровать с витыми столбиками, без полога, на четырехугольное тусклое зеркальце на стене, отвернулась и толкнула ветхую раму. В комнату вошел запах дождя, шелестевшего по листьям сирени под окошком, по лопухам, по крапиве...

— Сядем, Катя.— И они сели у раскрытого окошка.— Да! — вздохнула Наталья.— Вот уж и лето кончается, не успеешь оглянуться — осень... Тебе что! В девятнадцать лет на дни не оглядываются, пускай летят, как птицы... А мне, знаешь сколько? Я ведь на пять лет только моложе брата Петруши... Сочти-ка... Матушка вышла замуж семнадцати лет, отцу было под сорок... Он был толстый, от бороды всегда пахло мятой, и все хворал... Я его мало помню... Умер от водяной болез-

ни... Анисья Толстая один раз выпила наливочки и давай мне рассказывать заветное... У матушки в молодости нрав был веселый, беспечный, пылкий... Понимаешь? (Наталья затуманенно взглянула в глаза Катерине.) Про нее чего только не плели Софьины-то приспешники да блюдолизы... А разве можно ее винить? По-старозаветному — все грех, что ты женщина — и то грех,— сосуд дьявола, адовы врата... А по-нашему, по-новому: амур прелестный прилетел и пронзил стрелой... Что же — после этого в пруд осенней ночью кидаться с камнем на шее? Не женщина — амур виноват!.. Анисья рассказывает,— жил в те времена в Москве боярский сын Мусин-Пушкин, ангельской, а— лучше сказать — бесовской красоты человек, смелый, горячий, наездник, гуляка... На масленой неделе на льду, на Москве-реке, вызывал любого биться на кулачках... Всех побивал... Матушка туда ездила тайно, в простом возке и глядела на его отвагу... Потом взяла его к себе ко двору кравчим... (Наталья Алексеевна повернула красивую голову к разоренной кровати, меж бровей у нее легла морщинка.) Вдруг его послали воеводой в Пустозерск... И больше она его никогда не видела... А у меня, Катерина, и этого нет.

Ленивый дождь продолжал моросить. Было душно. За туманами неясно поднимались огромные деревья, не похожие на измайловские сосны. Птицы все попрятались под крышу, не чирикали, не пели. Только одна растрепанная ворона летела низко над седым лугом. Катерина беспечальным взором следила за ней,— ей очень хотелось сказать царевне, что ворона-воровка летит на птичник и опять, как вчера, наверно, унесет желтенького цыпленка. Наталья Алексеевна положила локти на подоконник, голова ее склонилась, тяжелая от окрученных кос. Тогда Катерина, глядя на ее шею и на волоски на затылке, подумала: «Неужели никто этого не целовал? Вот горько-то!» — и едва слышно вздохнула.

Наталья все же услышала этот вздох, строптиво повела плечом, сказала, подпирая рукой подбородок:

— А теперь ты расскажи про себя... Только прав-

ду говори... Сколько у тебя было амантов, Катерина?

Катерина отвернула голову, и — шепотом:

— Три аманта...

— Про Александра Даниловича нам известно. А до него? Шереметьев был?

— Нет, нет! — живо ответила Катерина. — Господину фельдмаршалу я успела только сварить суп, сладкий, эстонский, с молоком, и выстирала белье... Ах, он мне не понравился! Плакать я боялась, но я твердо сказала себе, истоплю печку и угорю, а жить с ним не буду... Александр Данилович отнял меня в тот же день... Его я очень полюбила... Он очень веселый и много со мной шутил, мы очень много смеялись... Его нисколько не боялась...

— А брата моего боишься?

Катерина поджала губы, сдвинула бархатные брови, чтобы ответить честно:

— Да... Но мне кажется — я скоро перестану бояться...

— А второй кто был амант?

— О Наташа, второй был не амант, он был русский солдат, добрый человек, я любила его только одну ночь... Как можно было в чем-нибудь ему отказать, он отбил меня от страшных людей в лисьих шапках с кривыми саблями... Они тащили меня из горящего дома, рвали платье, били плеткой, чтобы я не царапалась, хотели посадить на седло... Он кинулся, толкнул одного, толкнул другого, да так сильно! «Ах, вы, говорит, кумысники! разве можно девчонку обижать!» Взял меня в охапку и понес в обоз... Ничем другим я не могла его поблагодарить. Было уже темно, мы лежали на соломе...

Наталья, трепеща ноздрями, спросила жестко:

— Под телегой?

— Да... Он мне сказал: «Как сама хочешь, девка... Ведь это тогда сладко, когда девка сама обнимет...» Поэтому я его считаю амантом...

— Третий кто был?

Катерина ответила степенно:

— Третий был муж, Иоганн Рабе, кирасир его ве-

личества короля Карла из мариенбургского гарнизона... Мне было шестнадцать лет, пастор Глюк сказал: «Я тебя воспитал, Элен Катерин, я хочу выполнить обещание, которое дал твоей покойной матери, и нашел тебе хорошего мужа...»

— Мать, отца хорошо помнишь? — спросила Наталья.

— Плохо... Отца звали Иван Скаврощук. Он еще молодой убежал из Литвы, из Минска, от пана Сапеги в Эстляндию и около Мариенбурга арендовал маленькую мызу. Там мы все родились,— четыре брата, две сестры и — я младшая... Пришла чума, родители и старший брат умерли. Меня взял пастор Глюк,— мне он второй отец. У него я выросла... Одна сестра живет в Ревеле, другая — в Риге, а где братья сейчас — не знаю. Всех разметала война...

— Ты любила мужа?

— Я не успела... Наша свадьба была на Иванов день... О, как мы веселились! Мы поехали на озеро, зажгли Иванов огонь и в венках танцевали, пастор Глюк играл на скрипке. Мы пили пиво и поджаривали маленькие колбаски с кардамоном... Через неделю фельдмаршал Шереметьев осадил Мариенбург... Когда русские взорвали стену, я сказала Иоганну: «Беги!..» Он бросился в озеро и поплыл, больше я его не видела...

— Забыть тебе надо про него...

— Мне многое нужно забыть, но я легко забываю,— сказала Катерина и робко улыбнулась, вишневые глаза ее были полны слез.

— Катерина, ты ничего не скрыла от меня?

— Разве посмею утаить от тебя что-нибудь? — горячо проговорила Катерина, и слезы потекли по ее персиковым щекам.— Вспомнила бы, ночь бы не спала, чуть свет прибежала бы,— рассказала.

— А все же ты — счастливая.— Наталья подперла щеку и опять стала глядеть в окошко, как птица, из клетки. По нежному горлу покатился клубочек.— Нам царевнам-девкам, сколько ни веселись — одна дорожка в монастырь... Нас замуж не выдают, в жены не берут. Либо уж беситься без стыда, как Машка с

Катькой... Недаром сестра Софья за власть боролась лютой тигрицей...

Катерина только было нагнулась,— поцеловать ее руку с голубыми жилками, сложенную от огорчения в кулачок,— на лугу показался высокий всадник на поджаром коне с мокрой гривой, у него плащ был мокрый, и со шляпы висели мокрые перья. Увидев Наталью Алексеевну, он соскочил с коня, бросив его — шагнул к окошку, снял шляпу, преклонил колено в траву и шляпу приложил к груди...

Наталья Алексеевна стремительно поднялась, толстая коса ее упала на шею, лицо вспыхнуло, все задрожало, засияли глаза, раскрылись губы...

— Гаврила! — сказала тихо.— Это ты? Здравствуй, батюшка мой... Так иди же в дом, чего на дожде то стоишь...

Вслед за Гаврилой подъехала одноколка, рядом с кучером сидел востроносый испуганный человек, накрывшись от дождя мешком. Он тотчас снял шляпу, но не вылезал. Гаврила, не отрывая темных глаз от Натальи Алексеевны, приблизился к самой сирени.

— Здравствуй на множество лет,— сказал, будто задыхаясь.— Прибыл с поручением от государя... Привез тебе искусного живописца с наказом написать парсуну с некоторой любезной особы... Которого опосля надобно отослать за границу — учиться... Вон сидит в тележке... Дозволь с ним зайти...

6

Одного челядинца — верхом — Анисья Толстая послала в Кремль на сытный двор за всякими припасами к ужину и сладостями,— «да — свечей, свечей побольше!..» Другой поскакал в Немецкую слободу за музыкантами. Из трубы поварни повалил густой дым,— стриженые поварята застучали ножами. Подоткнутые девчонки бегали за цыплятами в мокром бурьяне. Дворцовые рыбаки, разленившиеся от безделья, пошли с вершами и сетями на пруды — ловить не менее ленивых карпов, полеживавших на боку в тине.

С заросших прудов после дождя закурился туман, заволок большой сгнивший мост, по которому никто уже больше не ходил, пополз между деревьями на луг перед дворцом, и старый дворец понемногу стал погружаться в него по самые кровли.

Старые люди, дворовые еще царя Алексея Михайловича, сидя у дверей поварни, у людской избы, глядели, как в затуманенном дворце в окошечках — то там, то там — появится и пропадет расплывающееся сияние свечи, слышится топот ног и хохот... Не дают старому дому покойно ветшать и догнивать, подставляя бревенчатые стены непогоде, худые крыши проливным дождям... И сюда ворвалась шалая молодость с новыми порядками... Бегают по лестницам от чердаков до подклетей... Ничего там не найдешь,— одни пауки в углах да мыши носы из нор повысунули...

В Наталью Алексеевну точно вселился бес,— с утра печалилась,— с приездом Гаврилы — раскраснелась, развеселилась, начала придумывать всякие забавы, чтобы никому ни минуты не посидеть покойно. Анисья Толстая не знала, как и поворачиваться. Царевна сказала ей:

«Сегодня быть Валтасарову пиру, ужинать будем ряженые».

«Свет мой, да ведь до святок еще далеко... Да и не знаю я, не видела, как царь Валтасар пировал...»

«Обыщем дворец, что найдем почуднее — все несите в столовую палату... Сегодня не серди меня, не упрямься...»

Заскрипели старые лестницы, застонали ржавые петли давно не отворявшихся дверей... Началась беготня по всему дворцу,— впереди — Наталья Алексеевна, подбирая подол, за ней со свечой — Гаврила,— от испуга у него остановились глаза. Испуг начался еще давеча, когда он с верха увидел в окошке Наталью Алексеевну, подперевшую, пригорюнясь, щечку. Было это, как из сказки, что в детстве рассказывала на печи Санька — про царевну Несравненную Красоту... Иван-то царевич скакнул тогда на коне выше дерева стоячего, ниже облака ходячего, под самое кося-

щатое окошко и сорвал у Несравненной Красоты перстень с белой руки...

Верчение головы было и у Андрея Голикова (ему велели также идти со всеми). Со вчерашнего вечера, когда он увидел портрет Гаврилиной сестры, на дельфине, все казалось ему и не явь и не сон... До задыхания смущали его светло-русые, круглощекие девы Меньшиковы, столь прекрасные и пышные, что никакими складками платья невозможно было прикрыть соблазна их телосложения. И пахло от них яблоками, и не глядеть на них было невозможно.

В кладовых нашли немало всякой мягкой рухляди, платьев и уборов, какие и не помнили теперь, широченных шуб византийской парчи, епанчей, терликов, кафтанов, жемчужных венцов, по пуду весом,— все это охапками дворовые девки тащили в столовую палату. Высоко под самым потолком в одной подклети увидели небольшую дверцу. Наталья взяла свечу, приподнялась на цыпочки, закинула голову:

— А что, если он там?

Анна и Марфа — враз — с ужасом:

— Кто?

— Домовой,— проговорила Наталья. Девы схватились за щеки, но не побледнели, только раскрыли глаза — шире чего нельзя. Всем стало страшно. Старик истопник принес лестницу, приставил к стене. Тотчас Гаврила кинулся на лестницу,— он бы и не туда сейчас кинулся... Открыл дверцу и скрылся там в темноте. Ждали, кажется, очень долго,— он не отвечал оттуда и не шевелился. Наталья страшным шепотом приказала: «Гаврила! Слезай!» Тогда показались подошвы его ботфортов, растопыренные полы кафтана, он слез, весь был в паутине.

— Чего ты там видел?

— Да так,— сереется там чего-то, будто мохнатое, будто мягким меня чем-то по лицу погладило...

Все ахнули... На цыпочках заторопились из-под клети и — уже бегом — по лестнице, и только наверху Марфа и Анна начали визжать. Наталья Алексеевна придумала играть в домового. Искали потайных дверец, осторожно открывали чуланы под лестницами,

заглядывали во все подпечья — от страха не дышали... И добились,— в одном темном месте, затянутом паутиной, увидели два зеленых глаза, горевших адским огнем... Без памяти кинулись бежать... Наталья споткнулась и попала на руки Гавриле,— тот ее подхватил крепко, и она даже услышала, как у него стучит сердце, редко, глухо, по-мужски... Она двинула плечом, сказала тихо: «Пусти».

Тогда пошли устраивать Валтасаров пир. Старик истопник,— с желтой бородой, как у домового, с медным крестом поверх рубахи, в новых валенках,— опять принес лестницу. На бревенчатые, давно ободранные стены в столовой палате повесили траченные молью ковры. Стол унесли, ужин накрыли прямо на полу, на ковре,— всем велено ужинать, сидя по-вавилонски, царем Валтасаром быть Гавриле. На него надели парчовый кафтан, хоть ветхий, да красивый, алый с золотыми грифонами, на плечи — шубу, какие носили сто лет назад, на голову — жемчужный венец, кажется,— еще царицы-бабушки. Наталью Алексеевну стали одевать Семирамидой в золотые ризы, поверх тяжелых кос навертели пестрых платков, послали дворовых девчонок — надергать у петухов из хвоста перьев покрасивее, и эти перья воткнули ей в тюрбан...

Думали — кем быть Марфе и Анне? Наталья велела им пойти за дверь, распустить косы, снять платья, юбки, остаться в сорочках,— благо сорочки тонкого полотна, длинные и свежие. Опять дворовые девчонки слетали на пруд, принесли водяных кувшинок, ими обмотали девам Меньшиковым шею, руки, волосы, длинными стеблями они подпоясались,— стали русалками с Тигра и Евфрата. Катерину одеть было легко,— богиней овощей и фруктов, имя ей — по-вавилонски — Астарта, по-гречески — Флора. Девчонки сбегали — надергали моркови, петрушки, нарвали зеленого луку, гороху, принесли незрелых тыкв, яблок. Катерина, разгоревшаяся, с влажным ртом, круглыми от счастья глазами и более не робевшая,— как всегда, смеялась звонко всякому пустяку,— стала истинной Флорой, обмотанная горохом, укропом, в венке из

овощей, держала в руке корзину с крыжовником и красной смородиной...

— А живописцу кем быть? — спохватилась Наталья.— У нас эфиопа нет, быть ему эфиопским царем.

Новое чудо началось для Андрюшки Голикова, женские руки, не то в яви, не то во сне, начали его тормошить, поворачивать, напутывать на него шелк и парчу, лицо ему измазали сажей, ущемили ноздрю медным кольцом, чтобы непременно сидел с кольцом в носу... Кажется — дай ему господь ангельские крылья — не был бы он столь блажен... Вошли, низко кланяясь, три музыканта из Немецкой слободы — скрипач, губной гармонист и флейтист. Их тоже кое-как одели.

— Теперь — ужинать! Сидеть на подушках, поджав ноги, пить мед и вино из раковин...

Как надо было играть в Валтасаров пир — точно никто не знал. Сели перед блюдами, перед свечами, переглядывались, улыбались, есть никому не хотелось... Тогда Наталья Алексеевна тряхнула петушиными перьями и, выпячивая губы, начала наизусть читать те самые вирши, которые Гаврила уже слышал от нее в зимнюю ночь, в жарко натопленном тереме, под золотым сводом:

На горе превеликой живут боги блаженны,
Стрелами Купидо паки они сраженны...
Сам Юпитер стонет,— увы мне, страдаю,
Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю,
Огонь чрево гложет, жажду, ничем не напьюся,
Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюся...
Увы, даже боги бывают злым Купидо побиты,
У кого же людям искать от сего защиты?
Не лучше ли веселиться! Печаль оставим,
Стрелы отравлёны сладким вином восславим...

Когда Наталья читала, лицо ее побледнело под огромным тюрбаном. Она отпила глоток вина и пошла плясать польку с Анисьей Толстой. Музыканты играли не громко, но так, что дрожала и пела каждая жилочка в теле.

— Иди с Катериной! — крикнула Наталья, сверкнула глазами на Гаврилу. Он вскочил, сбросил с плеч Валтасарову шубу,— плясать мог хоть круглые сутки.

Спина у Катерины была горячая, податливая под рукой, ноги легкие, от кружения с ее головы и плеч летели стручки гороха, вишневые ягоды. Гаврила наддавал, и музыканты наддавали. Анна и Марфа также завертелись, взявшись за руки. На ковре перед свечами остался сидеть один Голиков, пить и есть он не мог из-за кольца в носу, но и это обстоятельство не мешало его блаженству, в ушах, под свист флейты, все еще звучали царевнины вирши про олимпийских богов... И плыла, плыла перед глазами нагая богиня на дельфине с чашей, полной соблазна...

Гаврила был прост, сказано — танцевать польку с Катериной, он и плясал, не жалея каблуков. И хотя несколько раз показалось ему, будто у Натальи Алексеевны лицо улыбается по-иному, невесело, без прежнего сияния в глазах, он не понял, что давно ему пора посадить Катерину на место около тыкв и моркови... Еще раз мелькнуло царевнино лицо со сжатыми, как от боли, зубами... Вдруг она покачнулась, остановилась, схватилась за Анисью Толстую, с головы ее повалился тюрбан с петушиными перьями... Анисья испуганно вскрикнула:

— У государыни головка закружилась! — и замахала на музыкантов, чтоб перестали играть...

Наталья Алексеевна вырвалась от нее, волоча мантию, вышла из палаты. На этом и окончился Валтасаров пир. Анне и Марфе сразу стало стыдно в одних рубашках,— перешепнулись и убежали за дверь. Катерина испуганно села на место, начала обирать с себя овощи. Гаврила помрачнел, раздвинув ноги, стоял над ковром с блюдами, насупясь,— моргал на огоньки свечей. Анисья вылетела вслед за царевной и скоро вернулась, схватила ногтями Гаврилу за руку:

— Иди к ней,— шепнула,— бейся лбом в пол, дурень...

Наталья Алексеевна стояла тут же, только выйти из палаты,— в переходе, глядела в раскрытое окошко на туман, светившийся от невидимой луны. Гаврила приблизился. Было слышно, как с крыши на листья падают капли.

— Ты надолго приехал в Москву? — спросила она

не поворачиваясь. Он не собрался ответить, только задохнулся.— В Москве тебе делать нечего. Завтра уезжай, откуда приехал...

Выговорила, и плечи у нее поднялись, Гаврила ответил:

— Чем я тебя прогневал? Да господи, знала бы ты... Знала бы ты!

Тогда она повернулась и лицо с начерненными сажей бровями придвинула вплоть:

— Не надо мне тебя, слышишь, иди, иди!..

Повторяя: «Иди, иди»,— подняла руки оттолкнуть его, но то ли поняла, что эдакого верзилу не оттолкнешь, положила руки, звякнувшие Семирамидиными запястьями, ему на плечи и низко — все ниже стала клонить голову. Гаврила, также не понимая, что делает, принялся, чуть прикасаясь, целовать ее в теплый пробор. Она повторяла:

— Нет, нет, иди, иди...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками,— подарок из Измайловского,— повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява «Катерина» скользила, будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина «Ульрика», и на краю воды и неба — в дымке — поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер».

Корабли эти недавно были взяты у шведов,— виктория случилась нежданная и весьма славная: русским досталось двенадцать бригантин и фрегатов — вся разбойничья эскадра командора Лешерта, кото-

рый два года не пропускал в Чудское озеро ни малого суденышка, грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью, в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каролус». Когда же на рассвете продрал глаза — сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям... «Огонь с обоих бортов по русской пехоте!» — закричал командор. Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты — русские кругом облепили корабли и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж... Срам получился немалый,— пехота взяла в плен эскадру! Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту,— пламя вырвалось изо всех щелей и люков,— мачты, реи, бочки, люди и сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи...

Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо, за бортом пологая волна слепила зайчиками, Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попевало в снастях, хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы.

Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой, вез шведские знамена, сваленные под грот-мачтой,— третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что-де «божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину — городок Юрьев, поставленный семьсот лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны украин русской земли...»

Петру Алексеевичу хотя и в голову никогда не шло,— как, например, любезному брату королю Карлу,— равнять себя с Александром Македонским, и

войну считал он делом тяжелым и трудным, будничной страдой кровавой, нуждой государственной, но под Юрьевом на этот раз он поверил в свой воинский талант, остался весьма собой доволен и горд: за десять дней (прибыв туда из-под Нарвы) сделал то, что фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вобана, казалось никак невозможным.

И еще было удовольствие: поглядывая на далекий лесной берег — знать, что берег — недавно шведский — теперь наш и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек — много взял, хочется больше; уж, кажется, приятнее быть ничего не может: таким ясным утром плыть на красавице шняве, неся за высокой кормой назло Карлу, огромный Андреевский флаг. Так нет! Именно сегодня,— жарко до дрожи,— раздумалось ему об его зазнобе... По-другому не назовешь ее — ни мадамка, ни девка,— зазноба, свет-Катерина... Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул в ноздри влажный воздух... От воды и корабельного дерева пахло купальней, и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день... То ли платок с виноградными листочками она нашептала, надушила женским,— ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы... Знала, чего делала, ведьма́чка ливонская, кудрявая, веселая... В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливы... а ведь ни одной не равняться с Катериной, ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юбка... Ни одной не захотелось ему взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам.

Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из кают-компании кто-то — должно быть, спросонок — сорвался, хлопнул дверью,— Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу:

— Я здесь, милостивый государь...

Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его, неуместное здесь, на борту, тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы:

— Чем писать...

Макаров заторопился, уходя споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей, за ухом торчали гусиные перья. Петр Алексеевич взял одно:

— Стань у штурвала, вцепись крепче, сухопутный, держи так. Заполощешь паруса — линьками попотчую...

Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик — яблоко на верхушке грот-мачты, где вился длинный вымпел, и стал писать.

На одной стороне листа пометил: «Госпожам Анисье Толстой и Екатерине Васильефской...» На обороте,— брызгая чернилами и пропуская буквы: «Тетка и матка, здравствуйте на множество лет... О здравии вашем слышать желаю... А мы живем в трудах и в нужде... Обмыть, обшить некому, а паче всего — без вас скушно... Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет... Ей-ей, что как я стал служить — такой славной игры не видел... Короче сказать: с божьей помощью взяли на шпагу Юрьев... Что же о здравии вашем, то боже, боже сохрани вам отписывать о сем, а извольте сами ко мне быть поскоряе. Чтобы мне веселее было... Доедете до Пскова — там ждите указа — куда следовать далее, здесь неприятель близко... Питер...»

— Сложи, запечатай, не читая,— сказал он Макарову и взял у него штурвал.— С первой оказией пошлешь.

Стало немножко будто полегче. Звонко двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыхнула пушка, затрепетали паруса, приятно потянуло пороховым дымом. На мостик взбежал командир шнявы, капитан Неплюев, с молодым, костлявым, дерзким лицом, придерживая короткую саблю — кинул два пальца к треуху:

— Господин бомбардир, адмиральский час, изволите принять чарку...

За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький Фельтен в зеленом вязаном жилете. На борту, вместо поварского колпака, он повязывал голову также по-пиратски — белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком.

Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по-матросски истово вытянул крепчайшую водку с сивушным духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюеву:

— На ночь станем на якорь у Наровы, ночевать буду на берегу... Дно промерял?

— У приток-Наровы с правого берега песчаная банка, с левого — одиннадцать фут...

— Ну, добро... Ступай...

Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, третьеводнешнее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады...

2

Фельдмаршал Шереметьев вел осаду Юрьева с прохладцей,— особенно не утруждал ни себя, ни войско, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречивые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Черт подменил фельдмаршала,— два года воевал смело и жестоко, нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в нарвский лагерь прибыл наконец фельдмаршал Огильви, взятый настоянием Паткуля из Вены на московскую службу за немалое жалованье, мимо кормления и всякого винного и иного довольствия — в год три тысячи золотых ефимок,— Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев.

Фельдмаршал его не ждал,— в полуденный зной после обеда похрапывал у себя в шатре, в обозе, за высоким валом, и проснулся, когда царь сорвал у него с лица платок от мух.

— На покое за рогатками спишь,— крикнул и завращал сумасшедшими глазами.— Иди, показывай мне осадные работы!

От такого страха у фельдмаршала отнялся язык, не помнил, как попал ногами в штаны, поблизости не случилось ни парика, ни шпаги, так — простоволосый — и полез на лошадь. Подбежал военный инженер Коберт, спросонок также не на те пуговицы застегивая французский кафтан; за эту осаду он только и сделал доброго, что разъел щеки — поперек шире — на русских щах. Петр злобно кивнул ему сверха́. Втроем поехали на позиции.

Здесь все не понравилось Петру Алексеевичу... С восточной стороны, откуда вело осаду войско Шереметьева, стены были высоки, приземистые башни укреплены заново, равелины звездой выдавались далеко в поле, и рвы перед ними были полны воды. С запада город надежно обороняла полноводная река Эмбах, с юга — моховое болото. Шереметьев подобрался к городским стенам глубокими шанцами и апрошами — весьма осторожно и не близко, из опасения шведских пушек. Его батареи поставлены были и того глупее,— с них он бросил в город две тысячи бомб, зажег кое-где домишки, но стен и не поцарапал.

— Известно вам, господин фельдмаршал, во сколько алтын обходится мне каждая бомба? — угрюмо проговорил Петр Алексеевич.— С Урала везем их... А не хочешь ли ты за эти две тысячи напрасных бомбов заплатить из своего жалованья! — Он выхватил у него из подмышки подзорную трубу и водил ею, оглядывая стены.— Южная мура[1] ветха и низка. Я так и думал...— И быстро оглянулся на инженера Коберта.— Сюда надо кидать бомбы, здесь ломать стены и ворота. Отсюда надо брать город. Не с востока. Не удобства искать для ради того, что там место сухо... Победы искать, хоть по шею в болоте...

Шереметьев не посмел спорить, только проворчал толстым языком: «Само собой... Вам виднее, господин бомбардир... А мы вот думали, не додумали...» Инже-

---

[1] Мура — стена.

нер Коберт почтительно, с сожалеющей усмешкой помотал щеками.

— Ваше величество, южная стена, также и башенные ворота, именуемые «Русскими воротами»,— ветхи, но тем не менее неприступны, ибо к ним можно подойти только через болото... Болото непроходимо.

— Для кого болото непроходимо? — крикнул Петр Алексеевич, дернул длинной шеей, лягнул ногой, потерял стремя.— Для русского солдата все проходимо... Не в шахматы играем, в смертную игру...

Он соскочил с лошади, развернул на траве карту — план города, из кармана вытащил готовальню, из нее циркуль, линейку и карандаш. Начал мерить и отмечать. Фельдмаршал и Коберт присели на корточки около него.

— Вот где ставь все свои батареи! — он указал на край болота перед «Русскими воротами».— Да за рекой прибавь ломовых пушек...— Он ловко стал чертить линии, как должны лететь ядра с батарей к «Русским воротам». Опять померил циркулем. Шереметьев бормотал: «Само собой... дистанция доступная». Коберт тонко усмехался.— На перемену позиций даю три дня... Седьмого начинаю огненную потеху.— Петр уложил циркуль и линейку в готовальню и стал запихивать ее в карман кафтана, но там лежал пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками,— он схватил платок и с досадой сунул его за пазуху.

Трое суток он не давал людям ни отдыха, ни сна. Днем все войско на глазах у шведов продолжало прежние осадные работы, рыли шанцы под пулями и ядрами, сколачивали лестницы. Ночью тайно, не зажигая огней, впрягали быков в пушки и мортиры и везли их на новые места,— на край болота и через плавучий мост — за реку, укрывали батареи за фашинами и валами.

Едва солнце показалось над лесом, осветились худые кровли на южной стене, выступили над болотным туманом каменные зубцы на башне «Русских ворот», и в городе в утренней тишине засинели печные дымы — шестьдесят ломовых пушек и тяжелых мортир

сотрясли землю и небо, двухпудовые ядра, фитильные бомбы с шипением пронеслись через болото. Загрохотали батареи за рекой. Под прикрытием порохового дыма гренадеры полка Ивана Жидка побежали со связками хвороста гатить болото.

Петр Алексеевич был на южной батарее. Кричать, учить, сердиться ему не пришлось,— едва успевал вертеть головой, глядя на пушкарей, да приговаривал: «Ай-лю-лю, ай-лю-лю...» Едва только человеку скоро прочесть «Отче наш» — стволы уже прочищены банниками, вложены картузы с порохом, вбиты ядра, подсыпана затравка, наведен прицел...

— Всеми батареями! — кричал, выпучивая налитые кровью глаза, низенький полковник Нечаев, с которого первым залпом сорвало шляпу и парик.— Дистанция старая. Приложь фитиль... Оооо-гонь! — Командиры батарей раскатисто повторяли за ним: «Оооо-гонь!»

Было видно, как ударяли ядра, валились башенные зубцы, задымила, запылала кровля на стене, подожженные бомбами начали гореть городские домишки. На островерхих кирках затренькали колокола. Шведские солдаты, в куцых серых мундирах, выбежали из ворот,— шарахаясь от разрывов, начали копать куртину, тащили бревна, бочки, мешки... Все же до конца дня воротная башня и стена стояли крепко. Петр Алексеевич приказал пододвинуть батареи ближе.

Шесть дней длилась огненная потеха. Гренадеры Ивана Жидка по колена, по пояс в болоте гатили трясину, прикрываясь от неприятельских бомб и пуль переносными фашинами — в виде корзин с землей. Убитые тут же и тонули, раненых вытаскивали на плечах. Шведы поняли грозную опасность, перетащили сюда часть пушек с других башен и с каждым днем усиливали огонь. Город заволокло дымом. Сквозь летучие пороховые облака жгло красноватое солнце.

Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был черен, не умывался, ел на ходу — что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот, поблизости, под артилле-

рийской телегой. Инженера Коберта он отослал в большой обоз за то, что хотя и ученый был мужик, но зело смирный,— «а смирных нам здесь не надо»...

В сумерки, в ночь на тринадцатое июля, он вызвал Шереметьева. В эти дни фельдмаршал со всем войском шумел с восточной стороны, как мог — пугал шведов. Снова сделался боек, не слезал с коня, дрался и ругался. Петра Алексеевича он нашел на затихшей батарее. Кругом него стояли усатые бомбардиры — все старые знакомые — из тех, кто в потешные времена под городом Прешбургом угощал не в шутку из деревянных пушек репой и глиняными бомбами кавалерию князя-кесаря. У некоторых тряпками были перевязаны головы, изодраны мундиры.

Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки «Саламандра» — медного тульского литья,— на нее для охлаждения пришлось вылить ведер двадцать уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и — торопливо проговаривая слова — разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена была наконец пробита в трех местах, этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни...— Как гвозди вбил! Не так разве? Что? — по-петушиному крикнул Петр Алексеевич. Весь угол башни завалился, и вся она — вот-вот — готова рухнуть.

— Игнат, ты где, не вижу, подойди.— И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мундштуком.— Не дарю... другой при себе нет, а — покури... Хвалю... Живы будем — не забуду.

Игнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял треух, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками...

— А табачку-то в ней, ваше величество, нетути...

Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет, в нем — табаку ни крошки. В это как раз время и подошел фельдмаршал. Петр Алексеевич — обрадованно:

— Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее — ни водки, ни табаку... (Бомбардиры

опять засмеялись.) Сделай милость... (Шереметьев учтиво, с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кисет.) Ах, спасибо... да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину... Дарю его тебе, Игнат, а трубочку мне верни, не забудь...

Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним.

— Борис Петрович, ждать более нельзя,— изменившимся голосом проговорил Петр.— Люди рассердились... Гренадеры который день лежат в болоте... Трудно! Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь... Ты, не мешкая, пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков из полка Самохвалова — мужики угрюмые, отважные... Сам делай свое дело, для бога только не теряй людей напрасно... С рассветом пойду на приступ... (Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился.) Ступай, голубчик.

Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки,— со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь,— сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена... По всему городу били в набат...

Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Жидок — орловец, похожий на цыгана,— черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали, от злости он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно. Но Петр Алексеевич все еще медлил. Вдруг Иван Жидок с тоской из глубины утробы выдавил: «Оooох!» — и замотал опущенной головой. Петр Алексеевич схватил его за плечо:

— Ступай!

Иван Жидок перескочил через фашины и, нагибаясь, побежал по болоту. Тотчас зашипела, взвилась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, дру-

гая, третья. Пушки замолкли. В уши надавила тишина. Меж красно-черных кочек болота стали подниматься люди,— утопая в тине, тяжело пошли к воротам. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставя штыки, шли роты московских стрелков... Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился: «Ох,— сказал,— ох». Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Жидка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный одинокий голос на болоте закричал: «Урааа!» — Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка, поднялся крик, рев, лязг. До четырех тысяч людей сбилось у стен и ворот...

Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая во мху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища оброненную трубку ли, оружие ли... Его догнал низенький полковник Нечаев:

— Государь, туда нельзя...

И оба стали глядеть туда...

Петр Алексеевич — ему:

— Пошли за подмогой...

— Государь, не надо...

— Говорю — пошли...

— Не надо... Наши уж отбивают у него пушки...

— Врешь...

— Вижу...

И точно — метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка... Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город...

Нечаев, плача выкаченными глазами:

— Государь, теперь — пошла потеха!..

Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно и столько их напрасно побито шведом,— кололи, рубили и гнали неприятеля по узким уличкам до городской площади. Там сгоряча убили четырех барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамад — сдачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившей о сдаче, с трудом и не сразу остановил побоище...

3

«Катерина» с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Меньшиков в длинном плаще, с высокими перьями на шляпе. На одни обшлага у красавца пошло, чай, не менее десяти аршин вишневого аглицкого сукна. Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшь-борт. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее вбок, крикнул:

— Виват! Господину бомбардиру — виват — с великой викторией...

— Погоди, я сейчас к тебе слезу,— тихим баском ответил Петр Алексеевич.— А у вас какие новинки?

— И у нас не без виктории...

— Это — добро... А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и пивишка кое-какого и того не было...

— Три бочонка ренского получены вчерась! — гаркнул Меньшиков.— В нашем стане не как у Шереметьева — ни в чем ни задержки, ни отказу нет...

— Хвастай, хвастай,— Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов выкинуть сигнал: «Взятые отвагой» — и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь, он покраснел, Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще:

— Хорошо поплавали, командор.

Неплюев побагровел до пота, колючие глаза его от напряжения увлажнились,— царь назначал его командором — флагманом эскадры... Петр Алексеевич ничего больше не прибавил — вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоляному борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меньшиковым, ткнул его локтем.

— Рад, что встретил, спасибо... Значит, и вас — с викторией: Шлиппенбаха разбили?..

— Да еще как, мин херц... Аникита Репнин налетел на телегах на него около Вендена, а полковник Рен с кавалерией, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город... Шведу — хочешь не хочешь — принимай бой в чистом поле... Разбили Шлиппенбаха так — сей иерой едва ушел с десятком кирасир в Ревель.

— Все-таки и в этот раз ушел... Ах, черти!

— Уж очень увертлив... Пустое,— он теперь без пушек, без знамен, без войска... Аникита Иванович потом с полпьяна плакался: «Не так, говорит, мне жалко — я Шлиппенбаха не взял, жалко его коня не взял: птица!» Я ему выговорил за такие слова: «Ты, говорю, Аникита Иванович, не крымский татарин — коней арканить, ты — русский генерал, должен иметь государское размышление...» Так с ним поругались, страсть... И еще — новинка: из Варшавы прискакал передовой,— король Август посылает к тебе великого посла... Хорошо бы этого посла принять уж в самой Нарве, в замке... А? Мин херц?

Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь.

— Из Москвы были вести?

— Да опять тебе докука: был посланный от князя-кесаря,— писем, грамот приволок целый короб... Был проездом в Питербург Гаврила Бровкин, привез тебе из Измайловского письмецо.— Петр Алексеевич быстро взглянул на него.— Оно при мне, мин херц. Да еще — четыре дыни парниковых, вез их — завернуты в бараний тулуп, за ужином попробуем... Рассказывает — в Измайловском тебя ох как ждут, все глаза проплакали...

— Ну, уж это ты врешь! — Лодка подошла боком к песку. Петр Алексеевич выскочил и полез на берег, где над водой стоял шатер Меньшикова.

Ужинать сели в шатре — вдвоем. Петр Алексеевич, сутулясь на седельных подушках, ел много,— проголодался на шереметьевых харчах. Меньшиков щепетно-неохотно брал с блюд и больше пил, прикладывая

ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу,— любезный, румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах. Осторожно, чтобы не увидеть ни малейшего неудовольствия на похудевшем и спокойном лице Петра Алексеевича, он рассказывал про нового фельдмаршала Огильви.

— Муж ученый, слов нет. Книги в телячьих корешках привез из Вены, целую телегу, свалены у него в шатре. Первым делом он нам отрезал, так-то гордо, что нашего ничего есть не станет... Нужно ему, как проснется,— вместо чарки с закуской, шеколад и кофей, и пшеничный хлеб белый, и в обед свежая рыба — и не всякая — именно налим ему нужен, и дичь, и телятина. Мы закручинились,— фельдмаршал приказал — надо доставать... Послал я в Ревель одного чухонца — лазутчика — за кофеем и шеколадом, своих дал пять червонцев... Корову привязали на прикол — только для него, девку нашли чистую,— доить, па́хтать... Сколотили ему нужный чуланчик позади шатра и навесили замок... И ключа он от нужного чулана никому не дает...

Петр Алексеевич торопливо проглотил кусок, засмеялся:

— А за что же я ему плачу три тысячи ефимков, вот он вас, азиятов, и учит...

— Да, учит... На другой день вызвал полковников всех полков, не спросил имя, отчество, за руки ни с кем не поздоровался и давай важно рассказывать, как его любит император, да какие он водил войска, осаждал города, как ему маршал Вобан сказал: «Ты мой лучший ученик» — и подарил табакерку... Показал нам все ордена и эту табакерку,— на крышке — девка обнимает пушку, и нас отпустил... Шеколаду бы для приличия поднес,— нет... «Я, говорит, скоро напишу диспозицию, и вы тогда все поймете, как нужно брать Нарву...» По сей день пишет...

— Ну, ну...— Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы,— темные глаза его редко когда смеялись: — Как на Кукуе в мимопрошедшее время, вос-

хвалим, сердешный друг, отца нашего Бахуса и матерь нашу неугомонную Венус... Давай-ка письмецо-то...

Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василефской (хотя и написанное рукой Анисьи Толстой, потому что Катерина писать не умела).

«Государю, свету, радости... Посылаю вам, государь, свет, радость, гостинец — дыни, что за стеклами в Измайловском созрели, так-то сладки... Кушайте, государь, свет, радость, во здравие... И еще, свет мой, видеть вас желаю...»

— Немного написала... А долго, чай, думала, брови морщила, передник перебирала,— насмешливо, тихо проговорил Петр Алексеевич. Выпил кубок. Ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра.— Данилыч, крикни Макарова, разбери с ним московскую почту, а я — разомнусь.

Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не светя, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоуздками кони конвоя, прибывшего с Меньшиковым. До колен омочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился,— оттуда беспокойно тянуло прелью и медом, смутно курился не то дымок, не то варил пиво заяц, и явственно доносился голос, должно быть солдата-коновода, из тех балагуров, кто не даст людям спать — только бы слушали его были и небылицы. Петр Алексеевич повернул было назад, но донеслось:

— ...Чепуха это все,— ведьма, ведьма! Была она пошлая дворовая девка, чумазая, в затертой рубашонке... Такой ее и взяли. Не всякий бы мужик с ней и спать-то лег... Мишка, верно я говорю? А уж я увидел её, когда она жила у фельдмаршала... Выскочит из шатра, помои выплеснет, вытрется передником и — в шатер, ножами — тяп, тяп... Гладкая, проворная...

Тогда еще подумал,— эта кукла не пропадет... Ох, проворна!

Придурковатый голос спросил:

— Дядя, так как же дальше-то с ней?

— А ты не знал? Истинно говорится — за дураками за́ море не ездят... Теперь она живет с нашим царем, ест пироги, пряниками заедает, полдня спит, полдня потягивается...

Придурковатый голос, удивленно:

— Дядя, какая-нибудь, значит, у нее устройства особенная?

— А ты у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство.

Густой сонный голос ответил:

— А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем...

Пётр Алексеевич дышал с трудом... Стыд жег лицо... Гнев приливал черной кровью... За такие речи о государевой чести князь-кесарь ковал в железо... Схватить их! Срам, срам! Смеху-то! Сам виноват, что уже все войско смеется... «Девку взял из-под Мишки...» И он — головой вниз — шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость... Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены. Переводя дух — положил руку на опущенный мокрый лоб... «Кукла распутная, Катерина...» И она ощутимо возникла перед ним... Смуглая, сладкая, жаркая, добрая, не виноватая ни в чем... «Черт, черт — ведь знал же все про нее, когда брал... И про солдата знал...»

Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое... «Кто идет?» — крикнул один грубо. Петр Алексеевич проворчал: «Я иду...» Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно,—не успеть моргнуть,— подхватили ружья и стали без шевеления: фузея перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя — наготове в огонь и на смерть.

Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер:

— Уголька!

Средний солдат — рассказчик, балагур — кинулся

на коленки, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич исподлобья покосился на крайнего солдата... «Этот...» Верзила, здоров, ладен... Лица его не мог разглядеть...

— Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя?

Солдат ответил точно по уставу, но с московским развальцем,— от этого наглого развальца у Петра Алексеевича ощетинились усы...

— Блудов Мишка, драгунского Невского полка, шестой роты коновод, поверстан в шестьсот девяносто девятом, роста без трех вершков три аршина, господин бомбардир...

— Воюешь с девяносто девятого,— чина не выслужил! Ленив? Глуп?

Солдат ответил неживым голосом:

— Так точно, господин бомбардир,— ленив, глуп...

— Дурак!

Петр Алексеевич сдунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что не успеет он скрыться за туманом — солдаты понимающе переглянутся, засмеяться не посмеют, но уж переглянутся... Заведя худые руки за спину, высоко подняв лицо с трубкой, из которой прыскали искры, он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подалее свечу,— в горле было сухо,— жадно выпил вина. Заслоняясь трубочным дымом, сказал:

— Данилыч... В Невском полку, в шестой роте — солдат гвардейских статей... Не порядок...

У Меньшикова в синих глазах — ни удивления, ни лукавства, одно сердечное понимание...

— Мишка Блудов... А как же... Он мне давно известен... Награжден одним рублем за взятие Мариенбурга... Командир эскадрона не хочет его отпускать,— коней он любит, и кони его любят, таких веселых коней, как в шестом эскадроне, у нас во всей армии нет.

— Переведешь его в Преображенский в первую роту правофланговым.

4

Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь — длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Как всегда, народу было много у лавок, но — увы — все меньше с каждым днем можно было купить что-либо съедобное: пучок редиски, ободранную кошку, вместо кролика, немного копченой конины. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт, чего напрасно людей моришь...» Но возмутить генерала было невозможно.

Когда на городских часах пробило девять — он подошел к своему чистенькому домику и стал вытирать подошвы о половичок, лежавший на ступеньке. Чистоплотная горничная отворила дверь и, низко присев, взяла у него шлем и вынутую из перевязи тяжелую шпагу. Генерал вымыл руки и с достойной медлительностью пошел в столовую, где пузырчатые круглые стекла низкого окна — во всю стену — слабо пропускали зеленый и желтый свет.

У стола в ожидании генерала стояла его жена, урожденная графиня Шперлинг — особа с тяжелым нравом, три сутулые жидковолосые девочки с длинными, как у отца, носами и надутый маленький мальчик — любимец матери.

Генерал сел, и все сели, сложив руки, молча прочли молитву. Когда с оловянной миски сняли крышку, повалил пар, но соблазнительного в ней, кроме пара, ничего не было,— та же овсяная каша без молока и соли. Унылые девочки с трудом ее глотали, надутый мальчик, отталкивая тарелку, шептал матери: «Не буду и не буду...» На вторую перемену подали вчерашние кости старого барана и немного гороху. Вместо пива пили воду. Генерал, не возмущаясь, жевал мясо большими желтыми зубами.

Графиня Шперлинг заговорила быстро-быстро, кроша над тарелкой корочку хлеба:

— Сколько я ни пыталась за четырнадцать лет моего замужества, я никогда не могла вас понять,

Карл... Есть ли в вас капля живой крови? Есть ли у вас сердце мужа и отца? Король посылает вам из Ревеля караван кораблей с ветчиной, сахаром, рыбой, копчениями и печениями... На вашем месте как должен поступить отец четырех детей? Со шпагой в руке пробиться к кораблям и привести их в город... Вы же предпочли невозмутимо поглядывать с башни, как русские солдаты пожирают ревельскую ветчину... А мои дети принуждены давиться овсянкой... Я не устану повторять: у вас камень вместо сердца! Вы — изверг! А злосчастный случай с фальшивой баталией!.. Теперь мне нельзя показаться в Европе... «Ах, вы супруга того самого генерала Горна, кого русские провели за нос, как дурачка на ярмарке?» — «Увы, увы»,— отвечу я. Вы даже не знаете, что в городе каждая торговка называет вас старым журавлем на башне... Наконец, наша единственная надежда — генерал Шлиппенбах, желая нам помочь, гибнет под Венденом,— а вы, как ни в чем не бывало, сидите и невозмутимо жуете бараньи жилы, будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни... Нет — довольно! Вы должны отпустить меня с детьми в Стокгольм к королевскому двору...

— Поздно, сударыня, слишком поздно,— сказал Горн, и его белесые глаза, устремленные на окно, казалось, пропускали так же мало света, как эти пузырчатые стекла.— Мы прочно заперты в Нарве, как в мышеловке.

Графиня Шперлинг обеими руками схватилась за кружевной чепец и низко надвинула его.

— Теперь я понимаю — чего вы добиваетесь: чтобы я с моими несчастными детьми ела траву и крыс!

Надутый мальчик неожиданно засмеялся и посмотрел на мать; девочки слезливо опустили носы в тарелки. Генерал Горн несколько удивился: это несправедливо — он не добивается, чтобы его дети ели траву и крыс! Но он столь же невозмутимо окончил завтрак...

За дверью давно уже позвякивали шпоры его адъютанта Бистрема. Видимо, что-то случилось. Горн взял с полки очага глиняную трубку, набил ее, высек

огонь, от фитиля зажег бумажку, закурил и только тогда покинул столовую.

Бистрем держал в руках его шпагу и шлем и несколько задыхался:

— Ваше превосходительство, в русском лагере внезапно началось движение, смысл которого мы не можем понять...

Генерал Горн опять пошел через площадь, полную встревоженного народа. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно — в русском лагере происходило необыкновенное: по всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в две линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меньшиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился... За царем и Меньшиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках восемнадцать желтых атласных знамен. На их складках извивались, в негодовании простирая лапы, восемнадцать королевских львов...

Эскадроны, царь, Меньшиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего: «Урра! Виктория!» — во все варварские глотки...

5

В русском лагере веселились. С бастиона Глориа было хорошо видно, как вкруг царского шатра стреляли пушки, по их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Из царского шатра вдруг высыпало человек сорок, размахивающих кубками и кружками, один из них вскочил на коня и поскакал в сторону бастиона Глориа и за ним,

догоняя, трубач. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни; трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.

— Пароль, пароль! — закричал посланник.— Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! — был он пьян, румян, с кудрями, растрепанными ветром. Генерал Горн, нагнувшись с башни, ответил:

— Говори, я слушаю. Убить тебя успеем.

— Извещаю! — задрав веселую голову, кричал подполковник.— В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу. Снисходя на слезное прошение коменданта, ради мужественного сопротивления, офицерам оставлены шпаги, а трети солдат — ружья без зарядов... Знамен же и музыки лишены...

Громким голосом Бистрем переводил, офицеры, стоявшие позади Горна, негодующе переглядывались, один — вне себя — крикнул: «Врет, русская собака!» Подполковник Карпов широко размахнулся, указывая на далекий шатер, где еще стояли люди с кружками:

— Господа шведы, не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниеншанца и Юрьева конфузные баталии?.. В разумении этого главнокомандующий фельдмаршал Огильви предлагает вам сдать Нарву на честный аккорд... Послам для переговоров немедля прибыть в шатер. Чаши налиты, и пушки для виватов заряжены...

Генерал Горн ответил глухим голосом:

— Нет! Я буду воевать! — Лицо его с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки, жиловатые руки трепетали.— Ступай! Через три минуты велю стрелять...

Карпов отсалютовал шпагой, крикнул трубачу: «Отъезжай!» — и сам, вместо того чтобы ускакать, заехал на пляшущей лошади по другую сторону башни. Офицеры кинулись к зубцам, он крикнул им:

— Это кто из вас, вор, невежа, облаял меня, русского офицера, что я вру? Переводчик, переведи жи-

вее... А ну, выезжай-ка, если ты смел, сойдемся на поле один на один...

Офицеры закричали. Один, толстый, побагровел, затряс кулаками, вырываясь от товарищей... Защелкали курки ружей. Карпов, лежа на шее коня, помчался прочь от башни,— вдогонку выстрелы, посвист пуль. Шагах в двухстах он остановился и, горяча и сдерживая коня, стал ждать противника... Не слишком скоро завизжали на петлях ворота, упал мост, и толстый офицер поскакал по полю к Карпову. Был он выше ростом, и лошадь его крупнее, и шпага шведская на два вершка длиннее русской. Для поединка он надел железную кирасу, у Карпова из-под расстегнутого кафтана ветром раздувало кружева.

По обычаю, противники, прежде чем съехаться, начали браниться, один свирепо вылаивал угрюмые слова, другой застрочил московской матерной скороговоркой... Оба выхватили из чересседельных кобур пистолеты, вонзили шпоры и кинулись друг на друга. Враз выстрелили. Швед далеко вперед себя вытянул шпагу, Карпов по-татарски перед носом его коня увернулся, обскакал кругом его и выстрелил из второго пистолета. Швед стукнул зубами и заворчал и опять кинулся с такой злобой,— Карпов тем только и спасся, что загородился лошадью, шпага противника глубоко вонзилась ей в шею... «Эх, погубил коня,— подумал он,— пеший не выстою...» Но швед, как сонный, выпустил рукоять шпаги, зашатался, шаря левой рукой пистолет в кобуре. Соскочив с падающей лошади, Карпов несколько раз ударил его лезвием в бок под кирасу и глядел, задыхаясь, как швед стал все сильнее раскачиваться в седле... «Черт, здоров, умирать не хочет!» — и, прихрамывая, побежал к своим...

...Ночная тень покрыла поле, упала роса, давно затихли выстрелы, задымились костры кашеваров, всякая тварь устраивалась на покой, но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов:

«Уууууухнем...» Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы под самый Иван-город, и скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе.

На рассвете с башен Нарвы увидели, как по ямгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скопления войск.

Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город на бастион Гонор, примыкавший к берегу реки. Там он взошел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медные страшилища на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. Он проглядел в обороне два самых слабых места — считавшийся неприступным Гонор, который новыми стенобитными пушками русских будет разнесен в несколько дней, и бастион Виктория, прикрывающий город со стороны реки,— также кирпичный, ветхий, времен Ивана Грозного. Два месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против Гонора, Виктории и Иван-города, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам...

«Очень хорошо, все ясно, глупые шутки кончены, будем драться,— ворчал Горн, шагая по равелину помолодевшей походкой.— С нашей стороны выставим шведское мужество... Этого не мало». Он обернулся к кучке офицеров:

— Ад будет здесь! — и топнул ботфортом.— Здесь мы подставим грудь русским ядрам! Русские спешат, нам нужно спешить. Приказываю собрать в городе

всех, кто способен ворочать лопатой. Падут стены, будем драться на контр-апрошах, будем драться на улицах... Нарву русским я не отдам...

Поздно вечером генерал Горн приехал домой и, сидя за столом, жевал большими зубами жиловатое мясо. Графиня Шперлинг была так испугана рыночными разговорами, что молчала, подавившись негодованием. Надутый мальчик сказал, ведя намусленным пальцем по краю тарелки:

— Мальчишки говорят — русские всех нас перебьют...

Генерал Горн выпил глоток воды, о свечу закурил трубку, положил ногу на ногу и ответил сыну:

— Ну что ж, сынок, человеку важно выполнить свой долг, а в остальном положись на милосердие божие.

6

Всякую бы другую такую длинную и скучную грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову: «Прочти, изложи вразумительно»,— но это была — диспозиция фельдмаршала Огильви. Если считать, что жалованье ему шло с первого мая и ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в семьсот золотых ефимков, не считая кормов и другого довольствия. Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в лад ей, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала.

Вокруг свечей кружилась зелененькая мошкара, налетали страшные кара́моры, опалившись — падали навзничь на бумаги, разбросанные по столу, закружился было, задувая свечи, бражник — величиной с полворобья (Петр Алексеевич вздрогнул, он не любил странных и бесполезных тварей, в особенности тараканов). Макаров сорвал с себя парик, подпрыгивая, выгнал бражника из шатра.

Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы,— низенький, с влажными, улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. Петр

давно присматривался к нему — достаточно ли умен, чтобы быть верным, по-большому ли хитер, не жаден ли чрезмерно? За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой персоной, хотя и без чина.

— Опять напутал, напетлял! — сказал Петр Алексеевич, морщась. Шафиров взмахнул маленькими руками в перстнях, сорвался, наклонился и скоро, точно перевел темное место.

— А, только-то всего, а я думал — премудрость,— Петр сунул гусиное перо в чернильницу и на полях рукописи нацарапал несколько слов.— По-нашему-то проще... А что, Петр Палыч, ты с фельдмаршалом пуд соли съел,— стоющий он человек?

Сизобритое лицо Шафирова расплылось вширь, хитрое, как у дьявола. Он ничего не ответил, даже не из осторожности, но зная, что немигающие глаза Петра и без того насквозь прочтут его мысли.

— Наши жалуются, что уж больно горд. К солдату близко не подойдет — брезгует... Не знаю — чем у русского солдата можно брезговать, задери у любого рубаху — тело чистое, белое. А вши — разве у обозных мужиков только... Ах, цезарцы! Зашел к нему нынче утром — он моется в маленьком тазике,— в одной воде и руки вымыл и лицо и нахаркал туда же... А нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был.

— Не был, не был...— Шафиров весь трясся — смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев.— В Германии,— он рассказывал,— когда господину нужно вымыться — приносят чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные члены... А баня — обычай варваров... А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку, и толченого, и рубленого, и просто так — равно, и холопы и бояре... В первые дни он затыкал нос платочком...

— Да ну? — удивился Петр.— Что ж ты раньше не сказал... А и верно, что много чесноку едим, впрочем, чеснок вещь полезная, пускай уж привыкает...

Он бросил на стол прочитанную диспозицию, потянулся, хрустнул суставами и — вдруг — Макарову:

— Варвар, смахни со стола эту пакость, мошкару...

Вели подать вина и стул для фельдмаршала... И еще у тебя, Макаров, привычка: слушать, дыша чесноком в лицо... Дыши, отвернувшись...

В шатер вошел фельдмаршал Огильви, в желтом парике, в белом, обшитом золотым галуном военном кафтане, в спущенных ниже колен мягких ботфортах. Подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост. Петр Алексеевич, не вставая, указал ему всеми растопыренными пальцами на стул: «Садись. Как здоров?» — Шафиров, подкатившись — со сладкой улыбкой — перевел. Фельдмаршал, исполненный достоинства, сел, несколько развалясь и выпятя живот, далеко отнес руку с тростью. Лицо у него было желтоватое, полное, но постное, с тонкими губами, взгляд — ничего не скажешь — отважный.

— Прочел я твою диспозицию,— ничего, разумно, разумно.— Петр Алексеевич вытащил из-под стола план города, развернул — тотчас на него посыпалась мошкара и кара́моры.— Спорю только в одном: Нарву надо взять не в три месяца, а в три дня! (Он кивнул, поджав губы.)

Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом,— рыжие брови полезли вверх под самый парик, углы рта опустились, глаза выказали негодование.

— Ну, ну! Про три дня сказал сгоряча... Поторгуемся, сойдемся на одной недельке... Но больше времени тебе не отпущу.— Сердитыми щелчками Петр Алексеевич стал сбивать тварей с карты.— Места для батарей выбрал умно... Но — прости — давеча я сам приказал: все заречные батареи повернуть против бастионов Виктория и Гонор, ибо здесь и есть пята Ахиллесова у генерала Горна...

— Ваше величество,— вне себя воскликнул Огильви,— по диспозиции мы начинаем с бомбардировки Иван-города и штурма оного...

— Не надо... у генерала Горна как раз вся надежда, что мы провозимся до осени с Иван-городом. А он нам не помеха,— разве что постреляет маленько по нашим понтонам... Далее,— умно, умно, что ты опасаешься

сикурса, короля Карла... В семисотом году из-за его сикурса я погубил армию на этих самых позициях... Ты готовишь контрсикурс, да он — дорог и сложен, и времени на него много кладешь... А мой контрсикурс будет тот, чтобы скорее Нарву взять... В быстроте искать победы, а не в осторожности... Диспозиция твоя — многомудрый плод военной науки и Аристотелевой логики... А мне Нарва нужна сейчас, как голодному краюха хлеба... Голодный не ждет...

Огильви приложил к лицу шелковый платок. Ему трудно было гоняться мыслью за силлогизмами молодого варвара, но достоинство не позволяло согласиться без спора. Обильный пот смочил его платок.

— Ваше величество, фортуне было угодно даровать мне счастье при взятии одиннадцати крепостей и городов,— сказал он и бросил платок в шляпу, лежащую на ковре.— При штурме Намюра маршал Вобан, обняв, назвал меня своим лучшим учеником и тут же на поле, среди стонущих раненых, подарил мне табакерку. Составляя эту диспозицию, я ничего не упустил из моего военного опыта, в ней все взвешено и размерено. Со скромной уверенностью я утверждаю, что малейшее отклонение от моих выводов приведет к гибельным последствиям. Да, ваше величество, я удлинил срок осады, но единственно из того размышления, что русский солдат это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать палок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он, по мановению моего жезла, возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену...

Огильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Шафиров переводил на разумную русскую речь его многосложные дидактические построения. Когда же Огильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное,— шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта, из расширен-

ных глаз готовы были — не дай боже, не дай боже — вырваться фурии... Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежавшая среди дохлых кара́мор, искала что-то... нащупала гусиное перо, сломала...

— Вот как, вот как, русский солдат — мужик с ружьем! — проговорил он сдавленным горлом.— Плохого не вижу... Русский мужик — умен, смышлен, смел... А с ружьем — страшен врагу... За все сие палкой не бьют! Порядка не знает? Знает он порядок. А когда не знает — не он плох, офицер плох... А когда моего солдата надо палкой бить,— так бить его буду я, а ты его бить не будешь...

...В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данилович Меньшиков. Взяв по кубку вина из рук Макарова, сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом отчерчивая и помечая на карте (стоя перед свечами и отмахиваясь от мошкары),— прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы.

7

Простоволосые женщины кинулись к лошади генерала Горна. Схватили за узду, за стремена, вцепились в полы его кожаного кафтана... Худые, черные от копоти пожаров, выкатывая глаза — кричали: «Сдавай город, сдавай город...» Мрачные кирасиры — его конвой, также схваченные, не могли к нему пробиться... Рев русских пушек сотрясал дома на площади, заброcанной обгорелыми балками, битой черепицей. Был седьмой день канонады. Вчера генерал сурово отверг разумное и вежливое предложение фельдмаршала Огильви — не подвергать город ужасам штурма и ярости ворвавшихся войск. Генерал — вместо ответа — швырнул скомканное письмо фельдмаршала в лицо парламентеру. Об этом узнал весь город.

Как бельма, тусклыми глазами генерал глядел на лица кричащих женщин,— они были исковерканы стра-

хом и голодом,— таково лицо войны! Генерал вытащил из ножен шпагу и плашмя стал ударять ею по головам и понукать лошадь. Закричали: «Убей, убей! Топчи до смерти!..» Он покачнулся — его тащили с седла... Тогда раздался неслыханный грохот, содрогнулось даже его железное сердце. За черепичными крышами старого города взвился черно-желтый столб дымного пламени — взорвались пороховые погреба. Высокая башня старой ратуши зашаталась. Закричали истошные голоса, люди шарахнулись в переулки, площадь опустела. Генерал, держа шпагу поперек седла, поскакал в направлении бастиона Гонор. Из-за реки налетали крутым полетом быстро увеличивающиеся шары, с шипением падали на крыши домов, нависших фасадами над улицей, и на кривую улицу, крутились и разрывались... Генерал бил и бил огромными шпорами шарахающуюся лошадь в окровавленные бока...

Бастион Гонор был окутан пылью и дымом. Генерал различил груды кирпича, опрокинутые пушки, задранные ноги лошадей и — огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Подошел раненный в лицо, серый от пыли командир полка. Генерал сказал: «Приказываю — врага не пропустить...» Командир взглянул на него не то с упреком, не то с усмешкой... Генерал отвернулся, толкнул лошадь и узкими переулками поскакал к бастиону Виктория. Несколько раз ему пришлось прикрываться кожаным рукавом от пламени горящих домишек. Подъезжая, он услышал взвывающий полет ядер. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона вспучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый, молочно-румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядел в глаза. Генерал ударил его кулаком в перчатке снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался...

Меньшиков бежал через плавучий мост среди низкорослых стрелков — ингерманландцев, потрясая шпагой — кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь

рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен Иван-города, бомбы шлепались в воду, нажимая воздух, с шипеньем проносились над головами. Меньшиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись — топал ногой, махал краем плаща... «Вперед, вперед!..» Горбатые от ранцев стрелки густо бежали через осевший мост,— а ему казалось, что топчутся... «Живей, живей!..» — и он, как пьяный, раскатывался сотворенной тут же руганью.

Здесь, на левом берегу, на узкой полосе, между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория, было мало места, перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меньшиков по колена в воде побежал, перегоняя колонну: «Барабанщики — вперед! Знамя — вперед!»... Пушки Иван-города били теперь через реку по колонне, ядра шлепались у берега, окатывая водой, разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, липко ударяли в людей... Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень... Забили барабаны... Крепче, крепче покатился крик по колонне стрелков, вползающих на гребень... Там, за гребнем, хрипло завопил голос по-шведски... Рванул залп... Заволокло дымом... Стрелки хлынули через гребень пролома в город.

Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой в лад барабанам. На нем была медная, вычищенная кирпичом кираса, которую он надевал лишь в особо торжественных случаях, тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторял: «Храбрые русские — вперед... Храбрые русские — вперед...»

В голове колонны — через луг к бастиону Гонор — беглым шагом шел батальон преображенцев,— рослые на подбор, усатые, сытые, в маленьких треуголках, надвинутых на брови, штыки привинчены к ружьям, так как был приказ — не стреляя — колоть. Батальон

вел подполковник Карпов. Он знал, что на него смотрят и свои и шведы, притаившиеся в проломе. Шел, щегольски выкатив грудь, как голубь, вытянув нос, не оборачиваясь к батальону. Позади него четыре барабанщика, надрывая сердце, били в барабаны. Полсотни шагов оставалось до широкого пролома в толстой кирпичной стене,— Карпов не ускорил шага, только плечи его стали подниматься. Видя это,— солдаты, сбивая шаг, нажимали — задние на передних. «Ррррра та, рррра та»,— рокотали барабаны. В проломе медленно поднялись железные каски, ружейные дула... Карпов закричал: «Бросай оружье, сволочи, сдавайся!..» И со шпагой и пистолетом побежал навстречу залпу... Блеснуло, грохнуло, ударило в лицо пороховым дымом... «Неуж-то — жив?» — обрадовался.. И отвалил преодоляемый страх, от которого у него поднимались плечи... Душа захотела драки... Но солдаты перегнали его, и он напрасно искал — на кого наскочить со шпагой... Видел только широкие спины преображенцев, работающих штыками, как вилами — по-мужицки...

Третья колонна — Аникиты Иваныча Репнина — с осадными лестницами бросилась на штурм полуразбитого бастиона Глориа. Со стен бегло стреляли, бросали камни и бревна, зажгли бочки со смолой, чтобы лить ее на осаждающих. Аникита Иваныч в горячке топтался на низенькой лошади у подножья воротной башни, подсучив огромные обшлага — потрясал кулачками и кричал тонким голосом, подбадривал — из опасения, чтобы солдаты его не оплошали на лестницах. Один и другой и еще несколько, подшибленные и поколотые, сорвались с самого верха... Но — бог миловал — солдаты лезли на лестницы густо и зло. Шведы не успели опрокинуть огненные бочки — наши были уже на стенах...

Графиня Шперлинг хватала за руки детей, будто каждый раз пересчитывала их. Вскочив — прислушивалась,— все ближе раздавались выстрелы, бешеные крики дерущихся... Она вытягивала вывернутые руки, жарко шептала перекошенным ртом: «Ты этого хотел,

изверг, ты, ты, упрямый, бессердечный человек...» Девочки с плачем кричали: «Мама, замолчи, не надо...» Мальчик засовывал в рот кулак, глядел, как сестры плачут...

Близко загромыхали колеса, графиня кинулась к окошку,— ковыляющая лошадь со сломанной ногой тащила груженную всяким добром телегу, за ней бежали женщины с узлами... «В замок, в замок! Спасайтесь!» — кричали они... Четверо солдат пронесли носилки... И еще несли носилки, и еще носилки с восковыми лицами раненых... Потом она увидела сутулого старика с мешком, — известного богача, дававшего деньги под заклад,— торопливо шаркая туфлями, он нес под мышкой визжащего поросенка... Вдруг бросил и поросенка и мешок и побежал... Совсем близко зазвенело разбитое стекло... «Оо-й»,— затянул мучающийся голос... На дальнем конце площади она увидела генерала Горна... Он махал рукой и куда-то указывал... Мимо него тяжело проскакали кирасиры... Горн ударил шпагой несколько раз по ребрам шатающуюся лошадь,— на его почерневшем лице были видны все зубы, как у волка,— и, высоко подпрыгивая, вскачь скрылся в переулке... «Карл! Карл! — графиня выбежала в сени, отворила дверь на улицу: — Карл! Карл!..» И тогда она увидела русских,— они пробирались вдоль домов по опустевшей площади и поглядывали на окна... У них были широкие лица, длинные волосы, на шапочках — медные орлы...

Графиня так испугалась, что стояла и глядела, как они подходят, указывая на нее и на комендантский флаг над дверью. Солдаты окружили ее, тыча пальцами — заговорили возбужденно и сердито... Один — плосколицый идол — толкнул ее и пошел в дом... Когда он толкнул ее, будто простую бабу на базаре, в ней взорвалась вся ненависть, столь долго душившая ее,— и к старому мужу, заевшему ее век, и к этим русским варварам, доставлявшим столько страданий и страха... Она вцепилась в плосколицего солдата, вытащила его из сеней, шипя и захлебываясь обрывками слов, царапала ему щеки, глаза, кусала его, била коленками...

Солдат ошалело отбивался от взбесившейся бабы... Повалился вместе с ней на камни... Его товарищи, дивясь такой бабьей лютости, взялись ее оттаскивать, рассердились, навалились, разняли, а когда расступились — графиня лежала ничком, свернув голову, с дурным, синим лицом... Один солдат одернул юбку на ее заголившихся ногах, другой сердито обернулся к трем девочкам и мальчику в дверях... Мальчик, перебирая ногами, кричал без голоса, без плача... Солдат сказал: «Ну их к черту, выблядков, идем отсюда, ребята!..»

В три четверти часа все было кончено. Как ураган, ворвались русские на площади и улицы старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже невозможно. Генерал Горн приказал войскам отступать к земляному валу, отделявшему старый город от нового. Вал был высок и широк, здесь он надеялся, что полкам царя Петра придется обильно смочить своей кровью крутые раскаты.

Генерал сидел на лошади, опустившей голову до самых копыт. Поднявшийся свежий ветер щелкал его личным — желто-черным — значком на высоком древке. Полсотни кирасир угрюмо и неподвижно стояли полукругом за его спиной. С высокого вала генералу видны были пролеты нескольких улиц. По ним должны отступать войска, но улицы продолжали быть безлюдными. Генерал глядел и ждал, жуя сморщенными губами. Вот на дальнем конце одной, потом и другой улицы стали перебегать человечки. Он не мог понять — что это за человечки и зачем они перебегают? Кирасиры за спиной его начали глухо ворчать. Появился отчаянно скачущий верховой, он спрыгнул с лошади у подножья вала и, придерживая правой рукой окровавленную кисть левой руки, полез по крутому откосу. Это был адъютант Бистрем, без шпаги, без пистолета, без шляпы, с оторванной полой мундира...

— Генерал! — он поднял к нему безумное лицо.— Генерал! О боже, боже мой!

— Я слушаю вас, поручик Бистрем, говорите спокойнее...

— Генерал, наши войска окружены. Русские свирепствуют... Я не видал такой резни... Генерал, бегите в замок...

Генерал Горн растерялся. Теперь он понял — что это были за человечки, перебегавшие вдали через улицы. Медленные мысли его, всегда приводившие к твердому решению,— смешались... Он не мог ничего решить. Ноги его вылезли из стремян и повисли ниже брюха лошади. Он не очнулся даже от клекчущих, тревожных восклицаний его кирасир... С двух сторон по широкому валу во весь конский мах, с настигающим визгом, мчались бородатые казаки в устрашающих высоких, сбитых на ухо бараньих шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Бистрем, чтобы не видеть этого ужаса, припал лицом к лошади генерала. Кирасиры, оглядываясь друг на друга, стали вынимать шпаги, бросали их на землю и слезали с коней.

Первым подскакал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала:

— Генерал Горн, вы мой пленник!

Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой, и полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось с силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять...

Не будь здесь фельдмаршала Огильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам,— за три четверти часа они сделали то, к чему он готовился четыре года, что томило и заботило его, как незаживаемая язва... Но — черт с ним! — приходилось вести себя, как прилично государю, согласно европейскому обычаю. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади,— был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с кокардой, правую руку с подзорной трубой упер в бок,— смотреть отсюда, с холма, было уже не на что, на лице выражал грозное величие... Дело было европейское: шутка ли — штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете.

Подскакивали офицеры,— Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Огильви,— и рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения... Занято столько-то

улиц и площадей... Наши ломят стеной, враг повсюду в беспорядке отступает... Наконец, из разбитых ворот Глориа выскочили и понеслись во весь лошадиный прыск три офицера... Огильви поднял палец и сказал:

— О! Хорошие вести, я догадываюсь...

Доскакавший первым казачий хорунжий с ходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гаркнул:

— Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу...

— Превосходно! — воскликнул Огильви и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу: — Ваше величество, извольте проследовать, город ваш...

Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке... Он казался выше ростом, спина была вытянута, грудь шумно дышала... В руке — обнаженная шпага... Взглянул бешено на Александра Даниловича,— у него на железной кирасе были вмятины от пуль, узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись; взглянул на маленького Репнина, сладко улыбающегося глазами-щелками; взглянул на румяного, уже успевшего хватить чарку вина полковника Рена; взглянул на генерала Чамберса, довольного собой, как именинник.

— Я хочу знать,— крикнул им Петр Алексеевич,— почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище? Почему в городе идет грабеж? — Он вытянул руку со шпагой.— Я ударил нашего солдата... Был пьян и волок девку...— Он швырнул шпагу на стол.— Господин бомбардир поручик Меньшиков, тебя назначаю губернатором города... Времени даю час — остановить кровопролитие и грабеж... Ответишь не спиной, головой...

Меньшиков побледнел и тотчас вышел, волоча порванный плащ. Аникита Репнин мягким голосом сказал:

— Неприятель-то пардон весьма поздно закричал, того для наших солдат унять трудно, так рассердились — беда... Посланные мной офицеры их за волосы хватают, растаскивают... А грабят в городе свои жители...

— Хватать и вешать для страха!

Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся. Вошел Огильви, за ним двое солдат с офицерами вели генерала Горна. Стало тихо, только медленно звякали звездчатки на шпорах Горна. Он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой... Все видели, как сорвалась со стола, с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра (Огильви испуганно шагнул к нему), как отвращением передернулись его плечи, он молчал столь долго, что все устали не дышать...

— Не будет тебе чести от меня,— негромко проговорил Петр.— Глупец! Старый волк! Упрямец хищный...— И метнул взор на полковника Рена.— Отведи его в тюрьму, пешим, через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих...

КОММЕНТАРИИ

ПЕТР ПЕРВЫЙ

Впервые напечатан в журнале «Новый мир»: книга первая — №№ 7, 8, 9, 10, 11, 1929, и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1930; книга вторая — №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 1933, и №№ 1, 2, 3, 4, 1934; книга третья — №№ 3, 6—7, 8—9, 1944, и № 1, 1945; многократно выходил отдельным изданием, включался в собрания сочинений.

А. Н. Толстой начал писать роман в 1929 году. Этому предшествовала его длительная работа над целым рядом произведений, также отразивших интерес писателя к петровской эпохе, послуживших подготовительным этапом при создании романа «Петр Первый».

В период 1917—1918 годов были написаны: очерк «Первые террористы» (единственная прижизненная публикация в газете «Вечерняя жизнь», 1918, 16 апреля), рассказы «Наваждение» и «День Петра» (см. том 3 наст. собр. соч.).

В очерке «Первые террористы» А. Н. Толстой воскрешал на основании забытых архивных материалов историю о заговорщиках XVIII века, о злоумышлении на жизнь царя Петра I. Это была еще робкая попытка писателя обработать подлинные историко-документальные материалы, подойти к изображению заинтересовавшей его эпохи. В рассказе «Наваждение» А. Толстой давал зарисовку петровской эпохи главным образом в частно-бытовом, интимном ее плане. В «Дне Петра» впервые показан царь Петр как действующее лицо в период строительства Петербурга.

Писатель вспоминал позднее об этих первых своих попытках подойти к изображению Петра: «В самом начале Февраль-

ской революции я обратился к теме Петра Великого: должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности...» (Статья «Мой путь», журнал «Новый мир», 1943, № 1.)

В 1928—1929 годах Алексей Толстой снова возвращается к этой теме. Он пишет историческую пьесу о Петре — трагедию «На дыбе» (см. приложение к 10 тому Полн. собр. соч.). По сравнению с рассказами, в этой пьесе значительно расширяется круг изображаемых исторических лиц и событий (показывается столкновение Петра с царевичем Алексеем, история превращения Марты Рабе в русскую императрицу и др.).

В пьесе «На дыбе» А. Толстой, по его собственному признанию, «еще не совсем освободился от идеалистических тенденций в обрисовке эпохи». Неоднократно говорил он также и о том, как образ Петра долгое время не складывался в его сознании с полной ясностью: «На Петра я «нацеливался» давно. Я видел все пятна на его камзоле, я слышал его голос, но Петр оставался для меня загадкой в историческом тумане. Начало работы над романом совпадает с началом осуществления первой пятилетки. Работа над «Петром» для меня прежде всего — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски. Это — переработка своего художнического мироощущения. Результат тот, что история стала раскрывать нетронутые богатства» («Литературная газета», 1933, № 13, 17 марта).

Работа писателя над историческим романом «Петр Первый», новым для него жанром, явилась действительно поворотным пунктом в разработке темы Петра в его творчестве.

В этом произведении менялся самый угол зрения А. Толстого на эпоху и на сущность исторического дела Петра.

В конспекте одного из своих выступлений по поводу работы над «Петром» (1931—1933) Толстой делает следующую запись: «Первое десятилетие XVIII века являет собой удивительную картину взрыва творческих сил, энергии, предприимчивости. Трещит и рушится старый мир. Европа, ждавшая совсем не того, в изумлении и страхе глядит на возникающую Россию... Несмотря на различие целей, эпоха Петра и наша эпоха перекликаются именно каким-то буйством сил, взрывами человеческой энергии и волей, направленной на освобождение от иноземной зависимости».

В первой книге своего романа А. Толстой рисует детские годы и раннюю молодость Петра; она заканчивается эпизодами

возвращения Петра из первого заграничного путешествия и событиями стрелецкого розыска 1698 года.

Вторая книга романа показывает первые шаги преобразовательной деятельности Петра и события начального периода Северной войны (поражение Петра под Нарвой и первые победы русских над шведами). Заканчивается основанием Петербурга (май 1703 г.).

Одновременно с работой над последними главами второй книги «Петра» писатель предпринимает дальнейшую разработку интересовавших его образов петровской эпохи.

В 1934 году А. Толстой пишет пьесу «Петр Первый»; в 1933—1936 — перерабатывает текст романа «Петр Первый» для юношества; в 1934—1935 годах совместно с режиссером В. Петровым работает над киносценарием художественно-исторического фильма «Петр Первый».

В 1938 году Алексей Толстой снова, уже в третий раз, обращается к работе над пьесой о Петре (см. том 9 наст. собр. соч.).

Таким образом, вторую кннгу «Петра» от последней книги романа отделяет почти десятилетие, в течение которого писатель не порывал с работой над темой петровской эпохи.

К работе над третьим томом «Петра Первого» А. Толстой приступил в 1943 году, последние главы незавершенной третьей книги романа были написаны незадолго до смерти.

В своей концепции эпохи, в освещении русской истории конца XVII и начала XVIII века автор романа шел в русле современной ему исторической наукн. Его работе над романом предшествовало глубокое изучение трудов классиков марксизма-ленинизма.

В ряде статей, бесед А. Н. Толстой разъяснял особенности своего подхода к теме, характер общего замысла романа, свое понимание эпохи петровских реформ.

«Эпоха Петра I,— отмечал он,— это одна из величайших страниц истории русского народа. По существу вся петровская эпоха пронизана героической борьбой русского народа за свое национальное существование, за свою независимость. Темная, некультурная боярская Русь с ее отсталой, кабальной техникой н патриархальными бородами была бы в скором времени целиком поглощена иноземными захватчиками. Нужно было сделать решительный переворот во всей жизни страны, нужно было поднять Россию на уровень культурных стран Европы.

И Петр это сделал. Русский народ отстоял свою независимость» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 535).

В беседе с сотрудником «Литературной газеты» в 1937 году писатель рассказал о том, как вопреки трактовке левацко-вульгаризаторской критики складывался у него образ Петра: «Вихляющийся, истеричный Петр, которого нам навязывали, никак не совпадал с нашими замыслами. От нас требовали, чтобы мы показали конечную неудачу, провал всей преобразовательной деятельности Петра. Эти требования сводили по существу на нет наше стремление показать прогрессивное значение петровской эпохи для дальнейшего развития русской истории».

Автор «Петра Первого» говорил дальше, что основной, центральной идеей для него всегда была «идея показа мощи великого русского народа, показа непреоборимости его созидательного духа. Мы далеки от мысли возродить тривиальный хрестоматийный образ «венценосного плотника». Но мы не хотим... умалять значение личности человека, возвысившегося над своей эпохой» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 523).

В обрисовке Петра I и в воссоздании образов людей той эпохи А. Толстой следовал традиции, намеченной А. С. Пушкиным в его «Арапе Петра Великого», а также в его «Истории Петра».

Работе над романом сопутствовало глубокое изучение петровской эпохи. Писатель использовал чрезвычайно обширный материал, множество разнообразных источников: исследования историков, записки современников Петра, русских и иностранцев, дневники, письма, указы того времени, дипломатические донесения, военные реляции, судебные документы и литературные памятники эпохи.

Сведения самого различного характера о событиях, нравах, быте изображаемой им эпохи Алексей Толстой черпал у таких современников Петра, как: Патрик Гордон, «Дневник, веденный во время пребывания в России с 1661 до 1699 г.»; И. Желябужский, «Записки с 1682 по 1709 г.»; П. Крекшин, «Краткое описание славных и достопамятных дел Петра Великого»; Иоганн Корб, «Дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 гг.»; А. Нартов, «Рассказы о Петре Великом»; Дж. Перри, «Записки о бытности в России с 1698 по 1715 г.»; кн. Б. И. Куракин, «Путевые записки и дневники»; Юст Юль, «Записки»; Корнилий де Бруин, «Путешествие через Моско-

вию»; Н. Неплюев, «Записки»; Оттон Плейер, «Донесения австрийского дипломата»; П. Толстой, «Путевой дневник», Ф. Берхгольц, «Дневник с 1721 по 1725 г.» и т. д.

Неоднократно возвращался писатель к чтению «Книги о скудости и богатстве» И. Посошкова и «Жития» протопопа Аввакума, а также его «Посланий и поучений».

Тщательно штудировал А. Толстой объемистые тома «Писем и бумаг Петра Великого» (тт. I—VII, изд. 1879—1918 гг.); «Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках» (изд. Археографической комиссии, 1884); «Гисторию Свейской войны», составленную при Петре I и изданную кн. М. Щербатовым под заглавием «Журнал, или Поденная записка государя императора Петра Великого с 1698 г. до заключения Нейштадтского мира», СПб. 1772; «Собрание разных записок и сочинений о жизни и деятельности императора Петра Великого», составленное Ф. Туманским, 1787; «Историю царствования Петра Великого» Н. Устрялова; «Историю России с древнейших времен» С. Соловьева (тт. XIII—XV); «Деяния Петра Великого» И. Голикова; «Домашний быт русских царей в XVI—XVII столетии» И. Забелнна; труд И. Н. Пекарского «Наука н литература в России при Петре Великом»; книги М. Семевского «Царица Прасковья» и «Семейство Монсов»; исследование И. Шляпкина «Царевна Наталия Алексеевна и театр ее времени»; «Историю Санкт-Петербурга» П. Петрова и многое другое. Привлекались также неопубликованные документы и материалы.

Первичный фактический материал, канву событий давали Толстому главным образом Голиков, Устрялов, Соловьев.

Страницы Устрялова, излагающие этапы борьбы молодого Петра с Софьей (главы II и III второго тома его «Истории Петра Великого»), первый Азовский поход (глава IX), стрелецкое возмущение 1698 года (глава VI третьего тома), а также такие моменты Северной войны, как штурм Нотебурга, осада Юрьева и Нарвы (главы VII, XI, XII четвертого тома), подсказали Толстому многое в разработке соответствующих эпизодов его романа (ср. с главами IV, VI, VII в первой книге «Петра Первого», с главами IV и VI в третьей книге).

Труд Устрялова полезен был Толстому тем, что у него писатель находил обширный документальный материал, ряд впервые опубликованных архивных документов, которые давались историком не только в основном тексте, но и выносились в спе-

циальные разделы приложений, печатались даже в виде отдельных томов. А. Толстой особенно интересовался подлинными документами петровской эпохи, непосредственными свидетельствами современников.

«История России» Соловьева дала Толстому обильный фактический материал из истории дипломатических отношений в эпоху Петра и внешней политики России на рубеже XVII и XVIII веков. Такие места в романе, как, например, переговоры В. В. Голицына с украинским гетманом Самойловичем, избрание нового гетмана Мазепы (первая книга «Петра», глава III), приготовления Петра к войне со шведами, переговоры Возницына с Турцией на Карловицком конгрессе, миссия Паткуля и Карловича в Москву, заключение тайного договора Петра с Августом против Швеции, заверения Петра шведскому резиденту Книпперкрону накануне войны (вторая книга «Петра», главы I, II и III), подсказаны были писателю соответствующими страницами XIV тома «Истории России» Соловьева. У Соловьева, кроме того, Толстой находил обстоятельное описание отдельных этапов преобразовательных начинаний Петра, его реформ, захватывавших постепенно один за другим различные участки русской жизни (см., например, в романе эпизод об учреждении Бурмистерской палаты, введение гербового сбора — «орленой бумаги», начало нового летосчисления, указ о торговле кумпаниями, меры борьбы Петра с злоупотреблениями сибирских воевод и т. д.).

В «Записках де ля Невилля» (1689) Алексей Толстой почерпнул многое для характеристики В. В. Голицына и его ближайшего окружения (см. книгу первую романа, главу II, подглавку 5). У Якова Номена в «Записках о пребывании Петра Великого в Нидерландах» писатель заимствовал ряд эпизодов заграничного путешествия Петра, главным образом относящихся к пребыванию его в Саардаме (книга первая романа, глава VII). Дневник Корба, секретаря цесарского посольства, свидетеля суровой расправы молодого Петра над стрельцами, очевидца кровавых казней 1698 года, широко использован был Алексеем Толстым в последней главе первого тома «Петра». (Толстой подчеркивал то обстоятельство, что Корб именно «своими глазами видел казни стрельцов»). В работе над рядом батальных эпизодов Северной войны писатель пользовался «Марсовой книгой» («Книга Марсова, или воинских дел от войск царского величества Российских во взятии преславных фортификацей, и на

разных местах храбрых баталий, учиненных над войски его королевского величества Свейского», 1713), заимствовав, в частности, оттуда описание эпизода с «военной хитростью» — машкерадного боя под Нарвой 9 июня 1704 года (см. третью книгу романа, главу IV). В этой книге имелись старинные карты, планы отдельных баталий и, в частности, была гравюра, изображающая шведскую крепость Нотебург с ее грозными стенами, воротами и башнями с характерными крутыми кровлями.

В написании эпизодов, связанных с Екатериной, именно тех страниц романа, в которых показано приближение ее к Петру, А. Толстому оказала существенную помощь работа Андреева, напечатанная в историческом сборнике П. Бартенева «Осьмнадцатый век», кн. 3, 1869. Эта работа сводного характера, основанная на таких источниках, как Вилебуа, Вебер, Бассевич, Берхгольц, подсказала писателю ряд моментов биографии Екатерины начального периода ее жизни, вошедших впоследствии в главу V (подглавки 2 и 7).

Обширная литература была привлечена писателем при создании эпизодов о раскольниках (А. Щапов, «Русский раскол старообрядства»; Г. Есипов, «Раскольничьи дела XVIII столетия» и многое другое).

Немалую роль в процессе работы Алексея Толстого над романом играло широкое ознакомление его с иконографическим материалом, с портретами, картинами, гравюрами, картами, планами, относящимися к эпохе Петра. Все это, а также изучение другого рода исторических реалий — костюмов, мебели, архитектурных сооружений XVII—XVIII веков,— несомненно помогало писателю зрительно восстанавливать обстановку далекой исторической эпохи.

О том, как Алексей Толстой работал над историческими материалами, дают представление следующие примеры.

Эпизод казни женщины, убившей мужа, заживо зарытой в землю у Покровских ворот (книга первая романа, глава V), находим у И. Корба. Корб в своем «Дневнике» от 28 декабря протокольно скупо сообщает о беседе между гостями на вечере у полковника Блюмберга, в которой затронут был жестокий обычай казни женщин на Руси. В разговор вмешался царь, рассказавший во всеуслышание о том, что ему «самому известно, как одна женщина была не так еще давно приговорена к подобному наказанию и не прежде как по истечении 12 дней умерла с голоду». Дальше Корб добавляет к этому еще такую

подробность: «Говорят, что сам царь ходил к ней в глубокую полночь и расспрашивал ее, думая, что, может быть, найдет возможность простить ее...» И дальше Корб нравоучительно, в моралистическом тоне заключает: «Но преступление ее было так велико, что прощение могло бы послужить дурным примером для других...»

Этот краткий протокольный рассказ вырос в романе до размеров большого типического обобщения — горькой судьбы, тяжелой доли русской женщины того времени (см. главу V, подглавку 4).

А. Толстой, исходя из документальных данных, следуя достоверным историческим фактам, делает их иногда основанием для создания образа вымышленного им персонажа. Таким является, например, в романе Василий Волков, один из близких Петру молодых дворян. Писатель рассказывает о нем, что незадолго до рокового дня бегства Петра в Троицу Волков послан был из Преображенского в Кремль с поручением поразведать, что делают заговорщики; там Волкова хватают стрельцы, Софья угрожает ему казнью.

В основу этого эпизода легли некоторые реальные события, происшедшие как раз в то время с двумя различными лицами. Накануне заговора на разведку в Кремль послан был из Преображенского спальник царя Петра Плещеев. Страх же казни, угрозы Софьи пережил полковник Нечаев, приехавший к Софье от Петра уже позднее, после бегства царя в Троицу.

В дальнейшем течении романа, когда Волков оказывается в Амстердаме, А. Толстой рассказывает о нем, что он ведет дневник, записывая в него впечатления от разных увиденных им чудес и курьезов. Толстой приводит в данном случае подлинные записи сохранившегося от той эпохи «Журнала путешествия» (неизвестного русского дворянина), опубликованного в «Русской старине» за 1879 год.

В «Петре Первом» показан талантливый механик-самоучка кузнец Жемов, пытавшийся построить воздухоплавательную машину — «дивную и чудесную механику» со слюдяными крыльями. Он был наказан за это жестоко боярином, бежал и пристал впоследствии к разбойничьей шайке Овдокима.

Рассказ о подобном случае, имевшем место в Москве в 1695 году, находим у Желябужского в его «Записках»:

«Месяца апреля в 30-й день закричал мужик караул и сказал за собой Государево слово. И приведен в Стрелецкий

Приказ и расспрашиван. А в расспросе сказал, что он, сделав крылья, станет летать как журавль. И, по указу Великих Государей, сделал себе крылья слюдяные, и стали те крылья в 18 рублев из государевой казны. И боярин князь Ив. Бор. Троекуров с товарищами и с иными прочими вышед стал смотреть. И тот мужик, те крылья устроя, по своей обыкности перекрестился, и стал мехи подымать, и хотел лететь, да не поднялся, и сказал, что он те крылья сделал тяжелы. И боярин на него кручинился, и тот мужик бил челом, чтоб ему сделать другие крылья иршеные (то есть из оленьей кожи). И на тех не полетел, а другие крылья стали в 5 рублев. И за то ему учинено наказанье: бит батоги, сняв рубаху, и те деньги велено доправить на нем и продать животы его и остатки...»

Сравнивая этот отрывок с тем, что дает А. Толстой в главе V, подглавке 10 первого тома «Петра», видим, что писатель этот эпизод создает на материале Желябужского.

Из этого же источника заимствовал писатель и описание шутовской свадьбы и свадебной процессии царского шута Тургенева, а также эпизоды укрепления Новгорода после нарвского разгрома.

Выступление патриарха Иоакима перед боярами и царем с требованием сжечь еретика Квирина Кульмана (книга первая романа, глава V) является переработкой подлинного исторического документа — «Духовной» патриарха Иоакима от 17 мая 1690 года. На основе одного из рассказов токаря Петра Первого Андрея Нартова («Рассказы о Петре Великом») строит писатель последний эпизод главы IV второй книги, эпизод о сокровищах в потайной кладовой Ромодановского, которые он передает Петру на нужды вооружения.

В письме Петра из-под Азова к Ф. М. Апраксину (от 29 августа 1694 г.) среди подписей близких к Петру преображенцев стоит одна комически звучащая фамилия «Вареной Мадамкин». Больше этот Мадамкин нигде в других исторических материалах не упоминается. У А. Толстого он — красочный персонаж, царский приближенный и собутыльник.

Еще подобный же пример: встреча Петра во время заграничного путешествия с немецкими курфюрстинами — Софией и Софией-Шарлоттой.

Толстой строит этот эпизод в соответствии с подлинными фактами, почерпнутыми из статейных списков Посольского приказа и из опубликованной переписки обеих принцесс. В одном

из писем есть упоминание о том, что Петру не понравилась итальянская музыка; Петр «велел позвать своих скрипачей, и мы исполнили русские танцы». Этого беглого упоминания оказалось Алексею Толстому достаточно, чтобы создать яркую, исторически характерную сцену, заканчивающую все описание вечера в замке у курфюрстин.

Большую осторожность проявлял писатель, когда он сталкивался с необходимостью как-то использовать источники сомнительные, основанные на резко пристрастной, необъективной информации. Так третья книга «Петра» заканчивается тем, что к Петру после кровопролитного штурма Нарвы, после затянувшейся осады, вызванной бессмысленным сопротивлением шведов, приводят виновника всех этих напрасных жертв — комеиданта Горна. Петр сурово встречает пленника, помня его недавние дерзкие ответы на предложение своевременно прекратить кровопролитие. Всю эту сцену А. Толстой дает в основном по Устрялову, у которого приводятся свидетельства об этом из русских и иностранных источников (Устрялов, История царствования Петра Великого, т. IV, стр. 313, 314). Но Устрялов принимает на веру свидетельство шведского историка Адлерфельда о том, что Петр будто бы дал Горну крепкую пощечину. Это утверждение, как недостоверное, А. Толстой отбрасывает.

Можно привести пример и своеобразного переосмысления, мотивированной трансформации А. Толстым документального материала. Отъезд Петра во время первой осады Нарвы А. Толстой объясняет пониманием царем того, что при большой вероятности поражения главную и решающую борьбу со шведами придется ему вести в будущем и что поэтому нельзя рисковать собой на самой первой стадии войны. Писатель приводит в романе официальный подлинный документ о передаче Петром (при отъезде) командования герцогу де Круи. Но уже в соответствии со своей трактовкой поведения Петра А. Толстой устраняет из этого документа место, где говорилось, что Петр «отъезжает для свидания и разговоров с королем польским», поскольку в тех обстоятельствах, накануне боя, эта фраза имела определенное «успокоительное» значение, а писателю в романе необходимо было прояснить главное стремление, руководившее Петром в этом случае.

Сам писатель отчетливо ощущал связь своих исторических зарисовок в «Петре» с непосредственным ощущением русской

старины, которое поддерживалось в нем воспоминаниями детства, его глубоким знанием русской патриархальной провинции, деревни. «Если бы я родился в городе,— писал Алексей Толстой,— а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гадания, сказки, лучину, овины, которые особым образом пахнут, я, наверное, не мог бы так описать старую Москву. Картины старой Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями. И отсюда появилось ощущение эпохи, ее вещественность. Этих людей, эти типы я потом проверял по историческим документам. Документы давали мне развитие романа, но вкусовое, зрительное восприятие, идущее от глубоких детских впечатлений, те тонкие, едва уловимые вещи, о которых трудно рассказать,— давали вещественность тому, что я описывал» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 414—415).

Помимо архивных документов и литературных источников, А. Толстой широко использовал при написании своего романа фольклорный материал. Интерес А. Толстого к русскому фольклору, глубокое знание им памятников народного творчества оставили заметный след в художественной ткани «Петра Первого». В романе множество фольклорных образов и мотивов. То мелькнет пословица, поговорка, острая народная шутка; то почувствуется отзвук народной песни или сказки; есть целые описания старинных обрядов. Поскольку в своем романе А. Толстой старался полнее показать народ, дать народную жизнь в ее широком разливе, постольку он, естественно, обращался к фольклору, в котором столь ярко запечатлелся самый духовный склад, богатый внутренний мир русского человека. Фольклорные образы в повествовании А. Толстого органически входят в основную художественную ткань, образуя с ней неразрывное целое.

Некоторые исторические песни, как, например, песни о завоевании Азова, о строительстве Воронежского флота, о взятии Шлиссельбурга, о прорытии Ладожского канала, об основании на Неве новой столицы (см. «Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 8, 9), особенно заметно использованы были писателем в его произведении. Они дали возможность ему отразить отношение народных масс к событиям петровского царствования, помогли в осмыслении общего характера эпохи, в уяснении роли изображаемых им событий и исторических лиц.

Большой отпечаток наложил фольклор и на общий склад повествования в романе, местами необычайно близкий к народной речи.

Работе над языком своего исторического романа А. Н. Толстой придавал исключительно большое значение. Еще в 1929 году, в одной написанной им статье, он подробно рассказывал о том, как старинные судебные документы XVII века оживили его интерес к народному языку, привели его к широкому использованию богатств живой народной речи.

«В конце 16-го года покойный историк В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные проф. Новомбергским пыточные записи XVII века,— так называемые дела «Слова и дела»... И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь... Я увидел, почувствовал,— осязал: русский язык... Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ. Задача в своем роде литературная. И здесь я видел во всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную (с польского, с немецкого, с французского), ложнолитературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал... В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 567).

Изучая документальные материалы, отмечая наиболее типичные для языка XVII—XVIII веков выражения и слова, писатель обычно стремился найти и зафиксировать прежде всего те слова и обороты речи, все то, что носит колорит старины, но в то же время может быть понятно и близко современному читателю.

Когда Алексею Толстому приходилось использовать в своем «Петре Первом» памятники русской письменности XVII века, подлинные древние тексты, он с большой осторожностью, с редким художественным тактом умел разгружать их от наиболее архаичных оборотов и обветшалых языковых форм.

В главе I первого тома «Петра» раскольничий начетчик Фома Подщипаев читает одно очень выразительное место из подлинных поучений протопопа Аввакума. Оно заимствовано из «Книги бесед» Аввакума — из беседы седьмой («О старолюбцах и новолюбцах»), где оно имеет следующий вид (в скобках заключены последующие сокращения А. Толстого):

«Помните ли вы, как Мелхиседек жил в чащине леса того, в горе сей Фаворстей, семь лет ядый вершие древес и вместо пития росу лизаше? Прямой был священник, не искал ренских, и романен, и водок, и вин процеженных, и пива с кордомоном (и медов малиновых, и вишневых, и белых всяких крепких). Друг мой, Иларион, архиепискуп рязанской! Видиши ли, как Мелхиседек жил? На вороных и в каретах не тешился ездя. Да еще был и царские породы. А ты кто? Воспомяни о себе, Яковлевич, попенок! В карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, сидя в карете на подушки, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя рожу на площаде, чтобы черницы-ворухиниянки любили. Ох, ох, бедной! (Некому по тебе плакать. Не достоин бо век твой весь Макарьевского монастыря единоя нощи. Помнишь ли, как на комарах тех стаевано на молитве?) Явно ослепил тебя диявол. (Где ты, мот, девал столько добра? И другов погубил! На Павла та митрополита что глядишь? Тот не живал духовно, блинами все торговал да оладьями. Да как учинился попенком, так по боярским дворам научился блюды лизать.) И не видал и не знает духовного жития...»

В тексте романа А. Толстого эта цитата видоизменяется.

Писатель не только сокращает текст подлинника, но и производит правку языка. Вместо «архиепискуп» пишет «архиепископ». Вместо старинного аориста «лизаше» — «лизал». Вместо архаического «вершие древес» — «ростки древес». Устаревшую форму родительного падежа женского рода «царские породы» заменяет словами «царской породы». Причастную форму «ядый», умершую для живого языка уже в XVII веке, заменяет обычной формой глагола — «ел». Вместо «черницы-ворухиниянки» делает проще — «черницы-ворухи». В своем переработанном тексте писатель вместе с тем оставляет отдельные устаревшие формы языка церковной книжности, однако это более доступные и «привычные» архаизмы («пития», «древес», «жития» и т. п.).

Письмо Петра к Ромодановскому, которое мы находим в главе VII первой книги «Петра» («Мин хер кениг... Которые навигаторы посланы по вашему указу учиться,— розданы все по местам...»), составлено писателем из трех подлинных документов.

Здесь первая часть о навигаторах взята из письма к Ромодановскому от 31 августа 1697 года. Средняя часть — из письма Петра к Виниусу от 17 августа. И, наконец, третья часть, о Брюсе, которой писатель старается ввести некоторый корректив в то впечатление от жестокости Петра, которое могло создаться,— взята из письма к Ромодановскому от 22 декабря 1697 года.

В главе I второго тома романа А. Толстого находим секретное донесение царю Петру дьяка Емельяна Украинцева, посланного в Константинополь для подписания с турками мира. Пространный документ из архива Посольского приказа размером в 7—8 страниц большого формата, написанный запутанно и архаично, с большим тактом использован А. Толстым в сокращенном виде: устранены повторения, излишние подробности, при этом наиболее живое, образное и комическое, вроде знаменитых похождений капитана Памбурга, затеявшего ночью пальбу из пушек по султанскому дворцу, оставлено автором в неприкосновенности и дано полностью.

О характере работы Алексея Толстого над языком и стилем исторического романа, о той тщательной отделке, которой подвергал писатель каждый образ, каждую фразу своего текста, свидетельствует наглядно та последняя редакционная правка Толстым «Петра», которую он предпринял в 1944 году и которую успел довести только до V главы (второй подглавки включительно) первой книги «Петра».

Пересматривая текст романа, писатель сокращал описания, устранял перегрузку эпитетами, чрезмерное обилие живописно-бытовых подробностей. В обрисовке Петра, его внешнего облика, Толстой убирал некоторые снижающие детали, патологические черты. Ряд грубовато-натуралистических образов и выражений оказался устраненным и в диалогах, и в описательных местах романа.

Приводим несколько примеров проведенной писателем правки (сокращения писателя заключены в квадратные скобки):

«Когда спадал зной, Василий Васильевич, надев шлем и [тканную золотыми грифами] епанчу, выходил из шатра».

«Кружились стервятники в [лазорево]-горячем небе».

«Медленно вертится расписанный розами циферблат на стоячих часах». (Из описания светлицы Софьи. Слово «циферблат» заменено более архаическим обозначением «цифирный круг».)

«Волков сидел на коне... На брюхе морозом заиндевели [колонтары], железные, пластинами, латы». (Устранено устаревшее, не понятное теперь обозначение лат.)

«Мейн либер генерал, привез великого посла с великим фелисите от еллинского бога Бахуса». (Слово «фелисите» заменено более характерным, польским оборотом, «виватом».)

«Петр бросил выпитую чашку [и зашагал как на ходулях]».

«Лев Кириллович обхватил тощую трясущуюся грудь Петра». (Вместо «тощую трясущуюся грудь» вставлено «подпрыгивающие плечи».)

«Лягая левой ногой [от судороги], Петр закричал».

«В ближайшем яме переседлали, не передохнув поскакали дальше. [Шестьдесят верст отмахали в пять часов.] Когда за поворотом выросли острые кровли крепостных башен и загоревшаяся заря заиграла на куполах, Петр заплакал». (Выражение «за поворотом» заменено «вдали». Вместо «Петр заплакал» вставлено: «Петр остановил лошадь, обернулся, оскалился».)

В 1944 году было внесено изменение и в сюжетную ткань произведения. Писателю иногда ставили в упрек слишком быструю эволюцию младшего поколения Бровкиных (в третьем то... сыновья и дочь Ивана Бровкина уже в приближении у Петра), неясно, как они успели так быстро выучиться и продвинуться. В первом томе у Толстого было о них сказано следующее: «Три сына уже хозяйствовали. Старший — Яшка вышел в отца, коренастый, взор исподлобья, лютый до работы. Гаврилка поплоше, с придурью — должно быть, отбили ему еще маленькому затылок...»

Теперь в соответствии с развитием этих образов в следующих томах А. Толстой заменяет прежний абзац в первом томе новым: «Яков всю зиму ходил в соседнюю деревню к дьячку — учился грамоте. Гаврилка вытягивался в красивого парня. Меньшой, Артамоша, тихоня, был тоже не без ума. Детьми Ивашку бог не обидел...»

В многочисленные переиздания первой и второй книг «Петра» довоенных лет А. Толстой не вносил сколько-нибудь значитель-

ных изменений текста: первая и вторая книги романа перепечатывались в эти годы почти в том самом виде, в каком они появились впервые на страницах журнала «Новый мир».

Только при переработке в 1933 году первого тома «Петра» для юношества писатель ввел в главу III (после описания строительства потешной крепостцы Прешбург) эпизод — подглавку под названием «Алешка», рисующую скитания и злоключения Алеши Бровкина, покинутого Алексашкой Меньшиковым, который от отца убежал к Лефорту (см. издание «Петра Первого», «Молодая гвардия», 1933, стр. 88—91). Приводим текст этой подглавки по последнему прижизненному изданию: Детиздат, 1937.

8. АЛЕШКА

Тогда ночью, влезши от страха на липу, Алешка Бровкин слышал топот Данилиных сапожищ по Разгуляю, слышал, как далеко, по-заячьи, заверещал Алексашка. В конце пустой улицы горел кабак. Кое-где на крышах торчали люди. От крыш, от скворешен, от людей ложились мерцающие тени на изрытую колесами улицу. Бил набат на колокольне. Надрывалась от тоски и страха Алешкина душа.

В ветвях, на липе, он просидел — покуда не погасло пожарище. Все ждал... Куда теперь идти? Без друга,— как без головы, без рук. Алешка переночевал на пустыре. Утром пошел искать место, где зарезали Алексашку. Спрашивал кой у каких людей,— никто не слышал про страшное дело. Ходил к Данилиному двору, глядел в воротные щели, видел ту самую стряпухину девчонку с болячками (теперь стала длинная, угрюмая девка), вынесла чугун с золой, Алешка окликнул, подошла к воротам: «Никакого такого у нас нет, ступай от ворот прочь, шпынь ненадобный...»

Пропал, значит, сердешный Алексаша, царствие небесное... Стал Алешка жить один, кое-как, не вострым разумом. Нанимался в слободы работать за хлеб. Надрывался на работе,— толку мало: только жив кое-как. Обносился. Скучал. Не заживался у хозяев.

Надумал раз — кинуться в ноги Федьке Зайцу, попроситься опять ходить с пирогами. Заяц,— стал дряблый, дурной,— сначала не признал Алешку, а потом, как припомнил давнишнее воровство, живо схватил его за волосы; кривая стряпуха, не разо-

бравши, заголосила, начала сзади гладить ухватом: Алешка едва унес ноги.

Одну осень, ради корысти, пристал было к ворам. Тянули они с возов, шарили по карманам, рвали церковные кружки, в глухих местах раздевали прохожих. Все пропивали в дуванах [1]. Один день ели сытно, три дня дрожали по обледенелым рощам. Думал Алешка прикопить деньжонок на шапку, рукавицы, добрые валенки,— опять стать человеком, бросить нерабочее занятие. Воры догадались, что парень ненадежный, заманили его на Москву-реку, на свалки, избили до полусмерти, столкнули в воду.

Хорошо, что место это было близко торговых бань. Чуть свет на Алешку наткнулся банный староста, справедливый человек; шел затапливать баню, видит — из черной воды торчит голова, стонет. Пожалел. При банях Алешка отдышался. Возил воду, топил каменки. До весны перебился кое-как.

Запели скворцы на крышах, под заборами зазеленел подорожник, полетели над Москвой журавли. Противно стало жить при банной сырости. Но куда уйти? В Москве все испытано,— всюду — клин. К отцу в деревню,— вечная кабала. Хорошо бы к раскольникам на северные озера или на вольный Дон. Но ведь — эдакая даль, одному,— пути не найдешь, пропадешь...

Случилось в то время — на базаре стали кричать добрых людей — землекопов и плотников — на царские работы в Преображенское, обещали по скоромным дням давать мясо и поденно — четыре алтына деньгами. Народ дичился идти на царские работы, поговаривали, что там люди пропадают.

Алешка подумал,— все равно и так пропадать,— и отдал кричавшему подьячему шапку.

Пригнали их человек с полсотни под Прешпург. Алешке дали железную лопату и тачку, и он стал копать ров, землю возить в тачке на раскаты. «Все-таки, думал, если с мясом не обманут, да четыре алтына поденно, к осени на ноги встану...»

Работал старательно, по сторонам не глядел. В обед пошли на поле, к котлам: и — впрямь — шти с мясом! Ну, тут — жить! Алешка сел к котлу с ложкой. Подходят двое — начальные, в иноземных кафтанах. Народ начал было вставать. Один из подошедших прикрикнул ломающимся голосом:

---

[1] Дуван — турецкое слово, означает дележку. В старину так называли воровские тайные притоны, где происходила продажа и дележка награбленного имущества.

— Сидеть! Дайте ложку.

Дали им по ложке. Другой вытащил из кармана из порток — штоф и две чарки. Налил водки. Оба выпили, и кое-кто из рабочих — крякнул. Когда этот второй потянулся к котлу,— Алешка взглянул на него,— едва не подавился коркой, обмер: Алексашка живой!.. А другой — царь...

Алексашка раздобрел, стал свежий, гладкий. Хлебнет полной ложкой и покосится на Алешку, хлебнет и покосится. Но не признает. Поели они с Петром. Встали. Алексашка, проходя мимо, тронул Алешку за плечо:

— Поди к тем кусточкам, подожди меня.

Алешка пошел к кустам, сорвал листочек, кусал его: не верилось,— зарезали парня, пропал парень, и вот — шагает, веселый, в накладных волосах.

— Здравствуй, Алеша.— Алексашка бегом, торопясь, подошел, руки не подал, не обнял, но глядел ласково, с усмешечкой.— Мне сейчас недосуг. Поговорим после. Ты здесь оставайся. Мне надежные, верные люди вот как нужны.

Алешка вздохнул, улыбаясь, посматривал на сердечного друга.

— А ведь я тебя похоронил, Алексашка... Ты вон какой стал. Ты чем тут перебиваешься-та?

— Да так, что, гляди, я первый человек при царе. А второе,— Александр Даннлыч я, это запомни.

— Ну да,— с отчеством выговариваетесь.— Алешка уставился в землю и — не мог — засмеялся, закрутил башкой.— Ну, ловок... Ну и черт — ловок.

— А ты думал,— до старости пирогами торговать, соловьев ловить... Пораньше утрась приходи в преображенскую избу, там жди...

Для раскрытия самого процесса работы Толстого над «Петром Первым» немало интересного материала дают записные книжки и тетради писателя, куда он заносил выписки, цитаты, «заготовки» к отдельным частям и главам своего романа. Внешне его записи довольно пестры и фрагментарны, но в целом в них выступает определенная устремленность творческой мысли писателя.

Алексея Толстого интересует и быт эпохи, он записывает интересные данные о состоянии армии, административного управления, экономики в эпоху Петра. Он фиксирует характерные для

языка того времени ходовые формулы, заносит некоторые свои наметки в отношении дальнейшего развития романа. Вперемежку идут фразы из переписки Петра, имена близких к Петру исторических деятелей, даты их жизни, фамилии капитанов флота, полковников, купцов, дьяков, наброски некоторых глав романа (обычно начальные их абзацы), планы отдельных глав по пунктам, названия одежд, наименования кораблей, цвета мундиров в полках, выдержки из раскольничьих поучений, пословицы, поговорки и т. д.

Вот некоторые из этих записей А. Толстого:

«Крестьянину не давай обрасти, но стриги его, яко овцу, догола...

(Из Посошкова. «Многие дворяне говорят, крестьянину не давай обрасти и т. д.» Вошло в роман.)

...Многие дворяне, на службе не быв, живут у наживочных дел... Пролазом добиваются начальства.

(Оттуда же.)

...Без дров озябаем студеной смертью.

(Из челобитной крестьян стольнику Безобразову, 1684 г. Вошло в роман.)

...Имена собакам. Кобели: Пироис, Эоис, Астон, Флегон. Суки: Паллас, Нимфа, Венера.

...Шведы бросились со страшной фурией.

...Подступил он к великому князю благочинно, смирно, урядно. Стал поодаль царя. Человечно, тихо, бережно, весело.

...Карлы: Игнашка, Арапы: Томос, Сека, Абрам.

...Софья долго противилась идти в монастырь (ночь, разговор с Веркой). Хотела убежать в Польшу. Является Прозоровский (и Волков), уводят в монастырь. Там ее встречает Ромодановский и распоряжается охраной (Волков).

...Лефорт. Никуда не годился как полководец и адмирал. Его сила — убеждение, новые горизонты. Женат на Елизавете, русской. Жену бил. Сын Генрих.

...Петр: Завтра день гулящий. Извольте ко мне быть поскоряй, чтобы мне веселяй было. Еще прошу,— непременно завтра.

Вас о едином прошу: ни для чего, только для бога и для души моей, держи свой пароль... Ваш камрат Питер.

(Из письма Петра к А. Меньшикову.)

...Такой снежной зимы не помнили в Москве. Обозы насилу пробивались к заставам. С Поклонной горы видать только кремлевские башни да купола — сизые дымы над бугристой белой равниной. А больше ничего не видать. Обозные мужики дожидались, покуда заиндевелые лошаденки отдышатся,— поглядывали на страшный город — невиданные снега занесли его по самые крыши.

(Первоначальный набросок зачина первой главы второй книги романа.)

...Вопил на постельном крыльце шумко. Иван Ендогуров. Вольно тебе лаять, шпынок турецкий, из-под бочки тебя тащили, робёнок, сынчишка боярский, мартынушка-мартышка, отец твой лаптем шти хлебал, сулил сыромятную кожу.

(В несколько видоизмененном виде вошло в эпизод ссоры бояр Буйносова и Мартына Лыкова.)

...Он соскочил босой в длинной до пят рубашке, подбежал к секретеру и вынул из ящика футляр. В нем лежала алмазная диадема. Он присел на кровать и...

— Мило, но я видала вещицы и получше. Вы хотите меня этим купить, ваше величество.

— Я хочу, чтобы вы поехали в Варшаву.

— К королю Августу?

(Вероятно, первый набросок сцены — король Карл и Аталия Десмонт.)

...Унимать словесно и ручно...

...Бес ходил по келье и воздыхал, но ничего не сделал, только из рук четки вырвал.

(Из «Жития» протопопа Аввакума.)

...Свет мой ненадсадный. Горлица пустынная. Трелюбезный. Краше красного солнца, светлее светлого месяца, белее белого снегу, милее отца и матери и роду-племени.

...В Москве одна уборщица волос. Некоторых убирали за трое суток. Боярышни за три дня до выезда сидя спали, чтобы убору не испортить.

(М. Щербатов, «О повреждении нравов в России». Вошло в роман.)

...Полагая печаль свою на господа бога, велел палить из всех пушек жестоко.

...От пушечной стрельбы и от бомб стала в городе великая теснота, люди пребывали в погребах и ямах, и был плач, страх и ужас на них великий.

...Он отпотчевал меня московским тотчасом. Изволь спросить, для чего с таким небрежением делается такое главное дело, которое в тысячу раз головы его дороже.

(Из письма Петра о Виниусе. Вошло в роман.)

...Сорочить — болтать.

...Приведен в шубенке, бос и без рубахи. Допрашивать его против тех изветов невозможно для того, что он вне ума и говорит что ненадобно. Говорил нелепые слова в отступлении ума.

...Я — детинишко скудный и бедный, беззаступный и должный.

(Снабжено заголовком писателя: «стиль». Последняя фраза вошла в роман, ее говорит Голиков Петру.)

...С Ивашкой Хмельницким был бой, и он нас пошиб.

(Из переписки Петра, шутливое сообщение о бывшей пирушке.)

...Были рабынями, стали богинями.

(Это как бы образная формулировка той внутренней темы, которая проходит у писателя через ряд эпизодов третьего тома,— тема «новой женщины». (См. подглавку «Купанье в Измайловском», «Валтасаров пир».)

...Сестрорецкий завод, якоря, цепи, ружья, пистолеты, шпаги. Водяные машины. Кроме казны, работал из частных лиц. Лучший в Европе...

...Имена: Петрушка Тютюря... Федот Бабании, Оська Плешивый, Блудов, Якшихильдеев, Ивашко Гроб, Макар Дрыганов... Спиридон Ярица... Федька Грош... Плесунов, Тимошка Бритва, Максим Чика... Кабацкий голова Федот Брюхов. Василий Забабурин — станичный атаман.

(Эта запись выразительных имен и прозвищ — заготовка к главе о казацких волнениях.)

...Аустерия трех фрегатов. Сцена. Петр пьет с капитанами, штурманами, мастерами. Курят. Жуют табак. Пьют ром и перцовку. Рассказы о небылицах, о кораблекрушениях. О банке при устье Эльбы, где корабли засасывает с мачтами».

Записи А. Толстого дают возможность познакомиться с намечавшимися писателем вариантами некоторых глав «Петра». Например, писатель хотел сначала показать заточение царевны Софьи в монастырь, а затем оставил этот план, дав бегло образ Софьи в монашеском одеянии в сцене встречи с ней Петра у гроба умершей царицы Натальи Кирилловны.

Писатель предполагал еще во втором томе дать пребывание Саньки Бровкиной в Стокгольме и Париже, намечая поместить главу об этом между главами: «Андрей на Выге у Нектария» и «Выступление армии к Нарве». Но эта глава о Саньке в Париже, при дворе короля Людовика, все откладывалась и откладывалась писателем. Только сообщения о ней других лиц, слухи об успехах ее за границей, о пребывании ее в Гааге успел дать Толстой в третьем томе.

В тетрадях писателя есть записи, которые относятся к третьему тому «Петра» и намечают некоторые эпизоды дальнейшего продолжения романа. Одна из записей указывает на то, что должно было следовать после главы, рисующей победный штурм Нарвы:

«Глава шестая: 1. Петр в Юрьеве. 2. Взятие Нарвы. 3. Графиня Козельская и Меньшиков. Глава седьмая: Санька в Париже. Глава восьмая: Святки в Москве. Всешутейший собор. Голиков пишет портрет».

Писателю нередко приходилось переносить некоторые эпизоды в более отдаленные главы. По свидетельству Л. И. Толстой, закончив VI главу взятием Нарвы, писатель решил перенести в следующую главу приезд графини Козельской: «Она должна была явиться к Петру в лагерь — в очень пышном сопровождении, переодетая в мужской наряд,— послом от короля Августа. Она надеялась поразить и очаровать Петра и стать его любовницей. Но Меньшиков перехитрил графиню, разгадав ее и воспользовавшись сам ее благосклонностью...» (см. Воспоминания о писателе Л. И. Толстой. Послесловие к третьему тому «Петра Первого», Гослитиздат, 1945, стр. 152).

В тетрадях Алексея Толстого имеется отрывочная запись:

«К пажу в комнату притащили ванну...

Петр и Меньшиков советовали послу — не разбивать своих сил. Сидя со всем войском в Варшаве, следить за Карлом. Зима уже не за горами. Действовать так, чтобы втравить Карла в испанскую войну...

По одному тому, с какой пышной важностью польский посол... выехал в Нарву, можно было понять, что у короля Августа дела хороши... Послу отвели дом. Нарва была прибрана. Трупы...

Прием у Петра в рыцарском зале. Послал поздравление с победой, рассказывает о взятии Варшавы... Петр ожидал от любезного брата Августа нахальства, но не такого. Торговля. Шафиров, Меньшиков. Головкин (канцлер). Все время вертится паж. Меньшиков поглядывает. Просит относительно Карла».

Это, по-видимому, набросок эпизода, относящегося к приезду графини Козельской, о котором пишет Л. И. Толстая.

Глава «Санька в Париже», таким образом, должна была отодвинуться дальше, стать восьмой по счету.

Писатель намеревался показать в ней ступень наивысшего успеха, некоторую жизненную кульминацию своей маленькой героини, изображением которой он начал свой роман.

В девятой главе — о святках в Москве — А. Толстой предполагал значительное место уделить роману царевны Натальи и Гаврилы Бровкина, завязка которого дана в эпизоде Валтасарова пира (глава V третьей книги романа).

Писателя влекла к себе и героика, тема доблести и мужества русского народа, тема, которая именно в эпизодах первых блестящих побед Петра в Прибалтике могла найти свое яркое воплощение.

Писатель намечал в третьей книге еще один интересный эпизод, который остался, однако, неосуществленным в романе.

В тетради Толстого имеется запись: «Шведы под Кроншлотом. Толбухин».

А. Толстой имел в виду показать нападение шведов на Кроншлот летом 1705 года, нападение, которое было героически отражено русскими. На Котлинской косе, на одном из решающих пунктов обороны, отличился полк, которым командовал Федот Толбухин. Толбухин и его солдаты долго выдерживали яростный огонь шведских кораблей, лежа в низком песчаном месте. Только подпустив десант врага совсем близко, русские открыли неожиданно огонь, заставивший шведов уйти с огромными потерями.

Поведение Толбухина писатель находил очень характерным для русского человека, для его мужества, стойкости, находчивости и смелости. Как свидетельствует в своих воспоминаниях Л. И. Толстая, писатель во время последней поездки в Ленинград и Кронштадт в мае 1944 года специально ходил на Толбухину косу.

А. Толстого занимала судьба русского вспомогательного корпуса, который во главе с князем Д. М. Голицыным послан был Петром в помощь Августу и прибыл к нему в местечко Сокаль (см. третий том «Петра Первого», главу III). Положение русских, которые обязались помогать саксонским и польским войскам, в дальнейшем становилось все более и более трудным, так как иностранное командование ставило русских в наиболее опасные места.

Судя по одной записи в тетради, А. Толстой хотел изобразить в романе особенно поразивший его эпизод, относящийся к 1704 году. Четыре русских полка, от которых отделились саксонские части Августа, настигнуты были шведами в деревне Тиллерот (близ Фрауштадта). Будучи предоставлены самим себе, не рассчитывая ни на какую помощь, русские должны были выдержать чудовищный натиск врага. Писатель особо подчеркивает в истории Соловьева одно место, рисующее эту картину: «Русские защищали каждый дом, каждый шаг. Шведы предложили им сдаться, грозя, что в противном случае зажгут деревню. Русские отвечали, что будут защищаться до последнего человека,— и сдержали слово. Множество их пало с оружием в руках или погибло в зажженных шведами домах» (см. Соловьев, История России с древнейших времен, изд-во «Общественная польза», т. XV, гл. 1, стр. 1299).

В записях А. Толстого среди данных о событиях Северной войны два раза встречается также упоминание о попе Иване Окулове. Как видно, писатель, желая раскрыть народное отношение к войне со шведами, хотел показать самостоятельные действия людей из народа в помощь регулярным воинским частям. Он предполагал использовать исторически достоверный факт о своеобразном «партизанском» отряде жителей Олонца, которыми предводительствовал поп Иван Окулов. В «Гистории Свейской войны» о попе Иване Окулове сообщается: «В то же время города Олонца поп Иван Окулов, уведав о неприятеле, которые стояли в Корельском уезде на рубеже, собрав охотников из порубежных жителей пеших с 1000 человек, ходил за швед-

ский рубеж и разбил неприятельские, Рутозейскую, Гиппонскую и Сумерскую и Керикурскую, заставы». Этот колоритный эпизод, свидетельствующий о патриотизме и подвигах простых людей из народа, А. Толстой намеревался, видимо, использовать в третьем томе.

Писатель собирал материал и о движении казачества на Дону, о Булавинском восстании. Имеется несколько записей в его тетрадях, ряд выписок из книг, относящихся к этой теме.

Возникает обычно вопрос о том, на чем намеревался закончить свой роман А. Толстой. Нужно сказать, что в разные моменты своей жизни и своей работы он давал на это неодинаковые ответы. В 1933—1934 годах Толстой предполагал довести роман до смерти Петра, даже хотел захватить для некоторой перспективы последующие десятилетия. Он говорил, что покажет момент реставрации родовитой боярской знати, эпоху кратковременного царствования Петра II. Он предполагал дать описание того, как «весь Петербург» в русских боярских костюмах, со всем имуществом выехал в Москву, оставив Петербург «заколоченным». В последней книге романа должен был появиться, по словам автора, птенец петровской эпохи, великий русский ученый и поэт Ломоносов.

В другое, более позднее время А. Толстой высказывал мысль о намерении закончить роман на эпизодах Полтавской битвы или Прутского похода Петра. Писателя интересовала версия, выдвигавшаяся некоторыми историками, о том, что в один из самых трудных моментов Прутского похода, предвидя возможность полного окружения своего войска, допуская даже мысль, что он сам может быть захвачен в плен, Петр написал якобы особое обращение к сенату, в котором просил не верить, не принимать к исполнению его распоряжений, если они поступят от него из турецкого плена (см. Соловьев, История России с древнейших времен, т XVI, гл. 2, стр. 73).

Незадолго до смерти у А. Толстого, по-видимому, твердо сложилось решение не доводить повествования до последних лет царствования Петра. В одном из своих писем (21 ноября 1944 г.) он указывает: «Роман хочу довести только до Полтавы, может быть до Прутского похода, еще не знаю. Не хочется, чтобы люди в нем состарились,— что мне с ними со старыми делать?»

Первая книга до главы пятой, второй подглавки включительно, печатается по тексту правленного автором экземпляра издания «Петра Первого» (с иллюстрациями художника Билибина), Государственное издательство художественной литературы, 1937; начиная с подглавки третьей, главы пятой — по тексту 6 тома Собрания сочинений, изд-во «Художественная литература», 1935, подготовленного к печати автором.

Вторая книга — по тексту 6 тома Собрания сочинений, изд-во «Художественная литература», 1935.

Третья книга — по тексту правленных автором экземпляров журнала «Новый мир», 1944, №№ 3, 6—7, 8—9 (Архив А. Н. Толстого) и № 1, 1945 (без правки автора).

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ

Собрание сочинений, т. 7

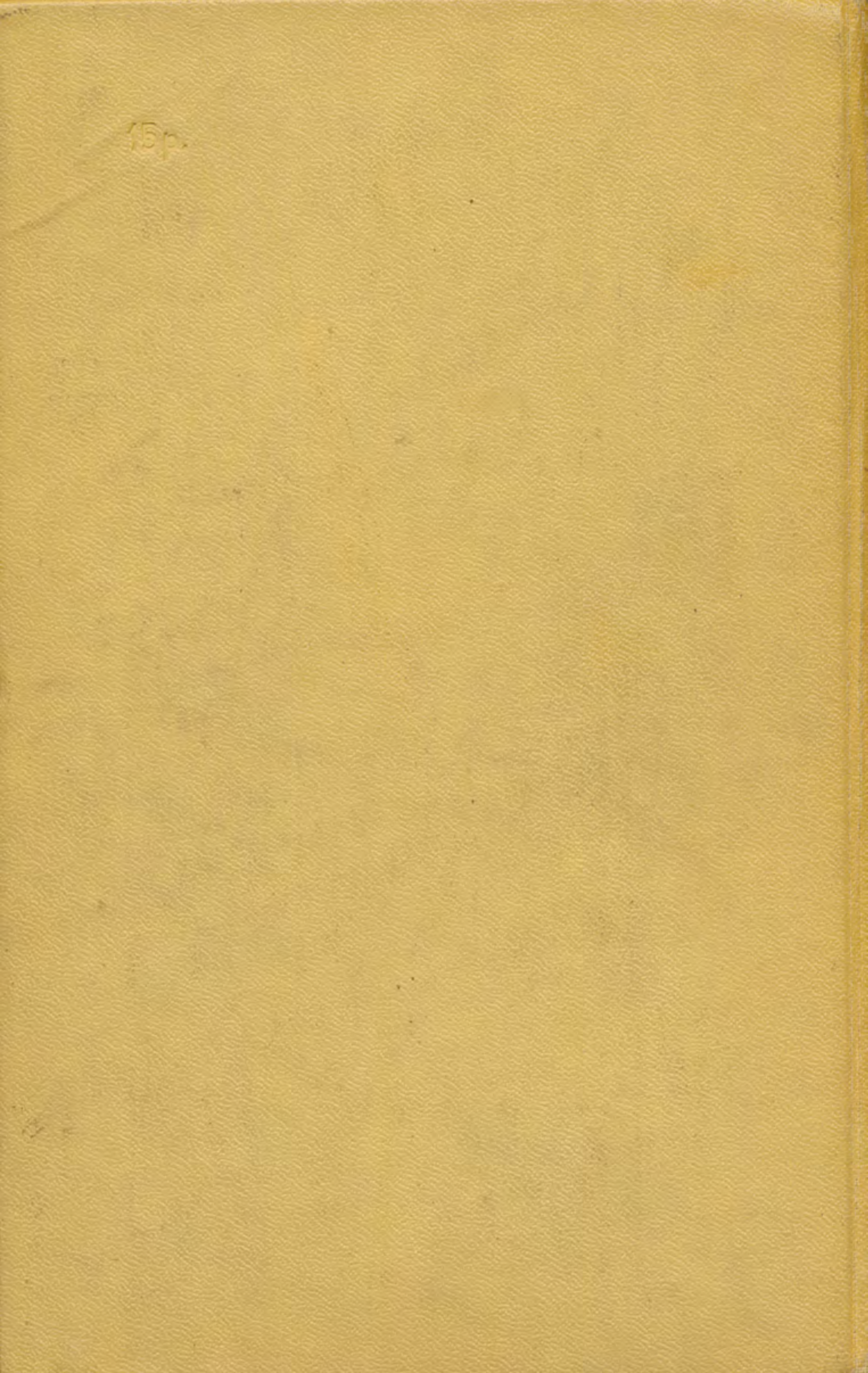
Редактор *Л. Красноглядова*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректоры *В. Брагина* и *В. Знаменская*

*

Сдано в набор 1/XII 1958 г.
Подписано к печати 12/II 1959 г. А 00320
Бумага 84 × 108 1/32 — 27 печ. л.
44,28 усл. печ. л. 42,084 уч.-изд. л.
+1 вкл. = 42,143 л. Заказ № 2525
Тираж 675 000. Цена 15 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Московского городского
Совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28


15 р.


АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ
7